Виктор Кравченко (1905-1966) был высопоставленный советский государственный деятель, который в апреле 1944 года бежал из большевистского Советского Союза на Запад в США, и после написал свою известную книгу о жизни в СССР. Мне не удалось найти издание этой книги на русском. Вероятно, книга не была опубликована на русском, а была сразу с рукописи переведена на английский и опубликована на английском. Следует отметить, что Кравченко так и остался коммунистом, хотя и коммунистом-еретиком. В 1966 году, В. Кравченко был найден у себя на квартире в Нью-Йорке с простреленной головой. Его сын утверждал, что это

было убийство и месть КГБ. Однако, ФБР провело расследование и заключило, что это было самоубийство.

Перевод с английского, сделанный по изданию:

I CHOSE FREEDOM

The Personal and Political Life of a Soviet Official

by

VICTOR KRAVCHENKO

ROBERT HALE LIMITED
18 Bedford Square WC1

FIRST PUBLISHED IN GREAT BRITAIN JUNE 1947

Reprinted July 1947
Reprinted September 1947
Reprinted October 1947
Reprinted June 1948
Reprinted October 1948
Reprinted December 1948
Reprinted March 1949

PRINTED IN GREAT BRITAIN BY
LOWE AND BRYDONE PRINTERS LIMITED, LONDON, N.W.10

Виктор А. Кравченко

Я ИЗБРАЛ СВОБОДУ

ГЛАВА 1

БЕГСТВО В НОЧИ

КАЖДАЯ МИНУТА поездки на такси между моей снимаемой комнатой и вокзалом Юнион в ту субботнюю ночь казалась судьбоносной и наполненной опасностью. Сами улицы и темные здания казались хмурыми и враждебными. За семь месяцев в столице я проезжал по этому маршруту десятки раз, беззаботно, едва замечая окружающее. Но на этот раз все было по-другому — *на этот раз я убегал.*

Американская семья, у которой я жил в Вашингтоне, была дружелюбна и великодушна к незнакомцу под их крышей. Когда я болел, они присматривали за мной с неподдельной заботой. То, что начиналось как простое финансовое соглашение, переросло в теплые человеческие отношения, к которым языковой барьер добавил толчок волнения. Я чувствовал, что они проявляли доброту к одному тоскующему по дому русскому.

Моя арендная плата была оплачена на неделю вперед. Тем не менее, я ушел из дома той ночью, не сказав ни слова на прощание. Я просто сказал, что если моя поездка задержит меня в городе после вторника, они имеют мое разрешение сдать комнату. Я хотел, чтобы мои хозяева честно не знали о моем местонахождении и о моем намерении не возвращаться, если будут какие-либо запросы от Советской Закупочной Комиссии.

В течение нескольких дней в Комиссии, я симулировал головные боли и общее недомогание. Тем утром я небрежно заметил нескольким коллегам, что мне лучше «остаться дома для отдыха»; что я могу не прийти в понедельник. Я усердно играл роль для дополнительного дня отсрочки, прежде чем мое отсутствие будет обнаружено. После получения моей мартовской зарплаты я настоял на том, чтобы привести в порядок мои

расходные ваучеры на свою последнюю поездку в Ланкастер, Пенсильвания, и до того, поездку в Чикаго. Оказалось, что мне все еще должны были причитаться около тридцати долларов. Идея состояла в том, чтобы стереть малейшее оправдание для любых обвинений в финансовых неправильностях, чтобы объяснить мое бегство. Я также убедился, что все мои бумаги в идеальном порядке, чтобы другие могли продолжить работу с того места, на котором я остановился.

Позже, когда новость о моем побеге появилась на первых страницах газет Вашингтона и Нью-Йорка, некоторые люди в Комиссии, должно быть, вспомнили особую теплоту в моих разговорах с ними в ту субботу, особое давление в моем рукопожатии, когда я сказал «До свидания». Они, должно быть, поняли, что я прощаюсь с ними окончательно и без слов. Никогда больше, даже здесь, в свободной Америке, никто из них не посмеет встретиться со мной. За месяцы совместной работы некоторые из этих людей стали мне близки; не говоря многого, мы понимали друг друга. Если бы я мог расстаться с ними открыто, эмоционально, по-русски, часть бремени, которое давило на мой дух, несомненно, была бы сброшена.

Ночь была холодная, беззвездная. Казалось, что вокзал был полон угроз. А что, если я столкнусь с каким-нибудь коллегой и он поднимет тревогу? Конечно, два чемодана и несанкционированная поездка мгновенно вызвали бы у него подозрения. А что, если товарищ Серов или генерал Руденко уже узнали о моих планах? Как будто в ответ на эти страхи, я внезапно увидел зловещую красноармейскую форму. Я похолодел от страха. Натянув шляпу ниже на глаза, глубже втянув голову в поднятый воротник пальто, я крадучись пробрался вдоль стены, держась спиной к своему соотечественнику.

Поскольку советские чиновники за границей всегда путешествуют в стиле Пульмана, я занял место в плебейском вагоне. Это снижало риск встречи с кем-либо из тех, кто меня знал. В затемненном, переполненном, сонном вагоне я был наедине со своими мыслями. Я давно знал, что этот решающий час неизбежен.

Я планировал этот побег долгое время. Я с нетерпением ждал его как освобождения из лабиринта лицемерия, обид и смятения духа, в котором я блуждал столько лет. Это должно было стать моим искуплением ужасов, за которые, как член правящего класса моей страны, я ощущал чувство вины.

Но теперь, когда это действительно происходило, в этом не было никакого волнения, никакого подъема новой свободы. Была болезненная пустота, в которой страхи и самоупреки отдавались так громко, что даже сонные солдаты и матросы в задымленном вагоне, должно быть, слышали их.

Я обрезаю свою жизнь на корню, - подумал я про себя. Безвозвратно. Возможно, навсегда. Этой ночью я превращаюсь в человека без родины, без семьи, без друзей. Никогда больше я не увижу лиц или не пожму руки или не услышу голоса родственников и друзей, которые являются костью от моей кости и плотью от моей плоти. Как будто они умерли, и поэтому что-то драгоценное во мне умерло. Навсегда и навсегда в моей жизни будет эта пустота, эта ужасная пустота и ноющая мертвенность. Что касается страны моего рождения, то я буду официальным изгоем и парией. Автоматически политический режим, в который я вложил жизнь, труд и веру, вынесет мне смертный приговор. Его тайные агенты всегда будут преследовать мою жизнь. Они будут отслеживать мои шаги и дежурить под моими окнами и, если им прикажут их хозяева, уничтожат меня. И эти американцы, среди которых я надеюсь закрепить свою новую жизнь, — как они могут когда-либо понять, что значит для советского коммуниста порвать с советской диктатурой? Они так благословенно невинны, эти американцы.

На моей родине те, кто работал со мной и дружил со мной, не говоря уже о тех, кто любил меня, будут вечно запятнанными и под подозрением. Чтобы выжить, им придется стереть память обо мне. Чтобы спасти себя, они должны будут отречься от меня, как в свое время я притворялся, что отрицал и отрекался от других, кто навлек на себя гнев советского государства.

Имел ли я моральное право подвергать опасности этих невинных заложников в России чтобы побаловать свою совесть и заплатить свой долг правде, как я ее видел? Это была самая жестокая проблема из всех. Что бы подумал о моем поступке мой верующий дед, Федор Пантелеевич, этот честный слуга Бога и царя, если бы он был еще жив? Что скажет мой отец, этот фанатичный революционер, если он еще жив?

По крайней мере, в этом ходе мыслей было утешение. Дедушка никогда не понимал, почему его сын Андрей, мой отец, выступал против русского царя и вековых традиций. Но поскольку Андрей глубоко верил и был готов попасть в тюрьму за свою странную новую веру, дедушка всегда заканчивал свои упреки благословением. Что касается моего отца, то, хотя он любил свою

жену и детей, он не стеснялся подвергать нас голоду и слезам, чтобы служить своему делу. Он поймет и одобрит; в этом я не сомневался.

Горькое утешение было и в мысли, что мой брат Константин, который всегда был близок мне, погиб на фронте. Падет ли официальная месть на одинокую и беспомощную старуху, мою мать? Или на женщину, которая три года была моей женой, хотя ничего не знала о моих политических сомнениях и моем побеге?

Эти мысли все еще звучали в моем сознании, мучительный там-там, который становился слабее, но не прекращался, когда поезд прибыл в Нью-Йорк в три часа утра в то воскресенье. На платформе я снова увидел советского офицера, несущего чемодан и совершенно не замечающего моего существования. Но я отступил, чтобы увеличить расстояние между нами.

Я зарегистрировался под итальянским именем в обшарпанной гостинице в верхней части города — в той гостинице, где вы платите заранее за номер. Это был номер, сделанный как бы на заказ для самоубийства: узкий, затхлый, гнетущий. Я запер дверь. В полумраке единственной электрической лампочки я начал писать заявление, части которого появятся в американской прессе через два дня.

Если бы кто-нибудь наблюдал за моим скрытным поведением в эти напряженные дни, моими бессонными ночами, моим скрытным побегом из Вашингтона, моим укрытием в Нью-Йорке, он мог бы предположить, что я совершил какое-то страшное преступление и скрываюсь от полиции. Но я не грабил и не убивал. Я просто решил отказаться от своей работы в качестве экономического эмиссара моего правительства!

Ни один американец, несомненно, не мог понять, что для субъекта тоталитарного режима нет «преступления» более ужасающего по своим последствиям. Это был высший акт отступничества по отношению к земному богу. Это не только делало виновного официально изгоем, живущим взаймы, он даже не мог обмениваться письмами со своими близкими на родине. На его лбу была печать Каина. Для советского гражданина встреча с ним или проявление к нему доброты было бы политическим самоубийством, возможно, и физическим самоубийством.

Мой шаг не был шагом любого советского гражданина, особенно коммуниста с большим стажем и довольно продвинутого в рядах

номенклатуры, который предпринял бы это легкомысленно, под влиянием внезапного импульса. Это был поступок, который имел свои истоки где-то глубоко внизу, в субстрате его разума; который рос медленно и не мог быть подавлен. Причины того, что я сделал никогда не лежат на поверхности. Их нужно искать глубоко внутри, в основе всего существования человека.

В понедельник, 3 апреля 1944 года, я разговаривал с несколькими репортерами. Поздно вечером новость появилась на первой странице New York Times. Время было важно. Возможно, это действительно спасло мне жизнь. Если бы мое советское начальство узнали о моем бегстве до того, как это стало достоянием общественности, посольство в Вашингтоне, несомненно, донесло бы на меня в Государственный департамент, возможно, как на немецкого агента, и потребовало бы моего немедленного задержания для депортации в СССР. Но поскольку американская общественность была проинформирована о фактах и наблюдала за драмой, советскому посольству был поставлен мат, по крайней мере на данный момент.

«Советский чиновник работающий здесь уходит в отставку», — гласил заголовок Times.

Сама депеша начиналась так:

«Обвинив Советское правительство в «двуличной» внешней политике в отношении его заявленного стремления к сотрудничеству с Соединенными Штатами и Великобританией и осудив сталинский режим за непредоставление политических и гражданских свобод русскому народу, Виктор А. Кравченко, чиновник из Советской Закупочной комиссии в Вашингтоне, вчера объявил о своей отставке и поставил себя «под защиту американского общественного мнения.

«Г-н Кравченко, в паспорте которого указано звание «Представитель Советского правительства» … является капитаном Красной Армии, и до приезда в Соединенные Штаты в августе прошлого года он был директором группы крупных промышленных заводов в Москве. До этого он занимал должность начальника отдела боеприпасов при Совете Народных Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, крупнейшей из присоединенных советских республик. Он был членом Советской Коммунистической партии с 1929 года и занимал много

важных экономических постов при советском режиме. Г-н Кравченко отказался по патриотическим причинам обсуждать вопросы, касающиеся ведения войны Советской Россией, или раскрывать какие-либо подробности, касающиеся экономических вопросов, особенно тех, которые влияют на функционирование ленд-лиза, осуществляемого Советской Закупочной комиссией, и действующего в России.»

Затем следовали части длинного заявления, над которым я трудился все воскресенье. Оно было написано кровью моего сердца, но мало что из его цвета проступало сквозь холодные чернила принтера. Граждане свободной страны не имеют никакого личного опыта, чтобы сделать мои чувства и мое поведение достоверными.

Совершенно трагичное должно казаться им просто эксцентричным.В заявлении я пытался объяснить американскому народу, моим товарищам дома и моим друзьям в Вашингтонской комиссии, почему я сделал этот ужасный шаг. Но чем больше я писал, вычеркивал и переписывал, тем более безнадежной казалась задача. Не было слов, ни на одном языке, чтобы подвести итог всей жизни.

Мое решение порвать с советским режимом — равносильное личному объявлению войны этому и всем полицейским государствам — не было случайным. Оно подразумевалось во всем, чем я был, что думал и что пережил. В этом смысле это было не столько решение, не столько волевой акт, сколько логическая и неизбежная кульминация процесса.

Чтобы объяснить это, я должен рассказать о моей страсти к справедливости, которая пронизывала мое детство на берегах Днепра; страсти к свободе, которая билась в сердце мальчика, когда революция и гражданская война охватили украинские города и степи; о моем отношении к энтузиазму коммунистической молодежи, затем полноправного члена Коммунистической партии; о сомнениях и разочарованиях и отчаянных попытках год за годом подкрепить потрепанную и рушащуюся веру крепкими иллюзиями.

Чтобы объяснить это, я должен пересказать всю свою жизнь и жизнь России, как она соприкасалась с моей.

ГЛАВА 2

РУССКОЕ ДЕТСТВО

Для трех сыновей Андрея Федоровича Кравченко, из которых я был вторым, моложе Константина и старше Евгения, революция 1905 года имела более глубокую реальность, чем просто личный опыт. Она сияла цветом романтики, и даже поражение было пронзительным и лучезарным. Она содержала, словно в музейном шкафу, идеальные образцы героизма, ужаса, идеализма и жертвенности, по которым такие ценности должны измеряться в дальнейшей жизни.

Правда, это была довольно ограниченная революция, ограниченная не только городом Екатеринославом, но и собраниями, сражениями и преследованием людей, участником которых были и мой отец. Великие имена, которым суждено занять место в истории, впервые пронеслись по небу России в 1905 году. Но простая история никогда не сможет сравниться с нашим внутренним знанием, что настоящим лидером и героем восстания был наш сильный и красивый отец, сухощавый и сильный, когда его темные волосы вьются, а голубые глаза сверкают.

И действительно, в нашей сладкой фантазии было несколько крупиц правды.Восстание было вызвано всеобщей забастовкой, а забастовка железнодорожников была началом и оставалась сердцем более крупнойзабастовки. Мой отец, работавший в железнодорожных мастерских Екатеринослава, был в забастовочном комитете, оставался в гуще безнадежной борьбы и дорого заплатил за свой энтузиазм после провала. Мы слышали подробности так часто в наши молодые годы, что они, казалось, вплетены в нашу собственную жизнь. Не только то, что произошло, но и почему это произошло. Меня не нужно было учить ненависти к самодержавию и любви к свободе, справедливости, равенству. Я принимал их так же просто, так же естественно, как мои товарищи по играм принимали почтение к униформе и власти.

Революционные события 1905 г., рассказанные моим отцом и его друзьями, углубленные моим собственным контактом с подобными событиями в более поздние годы, так глубоко запечатлелись в моем сознании, что даже сейчас я могу чувствовать, что я как будто стою за баррикадами перевернутых телег, нагроможденной мебели, булыжников, шпал; товарищи падают, стоная,

вокруг меня. Я в сплетении улиц и переулков рабочего района в зимнюю ночь. Затем все тихо, как смерть. Затем я воображал как трупы гротескно расползаются, а лужи красного медленно растекаются по снегу, словно чернильные пятна на грубой бумаге на моей школьной парте …

Прежде чем убежать, отец не смог устоять перед соблазном бросить последний взгляд на свою жену, Константина и бабушку, мать моей матери, которая всегда жила с нами. Посреди ночи он пробирался переулками, пробираясь в более глубокие тени от дома к дому, пока не добрался до дома № 8 по улице Канатной на проспекте Пушкина, который был нашим домом.

Его сердце сжалось. Все огни в доме горели, и он слышал звуки деятельности внутри. Ему казалось, в этом не было никаких сомнений, что полиция обыскивала это место. Но он не мог отступить, каким бы ни был риск, не бросив последний взгляд на дом и семью, которую он, возможно, никогда больше не увидит. Он подполз к окну, осторожно приподнялся и заглянулвнутрь.

Потом он понял, что ошибся, что полиции нет. Бабушка открыла дверь на его тихий стук и сделала ему знак замолчать. Он начал идти в спальню, но она остановила его. «Таня спит», — сказала она. Затем, улыбнувшись, «Да, еще один мальчик». Она сама вошла в спальню и вскоре вернулась с маленьким свертком, который положила в руки моему отцу.

Это была ночь моего рождения — ночь за баррикадами, выстрелами винтовок, саблями и криками боли в паутине улиц. Вдруг я начал кричать так громко, что моя мать проснулась. «Послушай его — Бунтаря», — тихо сказал мой отец. С тех пор всегда, в минуты нежности, он называл меня Бунтарем; иногда, когда я был взрослым мужчиной и был занят делами победоносной революции, он произносил это прозвище с иронической интонацией, которая терзала меня глубже, чем он подозревал.

Я устроился между ними в те первые часы своей жизни, когда мой отец нежно прощался со своей женой. Никто не сможет убедить меня простой логикой, что я не слышал его слов нежности, что я не видел, как он покрывал ее руки поцелуями, что я не видел глазами отца бледную нежность лица молодой матери на фоне белоснежной кучи подушек.

В первые девять лет моей жизни отец был для меня блестящим незнакомцем. Его промежутки свободы никогда не были достаточно длительными, чтобы сделать его знакомым и обычным, как другие отцы для своих детей на нашей улице. Самыми захватывающими были его посещения во время побегов. Я с нетерпением ждал их, как будто они были частью цикла существования, как крашеные пасхальные яйца и рождественскиеелки.

Я создал его образ из случайных намеков и фрагментов. Из ласковых слов матери и бабушки; из внезапных тревог за его безопасность; из обрывков шепота его революционных товарищей. Часто преследуемые люди прятались в нашем доме; студенты в форме с аскетичными лицами; облезлые, бородатые люди из того таинственного и неведомого мира, который назывался Сибирью. Эти пролетающие посетители и их истории о побегах из тюрем, подкупленных чиновниках, паролях и переодеваниях также стали частью моего романтического образа отца.

Константин, который был старше меня примерно на восемнадцать месяцев, приносил мне каждую крупицу информации.

"Мы должны помнить, Витя, - говорил он важно, - что папа не грабитель и не убийца. Он "политический"."

"Да, Котя", - соглашался я, не понимая.

Одна рождественская ночь - мое третье Рождество на земле - осталась запечатленной в моей памяти до последней детали. Страница в альбоме, к которому я часто переворачиваю с восхитительной грустью.

Бабушка будит нас от глубокого праздничного сна. Я вижу наши новые игрушки, разбросанные на голом полу спальни.

"Идите, голубки, и попрощайтесь с вашим бедным отцом", - говорит она, рыдая. В наших длинных ночных рубашках, сонные и растерянные, каждый из нас сжимает одну из рук бабушки, нас ведут в гостиную. Я моргаю, глядя на свет и толпу. Один из них — друг семьи, остальные — незнакомцы в мундирах.

Свечи все еще горят на елке, но теперь мама беззвучно плачет, укладывая чемодан. Бабушка ведет нас к святой лампаде в углу с иконой, где мы преклоняем колени вместе с ней, пока она бормочет молитву и касается

лбом пола. Мужчина, которого я знаю, как отца, поднимает меня, крепко прижимает к себе и целует много раз. Но в эту ночь он странный — его лицо кажется мне голым, со знакомой бородой и усами, удаленными. Он берет Котю на руки и целует его.

Затем бабушка выводит нас из комнаты. У двери — и это почему-то запечатлелось во мне более остро, чем любой другой предмет на картине — огромный бородатый жандарм, с многочисленными галунами на форме, открыто плачет; крупные слезы катятся в его усы.

Позже я узнал, что отец, который скрывался, решил навестить свою семью в канун Рождества. Полиция, зная по опыту, что беглецы иногда рискуют арестом, чтобы быть со своими близкими в важные праздничные дни, нагрянула в наш дом. Пока они обыскивали помещение, они дали арестованному один час, чтобы собрать вещи, прежде чем увести его.

Я часто обращаюсь и к другой странице в этом личном альбоме моего детства. Однажды вечером, когда мы сидим за ужином, приходит высокий, красивый студент. Мать наливает ему стакан чая из сверкающего самовара, и по тому, как дрожит ее рука и дребезжит стакан, я могу сказать, что слова молодого человека важны. Все готово для побега из тюрьмы этой ночью, - говорит он. Если не будет никаких осложнений, Андрей Федорович должен быть дома до полуночи.

Но он останется всего на несколько минут. Мать должна подготовить кое-что для его поездки. Его ждет убежище в Екатеринославе, а также превосходные поддельные документы, удостоверяющие личность. Увы, нас отправили спать, прежде чем мы смогли узнать, чем закончится эта захватывающая история.

На следующий день мать и бабушка много плакали, утешали друг друга и только плакали еще больше. Высокий студент, с огорченным и расстроенным лицом, приходил несколько раз с новостями.

План массового побега из Екатеринославской тюрьмы провалился. Очевидно, где-то был шпион. Несколько охранников и заключенных были убиты и ранены при подавлении. Хотя ножи и револьверы проносились тайно в тюрьму в течение многих недель планирования операции, бунтовщиков быстро усмирили.

Казалось, что жизнь отца висела на волосок от смерти. Он с гордостью носил шрамы на протяжении всех своих лет. Он находился в тюремной больнице, и если бы он остался жив, его, вероятно, судили бы вместе с несколькими другими зачинщиками беспорядков. Это могла быть каторга, или даже виселица на этот раз...

Несколько месяцев спустя студент приезжает снова. На этот раз с ним стройная и очень красивая девушка. В большом волнении мать закутывает нас в наши пальто. «Если вы будете вести себя тихо и делать, как вам говорят, вы увидите папу», — говорит она.

У нашей двери стоят два экипажа. Студентка и девушка садятся в один, остальные из нас — в другой. Их экипаж едет первым, а наш следует на почтительном расстоянии, по широкому проспекту Пушкина. Вскоре мы видим старую тюрьму в центре сердце города. Перед одной из ее башен передовой экипаж карета останавливается на минуту — это сигнал, а затем едет дальше. Когда наш экипаж достигает того же места, кучер сходит и возится с упряжью.

Глаза матери горят от волнения. «Вот, вот, это твой отец», — шепчет она, указывая на окно в башне. Я стараюсь изо всех сил, но могу различить только темную фигуру за одним из зарешеченных окон, размахивающую платком. Голова мужчины выбрита и блестит, когда он кивает нам. Слезы текут по щекам моей матери, и Котя кричит: «Папа! Папа!» Затем кучер взбирается на козлы и хлещет лошадь, пускает ее рысью.

Мать оглядывается и машет рукой, пока видна башня. Студент и девушка ждут нас в условленном месте в парке. Он целует руку матери, берет нас в свои сильные объятия и набивает карманы конфетами. Красавица тоже очень нежна с нами. В общем, это памятный день, грустный, важный и напряженный. Часто, когда я одинок и боюсь, я думаю о том дне и как-то успокаиваюсь.

Бабушка поглядывала на лампаду и крестилась, и быть может поэтому отца не повесили и не сослали в Сибирь, а дали ему обычный тюремный срок заключения.

Я был слишком мал, чтобы задаваться вопросом, как семейство Кравченко умудрялось жить с кормильцем за решеткой. К тому времени родился

Евгений. Немного помогали товарищи отца по делу. Несколько человек из железнодорожных мастерских приносили подарки. Часто из Александровска, где жили мои бабушка и дедушка по отцовской линии, привозили кур, уток, фрукты и овощи. Иногда мама шила вещи для продажи.

Однажды ночью — мне было около шести — я не мог уснуть. Я виновато подошл к двери, осторожно открыл ее и выглянул. Я увидел маму, склонившую голову над шитьем в круге света керосиновой лампы. Когда я думаю о ней сегодня, через годы, я иногда вижу маму такой, какой я ее видел той ночью, в обрамлении света, с грустным лицом и блестящими волосами.

«Почему ты не идешь спать, мамочка?» — спросил я.

«Я не устала», — улыбнулась она. «Но почему ты не спишь? Ничего, иди сюда, сынок. Я хочу поговорить с тобой».

Она откусила нитку, отложила работу в сторону и посадила меня к себе на колени. «Ты хороший мальчик и умный», — сказала она. «Я уверена, ты поймешь... если не сейчас, то потом, когда вырастешь. Нелегко кормить столько ртов, а еще есть посылки, которые нужно отправить твоему отцу.

«Будет немного легче, Витя, когда ты поедешь жить к дедушке Федору Пантелеевичу в Александровск. Он, твоя другая бабушка и тетя Шура очень любят тебя. Ты будешь ходить в школу, и мы будем часто навещать тебя. Тетя Шура придет за тобой завтра. А теперь иди спать».

Она опустила меня с колен и я увидел, что она плакала.

3

Александровск, переименованный после революции в Запорожье, был опрятным, тихим провинциальным городом. Его жизнь текла спокойно и, казалось вечною между широким и спокойным Днепром и густо заросшими лесом окраинами. Хотя здесь были несколько кирпичных и черепичных заводов, несколько разбросанных металлургических заводов и некоторые другие промышленные предприятия, жизнь города все еще была тесно связана с украинской землей. Большинство его домохозяйств имели огороды и много возделанных садов. Почти в каждом дворе, подобном и нашему,

который теперь стал центром моей новой жизни, было множество кур, уток, гусей, свиней.

Для живого шестилетнего мальчика, после городского Екатеринославля, это место было бесконечно захватывающим. Лавки по продаже семян и пряностей дышали пряными запахами, любой из которых, на всю оставшуюся жизнь, вызывал ностальгию. Я наблюдал, как летят искры в кузницах, или наблюдал за трудами мужчин и женщин вокруг дымящихся кирпичных печей.

В базарные дни главная улица заполнялась крестьянскими телегами из окрестных деревень, мужчины в ватниках или овчинных полушубках, женщины в объемных юбках, как наша кукла-грелка для чая дома. Босые крестьянские дети застенчиво смотрели на нас, городских мальчиков. На окраине Александровска были большие овощные хозяйства болгар, а дальше, в рощах, цыгане разворачивали свои яркие фургоны, разбивали палатки и разжигали костры долгими ночами.

Хотя с одной стороны было несколько бедных семей, а с другой — несколько богатых, таких как Щекатихины с их особняком из красного кирпича, подавляющее большинство людей в Александровске были то, что называется средним классом, они не были ни богатыми, ни бедными. Город мог похвастаться двумя кинотеатрами; пожилые крестьяне, впервые увидев на экране двигающиеся фигуры на экране, крестились из предосторожности от такой чертовщины. Несколько раз за те пять лет, что я жил в этом городе, театральная труппа из Киева или Одессы приезжала к нам на неделю представлений. Но и жонглеры, акробаты, и представления с дрессированными медведями часто собирали в парке толпы.

Кравченки -- дедушка Федор Пантелеевич, бабушка Наталья Максимовна и их взрослая дочь Шура жили просто, но в достатке на пенсию, дополняемую арендной платой за два из трех своих маленьких домиков. Они также зарабатывали немного денег в месяц на своем водоснабжении. За привилегию набрать воды на нашем заднем дворе соседи время от времени бросали мелкую монету в щель в железном ящике.

Ключ от ящика хранил дедушка, но тетя Шура, благодаря жизненной практике, была экспертом в извлечении копеек для покрытия непредусмотренных расходов за пределами спартанских представлений ее

отца. Ее маленький племянник из Екатеринославля вскоре был посвящен в ее секрет и чувствовал себя виноватым за нее, но не настолько, чтобы отказаться от доли добычи. Помощь ей в еженедельном мытье пола стоила три копейки — этого хватало на кино и конфеты-леденцы, — а также то, что я не попадался на глаза, когда приходил ее жених, и увеличивали мой еженедельный доход.

Наш огород и небольшой фруктовый сад обеспечивали наш стол свежими и сушеными овощами, фруктами и дынями на весь год, не говоря уже о варенье, которым бабушка гордилась по праву. Время заготовки варенья осталось неизгладимо в моей памяти — медные тазы, переполненные сочными фруктами, благоухание кипящего сахара, чудесные вечера, когда вынимали косточки из вишен, пока руки не окрашивались в темно-красный цвет.

Дедушке Федору Пантелеевичу было около восьмидесяти, когда я переехал к нему жить. Это был человек среднего роста, крепкий, широкоплечий и солидной внешности, с белой бородой и небольшим брюшком. Он воевал в русско-турецкой войне 1878 года под командованием генерала Скобелева и после многих лет службы вышел в отставку в звании унтер-фицера. Бабушка Наталья Максимовна, примерно на двенадцать лет моложе своего мужа, была опрятной, мягкого нрава старой женщиной, с огоньком в ясных глазах и чувством юмора, которое иногда оставляло дедушку в недоумении. Она относилась ко всем нам, включая мужа, как к детям, которых нужно баловать и умиротворять.

Долгими зимними вечерами, когда в огромной беленой печи потрескивали поленья, а пламя через открытую дверцу создавало странные узоры на полу, Федор Пантелеевич любил рассказывать истории о турках и курдах, о сражениях и внезапных нападениях. Особенно когда присутствовали старые друзья, он мог рассказать о проявленной храбрости и подвигах, которые изволил заметить сам царь-батюшка. С каждым разом, рассказы становились все увлекательнее.

«Подумаешь, — скажет бубушка, — ездить на лошадях, закручивать ус, и стрелять по туркам. Для этого много ума не нужно.»

По воскресеньям и праздникам Федор Пантелеевич надевал парадный мундир, блистательный костюм синего цвета, с блестящими медными

пуговицами и белой выпушкой по краям просторных кавалерийских шалей, вдетых в высокие сапоги. Он начищал эти сапоги до зеркального блеска, расправлял на груди медали и кресты и распускал над ними бороду, как знамя. Так, облачившись, он брал мою маленькую руку в свою большую мозолистую ладонь и отправлялся в церковь. В этот момент не было более гордого чем я мальчика во всем Александровске, и мне казалось вполне уместным, что более скромные горожане почтительно приподнимали шляпы и спрашивали о здоровье бабушки.

Дедушка не меньше гордился своим внуком, хотя его спартанский кодекс запрещал любые сентиментальности. « Андрея сын», - говорил он с напускной небрежностью. Не было секретом, что первенец деда, Андрей, сидел в тюрьме, но соседи никогда не упоминали об этом в его присутствии. Это было просто одно из тех несчастий, которые бог мог послать любому из его благочестивых слуг. Федор Пантелеевич любил Андрея и даже восхищался им, но он просто не мог совместить добрую голову и «добрую кровь» моего отца с его кощунственными выходками против царя. Он туманно возложил вину за это на книжную ученость и печальный упадок воинского духа в России.

«Всю жизнь я был добрым солдатом и слуга царю, — говорил он, — и так я и закончу свои дни. Я тружусь, молюсь богу и ни на что не жалуюсь. А чего хочет Андрей? Черт меня побери, если знаю!»

Бабушка и тетя Шура, зная, что такие разговоры меня огорчают, старались выгородить отца. Андрей — образованный человек, он понимает свет, а не только турок и курдов, — говорили они.

«Может быть, может быть и так», — мрачно соглашался Федор Пантелеевич, добавляя для меня: «Андрей сидит в тюрьме, это правда, но не за воровство или убийство. Только за политику. Это и есть разница».

Когда я получал письма от матери, которые тетя Шура читала вслух, до того, как я научился читать, в них всегда были какие-то новости об отце. В такое время Федор Пантелеевич иногда забывался и выговаривал горькие слова о своем беспутном сыне. В один из таких случаев я так взбесился, что закричал и в ярости укусил дедушку за руку. Вместо того, чтобы отшлепать меня, как я ожидал, он попытался успокоить меня, нежно взял меня на руки и сказал, что

рад, что я защитил отца. «Это моя кровь в твоих жилах», — сказал он. «Мы, Кравченки, преданны друг другу».

Время от времени я проводил выходные с другом отца, рабочим-металлистом, которого я называл дядей Митей. Это было почти как дома с отцом, плюс волнение от трех симпатичных и озорных маленьких девочек в доме. Все три должны были вырасти в привлекательных женщин, которые

будут так же близки мне, как кровные родственники в дальнейшей жизни.

Дядя Митя говорил о свободе, справедливости и о том, что хорошо бы родиться лучшем чем этот мире, так же как и отец, и часто он медленно читал нам потрепанные книги Герцена, Горького и Толстого. В его голосе была набожность, как у дедушки, когда он читал библию. Но больше всего мне нравились, когда дядя Митя будил меня до рассвета, чтобы пойти на охоту. После тяжелого дня в лесу я возвращался с его ружьем на плече и сумкой, полной зайцев и прочей дичи, такой гордый, как будто я сам их подстрелил.

Дедушка любил рыбалку. Днепр был его вторым домом. Пока наша лодка плыла по гладкой поверхности реки, и мы ждали клева, он снова рассказывал мне свои любимые истории, в которых турок убивали тысячами, а русские, особенно украинцы и казаки, всегда возвращались домой с добычей и честью. Без сдержанного юмора жены, обуздывавшего его воображение, его рассказы были еще более захватывающими.

Когда солнце поднималось выше, мы привязывали лодку к одному из деревьев на берегу, снимали одежду и плавали, плескаясь и взбивая чистую воду, едва помня, что нас разделяло три четверти века. Уставшие, но полные жизненных сил и настолько голодные, что это причиняло боль, мы возвращались домой, таща дневной улов, а бабушка Наталья Максимовна жарила рыбу во дворе. Обычно ее хватало не только для нас, но и для друзей, и на рыбную уху на следующий день, которую могла приготовить только бабушка.

Мы, Кравченки, в Александровске жили у себя дома по полувоенному режиму, смягченному гражданской мягкостью бабушки. Для ее мужа трудиться было не просто необходимостью, а обязанностью, как ходить к обедне и держать зажженную лампадку под иконами и раздавать хлеб нищим. Мы ложились спать рано и вставали с солнцем для работы в саду, в

огороде и со скотиной. Даже в школьные дни я должен был выполнять свою долю работы, в качестве дисциплины, до завтрака; школьные уроки, как бы я ни трудился над ними, не считались настоящей работой в представлении дедушки. Он научил меня мыться и купаться на открытом воздухе в любую погоду, в ледяной воде, «как мужчина и солдат». Он научил меня переносить боль без нытья и рано закалил меня как к жаре, так и к холоду.

Единственный раз, когда дедушка наказал меня, был, когда в возрасте семи или восьми лет я пошел к парикмахеру, чтобы подстричься. Копейки тети Шуры сделали возможным это преждевременное утверждение мужественности. Когда я пришел домой, в облаке сильно пахнущей помады, дедушка бросил на меня взгляд и рассердился. Наказание соответствовало крамоле. Он взял большие ножницы для стрижки ягнят и, на виду у соседей и товарищей по играм, приступил к переделке работы парикмахера, после чего нанес мыло и воду на рваный ландшафт моей головы, чтобы смыть все немужественные запахи.

В школе я завел друзей, многие из которых, как ни странно, оставались таковыми и в зрелом возрасте. Школьные часы были долгими, и кроме того нам давали домашние задания. Телесные наказания за леность и проказы считались само собой разумеющимися.

К счастью, учение мне давалось легко Только религиозное обучение, которое проводил старый отец Максим, бормоча сквозь бороду, доставляло мне неприятности. От нас ожидалось, что мы будем читать длинные бессмысленные молитвы на церковно-славянском наизусть, а если мы не справлялись, что почти все мы и делали, то нас ожидало наказание. Еогда любимый ученик отца Максима, с рябым лицом мальчик Кузя, брал розгу; виновные встали на колени в ряд, и Кузя применял розгу к нашим ягодицам, пока священник считал.

Считалось, что это было полезно для наших душ. После школы, конечно, мы всякий раз подстерегали Кузю и в отместку давали ему больше, чем получали сами.

Другой мишенью наших мальчишеских жестокостей был мальчик Ник Щекатихин, сын и наследник самого богатого человека в городе. В отличие от всех нас, которые ходили пешком в школу, Ник приезжал в красивом экипаже в чем-либо сопровождении; он всегда был чист, опрятен, носил

бархатные курточки, накрахмаленные воротнички и туфли с блестящими пуговицами. Некоторые мальчики, и должен со стыдом признаться, что среди был и я, завидовали и ненавидели его за то, что он происходит из лучшей семьи. Для нас было очевидно, что такое не могло остаться безнаказанным, и мы травили и избивали его, когда могли

Несмотря на учебу в школе, мы прогуливали уроки и предавались детским проказам. Было время — я помню его более отчетливо, чем последующие трагические годы, — когда мы с одноклассником решили совершить набег на огород на окраине города. Мы набили карманы молодыми огурцами и попробовали сочные молодые дыни, когда вдруг перед нами предстал большой мужик. Он не побил нас — вместо этого он прочитал нам нравоучение о зле воровства, а затем велел нам снять штаны. Затем он дал нам по горсти огурцов и отправил нас без штанов в обратный путь.

Несколько часов мы ждали наступления ночи. В темноте, окольными путями, чтобы никого не встретить, мы шли домой, покрытые позором. Стыд от этого

задержался надолго, а смех, который этот эпизод вызвал в городе, ужалил больнее, чем любой прут или кожаный ремень.

Сейчас я глубоко сожалею о тех гадостях и глупостях, которые мы делали нашим школьным учителям. Однако худой, с очками на носу Аверичев, который был нашим учителем русского языка, был избавлен от наших мелких преследований. Он был почти прототипом русского интеллигента — устремленный, поэтичный, полный слов и немного беспомощный. Его глаза были глубокими и страстными, и он делал уроки русской литературы захватывающими даже для младших учеников. Уже после, годы спустя, во время посещения Запорожья, я узнал, что этот Аверичев был убит вскоре после совершения революции.

Маленьким мальчикам запрещалось ходить к цыганам, но я все равно часто ходил к ним. Подружившись с цыганским парнем по имени Сайдеман, я стал почти членом их клана. Однажды, когда мы катались на коньках по замерзшему Днепру, лед внезапно подо мной проломился. Сайдеман нырнул в ледяную воду и вытащил меня. Это укрепило нашу дружбу.

Много раз мне удавалось под тем или иным предлогом уйти из дома и помчаться в цыганский табор. Я сидел у их костров, слушал их песни и заворожено наблюдал за странными повадками этих дружелюбных и всегда

веселых людей. За копейку или две цыганки предсказывали мне судьбу. Они неизменно уверяли меня, что я вырасту богатым, красивым и знаменитым; моя жизнь была бы уголком рая, усыпанным драгоценными камнями, в котором текли бы реки меда, и я бы разделил его с прекрасной девицей, иногда блондинкой, иногда брюнеткой.

В цыганском таборе должна была состояться важная свадьба, и большие приготовления велись в течение нескольких недель вперед. Сайдеман настоял, чтобы я присутствовал, и, из всех вещей в мире, именно этого я хотел больше всего. Но как я выйду из дома в ту самую ночь? В отчаянии я доверился дедушке. Сначала он рассердился, но когда я рассказал ему, как Сайдеман спас мне жизнь, воинская доблесть взяла верх над предрассудком. Я не только мог пойти, но он и сопровождал меня. Дедушка надел свой мундир этому случаю, расчесал бороду шире, чем обычно, и взял с собой несколько маленьких подарков, в результате чего он стал почетным гостем на церемонии. Мои акции у цыган взлетели до небес. Молодые и старые принесли свои самые красочные наряды и самые звенящие драгоценности на свадьбу; скрипки и гитары создавали веселую и душевную музыку до глубокой ночи. В общем, это был опыт, который зажег фейерверк в уме и сердце мальчика и заставил его сожалеть о людях, которые не знали цыганской жизни.

4

Мне было девять лет, когда началась Первая мировая война. Жизнь внезапно наполнилась волнением и эмоциями. Солдаты, речи, слезы, слава. Я чувствовал, как будто наше существование превратилось в непрерывный праздник. Наши учителя забыли уроки и вместо этого декламировали патриотические речи. Отец Максим велел нам читать молитвы о победе нашего воинства. Женщины плакали, когда их сыновья и мужья уходили на войну.

Дедушка казалось стал новым человеком, более строгим, более возвышенным в отдаче приказов своей семье. Теперь он носил свой сине-белый мундир почти ежедневно, и неделя без военной демонстрации казалась ему неделей, потраченной впустую. «Ах! Если бы только генерал Скобелев был жив, он бы задал немцам урок. Ведь даже турки не могли устоять против него!»

Однажды в августе 1914 года, когда мы с дедушкой вернулись с рыбалки, раздался стук в дверь. Бабушка пошла открывать, и мы услышали, как она взволнованно закричала со слезами в голосе. «Андрюша! Смотрите, кто здесь, дети, сам Андрюша!» Это был, действительно, мой отец. Когда он снял черную шляпу, я увидел, что его волосы зачесаны назад по новой моде. Его борода была подстрижена, как у врача, а не рабочего, и была на несколько тонов светлее волос. Он показался мне ниже ростом, менее сияющим, чем я его помню, но также более доступным, более похожим на отца, и я был рад. Поцеловав родителей и сестру, он подошел ко мне. Сначала он держал меня на расстоянии вытянутой руки и строго окинул меня взглядом. Видимо, я прошел испытание, потому что он поднял меня, обнял и попросил весь мир заметить, каким сильным и красивым растет его сын. Остальные смотрели на меня с явным удовольствием, словно я был их собственным творением.

Оказалось, что связи с войною была объявлена царская амнистия, которая и освободила моего отца, в результате чего он смог увидеть своих родителей и сына. Федор Пантелеевич был польщен и взволнован приездом моего отца. Его радость была искренней. Но к тому времени, как мы сели ужинать, старые неприятности, которые доставлял ему сын, вышли на первый план.

За ужином дед выпил стакан холодной воды, перекрестился, затем начал есть. Это был сигнал для всех нас, чтобы мы все потянулись ложками в тарелки с ухой. Некоторое время дедушка сдерживался и слушал обмен семейными новостями. Но, наконец, он высказал свое мнение:

"Ну, скажи мне, Андрей, что это за ерунда? Почему ты сидишь по тюрьмам как вор или разбойник? Что тебе нужно? Неужели у тебя нет чувства долга перед родиной, перед женой и детьми?"

Отец терпеливо слушал. Его лицо потемнело, но глаза загорелись. Его слова глубоко запали мне в память, и еще больше та искренность, которая была в его словах.

«Я скажу тебе, чего я хочу, папа», — сказал он. «Я надеюсь, ты поймешь, потому что я ценю твое доброе мнение. Я хочу, чтобы люди были свободны и счастливы. Я хочу, чтобы все люди жили как люди. Я хочу положить конец политическому деспотизму и экономическому рабству. Поверь мне, мне грустно, что мои близкие должны страдать. Но из-за жертв одного поколения многие будущие поколения будут счастливее и цивилизованнее.

«Ты должен понять меня, папа, потому что ты верующий человек и ставишь свечи своим любимым святым и мученикам. Разве они позволили своим женам и детям повлиять на них, чтобы они предпочли зло добру, порок добродетели? Наша любимая Россия — темная земля, где люди эксплуатируются и так много невежественных. Но это может быть и будет светлая земля, в которой не будет ни господ, ни рабов».

Хотя он говорил своему отцу, я чувствовал, что его слова были направлены ко мне. Они заставили меня дрожать, как голос священника на высокой мессе.

"Что касается моих детей," заключил отец, теперь глядя мне в глаза, "за пролитую нами кровь я хочу, чтобы не только они, но и все дети были счастливы".

Дедушка задумался на минуту. "Нет ничего плохого в том, что ты говоришь," ответил он, "но многое из того что говоришь, оставляет меня в недоумении. Я всегда служил царю и отечеству, как мой отец до меня и его отец до него. Но ты другой, Андрей. Ты видишь вещи под другим углом,с изнанки, так сказать. Но да простит тебя Бог, сынок, если ты не прав! Но я вижу, что ты искренне веришь в то, в чем тебя убедили, и ты должен действовать теперь в соответствии с этими убеждениями, но я сделаю все возможное, чтобы помогать твоим детям, пока я жив".

Долгое время, прежде чем я уснул той ночью, слова отца еще звучали в моем сознании.

На следующее утро мы пошли на патриотическую демонстрацию. Люди шли на демонстрации, играли оркестры, священники в развевающихся одеждах благословляли праздничную толпу людей, а уличные торговцы продавали мороженое, сладкую ароматную воду и мясные котлеты.

Но вскоре отец повел меня на скамейку в парке, где мы ели мороженое и разговаривали. "Итак, сын мой, мы снова встретились", - сказал он. "Помнишь, как ты пришел с мамой и Константином в тюрьму, и я помахал тебе с из окна башни?"

Он рассказал мне о жизни в тюрьме, которая, как он ее описывал, казалась

какой-то великолепной, о страданиях, преображенных товариществом и говорил о своей преданности великому делу.

«Я хочу, чтобы ты помнил это всю свою жизнь. Никогда не забывай, кто ты есть. Всегда оставайся верным борьбе за свободу. Нет жизни без свободы. Что бы со мной ни случилось, ты должен продолжать учиться, работать, бороться всеми средствами за то, что является идеалом. Мы либо свиньи, либо мы люди, и если мы люди, мы не можем подчиниться и стать рабами. Если я и мои товарищи падем, наши дети продолжат нашу работу».

В ту же ночь он уехал в Екатеринославль, купив мне маленькие подарки и пообещав, что мне удастся вернуться домой на Рождество.

В последующие месяцы время, казалось, тянулось очень медленно, мне так хотелось снова увидеть моих родителей и братьев. Мать писала радостные письма. Она писала, что теперь, когда папа снова стал работать, она больше не занимается шитьем, и все было так хорошо и приятно, что я едва ли узнаю наш дом.

По мере приближения рождественских праздников волнение от предстоящего визита нарастало. Бабушка трудилась над своими вареньями и пирогами. Большую свинью, которую специально откормили для этого случая, закололи, и в течение нескольких недель все были заняты варкой свинины, копчением окороков, измельчением мяса и овощей и набивкой их в толстые колбасы. Наконец, великий день настал, и сани, наполненные Кравченками, деревянными чемоданами и разными узлами, поехали на железнодорожную станцию. Мы с тетей Шурой сели в поезд; остальные махали нам с платформы в слезах, как будто мы отправлялись в Америку.

На Екатеринославском вокзале меня ожидала вся моя семья. Поцелуи, слезы, восклицания. К тому времени, как мы добрались до нашего дома, некоторый холодок между моими братьями и мной исчез, так что мы все говорили одновременно и обо всем. Мать не сводила с меня глаз. «Как ты хорошо выглядишь, Витя! Настоящий маленький мужчина! Такой здоровый и цветущий!» — повторяла она.

Рождественский ужин в тот вечер также стал страницей в моем личном альбоме воспоминаний детских сцен. Рождественская елка касалась потолка и сверкала, как зелено-золотая церковная колокольня. Стол был заставлен едой и напитками. Дети присоединились к тостам, выпивая сладкое вино из маленьких цветных бокалов. Моя бабушка по материнской линии, как старшая, предложила первый тост.

"Слава Богу, мы все живы и здоровы и вместе", - сказала она. "Я желаю вам всем, мои дорогие дети, того, чего вы больше всего хотели бы для себя!"

Затем отец встал, красивый и серьезный, как всегда, поднял свой бокал и сказал: "Я предлагаю выпить за всех тех, кто сегодня ночью сидит в тюрьме. Пусть их вера и моя в лучшую жизнь сбудутся!"

Бабушка сказала негромко: "Андрей, не надо этого при детях!", но она все же выпила этот тост вместе с остальными.

Часами вокруг рождественской елки мы пели русские и украинские народные песни, а также революционные песни, такие как «Вы пали жертвами» и «Марсельезу». Новый граммофон с огромным рогом был одним из доказательств процветания нашей семьи, и дети танцевали под его песни.

Между вином и общим оживлением, папа с увлечением декламировал стихотворения о жертвах и славе. Евгений задремал тем временем, и пока я смеялся над его семилетней слабостью с высоты своего девятилетнего возраста, я тоже уснул.

Я вернулся к дедушке в Александровск и прожил там еще восемнадцать месяцев, до конца учебного 1916 года, который завершил мой начальный курс обучения.

Выпуск из школы был для меня поистине памятным. Этот торжественный день начался с моей первой разрешенной стрижки. Должно быть моя кудрявая копна темных волос вызвала художника в парикмахере.

Я вышел с прической — ее элегантность подчеркивалась лихим вихром над моим левым глазом, — которая объявляла мою новую мужественность. Затем дедушка официально вручил мне студенческую форму с длинными брюками. Моя мечта сбылась! Здорово быть одиннадцатилетним и в центре внимания!

18

Федор Пантелеевич в своем мундире, со сверкающими медалями, привлек больше внимания на выпускном вечере, чем Щекатихин-старший. Бабушка была одета в черное шелковое платье и казалось двигалась в волнах лаванды и камфары. Тетя Шура была там, конечно, а также дядя Митя.

Еще одно волнение ожидало меня дома в тот вечер. Младший брат моего отца, мой дядя Петр, неожиданно приехал с фронта в отпуск.

Он был полной противоположностью моему отцу — беззаботный, жизнерадостный, полный шуток и проказ. Между дядей Петром и дедушкой не было той натянутости, которая омрачала отношения между Федором Пантелеевичем и его сыном Андреем. Я смутно чувствовал, с легким уколом ревности, что Петр был любимцем здесь. После того как я рассказал ему о прекрасных оценках, полученных мной на выпускных экзаменах, дядя Петя, усмехнувшись, сказал чтобы я подражал ему, а не своему отцу-крестоносцу. «Черт возьми, пусть другие спасают мир, Витя», —сказал он шутливо. «Будет с тебя, если спасешь себя. Живешь один раз».

Накануне отъезда домой мне разрешили сходить в цыганский табор, чтобы попрощаться с моими многочисленными друзьями. Я принес с собою несколько подарков: пачку табака для отца Сайдемана, трубку для самого Сайдемана и яркие ленты для его сестер. Это тоже было похоже на расставание с собственной семьей.

На следующее утро я вернулся в родной город и через несколько месяцев поступил в гимназию или среднюю школу. Наша семья воссоединилась впервые. Евгений посещал начальную школу, а Константин учился на втором курсе гимназии. Отец зарабатывал от 80 до 120 рублей в месяц, заработок для рабочего, который один обеспечивал всю семью с двумя сыновьями, получающими образование. Наконец, жизнь показалась и мне нормальной и обеспеченной.

Мать была счастливее и красивее, чем я когда-либо видел ее прежде. Но отец, по природе своей несколько угрюмый, был возбужден под спокойной наружностью. Казалось, он замечал больше, чем все остальные из нас, в грозовых облаках в русском небе.

ГЛАВА 3

СЛАВА И ГОЛОД

ЗИМА 1916 ГОДА зловеще катилась к свержению царской власти. Как липкий туман, ощущение приближающейся катастрофы пропитало рутину всего нашего существования.

Война шла очень плохо, и ропот становился все более открытым, более настойчивым. Повсюду распространялись слухи, что солдаты толпами дезертируют с фронтов, что дисциплина в армии падает. Даже в Екатеринославле повсюду можно было услышать темные слухи о монахе по имени Распутин, о взятках на высоких должностях, о голодных бунтах, о прогерманских сторонниках вокруг царицы-шпионки. Наши учителя не предпринимали каких-либо усилий, чтобы обуздать революционные разговоры старших мальчиков, а друзья отца шептали о необходимости расшевелить волнения в «массах».

После работы на заводе, отец едва успевал помыться, поесть и отдохнуть. Все его время занимали встречи, обсуждения, доклады посланцев из Петрограда или Киева. Чаще, чем когда-либо, наш дом теперь служил перевалочным пунктом для беглых и ссыльных из Сибири и районов Крайнего Севера. Снова и снова нас, детей, выпроваживали из гостиной, где угрюмые фабричные рабочие и местные интеллигенты часами спорили за запертыми дверями.

Однажды днем мои родители, отправившись на встречу со своим другом Парамоновым, только что бежавшим из тюрьмы, вернулись очень встревоженными. Мать плакала, а отец был мрачен и молчалив. Как один из матросов крейсера «Потемкин», чье восстание положило начало восстаниям 1905 года, этот Парамонов был в моих глазах героической фигурой. Он был крестным отцом моего младшего брата. В последующие дни я собрал воедино историю, которая осталась в моем сознании как символ революционности. Скамейка на уединенной тропинке в городском парке была согласована как место встречи, и несколько его товарищей встретили матроса там. Они были вместе всего несколько минут, когда несколько незнакомцев как будто невзначай прошли мимо. Подозревая, что это были полицейские в штатском, Парамонов поспешно попрощался и пробрался через кусты, надеясь перелезть через забор и уйти. Вскоре его друзья услышали выстрелы из пистолета. Парамонов был убит.

Несмотря на занятость, отец умудрялся проводить много вечеров, а и иногда все воскресенье со своими тремя сыновьями. Вместе мы читали книги Герцена, Толстого и других; отец брал некоторые отрывки в качестве текста, чтобы расширить свои взгляды на русское освобождение и человеческую

свободу. Его пылкий и, возможно, нереалистичный идеализм глубоко волновал меня. Это было на уровне религиозных чувств.

В это время я также завязал крепкую дружбу с одноклассником по фамилии Спиридонов, сыном учителя гимназии, и проводил много времени у него дома. Здесь я впервые познакомился с интеллигентным домом, где литература, музыка и театр казались такими же реальными и гораздо более важными, чем хлеб и работа. Старший Спиридонов направил наше жадное чтение в более широкое русло, не только среди русской классики, но и среди произведений Шекспира, Гете, Анатоля Франса, Кнута Гамсуна, Гюго, Флобера, Золя, Диккенса.

Оглядываясь назад, я поражаюсь масштабу и разнообразию моего чтения в ту раннюю пору моих умственных открытий. Каким-то образом красота и пафос книг, вместе с возвышенными надеждами моего отца, стали частью революции, охватившей одиннадцатилетнего мальчика. Казалось, что за несколько недель расстояние между литературой и реальностью, между словами и делами было преодолено.

Грозовые тучи революции разразились в последнюю неделю февраля 1917 года (начало марта по западному календарю). Даже те, кто были уверены в ее наступлении, были удивлены и потрясены ею. Революция, которая была тайным и полузапрещенным словом, внезапно оказалась у всех на виду, трагической и ужасной реальностью. Революция, которая казалась простым решением всех неурядиц, принесла с собой миллион новых неурядиц, некоторые из них были крупные, другие были помельче, такие как возникшая нехватка еды и одежды.

Швы привычной и налаженной жизни разошлись. Школы, фабрики, общественные учреждения утратили свои старые значения. Люди нашего города толпились на заснеженных улицах. Это было так, как будто дома, учреждения и мастерские вывернулись наизнанку, вывалив свое человеческое содержимое на площади и парки. Демонстрации, транспаранты, ликование, вспышки гнева, иногда перестрелки — и над всем этим, окутывая все это, были разговоры, разговоры, разговоры. Слова, сдерживаемые веками, прорвались наружу в страстной речи; глупой и вдохновенной, пронзительной и мстительной речи.

Лозунги наполняли воздух и, казалось, имели свою собственную размножающуюся жизнь. Долой войну! Войну до победного конца! Земля и свобода! Заводы — рабочим! Давай Учредительное Собрание! Вся власть

Советам! Новые слова и новые имена взрывались и трещали в наших умах, как фейерверки. Большевики, меньшевики, кадеты, эсеры, анархисты... Керенский, Милюков, Ленин, Троцкий... Красная гвардия, белые, партизаны...

На главных площадях росли трибуны. Ораторы сменяли друг друга в непрерывной последоательности. Мужчины и женщины, которые прежде никогда не говорили громче робкого шепота, теперь чувствовали потребность кричать, проповедовать, ругать и декламировать. Приличного вида образованные мужчины уступали дорогу грубым солдатам и рабочим. «Правильно! Правильно» — гремела толпа или «Долой! Вон! — Долой его! Вон его!»

Однажды, в день демонстраций под частоколом самодельных знамен, мой отец выступил с трибуны. Казалось, все знали его имя. «Друзья и братья! Рабочие, крестьяне, интеллигенция и солдаты!» начал он.

Это был первый раз, когда я слышал его публичное выступление, и я едва мог сдержать свое волнение. Его голос был звучным, и он, казалось, преобразился, так что мне пришлось уверить себя, что это действительно мой собственный отец. Слова и идеи, которые были нашими собственными, почти семейной тайной, чудесным образом стали публичными, так что каждый стал частью семьи. Он рассказывал о тюрьме и ссылке, о героической жизни товарища Парамонова, о свободе, о прекрасном будущем, которое ожидает всех нас. Он призывал к порядку и самообладанию и предупреждал о тех, кто хочет утопить революцию в крови. Он говорил с изумительной простотой и искренностью, как будто перед ним были его сыновья, умноженные на сотни.

Когда он сошел с трибуны и оркестр заиграл Марсельезу, я бросился к нему, проталкиваясь локтями сквозь его восхищенных друзей, и крикнул: «Ура, папа!» Отец рассмеялся во весь голос.

«Вот видишь, Витенька, — сказал он, — теперь люди будут свободны. За это стоило бороться!» Я тогда понял, или, может быть, только позже понял, что

он оправдывает себя, объясняя годы нужды и беспокойства, которые он наслал на свою семью.

Однако медовый месяц революции вскоре перешел в раздоры, обвинения, страдания. Энтузиазм уступил место гневу и горечи. Камни, кулаки, револьверные выстрелы все чаще стали примешиваться ко словам и спорам. В то же время еды и всего другого необходимого становилось все меньше. Дрова, уголь и керосин, казалось, исчезли; некоторые фабрики и заводы работали с перебоями, другие вообще закрылись. «Вот вам и революция! Дождались!» шептались теперь многие люди.

Мой отец становился все более подавленным, более молчаливым и угрюмым с каждым днем. Он стал более раздражительным, чем я когда-либо видел его в годы опасности и жертв. Когда я настойчиво просил его объяснить множество партий и программ, он, казалось, смущался и не знал что сказать.

«Это слишком сложно», — говорил он. «Ты недостаточно взрослый, чтобы понять. Это борьба за власть. Неважно, за что выступает любая партия, но будет плохо, если одна партия победит. Это будет означать только замена старых господ на новых -- правления силой, а не свободной волей людей. Не за это революционеры отдали свои жизни».

В другой раз, после того как мы послушали меньшевиков, большевиков, кадетов и других в бывшем Горном институте, а ныне Екатеринославском Совете, он грустно покачал головой и сказал:

«Я боролся за свержение царской власти. За свободу, за изобилие, а не за насилие и месть. У нас должны быть свободные выборы и много партий. Если одна партия будет господствовать, то это конец».

«А ты кто, папа? Меньшевик, большевик, эсер или кто?»

«Ни один из них, Витя. Всегда помни об этом: ни один лозунг, каким бы привлекательным он ни был, не является показателем реальной политики любой политической партии, когда она единолично приходит к власти».

Отец отправился агитировать на Румынский фронт в составе группы рабочих-агитаторов. Он был там в ноябре, когда большевики в Петрограде во главе с Лениным и Троцким захватили власть над государством и революцией. Он вернулся с известием, что никакого фронта больше нет, что солдаты просто

бросают оружие и бегут домой. Но мы уже знали это. Мы с Котей и нашими друзьями из гимназии проводили целые часы на железнодорожной станции. Каждый поезд с юга и запада был набит солдатами. Они толпились на крышах вагонов, висели на окнах, цеплялись за прутья под вагонами и переполняли локомотивы. Они пели песни, ругались, ссорились, выкрикивали лозунги. Мы, молодежь, не могли понять смысла в этом хаосе, а наши старшие казались такими же сбитыми с толку, как и мы.

Единственными несомненными фактами, надвигающимися на нас, как сжимающиеся стены в романе ужасов, были голод и холод. Деньги обесценились, а полки в магазинах опустели. Былое изобилие исчезло. Тысячи простых вещей, которые прежде до революции считались само собой разумеющимися, — товары в магазинах, уборка улиц, телефонная связь, водоснабжение, транспорт — внезапно стали труднодоступными, очень дорогими, а иногда и прекратившими свое существование. Распространился тиф, и ежедневные похороны превратились в почти каждодневную рутинную процессию.

Насколько я помню, бабушка прежде до революции сохраняла корки и остатки хлеба. Она поджаривала их и отдавала в свой любимый монастырь и приюты. Теперь мы были благодарны за ее бережливую привычку. Теперь, после революции, мы дорожили каждой коркой хлеба для себя. Веселый, теплый свет лампы, казалось, ушел в прошлое; дымный фитиль, опущенный в блюдце с маслом, был единственным источником света в долгие зимние вечера. При мерцающем полумраке фитиля я читал вслух для бабушки. Она любила Некрасова, Толстого и Тургенева. Время от времени она повторяла за мной сочную фразу, пропуская предложения, которые следовали.

Однажды ночью, когда я читал отрывок из Тургенева, я заметил, как ее рука тянется к моей. Я продолжал читать. Когда ее рука ослабла, я решил, что она уснула, и я собрался было на цыпочках выйти из комнаты, чтобы не разбудить ее. Но, когда я поднял глаза, я увидел, что ее глаза открыты, и что она странно тиха. Улыбка застыла на ее губах. "Бабушка! Бабушка!" - закричал я. Тут прибежали и другие.

Смерть моей бабушки по материнской линии также остается для меня частью моего революционного опыта. Она была энергичной женщиной, пока не оказалась между революционными камнями голода и холода. Спиридонов и я несколько часов искали по городу, пока не нашли несколько

свежих цветов для ее гроба. Нести ее на упокой без цветов казалось нам неприличным. На севере России, советский большевистский режим укрепился за несколько месяцев. В остальной части страны, и особенно в нашей Украине, гражданская война, жестокая, кровавая, бессмысленная в своей путанице длилась несколько лет. Контроль над Екатеринославлем переходил от одной стороны к другой и обратно почти каждый месяц, иногда по нескольку раз в течение одной недели. Мы перестали пытаться вспомнить, кто представлял власть. Красные, белые, зеленые, петлюровцы, отряды гетмана Скоропадского, батьки Махно, Григорьева. Несколько месяцев мы были под немецкой оккупацией. Затем немцы ушли, и волны соперничающих войск и отрядов, большинство из которых были в лохмотьях и все они презирали свою жизнь и жизнь других, проходили взад и вперед по изможденному телу нашего города. Некоторые картины остались в моей памяти, как страницы, вырванные из книги: два солдата в русской царской униформе на лошадях мчатся по проспекту Пушкина возле нашего дома, преследуемые двумя китайскими всадниками, один из которых размахивал саблей, другой — винтовкой. Всадник-китаец с винтовкой резко останавливается, целится из ружья и стреляет. Один из белых солдат падает, и его лошадь останавливается. Другой солдат останавливается, чтобы посмотреть, и эта пауза позволяет второму китайцу догнать его. Он дико рубит с неестественным воплем, и бесформенная масса кровавой плоти падает на булыжники. Два тела остаются гротескно неподвижными во внезапной тишине.

Однажды в ходе прогулки, во время которой мы горячо спорили о книге,которую мы читали вместе, Котя и я пришли на станцию Горьяновона другом конце города. Предыдущая ночь была наполнена звуками стрельбы, хотя никто не знал, кто в кого стрелял. Теперь станция была усеяна трупами. В другой раз, поздно ночью я услышал шум снаружи нашего дома. Я с любопытством выбежал. Снег блестит в лунном свете, и где-то лает собака. Вдруг мимо меня пробегает огромный человек и матерится, как будто пьяный, а через несколько секунд мимо пробегают многие другие люди, размахивая ножами, палками, винтовками. Я остаюсь на некоторое время, слушая выстрелы вдалеке и крики, разрывающие ночь. На следующее утро все говорят о банде и ее главаре по имени Белошапка.

Не было дня без ужасных историй о разбоях, бандитских налетах на банки, ограблениях поездов. Каждое новое правительство называло своих

предшественников «бандитами», но вскоре преемники в свою очередь обвиняли их в «бандитизме». В течение недели, может быть, дольше, все были в восторге от правительства Махно или анархистов, которые теперь укрепились в Екатеринославле; затем красные вернулись снова, и Махно как будто никогда и не было.

Нелегко передать тот период, как он запечетлелся в сознание мальчика. Воспоминания были отредактированы более поздним знанием и понимании ем. Но удивительный факт, когда я оглядываюсь назад, заключается в том, что в условиях страшной гражданской войны, убийств и опасностей повседневная жизнь каким-то образом продолжалась.

Мы работали, учились, ели, спали, читали и смеялись. Мы заводили новых друзей и даже строили планы на будущее. Потрясения стали для нас как бы привычной и естественной вещью, почти образом жизни; это был новый элемент, в котором протекала рутина нашего повседневного существования.

Жизнь, воля к выживанию и привычка к выживанию были сильнее всякого насилия.

2

Телеграмма из Александровска была подписана тетей Шурой. Дядя Петр, случайно, не у нас? Отец тут же телеграфировал, что его здесь нет. Через несколько дней мы получили письмо: Петр найден: мертвым, убитым. Если бы мы смогли приехать на похороны, это помогло бы старикам пережить трагедию.

Отец отправился в путь без промедления, хотя у него было мало надежды добраться до похорон в Александровск. Посоветовавшись с мамой, он решил взять с собой Котю и меня — вид их маленьких внуков мог бы быть полезен для убитых горем родителей.

Петр не принимал участия в революционных событиях. Он был далек от политики. Ему это казалось досадным прерыванием жизни, которая могла бы быть достаточно хорошей, несмотря на всю ее краткость, если бы только люди перестали суетиться вокруг нее, реформируя ее. После возвращения с фронта он снял мундир и получил должность директора небольшого банка в Александровске. Мы задавались вопросом, садясь в поезд, как он встретил свою смерть.

Поезд был переполнен до удушья. Миллионы людей в это время, или так казалось, путешествовали — перебегали от одного огня к другому, ища безопасности посреди всеобщего народного бедствия, держась на несколько шагов впереди очередной опасности или слепо бросаясь ей навстречу. Пассажиры и их багаж заполняли каждый сантиметр пространства. Люди сидели на верхних спальных полках, их грязные ботинки и обмотанные тряпками ноги болтались среди лиц на нижних. Воздух был тяжелым и зловонным.

На станции Славгород я пошел в туалет за водой. Когда я вернулся, у входа в наш вагон стоял человек с обнаженным маузером. Я испугался и закричал: «Папа!» «К черту твоего папу! Садись и заткнись, а то я тебе мозги вышибу!» — прорычал мужчина.

Поезд тронулся, и я пересел к отцу. Все пассажиры подняли руки вверх над головой. Дети испуганно хныкали. По обоим концам вагона стояли вооруженные люди, а еще несколько других собирали деньги и ценности с пассажиров, систематически, купе за купе. Вот они добрались и до нашего. «Что у тебя? Давай сюда!» — сказал один из бандитов моему отцу.

«Что у меня?» — спокойно ответил он, улыбаясь, — «часы, несколько рублей и двое моих мальчиков».

Когда ограбление было завершено, поезд снова замедлил ход, и разбойники выпрыгнули. Из некоторых вагонов раздались выстрелы. Я видел, как один из грабителей остановился на месте, словно от удивления, а затем медленно упал. Его застрелил пассажир, прежде чем он успел сойти. Его труп все еще был в поезде, когда мы добрались до места назначения. Очевидно, что ограбление было организовано людьми, которые были новичками в этом деле.

Я с трудом узнал прежний Александровск. Его очарование исчезло за эти два года; не стало его старинной опрятности; он казался растрепанным и покореженным от всего происшедшего. Вокзал казалось был заброшен. Уличные фонари были разбиты. Даже снег казался грязным. Когда отец спросил кого-то прохожего, «кто сейчас у власти», незнакомец пожал плечами и с отвращением пробормотал: «Черт его знает!»

Дом, в котором я провел самые счастливые годы своего детства, казалось, сжался, и стал жалким и старым. Мы приехали слишком поздно на

похороны; письмо тети Шуры не пришло к нам вовремя. Она что-то шила в углу, глаза ее были красными, щеки покрыты слезами. Бабушка Наталья Максимовна обняла нас и попыталась улыбнуться, как прежде, но прежнего блеска в ее глазах уже не было. Она недолго сдерживала себя, затем заплакала и запричитала, глядя на лампаду с иконой и крестясь.

"Твоего доброго дяди Пети больше нет, Витя! Моего сыночка Пети больше нет, больше нет! Его убили, боже мой, нашего Пети больше нет!"

Дедушка Федор Пантелеевич сидел за столом и не замечал нас. Я едва мог поверить, что это мой сильный, бодрый дедушка. Как будто что-то сломалось внутри него, сделав его заболевшим и постаревшим. Через некоторое время он взглянул на нас, кивнул нам и медленно поднялся.

"Ну что, Андрей, - сказал он с горечью, - то, чего ты добивался, наступило. Вот она твоя драгоценная революция! Людей убивают, расстреливают, грабят. Мучают народ голодом и холодом! Это убийство, преступление, а не революция!"

Он повысил голос, полный горечи и гнева. «Сукины дети, зачем они убили Петра? Зачем?» — закричал он, схватив моего отца за плечи и встряхнув его. «Немцы не убивали нас, как это делают свои русские. Ну спасибо, спасибо, Андрей, за твою дорогую революцию».

Отец молчал, повесив голову. Ему нечего было сказать в ответ. Впервые его семья увидела, как Федор Пантелеевич плачет. Слезы текли по его убеленной бороде. Он медленно подошел к иконному углу— прямая осанка бывшего воина исчезла — и опустился на колени.

«Помоги, Господи, заблудшим агнецям Твоим. Да не убьет брат брата, а сын отца. Возврати людям Твоим, Святая Дева, чувство вразумления, и да не погибнут они».

Он встал и вытер слезы со щек. «Ну, Андрей, да простит тебя Бог, как прощает тебя твой отец», и обращаясь к жене, сказал: «Наташа, накорми детей и уложи их спать».

Затем тетя Шура, рыдая, рассказала нам про убийство брата. Однажды вечером он не вернулся из банка. Предположив, что он, возможно, по какой-то причине решил навестить нас в Екатеринославле, Шура отправила эту телеграмму. Через четыре дня после его исчезновения местный крестьянин

нашел труп Петра недалеко от железнодорожных путей далеко за городом. В рот ему воткнули платок, руки связали за спиной, в голове было несколько пулевых отверстий. Ключи от банка, которые он обычно носил с собой, исчезли.

"Сердце его не билось, но часы все еще тикали... часы, которые так нравились Пете", - снова заплакала Шура.

По-видимому, эти грабители банка, захватив ключи, решили убить Петра, чтобы уничтожить свидетеля; возможно, это были люди, которых он узнал.

Мы вернулись домой с тяжелым сердцем. Дедушка же так и не оправился после убийства младшего сына. Несколько месяцев спустя он умер, а вскоре за ним последовала его жена.

3

Имение Ильина, близ Корбино, на Днепре было одним из самых богатых и красивых в нашей области. Оно охватывало тысячи акров плодородной пшеницы и пастбищ, лесов, фруктовых садов, просторных конюшен и молочных ферм. Широкие гравийные дороги элегантно шли между тенистыми деревьями к большому особняку, где когда-то жили помещики. Река в этом месте теряет часть своей величественной томности и прокладывает себе путь под крутыми и скалистыми утесами; природа превзошла саму себя, чтобы придать этому уголку сельской местности разнообразие и почти театральную красоту.

После революции, большая часть земли была экспроприирована и разделена между крестьянами. Но ядро имения — около пятисот акров пахотной земли, сады, большой пруд для разведения рыбы, особняк Ильина и другие постройки — в начале 1919 года было превращено в сельскохозяйственную общину или «коммуну» для городских рабочих. Его поселенцы, около ста семей из Екатеринославля, назвали его Набат.

Кравченки были среди этих семей, и в течение почти четырех лет, пока мне не исполнилось семнадцать, коммуна была нашим новым домом. Мой отец, по сути, был одним из инициаторов проекта и привлек в него многих механиков со своей фабрики. Областной Совет одобрил идею, выделил землю и предоставил некоторые припасы и скот в дополнение к тому, что все еще оставалось на старом поместье.

В городе производство было почти полностью остановлено из-за отсутствия сырья, а нехватка продовольствия достигла уровня, близкого к голоду. Уход на землю давал надежду на выживание. В это начинание также входили духовный голод. В пределах одной кооперативной фермы некоторые из этих людей жаждали воплотить в жизнь хотя бы несколько, из мечтаний, которые наполняли их годы революционного пыла. Они надеялись, что набат прозвучит как сигнал тревоги и напоминание об идеалах братства, которые, казалось, были забыты в пожаре братоубийственной войны, в то время, когда коммунисты через свою Чеку производили массовые аресты и убивали людей по малейшему поводу.

Моего отца неоднократно приглашали вступить в Коммунистическую партию. Он отказывался. Он не выносит диктатуры и террора, сказал он резко, даже под красным флагом. Он видел, как рабочие и интеллигенция, которые держались в стороне от революционной борьбы при царской власти, вступали в ком. партию теперь, когда она, казалось, шла к постоянной власти; некоторые из них придумывали себе романтические революционные биографии. Это только укрепило решимость отца оставаться «внештатным» в борьбе за лучший мир.

Городские рабочие привносили в свои сельскохозяйственные работы свой энтузиазм, который имел в себе элемент отчаяния. Они хотели сделать так чтобы их семьи имели еду, конечно, но также и оправдать свои прошлые жертвы ради своего дела. Местные крестьяне в бывшем поместье Ильина и рядом с ним издевались над фабричными, ставшими крестьянами. «Теперь мы посмотрим, как «коммунисты» будут обрабатывать нашу землю», говорили они, подмигивая.

Их насмешки были добродушными, скрывавшими дружелюбие. Многие из них старались изо всех сил, чтобы давать нам советы и помогать нам на каждом шагу. Местное крестьянство не только не возмущалось экспериментом, но и взяло его под своего рода неофициальное добрососедское покровительство. Часто они брались за наши дела, когда работа была самой тяжелой, и помогли сделать этот первый год успешным. Хотя знаменитая сельскохозяйственная школа Ерастовка находилась далеко от коммуны, некоторые из ее опытных агрономов также пришли нам на помощь.

Для молодежи жизнь в коммуне была очень интересной. Я наслаждался работой, сельской жизнью, чувством совместного дела с товарищами. Наши родители беспокоились о пренебрежении нашим образованием и пытались компенсировать это импровизированным обучением, но никто из нас не разделял их тревог по этому поводу. Плавание, рыбалка, катание на лодке, игры, исследование окрестностей заполняли промежутки существования, которое было в основном тяжелым трудом. Любовь к лошадям, с которой я, кажется, родился, теперь нашла бурное выражение. Грачев, конюх, нашел во мне усердного помощника. Жизнь крестьян также привлекала меня. Я подружился с ними и провел много вечеров в их домах, с мальчиками и девочками моего возраста.

Гражданская война, конечно, была всегда рядом. Снова и снова она нарушала нашу жизнь и несколько раз грозила уничтожить коммуну. Константин и я гордились тем, что теперь мы достаточно взрослые, чтобы принять участие в вооруженных отрядах самообороны, сформированных отцом и другими руководителями, и даже мой младший брат Евгений научился стрелять. То красные, то белые, то снова какая-то неопознанная банда разбойников вторгались в наши земли, требуя еды, одеял или даже лошадей. Демонстрация силы, плюс готовность поделиться теми припасами, которые мы могли выделить, спасли коммуну от крупных мародеров.

Один инцидент неизгладимо запечатлелся в моей памяти. В то утро я пас лошадей на возвышенности, которая давала мне такой же ясный вид, как если бы все это происходило на экране кинотеатра. Около трехсот кавалеристов, в основном казаков и других белых, внезапно поскакали с главной дороги через наши пшеничные поля в сторону реки. За ними, преследуя по горячим следам, шло гораздо большее количество красных. Безнадежно загнанные в угол, белые бросились прямо со скалы в реку, где они попытались переплыть. Но преследователи, у которых на краю скалы были установлены пулеметы, выкосили их почти до последнего человека.

Мы настолько привыкли находить тела, выброшенные на коммуну или рядом с ней, что уже не упоминали о таких случаях.

Однажды ближе к сумеркам осеннего дня, после нашего первого урожая, Грачев и я были в одной из конюшен, когда показалась длинная крестьянская повозка, запряженная двумя лошадьми. В ней находились четверо мужчин и женщина. Всадники и лошади были покрыты коркой пыли

и пота. Пулемет был установлен сзади повозки. Женщина, которой было около тридцати, и она была хороша собой, носила знаки различия медсестры; один из мужчин был в гражданской одежде, двое других в форме Чеки, новой и уже страшной советской тайной полиции; четвертый, крупный, грубый на вид парень, носил матросскую униформу.

Гражданский представился Лихомановым — тем самым Лихомановым,

который позже, будучи председателем Екатеринославского губернского комитета, станет значительной силой в нашем регионе. Он сказал, что отряд белых напал на их след и что им нужны свежие лошади, чтобы уйти. Нет, не было времени советоваться с кем-либо, но если мы хотим вернуть своих лошадей, мы можем доехать до Каменского.

Мы согласились на эти договоренности, и вскоре мы, семь человек, были в повозке, нахлестывали лошадей и мчались по дороге. Мы ехали так быстро, что я едва различал какие-то обломки на дороге, которые были распластанными трупами. Лихоманов сказал нам, что это были в основном красногвардейцы, что здесь в последние несколько дней был большой бой.

«Мы с этими мерзавцами расправимся!» — время от времени выкрикивал матрос. «Мы распорем им животы, сукинам детям!»

Не было никаких неприятных инцидентов, пока мы не проехали город Улы, и я даже начал задаваться вопросом, была ли вообще опасность, от которой мы бежали, во многом воображаемой. За Улами мы свернули на дорогу, которая огибала реку. Мы ехали десять или пятнадцать минут, когда услышали стук копыт скачущих всадников далеко позади нас и поняли, что около дюжины человек гонятся за нами. Мы могли различить крики и знали, не слыша слов, что нам приказывают остановиться. Наш матрос, изрыгая ругательства, бросился к пулемету и открыл огонь. Мы видели, как некоторые из преследователей упали с лошадей. Оставшиеся в живых, по-видимому, решили прекратить погоню.

Мы добрались до Каменского той ночью и остановились в небольшом доме, где Лихоманов, очевидно, был известен. «Ты будешь спать в одной комнате с медсестрой», — сказал он мне. «Ты еще ребенок». Грачев и матрос, которые должны были по очереди охранять повозку и лошадей, были отведены в соседнюю комнату. Я вышел, чтобы дать медсестре возможность лечь спать, затем разделся по очереди в темноте и вскоре крепко заснул.

Должно быть, прошло несколько часов, когда меня разбудил шум и возбужденные голоса. Когда я стряхивал сон, я слышал, как медсестра кричала сдавленным истерическим голосом: «Оставь меня, скотина, а то я весь дом разбужу! Уйди, я тебе говорю!» В комнату проникало достаточно лунного света, чтобы я мог увидеть, как наш матрос, полуодетый, с искаженными от похоти чертами лица, пытался изнасиловать женщину. Она боролась из всех сил, ее волосы были растрепаны, ее грудь была обнажена там, где он порвал ее блузку.

Когда моряк увидел, что я сижу в постели, он отпустил ее и выбежал, ругаясь и хлопая дверью. «Грязная буржуазия!» — услышал я его бормотание. Медсестра плакала.

«Такие люди ! Такие ужасные люди!» — рыдала она. «И это материал, из которого мы должны сделать революцию».

Почти так же расстроенный, как и она, я предложила позвать Лихоманова и остальных.«Нет, нам лучше не беспокоить Лихоманова», — сказала она. «У него и без этого достаточно забот. Он один из настоящих, настоящий идеалист».

Ни один из нас не заснул. Мы все еще разговаривали — точнее, она говорила, я слушал, — когда наступил рассвет. Она была дочерью высокопоставленного царского чиновника, — сказала она мне, добавив: «Когда произошла революция, я встретила ее всем сердцем. Всю свою жизнь я любила простых людей и хотела им помочь. Именно ради них я порвала с семьей и поступила на курсы в медучилище в Харькове. Теперь я в Чеке. Мне не нравится многое из того, что они делают, но моя работа — лечить, а не расстреливать.

«Мы не должны терять веру или отказываться от борьбы тысяч честных людей, таких как Лихоманов, из-за темных и зверских существ, таких как человек, который напал на меня сегодня ночью. На один такой грязный эпизод приходится сотня героических».

Когда мы с Грачевым возвращались домой в коммуну тем же утром, я рассказал ему, что произошло ночью. Он был простым рабочим и мало что понимал из того, что происходит в нашей стране. Но то, что он сказал тем утром, у меня были причины вспоминать в последующие годы.

«Да, Витя, эта медсестра была права. В революции, как и во всем, есть и хорошее, и плохое. Вопрос в том: кто окажется наверху, когда революция уляжется, честные люди или звери, Лихомановы или ложные матросы».

Теперь, когда мы не спешили, мы могли видеть трупы, мимо которых прошли предыдущим вечером. В некоторых местах были холмы свежеперекопанной земли, где местные крестьяне уже закопали некоторых. Многие трупы были голыми, и только некоторые были в сапогах - мертвых раздевали, чтобы одеть живых.

4

В конце второго урожая коммуны, осенью 1920 года, и Константин, и я были зачислены в Ерастовскую сельскохозяйственную школу в Комиссаровке.

Учреждение было основано и щедро одарено за поколение раньше, Ерастом Бродским, крупным помещиком в этом регионе. Он выделил его из своего собственного поместья, возведя красивые здания на холме с видом на прекрасное озеро. Архитектура в некоторых залах была адаптирована из традиционных украинских особняков; были фрески знаменитых художников, прекрасные мозаики на народные темы и, конечно, новейшая импортная сельскохозяйственная техника.

Школа сильно пострадала от рук грабителей и воров. Несколько ее построек и общежитий были разрушены до неузнаваемости: мебель и даже стеновые и потолочные балки были увезены в качестве топлива; сельхоз.техника была в жалком состоянии. Большинство знаменитого скота Ерастовки – завоевавшего призы на континентальных выставках в Вене и Праге – было расхищено.

Но многие из старых учителей остались на своих местах, а новые присоединились к школе, так что около шестисот студентов со всех уголков России снова учились и применяли на практике современное сельское хозяйство здесь, несмотря на повсеместную нехватку продовольствия и отсутствие материалов.

Продовольствие, выращенное на территории школы, помогали им выжить, а общие трудности, казалось, сближали учителей и учеников. Школа находилась подчинялась советской власти, но в учебе было мало политики. Считалось само собой разумеющимся, что, готовясь заставить русскую землю

приносить больше и лучше пропитания для русского народа, мы делаем все, чего «революция» от нас ожидала.

Мы с братом и еще одним учеником по имени Федор из Туапсе жили вместе в доме местного крестьянина. Зима быстро пролетела, и с приходом весны уроки в классе сменились практической работой на школьном участке. Позже я понял, что узнал гораздо больше, чем то подозревал; поверхностное знакомство с научным земледелием должно было сослужить мне хорошую службу в период коллективизации.

С каждым днем нам становилось все труднее добывать еду. Деньги потеряли всякую ценность, а то, что все еще продолжалось, было на примитивном уровне обмена. Мы не могли рассчитывать даже на небольшую помощь от коммуны, где идеальное видение кооперативного предприятия угасало в препирательствах и ожесточении. Все больше и больше поселенцев дезертировали. Запасы хлеба были настолько малы, что пришлось ввести строжайшее нормирование. Бедность, как оказалось, была самой неподходящей кумой для вновь зарождающегося мира, даже в крошечных масштабах Набата.

Но мальчики в раннем подростковом возрасте не боялись неприятностей. Мы привыкли обходиться малым и добывать себе пропитание. Той весной эшелоны с войсками Красной Армии проходили через Комиссаровку на фронт, где шла война с поляками. Нашей задачей было отделить солдат от части их обильных запасов продовольствия, и эту задачу трое соседей по комнате в Эрастовке решили вполне.

В свободные дни, а иногда и в школьные дни, когда нам удавалось выкроить несколько часов, мы открывали коммерцию на железнодорожной станции под названием «Студенческая передвижная парикмахерская». Так гласила надпись на большом плакате, написанная Котиным, самым художественным почерком. Под ней было начертано сообщение: «Бритье и стрижка... Хорошее и добросовестное обслуживание... . . . Платите продуктами». Наконец появилась подпись с оттенком неприкрытого юмора: «Артель бесполезного труда». Федор, который где-то во время своих путешествий научился этому искусству, брил. Братья Кравченко занимались стрижкой. «Не волнуйтесь, — наставлял нас Федор, — это как косить сено — длинные легкие движения, а потом ровняйте по стеблю».

Красноармейцы толпились вокруг молодых парикмахеров-любителей, подшучивали над ними — и платили за нашу стрижку со щедростью простых людей. Часто мы привозили от них достаточно хлеба, свинины, овощей и других продуктов, чтобы поделиться с друзьями. Иногда по воскресеньям открытая студенческая передвижная парикмахерская поднимала свою вывеску на городском базаре и процветала. Крестьяне платили яйцами, картофелем, иногда даже курицей.

Однако слишком скоро это золотое дно иссякло. Ни у кого больше не стало еды, чтобы обменять на парикмахерские услуги. Надвигался великий голод 1921 года, и крестьяне, угадав его признаки, стали бережливыми и угрюмыми.

Поскольку в школе нечего было есть, мы вернулись в коммуну и обнаружили, что ранний энтузиазм сгорел в золе тихого отчаяния. Осталось лишь несколько из первых поселенцев, но и они, по большей части, устроились на работу на близлежащие заводы.

Мне было уже шестнадцать. В Корбино, в нескольких милях от Набата, был небольшой чугунолитейный завод. Там я нашел работу учеником слесаря. Это был первый раз, когда я выполнял тяжелый физический труд на платной основе. Я почувствовал себя «по-настоящему взрослым», наконец вернувшись домой в своей заляпанной маслом одежде, грязный и изнывающий от усталости.

Гражданская война почти закончилась, и советские одержали безусловныую победу. Большевистские партийные агитаторы иногда приходили на завод и произносили речи перед нами на обеденных собраниях или после работы. Рабочие постарше в большинстве своем игнорировали их, но молодые мужчины и женщины внимательно слушали. Для нас это было надеждой во времена всеобщего бедствия и пессимизма. Также был заводской клуб, украшенный литографиями Ленина, Троцкого, Маркса и Энгельса и с лозунгами, намалеванными белыми буквами на полосках красного холста.

Я жадно слушал лекторов из центра и даже набирался смелости задавать вопросы. Обещанное будущее было более притягательным на фоне повседневных трудностей. Я оказался между скептицизмом дома и собственной жаждой веры. Я понимал возражения отца против карательных коммунистических методов, но со временем моему молодому уму

показалось, что он был слишком строг в своей добродетели; что его идеализм был каким-то «старомодным».

«Почему бы тебе не прийти в клуб и не послушать лекции?» Я как-то спросил его. Я жаждал увлечь его за собой в новую жизнь. "Что они могут мне рассказать?" - отвечал он грустно. "Я забыл больше, чем они знают. Нет, спасибо, яйцо не учит курицу".

Летом 1921 года голод был уже повсюду, а вместе с ним и

брат голода — эпидемия тиф. Им суждено было унести много миллионов жизней, прежде чем он кончился. После долгих лет гражданской войны и вражды мы столкнулись с голодом в его самых элементарных и жестоких формах.

Голод был сосредоточен в регионах Поволжья, но его костлявые пальцы

мрачно тянулись за Днепр. Районы самого сильного голода совпали в общем с районами самой сильной гражданской войны; это было как будто пропитанная кровью земля восстала против такой долгой кровавой диеты.

Нет слов, чтобы описать страдания и ужас. Люди смотрели на все живое — лошадей, собак, кошек, домашних животных — с жадным отчаянием. Скот, который не был забит, умер от голода и был съеден, несмотря на официальные предупреждения о чуме. Деревья были очищены от коры, которую заваривали для «чая» или «супа». Невыделанную кожу жевали для пропитания. Поля были очищены от последнего стебля соломы и травинки. Истории о крестьянах, поедающих своих собственных мертвецов, стали более частыми; и, к сожалению, они часто были правдой - я знал о таких случаях в Романково, Улы, Панковке и других соседних деревнях

Смерть — раздутая, мертвенная, уродливая смерть — стала обычным фактом в нашей жизни. Все были слишком глубоко озабочены собственным выживанием, чтобы замечать или заботиться о других. Хорошие люди, которые прежде не могли видеть, как страдают другие, теперь закапывали свою еду, чтобы продлить собственную жизнь на несколько недель или месяцев, не думая о соседях, которые опухали и умирали от голода вокруг них.

Я был сильным и здоровым и нуждался в небольшом количестве пищи, чтобы поддерживать свою жизнь. С другим мальчиком из коммуны, Сеней, я

отправился на поезде на север в Полтавскую губернию в поисках еды. Мы взяли с собой все, что можно было обменять на хлеб: старую одежду, серебряные ложки, остатки украшений, щетки и другие предметы домашнего обихода. Деньги теперь ничего не значили, но вещи могли быть обменяны, если повезет.

Через несколько дней мы добрались до Прилук и решили попытать счастья там. Сотни людей приехали сюда с той же целью, и конкуренция была жестокой. Мы стояли весь день на рыночной площади, наш бедный товар мы

разложили на земле и умоляли крестьян осмотреть эти сокровища. Вечером мы пошли по деревням, от дома к дому. Помогло то, что мы оба были юны; также помогло и то, что я мог разговаривать с крестьянами на их родном украинском языке.

Каждый день мы избавлялись от нескольких вещей и видели, как наши мешки наполнялись крупой, мукой, горохом, фасолью. Ночью мы без труда находили приют в крестьянских домах, особенно если мы обращались через девушек нашего возраста. В обмен на кольца и дешевые броши, девушки умудрялись достать нам соль, сахар, подсолнечное масло, солонину и другие предметы роскоши.

Сеня и я были счастливее любых финансистов, заключивших сделку на десять миллионов долларов. Мы продлевали нашим семьям месяцы жизни. Поезд был переполнен мужчинами, женщинами и детьми всех возрастов, все возвращались в голодные регионы со своими драгоценными мешками и узлами. Мы не смели закрывать глаза из-за страха, что нас могут ограбить или обократь. Поздно ночью на станции Знаменка солдаты и проводники приказали нам всем выйти. Нас согнали в зал ожидания, уже битком набитый несчастными людьми. Никто не имел ни малейшего понятия, почему они опорожнили вагоны поезда. Все с воловьим терпением, рожденным долгими страданиями и притупившимися чувствами, ждали другой поезд; когда он прибыл, только более сильные и ловкие успевали сесть в него. Мы с Сеней остались.

Масляные фитили были единственным источником света в грязном помещении станции. Толпа была настолько густой, что люди переступали друг через друга, чтобы добраться до туалетов. Здесь и там плакали дети;

младенцы сосали пустые груди. В одном углу пара предавалась любви, не обращая внимания на грубые шутки окружающих.

Но центром внимания для тех, у кого еще теплилась искорка любопытства, была молодая женщина, которая стонала, как раненое животное. Другие женщины расчищали пространство вокруг нее, мужчины приносили ведра с водой, люди забывали о своей борьбе с голодом в волнении от рождения новой жизни. Тонкий вопль нового младенца возвестил, что чудо свершилось, и люди снова погрузились в свои дела и заботы.

Утром я увидел мать на грязном полу станции, ее лицо было белым и бескровным на фоне грязного мешка под ее головой. Новорожденный ребенок, закутанный в тряпки, лежал у ее груди. Мое горло перехватило от жалости. Оставив Сеню присматривать за нашими вещами, я бросился в деревню. У меня в кармане было три серебряных царских рубля, и за полчаса охоты мне удалось обменять их на маленькую бутылочку горячего молока и маленькую деревянную миску с кашей. Когда я принес эти дары, а также свое чистое полотенце молодой женщине, она посмотрела на меня с недоверчивой благодарностью.

«Спасибо, молодой человек», — сказала она по-украински. Ее глаза были прекрасны на измученном лице. «Как тебя зовут?»

«Виктор Андреевич», — сказал я.

«Да хранит тебя Бог и дарует тебе радость», — слабым голосом сказала она, впервые улыбнувшись. «Я назову свою дочь Викториной, чтобы она помнила ваше доброе дело всю свою жизнь».

Я возвращался к Сене на другой конец комнаты, когда один молодой шалопай, наблюдавший за происходящим, непристойно крикнул: «А смотрите, товарищи, папа ребенка явился!» Он был на голову выше меня, ширококостный и крепкий на вид. Но ярость не знает арифметики. Я ударил его и, к своему собственному изумлению, повалил на землю. Заметив, что толпа безусловно на моей стороне, он тихо поднялся, вытер кровь из-под носа и ушел к своим тюкам.

Ни один герой-победитель не был принят более радушно, чем юный Виктор, шатающийся под мешком еды. В последующие месяцы я совершил еще несколько путешествий, на поезде и верхом. Золотой бабушкин крест был

последним семейным сокровищем, которое ушло; мы держали его у себя, пока была хоть какая-то надежда выжить, не обменивая его. Позже помощь пришла из Америки, через квакеров, Американскую администрацию помощи Гувера и другие группы, но она в основном шла в район Волги. Что касается Украины, то новый урожай был не за горами, и жизнь медленно возвращалась в свое обычное русло.

Я вернулся к своему слесарному верстаку на заводе в Корбино.

ГЛАВА IV

КРАСНЫЙ ЮНЕЦ

Новые урожаи выросли высокими и тучными летом 1922 года, а вместе с ними и надежда и жажда жизни. Миллионы мертвых были похоронены, и по некоему негласному соглашению никто не вспоминал о происшедшей катастрофе голода. Кошмар был отдан на покой ночи.

Наш сад в Набате был тяжел от фруктов, ягоды росли большими и сочными, пруд кишел рыбой, ветерок с Днепра взъерошил золотые волосы наших пшеничных полей. Украинские девушки снова пели завораживающие мелодии хором, собирая урожай. Было хорошо быть почти семнадцатилетним, отрастить усы и внезапно смутиться в присутствии девушек, которых ты не замечал еще вчера.

Мое решение стать шахтером было каким-то образом связано с этим временем зарождающейся новой жизни. Мне не терпелось покопаться в недрах матери-земли, строить, расширить. Несомненно, слова лектора в клубе «Корбино» были достаточно банальны: предписания из инструкций Коммунистической партии агитаторам. Но для меня они были трубными звуками, призывающими к действию.

«Товарищи», — сказал оратор в ту ночь ранней осенью, — «нашей стране нужен уголь, металл, нефть. Это мускулы будущего. Все вы, кому дорога революция, должны идти на заводы и шахты. Нашей Советской Республике нужны сильные рабочие руки. Тысячи мужчин нужны, например, в угольных шахтах Донбасса». Мы с Сеней посмотрели друг на друга и поняли без слов, чтоу нас обоих в головах одно и то же решение.

Когда я объявил дома, что отправляюсь на угольные шахты Донецка, отец выглядел грустным. Мать тихо заплакала и напомнила мне, что я всего лишь

мальчик и что у меня будет много времени, чтобы поработать позже. Но они не пытались остановить меня. Несколько дней мать готовила мою одежду и бережно ее упаковывала.

Нас отправили на шахту в Алчевском районе, недалеко от Алговеровки. Один из старейших угольных районов в Донбассе, теперь он был значительно расширен. Первую ночь мы провели в длинном, мрачном бараке, где несколько сот человек спали на голых досках верхних и нижних нар. Вонь от множества тел, несвежей еды и плохого табака было

почти невыносимой. Несколько грязных шахтеров играли грязными картами и поминутно ругались в полумраке «фитильщиков».

Но двое мальчишек из Днепра, уставшие от долгой поездки в переполненном поезде, сладко спали. Утром мы проснулись и обнаружили, что наши чемоданы исчезли; их украли. У нас не осталось ничего, кроме грязной одежды, в которой мы ехали и спали. Прогулка по шахтерскому поселку едва ли подняла нам настроение. Это была длинная, унылая улица, обрамленная ветхими лачугами и сырыми новыми бараками. Все было окутано угольной пылью. Романтика «строительства социализма» собственными руками быстро улетучилась, и потребовалось много недель, чтобы вернуть хотя бы часть того энтузиазма, с которым мы приехали сюда.

Сеня был направлен на одну из шахт, в глубине дубового леса. Но моя судьба оказалась разочаровывающей. Из-за нехватки грамотных людей профсоюзный чиновник настоял, чтобы я работал в одном из административных учреждений. Мое видение себя, размахивающего киркой, с шахтерской лампой на лбу, превратилось в реальность, в которой я размахивал пером и счетами.

В первые месяцы мы жили в одном из огромных грязных бараков, где концентрировались новички. Позже мы получили комнату в одном из маленьких жилищ, которые занимали старые или постоянные шахтеры. Как только я привык к угольной пыли и примитивным условиям жизни, новое существование приобрело краски и даже волнение. Я оказался среди того, что было почти срезом и выборкой рас и социальных групп, составляющих СССР.

Русские и украинцы, конечно, были в большинстве, но были также татары, армяне, китайцы; жители с предгорий Кавказа, казахи из азиатских степей.

Некоторые приехали, как Сеня и я, чтобы погрузиться в задачи индустриализации, в настроении патриотической серьезности. Масса новобранцев пришла, потому что, по их деревенским стандартам, зарплата была хорошей. Тысячи из них оставались там лишь настолько, чтобы сэкономить деньги на корову, лошадь или строительство нового дома; фантастически высокая текучесть кадров была самой большой головной болью администрации.

Не было особой любви между людьми разных рас и национальностей. Они имели тенденцию не только жить отдельно, но и работать отдельно. Но пропасти, разделявшие класс от класса, были даже шире, чем те, что разделяли расу от расы. Остатки «бывших» людей — сыновья купцов, помещиков и священников, бывшие офицеры и бывшие чиновники старого режима, бывшие студенты — чувствовали себя изгоями, едва терпимыми и открыто ненавидимыми. Жизнь в бараках была грубой и часто уродливой. Мужчины пили водку из бутылки и выплескивали ее в ссорах и драках. Некоторые из них играли в азартные игры и спорили во весь голос на абсурдные темы. Я видел, как шахтеры теряли не только свою зарплату, но и последнюю пару сапог и единственное одеяло в карточных играх. Рабочие клубы, курсы грамотности и библиотеки отвлекали небольшое меньшинство серьезно настроенных рабочих.

Мне было интересно наблюдать за быстрым изменением крестьянской молодежи, неловких и на все глазеющих с удивлением, прибывающих для своего первого контакта с большим миром за пределами своих деревень. В лаптях, мешковатых домотканых штанах, длинных крестьянских рубахах они с изумлением смотрели на «пролетариат» и на диковинные народы из далеких уголков России.

Но как быстро они становились другими, пускай и не лучшими людьми! Многие из них возвращались из города в одежде из магазина, выбритые и надушенные, в новых туфлях, которые изящно скрипели; они фотографировались в своих новых нарядах, чтобы поразить людей у себя на родине; они расхаживали по поселку шумными группами, под звуки гармошек, в приподнятом настроении. Но были и другие, которых также естественно привлекал клуб и занятия, и вскоре они сетовали на «отсталость» и отсутствие «культуры» своих друзей и спорили о политике, как будто они были рождены для этого.

Моя собственная жизнь, конечно, вращалась вокруг клуба. Моя страсть к чтению, прерванная гражданской войной и голодом, теперь полностью возродилась. Помимо книг, имеющихся в библиотеке, мы брали их друг у друга. Почти каждый вечер и в свободные дни я ходил на курсы химии, математики, физики или слушал технические лекции по добыче угля. Мы с Сеней подружились с мальчиками и девочками, которые так же желали учиться, как и мы, и мои преимущества моего прежнего обучения дали мне определенное влияние среди более серьезных молодых рабочих и детей рабочих.

Газеты были наполнены призывами к лучшей жизни для страны. Бедная и отсталая Россия, говорилось в них, наконец-то встала на путь прогресса - всем оставалось только добывать больше угля, выращивать больше зерна, приобретать больше культуры. Я читал призывы так, словно они были адресованы лично мне. Иногда кто-нибудь из великих новых вождей - Петровский, Раковский или даже Луначарский - проезжал через наш район. Слушая их, я чувствовал себя частью чего-то нового, большого, захватывающего. В Московском Кремле сидели люди, которых мы называли просто товарищами, - товарищи Ленин, Троцкий, Дзержинский, но я знал, что они были велики как боги.

Оглядываясь на свою личную историю как коммуниста, я склонен датировать свою приверженность к коммунизму приездом товарища Лазарева, который прочитал цикл лекций по советскому социализму. Это был мужчина лет тридцати, сотрудник Свердловского университета, высокий, стройный, аккуратно одетый. Он говорил просто своими словами, а не цитатами из Маркса или Ленина. Что особенно меня поразило, так это то, что он носил галстук, тем самым давая мощную поддержку тем из нас, кто утверждал, что можно быть хорошим советским гражданином, но при этом баловать себя такими буржуазными аксессуарами.

Однажды я был в библиотеке, поглощенный книгой, когда кто-то позади меня сказал:

"Что вы читаете? Мне любопытно".

Я обернулся. Это был товарищ Лазарев,

"Рассуждения отца Иерома Куньяра Анатоля Франса", ответил я, смущенно улыбаясь. "А почему Анатоль Франс?", - сказал он. "Почему не русская классика или какой-нибудь современный советский писатель?"

«Я нахожу в Анатоле Франсе много того, чего не нахожу у советских писателей», — сказал я. «Он тонкий и очень честный. Я читаю русскую классику, но новые авторы — они пишут только о политике и, кажется, избегают реальной жизни окружающей нас».

«Очень интересно, давайте обсудим это как-нибудь вечером. Заходите ко мне в комнату, познакомимся».

Я снова встретил его несколько дней спустя на субботнике, когда сотни добровольцев взялись за выполнение срочной работы без оплаты. В этот случае нужно было убрать огромную кучу угля, чтобы расчистить дорогу. Товарищ Лазарев был в рабочей одежде, весь в саже, и с большим усердием работал лопатой. Он поприветствовал меня как старого друга, и я был рад.

В тот вечер он снова увидел меня в библиотеке. И что я сейчас читаю, он хотел узнать. «Что делать?» Чернышевского, сказал я ему.

«Важная работа», — одобрительно кивнул он.

«Да, и его вопрос, что делать, беспокоит меня сейчас», — сказал я.

«Это вопрос, на который уже ответили миллионам Ленин, а до него Маркс. Вы читали Ленина и Маркса?»

«Немного Ленина, кое-где», — ответил я, «но не Маркса. Я читал партийную литературу, конечно, но не уверен, что она вполне отвечает на вопрос, что делать».

«Приходите ко мне в комнату, выпьем по стаканчику чаю, закусим чего-нибудь и побеседуем, не мешая никому», — улыбнулся товарищ Лазарев.

Это была безупречно чистая, светлая комната. Диван был покрыт ярким ковром; книги аккуратно расставлены на столе между подставками; несколько цветов в цветном кувшине. На одной стене висело несколько семейных фотографий, на одной из них был сам Лазарев в детстве, в гимназической форме, с собакой у ног; на другой — его хорошенькая сестра, тоже в студенческой одежде. На другой стене висели рамочные фотографии Ленина и Маркса, а между ними — это было то самое согревающее и

покоряющее меня, хотя я и не знал точно почему — знакомая фотография Льва Толстого в старости, в длинной крестьянской рубахе, с большими пальцами, заткнутыми за тканый пояс.

Это не непристойный матрос, нападающий ночью на медсестру, подумал я про себя. Я мог бы последовать за таким коммунистом.

«Поскольку мне предстоит прожить здесь несколько месяцев», — объяснил Лазарев, «Я старался сделать это место уютным».

Мы говорили часами той ночью о книгах, партии, будущем России. Мое место было среди коммунистического меньшинства, которое должно указывать путь, сказал Лазарев, и мне следует вступить в комсомол, а затем в партию. Конечно, признал он, партия не была идеальной, и, возможно, ее программа не была идеальной, но люди важнее программ.

«Если такие умные, идеалистичные молодые люди, такие как вы, будут стоять в стороне, какой шанс будет у нас?» — сказал он. «Почему бы вам не подойти к нам поближе и не поработать на общее дело? Вы можете помочь другим, показав пример преданности стране. Просто оглянитесь вокруг себя в бараке — азартные игры, грязь, пьянство, жадность там, где должны быть чистота, книги, духовный свет. Вы должны понять, что перед нами стоит грандиозная задача, авгиевы конюшни, которые нужно очистить. Мы должны искоренить затхлое, грязное, антисоциальное прошлое, которое еще повсюду, и для этого нам нужны хорошие люди. Суть вопроса, Витя, не только в формальном коммунизме, но и в порядочности, образовании и более светлой жизни для масс».

Я и до этого подвергался «давлению» со стороны коммунистов. Но сейчас, впервые, я услышал отголоски того духа, который был пронизан моим детством. Я спорил с товарищем Лазаревым; я сказал, что подумаю, но на самом деле я согласился с ним и уже принял решение.

Когда товарищ Лазарев несколько недель спустя уезжал в Москву, я был в большой группе — простых шахтеров и служащих, а также высших чиновников администрации, — собравшихся на вокзале, чтобы проводить его.

«Вот ты где, Витя», — выделил он меня. «Я случайно услышал, что ты вступил в комсомол. Молодец! Поздравляю! Но почему ты мне не сказал? Я бы тебя рекомендовал».

«Я знаю, и я благодарен, но я хотел сделать это сам … без покровительства». «Может быть, ты прав», — улыбнулся он, — «и вот небольшой подарок, который я приберег специально для тебя».

Это была книга. Маркс или Ленин, предположил я. По дороге домой я посмотрел на название: Три пьесы Шекспира. Лазарев, ярый коммунист

и хороший руководитель, объединил гуманизм Толстого, любовь к красоте, воплощенную Шекспиром, со своей верой в Ленина и Маркса. Выживет ли эта смесь? Победят ли Лазаревы?

2

Теперь жизнь имела для меня стимул, цель, новое и захватывающее измерение преданности делу. Я был одним из элиты, избранных Историей, чтобы вывести мою страну и весь мир из тьмы на коммунистический свет. Это звучит претенциозно, я знаю, но именно так мы говорили и чувствовали. Цинизм и корысть могут быть среди некоторых взрослых коммунистов, но не в нашем кругу ревностных новообращенных.

Мои привилегии как одного из избранных заключались в том, чтобы усерднее работать, презирать деньги и отказываться от личного честолюбия. Я никогда не должен забывать, что я прежде всего комсомолец, а потом уже человек. Тот факт, что я вступил шахтерском регионе, в районе «промышленного подъема», казалось мне, придавал этому событию некое мистическое значение. Я полагаю, что молодой дворянин, допущенный к придворной жизни при царе, испытывал то же самое чувство «принадлежности».

Больше не оставалось времени на мелкие развлечения. Жизнь была заполнена обязанностями — лекциями, театральными постановками для шахтеров, партийными «тезисами», которые нужно было изучать и обсуждать. Мы были уверены, что из нашей среды должны выйти Ленины и Бухарины завтрашнего дня. Мы совершенствовали себя для призвания лидера; мы были служками своего рода материалистической религии. Обнаружив, что я могу писать и обладаю некоторым природным

красноречием, я вскоре стал «активистом». Я служил во всех видах комитетов, занимался миссионерской работой среди беспартийной массы, играл роль в частых празднованиях. Было бесконечное количество поводов для празднования, помимо обычных революционных праздников. Установка нового оборудования, открытие новых шахт, завершение производственных графиков отмечались демонстрациями, музыкой, речами. В других местах мира уголь может быть просто углем — у нас он был «топливом для локомотивов революции».

Благодаря товарищу Лазареву, меня перевели на работу в шахты. Мне больше не нужно было завидовать Сене на этот счет. Мы двое и несколько других молодых шахтеров образовали «артель», кооперативную группу, выполняющую работу и получающую оплату как единое целое. В то время артельная система поощрялась как средство повышения производительности. Члены эффективных артелей обычно зарабатывали больше, чем отдельные шахтеры. Однако это было наименьшей из наших забот. Мы претендовали на самые трудные и опасные задания, стремясь доказать свое рвение делами. У нас даже был лозунг, который мы торжественно сообщили начальству: «Если это необходимо, это можно сделать».

Члены нашей артели жили вместе в чистом и уютном доме, заполненном хорошими книгами. Мы по очереди мыли полы и выполняли другие домашние обязанности. Советские лидеры и классики русской литературы, размещенные на наших стенах, с одобрением, я был уверен, смотрели сверху вниз на этот пример «культуры» посреди отсталости. Среди них был Серго Орджоникидзе, один из людей, приближенных к Ленину, а позже ставший наркомом тяжелой промышленности. Мне нравилось его грубоватое грузинское лицо с огромным орлиным носом и мохнатыми свисающими усами. Возможно, у меня было смутное предчувствие, что этот человек однажды станет покровителем, и в каком-то смысле вдохновением, моих самых загруженных лет как коммуниста.

Иногда, конечно, мы позволяли себе вечер беззаботного общения. Друзья и товарищи любили собираться в нашем доме — это было так «цивилизованно», а разговоры так «возвышены». Один из наших товарищей играл на гитаре великолепно; мы пели, танцевали и спорили до глубокой ночи. Несколько самых привлекательных девушек в округе присоединялись к

нам в таких случаях. Если мы слишком хорошо проводили время, мы все чувствовали себя немного виноватыми и приносили комсомольское покаяние более интенсивной работой, учебой и политическими дискуссиями в последующие дни.

Поздней осенью хвастливый лозунг нашей артели подвергся критической проверке. Одна из шахт была затоплена. Ее подпирали деревянными балками из-за страха обрушения, но работа продолжалась без перерыва. Именно эту шахту мы предложили эксплуатировать, чтобы показать пример

другим шахтерам, в основном татарам и китайцам. Я был в яме, напряженно работая, хотя был почти по колено в ледяной воде. Внезапно весь мир, казалось, содрогнулся, заскрипел и застонал. Я услышал, как кто-то в ужасе закричал — возможно, это был мой собственный голос в моих ушах.

Часть нашей шахты обвалилась. Когда я снова открыл глаза, я был в большой выбеленной комнате, на одной из ряда больничных коек. Врач в белом халате щупал мой пульс, а красивая медсестра средних лет стояла рядом с блокнотом и карандашом в руке. Она улыбнулась в знак приветствия, увидев, что я пришел в сознание.

«С вами все будет в порядке, товарищ Кравченко, не волнуйтесь», — сказала она, и доктор кивнул в знак подтверждения. Мне сказали, что я находился в воде внутри обрушившейся шахты два или три часа. Китайский рабочий рядом со мной погиб. Мало надежды было для меня — если бы меня не прикончили обрушившиеся стены, то я, должно быть, утонул в ледяной воде. Но вот я здесь, с ушибленными ногами и высокой температурой, но в остальном в хорошем состоянии. Позже лихорадка переросла в пневмонию.

Два месяца в больнице Алговеровки, как ни странно, остались со мной как одно из самых приятных воспоминаний моей юности. История моей артели и ее кульминация в обрушении были вышиты, в рассказе, в сагу социалистического героизма, в которой я был одним из героев. К моей постели приходили важные профсоюзные и партийные деятели; мальчики и девочки из моей комсомольской ячейки навещали меня регулярно и никогда не забывали приносить маленькие подарки.

Я все еще был в больнице, когда мне исполнилось восемнадцать [1923 г.]. Члены артели и ее друзья прибыли в полном составе в согревающем душу проявлении товарищества. Красивая медсестра обращалась со мной так,

словно я был ее собственным сыном. Действительно, в уютной истоме выздоровления у меня было чувство, что меня усыновила вся Россия — ее рабочие, ее комсомольцы, ее чиновничество — как любимого сына большой и замечательной семьи.

Врачи запретили мне возвращаться на шахты, по крайней мере, на год, и никакие мольбы с моей стороны не могли нарушить их запрет, переданный администрации. Я не хотел возвращаться на кабинетную работу и поэтому готовился вернуться в нашу коммуну Набат и Екатеринославль.

В разгар этих приготовлений пришло известие о смерти Ленина, 24 января 1924 года. Шок и скорбь были настоящими и глубокими в этом уголке Донецкой долины. Реакция имела мало общего с политикой.

Для простых людей в шахтах — даже для игроков и драчунов в бараках, щеголей в скрипящих ботинках, не говоря уже о коммунистической молодежи — он стал символом надежды. Нам нужно было верить, что страдания этих кровавых лет были вкладом в светлое будущее. У каждого из нас было чувство личной утраты.

Я прошел три мили вместе с тысячами других на мемориальный митинг у здания шахты, который назывался «Парижская коммуна». Это был очень холодный, снежный полдень; ветер резал, как острые ножи. Трибуна на открытом воздухе была задрапирована красными и черными флагами, хотя вскоре все покрылось пеленой снега. Один за другим ораторы кричали, перекрывая завывание ветра, декламируя формулы официальной скорби.

«Товарищи шахтеры!» — закричал напыщенный делегат из Харькова, «Ленин умер, но дело Ленина идет вперед. Вождь пролетарской революции... вождь рабочего класса мира... лучший ученик Маркса и Энгельса...» Формальные слова оставили меня подавленным. Почему они не говорят просто, от сердца, а не из передовиц «Правды» и «Известий»? Возвращаясь домой сквозь снежную бурю, я с радостью обнаружил, что Сеня и другие испытывали то же чувство разочарования. Ораторы не смогли выразить, что мы чувствовали по отношению к Ленину, потому что то, что мы чувствовали, имело меньше отношения к мертвому вождю, чем к нашим собственным живым надеждам.

Несколько дней спустя мы прочитали в местных газетах клятву Иосифа Сталина у гроба Ленина на Красной площади в Москве. Это было короткое,

почти литургическое обещание следовать по пути, указанному мертвым вождем, и оно тронуло меня так, как не тронуло ораторское искусство на нашем мемориальном собрании. Сталин был членом всемогущего Политбюро, Генеральным секретарем партии и был важной фигурой в новом режиме с самого начала. Однако это был первый раз, когда я остро осознал его существование. Странно, подумал я, что его портрета даже не было на наших стенах.

С того дня имя Сталина стало таким большим, таким неизбежным, что было трудно вспомнить время, когда бы оно не затмевало нашу жизнь.

3

Я прожил в шахтерском районе всего год. Но было трудно вырваться из его жизни. Если бы кто-нибудь сказал мне в то меланхоличное утро моего прибытия, что я буду любить это унылое место, его грубую человечность, его изнурительную работу, я бы счел его сумасшедшим. Вопреки самому себе, я начал чувствовать себя шахтером — я видел его недостатки и разочарования изнутри с сочувствием, а не снаружи критически.

В запустении, серости, опасностях существования в шахтах был глубокий пафос, который сблизил их со мной. Неправда, что мы любим только то, что весело и красиво. Трагическое и уродливое тоже может захватывать воображение и чувства. Мы любим то, что волнует наши сердца. Мы связаны с людьми и местами эмоциями, которые они вызывают в нас, даже неприятными эмоциями. Я никогда не забывал своего пребывания на угольных месторождениях. Я всегда чувствовал себя близким к добытчикам угля, обитателям черного подземного мира.

В моем купе в поезде из Донецкого бассейна было шесть пассажиров. Как и все русские, мы вскоре начали спорить. Хотя я был самым молодым в группе, я чувствовал себя ответственным за направление разговора. Как комсомолец, я никогда не должен упускать шанса проповедовать счастливую жизнь, которая должна быть, оправдывать непосредственные неприятности.

«Вы все говорите о том, что жизнь становится лучше, товарищ», — пожаловался один интеллигент, — «но все равно нет ни хлеба, ни керосина, ни обуви. Мы с женой мерзнем и дрожим и половину времени обходимся без еды». Это не жизнь, это мучение ...» Это был высокий мужчина средних лет с тонкими чертами лица, он носил очки с толстыми стеклами в золотой

оправе. На нем было не по сезону весеннее пальто, шерстяная шаль на шее; сквозь дыры в ботинках виднелись белые носки.

«Простите, а чем вы занимаетесь?» — спросил его другой пассажир.

«Я композитор», — ответил интеллектуал, — «я пишу ноты, музыку».

«О, вы пишете ноты», — усмехнулся другой. «Кому нужны ваши ноты? Кому

нужен розовый вальс в такое время? Идите на завод, делайте настоящую работу, и у вас будет меньше причин жаловаться».

«Значит все должны работать на заводах!» — воскликнул композитор с большим жаром. «Разве новым строителям социализма не нужна музыка? Неужели мы все превратимся в машины без души?»

«Вы правы, нам не нужны никакие проклятые ноты и мелодии. Нам нужно производить больше товаров».

«Души ликвидированы», — кисло вставил третий.

«В таком случае с вами бесполезно разговаривать», — уже возмутился композитор. «Вы пошлый и вульгарный человек, и я не буду тратить на вас слова».

В этот момент вмешалась моя комсомольская совесть, чтобы спасти ситуацию. «Позвольте мне сказать всем вам», — важно сказал я. «Вы спорите слишком горячо и недостаточно понимающе, если позволите мне так выразиться. Совершенно верно, что нам еще очень многого не хватает, но мы стараемся восполнить эти недостатки. Со временем у нас будет все — и в том числе музыка.

«Возможно, этот гражданин не Чайковский, но если он пишет хорошую музыку, то он тоже помогает упрочивать коммунизм. Я только что пришел с угольных шахт и знаю, как нам нужен уголь. Но поверьте, музыка нам нужна не меньше, чем уголь. Мы должны согревать душу, как и тело».

Они были явно впечатлены моими словами. Мне не нужно было говорить им, что я один из избранных; в моем голосе звучала властность. До того, как поезд достиг Днепропетровска — как теперь назывался Екатеринославль, — было обсуждено около десятка вопросов, и по всем из них я был последним арбитром.

Возможно, те, кто не соглашался со мной, предпочитали благоразумие доблести — спорить с комсомольцем, как и с коммунистом, возможно было небезопасно.

Я добрался до коммуны к вечеру. Моя собака Рекер встретила меня

на дороге и зашлась от радости. Я посмотрел в окно нашего домика и увидел свою мать, читающую при свете керосиновой лампы. Она немного постарела, немного похудела, немного поседела.

Я тихонько открыла дверь и измененным голосом сказала: «Гражданка Кравченко здесь живет?» «Витя, милый, дорогой!» — закричала она и разрыдалась от радости. В течение вечера я узнал местные новости.

Коммуна умерла. Только три или четыре семьи все еще работали на земле.Несколько других все еще жили здесь, но имели заводские работы в соседних городах. Мой отец и братья вернулись в Днепропетровск, получая хорошую зарплату. К весне они надеялись найти квартиру из двух или трех комнат, чтобы семья могла воссоединиться.

Территория коммуны была запущена и мрачна. Везде зияли потолки, двери были сняты с петель. Деревянные балки были вырваны из стен и крыш и увезены на топливо. Крестьяне из окрестностей говорили между собой: «Видите, коммунисты не могут обрабатывать землю. Они могут только производить аресты, расстреливать и взымать налоги». Несколько из них, узнав, что я вернулся, пришли в гости. Они отнеслись ко мне с почтением, подобающим. взрослому, который выходил в свет, и засыпали меня вопросами о намерениях «новой власти» в отношении крестьян и их земли.

На заводе в Корбино меня также окружили рабочие и задавали вопросы. Я импровизировал такие ответы, которые, как мне казалось, должен был давать преданный комсомолец. Через несколько дней я выступил в заводском клубе с докладом о жизни шахтеров Донецка. Хотя я не скрывал трудностей и недостатков, я, должно быть, сделал существование там звучать достаточно привлекательным. Четверо молодых рабочих Корбино тотчас заявили о своем намерении пойти работать на шахты, и я дал им имена и адреса соответствующих профсоюзных секретарей.

Нарубив огромную кучу дров и починив дверь сарая — у нас все еще была одна корова — я уехал из коммуны в город. Отец и мой младший брат

Евгений работали на металлургическом заводе имени Петровского-Ленина, и вскоре я тоже работал там, в механической лаборатории. Константин работал на другом заводе в Днепропетровске (советское название Екатеринославля все еще звучало странно). Я проработал там около трех лет, пока меня не призвали в Красную Армию в мой двадцать первый год, в соответствии с уставом воинской службы.

Наш металлургический завод состоял из ряда сооружений, занимавших несколько акров на окраине Днепропетровска. На нем работало около 24 000 мужчин и женщин, и он был одним из крупнейших промышленных предприятий на юге России. До революции его рабочие участвовали в забастовках и восстаниях, поэтому заводу придавался ореол исторической важности. Здесь в молодости работал товарищ Петровский, президент Советской Республики Украина; другие важные коммунистические вожди имели здесь свои пролетарские корни.

Партийная организация, включая наши комсомольские секции, насчитывала около двух тысяч человек, и пропагандистская деятельность всегда была в полном разгаре. Петровский, Раковский, Каганович и другие руководители высшего звена часто приходили выступать на заводских собраниях. Я все больше и больше активизировался в комсомольской работе, записался на технические курсы, которые занимали большую часть моих вечеров, и принимал видное участие в политических и литературных дебатах, которые устраивались в различных заводских клубах.

Прошедшие годы не примирили моего отца с коммунистами. Он был готов признать, что многие из них были честными и искренними, но революционная и послереволюционная реальность все еще имела слишком мало сходства с его дореволюционной мечтой. Он никогда не вмешивался в мою комсомольскую деятельность и в глубине души был доволен тем, что я прокладываю себе место в новой среде. Но он не мог удержаться от горьких замечаний, время от времени, о контрасте между сытой жизнью советских чиновников и высших инженеров с одной стороны, и нищетой простых рабочих с другой. «Мы говорили о единстве, сынок», — говорил он, — «и равенстве. Но посмотри, как живет товарищ Н. . . . с его большой квартирой, автомобилями и хорошей одеждой; затем посмотри на бараки, где новые рабочие из деревни набиты как сардины в банке. Чистая комната и

приличная еда в ресторане администрации, но для столовой рабочих подойдет все, что угодно...».

«Дай нам время, папа», — умолял я. «Столько проблем, которые нужно решить одновременно».

«Я знаю о проблемах. Но я также знаю, что дистанция между высшими и низшими классами увеличивается, а не уменьшается. Власть — опасная вещь, Витя».

Из механической лаборатории меня вскоре повысили до трубопрокатного стана, и менее чем через год я стал контрольным мастером, по части заработной платы я стал значительно пополнять семейный бюджет. С четырьмя из нас, зарабатывающих деньги, мы жили хорошо, несмотря на высокие цены. НЭП, Новая Экономическая Политика, при которой частная торговля снова стала легальной, принесла с собой сотни новых магазинов, ресторанов, кафе. За деньги теперь можно было купить почти все.

Мои контакты на заводе все чаще оказывались на верхних уровнях заведующих цехами, должностных лиц управления, партийных и профсоюзных функционеров. Вопреки себе и вопреки предписаниям отца не терять связь с массами, я все больше и больше склонялся к тому, чтобы смотреть на советскую жизнь с точки зрения «руководства». Ни Женя, ни Котя не развили большого политического энтузиазма. Они хорошо и усердно работали, и не посещали больше демонстрации и конференций, чем это было абсолютно необходимо, и, как и большинство рядовых рабочих, принимали официальную пропаганду с пригоршнями соли скептицизма.

«У тебя есть задатки настоящего коммунистического бюрократа, старший брат», — поддразнивал меня Женя, — «если только ты не позволишь романтическим гуманистическим наклонностям нашего отца сбить тебя с пути».

Весна 1927 года, вероятно, ничем не отличалась от весен, которые предшествовали и следовали. Но для меня она навсегда останется тронутой пламенем, ее цвета были возвышенней, ее тени нежнее. Ее звали Анна, ей было семнадцать, она была голубоглазой и рыжеволосой. Мы встретились на вечеринке в доме у начальника цеха, и с того момента, как мы пожали друг другу руки, вечеринка и другие гости исчезли.

Отец Анны был главным инженером на важной железной дороге. Хотя он был из рабочей семьи и в студенческие годы присоединился к тайным социалистическим кружкам, он был довольно далек от нового советского общества. Ее мать перенесла манеры и презрение к «простому народу» своего дореволюционного происхождения. Даже в пылу этой моей

первой настоящей любви, сознание того, что Анна не «мой тип», всегда было под поверхностью моих эмоций. Она делала вид, что интересуется моей комсомольской деятельностью, но я достаточно хорошо знал, что она скучала. Что касается ее матери, она не пыталась скрыть презрение к коммунистам, к советским лозунгам и к моему собственному скромному статусу заводского мастера.

«Если бы твой комсомолец был хотя бы инженером», — подслушал я, как она однажды вечером сварливо сказала Анне. Сама Анна разрывалась между влиянием советской школы и «буржуазной» обстановкой дома. Нам удалось провести месяц вместе в Доме отдыха, принадлежащем моему заводу, на берегу Днепра. Она отражала мои попытки пропагандировать ее поцелуями и объятиями, которые я считал неопровержимыми аргументами.

Но мы оба понимали, не выражая это словами, что о браке не может быть и речи — что мы «идеологически» несовместимы. Только тот, кто жил во время и в месте, переполненном политикой, может понять это. После нашего возвращения в Днепропетровск мы с Анной разошлись. Когда я ушел на военную службу в конце 1927 года, мы оба знали в глубине души, что это конец. Я встретил ее снова четырнадцать лет спустя — в бомбоубежище в Москве.

4

Пятнадцать сотен миль границы, где огромная иссушенная солнцем Советская Средняя Азия встречается с Персией, Афганистаном и Кашмиром в Индии, долгое время были ареной борьбы с «басмачами», антисоветскими повстанцами. Неоднократно они были «уничтожены» в военных донесениях, только чтобы появиться снова, зловещие, как всегда, в новых набегах и сражениях.

В советской журналистской картине были противоречия. Бандитизм и грабежи не могли полностью объяснить упорство и смелость, с которыми небольшие и плоховооруженные группы басмачей противостояли

организованным и хорошо вооруженным силам Красной Армии. Грабеж не совсем соответствовал религиозным мотивам мулл и политическим мотивам британцев и эмира.

Позже, когда я более зрело понял проблему, я понял, что советская версия была в значительной степени плодом пропаганды.

Басмачи были, по сути, местными патриотами-партизанами, сражавшимися против того, что они считали подавлением своей национальной независимости иностранными захватчиками. Они рисковали своими жизнями, чтобы предотвратить то, что им казалось осквернением их древнего образа жизни и. их веры. В принципе, если не в деталях, они не отличались от индийских патриотов, сражавшихся против британцев по ту сторону границы.

При царской власти, русские взимали дань со Средней Азии, но оставляли местных князей и мулл у власти. Они не нарушали установленный порядок. Советские большевики, во имя странных богов по имени Ленин и Маркс, изгнали эмиров и высмеивали мусульманскую религию. Именно против этих угроз басмачи, обосновавшиеся в пограничных холмах Персии, в городах афганских равнин и в самом Туркменистане, боролись с героическим рвением. Нет сомнений, более того, что, по крайней мере, в эти ранние годы они пользовались симпатией массы жителей Средней Азии. Не случайно, что в прерывистой войне пришлось использовать войска из России, а не местные контингенты.

Двадцать четыре человека из нас в товарном вагоне, все новобранцы из Днепропетровского уезда, везли в страну басмачей. Мы пели, рассказывали истории и искренне гордились тем, что были отобраны для отборных кавалерийских дивизий, дислоцированных в Советской РеспубликеТуркмения.

Как оказалось, Костя, двоюродный брат моей Анны, также был в этой партии новобранцев. Это, а также перспектива долгой разлуки, разожгли угли моей любви. Волнение нескольких дней в Баку, городе «черного золота», вытеснило все остальное из наших мыслей. Крупный нефтяной центр был любопытной амальгамой современного индустриализма и восточных обычаев. Там было пестрое население русских и монголов, большинство из них в западной одежде, но многие в разноцветных развевающихся одеждах

Ближнего Востока, в обтягивающих талию куртках до колен и островерхих меховых шапках казахских степей.

Баку также навсегда ассоциируется в моем сознании с моим первым взглядом на море; вид воды, простирающейся за изгибом планеты, всегда памятен для жителей внутренних районов. Запах нефти пропитал весь город и, казалось, впитался в лица и руки всех жителей.

В Баку к нам присоединились сотни новобранцев из других частей страны. Небольшое грузовое судно «Коллонтай» перевезло нас через Каспий в порт Красноводск. Перед посадкой на поезд в Ашхабад, мы слонялись по набережной. Чарджуйские дыни были сложены на пристани желтыми кучами, как пушечные ядра. Смуглые туркмены, многие с бородами, все они были голыми по пояс, с цветными платками, повязанными наподобие тюрбана на головах, бросали дыни товарищам на судне, ритмично напевая протяжную мелодию.

Ашхабад, позже названный Сталинабадом, был достаточно восточным, чтобы удовлетворить юношеский аппетит к живописности. Немощеные узкие улочки извивались между глухими стенами без окон; вливались в шумные, запутанные площади, некоторые из них были крытыми. Базары отдавались эхом от ударов сапожников, медников и других ремесленников, работающих, скрестив ноги, на открытом воздухе. Бесформенные движущиеся колонны мусульманских женщин были повсюду.

Время от времени одна из них откидывала край своей вуали из конского волоса в кокетливом жесте нам, таращившим на нее глаза. Наш поезд встречали музыкой и демонстрацией. Рабочие местных хлопчатобумажных фабрик стояли уныло, пока советские чиновники произносили высокомерные речи, приветствуя храбрых товарищей, прибывших охранять

границы от «негодяев-басмачей.» В то время у меня не было оснований сомневаться в их словах, но позже я задался вопросом, почему пограничники не могли быть набраны из своих же людей; еще позже я понял, что советская Красная Армия, несмотря на все претензии на братство, была армией оккупантов на чужой территории.

Из Ашхабада мы поехали на грузовиках в огромный лагерь на персидской границе, который должен был стать моим домом на следующие семь или

восемь месяцев. Нас разместили в тех же длинных мрачных казармах, где до нас в досоветское время русские солдаты.

Страна, по которой мы проехали, была по большей части пустынно-желтыми засушливыми участками, чередующимися с полынью, но непосредственный приграничный район был более разнообразным по ландшафту, с большим количеством сочной зелени. Здесь мы были в предгорьях горной цепи, охраняющей северный край Персии.

Наша военная служба началась с паровой бани, дезинфекции всей нашей одежды, стрижки, которая сделала наши головы такими же гладкими, как и наши лица, и политической лекции. Нам дали понять, что нужно убить или быть убитым. Нас посылали патрулировать опасные участки, в одиночку или парами, днем и ночью, и нам требовались бдительность, хорошее мастерство верховой езды и меткая стрельба. Даже наименее амбициозные из нас тренировались с достаточной энергией в последующие недели.

Почти с самого начала я присоединился к редакции лагерной газеты, Красный Пограничник. Мы, комсомольцы, были в меньшинстве среди войск и относились к своей ответственности очень серьезно. В военной организации была большая мера демократии в сочетании со строгой дисциплиной. Мы не стеснялись критиковать условия и офицеров, часто поименно, в лагерной газете.

У нас был командир Галушка, чья грубость не слишком понравилась рядовым. Именно потому, что я хотел иметь возможность критиковать его в качестве редактора, я подчинялся ему безропотно. Я хотел дать понять, что подчиняюсь ему как офицеру, хотя и считал необходимым отчитать его в печати.

Некоторое время он делал вид, что не обращает внимания на небольшие статьи, в которых я отчитывал его за то, что он кричал на солдат, использовал непристойные слова и вел себя как диктатор. Но вскоре он сдался.

"Товарищ Кравченко, я хотел бы поговорить с вами", - сказал он однажды. Когда мы шли из казармы в конюшню; он хотел знать, зачем, черт возьми, я его преследую. Правильно ли, что комсомолец подрывает авторитет красного командира? «Товарищ Галушка», — объяснил я, с самомнением своих двадцати двух лет, — «моя цель — повысить ваш авторитет, а не уменьшить его. Если вы продолжите обращаться со своими людьми как с

грязью, они будут презирать вас и будут подчиняться только угрюмо. Если вы будете обращаться с ними как с людьми и товарищами, они будут подчиняться вам с радостью и с хорошим духом. Во время боевых действий это может иметь значение между успехом и неудачей на поле боя».

Мы заключили соглашение — офицер и рядовой. Он обещал исправить свои манеры, а я пообещал убрать упоминание его из Красного Пограничника. Странная часть истории заключается в том, что командир Галушка не только сдержал свое слово, но и, к своему собственному удивлению, вскоре стал одним из самых популярных офицеров в подразделении. Когда Галушка вел, его люди с нетерпением следовали за ним. В рискованных экспедициях мы были поражены его личной храбростью под огнем.

После завершения обучения нас отправляли на ночные охоты за контрабандистами и басмачами. Недостатка в «горячих подсказках» от платных советских шпионов по обе стороны границы никогда не было. В персидских и афганских кафе мужчины собирали обрывки информации о товарах, которые нужно было получить или доставить. Через осведомителей обрывки разговоров доходили до командования Красной Армии.

Несколько раз карательный отряд, после долгих поисков, не мог выйти н выйти на повстанцев. Иногда обменивались несколькими выстрелами. Но по крайней мере один раз в моем собственном опыте произошла любопытная битва, в которой обе стороны понесли потери — любопытная, потому что она велась в кромешную тьму дождливой ночи против невидимого врага.

Бородатый туркмен в высокой черной меховой шапке повел наши силы той ночью в район, где, по его информации, можно было перехватить караван контрабандистов. Почти час мы медленно ехали под холодным дождем, время от времени останавливаясь, чтобы уловить звуки. Наконец след был найден. Красные ракеты были запущены, чтобы ненадолго осветить местность, и Тарасов, начальник отряда ГПУ, командовавший этой экспедицией, приказал нам развернуться и атаковать.

Я некоторое время стрелял вслепую по звукам, когда внезапно, так близко от себя, что я мог видеть его глаза в темноте, я оказался почти наверху туркмена. Он целился в меня из винтовки, но мне удалось выстрелить первым. Он упал, но, по-видимому, был только ранен, потому что он сделал

еще одну попытку выстрелить. Я спрыгнул с лошади и вырвал винтовку из его рук.

"Встать!" - приказал я. Передо мной стоял старик с широкой бородой, подняв руки над. головой. Кровь текла по одной щеке. Он что-то говорил на своем родном языке и плакал; без сомнения, он умолял сохранить ему жизнь.

Я вынул его кинжал из ножен и передал человека офицеру. До восхода солнца бой был окончен. Без сомнения, многие контрабандисты бежали. Но большое их количество, вместе с несколькими тяжело нагруженными верблюдами, было приведено в лагерь. И еще до заката снова все пленные туркмены были расстреляны специальной карательной командой по приказу командиров.

Вскоре после этого меня назначили на заставу в нескольких милях отсюда, вместе с Костей и другими. Люди, размещенные там, были вне себя от радости по поводу нашего прибытия, что означало, что они будут освобождены. Один из них был земляком из Киева. Он сожалел только о том, что ему пришлось оставить своего коня, красивое, резвое животное, которого он называл Лордом Керзоном, по причинам, которые так и не были мне понятны. Взяв с меня торжественные обещания, что я буду добр к Лорду Керзону, он передал его мне. «Относись к нему хорошо, и Керзон будет тебе братом», — заверил он меня. «У него больше разума, чем у большинства людей».

Наш пост находился недалеко от выхода из узкого прохода через холмы. В последующие недели у меня были причины быть благодарным своему земляку за то, что он сделал меня наследником лорда Керзона. Лошадь была чувствительна не только к моему легчайшему прикосновению, но, казалось, и к моим мыслям. Было приятно ощущать его под собой, когда я стоял на карауле один ночью вдали от своих товарищей. Каждый шум, падение камешка, шорох в деревьях, вой голодного шакала настораживали и Керзона, и его всадника.

Любой советский солдат, поймавший контрабандиста, имел право на треть стоимости изъятых контрабандных товаров. Мне такой удачи не выпало, но многие люди из пограничных патрулей возвращались в родную деревню, завершив службу, богатым человеком, как это могло считаться при советской власти.

Лорд Керзон, чья уверенность в себе спасала меня много раз, также был ответственен за завершение моей военной карьеры. Я был на патрулировании поздно ночью с другим солдатом в лесистой местности далеко от поста. Вдалеке мы услышали шум. Я крикнул кому-то невидимому приказ остановиться, и мы вдвоем бросились вперед. Керзон споткнулся и сбросил меня вперед через голову.

Это все, что я знал до того момента. Мой спутник, находившийся на некотором расстоянии, окликнул меня, но не получил ответа. Он нашел мою лошадь, но не меня.

После бесплодных поисков он вернулся в лагерь. Несколько часов спустя поисковая группа нашла меня в луже воды, без сознания. Много недель я лежал в военном госпитале недалеко от Ашхабада, измученный болью. Хотя я мне казалось, что ни одна кость в моем теле не цела и не находится на своем месте, выяснилось, что все мои травмы были поверхностными. Доброта двух пожилых медсестер расположила к ним меня и всех остальных

пациентов к ним. Не было секретом, что они некогда принадлежали к аристократии и были сосланы сюда из Петрограда; одна из них, Лидия Павловна, призналась мне, что она урожденная княгиня.

Когда я достаточно окреп, чтобы путешествовать, меня отправили в Киев, и я оставался в больнице там около месяца; после двух дополнительных месяцев в Киевском санатории я был демобилизован и вернулся на работу бригадиром на заводе имени Петровского-Ленина в Днепропетровске. Это было летом 1928 года, и мне шел двадцать третий год.

ГЛАВА V

РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ АКТЕРЫ В БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ РЕДКО СОЗНАЮТ ЕЕ ВЕЛИЧИЕ. Они слишком глубоко погружены в действие, чтобы видеть его крупные контуры. Я был среди этих актеров в начале 1929 года – один из молодых энтузиастов, взволнованных идеями и планами этого периода. Это было время, когда моя страна начала двигаться к новой и в некотором смысле более глубокой революции; время, когда Сталин и его ближайшие соратники вели острую борьбу с противниками в Политбюро и, в некоторой степени, во всей партии. Они были полны решимости искоренить

остатки капиталистической экономики и капиталистического менталитета, чтобы привести Россию к индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.

Таким образом, это стало периодом, когда все колеблющееся, нерешительное, нонконформистское, что все еще цеплялось за революцию, начало отбрасываться.

Линия партии, то есть долг по отношению к определенному набору целей, стала важнее любых личных интересов. Современная машина, как символ и сущность индустриализации, заняла видное место в нашей жизни, усиливая каждый день существования. Машина стала ревнивым богом, которого нужно было умилостивить. Она приобрела почти мистическую силу в повседневной жизни страны. Бедствия «гуманитариев» казались просто пережитком странного прошлого.

Миллионы людей — некоторые добровольно, некоторые насильно — были вовлечены в этот процесс, вырваны из привычного существования и поведены по новым путям. Они были по большей части недоедали, были недостаточно одеты, без утешения иллюзий. Я знал отдельные события этого процесса, конечно; как плохие, так и хорошие. Но я смотрел на них глазами двадцатитрехлетнего юноши, политически воспитанного комсомолом и Красной Армией, который верил, что лучшее будущее на подходе для России. Я был одним из самых бдительных и социально сознательных работников на нашем заводе, воодушевленный творческим порывом моих повседневных задач.

Было много недостатков, много страданий. Но также был подъем ужасного волнения и воспламененных надежд. Была глубокая надежда на будущее страны, так что не случайно я выбрал именно этот период для вступления в партию. Я принадлежал к меньшинству, которое было вдохновлено идеями, стоящими за великим усилием. Мы были охвачены пылом работы, временами тронутой бредом. Другие могли бы страдать от новой революции в угрюмом недовольстве, так же как они страдали от великого голода. Они могли бы принять это как своего рода стихийное бедствие. Но для людей, таких как я, одержимых идеей и верой, сегодняшняя боль казалась только необходимой платой за славное будущее, ожидающее страну и ее народ. Индустриализация любой ценой, чтобы вывести нацию из отсталости, казалась нам самой благородной мыслимой целью. Вот почему я должен

сопротивляться искушению судить о событиях тех лет в свете моих сегодняшних чувств. Моя жизнь была полна работы, напряжения и лишений. Придирки «устаревших либералов», которые только критиковали, а сами оставались вне усилий, казались мне просто раздражающими.

Я был глубоко поглощен своей работой в качестве технического мастера на прокатных станах, новыми дружескими отношениями среди чиновников и влиятельных коммунистов, моими неотложными обязанностями одного из редакторов заводской газеты. Я испытывал большое удовольствие от работы. Мне никогда не приходило в голову, что после напряженного дня в жарком, шумном цехе или лаборатории я могу быть слишком уставшим для встреч, технических курсов, проектов социальной работы, писательских обязанностей. Усталость казалась буржуазным предрассудком.

Пресса и радио пронзительно скандировали лозунги нового периода. Догнать и перегнать капиталистические страны! Вперед к индустриализации нашей страны! Ликвидация кулачества как класса! Это было похоже на постоянную жизнь на котельном заводе; вы ели, спали и работали среди чудовищного грома битвы. Рабочие собрания, учеба и еще раз учеба, брань против внешних и внутренних врагов заполонили нашу жизнь.

Ставить под сомнение решения, объявленные молниеносными словами с небес Кремля, казалось примерно таким же разумным, как спорить с землетрясением. Мы часто принимали их за чистую монету. Конечно, их нам объясняли и оправдывали в ходе нашего непрерывного политического образования. То, что нам говорили, не обязательно совпадало с тем, что было в умах кремлевских лидеров, но это запоздалая мудрость.

Тени ГПУ, государственной политической полиции, не коснулись меня; кроме того, мне казалось вполне естественным, что в такой критический, напряженный момент в жизни страны все должны быть тщательно проверены и проконтролированы. Только старики с долгой памятью, как мой отец, были оскорблены, но их брезгливость казалась так же неуместна, как пацифизм на поле боя.

В начале 1929 года один из ведущих большевиков, Христиан Раковский, приехал на наш завод и выступил на массовом митинге. Это был почти последний раз, когда противнику Сталина разрешалось говорить перед народом.

Несколько дней спустя мой отец поднял эту тему в разговоре. Он был угрюм — теперь я понял почему.

«Раковский критиковал руководство партии», — сказал он. «Я не уверен, что я соглашался с ним или что многие рабочие соглашались. Но мы поняли,

что идет борьба за власть и что побеждает Сталин. Некоторые в зале, казалось, симпатизировали Раковскому; они задавали вопросы и аплодировали. Затем Раковский ушел. Уже на следующее утро, сынок,

рабочие, которые проявили к нему дружеское отношение, были вызваны

в ГПУ... и там арестованы.»

Несколько недель спустя я столкнулся с Козловым, секретарем райкома партии. Он тепло меня приветствовал. Я собирался официально подать заявление о приеме в партию, как он это знал, и он считал меня ценным рекрутом. Я становился все более активным в делах завода и города. Мое имя и портрет все чаще появлялись в промышленных, профсоюзных и местных городских изданиях. «Эх, товарищ Кравченко, у вас, конечно, чудаковатый отец», — засмеялся Козлов.

«Что случилось?» — спросил я, немного обеспокоенный.

«Ничего особенного. Несколько человек из райкома пошли в механический цех. Там все еще есть гнилые отголоски визита Раковского, и мы хотели поговорить с несколькими рабочими. Просто чтобы почувствовать ситуацию. Ну, мы расспросили одного здесь, одного там и, наконец, пришли к вашему старику.

«Как дела?» — спросил я его самым любезным образом. Что, как вы думаете, он ответил? Он оглядел меня с ног до головы и сказал: «Не мешайте мне работать. Это завод, а не клуб. Если хотите узнать, что думают рабочие, спросите в своем ГПУ. Они должны знать».

«Какой у вас отец, Виктор Андреевич! Со мной был Сеня Волгин, знаете, из комитета комсомола. Так вот он тоже пытался переманить на свою сторону вашего отца. «Вы старый и уважаемый пролетарий, гражданин Кравченко, — говорит он. — Вы боролись с царем. Мы все это знаем. Поэтому нам нужно ваше мнение». Тут ваш старик вышел из себя. «Слушай, юноша, — говорит

он, — политически вы еще цыпленок. Ни о чем серьезном мне с вами не поговорить».

Тогда Козлов великодушно отмахнулся от всего этого эпизода — просто капризы озлобленного и стареющего человека, не в ладах с новым прекрасным миром, — и сказал:

«Ну, когда вы подаете заявление в члены?»

«Скоро, я думаю», — ответил я.

«Хорошо! Я буду на встрече, чтобы помочь тебе. Ты нам нужен, Кравченко. У нас впереди много тяжелой работы. Мы не можем рассчитывать на старое поколение, даже на лучших из них».

Время от времени ведущие коммунисты убеждали меня вступить в партию. Я и так работаю с ними, указывали они; я поддерживал их великую борьбу за новую жизнь; почему я должен организационно стоять в стороне? Я соглашался с ними. В душе, в своих надеждах я уже был предан их стороне. Я бы вступил в партию честно, без опасений, без сомнений. Я был бы одним из несентиментальной армии строителей нового индустриального мира и, в конечном счете, нового коммунистического мира!

2

В рамках строго очерченной партийной линии мы пользовались свободой слова в заводской газете. Только двое из нас в редакции, некто Блесков и я, еще не были коммунистами. Газета выходила сначала еженедельно, потом ежедневно. Тираж ее составлял около 35 000 экземпляров. Ее, конечно, читали практически все, кто работал на заводе имени Ленина-Петровского. Еще важнее, ее читали хозяйственные и партийные работники всей нашей области и даже в Москве.

Содержание газеты, конечно, проходило цензуру. Ничто что могло бы бросить тень сомнения на индустриализацию, на политику партии, не могло быть напечатано. Никому и в голову не могло придти писать такие вещи, если только он не был не в своем уме. Нападки на администрацию завода, профсоюзных функционеров и партийных чиновников, разоблачение конкретных недостатков в производстве или управлении были разрешены, и это искусно создавало ту иллюзию, что газета выражает общественное мнение.

Самокритика и критика были одним из важных лозунгов того времени. Всех побуждали «рассказывать все» о дефектах, ошибках, методах улучшения вещей - в общей прессе, в фабричных и сельских газетах, на листках для досок объявлений, известных как обои. Самокритика была средством для повышения качества работы, но иногда это был также кнут, которым крупные советские чиновники размахивали над головами мелких чиновников.

Заводы в то время все еще управлялись «треугольником», состоящим из представителей администрации, партии и профсоюза. Среди этого множества чиновников, которые следили за действиями друг друга, самокритика иногда становилась подлым методом борьбы за место и за власть.

Я бросился в работу самокритики с пылким рвением, что встревожило некоторых руководителей на нашем заводе. Я честно и энергично боролся с недостатками, независимо от того, кого это задевало. После этого я начал понимать, почему некоторые важные люди на заводе внезапно захотели подружиться со мной. Несомненно, они посчитали хорошей страховкой завоевать молодого человека с острым пером, которое он втыкал в самодовольные задницы.

Мои статьи печатались не только в заводской газете, но и в Харьковской и Днепропетровской газетах, для которых я был корреспондентом на этом крупном заводе. Городские органы партии комментировали мою работу и ставили меня в пример «активистской молодежи».

О чем я писал? О бессовестных растратах и порче товаров. Механике, которые не проявляли должного уважения к своим инструментам и машинам. Высокая себестоимость единицы продукции на нашем заводе по сравнению с аналогичными заводами в Швеции или Америке. Непростительное отношение товарища такого-то к рабочим. Плохое качество текущей продукции. Как некий процесс можно «рационализировать», чтобы сэкономить тысячи человеко-часов.

Однако более тревожными для ровного течения заводской жизни были мои выпады против невыносимых жилищных условий тех рабочих, которые жили в бараках. Зарплаты были якобы выше, указал я, но они не поспевали за новыми ценами на продукты в заводских столовых и магазинах. И когда же

будут закончены те новые квартиры, о которых было так много разговоров? Почему некоторые чиновники жили в прекрасных условиях, в то время как элементарные потребности стольких заводских рабочих были оставлены без внимания?

Я приобрел себе немало могущественных врагов в этих журналистских вспышках. Их ненависть в некоторых случаях преследовала меня годами. Но я также приобрел близких друзей. В частности, я нашел сильную поддержку моим неоднократным жалобам на то, что на заводе было слишком много чиновников по сравнению с его продукцией. В некоторых технических журналах я откопал статистику, чтобы показать, что на шведских металлургических заводах был только один административный чиновник, когда у нас было два или три. Они переступали через друг друга, писал я, замедляя работу и повышая себестоимость продукции.

Период критики был последним выражением свободы снизу в Советском Союзе. Это был вид общественного мнения. Он преуспел в обуздании локальных сдвигов чиновничества, даже если он не оказывал никакого влияния на общую политику и решения в центре власти в Москве.

По причинам, которые я едва мог себе объяснить, — причинам, которые имели корни в подполье моего разума, где воспоминания о детских идеалах жили своей собственной жизнью, — я почувствовал смущение, когда объявил отцу, что намерен вступить в партию.

«Я знал, что ты рано или поздно вступишь», — сказал он. «Я наблюдал, как ты все больше и больше вовлекаешься в политическую деятельность. Ты пишешь, изучаешь политику. Но я не скажу, что я вне себя от радости. Ты сам знаешь, сколько несправедливости вокруг нас — как растет дистанция между правителями и массами. . . . Я хотел бы знать, как ты смотришь на вещи, что у тебя на уме».

«Я рад, что ты спрашиваешь, папа. Я хочу говорить откровенно. Я благодарен тебе и многим тебе обязан. Я уважаю твою честность и чту твое революционное прошлое. Но, пожалуйста, постарайся понять меня. Мне почти двадцать четыре. Я вырос и работал с современными людьми в среде, преданной новым идеям и обширным планам на будущее нашей страны. Я не пришел в партию одним прыжком. Моя вера в нее строилась медленно, по кирпичику. Со временем я стал чувствовать себя партийным человеком.

«Я знаю, что в повседневной жизни полно недостатков, карьеризма, свинства и лишений. Мне это нравится не больше, чем тебе. Но я смотрю на них как на этапы, которые пройдут. Работа по превращению примитивной страны в современное индустриальное коммунистическое государство

огромна. Она не может быть сделана без ошибок и даже несправедливости. Но я не хочу стоять в стороне и критиковать. Я хочу честно работать внутри Партии, борясь со злом и поддерживая добро.

«Я долго думал, прежде чем сделать шаг. Находится ли Партия на правильном пути, могут показать только опыт и время. Но я верю в ее цели и хочу отдать все, что у меня есть, чтобы воплотить их в жизнь. В конце концов, вы не против индустриализации. Вы не против вытеснения изношенных лошадей тракторами. Ты не против того, чтобы крестьяне добровольно вступали в коллективные хозяйства".

Он посмотрел на меня строго, не сердито. "Конечно, я не против этих вещей, Витя. И я знаю, что ты чувствуешь. На самом деле, я узнаю себя в тебе. Так я вел себя в свое время. Я следовал своей совести, не щадя ни себя, ни жену, ни детей. Лучше немного веры, чем ничего. Ты помнишь Луку в "На дне" Горького: "Если веришь, Бог есть, если не веришь, то его нет".

Ты нашел веру. Желаю тебе удачи и успеха - от всего сердца. «Но оставайся ближе к народу, Витя. Суди о своей полезности не по должностям, которые ты получишь, а по тому, как эти люди будут жить, будут ли они лучше, счастливее и свободнее. Если ты действительно сблизишься с ними, поймешь их, поможешь им, я буду вечно тебе благодарен. Не живи лозунгами — суди политиков по их действиям, а не по красивым словам. Они великие мастера теории в Кремле. Посмотрим, как это сработает на практике. Пусть у тебя никогда не будет причин терять веру!»

Он помолчал, затем продолжил. «Кто знает, — признал он, — может быть, вам, нашим детям, удастся принести истинную свободу и лучшую жизнь массам». «Я уверен, что мы это сделаем, папа».

Этот разговор оставался свежим в моей памяти в последующие годы, поскольку я трудился в партии и для партии. Как будто мой отец наблюдал и судил-смотрел на факты и дела, стоящие за лозунгами.

В середине 1929 года меня приняли в партию. Мне это показалось величайшим событием в моей жизни. Это сделало меня одним из элиты новой России. Я больше не был личностью со свободным выбором друзей, интересов, взглядов. Я был навсегда предан идее и делу. Я был солдатом в высокодисциплинированной армии, в которой подчинение центру было первой и почти единственной добродетелью. Встречаться с не теми людьми, слушать не те слова, впоследствии было бы недопустимо.

Однажды, после того как я вступил в партию, управляющего моим цехом и меня вызвали в кабинет директора завода. Он сказал нам, что качество наших материалов, поставляемых на завод Дружковского в Донбассе, ухудшалось. Мы должны немедленно отправиться туда, разобраться, что именно не так с нашими материалами для их целей, и доложить ему. После недельной поездки я вернулся с полным отчетом. Я думал, что указал на наши трудности и сделал ряд предложений по их устранению. Директор был доволен. Он будет рекомендовать выдать мне существенное денежное вознаграждение за мою хорошую службу. Этого довольно?

"Мне не нужны деньги", - сказал я. "Но мне нужна квартира. Один из моих братьев и мой отец работают на этом заводе, как вы знаете. Но уже несколько лет мы не имеем настоящей семейной жизни из-за жилищных проблем. Сейчас мы даже не живем вместе, и моей матери пришлось остаться в деревне".

"Я посмотрю, что можно сделать", - пообещал директор. Несколько дней спустя все Кравченки жили вместе в удобной и довольно современной квартире, принадлежащей заводу. Моя мать смогла, наконец, покинуть наше жилье в бывшей коммуне Набат.

3

Так называемый Шахтинский процесс в 1928 году заполнил прессу в СССР и даже освещался в зарубежной прессе. Группа ведущих советских инженеров угольной промышленности предстала перед судом в Москве в присутствии иностранных и советских корреспондентов, с стрекотанием кинокамер и радиомикрофонов, транслирующих процесс на всю страну.

«Вот, — говорил Кремль своему населению, — почему у нас так много серьезных недостатков. Агенты капитализма, остатки старого режима, намеренно вызывают аварии, подрывая производство».

Это был первый из показательных процессов, впоследствии ставших стандартными, на которых люди признавались в преступлениях против советского режима.

В Шахтинском процессе некоторые из обвиняемых все еще отрицали обвинения и боролись за свою жизнь. Такой эксцентричности коммунисты будут избегать в будущих процессах.

Два года спустя состоялся еще один, гораздо более масштабный и характерный процесс над инженерами. Это был показательный суд над предполагаемыми руководителями предполагаемой Промышленной партии, посвятившей себя свержению Советской власти, восстановлению капитализма и взятию всей власти в свои руки.

Хотя эта картина была полна абсурда, я вполне верил в нее и одобрял ее, как и большинство населения СССР. В то время я и партийные люди нового поколения некритически приняли предположение, что многие инженеры и техники, получившие образование до революции, как само собой разумеющееся, будут сторонниками старого порядка - потенциальными, если не фактическими, врагами усилий по индустриализации.

Чтобы заменить инженерные силы, унаследованные от прошлого, мне было очевидно, что необходимо создать и обучить новые кадры, без памяти об этом прошлом, полностью преданные советским идеям и коммунистическим планам.

Их нужно было набирать в основном из молодых рабочих и служащих, а также ответственных работников, принадлежащих к партии или, по крайней мере, близких к ней по своему мышлению. Поэтому наверху было принято решение о создании партийных и профсоюзных «тысяч» для обучения в старых и новых университетах и технических институтах. Это был план, который исходил из всемогущего коммунистического Политбюро.

В 1930 году группа представителей Центральной Контрольной комиссии партии прибыла для проверки деятельности и кадров на нашем заводе. Меня вызвали в кабинет директора. За огромным столом из красного дерева и лесом телефонов, в кресле директора, теперь сидел незнакомец, в котором я узнал по фотографиям Аркадия Розенгольца, одного из важнейших партийных функционеров в Москве и видного члена Центрального Комитета Коммунистической партии.

«Здравствуйте, товарищ Кравченко», — сказал он и протянул мне руку.

«Я вызвал вас, потому что мне сообщили о вашей работе. Вы интересуетесь рационализацией производства. Это прекрасно. Вы смело выступаете в нашей прессе. Это тоже хорошо. Вам что-нибудь нужно?»

«Нет, спасибо, товарищ Розенгольц».

«Ну, расскажите мне о себе».

Я кратко рассказал ему о своей жизни. Мое детство в революционной семье. Работа в коммуне. Период в угольных шахтах и как я вступил в комсомол. Моя служба в Красной Армии. Моя работа на этом заводе и как я вступил в партию. Сколько раз мне придется впоследствии рассказывать эту историю! Это разматывание личной биографии является почти ритуалом при советском режиме, который должен выполняться и устно и письменно в анкетах по малейшему поводу.

Розенгольц слушал, внимательно изучая меня. Затем, по-видимому, принял решение. «Вы молодой человек, вам еще нет двадцати пяти», - сказал он. «Партии нужны инженеры-промышленники. Хотите учиться? Мы отправим вас в технический институт на несколько лет. Вы отплатите партии, приложив к делу все усилия. Партии нужна своя собственная техническая интеллигенция, чтобы продолжить задачу индустриализации в соответствии с ее политикой».

«Спасибо, я был бы рад сделать все, что смогу, для нашей страны».

На следующий день на завод приехал сам Серго Орджоникидзе. Неожиданно он вошел в наш цех, сопровождаемый свитой заводских и районных чиновников. Только присутствие самого Сталина могло взволновать меня больше. Орджоникидзе, близкий к Сталину, комиссар Рабоче-крестьянской инспекции, глава Центральной контрольной комиссии партии. Первое, что я подумал, было: «Точно как на фотографии на стене нашей артели в Донбассе!» Он был в той же высокой серой каракулевой шапке, в той же синей гимнастерке с серым воротником. Его мешковатые брюки были заправлены в мягкие кожаные сапоги по колено. Его орлиный нос был изогнут еще более величественно, чем на картинке, усы еще более широко взметнулись из-под скул. Я был возбужден и мне казалось, что я знаю его всю свою жизнь. Для меня, что-то в его невзрачности и улыбке

отменило дистанцию, которая отделяет божество, спустившееся с Кремлевского Олимпа, от земных людей внизу.

Директор представил меня. "Да, я слышал о вас", - прогудел Орджоникидзе, протягивая мне руку. "Как у вас дела?"

"Хорошо", - сказал я, а затем добавил, - "хотя могло бы быть и лучше".

"Интересно! А что мы можем сделать, чтобы стало лучше?"

"Это трудно сказать в двух словах", - ответил я.

"Не стыдитесь, говорите", - поощрил меня Орджоникидзе.

"Ну, вот так, товарищ комиссар", - сказал я. «Слишком много чиновного аппарата, слишком много людей, проверяющих друг друга. Я посмотрел записи дореволюционных лет на этом самом заводе и обнаружил, что наш административный персонал вырос почти на 35 процентов. Мне кажется, это неправильно. Люди мешают друг другу. Все отвечают за результаты, а значит, никто не отвечает. Мы работаем плохо и затрачиваем слишком много. Почему на этом заводе капиталисты получали прибыль, а мы показываем только убытки? В конце концов, ведь рабочие должны работать теперь даже лучше, чем раньше, так что проблема, должно быть, в нас самих».

Даже в пылу своего порыва я заметил, что заводские чиновники становятся все более и более беспокойными. Директор кашлянул. Представители партии и профсоюза заерзали. Работа в отделе прекратилась, и откуда-то раздался голос: «Правильно, Виктор Андреевич, правильно!»

«Да, — продолжал я, увлеченный собственными словами, — часто больше шума, чем результата. Дисциплина слаба, потому что ее поддерживают столько людей. Нам, товарищ Орджоникидзе, нужно единое руководство и единая ответственность, без вмешательства из стольких мест».

«Интересно!» — снова сказал он. «И в целом вы правы. Наш вождь тоже думает в этом направлении. Вам надо пойти и поучиться, товарищ Кравченко».

Он пожал мне руку и ушел, сопровождаемый полуиспуганной свитой. Но через несколько шагов он повернулся ко мне и сказал:

«Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы или что-то срочно понадобится, напишите мне! Я помогу!»

В трудные годы я приму это предложение. Я уже чувствовал, как будто Орджоникидзе «усыновил» меня. У меня был покровитель в креслах всемогущего. Пока он не умер в начале 1937 года, у меня было чувство убежища. В мои худшие моменты, осознание того, что я могу обратиться за помощью к грузинскому товарищу Сталина с ястребиным лицом, придавало мне смелость, которую другие не могли иметь.

. Моя «лекция» близкому другу Сталина была темой разговоров на заводе неделями. Рабочие хлопали меня по спине, довольные моей откровенностью. Но на следующий день меня вызвали в кабинет партийного комитета. Там был секретарь партии Константин Окороков, а также директор товарищ Иванченко.

«Что с тобой, Кравченко?» — крикнул секретарь, когда я вошел. «Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, что Серго устроил ужасный скандал и чуть не бросил в нас чернильницами? Он был таким мягким и счастливым, пока ты его не завел. Потом он обругал нас как ленивых и никудышних ублюдков».

Я стоял на своем. Я только сказал правду, сказал я. Разве сам Ленин не заявил, что промышленный процесс требует единого и ответственного руководства? С Лениным и Орджоникидзе на моей стороне даже секретарь партии был бессилен в своей ярости. Товарищ Иванченко, который в душе соглашался со мной и был раздражен любопытством и вмешательством партийных и профсоюзных чиновников, не смог сдержать улыбку удовлетворения.

После чего, я закончил свою работу цехе, чтобы после снова стать студентом. Я подозревал, что некоторые из администрации завода были рады видеть, что я ухожу.

Мои родители и братья были рады такому повороту событий. Мать, в частности, так и не смирилась с тем, что я остаюсь всего лишь бригадиром, как ее муж. В душе она беспокоилась, потому что революция прервала мое образование. Теперь, хотя и с опозданием, мне предстояло готовиться к карьере инженера, и она была в восторге от этой идеи. Даже мой отец казался совершенно счастливым. Он с одобрением выслушал мое описание товарища Орджоникидзе.

«Мой сын будет инженером», — услышал я, как он сказал своим приятелям однажды вечером за семейным самоваром. В его тоне была гордость.

Я посвятил несколько месяцев подготовке к вступительным экзаменам. Специальные прединститутские курсы были доступны для молодых счастливчиков, отобранных для «тысяч», тех, кто был выбран в качестве новой советской интеллигенции. Затем, в начале 1931 года, я поступил в Технологический институт в Харькове.

ГЛАВА VI

СТУДЕНТ В ХАРЬКОВЕ

ВОТ Я, снова студент в возрасте двадцати пяти лет, и на попечении государства. Ежемесячная стипендия, выплачиваемая из бюджета завода имени Петровского-Ленина, давала мне достаточно средств, чтобы поддерживать жизнь, с запасом на одежду и развлечения. Но голод и холод, близнецы, с которыми я так хорошо сблизился в период гражданской войны, снова стали моими товарищами. Они больше не были безжалостными и настойчивыми, как в прошлом; время от времени они давали мне желанную передышку; но они всегда грызли и ворчали, как хроническая зубная боль.

Технологический институт в Харькове размещался в массивных старых зданиях, расположенных на краю прекрасного парка на улице Каплуновского. В другие времена, без сомнения, это был типичный университетский городок. Я мог легко представить себе молодых людей в аккуратной университетской униформе, в основном из обеспеченных семей, смешивающих работу с студенческой жизни; дух молодости, должно быть, пульсировал в атмосфере учебы. Но сейчас здесь было шумно, переполнено, так же интенсивно, как большой литейный завод в полном разгаре. Срочность, лозунги, суета пятилетнего плана были здесь так же очевидны, как на строительной работе.

Вероятно, никогда до или после этого столь странный набор мужчин и женщин, мальчиков и девочек не собирался в одном учебном заведении. Большинство студентов были старше двадцати трех лет, а многим было за тридцать. Мужчины с опытом и культурой делили классы с молодыми рабочими, для которых учеба была своего рода чудом, а также своего рода

мучением. С заводов, доменных печей, шахт и учреждений, совхозов и армейских лагерей нас мобилизовали для этого массового производства

совершенно новой технической интеллигенции. Наряду с местными студентами, которые жили со своими семьями, были люди из Средней Азии, которые никогда раньше не видели европейского города. Тут были ветераны войны, бывшие партизаны из Сибири, а также коммунистические чиновники, умудренные путями новой политики.

Вероятно, также, никакая группа студентов никогда не имела дела с такой учебной программой. Мы шли по ней, как люди, прокладывающие путь через опасные джунгли, как люди, побеждающие вражескую армию. Этот процесс не имел ничего общего с обычными школами в дореволюционное время.

Вместе с тысячами других студентов из разных харьковских институтов, я жил в огромном улье общежития на проспекте Пушкина под названием Гигант. Здесь мы были набиты по четыре, пять или больше человек в комнате, окоченевшие от холода зимой и измученные летней жарой.

Часто в ту зиму 1930-31 годов Гигант был настолько холодным, что вода в нашем умывальнике замерзала. Мы подбирали случайные куски дерева, доски забора, сломанную мебель, старые газеты, чтобы наполнить крошечную железную печку в нашей комнате, с ее странным, многосочлененным дымоходом, торчащим из окна.

Так мы жили, учились, спорили и мечтали об индустриальном будущем, борясь с морозом и голодом здесь.

Девушки жили в своем собственном крыле, хотя мы свободно общались в общественных залах и столовых и не имелит никаких запретов на посещения комнат друг друга. Естественно, среди студентов завязывалось много любовных связей. Пуританства в Гиганте не было и в помине.

Я получил комнату с четырьмя другими - Алексеем Карнауховым, Георгием Вигурой, Ваней Авдащенко и Павлом Пахолкиным - все мы принадлежали к мобилизованным "тысячам", все мы были членами партии. Алексей, на самом деле, был человеком с определенным влиянием, будучи членом Центрального Комитета комсомольской организации. Плотного телосложения, с русыми волосами и серьезными карими глазами, он

обладал таким же приятным характером, как и внешностью. Он был честен, откровенен и обладал редким среди советских чиновников критическим умом. Он не зазнавался из-за своего положения и не избегал откровенного обсуждения учебных и общественных дел.

Мы с Алексеем сразу стали близкими друзьями. Мы любили нашу партию. Мы верили в нее. И именно по этой причине мы не стеснялись говорить об этом откровенно. Почему между лозунгами и достижениями, между официальными заявлениями и очевидными фактами была такая глубочайшая пропасть? Эту проблему мы исследовали с нежной заботой о большевизме, а не с гневом. Вместе нам было легче рационализировать разворачивающийся террор, искать благородные мотивы в неблагородном поведении и вообще укрепить нашу советскую веру в тревожный период.

Георгий Вигура был коммунистом совсем другого склада. Ему сама идея обсуждения партийных инструкций и решений казалась кощунственной. Что тут было обсуждать? Разве не все было совершенно ясно? У Георгия не было мнений — только цитаты из Сталина, «Истории», «Правды» и других авторитетов. Темы, по которым не было официального заявления, просто не существовали для него. Он был совершенно уверен, что Алексей и я, со всеми этими неверными зондажами, переживаниями и пустыми разговорами, плохо кончим.

Пахолкин, столь же твердо преданный партии, как и Вигура, был бесцветным, трудолюбивым парнем. Он был почтителен ко всем своим соседям по комнате и вызвал у меня неприятное чувство, что он благодарен за то, что ему позволили жить на этом свете. Он был в равной степени благоговел перед беспрекословным партийным благочестием Вигура и моими собственными смелыми вопросами. Боюсь, что мы воспользовались бедным Пахолкиным, взвалив на его кроткие плечи больше дел, чем ему по праву принадлежало.

Но настоящим проблемным ребенком нашей комнаты был Ваня Авдащенко. Ваня был самым старшим из нас, ему было, наверное, за тридцать. Он был большим, крепким, добродушным и невероятно ленивым в учебе. Партизан в годы гражданской войны, он жил в угасающей славе этих подвигов. Они, как он видимо, считал, освобождали его от необходимости серьезных усилий навсегда.

Он не был глупым, наш Ваня, и мог бы усвоить свои уроки, если бы

мог заставить себя приложить усилия. Мы читали ему лекции на эту тему и требовали торжественных обещаний, что он займется работой, ради которой его втянули в «тысячи». Наши усилия ничего не дали. Растянувшись на своей койке, он делал вид, что запоминает химические формулы, когда на самом деле читал дешевый роман.

Его недостатки как студента, однако, более чем компенсировались талантом Вани к политическим контактам. Он знал всех, и все знали его. Само собой разумеется, его ставили в важные комитеты, где, так же естественно, он ровно ничего не делал, и поэтому не допускал ощутимых ошибок. У него были друзья на кухнях Гиганта, в лучших кооперативных продуктовых магазинах и других местах, где можно было добыть дополнительные пайки. И мы все делили дивиденды его политического гения, даже ругая его за лень.

Еще до окончания семестра, Ваню исключили из Института. Однако я нисколько не удивился, когда, столкнувшись с ним в Москве много лет спустя, узнал, что он стал главой важного треста. В своем восхождении по бюрократической лестнице наш Ваня не был сдерживаем избытком багажа знаний, понимания или чувствительности.

Политическое образование в нашей программе обучения ставилось даже выше, чем технические предметы. Правительство стремилось не просто к инженерам, а к инженерам с советским мышлением. Наш факультет ленинизма во главе с советским профессором Филипповым заставлял нас равняться на результат. Те, кто не мог усвоить «Капитал» Маркса, диалектику Энгельса, труды Ленина и, прежде всего, диссертации Сталина, выгонялись из института быстрее, чем те, у кого были проблемы с математикой или чертежами.

Мы, пятеро соседей по комнате, учились в Авиастроительном институте, хотя практический опыт строительства самолетов имел только Вигура. В самом предмете авиации, как самом современном элементе российской программы модернизации, было нечто символическое, что радовало наши сердца. По утрам мы занимались гимнастикой в нашей узкой комнате, чтобы согреться. Затем мы ели в столовой «Гигант». Стандартный завтрак состоял из небольшой миски каши, куска черного хлеба и чая без сахара или лимона.

Промёрзшие до костей и все еще голодные, мы, однако, радовались. Мы были полны разговоров и планов — об Институте, Гиганте, Партии и о себе.

Несмотря на различия во взглядах и столкновения личностей, среди нас выработалась определенная групповая лояльность. Когда у кого-то из пятерых было важное свидание с девушкой, остальные пожертвовали галстуки, чистую блузку, эту хорошую пару брюк, даже несколько рублей, чтобы экипировать его для этого случая.

Институт, как и любое другое советское учреждение, имел свою собственную газету. Вскоре я стал работать помощником редактора. Ворчание против администрации Гиганта было широко распространено и находило много откликов в наших колонках. Скудные пайки, плохая готовка, отсутствие стирки и организованности были предметом нашей критики.

Все это достигло апогея на студенческом массовом собрании, организованном нашими партийными и комсомольскими ячейками. Было много речей и предложений. По предварительной договоренности с руководящим комитетом я предложил, чтобы студенты сами взяли на себя часть обязанностей по управлению. Алексей поэтому предложил назначить меня, тут же, чтобы взять эту работу в свои руки. В этот момент привлекательная девушка, которую я раньше не замечал, попросила слова.

«Я встаю, чтобы поддержать избрание товарища Кравченко», - сказала она. «Я знаю его восемь лет и могу засвидетельствовать, что он преданный товарищ».

Это была хорошенькая девушка, пухленькая, аккуратно одетая, и она говорила смело, с видом уверенности в себе. В течение остальной части процедур я задавался вопросом, кто она и откуда она меня знает. Меня выбрали главой «Гигантской коммуны». После встречи я догнал девушку в коридоре. «Как дела, Виктор Андреевич?» — она засмеялась немного озорно.

«Я уверена, что вы меня не помните, но достаточно того, что я вас помню».

«Ну, откройте мне тайну», — парировал я.

«Я Паша. Это поможет?»

«Паша? Нет, боюсь, что нет».

«Ну, вот еще одна подсказка: я толкала угольный вагон в шахтах Алговеровки...»

И вдруг я вспомнил. «Боже мой! Неужели это та самая Паша?» воскликнул я. Мы оба рассмеялись, и я обнял ее от радости.

«Алеша!» — крикнул я, когда к нам присоединился Алексей. «Познакомьтесь с Пашей. В последний когда я ее видел, она была черной как уголь, в крестьянских лохмотьях...

«И неграмотной», — помогла она мне.

«Да, и посмотрите на нее, пожалуйста. Студентка и культурная, как вам угодно, кроме этой красивой внешности, скрытой под угольной пылью», — продолжил я. «Вот это триумф революции!»

И в самом деле, метаморфоза была необычайной. В этой девушке почти невозможно было обнаружить след отсталой, угрюмой молодой крестьянки, с лохмотьями вокруг- ног и длинными косами по спине, которую я знал в шахтах. Я вспомнил, что она была как загнанный в ловушку дикий зверь, обиженный нашими попытками цивилизовать ее.

Где-то в глубине своего сознания я записал эволюцию Паши в кредит революции, чтобы помочь совести свести счеты.

Знакомство Алексея и Паши процветало. Я чувствовал себя покровителем и хранителем их дружбы. С помощью Харьковского городского совета и местных партийных органов нам удалось улучшить условия жизни в общежитии. Наши продовольственные пайки были увеличены. Выделение топлива было увеличено. В подвале было оборудовано несколько общественных прачечных. Добровольные бригады по уборке чаще подметали коридоры, и - самое большое достижение - в здании была установлена парикмахерская и салон красоты. Как руководителя этого начинания, мои акции среди студентов высоко выросли.

Но при всех улучшениях, наше существование оставалось на спартанском уровне. Помимо наших собственных трудностей, большинство из нас с тревогой осознавали ухудшение условий в городе в целом, и тем более в сельской местности. Несмотря на скрытность, несмотря на реальную опасность открытого обсуждения, все знали некоторые, пусть и не все факты.

Слухи о невероятных массовых смертях и зверствах в деревнях в связи с ликвидацией «кулаков» передавались из уст в уста. Мы видели длинные поезда товарных вагонов, заполненных крестьянами, проходившие через Харьков, как говорили, по пути в тундру крайнего Севера, в рамках их ликвидации. Отчаявшиеся крестяне убивали некоторых коммунистических чиновников в деревнях, а в ответ за это непокорных крестьян убивали в массовых масштабах. Ходили также слухи о крестьянском сопротивлении коллективизации. Декрет из Москвы, объявляющий несанкционированный забой скота крестьянами для своего пропитания тяжким преступлением, подтвердил худшее из этих сообщений.

Несмотря на чекистские кордоны вокруг города, железнодорожные станции нашего города были забиты оборванными, голодными крестьянами, бежавшими из своих деревень. Беспризорные, бездомные голодные дети, которые так часто встречались в годы гражданской войны и голода, теперь снова были повсюду. Нищие, в основном сельские жители, но также и некоторые городские жители, снова появились на улицах.

Советская пропаганда рассказывала славные истории о достижениях советского народа. Завершено строительство Туркестанско-Сибирской железной дороги. Новые промышленные заводы открылись на Урале, в Сибири, повсюду. Коллективизация на 100 процентов завершена в одной области за другой. В газетах открытые письма «спасибо Сталину» за новые фабрики, новые жилищные проекты. Делегации из-за рубежа — даже из Америки и Австралии — приезжали, чтобы поглазеть на советские чудеса Пятилетки, и в интервью эти иностранные гости хвалили советские триумфы с почти истерическим энтузиазмом. Как эти визитеры упускали из виду другую сторону картины, было загадкой, которую мы так и не разгадали.

Что было реальностью, а что иллюзией? Смерть, голод и ужас в российских деревнях, бездомные дети — или пропаганда достижений в прессе? Или, возможно, и то, и другое было частью одной и той же сложной истины? Такие вопросы не задавались и не отвечались публично. Но в частном порядке мы говорили о них, Алексей и я, и миллионы других.

Еще одна путаница в нашу жизнь в Институте вскоре после того, как я поступил, была добавлена указом свыше, что все обучение и экзамены проводятся на украинском языке, а не на русском. Указ касался

всех школ и институтов. Это была крупная уступка Москвы националистическим стремлениям крупнейшей нерусской Советской Республики.

Теоретически мы, украинцы в студенческом составе, должны были быть довольны. На практике мы были так же расстроены нововведением, как и неукраинское меньшинство. Даже те, кто, как и я, говорил на украинском языке с детства, не привыкли к его использованию в качестве средства обучения. Несколько наших лучших профессоров были совершенно деморализованы языковым переходом.

Хуже всего то, что наш украинский язык просто не догнал современные знания; его словарный запас был непригоден для целей электротехники, химии, аэродинамики, физики и большинства других наук. Бедный Ваня, заблудившийся в лесу образования на любом языке, был доведен до жалкой беспомощности бурей украинизации. Сотни других студентов были не в лучшем положении. Георгий Вигура, конечно, перевел все свои святые тексты от партийных властей на украинский язык и остался совершенно приспособленным. Остальные из нас терпели новое бремя, ссылались на русские учебники исподтишка и втихомолку высмеивали opera bouffe

национализма.

То, что должно было быть свободным правом, было превращено в его применении в гнетущую обязанность. Использование собственного языка было не просто разрешено, оно стало обязательным. Сотни мужчин и женщин, которые не могли освоить его, были уволены с государственных должностей. Говорить на чем-либо другом, кроме украинского, публично стало почти контрреволюционным. Дети из обрусевших семей отставали в учебе из-за того, что это стало для них обучением на иностранном языке.

В конечном итоге, конечно, все эти излишества будут официально осуждены. Украинский патриотизм, который они породили, в отличие от советского патриотизма, будет наказуем ссылкой или смертью. Матерый большевик Скрипник, комиссар образования Украины, будет сделан козлом отпущения

за отступления и доведен - за это и другие идеологические «преступления» - до самоубийства.

Но пока это длилось, трагикомедия не допускала никакой критики. Однажды вечером пятеро соседей по комнате Гиганта вернулись домой с выступления товарища Скрипника с благословением украинизации. Мы все были поражены честностью и умом этого человека, даже когда мы сомневались в целесообразности языковой политики.

«Может, он и прав», — сказал Ваня. «Но, черт возьми, я просто не могу ничего выучить на украинском языке. Это достаточно сложно и на русском».

«Вы не имеете права так говорить», — грустно покачал головой Вигура.

«Партия считает это необходимым, и наша задача — следовать ее приказам».

«Такой формальный подход бессмыслен», — заявил Алексей. «Вы не приносите партии никакой пользы, Георгий, отказываясь думать. Эта крайняя программа украинизации вредит нашему делу, а не помогает ему. В конце концов, мы видим результаты яснее, чем Политбюро в Кремле».

«Алексей прав!» — сказал я. «Вся эта затея глупа. Люди могут использовать любой язык, какой им нравится».

«Ах, так теперь вы нападаете на Кремль!» — закричал Вигура. «Вопрос уже решен, и я отказываюсь обсуждать его дальше».

Когда мы продолжили анализировать ситуацию и выразили надежду, что она изменится, Вигура сердито вышел из комнаты. На следующий день Алексея и меня вызвал секретарь парткома. Он начал с разговора о других вещах, но вскоре перешел к программе украинизации. Он понял, что мы настроены критически, сказал он, и распространяем сомнения.

Было очевидно, что Вигура донес на нас. В тот вечер, когда он вернулся с ужина, мы все четверо ждали его. Ваня взял на себя инициативу.

«Георгий, — сказал он, — ты можешь помочь нам уладить спор. Ты знаешь Библию, не так ли?»

«Я знаю».

«Тогда скажи нам, сколько сыновей было у Ноя и как их звали».

«Три сына», — ответил буквалист Вигура. «Шем, Хам и Иафет».

«Нет, ты ошибаешься!» — сказал Ваня с тяжелой иронией. «Их было трое, но их звали Сим, Хам и Иуда! Надеюсь, ты понимаешь».

Вигура покраснел. На этот раз его самодовольное. благочестие пошатнулось. «Я всегда исполняю свой долг», — пробормотал он и вышел из комнаты. Потребовалось много недель, чтобы прояснить атмосферу этого инцидента. После самоубийства Скрипника, когда сама партия стала придерживаться взглядов, близких к взглядам Алексея и моим, Вигура не видел ничего непоследовательного в своем поведении. Каждый период имеет «свою правду», сказал он.

Право использовать свой собственный язык, в конечном счете, является единственной «автономией», которой обладают нерусские союзные республики или области. Писать или думать на этом языке о чем-либо, что не строго соответствует линии партии, является изменой. Языковая свобода, которая должна быть началом национальной самостоятельности, на практике является ее концом. «Национальный по форме, демократический по содержанию» — советский лозунг, который покрывает то, что на самом деле является полностью централизованным полицейским контролем.

«Вот и вся наша национальная автономия!» — однажды прошептал мне на ухо один циничный друг. Он указывал на общественный туалет, где слова «Мужчины» и «Женщины» были написаны на двух языках — украинском и русском.

Миф о том, что различные советские республики пользуются некоторой степенью независимости и даже правом на отделение, по какой-то причине укоренился за рубежом. Никто в Советском Союзе, конечно, в это не верит. Любой культурный акцент среди меньшинства, который хоть немного противоречит коммунистическим догмам, подавляется безжалостно. Сотни украинцев были убиты, десятки тысяч были заключены в тюрьму и сосланы за «националистические отклонения» и предполагаемые сепаратистские настроения.

3

Мое пребывание в Харькове было прервано без предупреждения решением, о котором со мной даже не посоветовались. Внезапно меня перевели из

авиационной квоты в металлургическую и приказали поступить в Металлургический институт, сначала в Ленинграде, затем в моем родном городе. Но как бы кратко оно ни было, Харьковское пребывание врезалось в мою память, настолько оно было переполнено партийной работой, редакционной деятельностью, задачами по управлению Гигантом.

И в этом воспоминании на переднем плане две женщины. Обе они были красивы, и обе, по совпадению, несчастливо замужем.

Доктор Самарин, наш профессор химии, был горбуном. Его длинные руки были гротескно непропорциональны его низкорослому росту, а голова имела форму дыни. Но его глаза были такими нежными и мудрыми, его ум таким острым, его сочувствие к людям таким настоящим, что студенты быстро забыли о его уродствах. Я с удовольствием ждал его лекций.

Однажды я пригласил его пообедать с нами в «Гигант». Я провел его по комнатам и общественным залам, и он был в восторге от порядка и чистоты. После ужина он сказал: «Витя, ты должен скоро прийти к нам. Приходи ко мне домой. Моя жена прекрасно играет на пианино, и я знаю, что ты любишь музыку».

Самарины занимали со вкусом обставленную квартиру, в которой рояль занимал большую часть пространства гостиной. На стене висели картины русских классиков. В углу на постаменте стоял бронзовый бюст Бетховена. В ту первую ночь я увидел Клавдию не только своими собственными глазами и чувствами, но и глазами ее мужа. Его любовь к этой стройной брюнетке была почти осязаемой вещью в комнате. Как будто ее красота отменила его уродства и сделала его полноценным. Поскольку я был так сильно привлечен ее очарованием и неопределенной грустью, которая ее окутывала, чувство похожее на вину испортило мою радость от музыки и разговора. Я придумал предлог, чтобы уйти пораньше.

Несколько дней спустя, когда я шел сквозь мягкий снегопад, я оказался лицом к лицу с Клавдией.

«Ты убежал прошлой ночью», — сказала она сразу, не поздоровавшись.

«В качестве наказания ты должен прийти ко мне сегодня вечером. Это приказание. Я буду тебя ждать».

Я был совершенно уверен, что не пойду туда. Однако несколько часов спустя я звонил в ее дверь. Стол в столовой был накрыт на двоих.

«А где доктор Самарин?» — спросил я, внезапно смутившись и почувствовав себя в ловушке — не Клавдии, а собственных эмоций.

«О, он навещает своего брата, который живет в деревне недалеко отсюда. Он вернется только через несколько дней».

Наш разговор за ужином был напряженным, несмотря на бутылку кавказского вина. После ужина я предложил прогуляться по парку, заснеженному при лунном свете. «Нет, мой дорогой узник», — засмеялась она, — «если тебе нужны лунные эффекты, вот Лунная соната», — и она сыграла ее на пианино.

Затем она играла и пела цыганские песни, многие из которых я помнил из своего детства в Александровске. Я рассказал ей о цыганских таборах и своей дружбе с Сайдеманом. Все это время я напряженно сидел в большом кресле, где сидел ее муж прошлой ночью. Мне оно показалось цитаделью самообороны. Вдруг, почти на середине предложения, я объявил, что должен уйти.

Она посмотрела на меня с грустной улыбкой.

«Снова убегать», — сказала она. «Но на этот раз я тебя не пущу».

«Извини... но уроки... Я обещал Алеше, что присоединюсь к нему. . .».

«Ты лжешь, Витя, милый, и я это знаю. Давай поговоримоткровенно. Почему я не имею права провести вечер с кем-то - ну, с кем-то более похожим на меня?»

Ее голос был теперь полон сдерживаемых слез. Я снова сел. Она рассказывала мне часть своей жизни, и пока она говорила, напряжение между нами исчезало. Мне она казалась просто несчастной девочкой, изливающей свое сердце.

Клавдии было девять лет, когда грянула революция. Она была ребенком богатой семьи, и воспитывалась частными учителями и гувернантками. В первые месяцы революции оба ее родителя были арестованы как заложники и некоторое время спустя расстреляны большевиками во время повсеместных убийств «буржуазных» заложников. Клавдия переехала жить к

старой тетке, в темную мансарду бывшего их собственного семейного особняка. Их было горькое, полулегальное существование «бывших» людей, деклассированных и объявленных вне закона. Юная Клавдия не имела ни права на школу, ни права на работу. Они поддерживали себя, продавая спрятанные остатки своих старых вещей.

«Я знаю, что молодые коммунисты, такие как вы, никогда не смотрели на положение дел с нашей стороны», - сказала она. «Вы не можете себе представить, что значит быть презираемым, объявленным вне закона, чувствовать себя нежеланным. Особенно, когда вы молоды. Бедность достаточно тяжела для любого. Она намного хуже для тех, кто знал уважение, комфорт и изобилие».

Когда ей было около семнадцати, Клавдия влюбилась в поэта, который был вдвое старше ее, и переехала к нему жить. Несколько месяцев с ним, сказала она, были для нее самым близким к настоящему счастью. Но внезапно он исчез, и до сих пор она не знает, что с ним случилось. Он был противником советского режима и, как она предполагала, находился в каком-то советском концентрационном лагере, если был еще жив. «Я была хорошенькой, и за мной ухаживали многие молодые люди. Но все они были юношами из моего круга, детьми прошлого. Я так устала и так много страдала, что тосковала по безопасности. Мой прекрасный принц, если он когда-нибудь приедет, должен будет быть коммунистом и иметь партийный билет... И вот однажды я встретила доктора Самарина.

Я чувствовала к нему отвращение физически, но мне льстило, что он коммунист, молодой человек с именем, который принадлежал к партии, интересовался мной. Он любил меня робко и нежно и на расстоянии. Я была одновременно встревожена и очарована его животной преданностью.

«Прежде всего, я была благодарна за его доброту. Моя тетя и я согласились, что у него была прекрасная душа, даже если он был горбуном и коммунистом. Я боюсь, что для моей бедной тети оба пункта казались уродствами одного порядка. Больше года он навещал нас, приносил нам еду и одежду и давал мне уроки, не говоря ни слова о своих чувствах ко мне. Он даже умудрился как-то раздобыть для меня пианино.

"И вот однажды, когда я играла его любимые пьесы из Чайковского, я сказала ему: "Я знаю, что ты меня любишь. Я тебя не люблю. Но я

восхищаюсь тобой и мне нужна твоя защита и компания. Почему бы нам не пожениться?" Он сидел там, как человек, которого ударила молния, - счастливый, неверующий и также стыдящийся. Я полагаю, он знал правду, даже если он вытолкнул ее из своего разума - правду о том, что бывшая, преступница, дитя прошлого, принимает физического урода из отчаяния.

«Вот видишь, Витя, как мало вы, умные коммунисты, знаете о жизни», — заключила она. «Ты не знаешь, сколько тысяч русских женщин, которых советская власть вытеснила из жизни и которых избегали из-за их происхождения, нашли убежище, выйдя замуж за новых аристократов и красных буржуев -- коммунистов. Некоторые из них также нашли счастье. Я, увы, не из таких. Я не могу забыть или простить тех, кто уничтожил дорогих мне людей и то, что мне было дорого больше всего.

«Такие люди, как я, одиноки. Это и есть самое худшее, я думаю. Одиночество. Мы притворяемся, что принадлежим. Мы живем тайной жизнью в наших мыслях. Я пыталась быть общественно активной. Однажды я предложила преподавать музыку в школах. Власти, казалось, заинтересовались — пока я не заполнила анкету и не призналась, что я «бывшая». "

Было уже за полночь, когда я ушел.

"Давай расстанемся друзьями, Витя", - сказала она у двери. "Не думай обо мне плохо. Я несчастна и не вижу впереди ничего, кроме бесконечного одиночества. Пожалуйста, заходите к нам, когда доктор Самарин будет дома. Он хороший учитель, и я знаю, как сильно вы им восхищаетесь".

Я слишком уважал Самарина, как профессора и как человека, чтобы снова вмешиваться в его семейную жизнь.

4

Я иногда заходил домой к товарищу Ф., советскому чиновнику-украинцу, занимавшему важное место в Комиссариате Рабоче-крестьянской инспекции. Он был старым членом партии, ему было около пятидесяти, он был хорошо образован и знал большинство великих революционных деятелей лично. Он называл Ленина, Троцкого, Луначарского, Зиновьева и других по именам. Его жена, седовласая и кроткая на вид женщина, всегда напоминала мне Крупскую, вдову Ленина.

Когда мы трое оставались одни, товарищ Ф. не мог удержаться от политических разговоров. Мы могли начать с театра, новой книги, моих занятий, но вскоре он обсуждал аграрные проблемы, террор против своих старых товарищей, темпы индустриализации. Идеи, которые в другом месте шокировали бы меня, каким-то образом казались естественными и правдоподобными; исходящие от него сообщения, которые я отвергал бы как «контрреволюционные слухи», он будет упоминать небрежно, как обыденные факты. Благодаря своей работе в Комиссариате он был в состоянии знать и говорить о массовых смертях в деревне, о крестьянском нежелании идти в колхозы, о массовых арестах, как будто это были вопросы общего знания.

В любом случае, товарищ Ф. невольно был ответственен за мою встречу с Юлией. Он вручил мне пропуск на двоих в ложу в Оперном театре на представление «Чио Чио Сан». Я взял с собой Алексея Карнаухова.

В соседней ложе сидели две хорошо одетые и чрезвычайно красивые женщины. Одну из них я сразу узнал как пациентку в киевском санатории, где я выздоравливал после своего ранения на персидской границе.

«Это Юлия Михайловна, жена Р.», — прошептал я своему спутнику.

«Р.!» — воскликнул он.

Для его восклицания было достаточно оснований. Р. был одним из самых важных чиновников в украинском правительстве, человеком огромной власти и, как считалось, близким к самому Сталину. Я вспомнил, что он регулярно отправлял своей жене цветы самолетом из Харькова, пока та была в Киеве.

Юлия, очевидно, узнала меня и жестом пригласила присоединиться к ней между актами. «Какая она красивая!» — подумал я. «Почему я не заметил ее три года назад в Киеве? Какой же я был молодой болван!» Остаток акта мы обменивались взглядами, и она улыбалась мне с откровенным удовольствием нашей встрече, которая заставила меня покраснеть. Я не пытался скрыть своего восхищения.

Опера была смертельно скучной. Ее подправили, чтобы сделать ее идеологически подходящей, и она была полна напыщенности и революционных штампов.

Но на всю оставшуюся жизнь любой из ее арий было бы достаточно, чтобы возродить воспоминание о моей любви к Юлии. Она была женщиной среднего роста, немного старше меня, чем-то фруктоподобной в своей сочной красоте. Ее золотистые волосы были заплетены в толстые косы, которые были сложены на ее голове в корону, создавая оправу из полированного золота для ее прекрасных черт.

Когда занавес опустился, мы пошли в ее ложу. Я представил Алексея, а она представила свою подругу Марью. Мы говорили о банальностях нового и пока еще неловкого знакомства, но встреча была пронизана волнением; в ней было особое напряжение, не имевшее никакого отношения к тому, что говорилось.

Мы остались в их ложе на второй акт. Прежде чем он закончился, Юлия прошептала: «Зачем оставаться до конца? Давайте поедем домой и поужинаем».

Мы с готовностью согласились. У театра Юлия отпустила большой автомобиль, который ее ждал. Она сказала, что будет веселее ехать домой на санях. Мы выбрали двое самых чистых; Алексей и Марья

взяли одни, Юлия и я - другие. Эта поездка запечатлелась в моей памяти с поразительной деталью и ясностью. Холодная, ясная, мишурная ночь, окутанная сверкающим снегом. Облака снежной пыли, поднятой скачущими лошадьми, когда мы скользили бесшумно. Облака выдыхаемого воздуха. Ощущение руки Юлии в моей под меховым пледом на наших коленях.

Я рассказал ей об Институте, о своей карьере на фабрике и в Партии. Я рассказал ей об Алексее и других моих соседях по комнате. Посреди бесцельного разговора я прервал себя, чтобы воскликнуть: «Как все прекрасно сегодня вечером!», и наши губы встретились в долгом поцелуе.

Вскоре мы свернули в переулок и остановились перед небольшим двухэтажным домом, стоящим за высоким забором — частным жилищем, которое могло бы принадлежать, и вероятно принадлежало, богатому купцу в былые времена. У ворот стоял на страже милиционер. Марья и Алексей, почувствовав, что мы хотим побыть одни, настояли на том, чтобы им пойти в ресторан. Юлия открыла крючом дверь и пригласила меня войти.

Когда она включила свет, я оказался в самом элегантном доме, который я когда-либо видел. Восточные ковры на полу, гобелены и картины на стенах, хрустальные люстры, мягкие диваны и сверкающие столы из красного дерева. Все было богато и красочно, но в самом расположении была изысканная сдержанность.

Я стоял посреди этого великолепия, ослепленный и откровенно сбитый с толку. Юлия рассмеялась. «Это все реально, дорогой, это не съемочная площадка», — сказала она, сбрасывая с себя накидку из тюленьей шкуры.

«Но я не думал, что что-то подобное все еще существует, за пределами музеев», — сказал я.

«Не беспокойся, Витя, в нашей стране есть много вещей, которых ты не можешь себе представить. Зайди на кухню и помоги мне приготовить закуску. Я умираю с голоду. Сегодня вечером слуг нет дома, а он в Москве на какой-то конференции или еще на чем-то».

Кухня только усилила мое чувство нереальности всей сцены. Там царила атмосфера переполняющего изобилия. Тонкий фарфор и множества хрустальной посуды, некоторые из которых были с царскими гербами, заполняли шкафы; пузатый серебряный самовар блестел на боковом столике. Когда она открыла огромный ледник, я увидела то изобилие, которое как бы перенесло меня в бабушкин погреб в Александровске. Все это казалось другим миром, далеким от нищеты, голода, лишений и смерти, которые стали привычными атрибутами нашего советского существования.

Когда я вернулся утром в свою комнату в «Гиганте», у меня едва хватило времени, чтобы умыться и побриться перед тем, как бежать в институт. И весь день моим лектором был сонный, невнимательный и немного лунатик во мне. Мои мысли были с Юлей. Значит, есть такая вещь, как «любовь с первого взгляда», в конце концов, сказал я себе с удивлением. Но почему это должна быть замужняя женщина — женщина, замужем, к тому же, за одним из руководителей моей партии и моей страны? Я торжественно решил больше не видеться с Юлей, одновременно с этим задаваясь вопросом, как я переживу несколько дней до встречи, о которой мы договорились.

«Товарищ Кравченко, — строго сказал я себе на лекции по аэродинамике, — вы ведете себя как персонаж из дешевого французского романа. Выбросьте это из головы! К чему эта мелодрама?»

Тем вечером я доверился Алексею. Он понял, что я не в настроении для шуток, и мы серьезно поговорили. От Марьи он узнал, что Юлия давно была несчастлива. Она не любила своего знаменитого мужа. Хуже того, она возражала против его безжалостности, его роскошного образа жизни, его равнодушия к страданиям масс.

"Я знаю, это звучит как что-то из "Кукольного дома" Ибсена, - сказала ему Марья, - "но Юлия чувствует себя пойманной и заключенной. Она говорит, что быть женой Р. - это как быть женой великосветского князя, и она думает, что это насмешка над страданиями русского народа".

В последующие недели я часто встречался с Юлией. Однажды вечером я спросил ее о ее муже.

"Не сегодня вечером, дорогой", - умоляла она, со слезами. "У нас будет много времени поговорить. Я не хочу портить наши первые вечера вместе."

Мы шли рука об руку по просторному огороженному саду за ее домом. Дорожки были очищены от снега и посыпаны свежим песком.

«Нет, чем скорее мы поговорим, тем лучше», — настаивал я. «Р. не только твой муж. Он один из руководителей моей партии».

«Я не член партии», — сказала она, — «но с самого начала я чувствовала себя близкой к ней или, по крайней мере, близкой к революции. Мой отец был ученым и большим либералом. Мы забыли теперь это слово «либерал», Витя. Мы отмахиваемся от него со смехом. Но с каждым годом я все больше уважаю его — по крайней мере, в том смысле, в котором его использовал мой отец. Для него это означало любовь к простому народу, справедливость для всех и, прежде всего, уважение к каждому мужчине и женщине. Он высоко ценил жизнь. Мы, возможно, забыли об этом, но я думаю, что именно в этом и заключалась революция».

«Странно», — сказала я, — «твой отец был ученым, а мой — простым рабочим на заводе. Один называл себя либералом, другой — революционером. Но когда ты рассказываешь мне, во что верил твой отец, я почти слышу, как говорит мой собственный отец»...

«Это совсем не странно. Мой муж сегодня проповедует коммунизм рабочим и крестьянам, и призывает их осуществить его в будущем. Между тем он сам живет в нем сейчас, а не в будущем. Что касается его, то, боюсь, что

сегодняшний коммунизм вполне для него хорош. Почему у него весь этот комфорт», — она сделала широкий жест, включив в него сад, роскошный дом, свою шубу, — «когда миллионы голодают и умирают в нашей стране, а концентрационные лагеря растут все больше и уродливее? Вы можете мне не верить, но я против этой роскоши наших руководителей. Вы случайно не знаете, что сейчас происходит в деревнях?»

«Боюсь, я знаю, Юлия, больше, чем хочу себе признаться».

«Не удивляйся, что я так говорю. Мои чувства не секрет для Р. Я часто рассказывал ему, как все это выглядит для меня, но он только смеется и называет меня сентиментальной дурочкой. Это никому не вредит, говорит он; вожди усердно работают и заслуживают хорошей жизни. Но он неправ. В этом я уверена. Вожди, которые сами ни в чем не нуждаются, вскоре забывают, что значит страдать. Их разговоры о жертвенности превращаются в чистое лицемерие.

«Дорогой, я чувствую, что мы живем под масками, посреди большого обмана. Иногда я думаю, что эксплуатация и варварство прошлого были честнее. По крайней мере, они не притворялись идеалистическими. Никто не выдавал это за коммунизм. Честным молодым коммунистам, таким как ты, действительно повезло. У вас еще есть вера, и вы не знаете об интригах и борьбе за власть среди высшего руководства.

«Знаете ли вы, какие отвратительные интриги и драки под ковром ведутся за обладание каким-нибудь загородным домом в Серебряном Бору под Москвой? Или дачей, которая когда-то принадлежала на Кавказе какому-нибудь князю? Слишком много лжи и лицемерия. Я так близка к ним там, где я нахожусь, что иногда они, кажется, душат меня.

Как бы экстравагантно все это ни звучало для меня, я не мог сомневаться в ее искренности.

«Если бы вы были глубоко влюблены в своего мужа, вы бы не так осознавали это», — рискнул я предположить. «Надеюсь, вы не поймете меня неправильно, но ваша политическая неудовлетворенность может быть лишь отголоском вашего личного недовольства разными партийными фракциями. " Юля долго думала.

"Нет, я думаю, что это не так", - наконец сказала она. "Даже в первые годы моего брака меня возмущало то, как жили Р. и его важные партийные друзья, как они разговаривали, их презрение к тем самым людям, которыми они пользовались и чей труд они эксплуатировали. С самого начала я чувствовала, что я крепостная в имении могущественного человека".

"Хорошо, тогда почему бы тебе не уйти от мужа, не найти работу и не жить ради своих идеалов? Я люблю тебя, и я думаю, что ты любишь меня. Что нас остановит?"

"Нет, Витя, все не так просто. Я знаю много того, чего ты не знаешь. Для женщины в моем положении это нелегко. Я не могу просто расстаться со своим мужем и раствориться в анонимной толпе. Я была слишком близка к людям, у которых есть власть, и они этого не допустят. Я прошу тебя не просить меня объяснять больше, чем это. Если ты меня любишь, ты не откажешь мне. Это моя единственная просьба к тебе."

Мир безграничной власти и безграничных интриг, о котором она говорила, был для меня загадочным и непостижимым. Без сомнения, простой русский человек, любивший членов императорской семьи, должен был чувствовать то же, что и я.

После возвращения ее мужа из Москвы я часто встречался с Юлией в доме ее подруги Марьи. Мне было очевидно, что ее муж знал, что она живет своей собственной жизнью, но закрывал на это глаза. Мы говорили о том, чтобы когда-нибудь жить вместе открыто как муж и жена, но никто из нас не верил в это. Имя Р. часто мелькало в газетах. То он выступал с речью, то подписывал какой-то указ.

Его имя также постоянно всплывало в разговоре. «Р. сказал это, Р. сделал то...». Его известность, его власть, его вездесущность казались такими стенами, отделяющими меня от Юлии, даже в те моменты, когда она была в моих руках.

Затем события приняли неожиданный оборот. Меня вызвали в Центральный Комитет партии. Меня принял помощник начальника отдела кадров, товарищ Шулькин. «Товарищ Кравченко, — сообщил он мне, — есть партийное постановление, поручающее нам привести подготовку инженеров в более тесное соответствие с их предыдущим опытом. Вы ведь работали на металлургическом заводе до поступления в институт, не так ли?»

«Да, на заводе имени Петровского-Ленина».

«Ну, вот и все. Какой смысл готовить вас к самолетостроению, когда у вас такой хороший старт в металлургии?»

«Но я предпочитаю авиацию», — слабо сказал я.

«Может быть, но вы же признаете, что это всего лишь личное предпочтение». Затем, повернувшись к секретарю, он добавил: «Вы позаботитесь о том, чтобы товарища Кравченко перевели в Металлургический институт в Днепропетровске?»

Часами я бродил по Сумскому парку, не обращая внимания на слякоть поздней весны. Откуда партия могла знать, что это не дирижабли против

металлургии, а Юля против жизни без нее? Только гораздо позже мне пришло в голову, что, возможно, партия или, по крайней мере, некоторые люди в партии, знали. Тем не менее, решение партии казалось мне по сути справедливым.

Я позвонил Юле и сообщил ей эту новость. Мы встречались еще несколько раз до моего отъезда. Это были бурные, слезливые встречи. Я уговаривал ее поехать со мной, какими бы ни были последствия. Иногда мне казалось, что она слабеет и может действительно последовать за мной. Но какое бы давление на нее ни оказывалось, оно не было слишком сильным, чтобы ее сломить.

"Не спрашивай меня, не будь жестоким, Витя. Я не могу этого сделать, хотя жизнь без тебя будет для меня смертью. Не спрашивай меня. Это и так слишком больно".

В ночь перед отъездом я часами гулял по улицам Харькова со своим другом Алексеем. Он обещал, что будет держать меня в курсе событий о Юле. Я был полон решимости, что она должна присоединиться ко мне, если не скоро, то после того, как я закончу институт и смогу позволить себе жениться.

Юлия, Марья, мои соседи по комнате и другие друзья проводили меня на железнодорожный вокзал следующим утром. Слезы катились по щекам Юлии, и все делали вид, что не замечают. Мне и в голову не приходило, что я больше никогда ее не увижу.

Я писал ей неоднократно из Днепропетровска, но не получал ответов. Алексей, по моему настоянию, пошел в резиденцию Р. Он позвонил в

звонок, и дверь открыла горничная. Когда он спросил об Юлии Р., горничная начала рыдать. Ее больше нет», — плакала она, но не могла дать никакой другой информации. Марья сказала, что Юлия рассталась со своим мужем вскоре после того, как я перевелся в Днепропетровск и уехала из города. Либо она больше ничего не знала, либо ей были даны строгие указания не разглашать больше ничего.

Болезненная рана разлуки заживала медленно. Но тупая боль тайны и неизвестности оставалась со мной всегда. Однажды, в уже в более поздние годы, я услышал смутный слух, что Юлия Михайловна под новым именем преподает в школе в далекой провинции, но я был бессилен проверить истинность этого. К тому же, к тому времени, возможно, было бы жестоко выкапывать прошлое из-под обломков времени.

ГЛАВА VII

ТРИУМФ МАШИНЫ

Мои родители и братья были вне себя от радости, увидев меня снова в Днепропетровске. Не желая портить их счастье, я делал вид, что счастлив. Это потребовало значительных усилий, так как боль разлуки с Юлией пропитала мою жизнь. Работа казалась единственным противоядием.

Я с головой ушел в учебу, партийные дела, заводские проекты, не оставляя времени для хандры или жалости к себе. Чтобы немного подзаработать, я также преподавал по политической экономии в Техникуме.

«Ты уработаешь себя до смерти, Витенька», — постоянно жаловалась моя мать. Она подозревала, я не сомневаюсь, что мое рвение было не совсем нормальным,

Живя дома, я избегал тягот проживания в общежитиях, которые были, если угодно, более беспорядочными и неуютными, чем «Гигант» в Харькове. Мои отношения с фабрикой, ее официальным подопечным, теперь были настоящими и близкими. Я возобновил старые дружеские отношения среди инженеров и администраторов и завел новые дружеские отношения в рядах

мастеров и рабочих. На комбинате Петровского-Ленина к этому времени работало около 35 000 человек. Он сыграл большую роль в драме пятилетки.

Новый директор завода Н. Голубенко оказался честным и умным. Зная о моей давней связи с его фабрикой и моем особом интересе к рационализации и модернизации производственных процессов, он часто приглашал меня на деловые конференции и иногда поручал мне специальные исследования по новым проблемам завода.

Живя под одной крышей с отцом и общаясь с другими простыми рабочими фабрики, я больше не мог избежать мучительного знания трагедии, происходившей в сельской местности. Мы, коммунисты, между собой обходили эту тему стороной; или говорили о ней высокопарными эвфемизмами партийного жаргона. Мы говорили о «крестьянском фронте» и «кулацкой угрозе», «деревенском социализме» и «классовом сопротивлении». Чтобы жить самим, нам· приходилось замазывать реальность до неузнаваемости словесным камуфляжем.

Но простые рабочие не были под таким принуждением. Многие из них

были бывшими крестьянами, почти у всех них остались родственники на земле. Они не могли принять отстраненный «научный» взгляд на коллективизацию. Они свободно говорили о насилии, жестокости, голоде и смерти — не как об обобщениях, а как о близких эпизодах, затрагивающих Ивана или Степана в конкретной деревне. Время от времени я слышал, как они рассказывали истории о каннибализме в нашей собственной губернии, которые я отвергал как преувеличения, но которые все равно вселяли ужас в мое сердце.

В Институте также нельзя было изгнать осознание ужаса, прямо за дверью были расклеены предупреждения в отношении распространителей антипартийных слухов», распространяемых «правыми уклонистами, троцкистами и кулацкими агентами». Но слухи продолжали существовать. Действительно, они процветали на угрозах и репрессиях. Они придавали скрытный, приглушенный оттенок жизни двух тысяч студентов. Активных членов часто отправляли в деревни со специальными заданиями. Хотя они возвращались с инструкциями не обсуждать то, что они ведели и слышали, их молчание и уклончивость были достаточно красноречивы. Кроме того,

многие из них рассказывали, под под условием секретности и нашего молчания, вещи, которые меня совершенно ужаснули.

«Ты выглядишь так, словно видел привидения», — сказал я однокурснику, с которым познакомился на партийных собраниях. Он только что вернулся из Полтавской области. «Я видел», — сказал он и опустил глаза.

Я не стал развивать эту тему дальше. Я чувствовал, что он жаждет открыть кому-то свое сердце, и я убежал, в моральной панике, от того, что это может сделать со мной.

Время от времени чекисты арестовывали «распространителей слухов» среди студентов. Наблюдение за политическими нравами студенчества поглощало у меня даже больше энергии, чем сама техническая учеба.

В институте, как и в каждом советском промышленном предприятии или государственном учреждении, был Особый Отдел, связанный с ГПУ и ему подчинявшийся. Его возглавлял товарищ Лебедь. Никто не мог войти в его кабинет, кроме как в состоянии страха, когда его вызывали на допрос. Мало кто из нас знал, что происходило за решетчатым окошком в стальной двери. В то же время многие из нас были настолько наивны, что не знали, что на каждого студента или сотрудника института есть собственное досье в Особом отделе, где фиксировались все его слова и поступки, где фиксировались все нюансы его поведения.

В папках «Личные дела» содержалась информация о личной жизни студента или преподавателя, его родственниках, его политическом прошлом. В них, прежде всего, содержались донесения и доносы секретных сотрудников, имевшихся во всех классахм и общежитиях, и добровольных осведомителей, заискивавших перед официальными лицами или движимых обидами и злобой.

Чтобы скрывать сеть осведомителей и укрепить сеть повседневного шпионажа, даже директору нашего института или секретарю его парткома не предоставлялся доступ к его личному досье. У Особого отдела были свои секретные агенты в каждом филиале Института и даже в партийных ячейках. Но у парткома были свои осведомители в ячейках на местах, личность которых не была известна Особому отделу. Таким образом, были шпионы за шпионами в сложной схеме, которая покрывала всех завесой липкого страха.

Но и это было еще не все. Помимо Особого отдела, ГПУ имело своих сотрудников в Институте, которые напрямую подчинялись его региональному управлению, как, например, двойная проверка Лебедя и его сотрудников. Городской комитет партии также рассылал агентов-осведомителей через местные партийные ячейки, а Областной комитет получал секретные отчеты от своих особых людей в Городском комитете. Эта переплетенная пирамида слежки и контроля простиралась до самого верха, до Центрального комитета партии в Москве и, наконец, до Политбюро, возглавляемого Сталиным.

Многочисленные сети шпионажа со сторонынапартии, со стороны ГПУ, объединяя информацию в одних точках, конкурируя в других точках, опутывали жизнь каждого советского человека сверху донизу и обратно. Мы жили в мире, кишащем невидимыми глазами и ушами. Средний советский человек, конечно, не осознавал масштабов и сложности системы; даже в этом кратком наброске я опираюсь на открытия, которые я делал позже, в течение многих лет. Советский человек знал только, что «стены имеют уши» и что откровенность - кратчайший путь к аресту.

Однако нелегальные сведения распространялись, несмотря на это. Это достаточное указание на эмоциональную напряженность периода. Это также указание на специфическую русскую жажду разговоров, сочувствия, обнажения своей души.

С торжественными обещаниями секретности мы рисковали обсуждать мучающие сомнения, терзаемые страхом, что каждое слово каким-то образом попадет в наше персональные дело где-нибудь в органах. Как часто в годы чистки, которые еще предстояли, мне предъявляли небрежные замечаниями, сделанными мною в частном порядке доверенным друзьям! Как часто компетентные органы ГПУ меня спрашивали, почему я не сообщал о замечаниях, сделанных в моем присутствии другими людьми! Если вы не осуждали «антипартийные» или «антисоветские» настроения, то это истолковывалось как согласие и соучастие.

Особый отдел не был слишком щепетилен в своем преследовании «врагов». Некоторые из нас знали, например, стратегию, которую он разработал, чтобы тщательно контролировать пожилого и эрудированного ученого, профессора Динника, который нас учил строительной механике. Более важным, чем его преподавание, была его лабораторная работа по жизненно важным планам

советского промышленного строительства, связанным с огромными расходами. Беспартийный, дореволюционный интеллигент, специалист, на первый взгляд не интересующийся политикой, он, естественно, был объектом сильного подозрения. Но как можно было проверить его деятельность, когда она была настолько техничной, что саботаж было бы трудно обнаружить?

Ответ был найден через жену профессора, которая также была его главным лаборантом. Она была высокой, угловатой блондинкой, недурна собой, ей было около тридцати лет, и, следовательно, на тридцать лет моложе своего мужа. Поскольку она, очевидно, уважала его работу и преподавание, ее не считали достаточно надежным, чтобы служить чекистским агентом ГПУ.

Вместо этого, в ее жизнь намеренно внедрили неотразимого любовника. Инженер и партийный деятель Павленко, мужчина широкоплечий, с бульдожьим лицом, сразил молодую жену наповал. Профессор Динник был одним из нескольких людей в Институте, кто не знал, что у его жены есть любовник; а его жена была одним из немногих людей, которая не подозревал, что ее любовник просто выполнял порученную ему работу для Особого отдела. Его жертвенность оказалась бесполезной — в лаборатории профессора не было обнаружено ни единого следа саботажа.

Хотя о нем редко упоминали, за исключением зловещих намеков и символических «политических анекдотов» — то есть шуток с политическим значением — шпионство было таким же реальным и всепроникающим, как воздух, которым мы дышали. Оно охватывало и проникало на завод не меньше, чем в Институт, местные газеты, в которые я вносил свой вклад не меньше, чем партийные организации, в которых я принимал все более активное участие, будучи в то время членом Политического бюро нашего партийного комитета в Институте.

Потоки личных данных и доносов, некоторые из них самодовольные, некоторые из них мстительные и циничные. Тонны личных дел. Миллионы шпионов и соглядатаев. Все это отсортировано и изучено, подшито и проиндексировано. Копии прокурору, дисциплинарным должностным лицам партии, в секретные трибуналы ГПУ, когда требовалось немедленное действие. Смертоносное оружие против отступников или сомневающихся для будущего использования. Десятки тысяч картотек с доносами, каждая из них — арсенал интимности, неосмотрительности, лжи, лести, ошибок.

В нашей правящей партии весь этот тщательно засекреченный процесс

надзора, шпионажа и разоблачения, в котором старомодная конфиденциальность прошлого времени была полностью ликвидирована, имел свое название. Он назывался «партийной демократией».

2

В июне 1931 года товарищ Сталин выступил с речью на совещании хозяйственных руководителей, которое всколыхнуло советскую промышленность до самых глубин и изменило ход жизни всех промышленных рабочих и руководителей. Речь включала его знаменитые «шесть пунктов» по повышению эффективности, наиболее важными из которых были строгий учет затрат, более централизованное управление предприятиями, более жесткая ответственность за неудачи и отходы, и далеко идущая дифференциация в зарплатах и доходах.

«Рационализация промышленности», - говорил Сталин, - «давно вышла из моды. Наши предприятия давно перестали считать, вычислять, составлять фактические балансы доходов и расходов... Никто, кажется, ни за что не отвечает.... Руководители держат язык за зубами. Почему? Потому что они боятся правды».

Я был рад некоторым частям этого поворота в официальной мысли. Они казались мне почти личной победой, потому что я давно писал и спорил именно за такую рационализацию. Но другие части меня беспокоили.

Таким людям, как мой отец, они казались подтверждением их самых пессимистических прогнозов. Равенство доходов, которое прежде было советским идеалом, теперь внезапно превратилось в преступление. Уравниловка, уравнивание, была осуждена как недостойная социалистического общества. «Партийный максимум», при котором члены партии получали доход, не намного превышающем средний, теперь был отменен, высвободив потоки жадности и корысти в чиновничьем аппарате. Сдельная работа была введена во всей советской экономике, даже в тех видах работ, где такая система оплаты была явно глупой, если не невозможной. С этим странным советским гением крайностей, зло слишком большого количества начальников теперь было заменено злом единственного и произвольного начальника, в котором последняя претензия на «рабочий контроль» снизу была выброшена за борт.

Конечно, одно дело — приказывать реформы, совсем другое — проводить их в жизнь. Сталин был прав, утверждая, что руководители боялись правды. Они боялись ее, потому что правда была почти контрреволюционной и всегда опасной роскошью. Честная ошибка суждения или неудавшийся технический эксперимент могли быть наказаны ссылкой, каторжным концлагерем, или тюрьмой как саботаж. Наказывать подчиненного за ошибки могло оказаться бесчеловечным, поскольку чекисты ГПУ, скорее всего, обвинили бы его в преднамеренной измене. Бегство от ответственности завязывало гигантские экономические усилия в безумные узлы. Как мне тогда сказал Голубенко:

«Они хотят, чтобы мы рационализировали, модернизировали и сократили расходы. Это все очень хорошо, товарищ Кравченко. Но как только мы делаем что-то смелое или необычное, мы рискуем буквально своей жизнью, не так ли? Самый безопасный способ - ничего не делать».

Поздней осенью того года меня вызвали в обком партии, вместе с директором нашего института товарищем Ципляковым и еще одним студентом Берецким. Секретарь закрыл дверь кабинета и объявил, что он хочет, чтобы мы провели расследование в Никополе, городе в нескольких десятках километров отсюда. «Несмотря на «шесть пунктов» товарища Сталина», — сказал он, — «работа идет там плохо. Много шума и совещаний, но планы сильно отстают от графика.

«Дисциплина слабая, недовольство процветает. Никополь — тому пример. Как вы знаете, мы строим там большой металлургический комбинат. Это обойдется нам в несколько сотен миллионов рублей. Но по какой-то причине строительство не продвигается, а текучесть кадров просто фантастическая.

«Мы хотим, чтобы вы трое поехали туда. Оставайтесь столько, сколько вам нужно — неделю, две недели. Потом доложите, что не так и что можно сделать. Ваш доклад будет изучен здесь и, если он будет признан стоящим, будет представлен товарищу Орджоникидзе».

Прибыв в Никополь, мы обнаружили, что строительство было начато около трех лет назад, в голой степи в шести километрах от города и в нескольких килоетрах от железной дороги. Это добавило неудобств рабочим. Никто, казалось, не знал, почему было выбрано такое неудобное место. Если бы строительство было размещено ближе к городу, проблема жилья была бы в

некоторой степени облегчена. Директор завода, Петр Брачко, был недавно назначенным на эту должность. Поэтому он не был ограничен в раскрытии множества ошибок и глупостей, из-за которых работа застопорилась.

«Я нашел это место настолько захламленным и замусоренным», — вздохнул он, — «что раскопки сами по себе являются крупным предприятием. Кроме того, нет баланса в различных частях предприятия. Вы хорошо знаете, товарищи, что каждый металлургический завод зависит от других заводов. Строить один без учета других — глупо. Он может выглядеть хорошо в общей статистике, но он не будет выглядеть так хорошо, когда фактическое производство начнет работать».

Комбинат раскинулся на огромной площади, занятой запланированным множеством заводов, литейных цехов, административных зданий и жилых комплексов. Мы были потрясены, обнаружив дорогостоящее импортное оборудование, в основном американское, ржавеющее на открытом воздухе. Везде мы видели заброшенные сооружения, некоторые из которых были наполовину закончены, другие были недалеко от стадии фундамента.

«Но это ужасно, товарищ Брачко», — сказал я, пока мы пробирались в грязной пустыне кирпича и металла.

«Я знаю, но что я могу сделать? Не успеем мы как следует приступить к одному зданию, как из центра поступает приказ, что все должно остановиться и все усилия должны быть брошены на какое-то другое место. Планы изменились! Между тем рабочие не выполняют теоретически установленные для них квоты. Болезни и прогулы просто пугают. Рабочим плохо, они живут в тяжелых условиях, и, между нами говоря, им не хватает еды для такой работы».

Затем он добавил с оттенком удовлетворения: «Конечно, я здесь новичок. Это все наследство от предыдущей администрации».

Бедный Брачко! Как он мог предположить, что через несколько лет он заплатит своей свободой за унаследованный бардак в Никополе? И как я мог предположить, что однажды мне самому будет поручено принять ведущее участие в управлении этим самым металлургическим «гигантом»? В благословенном неведении наших различных грядущих судеб мы шагали через невероятную неразбериху.

Выездная комиссия опросила инженеров, бригадиров, отдельных рабочих. Нам стало ясно, что работа идет скачками, что деньги и усилия растрачиваются попусту. Главные причины этого, как мне показалось, можно разделить на две группы.

Первая — это серьезное вмешательство и указы извне. Предприятие, каким бы огромным оно ни было, вписывалось в общую схему, столь огромную, что она была почти за пределами человеческого понимания. Небольшое изменение в центральном плане, даже оправданное, часто означало переворот в его отдаленных сегментах. Далекие чиновники не всегда могли предвидеть сокрушительные последствия своих случайных приказов на том или ином предприятии. Местные чиновники могли только подчиняться и надеяться на лучшее. Более того, вмешательство носило также карательный характер, с бесчисленными конечными арестами, допросами и угрозами, создававшими атмосферу страха и неуверенности.

Вторую группу причин можно суммировать как игнорирование человеческого фактора в процессе производства. Хотя десятки миллионов рублей безрассудно выбрасывались на неиспользуемые машины и заброшенное строительство, заработная плата оставалась невероятно низкой, если измерять тем, что рубль мог купить в тот момент. Дома рабочих существовали в чертежах, но живые рабочие были брошены в наспех построенные деревянные бараки с протекающими крышами, сырыми стенами и полами, в которых отсутствовали даже самые примитивные гигиенические удобства. Акцент делался на производительность, с полным презрением к людям, которые работали на заводе.

Во второй вечер в Никополе я решил посетить бараки, вместе с начальником строительства, местным секретарем партии и жилищным инспектором. Пробираясь по щиколотку в грязи, мы добрались до рядов унылых жилищ. Хотя в административных зданиях было электричество, его не протянули в жилые бараки рабочих. Керосиновые лампы, подкрепленные тут и там фитилем в блюдце с маслом, проливали траурный полусвет на сцены грязи. Один из бараков снаружи казался почти полностью темным. Я постучался, и дверь открыл пожилой бородатый мужчина.

"Добрый вечер, товарищ, можно войти?"

"Кто вы?"

"Я секретарь партии, и здесь" - указывая на меня - "находится комиссия из центра".

"У нас все в порядке", - сказал рабочий с грубой иронией. "Добро пожаловать в наш дворец! Вам крыс или вы предпочитаете клопов? Не обращайте внимания на запах".

В бараке было почти темно. На нескольких койках молодые люди читали при свете "курильщиков". Другие играли в карты на верхней койке. Большинство из пятидесяти или шестидесяти мужчин игнорировали нас. Другие толпились вокруг нас, охотно жалуясь и ругаясь. Под нашими ногами пробежала крыса.

«Это постельное белье?» — спросил один из рабочих. «Это подушки? Нет, это все грязные тряпки!»

«Как часто меняют простыни?» — спросил я.

«Каждый месяц, если повезет, иначе два месяца, три месяца, никогда».

«Нет никакого спасения от паразитов и мышей», — крикнул другой мужчина.

«Иди сюда, я покажу тебе».

Он поднял один конец железной койки и несколько раз ударил ею об пол. Клопы, вытряхнытые из своих гнезд, покрыли чернотой пол. Я невольно отступил в тревоге.

«Почему не должно быть паразитов?» — подхватил другой рабочий. «Мы работаем посменно. Одна бригада уходит, а другая приходит, а кровати еще не остыли. И полы моют не чаще раза в месяц. Это не жизнь, а пытка. Когда идет дождь, это Ноев ковчег, а когда холодно, это Северный полюс».

«Почему ты молчишь? Почему ты не жалуешься?» — спросил я его.

«Жаловаться», — усмехнулся он. «Много хорошего это дает. Комиссии приходят, как и ваша, и больше мы ничего не слышим. Мы хотим работать; мы понимаем, что это важно. Но мы сделаны из плоти, а не из камня. Кроме того, вот в другом бараке люди решили что-то сделать из-за ужасных условий. Они решили не выходить на работу, пока все не улучшится. Ну, вы должны знать, что произошло».

«Что произошло?»

Наступила общая тишина.

«Не бойтесь, рассказывайте. Я из Днепропетровска и действительно не знаю».

«Ну, зачинщиков вызвали», — вызвался один мужчина.

«Вызвали куда?»

«Не в церковь и не в пивную, можете быть уверены — в ГПУ, конечно. И больше мы их не видели».

«Им нужен был отпуск в Сибирь, может быть», — вставил бородатый рабочий с горьким смехом.

Я доложил своим коллегам из комиссии. Они также осмотрели дома и готовые заводские здания. Никто из нас не мог сделать никаких оптимистичных выводов. Я всю ночь ворочался в постели. Грязь, страдания и горечь давили на меня. Оцепенение тех, кто казался слишком усталым и равнодушным, чтобы жаловаться, угнетало меня даже больше, чем ирония и ненависть людей, которые говорили. И каким-то образом эпизод с «вызванными» главными зачинщиками сделал всю картину более мрачной, более безнадежной.

На следующий день в горкоме партии было созвано совещание всех ответственных руководителей Никопольского завода. Я не жалел слов и красок, описывая то, что я видел. Директор Брачко заявил, что если в течение пяти дней не будет наведен какой-то порядок в бараках, то руководители завода будут привлечены к ответственности «высшими инстанциями» советской власти. Товарищ Ципляков заявил, что комиссия не уедет домой. Он останется здесь, чтобы проверить через пять дней.

Это были странные дни. Сотни людей чистили, мыли и ремонтировали. После отчаянных телефонных звонков в Харьков, а в одном случае даже в Москву, прибыли ящики с новыми простынями и наволочками. Была начата работа по прокладке электрических линий в бараки. Те самые официальные лица, которые позволили накопиться ужасам, теперь, казалось, стремились и даже были рады улучшить условия.

"Дело не в том, что мы одобряем беспорядки," - сказал мне один из них, "а в том, что у нас нет власти, чтобы их исправить. Легче пустить все на самотек,

чем действовать. Никто не хочет брать на себя ответственность. Возьмите эту уборку - она возможна только потому, что вы представляете областной комитет партии. В бюджет не заложено денег на чистые простыни или необходимый ремонт, и кто посмеет шутить с бюджетом? Это замкнутый круг".

Накануне отъезда я ужинал с одним из главных инженеров. Это был пожилой человек, беспартийный.

«Я не один из вас, — сказал он, — а просто старый русский интеллигент. Я не вмешиваюсь в ваши внутренние дела. Но я инженер и не хочу, чтобы мой труд пропал даром. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала. Пожалуйста, поверьте мне.

«Все, что мы предлагаем центру, подвергается критике. Это изучается не с инженерной, а с «политической» точки зрения. И какое бы решение не было принято, мы должны подчиняться, даже если оно не имеет никакого смысла. Когда центр допускает ошибки, мы страдаем, но держим рот закрытым. На самом деле, мы должны благодарить свои счастливые звезды, если нас не обвиняют в промахах центра».

«А как насчет местных коммунистов? Разве они не помогают?»

«Эх, дорогой товарищ Кравченко, есть много учреждений, которые расследуют и следят за нами, но не так много, которые помогают. Заводской комитет партии расследует, горком расследует, чекисты из ГПУ расследует, теперь вы здесь, чтобы расследовать. Они следят и расследуют нас и друг друга. Можно было бы подумать, что, как только грамотным людям доверяют миллионы рублей, им будет предоставлена достаточная свобода, чтобы правильно их потратить. А так, мы тратим больше времени на беспокойство о том, что подумает тот или иной коммунист, чем на фактическое проектирование и строительство. Я старый человек, поэтому смею высказаться.»

Я покинул Никополь с тяжелым сердцем. Самое удивительное, оглядываясь назад на визит, заключается в том, что каким-то чудом большая часть большого металлургического комбината была построена. Медленнее, гораздо дороже, чем планировалось, почти неисчислимой ценой человеческих жизней и страданий, но он был наконец построен.

Мы сделали подробный отчет партии, который, в свою очередь, отослал свои рекомендации в Москву. Мой собственный отчет не упустил ничего неприятного, даже постельных клопов и аресты чекистами жалующихся рабочих. Дошло ли последнее сообщение до Москвы, я не мог знать.

Этот опыт укрепил план, который складывался в моем сознании в течение месяцев. Я поеду в Москву и попытаюсь увидеть товарища Орджоникидзе. Я поговорю с ним, как мужчина с мужчиной, о недостатках и пороках, которые я видел вокруг себя. Поскольку мой план соответствовал нуждам завода имени Петровского-Ленина, я получил согласие директора Голубенко, и он согласился оплатить расходы на поездку.

3

По приезде, я прямо с вокзала я направился в Комиссариат тяжелой промышленности. Это был мой третий визит в Москву. Однако в предыдущие визиты я не так остро ощущал контраст между столицей и остальной частью страны. Этот контраст был обусловлен отчасти улучшением внешнего вида столицы, но еще больше — быстрым ухудшением состояния нестоличных городов.

После Днепропетровска или даже Харькова, Москва показалась мне оазисом изобилия. Очереди у магазинов были не такими длинными, полки внутри магазинов не такими пустыми. Был почти слышим ритм деятельности, нотка оптимизма. Улицы были чисто подметены, а главные проспекты заасфальтированы. Новые модернистские здания производили огромное впечатление на постороннего. Дрожки провезли меня через Театральную площадь, ограниченную театрами, гостиницами, большим оперным театром, множеством прекрасных магазинов. Люди, толпившиеся на тротуарах, казались лучше одетыми, и, что мне больше всего понравилось, они не бродили бесцельно; в самой их походке была некая резвость, почти чуждая России в целом.

Представив себя и получив пропуск, я направился к секретарю комиссара Орджоникидзе, товарищу Семушкину. К счастью, я встречался с ним раньше, и он сгладил мне путь. Я показал ему письма от Голубенко и других, и он взялся сообщить наркому о моем прибытии.

В приемной я насчитал шестнадцать человек. Все они выглядели сытыми, хорошо одетыми; некоторые из них были в заграничной одежде.

Почти все они имели портфели. В целом их вид говорил о комфорте и важности. Очевидно, это были главы крупных трестов, администраторы крупных промышленных проектов — из самого верхнего слоя экономического руководства. Как самый молодой человек в комнате, с моей одеждой явно поношенной, я чувствовал себя немного незваным гостем, бедным родственником. Остальные оглядели меня немного снисходительно, как будто говоря: «Что этот экземпляр делает в нашей важной компании?»

Из-за больших дверей, ведущих в кабинет наркома Орджоникидзе, мы вдруг услышали шум и крики. Я узнал грузинский акцент Орджоникидзе. Мы все с интересом и некоторой тревогой следили за дверьми. Если комиссар был в плохом настроении, это не предвещало ничего хорошего для всех наших различных целей. Затем дверь резко распахнулась. Толстый, потный и явно испуганный человек стремительно вышел, волоча открытый чемодан.

Из чемодана на пол вывалилась куча столовых приборов: ложки, ножи, вилки. Бедняга, стесненный своим упитанным весом, нагнулся, чтобы собрать вещи, нервно бросил их в чемодан, запер его дрожащими пальцами и выскочил, не взглянув ни на кого из нас.

Через минуту или две появился Орджоникидзе, улыбающийся и дружелюбный, в его поведении едва ли прослеживался след бурной сцены. Мы все почтительно встали.

«Я устроил этому негодяю взбучку», — объяснил он сразу всем, смеясь, «и он это заслужил. Образцы столовых приборов для массового производства он мне привез! Да ведь эти вещи не годятся для дикарей — такие же грубые и уродливые, как куча лопат. Нам просто придется избавиться от идеи, товарищи, что для советских людей все достаточно хорошо. Нам нужно качество, а также количество. Ну, теперь давайте посмотрим, что привело вас всех сюда».

С Семушкиным подле себя, комиссар переходил от одного посетителя к другому. Услышав о цели прибытия человека, он либо передавал его помощнику, либо просил вернуться в определенное время. За годы, прошедшие с тех пор, как я его встретил, Орджоникидзе растолстел. В его густых волосах и густых усах было больше седины. Но юмористическое свойство его крупных черт лица все еще внушало доверие.

Когда он добрался до меня, я передал ему свои письма. Он быстро просмотрел одно из них, затем поднял глаза с огоньком в глазах.

«Как дела, старый друг?» — сказал он. «Да, я очень хорошо вас помню,

товарищ Кравченко. Надеюсь, вы делаете успехи в учебе, и я буду рад посоветоваться с вами. Скажем, сегодня в десять вечера. Товарищ Семушкин, позаботьтесь об товарище Кравченко. Проследите, чтобы ему было удобно».

Когда комиссар удалился в свой кабинет, подошел Семушкин и пожал мне руку в знак поздравления. Очевидно, Орджоникидзе был дружелюбен ко мне, и его секретарь действовал в соответствии с этим. Остальные теперь смотрели на меня с некоторой завистью — такой молодой человек, а уже удостоин улыбки всемогущего . . .

Меня отвезли в гостиницу «Метрополь» на большом автомобиле «Линкольн». По предъявлении записки из комиссариата мне сразу же выделили большую комнату на верхнем этаже. Я почувствовал внутренний подъем от своей близости к высшей власти, как бы покалывание отраженного влияния.

Ближе к вечеру я пошел в ресторан гостиницы, огромный зал с высоким потолком, украшенный огромными тропическими растениями в горшках. Там было много народу, и большой джаз-бэнд играл синкопированную музыку. В центре комнаты было что-то вроде пруда для разведения рыбы, а на его отполированных берегах, так плотно, что казалось, что это одна волнистая масса, толпились пары, танцующие под джазовые ритмы.

Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к новизне этой сцены. Неужели это действительно часть нашего Советского Союза? Или я случайно забрел в кино? Из-за одной из пальм в горшках я наблюдал за обедающими и танцорами. Кое-где я видел мужчин в русских рубахах, но остальные были в европейской одежде, в галстуках. Некоторые женщины были в платьях с глубоким вырезом, каких я никогда не видел, кроме обложек книг. Было много иностранцев; одна группа была в смокингах и строгих белых рубашках. Сквозь арку в одном конце ресторана я мельком увидел бар, несколько привлекательных девушек, все проститутки ГПУ, как я узнал позже, подавали напитки мужчинам иностранного вида на высоких табуретах. Мысль о виденных мною рабочих бараках в Никополе вдруг вторглась в мой осмотр этого места. «Добро пожаловать в наш дворец,

товарищи. Вам чего, крыс или клопов?» Но я отбросил эту мысль. Это была Москва. Скоро мне предстояло «совещаться» с одним из полудюжины самых могущественных руководителей нашей страны.

Задолго до назначенного часа я снова был в приемной комиссариата. Незадолго до десяти ко мне подошел Семушкин. «Возможно, вам придется немного подождать. Товарищ Бухарин у комиссара».

Товарищ Бухарин! Мое сердце замерло. Это было почти как встреча с Лениным. Среди великих имен революции Бухарин стоял за Лениным и Троцким. Готовясь к вступлению в комсомол, я изучал его «Азбуку коммунизма». Правда, в последние годы Николая Бухарина ругали как «правого уклониста» и лишили официальных должностей. Его книги были запрещены. Но в имени все еще была магия, и сознание того, что он был здесь, по ту сторону двери, вопреки мне самому, взволновало меня.

Через некоторое время Семушкин жестом пригласил меня войти. «Бухарин все еще там», - прошептал он. «Комиссар попросил его остаться и встретиться с вами».

Вскоре я пожимал руки Орджоникидзе и Бухарину. Комиссар Орджоникидзе сидел за огромным столом, заваленным бумагами, книгами, полудюжиной телефонов и множеством кнопок. Бухарин и я сидели против него с другой стороны. Это была огромная комната, на стенах которой висели большие портреты Маркса, Ленина и Сталина. Еще одна фотография Сталина стояла на столе с личной надписью «Серго», нацарапанной внизу.

«Ну, товарищ Кравченко, — сказал комиссар, явно пытаясь успокоить меня, — расскажите кратко и ясно, что вы знаете о Никопольском проекте».

«Сначала, товарищ комиссар, я хотел бы поговорить о Днепропетровском заводе. У меня есть свои взгляды на его работу, которые я хотел бы вам изложить».

«Говорите».

Заранее сформулировав проблему в уме, я смог ясно ее изложить. Некоторые цеха завода нуждались в модернизации и расширении. В погоне за новыми заводами, говорил я, некоторые из старых остаются без внимания. На конкретных цифрах я пытался показать, что, вложив несколько

миллионов рублей в улучшение действующего завода, мы получим больше продукции, чем, вложив в десять раз больше в новые заводы.

Бухарин широко улыбнулся и покивал головой в знак согласия. Как было общеизвестно, он был противником «экстремальных темпов» в новом строительстве. До того, как его заставили замолчать, он осудил некоторые аспекты Пятилетнего плана как «чистый авантюризм».

«В целом я согласен с вами, товарищ Кравченко», — сказал Орджоникидзе, — «хотя конкретные проблемы комбината Петровского-Ленина придется изучить». Он сделал несколько заметок в блокноте. «Передайте директору Голубенко, что его запросы будут тщательно проанализированы. Теперь продолжайте--»

Затем я продолжил описывать свои впечатления от Никополя. Сначала я придерживался формальных, технических фраз, которые я сформулировал в уме заранее. Но по мере того, как я говорил, воспоминания о бараках, недовольстве и грязи подавляли мою рассудительность. Нотка негодования закралась в мой голос, когда я подробно описал расточительство, путаницу и особенно невыносимые условия жизни рядовых рабочих. «Товарищ комиссар, вложив несколько миллионов в улучшение условий жизни рабочих, я уверен, мы сэкономим огромные суммы на проекте. Пренебрежение человеческим фактором сводит весь план в таком месте, как Никополь, к трагедии расточительства».

«Браво!» — вставил Бухарин, и Орджоникидзе безуспешно попытался сдержать улыбку.

«Центральная проблема, — продолжал я, увлеченный собственным красноречием, — это система оплаты труда, для всех, от ведущих инженеров до низших рабочих. А во-вторых, это проблема товаров народного потребления, чтобы на заработанные деньги можно было купить то, что нужно рабочим — еду, одежду, предметы домашнего обихода. Когда я впервые встретился с вами, товарищ комиссар, я жаловался на вмешательство в управление предприятием. Единоначалие и ответственность — это хорошо. Но теперь мы дошли до другой крайности, и рабочим нечего нельзя сказать. Их даже вызывают в ГПУ, если они осмеливаются протестовать против ужасных условий. Но, полагаю, я слишком много говорю. Извините, но я глубоко это чувствую».

«Нет, нет, продолжайте, товарищ», — воскликнул Орджоникидзе. «Это так приятно слышать, когда кто-то говорит всем ртом, а не его частью. Все, что вы говорите, правда. Не думайте, что мы этого не знаем. Уверяю вас, товарищ Сталин очень озабочен, например, проблемой заработной платы. Но легче диагностировать болезнь, чем ее лечить».

Беседа длилась почти час. В какой-то момент комиссар спросил меня, был ли я когда-нибудь за границей.

«Нет, не был», — ответил я, — «но я читал технические журналы из Швеции, Германии и Америки. Нам еще многому предстоит научиться».

«Когда закончишь институт, может быть, мы тебя отправим в Америку и в Германию. А теперь забудем на минутку о делах. Ты был в наших театрах? И в музеях?»

«Еще нет, но надеюсь успеть побывать как можно больше».

«Ну, я даю тебе пять дней отпуска в Москве. Подожди в приемной Семушкина. А теперь прощай, пока не встретимся снова».

Я был немного ошеломлен, когда уходил от них. Я никогда не был так близок к власти, и ощущение от этого было пьянящим. Люди, сидевшие в приемной, смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Любой, кто монополизировал час времени комиссара, должен быть «важным».

Семушкин вскоре присоединился ко мне. «Ну, товарищ, поздравляю тебя. Твои акции, безусловно, выросли!» сказал он. «Вот билеты в Большой театр и в Московский Художественный театр. Твои расходы в гостинице будут оплачены. И вот тысяча рублей на карманные расходы. Подарок от товарища Орджоникидзе. Желаю приятно провести время, и если что-то понадобится, просто позвоните мне».

Меня снова отвезли в гостиницу на большом автомобиле. Цыганский хор из примерно двадцати человек пел знакомые народные песни, когда я вошел в ресторан «Метрополь» на ужин. Каким-то образом странность этой сцены притупилась. Тот факт, что я только что был наедине с Орджоникидзе и Бухариным, заставил меня почувствовать себя здесь как дома, почти как одним из избранных. Как легко было поддаться соблазну власти и роскоши! Как долго страдания каких-то неизвестных грязных рабочих в таких местах, как Никополь, будут тяготить мою совесть, если я тоже буду жить в Москве,

с кучей денег в карманах, автомобилем в моем распоряжении и джаз-бэндами, заглушающими самоупреки?

В течение следующих пяти дней я посетил балет, несколько опер, выставку Московского искусства, вечер в Театре имени Вахтангова. Я провел долгие часы в Третьяковской галерее, Музее Революции, библиотеке имени Ленина и других «обязательных» учреждениях. Какое богатство красоты и знаний было в мире!

Вспомнив, что товарищ Лазарев, лектор, который так много лет назад на угольных шахтах Донецка, живет в Москве, я решил его разыскать. Он помнил меня и был очень сердечен в своем приеме. Он жил в небольшой квартире в одном из новых жилых домов на другом берегу Москвы-реки. По причинам, которые мне было бы трудно выразить словами, я был рад видеть, что фотография Толстого все еще висела у него на стене. . . .

Он познакомил меня со своей женой, привлекательной молодой женщиной и, как он сам, активным партийным работником. За стаканами чая я кратко рассказал им о своей жизни с момента нашей встречи в шахтерском районе. Рассказ, конечно, завершился подробным и восторженным рассказом о моей встрече с Орджоникидзе и Бухариным. Лазарев слушал меня молча. Я чувствовал, что мой экстаз раздражает его.

«Тысяча рублей, билеты в театр, Линкольны, Метрополь», — сказал он, немного грустно. «Да, так обращались великие князья старого режима со своими любимыми слугами. Только имена изменились».

«Вы не совсем справедливы, товарищ Лазарев», — возразил я с некоторым задором. «Меня поразило то, что комиссар был готов слушать. Я уверен, что он понимает бедственное положение наших простых людей и сочувствует им. А если он понимает, то я должен предположить, что и Сталин тоже. Вот почему я чувствую себя воодушевленным».

Лазарев теперь занимал важный пост в Московском университете. Он работал в важных комитетах партии. Однако, когда мы говорили в тот день, наши роли, казалось, странно поменялись местами. Его кипучая надежда и пыл угасли. Теперь уже я извинялся за партию.

«Вы недавно были в деревне?» — внезапно спросил он меня.

«Нет, но я много знаю о том, что там происходит».

«Знать — одно, видеть — другое. Видите ли, я только что вернулся с Украины, из-под Одессы. Моя работа заключалась в проведении коллективизации в одном регионе. Боюсь, мой друг, что я не могу говорить об этом так спокойно, как вы говорите о щедрости комиссара...»

Лазарев отправился в Одессу, как он мне сказал, как один из членов комитета доверенных лиц партии из Москвы после того, как многие местные руководители были уволены за невыполнение задач, поставленных перед областью.

Крестьянское сопротивление там было особенно упорное, часто самоубийственным, и «жесткие меры» для борьбы с ним, казалось, были за пределами возможностей одесских чиновников. Ситуация считалась настолько серьезной, что сам Молотов приехал от имени Политбюро, чтобы ужесточить беспощадность правительственных органов.

«Товарищ Молотов собрал активистов», — сказал Лазарев, — «и говорил прямо, резко. Он сказал нам, что работа должна быть выполнена во что бы то ни стало, сколько бы жизней она ни стоила. Пока в стране миллионы мелких крестьян-землевладельцев, революция в опасности. Всегда будет вероятность, что в случае войны они могут встать на сторону врага, чтобы защитить свою собственность. Нет места мягкости или сожалениям. Мы не ошиблись. После такого предупреждения, Виктор Андреевич, ужас не мог быть пределом». Лазарев закрыл лицо обеими руками, словно пытаясь отгородиться от жутких воспоминаний.

Перед тем как покинуть столицу, я посетил еще нескольких знакомых. Среди них были некоторые из тех, кто бездумно произносил партийные лозунги и газетные передовицы. Они были довольны, живя в раю пропаганды, в изолированном московском мире, мало связанном со страной в целом. И были другие, как Лазарев, внешне соответствующие искусственному оптимизму столицы, но внутренне кровоточащие и встревоженные.

Они испортили приподнятое настроение, вызванное моим визитом к комиссару Орджоникидзе и дали новое направление моим мыслям.

Не было никакого экстаза в моем рассказе о мой поездке, дома и в моем отчете Голубенко. Из-за какого-то смутного чувства вины, слишком

смутного, чтобы его идентифицировать, я ничего не сказал о тысяче рублей, автомобилях и театральных билетах.

Никополь, Москва и другие перерывы в моей учебе пришлось компенсировать дополнительными часами зубрежки. К счастью, я легко усваивал технические предметы и быстро наверстывал упущенное.

4

Через несколько месяцев после моего возвращения из Москвы в жизнь моей семьи вошла маленькая девочка Катя. Однажды вечером, возвратившись домой с занятий, я собирался зайти в ванную, чтобы помыть руки к ужину. Мама остановила меня. Маленькая девочка была там, принимала ванну, прошептала она.

"Какая маленькая девочка?"

"Тиш... Я расскажу тебе позже. Ужасные вещи творятся в деревне".

Я пошел в свою комнату, и вскоре за мной вошла мама. В нескольких словах она рассказала мне историю. Моя кузина Наташа, член партии, которая руководила фабричным училищем, возвращалась в поезде из какой-то командировки. Покрытая коркой грязи, оборванная маленькая девочка лет десяти или одиннадцати, одна из очередной группы «безпризоных детей», вошла в вагон, прося хлеба дрожащим, едва слышным голосом. Сцена была достаточно знакомая, но что-то в жалких глазах ребенка и искаженных чертах лица тронуло Наташу за живое. Она привела беспризорницу к нам домой.

«Наверное, из-за температуры», — извинилась Наташа перед мамой.

«Я не могла вынести мысли о босой, полуголой части человечества на холоде в такую ночь». Мать сразу решила оставить ребенка у нас. Еще один рот не имеет значения, нас так много, она улыбнулась. Я взял ее за руки и обнял.

"Ты настоящая мать", - сказал я. "Я рад, что ты так решила".

Мы вошли в столовую. Маленькая Катя сидела на полу возле отопительной батареи. Она была бледной и испуганной, вся сгорбленная, как будто хотела сделать себя маленькой и невидимой. Она потерялась в складках одного

из маминых платьев. Ее влажные черные волосы были разделены на пробор посередине и заплетены в косу. Маленькое личико было овальным, серым от усталости и преждевременно постаревшим, но черты были хорошими, даже красивыми. Она сидела там мертвенно неподвижно, только ее большие голубые глаза метались во все стороны.

"Почему ты на полу, Катя? Иди, садись на этот стул. Это мой сын, Виктор Андреевич. Пожми ему руку".

Девочка сделал то, что ей сказали.

«Здравствуй, Катя», — сказал я, приседая к ней лицом. «Почему ты такая молчаливая? Не бойся. Мы все тебя любим. Тебя кто-нибудь обидел?»

«Нет», — сказала она слабым шепотом.

За ужином Катя была застенчивой и тихой. Она держала ложку неловко. Но затем голод победил ее смущение, и она начала жадно поглощать еду. Мы пытались говорить равнодушно о многом, но вид этого ребенка угнетал нас всех. Отец почти не сказал ни слова.

После ужина, когда мама пошла мыть посуду, Катя сказала: «Тетя, можно вам помочь?». Неся посуду со стола на кухню, она впервые показалась мне обычной маленькой девочкой, с оттенком маскарада в своем волочащемся взрослом платье.

Вошла наша соседка, Ольга Ивановна. Она была активной сотрудницей обкома партии. Она не только одобрила то, что мы взяли ребенка, но и предложила разделить расходы на ее одежду. Вдруг мы услышали, как девочка плачет на кухне.

«Пусть выплачется», — сказала мама.

Но плач становился все громче, пока не перешел в истерические рыдания. В первобытном певучем крестьянском вопле она все время повторяла на украинском языке: «Где моя мама? Где мой папа? О, где мой старший брат Валя?»

Мы вошли на кухню. Девочка сидела, сгорбившись, на стуле, ломая свои костлявые ручки, по ее впалым щекам текли слезы.

«Пожалуйста, успокойся, Катя, дорогая», — умоляла мать. «Никто не причинит тебе вреда. Ты будешь жить с нами, мы купим тебе обувь и одежду, мы научим тебя читать и писать. Поверь мне, я буду тебе хорошей матерью».

Девочка не утешалась. Она начала рассказывать о себе. «Не надо, голубушка, не надо. Ты расскажешь нам в другой раз», — уговаривала мать.

«Я не могу», — всхлипывала Катя. «Я должен сказать сейчас. Я не могу выносить молчание. Я целый год была без своих родителей. Целый год! Мы жили в Покровном. Мой отец не хотел вступать в колхоз. Всякие люди спорили с ним, уводили его и били его, но он все равно не вступал. Они кричали, что он кулацкий элемент».

«Твой отец был кулаком?» — спросил я. «Ты знаешь, что значит „кулачный элемент“?»

«Нет, дядя, я не знаю, что означают эти слова. Наш учитель нас им не учил. У нас были лошадь, корова, телка, пять овец, несколько свиней и амбар. Вот и все. Каждый вечер приходил какой-то человек и отводил папу в сельсовет. Они требовали у него зерна и не верили, что у него больше нет. Но это была правда, клянусь». Она торжественно перекрестилась. «Целую неделю они не давали отцу спать и били его палками и револьверами, пока он весь не почернел и не распух».

Когда из него выжали последний пуд зерна, Катя рассказывала, ее отец зарезал свинью. Он оставил немного мяса для своей семьи, а остальное продал в городе, чтобы купить хлеба. Потом он зарезал теленка на мясо.

Снова «они» стали вытаскивать его каждую ночь и бить. Они сказали ему, что резать скот без разрешения - это преступление.

«И вот однажды утром, около года назад, - продолжала Катя, - в дом пришли чужие люди. Один из них был из ГПУ, и с ним был председатель нашего Совета. Другой мужчина записал в книгу все, что было в доме, даже мебель, и нашу одежду, и кастрюли, и сковородки.

Потом приехали телеги, и все наши вещи забрали, а оставшихся животных погнали в колхоз.

«Мамочка, моя родная матушка, она плакала и молилась, и падала на колени, и даже отец, и старший брат Валя плакали, и сестра Шура. Но это не помогло. Нам велели одеться и взять с собой хлеба и солонины, лука и картошки, потому что мы собирались в дальнюю дорогу».

Воспоминания были слишком сильны для Кати. Она снова разразилась громкими рыданиями. Но она настояла на том, чтобы продолжить рассказ:

«Они поместили нас всех в старую церковь. Там было много других родителей и детей из нашей деревни, все с узлами и все плакали. Там мы провели всю ночь, в темноте, молясь и плача, молясь и плача.

Утром около тридцати семей были уведены по дороге, окруженные вооруженными милиционерами. Люди на дороге крестились, увидев нас, и тоже начинали плакать.

«На станции было много других людей, таких же, как мы, из других деревень. Казалось, их было много тысяч. Нас всех затолкали в каменный амбар, но они не пустили мою собаку, Волчка, хотя он следовал за нами всю дорогу. Я слышала, как он выл снаружи, когда я была внутри в темноте.

«Через некоторое время нас вывели и посадили в товарные вагоны, длинный ряд вагонов, но я нигде не видела Волчка, а красноармеец пнул меня, когда я спросила. Как только наш вагон наполнился так, что не осталось больше места, даже стоять, его заперли снаружи. Мы все плакали, кричали и молились Пресвятой Богородице. Затем поезд тронулся. Никто не знал, куда мы едем. Некоторые говорили в Сибирь, но другие говорили нет, на Крайний Север или даже в жаркие пустыни.

«Вблизи Харькова нам с сестрой Шурой разрешили выйти за водой. Мама дала нам немного денег и бутылку и сказала, чтобы мы попытались купить молока для нашего младшего брата, который был очень болен. Мы так долго умоляли солдата, что он наконец отпустил нас, но он сказал, что это не положено. Неподалеку находились крестьянские хижины, поэтому мы побежали туда так быстро, как только могли вынести наши ноги.

«Когда мы сказали этим людям, кто мы, они начали плакать. Они сразу дали нам что-то поесть, затем наполнили бутылку молоком и не взяли денег. Затем мы побежали обратно на станцию. Но мы опоздали, и поезд ушел без нас».

Катя снова прервалась и стала рыдать по матери, отцу, братьям и сестре. Теперь большинство из нас на кухне рыдали вместе с ребенком. Чем сильнее мать пыталась успокоить Катю, тем громче она плакала сама. Мой отец выглядел мрачным и ничего не говорил. Я видела, как судорожно работали мышцы его лица.

Катя и ее сестра, новые рекруты в огромной армии советских бездомных детей, бродили вместе из деревни в деревню. Они научились просить милостыню, добывать еду, «кататься по рельсам» на поездах. Они стали экспертами в специальном жаргоне беспризорников. Затем они потеряли друг друга на городской рыночной площади, когда за ними гнался милиционер, и Катя осталась одна в мире, пока Наташа не привела ее к нам домой.

Мы научились любить Катю, и она стала чувствовать себя с нами как дома. Но время от времени, по ночам, мы могли слышать ее сдавленные рыдания и эту неизбывную жалобу, похожую на погребальную песнь: «Где ты, мамочка? Где ты, папочка?»

ГЛАВА VIII

СТРАШНОЕ В ДЕРЕВНЕ

Чтобы ИЗБАВИТЬ себя от душевных страданий, вы скрываете неприятные истины от взгляда, полузакрыв глаза и свой ум. Вы придумываете панические оправдания и отмахиваетесь от знаний словами, что это преувеличение и истерия. Затем происходит что-то, что пугает вас и заставляет широко открыть и ум, и глаза. Впервые вы смотрите, не моргая.

Так было со мной в те недели, когда маленькая Катя вошла в наш дом. Подсознательно я защищал свою веру в коммунизм и большевизм от разъедающих противоречащих фактов. Я отступал от возможностей отправиться в близлежащие районы коллективизации. Затем испытания одного невинного ребенка потрясли меня, чтобы я столкнулся с испытанием всей крестьянской России. Я был полон решимости воспользоваться первой же возможностью проникнуть вглубь регионов коллективизации.

Шанс появился раньше, чем я надеялся. Через партийное бюро в институте мне поручили отправиться в областной комитет. Цель: мобилизация партийных бригад для работы в деревне.

В конференц-зале собралось около восьмидесяти человек, в основном молодые люди. Нескольких из них я знал по партийной работе в последние несколько лет. Все мы были напряжены, некоторые из нас не могли скрыть своего беспокойства.

Нас посылали в сельскохозяйственные районы, чтобы помочь собрать зерно и ускорить заключительную фазу жатвы. Но мы чувствовали и вели себя так, как будто собирались окунуться в гущу кровавой войны.Товарищ Хатаевич, член Центрального Комитета партии, выступил с речью. Это только усилило нашу нервозность. Мы ожидали хотя бы отчасти услышать технический доклад о сельском хозяйстве и экономике деревни. Вместо этого мы услышали пламенный призыв идти вперед и сражаться в духе «сделай или умри».

«Товарищи», — сказал он, — «вы едете в деревню на месяц или шесть недель. Днепропетровская область отстала. Партия и товарищ Сталин приказали нам завершить коллективизацию к весне, и вот мы в конце лета с невыполненной задачей. Местным сельским властям нужна инъекция сталинского железа. Вот почему мы вас посылаем».

«Вы должны приступить к своим обязанностям с чувством строжайшей партийной ответственности, без нытья, без всякого гнилого либерализма. Выбросьте вашу буржуазную гуманность в окно и действуйте как большевики и коммунисты, достойные товарища Сталина. Бейте кулацкий элемент, где бы он ни поднял голову. Это война — они или мы! Последний гнилой остаток капиталистического хозяйства должен быть уничтожен любой ценой!

«Во-вторых, товарищи, абсолютно необходимо выполнить план правительства по хлебозаготовкам. Кулаки, даже часть середняков и «бедняков» не отдают хлеба. Они саботируют политику партии. А местные власти иногда колеблются и проявляют слабость. Ваша задача — добыть хлеб любой ценой. Выкачайте его из них, где бы он ни был спрятан, в печах, под кроватями, в погребах или зарыт на задворках.

«Через вас - партийные бригады - деревня должна узнать, что такое большевизм. Вы должны найти хлеб, и вы его найдете. Это вызов последней крупице вашей инициативы. Не бойтесь принимать крайние меры. Партия стоит за вас горой. Товарищ Сталин ждет этого от вас. Это борьба не на жизнь, а на смерть; Лучше сделать слишком много, чем недостаточно.

"Третья важная задача - завершить молотьбу зерна, отремонтировать орудия, плуги, тракторы, жатки и прочее оборудование.

"Классовая борьба в деревне приняла самые острые формы. Сейчас не время для брезгливости и сентиментальности. Кулацкие агенты маскируются и проникают в колхозы, где они саботируют работу и убивают скот. От вас требуется коммунистическая бдительность, непримиримость и мужество. Я уверен, что вы выполните указания нашей партии и директивы нашего любимого Вождя".

Последние слова, несущие угрозу, потонули в послушных аплодисментах.

"Есть вопросы? Все ясно?"

Вопросов не было.

"Тогда ждите здесь. Вас скоро вызовут по отдельности к товарищу Бродскому».

Я спросил себя: неужели это все «инструкции», которые мы получим? Возможно ли, что партийные студенты и промышленные чиновники должны решить огромные экономические и политические проблемы аграрных деревень, просто применяя все больше и больше «сталинской твердости»? Как можно такой группе, как эта, молодежи и большинству из нас, невежественных в сельскохозяйственных делах, доверить решать судьбу сотен тысяч крестьян?

Как будто подслушав мои мысли, молодой человек, сидевший справа от меня, тихо сказал: "Товарищ Кравченко, я полагаю, мы получим дальнейшие инструкции. Я имею в виду практические".

"Не знаю", - сказал я. Я узнал его как студента Института, но это было все, что я о нем знал. Я не собирался начинать упражнение в "сталинской твердости", вовлекаясь в опасную дискуссию с незнакомцем.

"Видите ли, товарищ", - продолжил он, - "я никогда не жил в деревне. Я ничего не знаю о жизни в деревне и не имею ни малейшего представления, как приступить к тем большим задачам, которые обозначил секретарь. Но ведь ясно, не так ли, что мы заплатим своими партийными билетами, а может быть, и головой, если потерпим неудачу?"

Я был раздражен. Либо этот парень невероятно наивен, подумал я, либо он

пытается спровоцировать меня на неосторожную речь.

«Извините», — сказал я, не пытаясь скрыть раздражение, — «но у вас была возможность задать вопросы».

«Это правда. Только все аплодировали, а я не мог набраться смелости сказать, что мне ничего не ясно. Но я знаю вас по институту, товарищ Кравченко, и доверяю вам. Если бы только я мог попасть в одну бригаду с вами, я бы чувствовал себя лучше».

Я посмотрел ему прямо в глаза и внезапно устыдился своих опасений. Его огорчение казалось искренним. Хотя он был всего на несколько лет моложе меня, у него был незащищенный, мальчишеский вид.

«Я не против, если вы сможете это устроить», — сказал я, — «хотя, полагаю,

распределение уже сделано».

«Я постараюсь», — улыбнулся он, и в его голосе появилась новая смелость. «Меня зовут Цветков, Сергей Алексеевич Цветков».

Он ушел. Через несколько минут меня вызвали в кабинет товарища Бродского. За большим столом сидел крепкого телосложения мужчина с густой копной черных волос.

«Товарищ Кравченко», — тут же сказал он, — «вы что-нибудь знаете о деревне?»

«Я несколько лет жил в аграрной коммуне во время гражданской войны.

Кроме того, в 1920-1922 годах я прослушал несколько курсов в сельскохозяйственной школе».

«Отлично! Так мало этих бригадиров знают разницу между пшеницей и колючкой».

Он нажал на кнопку звонка, и в кабинет провели еще двух мужчин. Один из них, застенчиво улыбавшийся в знак успеха, был студент Цветков. Другим был мужчина лет сорока, которого я не знал.

«Пожмите друг другу руки», — сказал товарищ Бродский. «Вы трое будете работать вместе. Вам следует отправиться в село Подгородное. Вы, товарищ Кравченко, будете отвечать за завершение молотьбы. Вы также будете

ответственны за приведение в порядок всех орудий и машин. Вы, товарищ Цветков, вместе с товарищем Аршиновым, будете завершать коллективизацию и сбор хлеба. И вы оба будете работать под началом товарища Аршинова. Он здесь командует бригадой из трех человек. Он не только старый партийный работник, но и имеет опыт работы в прокуратуре.

«Вот и все. Пройдите через зал и получите свои мандаты и деньги».

Аршинов был плотного телосложения невысокого роста, его голова и лицо были гладко выбриты и покрыты пятнами, как старый мрамор. Между лбом и черепом не было никакой границы. Лицо было плоским и немного не в фокусе, как будто сквозь дефектное стекло, а глаза были просто щелями на этой плоскости. Все впечатление было решительно неприятным.

В приемной Аршинов велел нам взять с собой теплую одежду, любую еду, которую мы сможем купить, «и, конечно, — добавил он, — револьвер».

После того как мы договорились встретиться в зале ожидания вокзала на следующий день, Аршинов пошел в одну сторону, а Цветков и я — в другую.

Цветков, по-видимому, был не из тех, кто хранит впечатления при себе.

«Виктор Андреевич, — сказал он, — честно говоря, я не очень-то тепло отношусь к нашему шефу. Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что нам с ним будет трудно».

«Не говорите глупостей, товарищ Цветков. Зачем вам начинать с предубеждения против товарища, который вам совсем не знаком? Он может оказаться порядочным человеком. Видимо, партия ему доверяет, и самое меньшее, что мы можем сделать, это доверять ему тоже. Главное — не начинать с пораженческого настроя». Еще говоря, я понял, что успокаиваю себя, а не своего товарища.

«А зачем нам револьверы?» — настаивал он. Я не собираюсь отбирать хлеб силой. Ведь Ленин говорил, что колхоз — это добровольное объединение, и Сталин говорил то же самое много раз. Только на днях я прочитал это.

«Послушайте, Цветков. Не обижайтесь, если я говорю откровенно. Но вы говорите странно. Я имею полное право думать, что вы необычайно наивный человек или что вас мне подбросили".

"Боже мой! Какая ужасная идея!" - воскликнул он с ужасом в голосе, который

заставил меня пожалеть о своей откровенности. "Я уверен, вы поймете, что ошибаетесь во мне. Даже в наивной части. Я понимаю серьезность задач, стоящих перед нами. Вот почему я удивлен, что нам не дали более ясной и практической информации. Я русский и сын русского. Я никогда не был провокатором и не мог бы им стать, даже если бы моя жизнь была на кону. Как ужасно, что люди должны подозревать друг друга в шпионстве и провокации...". Затем, словно его посетила вдохновенная мысль, он добавил: "Приезжайте и познакомьтесь с моей семьей. Мой дом всего в нескольких кварталах отсюда."

Его вдохновение было разумным. Встреча с его родителями, атмосфера его скромного дома развеяли мои последние сомнения относительно его честности, хотя и укрепили мое впечатление о его слабости и неопытности. Его отец был пожилым человеком в очках, с крошечной острой бородкой. Его мать была хрупкой маленькой женщиной, седой и доброй.

Оба они были словно персонажи из дореволюционной книги, странно не испорченные насилием этих переполненных лет. Они казалось, жили в своем частном мире, который внешние злые силы не могли легко нарушить. Мне казалось почти невероятным, что старший Цветков был членом партии еще до 1917 года. Также было странно и трогательно, что русский человек, который был «добрым», в старомодном и почти забытом смысле этого слова, выжил в партии.

«Но Сережа, — пожаловалась товарищ Цветкова, — почему ты мне не сказал, что едешь в деревню? Я слышу самые ужасные вещи» …

«Нет, нет, моя дорогая, — запротестовал ее муж, — все эти разговоры об ужасах коллективизации преувеличены. Не может быть, чтобы все было так плохо, как это малюют. Я сам старый член партии и согласен, что коллективизация — единственная надежда на решение нашей аграрной проблемы. Многое зависит от людей, которые будут выполнять приказы. Я надеюсь, что ни ты, Сергей, ни товарищ Кравченко не опуститесь до совершения безобразий. Партия, я уверена, этого не хочет».

Придя домой, я рассказала семье о своей миссии в крестьянский район. Все еще находясь под впечатлением рассказа Кати, все были и взволнованы, и обеспокоены тем, что меня ждет. Я уже лежал в постели той ночью, когда услышала стук в дверь. Вошла мама.

«Прости, что вмешиваюсь, Витя», — сказала она, садясь на край моей кровати, — «но, возможно, у меня не будет возможности в спешке твоего завтрашнего отъезда.

«Я знаю, что крестьянские проблемы тяготят тебя, и ты не один такой. Пожалуйста, будь спокоен и готовься ко всему, что тебя может ожидать. Также помни, что один район — не показатель. Мне было бы неприятно видеть, как вся твоя жизнь коммуниста будет разрушена одним печальным опытом. И я знаю, что ты сделаешь участь несчастных крестьян настолько легкой, насколько сможешь».

«Спасибо, мама, и не беспокойся обо мне. Со мной все будет в порядке. Я знаю, революция — это не пикник».

2

Разговор между тремя членами бригады в поезде, направлявшемся в Подгородное, был далеко не любезным. Маузер Аршинова, болтавшийся на виду на ремне через плечо, выводил нас из себя. Аршинов, со своей стороны, не пытался скрыть своего презрения к светловолосому, красивому молодому человеку Цветкову. Мы избегали упоминания о нашем общем задании.

«Виктор Андреевич, мои старики передают вам привет», — сказал Цветков.

«Спасибо, Сережа. Кстати, где работает ваш отец?»

«В железнодорожном управлении. Он инженер, вы знаете. Он там давно, и он был в партии еще до 1917 года».

Аршинов, казалось, был поражен, услышав это. Очевидно, он не принял Цветкова в расчет как сына какого-то интеллигента-белого воротничка без влияния. Как сын старого большевика, с этим юношей может оказаться сложнее справиться.

"Твой отец член партии!" - воскликнул Аршинов с явным раздражением.

"Да, конечно, почему ты спрашиваешь?"

"Да ничего. Я просто спросил."

Мы добрались до места назначения к закату. Моросил дождь, и

дорога в деревню была грязной. Крестьяне, которых мы встретили, смотрели на нас без особого интереса. Только пистолет Аршинова, хлопавший его по толстому бедру, когда он шел, привлекал внимание.

"Послушайте, товарищ Аршинов, - прошептал я, - не могли бы вы спрятать свой маузер под пальто? Нечего пугать людей".

"Это мое личное дело!"

«Нет, товарищ, это не так. Мы вместе. Это касается нас и, что еще важнее, касается партии. Я настаиваю, чтобы вы сделали то, что я прошу, иначе я просто не пойду с вами в деревню».

Товарищ Кравченко прав, — сказал Цветков. — Зачем пугать лошадей понапрасну? У меня тоже есть револьвер, но я ношу его под пальто».

Неохотно Аршинов сдался, но не разговаривал с нами до конца пути до сельсовета, который оказался большим деревянным домом, уродливым и ветхим. Внутри тускло светилась керосиновая лампа под бумажной трубой. Комната была полна дыма, а пол был усеян сигаретными окурками. Около двадцати крестьян сидели на полу на корточках, молча и явно в плохом настроении.

«Где председатель совета?» — громко спросил Аршинов, чтобы заявить о своей власти.

«Там, в кабинете», — указали крестьяне.

«А вы что тут делаете? Вам что, нечего делать, кроме как сидеть на корточках?»

«Дела много», — заговорил один из крестьян. «Нас сюда позвали. Они требуют от меня хлеба, но я сам его выпрашиваю».

Аршинов презрительно усмехнулся. «Вижу, что в этой вонючей дыре у меня будет полно дел».

Мы прошли за ним в кабинет. За столом сидел худой, усталый молодой человек с избитым видом и разговаривал со старым крестьянином.

«Мы — партийная бригада, и мы здесь по делу», — продекламировал Аршинов.

«Рад вас видеть, как поживаете?» — председатель встал и пожал нам руки.

Его лицо противоречило его словам; он был совсем не рад нашему прибытию.

«Я сейчас возьму план, и мы приступим к делу».

«И чего там все эти люди ждут?» — спросил Аршинов.

Я их просил приехать. С этими крестьянами тяжело. Они говорят, что нет зерна и все. Урожай в этих краях плохой, и все встревожены предстоящей зимой. Нелегко вытащить из них зерно, товарищи. И они не вступают в колхоз. Убейте их, но они не вступают».

«Это мы еще посмотрим», — сказал Аршинов, усмехнувшись. «Ну, раз вы их позвали, то лучше с ними покончите, а мы прийдем завтра утром».

Председатель позвал одного из своих помощников и дал ему какие-то шепотом указания. Этот человек повел нас троих в деревню. На главной улице царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь изредка лаем собаки. Кое-где мы видели проблеск света в окне, дым, поднимающийся из трубы. Когда мы подошли к большому дому, явно лучшему, чем соседние, наш проводник остановился.

"Вот где вас разместят, товарищ Аршинов", - сказал он. "Надеюсь, вам понравится".

Затем он повел нас дальше по улице, к солидному на вид дому

с надворными постройками, небольшим садом и колодцем с черпаком.

"Вам здесь понравится", - сказал он. "Ступенки только что вступили в

колхоз. Их дом чистый, и нет маленьких детей.

«Пожилые люди и» - подмигнув в сторону Цветкова - "красивая дочь".

У двери нас встретил высокий мужчина лет шестидесяти, чисто выбритый, за исключением длинных свисающих усов в старомодном украинском стиле. Он встретил нас сдержанно и с естественным достоинством, которое мне понравилось, и провел нас в небольшую, но опрятную и уютную комнату.

«Когда вымоетесь, — сказал он, — заходите и присоединяйтесь к нам. Угостим чем Бог нам послал, а это не так уж много».

Мы нашли всю семью за столом. Дочь хозяина, девушка лет восемнадцати, была действительно хорошенькой. У доброй старушки, в цветном платке, туго затянутом под подбородком, были корявые, натруженные руки крестьянки. Был также мальчик лет восьми. Мы представились и присоединились к ним.

В наши миски налили дымящийся украинский борщ без мяса. Второе блюдо состояло из печеного картофеля и соленых огурцов с укропом. Хлеб был нарезан очень тонкими, почти прозрачными кусочками, которые все ели так осторожно, как будто это были священные облатки.

Зная жизнь крестьян и тот факт, что обычно хлеб щедрыми ломтями является основой их пищевого рациона, мне было ясно, что семья находится в тяжелом положении. Мы с Сережей извинились, вернулись в свою комнату и вернулись с продуктами, которые принесли с собой.

Ступенки смотрели, как мы распаковываем колбасу, несколько видов рыбы и даже холодную курицу. Мы уговаривали их присоединиться к нам, и морозная атмосфера тут же оттаяла.

«Спасибо, спасибо», — повторяла старушка, — «вы, конечно, приносите радость в наш скромный дом».

«Не знаю, когда мы видели колбасу и конфеты», — добавил ее муж.

«Мы живем лучше, чем большинство здешних, но и нам тяжело.

То, что у нас есть, не продержится до нового урожая. Ох, товарищи, товарищи, до чего мы докатились на нашей Украине! Если у кого-то есть кусок хлеба, тот ест его, чтобы соседи его не увидели».

«Как зовут вашего сынишку?» — спросил я. Я наблюдал за мальчиком, который был неестественно молчалив и печален. Даже конфета, которую он жевал без энтузиазма, не вызвала у него интереса.

"Вася", - ответил мальчик на мой вопрос и внезапно вышел из комнаты.

"Он нам не сын", - объяснил хозяин. "Он - как бы это сказать? - сирота коллективизации?"

"Что вы имеете в виду?"

"Он сирота, вот и все. Но не спрашивайте мальчика ни о чем. Он все еще

оглушен ударом. Каждый вечер он возвращается к себе домой и часами бродит по двору. Мы пытаемся сказать ему: "Какой смысл терзать себя?", но он все время возвращается туда".

"Что случилось? Расскажите нам".

"Не знаю, стоит ли. Вы новые люди, и к тому же вы из правительства".

«Да ладно, мы не пришли сюда, чтобы кому-то навредить. Мы любим крестьян и хотим им помочь».

«Ну, я рискну с вами. Вы оба выглядите прилично. К тому же, я слишком стар, чтобы бояться. Только было бы жаль, если бы что-нибудь случилось с моей дочерью».

Он рассказал нам эту историю:

«Примерно в десяти домах отсюда жили Ворованы — муж, жена и

один ребенок, тот самый Вася, которого вы здесь видели. Они были счастливой семьей. Они много работали. Они были хорошими людьми. Не кулаками — всего пара лошадей, корова, свинья, несколько кур, как и все остальные. Сколько коммунисты с ним ни спорили, он не вступал в колхоз.

«Все оставшееся у него зерно коммунисты отобрали. Опять спорили и

угрожали. Но он не сдвинулся с места. «Это моя земля», — твердил он, — «мои животные, мой дом, и я не отдам их правительству».

Затем из города пришли люди — вооруженные люди, ответственные за изгнание честных людей из их домов. Они составили опись его имущества и забрали все до последнего горшка и полотенца, а орудия и скот были переданы коллективу. «Ворвана объявили кулаком и агентом кулака, и вечером они пришли арестовывать его. Его жена и сын начали плакать и кричать, а мужчина не хотел идти. Поэтому они избивали его до тех пор, пока он не истек кровью, и затем потащили его из дома, по грязи, по дороге вниз по улице к сельсовету. Его жена бежала за ними, крича, причитая и призывая людей и Бога помочь ей. Мы все выбежали, но никто не мог ничего сделать против вооруженной охраны, хотя мы знали, что Ворван не кулак, и мы все любили его.

«Несчастная женщина продолжала кричать: «Кто позаботится о нас, Петр? Куда они тебя везут, скоты неверные!» Один из чекистов ГПУ ударил ее так сильно, что она упала на землю. А они продолжали тащить Ворвана к вагонам для скота. Где он сейчас, одному Богу известно.

Мы отвели женщину обратно в ее дом и попытались ее утешить. Наконец

она уснула, и мы все ушли». Две женщины за столом начали плакать, пока он рассказывал эту историю. Наш хозяин глубоко затянулся своей самодельной, дурно пахнущей папиросой и продолжил:

«Утром соседка пришла навестить бедную женщину Ворван, но не смогла ее найти. Она окликнула ее по имени и не получила ответа. Поэтому она пошла в пустой амбар и там увидела зрелище, которое заставило ее закричать как сумасшедшую, и прибежало много крестьян, среди которых был и я. Женщина висела на веревке, привязанной к стропилам, и она была мертва. Я никогда не забуду эту сцену, даже если проживу до ста лет. Все это произошло не более месяца назад.

"Мы с бабушкой решили взять Васю к себе, так как у нас нет своих маленьких детей. Он уже месяц молчит или плачет, и каждый вечер, как я уже сказал, бродит по заброшенному дому; потом приходит домой и ложится спать на печь, не говоря ни слова.

"После того, что случилось с Ворванами, мы с моей бабой поговорили и решили вступить в колхоз ... добровольно".

Мы долго молчали. Судьба Ворванов, как и маленькой Кати, тронули меня так, как не могла тронуть статистика депортаций и смертей,

"Спасибо за доверие", - наконец сказал Цветков. "Можете быть уверены, я его не предам. Пожалуйста, поверьте, что не все коммунисты одинаковые. Некоторые из нас, как и вы, против таких вещей, и сама Партия против».

Казалось, он извинялся за себя, за меня, за партию.

«Да, спасибо за ваше гостеприимство и доверие к нам», — поддержал я своего спутника. «Мы поживем у вас месяц. Мы хотим быть как можно меньшей обузой. Вот все наши деньги. Мы настаиваем на оплате. Купите то, что вам нужно, и не лезьте из кожи вон ради нас».

«Мне было приказано не брать никаких денег».

«Просто игнорируйте это. Именно для этого нам дал деньги областной комитет. Я надеюсь, вы нам поможете. Мы хотим поступать правильно, и вы знаете свою деревню, а не мы."

Я долго не мог заснуть, но лежал неподвижно, боясь разбудить Цветкова. Я был очень рад, что он оказался порядочным человеком, а не формальным и бездушным коммунистом.

"Ты спишь, Виктор?" - услышал я его голос.

"Нет, Сережа, я не могу спать. В голове все крутится и крутится".

"Знаешь, мне стыдно смотреть в глаза этим добрым крестьянам. Как-то я чувствую себя лично виноватым в том, что сделали эти негодяи. И подумать только, что они сделали это во имя нашей любимой партии!»

Я решил не говорить слишком много с Цветковым. Он был явно не сильным человеком. Всегда была опасность, что под давлением он может сломаться и невольно повторить мои слова. Чем меньше он знает, тем лучше и для него, и для меня.

«Лучше иди спать», — настаивал я. «Нам нужно рано вставать».

Когда утром мы пришли в Совет, Аршинов уже был там и был в пылу. Он был в ярости, потому что его поместили в дом, где не было достаточно еды, и где хозяева, хотя и были вежливы, но не слишком дружелюбны. Все утро мы разбирали записи, и председатель ввел нас в курс дела. Мы разделили деревню на участки и решили, кто из колхозников будет отвечать за выполнение плана на каждом участке.

Затем председатель Совета, Аршинов и Сережа отправились в деревню, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте, а председатель колхоза и я отправились в колхоз.

На большом дворе бывшего помещьего имения, теперь уже полуразрушенного, стояли скирды свежеубранного зерна. Я был рад, что зерно, по крайней мере, вывезли с полей. Если все будут работать с желанием, то молотьбу можно завершить за десять или двенадцать дней. Но это был единственный удовлетворительный пункт.

Все остальное находилось в ужасающем состоянии запущенности и беспорядка. Большое количество орудий и машин, о которых когда-то

как драгоценности заботились их частные владельцы-крестьяне, теперь лежали разбросанными под открытым небом, грязные, ржавеющие и неисправные. Тощие коровы и лошади, покрытые навозом, бродили по двору. Куры, гуси и утки рылись стаями в необмолоченном зерне. Мы вошли в конюшню; лошади стояли по колено в грязи, «читали газеты», как говорят крестьяне, когда скот стоит без корма в стойлах. Коровы в хлеву были не в лучшем состоянии. Я был потрясен картиной. Это было положение дел, столь чуждое природе нашего украинского крестьянина.

«Немедленно соберите членов правления колхоза», - возмущенно приказал я председателю.

Через полчаса мужчины и женщины, теоретически ответственные за колхоз, были во дворе. Выражение их лиц было неободряющим. Они как будто говорили: «Вот еще один зануда …, что мы можем сделать, кроме как слушать?»

«Ну, как у вас дела, колхозники?» - начал я, горя желанием быть дружелюбным.

«Так себе... Все еще живы, как видите», - сказал один из них угрюмым голосом.

«Ни богатых, ни бедных, одни нищие», - добавил другой.

Я сделал вид, что ирония выше моего понимания.

«Я пришел из обкома партии, чтобы помочь вам с молотьбой, с ремонтом техники и вообще с наведением порядка. Скажите мне, колхозники, кто избрал председателя этого колхоза?»

«Все мы», - ответили члены правления.

«Хорошо, тогда зачем вы его впутываете в неприятности? Разве вы не видите, что он будет отвечать за всю эту неразбериху? Просто посмотрите вокруг. Вам, крестьянам, не стыдно? Грязный скот. Незащищенные зерновые стога. Ценные инструменты, ржавеющие повсюду. Не составит труда посадить вашего председателя в тюрьму за это, а также членов совета.

«Но я здесь не для этого. Тюрьмы не выращивают хлеб. Кому

вы причиняете вред этим ужасным пренебрежением — мне или себе? Я жил в деревне. Некоторые из моих предков были крестьянами. Но я никогда не видел ничего более постыдного, чем эти конюшни, эти амбары, этот двор. Я знаю, что чувствуют некоторые из вас. Но почему коровы и лошади должны быть наказаны? Мне стыдно за вас. Я знаю, что вы все еще хорошие крестьяне, и я хочу воззвать к вашей гордости как крестьян".

"Правильно! Этот товарищ имеет смысл", - воскликнул кто-то.

"Тогда давайте приступим к делу. Товарищ председатель, откройте собрание. Выбирайте людей так, чтобы каждый точно знал, чего от него ждут. Мы запишем имена и даты, а также то, что каждый должен сделать".

Мы говорили и планировали часами. Многие крестьяне отказывались от ответственности, но в конце концов каждый член правления согласился на определенную обязанность — организовать молотьбу, убрать в скотных дворах, провести инвентаризацию инвентаря и т. д. Встреча закончилась на дружеской ноте.

За ужином мой хозяин сказал мне, что видел некоторых членов правления после встречи. «Они говорят, что вы начали все правильно. Они вами довольны, особенно тем, что вы не ругаетесь, не кричите и не угрожаете».

«Скажите, правильно ли я поступил, потребовав немедленно навести порядок в колхозе?»

«Абсолютно правильно. Крестьяне сами знают, что дела идут не так, как надо. Только в душе они озлоблены из-за потери земли, скота и машин. Все равно надо наводить порядок. Жизнь должна продолжаться».

После обеда я увидел Сережу одного. Он выглядел несчастным.

«Ну, как у вас дела?»

«Не очень хорошо, Виктор Андреевич. Я делаю все по плану Аршинова. Но результатов мало. Я вызывал должников по сбору хлеба одного за другим. Все время одно и то же. Крестьянин снимает шапку и почтительно садится.

«Ты еще не сдал хлеб», — начинаю я.

«Может, сдал, может, нет».

«Ты еще должен государству двенадцать пудов», — говорю я.

«Где я столько хлеба возьму?» — пожимает он плечами. «У меня его нет».

«Сколько ты сегодня сдашь?»

«Может, два пуда, может, три».

«Так мы и спорим. Правительству нужно зерно, настаиваю я, а крестьянин говорит: «Правительству нужно, а как жене и детям? Им, я полагаю, не нужно. Ты сам знаешь, урожай был плохой. Кто будет кормить нас весь год, после того как вы украли у нас зерно?»

«Сегодня я собрал пятьдесят два пуда, но это не то, чего Аршинов ожидал от меня. Я не могу сделать лучше. Эти люди устали, угрюмы и напуганы до смерти. Может быть, у некоторых из них больше зерна, чем они признаются, но они не отдадут его, они не посмеют отдать, предвидя наступление долгой зимы и столько ртов, которые нужно кормить».

«Не волнуйся слишком сильно, Сережа», - попытался я успокоить его. «Делай, как можешь. Беспокойство не поможет».

На следующее утро я отправился в колхоз с моим хозяином. Я был рад видеть, что работа кипит. Инструменты чистили и смазывали. Навоз вывозили из амбаров и конюшен. Шла подготовка к молотьбе. Работа длилась несколько дней, покаместо не стало выглядеть почти нормально. Более того, сами колхозники были в лучшем расположении духа. Женщины и девушки даже пели украинские песни, как встарь. Эти простые люди, в глубине души, любили свою работу. Погода была хорошая, и они даже лучше, чем я, понимали ценность каждого дня без дождя.

Прошло больше недели. Ремонтные работы замедлялись из-за отсутствия гвоздей, проволоки, железа, пиломатериалов и других необходимых вещей. Но крестьянская смекалка восполняла эти недостатки. Однако нашу систему учета не удалось наладить, потому что у нас не было бумаги. Поэтому было решено отправить Сережу в Днепропетровск на день для закупок. Когда я пришел домой в тот вечер, я застал Сережу с веревочкой в руках, измеряющим маленького Васю, завязывающим узлы на веревке. Я сделал вид, что не заметил.

На следующий день, когда Сережа отсутствовал, я зашел к Аршинову. Он знал, что моя работа идет хорошо, и, казалось, завидовал моим успехам. Он

выместил свое раздражение в тираде против Цветкова, которого он обзывал добряком, желторотым и, что хуже всего в его понимании, гнилым либеральным гуманистом.

"Вчера я обыскал несколько домов", - сказал он. "Люди, которых наш добряк легко отпустил. В каждом случае я находил спрятанное зерно. Я конфисковал его без всякой ерунды. Врут Советской власти, грязные кулаки! Я преподам им урок, который они никогда не забудут! Я был сегодня в райкоме, и они за мной. Во вторник все произойдет".

"Что будет?"

"Это мое дело".

Молотьба продолжалась весь день воскресенья. Мне не пришлось уговаривать крестьян. Даже самые религиозные понимали, что времени мало.

К закату Сережа вернулся с большим чемоданом и несколькими сумками. Там были подарки для всей семьи — книги для дочери, нитки для шитья для матери, табак для старика Ступенко. Грандиозной кульминацией счастливого случая стало то, что Сережа вытащил из своего толстого чемодана пару длинных брюк, пальто, туфли и нижнее белье для Васи.

Мальчика тут же одели в новый наряд и все им восхитились. Пара соседей зашли посмотреть на чудо осиротевшего Васи в новом наряде. Сам мальчик улыбнулся впервые с тех пор, как мы с ним познакомились. «Спасибо, дядя Сережа», — сказал он. Слезы навернулись на его глаза, когда наш Сережа также подарил ему тетрадь, мелки и коробку цветных конфет.

Было уже за полночь, когда семья разошлась по домам. Когда мы остались одни в нашей комнате, я спросил Цветкова, как у него дела с Аршиновым.

«Он сукин сын и садист, Виктор Андреевич. Я колебался, чтобы рассказать вам об этом, но больше не могу молчать. Этот зверь тащит крестьян из домов среди ночи, ругается на них, угрожает своим маузером. Мне рассказывали, что он даже жестоко их избивает».

«Какого черта ты мне раньше не сказал? Одевайся, пошли»

Сквозь деревянные ставни я видел свет в здании Совета.

Мы нашли крестьян, сидящих на корточках на полу. У двери стоял вооруженный часовой, а внутри сидел чекист с револьвером и курил. Когда я вошел, я услышал крики крестьянина и ругань Аршинова за закрытой дверью кабинета.

«Зачем все эти люди здесь в такой час?» — спросил я у чекиста, мой голос был пронзительным от гнева.

Он вскочил на ноги. «Как обычно, — сказал он, — товарищ Аршинов выкачивает зерно и немного беседует с теми, кто не хочет вступать в колхоз».

Вдруг голос Аршинова поднялся до истерики, тяжелый предмет ударился об пол, и мы услышали, как крестьянин застонал: «Зачем вы меня бьете? Вы не имеете права меня бить...». Тогда Аршинов закричал: «Часовой, брось этот хлам в карцер. Я тебя научу, кулацкая крыса!».

Часовой бросился в соседнюю комнату. Я схватил его за руку. «Оставайся здесь, — сказал я, — я сам зайду».

Я распахнул дверь. Аршинов вздрогнул. Он закусил губы, заерзал на стуле и сделал движение, чтобы убрать пистолет со стола. Крестьянин, распростертый на полу, был стариком в лохмотьях, его лицо было залито кровью. Я жестом попросил его уйти.

Я подошел к Аршинову. Я едва сдержался, чтобы не ударить его кулаками.

«Отпустите крестьян!» — закричал я. «И немедленно, слышите?»

Я здесь главный, товарищ Кравченко. Буду признателен, если вы не будете совать свой нос в мои дела».

«Нет, это партийное дело. Как коммунист, я не позволю вам позорить Советскую власть, действуя как садист и варвар. Товарищ Цветков, — крикнул я в сени, — запишите, пожалуйста, имя старика, которого только что избили, а также имя часового.

Аршинов держался нагло, но был явно смущен моим гневом. «Что, черт возьми, вы затеваете?» — сказал он. «Что это — провокация? Вы пытаетесь дискредитировать посланника райкома в глазах масс?»

«Прекратите лицемерить! Такие, как вы, дискредитируют партию и страну. Часовой! Отпустите всех! Товарищи крестьяне, если кого-то еще изобьют, обязательно сообщите мне. Это противозаконно».

В кабинет вошел Цветков. Он был бледен как привидение. Руки у него дрожали. Я приказал ему идти домой и ждать меня. Затем я обратился к Аршинову:

«Слушай, Аршинов, ты понимаешь, что ты делаешь? Это коллективизация или бандитизм с помощью маузера? Ты имеешь право требовать хлеб и обыскивать помещения, если это необходимо. Но ты не имеешь права применять насилие и устраивать ночные допросы. Если ты не хочешь попасть в неприятности с обкомом, ты прекратишь это. Иначе я тебя разоблачу, чего бы это ни стоило. Ты понимаешь?"

Я повернулся и ушел. Сережи еще не было дома. Я беспокоился за него. Но примерно через полчаса он пришел.

"Я был в избе избитого крестьянина", - сказал он мне.

"У него больная жена, пятеро детей и ни крошки хлеба в доме. В его доме пахнет нищетой и отчаянием. И это тот, кого мы называем кулаком. Дети в лохмотьях. Они все выглядят как привидения. Я видел горшок на печи - несколько картофелин в воде. Это был их ужин сегодня вечером.

"Вот, Виктор", - он показал мне грязный клочок бумаги, - этот старик дал мне заявление о своей готовности вступить в колхоз. Я умолял его перестать быть кулаком и упрямиться, сжалиться над семьей. Наконец он согласился".

«Спи, Сережа. Не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем».

И, предвосхищая его вопросы, я добавил: «Завтра расскажу тебе о

разговоре с Аршиновым. Ты продолжай работать с ним, как ни в чемне бывало. И, да, хочу поблагодарить тебя за костюм для Васи».

Я поцеловал его в обе щеки.

«Спасибо, Виктор. Когда я вернулся домой, я рассказал всю историю своим. Отец вышел и как-то откопал у своих друзей пару ботинок. Мать порылась на чердаке и нашла мой старый костюм, когда я был еще школьником. Она работала весь день, подгоняя его по меркам Васи».

«Да, в партии есть такие люди, как твой отец, и такие, как Аршинов», сказал я.

3

В колхозе дела шли хорошо, даже лучше, чем я надеялся. Молотьба была в полном разгаре, за скотом и лошадьми ухаживали, сельскохозяйственные орудия были почти в порядке.

По моему предложению, правление решило дать обед в честь завершенной молотьбы. Среда должна была стать большим днем, а во вторниквсе согласились работать до следующего рассвета, чтобы оправдать празднование. Свиней резали. В колхозе импровизировали длинные столы дворе. Запах готовящейся еды и волнение праздника придавали деревне некий праздничный вид.

Во вторник днем я пошел в поля, где женщины очищали кукурузу и укладывали ее в телеги. Я присоединился к работе и песням на несколько часов, наслаждаясь физической работой. Хотя я и занял смелую позицию, я не был уверен, что смогу обуздать Аршинова. Проблема непрестанно терзала мой разум. Здесь, в полях, я мог забыться. Женщины делали вид, что их забавляет моя любительская работа по шелушению, но им было явно лестно, что «правительство» снизошло до их скромного уровня.

Наступал вечер, когда я въехал в деревню с несколькими спутниками. Мы сразу поняли, что что-то происходит неладное. Вокруг стояли взволнованные группы. Женщины плакали. Я поспешил к зданию сельсовета.

«Что происходит?» — спросил я у милиционера.

«Очередная облава на кулаков», — ответил он. «Кажется, это дело никогда не кончится. Сегодня утром приходили люди из ГПУ и райкома».

У здания собралась большая толпа. Милиция пыталась их разогнать, но они вернулись. Некоторые ругались. Несколько женщин и детей истерически плакали и выкрикивали имена своих мужей и отцов. Все это было похоже на сцену из кошмара.

Внутри здания Совета Аршинов разговаривал с чекистом ГПУ. Оба улыбались, видимо, обменивались какими-то любезностями. На заднем дворе, охраняемом чекистами ГПУ с револьверами наготове, стояло около двадцати

крестьян-«кулаков», молодых и старых, с узлами на спинах. Некоторые из них плакали. Остальные стояли там угрюмые, покорные, без всякой надежды.

Так вот это и была «ликвидация кулаков как класса»! Множество простых крестьян отрывали от дома и родной земли, лишали всего их имущества и отправляли в какие-то далекие лесозаготовительные концентрационные лагеря или на каторжные ирригационные работы.

По какой-то причине в этот раз большинство семей угоняемых остались дома. Их крики наполняли воздух. Когда я снова вышел из сельсовета, я увидел двух милиционеров, ведущих «кулака», крестьянина средних лет со всязанными руками. Было очевидно, что его избили — его лицо было черно-синим от побоев, а походка нетвердой; его одежда была разорвана, что указывало на борьбу.

Пока я стоял там, расстроенный, пристыженный, беспомощный, я услышал, как женщина кричит каким-то неземным криком. Все посмотрели в сторону ее крика, и двое чекисотов ГПУ побежали к ней. Женщина, волосы ее развевались, держала в руках пылающий сноп зерна. Прежде чем кто-либо смог до нее добежать, она бросила горящий сноп на соломенную крышу дома, которая мгновенно вспыхнула.

"Проклятые! Убийцы!" - кричала обезумевшая женщина. "Мы всю жизнь работали на свой дом. Вы его не получите. Пламя его получит!" Ее крики внезапно превратились в безумный смех.

Крестьяне бросились в горящий дом и начали вытаскивать мебель. Было что-то жуткое, нереальное во всей этой сцене — пожар, вопли, обезумевшая женщина, крестьяне, которых волокут по грязи, чтобы после погнать на этап. Самым неземным штрихом для меня было то, как Аршинов и чекист ГПУ спокойно и улыбаясь смотрели, как будто все это было обыденностью, как будто горящая изба была костром для их развлечения.

Я стоял посреди всего этого, дрожа, растерянный, едва контролируя свои чувства. У меня возникло желание выстрелить — в кого-нибудь, кого угодно, чтобы снять невыносимое напряжение моих эмоций. Никогда до этого или после я не был так близок к тому, чтобы сойти с ума. Я полез под пальто за револьвером. В этот момент мою руку схватила чья-то рука. Это был мой хозяин, Ступенко. Возможно, он угадал мои мысли. «Не терзай себя

понапрасну, Виктор Андреевич», — сказал он. «Если ты сделаешь какую-нибудь глупость, ты только навредишь себе, не помогая нам. Поверь мне, я старый человек и знаю. Возьми себя в руки. Ты принесешь больше пользы, если избежишь неприятностей, поскольку это не зависит от тебя. Пойдем, пойдем домой. Ты белый как полотно. А я привык. Это ничего. Большие погромы кулаков в прошлом году были хуже».

Дома я мерил шагами свою узкую комнату в нарастающем волнении и отчаянии. Я собирался выразить протест против Аршинова в райком партии. Но ведь здесь были люди из партийного комитета вместе с ГПУ, занимающиеся теми же самыми ужасными делами. Какая надежда, что я получу больше удовлетворения от обкома?

Во мне зарождалось подозрение, что эти ужасы были не случайными, а спланированными, организованными и санкционированными высшими государственными властями. Этой ночью это переросло в уверенность, которая на мгновение оставила меня без надежды. Стыд было легче переносить, пока я мог винить лишь Аршинова и некоторых других отдельных людей.

Я уснул, в полном изнеможении, не снимая одежды. Когда я открыл глаза, несколько часов спустя, меня встревожило то, что Сережи не было в постели. Я бросился во двор, затем в сад.

"Кто там?" Я услышал голос Сережи и уловил блеск револьвера. Он сидел на скамейке под вишневым деревом. Я оказался рядом с ним одним прыжком и вырвал револьвер из его руки.

Сережа уткнулся лицом в ладони. Он сотрясался от рыданий.

«Ты дурак, — сказал я, — и слабак. Я тобой совсем не горжусь. Кому ты поможешь, застрелившись? Это глупость. Это не ответ, Сережа. Мы должны выжить и сделать все, чтобы облегчить бремя для нашего русского народа. Если мы уничтожим себя, то останутся только Аршиновы».

Он немного успокоился и посмотрел мне в глаза.

«Виктор Андреевич, я все видел и все понимаю. Политически я на голову выше, чем был. Нечего обманывать себя. Партия сама повинна в бесчеловечности, диком насилии, массовых убийствах. Красивые фразы в наших речах — всего лишь камуфляж для ужасной реальности.

Это ли было то, ради чего работал мой добрый отец всю свою жизнь? Это ли было то, во что я сам верил с тех пор, как вступил в партию?»

Я уговорил его лечь спать. Но никто из нас не заснул. Мы говорили о том, что видели. Это так хорошо вписывалось в то, что мы слышали, что мы больше не могли сомневаться в правдивости «антипартийных слухов». Мы были рады, когда старик постучал в нашу дверь и сказал: «Пора вставать, товарищи».

Праздничный ужин в тот день состоялся, как и было запланировано, но радость от него не было никакой. Воспоминания об «кулацком» погроме крестьян тяготили всех нас.

Мои отношения с Аршиновым оставались строго официальными. Я составил длинный, подробный отчет о его поведении и отправил его в обком партии.

После массовых арестов и депортаций немногие оставшиеся стойкие из «кулаков» теперь «добровольно» вступили в колхоз. И каждый пуд зерна в деревне был передан снова «добровольно». Эти люди, по-видимому, решили столкнуться с голодом дома, а не с изгнанием в неизвестность. Во многих случаях крестьяне умоляли разрешить им продать оставшийся скот, даже свое имущество, чтобы купить зерно в городах, чтобы удовлетворить требования государства.

Местная церковь была превращена в зернохранилище, и по мере того, как оно заполнялось, Аршинов торжествовал. Он хвастался своими «успехами» и не упускал случая поддеть Цветкова. «Смотри, как я это делаю, и учись», - сказал он. «Беда в том, что вы не знаете, что такое большевизм».

Приближался день нашего отъезда. Аршинов сообщил нам, что останется еще на пять дней для окончательной проверки. Я почти не сомневался, что он остается, чтобы собрать «доказательства» против Цветкова и меня. Последний день я провел в колхозе, готовя данные для своего окончательного отчета.

«Теперь, когда весь урожай собран, я полагаю вы можете прикинуть, что получите за свой труд?» — сказал я членам правления.

«Да, мы прикинули, — сказал председатель, грустно покачав головой. «Выходит около 1200 граммов зерна за каждый день работы каждого колхозника. Мы работали только часть

года, и этой оплатой колхозник и его семью должны жить целый год. Как растянуть 1200 граммов, чтобы прокормить семью до следующего урожая, — это то, что может понять только Бог и, может быть, ваша Партия». «Я думаю, мы все умрем с голоду», — горько добавил другой.

Вероятно, он не имел этого в виду буквально. Как он мог знать, что почти все население этого села Подгородное умрет от голода в следующем году? Как он мог знать, что советская власть отнимет у крестьян и ту часть зерна, которое им положена за их работу?

Мы расстались с жителями деревни как друзья. Они проявили настоящую привязанность к Цветкову и ко мне. Наши хозяева тоже были искренне огорчены нашим отъездом.

Во время прощального ужина старик Ступенко принес в столовую большую бутылку вишневой наливки, выкопанную на заднем дворе и все еще присыпанную землей.

«Я берег ее, Господи, для какого-нибудь важного праздника», — объявил он. «Я подумал про себя, когда я выдам свою дочь замуж или когда умру, пусть люди выпьют рюмку наливки и скажут доброе слово обо мне. Но я решил, что твой уход заслуживает лучшего, что у меня есть. Так что давайте выпьем за твое здоровье и за спасение нашей бедной истерзанной страны».

После ужина мы пели старые украинские песни, а жена Ступенки, ободрившаяся от глотка крепкой наливки, рассказывала ностальгические истории о легендарных героях, теми самыми словами, которые она вероятно слышала от своей бабушки.

Когда я вернулся в Днепропетровск, то областной комитет, казалось, был удовлетворен моей работой. Но я не мог ни в ком пробудить активный интерес к моему докладу об Аршинове. «Ну, у него есть свои недостатки», - сказали мне, - «разве у всех нас нет? Но я скажу это за него - он добивается результатов!» Я написал письмо в газету, Московскую Правду о случае жестокости, который дискредитировал партию в деревне. Письмо осталось без ответа и неопубликованным.

Из-за времени, проведенного в деревне, я серьезно отстал в учебе. Чтобы наверстать упущенное, я работал усерднее, чем когда-либо. Чем глубже

я зарывался в технические книги, тем меньше у меня оставалось времени на мучительные раздумья и сомнения. Работа стала снотворным, которое я глотал большими глотками.

4

На войне существует ощутимая разница между теми, кто на передовой, и людьми, оставшимися дома. Это разница, которую нельзя преодолеть более полной информацией и живым сочувствием. Это разница, которая находится в нервах, а не в сознании.

Те из коммунистов, которые были непосредственно погружены в ужасы коллективизации в деревне, впоследствии стали отмеченными людьми. Мы видели призраков. Нас можно было почти узнать по нашей уклончивости, по тому, как мы избегали обсуждения «крестьянского вопроса». Мы могли обсуждать эту тему между собой, как это делали Сережа и я после возвращения, но говорить об этом с непосвященными казалось бесполезным. С ними у нас не было общего опыта.

Я не имею в виду, конечно, Аршиновых. При любой политической системе они чекисты и палачи. Я имею в виду коммунистов, чувства которых не были полностью притуплены убийствами коммунизма. Как бы мы ни старались, арифметика зверств — тысяча убийств сегодня, чтобы обеспечить счастье нерожденных тысяч завтра — не имела смысла. Нам было трудно оправдать аграрный террор.

На январской сессии Центрального Комитета партии 1933 года товарищ Сталин сказал всей стране, что коллективизация сельского хозяйства победоносно завершена. «Советский колхозный режим уничтожил нищету и голод в деревне», - сказал он. «Десятки миллионов бедных крестьян поднялись до состояния обеспеченности... При старом режиме крестьяне работали на помещиков, богачей и спекулянтов... работая и ведя голодную жизнь и обогащая других. При новом советском колхозном строе крестьяне работают на себя и для своих колхозов».

Согласно газетным сообщениям, собравшиеся коммунисты разразились бурными аплодисментами. Делегаты кричали: «Ура великому и мудрому Отцу и Учителю, товарищу Сталину !»

Читая эти отчеты, я думал о селе Подгородном и его запуганном населении... об Аршинове, избивающем крестьян... о сошедшей с ума женщине, поджигающей свой дом... о крестьянах, согнанных на задний двор колхоза для депортации на каторжные работы. Как и все остальные на Украине, я знал, что голод, еще более катастрофический, чем тот, который я пережил более десяти лет назад, уже охватил страну полной коллективизации и «счастливой жизни».

Нет, нас не могли успокоить слова Сталина. Чтобы восстановить нашу веру в «счастливую жизнь» или, по крайней мере, не впасть в отчаяние, нам пришлось отвести глаза от деревни и созерцать другие части картины. Промышленные достижения, например, и «подъём революционной волны в капиталистических странах».

«Знаешь, Виктор Андреевич, — сказал Серёжа, — я много раз читал речь товарища Сталина на январском Пленуме ЦК. То, что он сказал о деревне, вызывает у меня мурашки по спине. Теперь, как он сказал, крестьяне «свободны»... «изгнаны нищета и голод из деревни»... И это после того, что мы с тобой видели!»

«Но вот промышленная сторона, Сережа, это уже другая история. Сколько новых заводов, шахт, литейных цехов, плотин, электростанций! Чудесно знать, что мы шагаем вперед семимильными шагами. Мы больше не будем отсталой, колониальной страной. Даже в Америке квалифицированные инженеры продают шнурки и яблоки на улицах, а здесь мы с тобой усердно учимся, потому что нашей стране нужно больше инженеров. Там — безработица; здесь — не хватает рук для работы».

«Все равно, Виктор Андреевич, я не могу забыть ужасы Подгородного ...»

«Я тоже, Сережа».

Речь Сталина вдалбливали партийные лекторы на ячейках и районных собраниях. Цена высокая, говорили они, но посмотрите, как растут новые предприятия, как грибы. Магнитострой. Днепрострой. Сталинградский тракторный завод. Никопольский металлургический комбинат, десятки других. В то время как внешний капиталистический мир увязал в кризисе за кризисом, советский коммунистический мир шел вперед. Наши кризисы были кризисами роста, а не распада.

Крушение мирового капитализма, конец его «временной стабилизации» были великим утешением в муках России. Наши сокращающиеся запасы продовольствия жестко нормировались. В деревнях свирепствовал голод.

Тюрьмы и концентрационные лагеря заполнялись «врагами народа». Тысячи наших интеллигентов — инженеров, чиновников, даже известных коммунистов — должны были быть ликвидированы как саботажники или «агенты иностранных правительств». Но международный рабочий класс был готов восстать! Как сказал Сталин, «Успехи пятилетнего плана мобилизуют революционную силу рабочего класса во всех странах».

Затем, ровно через двадцать три дня после речи Сталина, Гитлер и национал-социалисты победили на выборах и пришли к власти в Германии! Пузырь нашего великого утешения лопнул у нас на глазах. Вся советская пропаганда годами намечала Германию как первую капиталистическую страну, которая должна последовать советскому примеру. День и ночь моральный дух наших партийных масс поддерживался этим видением. Немецкие социал-демократы, эти «лакеи буржуазии», были банкротами, тогда как Коммунистическая партия Германии набирала миллионы голосов.

Неудивительно, что мы были ошеломлены. Несколько дней никто не знал, что думать. Затем машина советской пропаганды заработала на полную мощность. Официальное объяснение, произведенное в высших кремлевских кругах, было передано массам партии. Высшие должностные лица партии выступали на региональных собраниях, должностные лица более низкого ранга передавали сообщение на районные собрания, подмастерья-агитаторы доносили его до самых мелких партийных ячеек.

Нам говорили, что триумф фашизма и капитализма в Германии был на самом деле замаскированной победой мировой революции. Он представлял собой последний рубеж капитализма, его агонию. Гримасничанье парламентских арлекинов фальшивой капиталистической демократии закончилось. Даже с помощью либеральных лакеев, капиталисты больше не могли контролировать недовольные массы и вынуждены были прибегнуть к неприкрытому террору посредством фашизма.

«Немецкий фашизм — это острие мирового капитализма», — говорил докладчик в нашем Институте. «Капитализм наконец сбросил маску.

Теперь трудящиеся мира стоят перед ясным выбором между фашизмом и коммунизмом. Можем ли мы сомневаться, что они выберут? Советский Союз стоит один как оплот против фашизма, и пролетариат всех стран с нами. Муссолини в Италии, Гитлер в Германии, товарищи, являются предшественниками нашей коммунистической революции. Раскрывая истинное лицо современного капитализма-фашизма, они подталкивают массы к пониманию истины. В нашем лозунге: Чем хуже, тем лучше есть сила!»

И таким образом поражение в Германии было превращено советской пропагандой в своего рода победу Пятилетки. В узких кругах, в наших собственных комнатах, однако, мы были далеки от такой уверенности. В конце концов, социал-демократы и либералы, даже реакционные профсоюзные деятели, были ликвидированы вместе с коммунистами в Германии. Разве не было где-то изъяна в тезисе партии? Неужели было действительно необходимо тратить все силы на борьбу с социал-демократами, когда вместе мы могли бы сдержать национал-социалистов? Действительно ли неизбежно, что капиталистические страны, особенно Англия, присоединятся к гитлеровой Германии против советской России в грядущей войне?

Чтобы ответить на такие вопросы, мы могли опираться только на ограниченную и противоречивую информацию, выдаваемую партийной головкой. Иностранные газеты и журналы были нам запрещены. Правда, некоторым партийным деятелям, через специальные бюллетени, разрешалось знать больше, чем населению в целом, но наша интеллектуальная пища была строго отобрана и «обработана». Только идиот мог сомневаться, что даже наши превосходные конфиденциальные партийные новости были строго нормированы и в значительной степени искуственны.

Официальная версия причин победы Гитлера не понравилась большинству коммунистов. Пришедшаяся на критический момент советской жизни, она усугубила мрак, который распространялся в рядах коммунистической массы. Партийная пресса зловеще говорила о «пораженческих настроениях» в партии, которые необходимо искоренить. Тем самым, закладывалась основа для большой «чистки» партии, чтобы отсеять сомневающихся, брезгливых, уставших от крови и страданий.

ГЛАВА IX

ЖАТВА В АДУ

ДЛЯ АКТИВНЫХ коммунистов, мировые события и события дома не были безличными делами, отличными от их непосредственной жизни. Граница между частными и государственными делами едва ли существовала для нас. Наша повседневная жизнь была интегрирована с политическими событиями. Победа Гитлера, коллективизация, последняя редакционная статья «Правды» были пунктами и моей личной биографии.

Это может показаться невероятным для постороннего, но фактом является то, что в моей памяти того периода такие политические факты вырисовываются больше и яснее, чем мой краткий брак с Зиной.

Я познакомился с Зиной за пару месяцев до моей миссии в деревню. Ее

мягкая, цветочная красота не имела ничего от того страстного качества, которое привлекло меня к Юлии. Она была хрупкой: худенькой, с мягким голосом, сентиментальной; но ее хрупкость скрывала твердую сердцевину эгоизма. Наши советские девушки, по большей части, жили не для себя. Они были простыми и, как мы выражались на нашем партийном жаргоне, социально сознательными. Но интересы Зины были все сосредоточены на ней самой. Для Зины ничего не существовало, кроме как в отношении ее личных эмоций и предпочтений. Она была «буржуазным типом», предупреждали меня мои друзья; и с самого начала, действительно, мое увлечение было затронуто неприятным чувством вины. Еще до того, как мы зарегистрировали наш брак, ее раздражал мой перегруженный партийный график. «А как насчет меня? У тебя никогда не находится времени для меня», - жаловалась она. Ее не меньше раздражало мое скромное финансовое положение и то, что нам пришлось жить с моей семьей. Ее собственные родственники не скрывали своего разочарования тем, что она не нашла «хорошую партию».

Поэтому приказ, который отправил меня в зону коллективизации, стал облегчением для нас обоих. Он обеспечил желанную передышку, и нескольких недель разлуки было достаточно, чтобы разрушить брак. Когда я вернулся из деревни, с болью в сердце и встревоженным умом, отсутствие

интереса Зины к моим пережитым испытаниям оскорбило меня. Я даже не заметил, что она надела новый наряд — шелковое платье, даже драгоценности.

Развод в СССР в то время был простым, односторонним актом. Вы зарегистрировали расторжение вашего брака, и ваша супруга была уведомлена об этом по почте. После того, как я разорвал брак, я узнал, что за время моего отсутствия Зина завела «новых интересных друзей». Ее врожденный эгоизм вел ее в правильном направлении. Среди этих друзей был человек с хорошим положением и связями в верхних эшелонах советской власти и который мог позволить себе потакать ее «буржуазным вкусам». Она вышла за него замуж вскоре после нашего развода.

Привлекательность Зины оказалась слишком большой роскошью для нищего студента--тем более роскошью для искреннего коммуниста. Несколько лет спустя, я постоянно сталкивался с ней в театре, на концертах. Она всегда была хорошо одета, сторонилась толпы, имела успех в нашем новом обществе.

Я с трудом мог поверить себе, что когда-то был женат на ней.

2

Первым прямым следствием коллективизации стала массовая гибель населения в деревне. Хотя ни слова об этой трагедии не появилось в советских газетах, голод, который бушевал по всей южной России и Казахстану, был общеизвестным. Мы, коммунисты, осуждали на словах как «антисоветские слухи» то, что мы знали как несомненный факт.

Несмотря на жесткие меры чекистов ГПУ, направленные на то, чтобы жертвы оставались на местах и умирали у себя дома, наша Днепропетровская область была переполнена умирающими от голода крестьянами. Многие из них лежали без видимых признаков жизни, слишком слабые даже для того, чтобы просить милостыню, вокруг железнодорожных станций. Их дети были не более чем скелетами с раздутыми животами. Прежде друзья и родственники в деревне отправляли продовольственные посылки в городские районы. Теперь процесс был обратным. Но и наши собственные пайки были настолько малы и нестабильны, так что мало кто осмеливался расстаться с частью своей провизией.

Поскольку массовый голод в деревне совпал с триумфальным финишем первой Пятилетки за четыре года, советская пресса истерично хвасталась «нашими достижениями». Однако оглушительная пропаганда не могла полностью заглушить стоны умирающих. Для некоторых из нас, официальные заявления о новой «счастливой жизни» казались омерзительными, более ужасающими, чем сам голод.

Все зависело от нового урожая. Хватит ли у голодающего крестьянства сил и воли жать и молотить среди миллионов смертей? Чтобы обеспечить новый урожай для государства, чтобы не дать голодным отчаявшимся колхозникам съесть новый урожай и зеленые ростки на полях, чтобы спасти колхозы от развала из-за бесхозяйственности.

Чтобы бороться с противниками коллективизации, в деревнях были созданы особые Политотделы, укомплектованные проверенными коммунистами — военными, чиновниками, специалистами, чекистами, студентами. Эта армия из более чем ста тысяч человек, отобранных Центральным Комитетом партии, была развернута по коллективизированным районам, и которой было поручено обеспечить сохранность нового урожая. Я был среди этих мобилизованных.

Триста из нас, из разных городских организаций, собрались в обкоме партии. Первый секретарь обкома и один из главных коммунистов Украины, товарищ Хатаевич, произнес главную речь. Он не скрывал трудностей, с которыми мы столкнемся в деревнях. Снова и снова он ссылался на «чистку» рядов партии, запланированную на конец года. Намек был слишком ясен, чтобы его не заметить. От нашего успеха или неудачи в голодающих регионах зависело наше политическое выживание.

«Ваша преданность партии и товарищу Сталину будет проверена и измерена вашей работой в деревне», - зловеще заявил он. «Нет места слабости. Это работа не для брезгливых. Вам понадобятся крепкие нервы и железная воля. Партия не примет никаких оправданий за неудачу в обеспечении государства урожаем».

Вооружившись мандатом от райкома, я отправился в Пятихатский район вместе с сокурсником, который также был моим другом, Юрием. Местные чиновники этого района, как мы обнаружили, были встревожены происходившим. Мы расспрашивали их о новом урожае, но они могли

говорить только о массовом голоде, эпидемиях тифа, сообщениях о каннибализме.

Да, они согласились, мы должны подготовиться к жатве и молотьбе нового зерна; но как это начать, казалось, было за пределами их парализованной воли. Отделения милиции и тюрьмы были переполнены крестьянами из окрестных деревень, арестованными за самовольную уборку хлеба - «вредительство» и «хищение государственного имущества» были официальными обвинениями.

Мы прибыли в большое село Петрово к вечеру. Там царила неестественная тишина. «Всех собак съели, поэтому так тихо», - сказал крестьянин, который проводил нас в Политотдел. «Люди много не ходят, сил нет», - добавил он. После встречи с начальником Политотдела, нас отвели в крестьянскую избу на ночлег.

Тусклый огарок был единственным источником света в доме. Наша хозяйка была молодой крестьянкой. Казалось, что все чувства, даже печаль и страх, высохли из ее изможденных черт. Они были маской живого трупа.

В углу, на узкой кровати, лежали ее двое детей так тихо, что казались безжизненными. Только их глаза были живыми. Я вздрогнул, когда они встретились с моими.

«Простите, что вторгаемся», - сказал Юрий. «Мы не будем вам мешать, а утром мы уйдем». Он говорил приглушенным голосом, как будто находился в одной комнате с больным или покойником.

«Пожалуйста», - сказала молодая женщина, - «и мне жаль, что я не могу вам ничего предложить. У нас в доме уже много недель не было ни корочки хлеба. У меня еще есть немного картофелин, но мы не смеем есть их слишком быстро». Она тихо плакала. «Наступит ли когда-нибудь конец или мои дети и я должны умереть, как и другие?»

«Где твой муж?» — спросил я.

«Не знаю. Его арестовали и, вероятно, сослали. Моего отца и брата тоже сослали. Нас наверняка оставили здесь умирать от голода».

Юрий сказал, что хочет курить, и поспешно вышел из дома. Я знал, что он боится сломаться и заплакать перед этой незнакомой женщиной.

«Не поддавайся отчаянию, моя дорогая», — сказал я женщине. «Я знаю, это тяжело, но если ты любишь своих детей, ты не откажешься от борьбы. Приведи их к столу. У меня и моего товарища есть немного еды из города, и вы все пообедаете с нами».

Юрий вернулся. Мы поставили все свои продукты на стол и ели скромно, чтобы осталось больше для других. Дети смотрели на кусок сала, сушеную рыбу, чай и сахар испуганными глазами.

Они ели быстро, жадно, словно боясь, что все это исчезнет так же чудесно, как и появилось. Уложив детей спать, наша хозяйка начала говорить.

«Я не буду рассказывать вам о мертвых», — сказала она. «Я уверена, вы знаете. Полумёртвые, почти мёртвые это ещё хуже. В нашем селе Петрово сотни людей, опухли от голода. Я не знаю, сколько умирает каждый день. Многие настолько слабы, что больше не выходят из своих домов. Время от времени их объезжает повозка, чтобы забрать трупы. Мы съели всё, что смогли достать — кошек, собак, полевых мышей, птиц. Когда завтра рассветёт, вы увидите, что с деревьев содрана кора, потому что её тоже съели. И конский навоз съели».

Я, должно быть, выглядел изумлённым и недоверчивым.

«Да, и конский навоз тоже. Мы за него дерёмся. Иногда в нём есть целые зерна».

В отличие от меня, это был первый визит Юрия в деревню. Опасаясь, что первоначальное воздействие рассказа об ужасах может на него слишком сильно подействовать, я прервал рассказ женщины и настоял, чтобы мы все пошли спать.

Прибыв в Политотдел вскоре после восхода солнца, мы нашли там только агронома совхоза. Он оказался моим старым знакомцем, бывшим студентом Ерастовского сельскохозяйственного училища, и тепло меня обнял. Я спросил его о нашем знакомом Яше Громове, который работал со мной на заводе несколько лет назад.

«Он скоро будет здесь. Вы останетесь в Петрово или поедете дальше?»

«Мы поедем немного дальше», — ответил я. «Мы остановились здесь только на ночь и познакомиться. Но я хочу попросить вас об одолжении, товарищ

Башмаков. Не могли бы вы поделиться провизией?»

«Вы имеете в виду для себя?»

«Хорошо, скажем, для себя. Я вам заплачу, конечно».

«Заплатите мне, как будто дело в деньгах. Пойдемте ко мне домой — я недалеко отсюда — и я посмотрю, что мы сможем выделить».

Когда мы шли к его дому, он сказал: "Я знаю, конечно, что вы хотите еды для некоторых бедняков, и я вас не виню. Но, товарищ Кравченко, вы не добъетесь успеха, если позволите жалости взять верх над вами. Вы должны научиться кормить себя, даже если другие умирают от голода. Иначе некому будет принести урожай домой. Всякий раз, когда ваши чувства берут верх над вашим суждением, просто подумайте про себя: "Единственный способ положить конец голоду - это обеспечить новый урожай". Не думайте, что мне было легко приспособиться. Я не зверь".

Все равно он дал мне немного сала, бутылку масла, немного муки и небольшой пакетик крупы. Я поблагодарил его и отнес посылку в дом, где мы ночевали. Молодая женщина была слишком ошеломлена, чтобы поблагодарить нас. Я ускользнул от ее благодарности, как от жестокого упрека.

Затем мы с Юрием пошли через деревню. Снова нас угнетала неестественная тишина. Вскоре мы вышли на открытое пространство, которое, без сомнения, когда-то было рынком или базарной площадью. Вдруг Юрий схватил меня за руку до боли: на земле лежали мертвые мужчины, женщины и дети, слегка прикрытые соломой. Я насчитал семнадцать тел. Пока мы смотрели, подъехала телега. Двое мужчин погрузили трупы на телегу, как дрова, и уехали.

Пока Юрий ходил в совхоз, чтобы договориться о транспорте, я вернулся в политотдел, чтобы поговорить с Громовым. Он был взволнован и рад меня снова видеть — любой гость из внешнего мира за пределами этой зоны голода казался желанным напоминанием о том, что где-то еще есть нормальная жизнь. Он отвел меня в совхоз. Это был тип предприятия, принадлежащего и управляемого государством, его крестьяне работали за зарплату, в отличие от колхозов или коллективных хозяйств, которыми управляли совместно сами крестьяне.

«Яша», — сказал я, когда мы шли по полям полузрелой пшеницы и ячменя, — «я был на рынке сегодня утром, и--»

«Да, я знаю, Витя. Сколько их было сегодня утром? Всего семнадцать трупов, говоришь? В некоторые дни их гораздо больше. Что мы можем сделать, кроме как собрать тела и закопать их? Видишь ли, советское государство выкачало из них все зерно прошлой осенью. То немногое, что они получили за свою работу или смогли спрятать, они уже давно съели. Все это печально и ужасно. Приходи ко мне домой, и мы поговорим. Я слишком долго был один наедине со своими мыслями».

Смерть от голода — монотонная тема. Монотонна и однообразна. Есть что-то жуткое в использовании обычных слов для описания этих инфернальных фактов. То, что рассказал мне Яша, было, в конце концов, только тем, что мне рассказала крестьянка накануне вечером; то, что я видел собственными глазами на деревенской площади. Я уже привык к этой атмосфере ужаса; у меня развилось внутреннее сопротивление реалиям, которые еще вчера меня лишали сил.

Мы долго говорили. Громов описал людей, с которыми мне придется работать в закрепленных за мной деревнях, и пообещал помочь мне всеми возможными способами. Он помахал нам прощание рукой, и мы с Юрием уехали в тачанке, двухколесном транспортном средстве, предоставленном в наше распоряжение совхозом.

Солнце садилось, и небо казалось налитым кровью. Старик, который управлял повозкой, разговаривал со своими лошадьми. «Эх, мои соколики! Поехали, мои милые!»

Я предложил ему сигарету. Его настроение, видимо, поднялось от хорошего табака, он покопался под сиденьем, вытащил тростниковую трубочку и начал играть грустные украинские народные мелодии.

«Ты, кажется, ведешь веселую жизнь, — сказал Юрий.

«О, да, мы тут живем как вельможи, с одной парой штанов на двух мужчин, и все живы, пока не умрут. Нет ни бедных, ни богатых, -- все нищие. А теперь возьмите этот холм, мои соколята! Покажите этим городским жителям, мои малыши!»

«А вы кто, — спросил я.

«Меня здесь все знают. Когда у меня было свое хозяйство и много еды, меня звали Кузьмой Ивановичем. Теперь, когда я кучер и у меня ничего нет, меня зовут просто Кузькой. Ничего не осталось у меня, кроме этой дудочки, вот я и играю на ней. Моя старуха умерла от голода прошлой зимой. Моя дочь вышла замуж и вкалывает на рудниках. Двое моих сыновей с семьями были сосланы в Сибирь в концлагеря товарищами-коммунистами... как кулацкие элементы. Но, видя, что я старый и безобидный человек, они дали мне работу кучером в совхозе. Меня долго не брали, думая, что я навредю хозяйству. Но зачем мне что-то портить? Я и так одной ногой в могиле.

«Я делаю все, что они мне говорят, и моя единственная радость в жизни — эти лошади. Я хорошо забочусь о них. Да, они принадлежат советскому государству, но я делаю вид, что они принадлежат мне. Они — единственная семья, которая у меня осталась. Я кормлю их, мою их и разговариваю с ними. Они понимают мое каждое слово.

«С моими лошадьми я все еще Кузьма Иванович, а не просто Кузька. Теперь все, что я хочу, — это быть похороненным рядом со своей старушкой, когда придет моя очередь. Я просил добрых людей помнить об этом, и они обещали. Так что, как видите, мне не о чем беспокоиться».

Он продолжил играть на дудке.

К тому времени, как он остановился перед политическим отделом деревни, куда мы направлялись, уже была ночь. Политический отдел размещался в красивом доме в конце гравийной дороги, обсаженной тополями.

Внутри нас ждало несколько официальных лиц. Они встретили нас дружелюбно. После взаимного представления мы пошли с ними в хату, которую занимал помощник начальника политотдела. Внутри дома было чисто, а ужин, хотя и простой, был хороший и обильный.

В веселом свете керосиновой лампы, вокруг хорошо накрытого стола, было трудно представить, что во всех окружающих домах свирепствовали голод и смерть. Я изучал этих людей, с которыми мне придется работать, и было очевидно, что они, в свою очередь, оценивали меня.

Начальник политотдела Соманов был военным, подполковником артиллерии. Он был невысокого роста, коренастый, лет сорока, со

спокойным и симпатичным лицом. Он мне сразу понравился. Его помощник, наш хозяин, был директор металлургического завода в Донбассе. Он был хорошо одет, шумен, бойкий говорун и рассказывал забавные истории.

Второй помощник был молодой смуглый человек из ГПУ, который говорил мало, но плотно ел и прилежно слушал. Четвертый член политотдела был редактором газеты из города в моей губернии.

Каждый из нас оценивал других. Я сумел упомянуть небрежно имена моих важных друзей и даже намекнул на мое личное знакомство с комиссаром Орджоникидзе. Когда я упомянул имена знакомых в ГПУ моего родного города, молодой чекист неосознанно как бы вытянулся по стойке смирно. Что бы ни ждало меня впереди, мне нужна была вся унция политического престижа, которую я мог бы собрать, чтобы пройти через это.

После ужина мы провели официальное совещание. Юрия и меня посвятили в планы и дали сводку о характере различных местных руководителей в коллективах, за которые мы будем отвечать. К счастью, урожай в этой области, казалось, рос хорошо. Нашей задачей было сохранить его, проконтролировать его сбор и убедиться, что государство получило сполна. Первое сентября было крайним сроком сбора урожая. Хотя у каждого из нас был свой сектор работы, общая ответственность сблизила нас.

На следующее утро товарищ Соманов пригласил меня в свой личный

кабинет.

«У вас больше опыта в сельском хозяйстве, чем у большинства уполномоченных, и это хорошо», - сказал он мне. «Я хочу предупредить вас. Вы увидите много горя и страданий, и вы полностью предоставлены сами себе. Я не берусь говорить вам, как справиться с ситуацией. Только одно: не дайте себе сломаться, иначе вы будете бесполезны для себя и для работы. Делайте то, что считаете нужным, и устраняйте помехи. Если вы выполните план в своем участке, все остальное будет прощено. Если нет... ну, мы все знаем последствия. Я помогу вам всем, чем смогу. Председатели колхозов и председатель сельсовета ждут вашего прибытия. Удачи вам!»

Вскоре мы с Юрием снова были в дороге. Его деревни находились примерно в восьми милях от моих. Когда мы добрались до Логины, где должен был

располагаться мой штаб, я спрыгнул у здания местного совета, и Юрий поехал дальше один.

Советский штаб был небольшим, но чистым. Я нашел конференцию в самом разгаре. Представившись и показав мандат на должность уполномоченного политотдела и обкома, я настоятельно просил их продолжить заседание. Я узнал, что председателя Совета зовут Белоусов, и он, очевидно, благоговел перед местным секретарем партийного комитета товарищем Кобзарем. Присутствовал также заведующий машинно-тракторной станцией (МТС) товарищ Карась.

«Товарищ Кравченко, теперь вы здесь главный. Возьмите конференцию на себя», — сказал Кобзарь.

«Нет, нет, я просто послушаю, если вы не возражаете. Отныне, товарищи, не должно быть никаких «мы» и никаких «вы». Мы должны работать вместе. Вы знаете проблемы здесь лучше, чем я, и я буду зависеть от вас. В то же время, я несу ответственность и должен принять окончательные решения. Я хотел бы провести свою первую конференцию завтра, и я надеюсь, что вы все придете подготовленными с необходимыми данными. Я хочу, чтобы каждый из ваших председателей колхозов, принес свои рабочие планы. А пока продолжайте то, что вы обсуждали».

Они возобновили свою встречу. Председатели колхозов говорили по очереди. Они настаивали, что если их крестьяне не будут есть, у них не будет сил, чтобы собрать урожай.

«Мои люди голодают», - сказал один из них. «Те, кто распух от голода, лежат в своих домах. Мы должны считать их как работников. Еще многие умрут до начала уборки урожая. Что мы собираемся с этим делть?»

Белоусов и Кобзарь отвечали общими фразами, цитировали партийные директивы и оставили у меня впечатление, что они были растеряны, не знали что делать, но в глубине души были бескорыстны. Я сказал себе: «Мне придется положиться на самих крестьян, а не на этих чиновников, судя по всему». Мне было ясно, что советские и партийные чиновники слишком привыкли к виду голода и что их апатию нужно преодолеть, чтобы собрать урожай.

«Пойдемте ко мне домой и там поспите», — предложил Белоусов, когда

встреча закончилась. «Вы, должно быть, устали с дороги. Думаю, я смогу раздобыть что-нибудь, чтобы придать вам новых сил».

«Я был бы рад, если бы вы пошли со мной», — вмешался один из председателей колхоза. Меня зовут Чадай. У меня небольшая семья, и мы можем выделить для вас отдельную комнату».

Я сразу же решил принять приглашение Чадая. Чем ближе я буду к колхозу, тем, как мне казалось, будет лучше. Я пожал всем руки и ушел с Чадаем — простым, интеллигентным человеком средних лет, чисто выбритым и приятной наружности. Нас сопровождал еще один председатель колхоза, Демченко.

«Ну, друзья», — улыбнулся я, когда мы дошли до дома, «сначала зайдем в конюшню. Так меня учили. Перед сном мой старый дедушка в Александровске говорил: «Смотри, чтобы лошади и скот были в порядке».

«Так ты крестьянского происхождения?»

«Не совсем так, товарищ Демченко, но я много жил на земле»,

При свете фонаря я увидел, что лошади были в стойлах, но без сена. К тому же конюшня была не слишком чистой.

«Сукин сын!» — смущенно воскликнул Чадай. «Опять забросил конюшню. Завтра я ему устрою ад».

«Не знаю, кто должен дежурить», — сказал я. «Но, по-моему, ты лучше сам себе этот ад устроишь. Ты председатель, и если что-то пойдет не так, то виноват будешь ты. Вот что значит руководство».

«Думаю, ты прав», — смиренно признался Чадай. «Но все не так просто. Когда люди голодны, они не будут работать. Они не могут сосредоточиться на работе».

«Да», — согласился Демченко, — «все совсем не просто. Ну, спокойной ночи вам обоим, до завтра».

В доме я встретил жену и детей Чадая. Хотя все они были худыми, было очевидно, что здесь условия не такие плохие, как в большинстве крестьянских домов.

«Товарищ Чадай, расскажите мне как мужчина мужчине, а не официально, как поживают здешние люди», — сказал я. «Каковы ваши планы по уборке урожая? В каком состоянии техника? Не скрывайте от меня ничего. Наоборот, будьте честны со мной, потому что, в конце концов, мы оба заинтересованы в одном и том же».

«Не знаю, с чего начать, товарищ Кравченко. Урожай не плохой. Техника в порядке, хотя некоторых запчастей не хватает. Без этих деталей мы застряли».

«Составьте мне список того, что нужно, и я передам его в Политотдел в Петрово».

«Спасибо, это будет большой помощью. Еще одна плохая вещь — это ситуация с лошадьми. У нас нет корма. Если бы только мы могли получить немного овса … Конечно, мы могли бы скосить немного нового урожая, но это строго против приказа сверху».

«С приказом или без приказа, мы сделаем это, если вы считаете, что нет другого выхода», — сказал я. «Я возьму на себя всю ответственность. Это одна из наших первых задач на завтра. Без лошадей что мы сможем сделать? А без овса у нас скоро не осталось бы совсем лошадей».

«Боюсь, Белоусов и Кобзарь этого не поддержат», — предупредил Чадай.

«Позвольте мне с ними разобраться».

«Наконец, и самое главное, товарищ Кравченко, это состояние самих людей. Они мрут как мухи. Или они слишком слабы от гоода, чтобы двигаться. Кто будет работать и собирать урожай? Я умолял Совет одолжить нам немного зерна. Наконец, они прислали мне тринадцать пудов. Но я не Моисей и не Иисус Христос. Я не могу накормить тысячи людей тринадцатью пудами.

Я говорю вам прямо, товарищ, я видел кровь и смерть, когда был на войне, но ничего такого ужасного, подобного тому, что происходит прямо здесь, в моей деревне».

Затем он посмотрел мне прямо в глаза. Сквозь его печаль прорвалась задумчивая надежда.

«Товарищ уполномоченный, если вы хотите собрать урожай, вам сначала придется спасти этих людей от голода. Кроме того, я больше не могу без слез смотреть на это несчастье. Я просто не могу больше этого выносить.»

«Я не могу вам ничего обещать, товарищ Чадай, кроме как попытаться. Завтра мы встанем рано и пойдем по селу из дома в дом. Я хочу увидеть сам, прежде чем решусь действовать».

3

То, что я увидел тем утром, обходя дома с Чадаем, было исполнено невыразимого ужаса. На войне, на поле боя люди умирают быстро; они оказывают сопротивление, их поддерживают их товарищи и чувство долга. Здесь я видел, как люди умирают в одиночестве медленно, умирают страшно, без оправдания жертвы ради дела. Их поместили в ловушку и оставили умирать от голода, каждого в своем доме, политическим решением партии, принятым в далекой Москве за конференц-столами и банкетами. Не было даже утешения в неизбежности, чтобы облегчить ужас.

Самым ужасающим зрелищем были маленькие дети-скелеты с костяными конечностями, свисающими с похожих на шары животов. Голод стер все следы детства с их лиц, превратив их в измученных горгулий; только в их глазах все еще оставалось воспоминание о детстве. Везде мы находили мужчин и женщин, лежащих ничком, их лица и животы раздуты, их глаза совершенно пустые и ничего не выражающие.

Мы постучали в дверь, но не получили ответа. Мы постучали снова. В страхе я толкнул дверь, и мы вошли через узкие сени в однокомнатную избу. Сначала мой взгляд упал на икону над широкой кроватью, затем на тело женщины средних лет, лежащей на кровати, ее руки были скрещены на груди поверх чистой вышитой украинской рубахи.

В ногах кровати стояла старушка, а рядом двое детей, мальчик лет одиннадцати и девочка лет десяти. Дети тихо плакали и повторяли жалобным напевом: «Мама, милая мамочка». Я огляделся, и мой взгляд остановился на опухшем, неподвижном теле мужчины, лежащем на полке печи.

Кошмар сцены был не в трупе на кровати, а в состоянии живых свидетелей. Ноги старухи распухли до невероятных размеров, мужчина и дети явно

находились на последней степени истощения. Я быстро отступил, стыдясь своей поспешности.

В соседнем доме мы обнаружили мужчину лет сорока, сидящего на на скамейке и чинящего башмак. Лицо у него было опухшее. Маленький опрятный мальчик, превратившийся в живой скелет, читал книгу, а тощая женщина возилась у плиты.

«Что ты готовишь, Наталка?» — бодро спросил ее Чадай.

«Ты знаешь, что я готовлю», — ответила она, и в ее голосе звучала убийственная ярость.

Чадай потянул меня за рукав, и мы вышли.

«Почему она так разозлилась?» — спросил я.

«Потому что … мне стыдно тебе сказать, Виктор Андреевич ... Она готовила еду из … конского навоза и сорной травы».

Моим первым побуждением было вернуться в дом и остановить ее, но Чадай удержал меня. «Не делай этого, умоляю тебя. Ты не знаешь, как голодают эти люди. Она может убить тебя в отчаянии, если ты отнимешь у нее содержимое ее горшка».

После того, как мы обошли дюжину домов, я поддался настояниям Чадая прекратить проверку. Везде было одно и то же. Теперь ты знаешь достаточно», - сказал он.

Мой курс действий казался мне ясным. Ситуация была слишком отчаянной для полумер. Каковы бы ни были последствия для меня, я буду игнорировать законы и приказы. Если я не восстановлю силы этих крестьян, все будет потеряно. Вернувшись в дом Чадая, я написал письмо товарищу Соманову, начальнику нашего политотдела, и отправил его с посыльным. Ближе к вечеру посыльный вернулся с ответом:

«Я хорошо осведомлен об условиях. Я призываю вас обдумать этот вопрос еще раз и взвесить все соображения. То, что вы предлагаете, является серьезным нарушением наших четких приказов. Однако, если вы не видите иного выхода, вы можете сделать то, что считаете необходимым. Я постараюсь найти вам немного зерна, но, честно говоря, у меня очень мало надежды, что мне это удастся».

Ответ меня удовлетворил. По крайней мере, он не сказал «нет». Я предложил собрать немного овса, чтобы накормить лошадей, и скосить немного ячменя по краям полей для населения. Такая преждевременная жатва осуждалась в газете «Известия», которая была развернута предо мною, как «хищение государственного имущества» и «кулацкий саботаж». Крестьян арестовывали и отправляли в концлагеря за такие «преступления».

Во втором колхозе условия были по сути такими же. У некоторых крестьян еще были коровы, но они сдавали все молоко на государственный маслозавод. Даже люди, которые все еще передвигались, были слабыми, вялыми и в глубоком отчаянии.

Я попросил Чадая и Демченко вызвать двух учителей сельской школы, женщину-врача и нескольких наиболее умных и предприимчивых женщин колхозов. В то же время я послал за Белоусовым, Кобзарем и Карасем. Когда все собрались, они сели вокруг в ожидании, гадая, какого кролика я вытащу из своей партийной шляпы. Некоторые из них, особенно Кобзарь, не могли скрыть своего скептицизма.

«Я попросил вас приехать сюда, товарищи, особенно женщин», - начал я, - «потому что мне нужен ваш совет. Я рад, что председатель Совета, секретарь партии и заведующий МТС тоже здесь. Я ходил по домам и знаю положение дел. Я особенно встревожен состоянием детей. Как можно ожидать, что люди будут работать, когда их дети дома умирают с голода?

«Вот мой план. Чадай говорит мне, что в деревне есть несколько пустующих домов. Я хочу, чтобы вы, женщины, привели их в порядок, побелили, сделали пригодными для людей. Начнем с детей. Они будут жить в этих домах, пока не закончится уборка урожая. Соберите их, подстригите, купайте, сделайте им прививки от тифа. Я знаю, доктор, что у вас есть необходимые лекарства. Приготовьте несколько столов в садах этих домов и купите большие котлы для приготовления пищи. Вы готовы помочь?»

«Конечно, мы готовы», — заговорила одна женщина. «Но что вы будете использовать для еды?»

«Это я вам скажу позже. А пока я хочу знать, кого вы считаете наиболее надежным, чтобы взять на себя заботу о детях от вашего имени».

«Кононенко», — закричали несколько голосов. «Иван Петрович... учитель».

«Иван Петрович», — повернулся я к старику, когда мне на него указали, «раз люди вам доверяют, то и я тоже. Вы полностью отвечаете за работу с детьми. Привлеките других, чтобы они помогали, и вы можете полностью на меня рассчитывать. Если кто-то попытается вмешаться, дайте мне знать».

«Я полностью готова», — сказал учитель, — «а почему бы и нет? Это мои собственные люди. Если вы только дадите нам еду, я гарантирую остальное». В его голосе были слезы.

«Спасибо, Иван Петрович. Начинайте, исходя из того, что будет еда. Поверьте мне на слово».

Я отпустил всех, кроме должностных лиц. Проведя их в другую комнату, я закрыл дверь.

«Товарищи, приступим к делу», — сказал я. «Не удивляйтесь тому, что я вам сейчас скажу. Я знаю приказы не хуже вас, может быть, и лучше. Все равно я разрешаю колхозникам косить овес и кормить лошадей. Во-вторых, я немедленно разрешаю косить ячмень по краям и в местах, где он уже созрел.

«Начинайте молотить его немедленно и готовьте столько, чтобы выдавать по килограмму крупы на семью в день. И увеличивайте количество потихоньку, чтобы к началу жатвы люди были достаточно сильны, чтобы работать. Обеспечьте Ивана Петровича новой крупой, чтобы он мог заботиться о детях. Вам также разрешается забить столько колхозных свиней, сколько необходимо, чтобы обеспечить немного мяса и жира к ячменной крупе для детей».

Пока я говорил, на лицах местных руководителей появилось выражение сомнения, быстро сменившееся ужасом. Их глаза говорили яснее слов: этот человек сошел с ума? Он что, хочет, чтобы нас всех расстреляли, включая его самого?

«Но, товарищ Кравченко», — начал Кобзарь.

«Никаких «но» тут быть не может. Делайте, как я вам говорю. Ответственность полностью на мне».

«Я обязан сообщить в Политотдел», — воскликнул Белоусов, взволнованно вставая.

«Нет, товарищ Белоусов», — пришел мне на помощь заведующий машинно-тракторной станцией, - «Вы не правы. Если уполномоченный обкома приказывает, значит, он знает, что делает, и все остальные должны заткнуться".

"Я не запрещаю вам сообщать кому угодно," сказал я. "Это в ваших правах. Но если вы не выполните мои приказания, я призову вас к ответу. А вы, товарищ Кобзарь, заплатите своим партбилетом, если не позаботитесь о том, чтобы мои планы были выполнены без промедления. Вот и все, товарищи".

Когда мы выходили, я почувствовал, как кто-то сжал мою руку в знак благодарности. Это был Чадай. Потом ко мне подошел Демченко.

"Я помогу вам, даже если это будет стоить мне жизни", - хрипло прошептал он. "Теперь, когда вы решились, как насчет того, чтобы заняться кооперативным магазином? Пойдем, я познакомлю тебя с Макаренко, директором».

Магазин был грязным и запущенным. Кроме гипсовых бюстов Сталина и стопок литографированных портретов других коммунистических вождей, полки были пусты.

Макаренко был подобострастным человечком, хитрым и заискивающим. Я коротко рассказал ему о своем решении накормить детей деревень и попросил его помочь.

«Я знаю, у тебя есть кое-какие продукты. Ты должен их отдать. Как только будет урожай, тебе дадут зерно, и никто не пострадает».

Директор магазина встревожился. Он разрывался между приказом из штаба и страхом обидеть меня как представителя партии.

«Да, товарищ, у меня есть немного соли, конфет, пудов десять крупы, немного копченой рыбы и немного мыла. Если колхозы подпишут обещание оплатить зерном и сеном, я соглашусь. Но сначала мне нужно получить разрешение райотдела. Я дам вам ответ завтра. Но я также хочу дать вам небольшой совет. Почему бы вам не нажать на маслозавод?

"Что вы имеете в виду?"

"Он имеет в виду место, куда мы сдаем все наше молоко," - объяснил Демченко. "Из него делают сливочное масло на экспорт."

"На экспорт!?"

"Да, товарищ Кравченко—за границу. Оно упаковано в бумагу, на которой одни иностранные слова. Видите ли, голод - это одно, а валюта - другое."

"Хорошо, поедем туда," - сказал я.

Маслозавод находился на некотором расстоянии от деревни. Директор был членом партии, приветливым и глубоко несчастным. Он провел меня по своему заведению. В одной из комнат масло нарезалось на бруски и упаковывалось в бумагу с надписью на английском языке: USSR BUTTER EXPORT.

«Я знаю, что крестьяне голодают», — сказал управляющий. «Мысль о том, что это масло пойдет сытым иностранцам, режет меня как нож. Но что мне делать? У меня приказы. Я сильно отстаю от выполнения своего плана и, несомненно, буду наказан. Крестьяне воруют молоко; они голодны. А коровы не дают молока, потому что не хватает корма».

«Все равно», — сказал я, — «мне нужна ваша помощь. Детей надо кормить. Наверняка есть побочные продукты производства масла, которые мы можем использовать».

"Тебе легко говорить. Но, как и Макаренке, мне не только нужно выполнять планы спущенные из центра, но и кормить местных руководителей. Всех. Кобзарь, Белоусов и их многочисленные помощники берут мое масло и молоко".

"Ну, с сегодняшнего дня вся пахта. должна быть передана на новый детский проект", - заявил я.

"Это меня устраивает, если я получу одобрение моего начальства". Затем он на мгновение замолчал, словно собирая последние запасы смелости. "Нет, я не буду ничего просить. Скажи своим людям, чтобы завтра пришли за пахтой. У меня тоже есть дети".

Гнев охватил меня, когда я ехал обратно в деревню. Масло отправляют за границу в разгар голода! В Лондоне, Нью-Йорке, Париже я мог мысленным взором видеть, как люди там едят масло с советской торговой маркой. «Они, должно быть, богаты, раз могут послать масло», — как будто слышал я их слова. «Вот, друзья, доказательство социализма в действии». Проезжая по

полям, я не слышал прекрасных украинских песен, столь дорогих моему сердцу. Эти люди разучились петь. Я слышал только стоны умирающих и причмокивание губами толстых иностранцев, наслаждающихся нашим маслом...

Когда я добрался до наших колхозных полей, я увидел, что там убирают овес и ячмень. В деревнях несколько сотен детей собрались в садах для большой мойки и уборки. Старый Иван Петрович руководил работой, около двадцати мужчин и женщин помогали. Жена Чадая, моя хозяйка, была среди женщин, занятых побелкой домов. Мои гневные мысли растворились в любви к этим простым людям. Я видел их угрюмыми под штыками и ружьями красноармейцев. Я видел их страстными, бескорыстными, в общей задаче, которая не несла в себе никаких угроз.

Когда мы ужинали в тот вечер, к Чадаю пришел конюх. Только что умерла лошадь. Чадай приказал ему снять шкуру с животного, отвезти тушу далеко за пределы деревни, облить ее керосином и покрыть негашеной известью. Иначе голодные жители деревни съедят дохлую тушу, объяснил он мне. Позже приехали учитель и женщина-врач. Они доложили о хорошем прогрессе. Новый ячмень сушили в печи, и к завтрему дети из колхозов получат свой первый хороший завтрак. Было забито несколько свиней.

«Мы знаем о пахте», — сказал Иван Петрович, — «но этого недостаточно. Некоторые дети слишком далеко зашли в истощении. Нам нужно немного молока».

Я на мгновение задумался. Я уже так глубоко погрузился в нарушение правил и в «кулацкий саботаж», что мог бы пойти дальше. «Чадай», — сказал я, — «я официально разрешаю тебе, в присутствии свидетелей, больше не поставлять молоко отдельным должностным лицам, которые его получали, и удерживать треть всего продукта для использования нашим детским домом. Ты должен сказать Демченко, что то же самое относится и к его колхозу».

В ту ночь, лежа в постели, я думал о новом привилегированном классе в СССР —партийных коммунистических и советских функционерах, которые получали молоко, масло и другие припасы из кооперативного магазина, в то время как все остальные вокруг них голодали. Они послушно подчинялись приказам из центра, совершенно безразличные к страданиям простых людей. Развращение их характера привилегиями было ужасающим

зрелищем; эти люди, которые всего несколько лет назад сами были бедными крестьянами, уже утратили последние следы социального сродства со своими соседями. Они были отдельным класом, жили тесной кастой, поддерживали друг друга, объединились против общины.

На следующее утро я осматривал комбайны, молотилки и веялки. Прибыли запрошенные мной запчасти, и мужчины работали над ремонтом. Член правления колхоза рассказывал мне о своих проблемах, когда один из крестьян подошел и что-то прошептал ему на ухо.

«Говори, пусть тебя услышит Уполномоченный!» — сказал член правления.

«Ну, дело в том, товарищ Уполномоченный. Вчера ночью умерла лошадь. Шкуру сняли, а тушу облили керосином и негашеной известью. А сегодня утром, когда ее собрались закопать, туши не было. Все заразное и испорченное мясо за ночь унесли. Боже, до чего мы докатились, товарищи!»

4

Приближалось время начала уборки урожая. Новое настроение распространилось по деревне. В большинстве семей в детском саду Ивана Петровича был один или несколько детей, и всем членам коллектива раздавали ячмень. Однажды утром я выступил на массовом собрании колхозников. После собрания я остался пообщаться с людьми. Кто-то принес балалайку, а один крестьянин играл на аккордеоне. Я снова услышал наши украинские песни, и мое сердце согрелось. Ко мне подошел молодой человек. Сообщение, которое он нес, казалось ему слишком тяжелым для его языка, но в конце концов он пробормотал его.

«Товарищ уполномоченный! Вас вызывают в Совет!

Кто-то вас хочет видеть. Из ... из ... ГПУИ».

Те, кто был достаточно близко, чтобы слышать его, перестали петь. Три страшные буквы ударили, как удары. Новость о том, что меня вызывает тайная советская полиция, разнеслась по всему собранию. Наступила тишина. Как я знал от председателей колхозов, в деревне ожидали, что я буду наказан за то, что кормлю своих людей.

В здании Совета я нашел молодого чекиста ГПУ, с которым уже познакомился в Политическом отделе. С ним были Кобзарь и Белоусов. Я

обратился к Кобзарю: «Почему вы сегодня не были на собрании коллектива? Я же просил вас быть там».

«Извините, но у меня другая работа», — сказал он. Его манеры были угрюмы.

«Я хотел бы поговорить с вами наедине, товарищ Кравченко», — сказал чекист.

«Хорошо. Пойдемте со мной в мой кабинет в колхозе». Он сопровождал меня. По дороге и после того, как мы зашли в кабинет, мы говорили в общих чертах о делах деревни, шансах на хороший урожай и тому подобном.

«Товарищ Скопин», — наконец сказал я, — «давайте перейдем к сути. Что на самом деле привело вас сюда?»

«Видите ли, мы получили несколько донесений и официальных заявлений о вашем поведении здесь», — сказал он. «Все они сводятся к следующему: вы нарушаете советский закон, игнорируете партийные постановления и попираете местные власти».

«Кого вы имеете в виду, когда говорите «мы» получили? Вы имеете в виду начальника политотдела? Вы здесь по его просьбе?»

«Это не по делу».

«Нет, это главное. Вас уполномочили меня допросить?»

«Я здесь для личной дружеской беседы. Это не допрос».

«Товарищ Скопин, я делаю то, что считаю правильным, и не могу обсуждать с вами свое поведение. Меня может допрашивать только начальник политотдела. Я уполномоченный обкома и отвечаю перед ним за свое поведение. Местные власти обязаны мне помогать. Вместо этого местные руководители ничего не делают, набивают свои животы хорошей едой в то время как люди умирают от голода. У меня есть списки каждого должностного лица и того, что он взял в колхозах и сельском магазине для своих личных нужд. Я хорошо знаю, кто пишет на меня доносы. Но я также знаю, что они предаются пьяным оргиям. Я многое узнал».

«Сказать по правде, товарищ Кравченко, я здесь совершенно сам по себе. Начальник политотдела ничего об этом не знает. Я решил немного поговорить с вами, прежде чем отдавать ему документы. Мне сказали, что

вы забираете продукты с маслозавода и кооперативных складов, что вы отвлекаете государственные поставки молока и убираете хлеб раньше времени. Это серьезные дела».

«Пожалуйста, доложите в политотдел. Скажите им, что я буду отвечать за все свои действия. Я буду там завтра утром, чтобы лично доложить. А теперь, хотите посмотреть деревню, товарищ Скопин?»

«Нет, у меня нет времени. Ну, до свидания. Я только исполняю свой долг, как я его вижу».

«До свидания, товарищ. Увидимся завтра».

На следующий день я доложил товарищу Соманову.

«Вы были совершенно правы, отказавшись разговаривать со Скопиным без моего согласия», — сказал он мне. «Эти бездельники в ваших деревнях пишут доносы просто для страховки ... на случай, если вы попадете в беду. Я знаю, что вы много работали. Я знаю, на что вы идете, и, конечно, я тоже буду нести ответственность. Если мы выполним уборку и поставки государству в установленные сроки, все будет спасено. Если нет, то нам обоим не снести головы».

«Я был с вами совершенно откровенен, товарищ Соманов. Я держал вас в курсе своих действий. Но я хочу нести груз сам. Вот записка, которую вы мне прислали, в которой вы более или менее сказали мне делать то, что я хочу. Возьмите ее обратно!»

Он взял ее, сунул в карман и крикнул: «Товарищ Скопин!»

Вошел чекист ГПУ. «Пожалуйста, принесите мне всю папку с заявлениями и материалами, касающимися товарища Кравченко». Скопин принес толстую папку, которую Соманов в свою очередь передал мне, и ушел. Он подождал, пока я прочитал ее содержимое. Я записал имена осведомителей ГПУ, которые сообщали обо мне, и должностных лиц, которые на меня донесли. Соманов затем пообещал уничтожить дело, а пока положил его в свой сейф.

«Я буду в Логине, чтобы увидеть вас завтра. Держите местных должностных лиц наготове. Я устрою им такой ад, которого они заслуживают».

Вернувшись в деревню, я сверил имена сексотов с официальным списком населения. Я обнаружил, что все они были тщательно распределены по

всему району. Один работал в кооперативе, другой на маслозаводе, третий в администрации колхоза, четвертый был шофером на МТС. У ГПУ везде были свои глаза и уши, тщательно размещенные, чтобы они могли видеть и слышать все. За спинами формальных властей и хозяйственных руководителей, как я понял, была густая сеть сексотов, доносчиков и осведомителей — шпионов тайной полиции ГПУ и других партийных органов, неизвестных друг другу. За мнимым официальным правительством было настоящее, реальное правительство.

Позже в тот же день я столкнулся с Иваном Петровичем. Он был просто сияющим от волнения своей работы.

«Замечательно наблюдать за детьми», — сказал он, когда мы шли вместе, «видеть, как возвращается их детство. Мы все знаем, на какие риски вы идете. Если быть совсем откровенным, вся деревня обеспокоена вызовом в ГПУ».

«Нет причин для беспокойства», — улыбнулся я, «боги на моей стороне. Пока, во всяком случае. Но я рад, что крестьяне осознают ситуацию. Теперь их очередь отплатить мне — и, кстати, самим себе. Урожай скоро начнется. Я хочу, чтобы вы передали всем, на случай, если где-то есть бездельники, что мне не нужна никакая благодарность. Мне нужна работа, тяжелая работа, днем и ночью.

«Скажи им так: «Колхозники, вы хотите спасти голову товарища Кравченко? Тогда надо жать, молотить и сдавать зерно по плану. Я не могу хорошо апеллировать за себя, но вы можете это сделать».

«Можете быть уверены, я сделаю так, как вы просите. У вас здесь есть друзья. Поверьте, любому, кто ленится, лучше бежать к черту, мы ему устроим такую жаровню».

Соманов уже прибыл, когда я добрался до сельсовета на следующий день. Я слышал его гулкий голос еще до того, как вошел. Там собралась практически вся местная руководящая семья, включая даже заведующего магазином.

«Товарищ Кравченко здесь хозяин», — диктовал начальник политотдела. «Его указания — закон. Время поджимает, а у нас нет сил тратиться на ваши глупости. Принимайтесь за работу и помогайте ему. Сами идите в поле. Это

будет полезно для вашего здоровья. А вот и сам Уполномоченный собственной персоной!

Он тепло меня поприветствовал, словно не видел много лет. Это была демонстрация дружелюбия, чтобы произвести впечатление на моих врагов. Мы вместе вышли с собрания и пошли в дом правления колхоза.

Виктор Андреевич, — сказал он, — я сам из крестьян, и страдания моего народа глубоко ранят меня. Слезы, кровь, смерть. высылка. И почему? Земля плодородная, люди трудолюбивые. Почему мы должны позволить им голодать, умирать и погибать? Чем больше я об этом думаю, тем больше запутываюсь. Но я пришлю вам еще муки через день-два. И еще запчастей для молотилок.

Только не это я хотел вам сказать. Я хотел сказать, как я ценю то, что вы сделали, особенно для детей. Он внезапно остановился.

«Виктор Андреевич, мы с вами коммунисты, но мы также люди. Я буду за вас стоять, как за себя».

Через два дня все было готово. На рассвете я выехал в поле. Колхозники, мужчины и женщины, были там впереди меня. Они уже косили зерно, связывая его в снопы. Вскоре приехали местные чиновники и предложили свою помощь — лекция, видимо, сделала свое дело.

Ощущалось оживление. Так же, как водитель автомобиля может узнать по гудению двигателя, что он будет работать хорошо, я почувствовал по настроению этого первого утра, что все хорошо.

Накануне вечером на поля были доставлены продукты и вода. Для маленьких детей были поставлены палатки. Эти крестьяне, теперь как и прежде, будут жить под открытым небом, вдали от своих домов, пока не будет собран урожай. С моего разрешения были забиты бык и несколько свиней. Хотя среди сотен мужчин и женщин было мало тех, кто наелся досыта, мало тех, кто не ослабел или не заболел, они пели, шутили и работали от восхода до заката.

"Все в порядке, - прошептал мне на ухо Иван Петрович, - они все стараются о том, чтобы спасти твою голову". Мы посмеялись.

Следующий день я провел в колхозе, председателем которого был Демченко. Здесь тоже урожай начался хорошо, и настроение было превосходным. Через несколько дней, даже когда шла жатва, другие бригады начали молотьбу. Зерно начало течь на элеваторы возами.

Однажды, в самый разгар жатвы, я выехал на поля колхоза Демченко. Заметив, что один из комбайнов простаивает, я поскакал, чтобы посмотреть, почему. Я обнаружил, что его оператор потерял сознание от усталости. Несколько женщин были вокруг него, пытаясь привести его в чувство. Я приказал им отвезти мужчину в деревню, а сам сел за комбайн.

С тех пор, как я был в коммуне Токсин, я не управлял машиной, и было волнительно работать час за часом.

Ближе к сумеркам, когда меня сменил другой водитель, я обнаружил ужасную потерю. Мой кошелек исчез. Потеря всех денег, которые у меня были, не беспокоила меня. Но пропал мой мандат и, что еще тревожнее, мой партийный билет. В тот вечер и на следующий день мы обыскали поля, но не нашли никаких следов кошелька. Я сообщил о потере в Политотдел и в райком. Эта пропажа будет преследовать меня годами.

Еще одна порция неприятностей пришла в виде приказа через политотдел:

«В соответствии с указаниями облисполкома, церковь в вашей деревне должна быть превращена в хранилище для государственного зерна. Эта задача должна быть выполнена в течение 48 часов, и о ее выполнении должно быть сообщено».

Эта директива встревожила меня, так как я не сомневался, какие эмоции будут у крестьян. Это был глупый поступок; песок, подсыпанный в машину решающего сбора урожая. Но Кобзарь, Белоусов и другие коммунисты с удовольствием взялись за работу. Медленно, незаметно они стали антагонистами населения, наслаждаясь большинством вещей, которые не нравились другим сельчанам — именно потому, что они им не нравились. Местные комсомольцы выполняли фактическую работу по снятию с церкви ее завес, икон и ценностей.

Новость распространилась по полям, как лесной пожар. Десятки крестьян бросили свои орудия и бросились в деревню. Они бранили, умоляли и плакали, видя, как коммунисты отобрали у них их святыни. Святотатство

было лишь частью того, что их ранило или убивало — однако во всем этом они чувствовали прямое оскорбление своего человеческого достоинства.

«Они отняли у нас все», — услышал я слова одного пожилого крестьянина.

«Они ничего нам не оставили для пропитания. Теперь они отнимают у нас последнее духовное утешение. Где мы будем крестить наших детей и хоронить наших мертвецов? Где мы будем искать утешения в наших скорбях? Негодяи! Нехристи! Я был беспомощен. Мне потребовались все мои собственные усилия и красноречие Ивана Петровича, чтобы восстановить ритм труда.

Как раз когда мы думали, что нам это удалось, новый инцидент снова все расстроил. Это было в следующее воскресенье. Секретарь местного комсомола, глупый и прыщавый парень по имени Чиж, внезапно появился на улице, играя на балалайке, рядом с ним была его подружка, и они распевали известные антирелигиозные, антихристианские песни. Это была достаточно обыкновенная и знакомая сцена. Причиной же неприятностей была их одежда. И Чиж, и девушка были одеты в ярко-красные шелковые рубашки, перехваченные на талии золотыми шнурами и шелковыми кистями. Деревенские жители сразу узнали их церковные завесы. Их возмущение быстро переросло бы в самосуд. Только то, что они убежали от старых крестьян и спрятались в кооперативном магазине, спасло двух комсомольцев от разъяренной толпы крестьян.

Узнав об этом эпизоде, я послал за Чижем.

«Зачем вы украли церковные завесы?» — спросил я.

«Я не крал. Я брал вещи открыто. Другие товарищи делали то же самое».

«Ну так вот, ты и твои товарищи немедленно верните все, что вы взяли. Слышишь? Если нет, я сдам вас милиции, вместе с любым негодяем, который за вас заступится. И еще одно, пока я здесь, никаких антирелигиозных выходок на публике. Это приказ!»

Через несколько дней колхоз зарезал огромного быка. Мясо засолили и убрали в погреб со льдом для дальнейшего использования. Вечером Чадай сообщил мне, что часть мяса была украдена. Я вызвал товарища Карася с МТС. Он согласился мне помочь. Мы прождали почти до полуночи. Чадай и Карась имели охотничьи ружья. У меня был мой револьвер «Браунинг». У

всех нас было несколько проницательных догадок о вероятных ворах, и мы были полны решимости проверить их без промедления.

«Давайте остановимся по дороге и заберем с собою секретаря парткома Кобзаря», — сказал я. «Он должен знать, что происходит в его округе».

В его доме было темно. Чадай постучал. Не получив ответа, он открыл дверь. Вдруг мы услышали голоса. Я вошел и включил свой фонарик. Женщина закричала — я повернул свет в сторону ее голоса.

Совершенно голая молодая девушка пыталась натянуть платье через голову. Вскрикнув от страха, она выбежала из дома в ночную темноту. Я зажег лампу на столе. Она осветила бутылку водки, два стакана, большую тарелку с жареным мясом. Секретарь парткома Кобзарь, полураздетый, сидел на кровати, несколько смущенный. В деревянной миске на стуле я увидел большое бычье сердце.

«Где ты взял это мясо?» — спросил я.

«Я купил его... в кооперативном магазине... можешь проверить у меня».

«Будь уверены, я так и сделаю. Давайте, товарищи, оставим его доедать свою еду, включая это бычье сердце».

Вместе с Чадаем мы поднялись на холм к дому на окраине деревни. Он был известен как место «пиршеств», о которых крестьяне говорили так горько. Двигаясь осторожно, бесшумно, мы приблизились к дому. Через сломанную планку в ставне одного окна я заглянул в большую комнату. Стол был заставлен бутылками, мясом, хлебом и овощами. Интимными группами расположились трое мужчин — заведующий складом, заместитель заведующего кооперативным магазином и главный мельник — и три женщины, раздетые в разной степени.

Карась встал у входной двери, Чадай у задней двери. Я постучал в окно.

«Кто там?» — крикнул испуганный голос.

«Товарищ уполномоченный. Откройте немедленно, или я буду стрелять».

Дверь открылась. Сцена веселья сменилась смятением и паникой. Женщины плакали. «Я пришла только потому, что была голодна», — причитала одна из них. «Меня заставили прийти сюда», — закричала другая. Я приказал

женщинам одеться и уйти, затем попросил двух своих товарищей обыскать дом. Они нашли пуд мяса, много сала, крупы, меда и несколько мешков муки.

«Пока ваши соседи умирают от голода, вы, бездельники, воруете еду у них изо рта!» — закричал я грозно. «И вы называете себя коммунистами! Берите эти продукты на спину! Теперь маршируйте в сельсовет!»

Я шел за тремя мужчинами, пока мы не дошли до сельсовета. Утром приехали милиционеры, и трех воров отвезли в районный центр Пятихатки на суд. Когда эта история разошлась по селу, крестьяне возмутились.

«Не стоило отправлять их на суд», — говорили мне многие из них.

«Мы бы лучше знали, что с ними делать, чем суд».

Когда первое новое зерно доставлялось в зернохранилище около железнодорожной станции, я сделал еще одно открытие, которое заставило меня дрожать от ужаса. В кирпичном строении были сложены тысячи пудов прошлогодних сборов зерна! Это были государственные резервы области, сделанные по приказу государства , само их существование было скрыто руководством от голодающего населения округи. Тысячи мужчин, женщин и детей умерли от голода в этих деревнях, хотя зерно находилось почти у их дверей!

Крестьяне, которые были со мной, когда мы нашли «государственные резервы», смотрели недоверчивыми глазами и ругались от злости. Я их, конечно, не винил, но я потребовал от них обещания ничего не говорить об этом, из-за страха, что эта новость подорвет боевой дух уборщиков урожая.

Впоследствии я узнал, что во многих других частях страны советское правительство создавало огромные резервы зерна, в то время как крестьяне в тех самых регионах умирали от голода.

Почему это было сделано, могло сказать только сталинское Политбюро, а оно ничего не сказало.

5

Уборка урожая была практически завершена. В сумерках благоухающего дня я ехал в поле на двухколесных дрожках. Издалека я услышал песню урожая, голоса мужчин и женщин прекрасно смешивались. После всех смертей и

страданий они снова пели! Благословенная простота и бесконечная доброта этих людей нашей украинской земли.

Вскоре я заметил, что певцы идут ко мне, как в процессии, во главе с учителем Иваном Петровичем. Это было дивное зрелище, мужчины в лучших одеждах, женщины в вышитых праздничных рубахах, с венками из полевых цветов на головах, настоящая радость отражалась на их лицах. Я остановил лошадь и спешился.

Процессия приблизилась и остановилась; там было, возможно, двести крестьян и крестьянок.

"Виктор Андреевич, - сказал учитель громким голосом, чтобы все могли услышать, - мы выполнили то, что обещали. Урожай собран на десять дней раньше назначенного срока. Вы видели, как мы работали. Зная, большинство из нас были голодны и слабы после ужасной зимы и весны, - это настоящий героизм".

"Спасибо, Иван Петрович, - ответил я, - и спасибо вам всем, товарищи".

Процессия распалась. Заиграли аккордеоны, и молодежь начала плясать. Ко мне присоединились Чадай и Демченко. За год, прошедший с предыдущего урожая, почти половина села вымерла от голода и болезней, которые ему сопутсвуют. Теперь те, кто остался в живых, начали жизнь заново. Государство забрало большую часть нового урожая, но урожай был хорошим, и того, что осталось, было почти достаточно, чтобы поддерживать жизнь оставшихся в живых людей еще на год.

На полях Демченко был устроен пир под открытым небом, и хотя мне нужно было написать срочные письма, я не мог отказаться от его приглашения. Сотни крестьян столпились вокруг столов. Сцена освещалась фонарями и огромными кострами. После нескольких часов рукопожатий, взаимных уверений, поздравлений и речей ужин начался при музыке и танцах. Здесь также, надежда на новую коммунистическую жизнь, казалось, возродилась. В ту ночь в своей комнате я написал свой последний отчет в Политический отдел, объявив о завершении моего задания за десять дней до крайнего срока. Я также сообщил об аресте воров и рекомендовал сместить Кобзаря, Чижа и нескольких других функционеров.

Несколько дней спустя, когда я осматривал одно из полей, я внезапно

услышал гудок автомобиля. Я был поражен, увидев несколько больших, красивых автомобилей, едущих по дороге. Очевидно, это должны были быть важные гости.

Погоняя лошадь, я поскакал к машинам. Они остановились, и из них вышло полдюжины человек. Один направился ко мне. Я узнал товарища Хатаевича. Я спешился и пошел к нему.

Мы пожали друг другу руки. Затем строгим голосом он спросил:

«Товарищ Кравченко, когда вы закончили уборку урожая?»

«Три дня назад, что на десять дней раньше срока для этого района».

«Так я слышу. Но я слышу и другое. Например, кто дал вам разрешение на уборку овса и ячменя и на отвлечение государственных запасов молока? Почему вы запретили антирелигиозную работу? Вы дисциплинированный член партии или какой-то анархист?»

«Товарищ Хатаевич, — спокойно ответил я, — я не мог поступить иначе. Дети умирали. Лошади умирали. У колхозников не было сил, чтобы убрать урожай. Государство получило свой хлеб исправно и досрочно. Правда, это стоило мне нескольких сотен пудов зерна. Но, вложив эти несколько сотен, я сэкономил многие тысячи пудов. Если это преступление, я готов за него ответить».

Хатаевич взял меня за руку. Он сжал ее дружелюбно, что противоречило его резкому тону. Видимо, он устроил эту сцену «для протокола». Он отошел в сторону от своих коллег и охранников.

«Вы будущий инженер, как мне сказали, и хороший партийный человек. Но я не уверен, что вы вполне понимаете, что на самом деле происходит. Идет беспощадная война между крестьянством и советской властью. Это война не на жизнь, а на смерть. Этот год был испытанием нашей силы и их сопротивляемости. Понадобился невиданный прежде голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Он стоил миллионы жизней, но нужная нам коллективная система хозяйства закреплена и она здесь останется. Мы выиграли эту войну против крестьян, мы сломали хребет крестьянству.

«Боюсь, ваше сердце сильнее вашего ума, товарищ Кравченко. Если бы все были такими же мягкими, как вы, мы могли бы и не выиграть эту войну.

Заметьте, я вас не ругаю. На самом деле, я вижу, что вы проделали первоклассную для партии работу. Но я хочу, чтобы вы запомнили мою критику, и если в будущем возникнут какие-либо вопросы, не забывайте, что я действительно пытался дисциплинировать вас».

Даже могущественный Хатаевич, казалось, был обеспокоен своим послужным списком ... и предстоящей «чисткой партии».

Через несколько минут он снова был окружен своими помощниками и вооруженной охраной. Автомобили ехали к следующей деревне, в клубящихся облаках пыли. Я ехал домой, гадая, кто донес на меня Хатаевичу. Я был уверен, что Соманов не был виновен в таком нарушении дружбы. Должно быть, это был чекист Скопин. Внешне, он подчинялся приказам Соманова, но фактически Скопин подчинялся только ГПУ, реальной власти в советской стране. Несомненно, он сделал копии доносов. То, что мои выводы были верны, станет ясно в будущем, когда придет моя очередь «чистки».

Я готовился уехать. Радость от успешной уборки утихла. Крестьяне уже роптали на свою малую долю от урожая. После уплаты государству за использование его машин, после сформирования семенного фонда и сдачи установленного количества урожая государству, крестьянам оставалось совсем немного. В среднем на человека приходилось чуть более четырех с половиной фунтов зерна за трудодень.

Сумма была шокирующе мала, далеко не достаточной, чтобы прокормить семью, не говоря уже о том, чтобы купить одежду и другие предметы первой необходимости на год.

Правда, они получили вдобавок немного семен подсолнечника, кукурузы и овощей. Но что они могли купить за продукт своего труда? Самая дешевая крестьянская обувь в то время стоила 80 рублей, самое простое платье — 100 рублей. По официальным ценам, которые государство платило колхозу за зерно, колхозники получали так мало за свой труд, что платье и пара обуви стоили почти год работы в колхозе! Поскольку это было советское государство, которое покупало зерно и продавало обувь и платья, и в обоих случаях устанавливало цены по своему произволу, это была на самом деле система эксплуатация труда на нескольких уровнях, с тайной полицией ГПУ и

партийным аппаратом ВКП (б), обеспечивавшими чудовищную экономическую эксплуатацию.

Некоторые из крестьян, возможно, не умели писать, но все они слишком хорошо понимали творящуюся над ними несправедливость. «Коммунизм», — говорили они. «Грабеж — лучшее название для этого».

Несколько раз за эти месяцы я встречался с Юрием. Однажды я заступился за него перед Политотделом. Он был обескуражен своим опытом и подавлен, потому что его сбор урожая намного отставал от моего. Я чувствовал себя очень близким к нему. Как я мог предположить, что в будущие годы он будет среди тех, кто осудит меня, когда у меня будут политические проблемы? Я не сомневюсь, что он сделал это под непреодолимым давлением чекистов.

Почти вся деревня пришла проститься со мной. Слезы текли по щекам доброго старого Ивана Петровича. Чадай и его семья заставили меня обещать написать им. Я помахал им всем, пока кучер подстегивал лошадей.

ГЛАВА X

МОЯ ПЕРВАЯ ЧИСТКА

Вернуться к обыденности нормальной жизни после возвращения из регионов колективизации было нелегко. Институтские занятия, заводские конференции, собрания партийных ячеек, рутина жизни дома казались тривиальными в свете моих воспоминаний. Я стал «нервным» и нетерпеливым. После нескольких тщетных попыток добиться от меня связной истории мой отец сдался. Коммунисты со временем вырабатывают своего рода иммунитет к политическому жаргону газет, радио и собраний; но теперь это раздражало меня до физической боли. Я склонен полагать, оглядываясь назад, что внутренне, в тайных укромных уголках моего существа, я, должно быть, уже начал разрывать с коммунистической партией в то время. Деревенские ужасы оставили психологические раны, которые никогда не заживали. По этой самой причине, однако, мое сознание отчаянно искало алиби, компромиссов с совестью. Как могло быть иначе, когда чтобы вообще выжить, нужно было смириться с реальностью, от которой не было спасения?

В конце концов, нельзя было просто «выйти» из коммунистической партии. Нельзя было даже ослабить свою деятельность или выдать симптомы

угасания веры. Вступив в коммунистическую партию, человек был пойман навсегда. Его могли исключить, что было бы для него катастрофой, но он не мог сам выйти из нее. Если бы я указал на свои настоящие чувства, это означало бы исключение из института, позор и преследование, возможно, с концентрационным лагерем или еще хуже, как неизбежным концом.

Необходимо было подавить эти чувства, загнать их в подполье моего разума. Я трудился, чтобы восстановить свою партийную лояльность. С приближением чистки эта срочность стала еще больше.

Были созданы сотни комиссий по чистке. Скоро они начнут свои публичные заседания на заводах, в кабинетах, учреждениях, школах. Каждый коммунист в стране пройдет через строй публичного признания и инквизиции. Больше, чем когда-либо, мы осознавали эти невидимые, но вездесущие глаза и уши; толстые папки, где регистрировались наши частные жизни и мысли; наши личные враги, которые могли использовать шанс, чтобы разоблачить наши реальные или мнимые грехи.

Пройду ли я благополучно это испытание? Это был вопрос, задаваемый главным в моем сознании, как и в сознании каждого коммуниста. Он отражался во всех наших действиях; он подразумевался во всех наших разговорах. Мы перестали планировать будущее, для нас не будет никакого будущего, если этот барьер не будет благополучно преодолен. На каждом этаже Металлургического института был установлен специальный ящик, чтобы получать подписанные или анонимные «заявления» о членах партии.

Особый отдел за своей стальной дверью работал день и ночь, упорядочивая, сортируя, сравнивая свои секретные папки. Время чистки было открытым сезоном для охоты на людей, на которых вы таили обиду. Это был советский праздник для доносчиков, для завистливых, озлобленных и подхалимов.

Комиссия по Чистке обычно состояла из двух или трех членов и председателя: партийных людей безупречной преданности. Она представляла собой своего рода суд, выступая одновременно и как обвинитель, и как судья. Некий товарищ Галембо, позже высокопоставленный функционер в Народном комиссариате черной металлургии, был Председателем комиссии в Институте.

Те, кого находили недостойными, лишались своих партийных билетов.

Они становились бывшими членами партии, что совсем не похоже на беспартийных. Бывший член партии — это вечно отверженный. После этого ему следует не доверять, отстранять от продвижения по службе, преследовать как «потенциального врага народа» во время кризиса. Исключение было худшей участью, которая могла постигнуть члена партии в СССР. Оно делало его политическим прокаженным, которого избегали бывшие друзья и отрекались родственники. Встретиться с ним значило бы рисковать своей политической благонадежностью. Поэтому было достаточно оснований для страха, который пульсировал в Институте по мере приближения срока чистилища, к концу 1933 года. Это был страх, приправленный истерией. Пресса публиковала списки тех, кто должен был быть подвергнут чистке и где. Любой желающий очернить кого-либо, мог отправить донос в Комиссию, дополняя материалы, уже имевшиеся в партийных архивах и досье ГПУ. Слишком человеческое наслаждение--унижение более видных или более успешных соседей и друзей было искусно разожжено до крайних пределов.

Первым условием сохранения членства в партии, конечно, была непоколебимая преданность генеральной линии партии; прежде всего, безусловная преданность Сталину. Даже малейший намек на «отклонение» от генеральной линии был фатален. Но самая интимная жизнь чистимого и его мысли по всем вопросам также были справедливыми мишенями для публичной атаки. Процесс сочетал в себе худшие черты признания, допроса третьей степени и травли медведя, с чистимым в роли медведя. Для жертвы это было страшное время нравственных страданий, для зрителей это было слишком часто цирковым представлением. Посещение в течение недель всех чисток было обязательным для всех членов партии, а «беспартийные массы» просто присутствовали при чистке.

Ни один коммунист никогда не был проинформирован заранее об обвинениях, которые будут выдвинуты против него. Неопределенность была самым расстраивающим элементом в драме. Вы блуждали в темноте и готовились к сюрпризам. Вы снова и снова пересматривали свое прошлое, гадая, откуда может исходить опасность.

Не слишком ли много вы говорили однажды вечером три года назад в хорошей компании? Возможно, кто-то из этих хороших людей сообщил о ваших неосторожных замечаниях... Один из ваших дядей был офицером при

старом режиме. Правда, вы никогда его не встречали. Но что, если кто-то выкопал этого призрака, и вас обвиняют в том, что вы «скрываете» его от Партии? Женщина, с которой у вас в прошлом были близкие отношения, позже была арестована как правая уклонистка. Что, если эти отношения с классовым врагом были вам намеренно подсунуты? Иванов скорее всего будет исключен — как мне отмежеваться от него, прежде чем он потащит меня за собой к погибели? Спасти свою шкуру — во всяком случае, ведь ставка — сама жизнь.

Чистка в нашем Институте официально началась с длинной и прескучной речи председателя комиссии Галембо. Он сказал нам, что наша любимая Партия кишит «чуждыми элементами», двуличными врагами, оппортунистами, замаскированными уклонистами и настоящими классовыми врагами. Наша задача заключается в том, чтобы выследить их, сорвать с них маски и разоблачить их мошенничество. Страна только что провела полную коллективизацию и ликвидацию «кулачества» как класса. Она с триумфом завершила первую пятилетку и начала вторую. Те, кто сомневается, что мы на прямой дороге к полному коммунизму и счастливой жизни, — суть негодяи и вражеские агенты. Их нужно выкорчевать ради здоровья партии и ее великого вождя и отца, нашего любимого товарища Сталина!

Гром аплодисментов растягивавшийся на много минут, приветствовал каждое упоминание имени Вождя.

Наконец, чистка началась. Вот как это было: члены Комиссии сидели за красным столом на помосте, украшенном портретами членов Политбюро и лозунгами; образ Сталина, в виде его бюста, уставленного цветами, занимал самое видное место. Коммунист, которого предстояло подвергнуть чистке, был вызван на возвышение. Он передал председателю свой партийный билет и начал рассказ о своем жизненном пути. Это был политический и духовный стриптиз — очерк его происхождения, карьеры, интересов, причем признание грехов, почти грехов и ошибок было главной целью. Всегда было лучше самому рассказать о своих ошибках, проступках и заблуждениях, если вы подозревали, что они известны Комиссии; «сокрытие» чего-либо от Партии усугубляло тяжесть скрываемого преступления. После произнесения исповеди, чистимый был допрошен членами Комиссии и людьми в зале. Ему напомнили об совершенных им упущениях и уличили в противоречиях.

Соратники высказывались за него или против него. Если Комиссия казалась дружелюбной к жертве, процесс был обычно коротким и часто чисто рутинным. Но как только публика чувствовала, что чистимый в немилости или на самом деле «на полпути», она набрасывалась на него и топтала его без жалости; особенно его напуганные друзья и соратники спешили присоединиться к словесному линчеванию, чтобы защитить себя.

Испытание могло длиться полчаса или целый вечер. Чистимый мог или отбиваться, спорить, просить, предлагать доказательства невиновности, плакать – или же он мог быть раздавленным и молчать в жалком смятении.

Тем, кто прошел чистку, вручали обратно партийные билеты. Друзья поздравляли их, испытывая облегчение ради себя самих. В некоторых случаях Комиссия откладывала решение для дальнейшего расследования. Не прошедших чистку игнорировали и избегали. Они стояли одни. Они могли только с недоумением оглядываться на разрушенный мир и выскальзнуть из зала, чувствуя себя изгоями и париями. Самоубийства среди исключенных членов не были редким явлением.

Повсюду в СССР, в областях и больших городах, проводились подобные чистки. Пресса и радио передавали отрывки из этих многочисленных представлений. Все это шумно рекламировалось как «партийная демократия». Сидя в институтском зале, я странно осознавал, что непосредственная сцена передо мною была всего лишь крошечным сегментом супердрамы, с миллионами мужчин и женщин в качестве актеров, одной шестой частью поверхности Земли в качестве сцены для представления.

Я с тревогой, с растущей нервозностью ждал своей очереди вызова на сцену.

2

«Товарищ Санин, пожалуйста», — объявляет председатель Галембо.

Блондин лет тридцати пяти быстро выходит на трибуну и протягивает свою партбилет. Он худой, высокий, приятный на вид и носит очки. Мы все его знаем и любим — наш преподаватель математики, популярный, потому что он не педант и не слишком придирчив. Он рассказывает историю своей жизни. Сын крестьянина, он начал свою коммунистическую карьеру, вступив в комсомол. Свою профессиональную жизнь он начал токарем на заводе;

затем он учился в институте, занимался исследовательской работой и, наконец, стал преподавателем.

Звучит как образцовая карьера. Толпа скучает. Но внезапно рассказ о его безупречной биографии прерывает член Комиссии.

«Товарищ Санин, — тихо говорит он, — вы когда-нибудь подписывали троцкистский программный документ совместно с другими студентами, когда вы учились?»

В аудитории возникает волнение. Люди шепчутся и переглядываются.

«Да, я это сделал, но я давно от этого отрекся, и все знают, что я отрекся».

«Так вы это подписали?» — настаивает член комиссии. «Вы этого не отрицаете».

«Конечно, нет. Я никогда не делал из этого секрета. Все мои коллеги и партия знают, что я совершил ошибку и впоследствии признался в ней».

«Может быть, товарищ Санин. Но все же интересно, в самом ли деле *всё* известно. Интересно, известно ли, что вы все еще придерживаетесь некоторых взглядов, осуждаемых партией и советским народом?»

В зале заметно нарастает волнение. Толпа чует кровь.

Знакомые Санина, которые были ему друзьями еще несколько минут назад, начинают волноваться. Один за другим они забрасывают его вопросами с явным намерением «поймать» его и спасти свои собственные шкуры. Чем ближе их связь с ним, тем больше они, кажется, стремятся его обвинить, проявить свое собственное справедливое неодобрение его отвратительных «преступлений». Они чувствуют его неувернность, знают его слабости и играют на них. Санин путается, он не всегда говорит то, что он действительно хотел сказать.

«Товарищи из Комиссии», — умоляет он, — «я давно осудил свою ошибку. Я никогда серьезно не поддерживал троцкистов. Я никогда не вступал в их организацию. Только однажды в минуту слабости меня уговорили подписать документ, который я быстро осудил. Эти люди, которые обвиняют меня, хорошо знают все это. Я не могу понять, почему они говорят противоположное правде...»

Но председатель прерывает его. В его голосе слышна насмешка.

«Ничего, ничего», — говорит он, -- мы прекрасно знаем, как вы, троцкисты, враги партии, меняете свой цвет. У нас есть данные, показывающие, что вы не изменились внутренне, и недаром ваши ближайшие товарищи высказывают сомнения». Обращаясь к аудитории, он добавил: «Кто хочет выступить?»

Нет никаких сомнений, что судьба Санина решена. Его друзья бросаются пинать его, когда он упал, чтобы столкнуть его с обрыва в пропасть.

Они встают, чтобы сказать, что Санин — обманщик, внешне преданный партии, но внутри прогнивший от уклона. Никто не дает никакой конкретной информации, осуждая ритуальными фразами. Вдруг происходит неожиданное. Аудитория наэлектризована. Инженер, которого знает и уважает весь институт, просит слова. «Я внимательно выслушал все замечания здесь», — начинает он, - «но ничего по существу не услышал. Товарищи, мы решаем судьбу члена партии, жить ему или умереть политически. Где конкретные обвинения? Нет никаких!»

Его защита пользу Санина только подливает масла в огонь. Страсти накаляются. Подстрекаемые Комиссией, которая, несомненно, приняла решение заранее, друзья Санина продолжают его поносить, осыпать бранью.

Его исключают из партии.

Вскоре мы слушаем историю жизни студента. Он молод, и его карьера коротка. Довольно быстро он оказывается на инквизиционной стадии процесса.

«Скажите, товарищ Шульман, каково было социальное положение ваших родителей до революции?»

«Мой отец был портным, моя мать — обычной домохозяйкой».

«Шульман лжет!» — кричит кто-то в зале.

Возникает волнение. В конце концов, это будет интересное заседание. Шульман — угрюмый, начитанный парень, у которого мало друзей.

«Как вы можете доказать, что этот член партии обманывает Комиссию и партию?» — обращается Галембо к человеку, который только что кричал. Очевидно, прерывание не стало неожиданностью для Комиссии.

«Я могу это доказать. Мы с Шульманом оба приехали из города Черкассы. Я только что поступил в институт и впервые вижу Шульмана. Но я знаю его семью. Я знаю, что у его отца была швейная мастерская — и он нанял нескольких рабочих. Он был эксплуататором труда. Мастерская находилась на Александровской улице. Я знаю, о чем говорю. Как сын эксплуататора, Шульман должен быть изгнан из нашей любимой Партии».

Чистимый побледнел. Он хрустит пальцами от нервозности. Поворот событий неожиданный, и он с трудом может организовать свои мысли и слова.

«Вы из Черкасс?» — строго спрашивает председатель, постукивая для порядка.

«Да, конечно.... Я уже говорил».

«У вашего отца была швейная мастерская по указанному адресу?»

«Да, конечно. Но он не был эксплуататором. Остальные портные были членами артели. Он был просто старостой. Это был своего рода кооператив, клянусь, товарищи. К тому же я не имел к этому никакого отношения. Лично я работал на фабрике, в другом городе».

«Разве он не был вашим отцом?»

«Конечно, конечно, он был моим отцом».

«Значит, вы скрыли от партии, что вы из семьи эксплуататоров?»

«Я ничего не скрывал. Это была артель, кооператив. Я работал на фабрике, и у меня хорошие показатели как партийца и студента».

Его манера поведения против него. По залу разносится смех. «Гоните его из партии!» — кричит кто-то. «Выгоните его, он обманул партию!». Шульман едва не споткнулся, когда сошел с трибуны; он весь в слезах. Все понимают, что теперь его исключат из института, что его карьера закончена.

Следующие несколько чисток довольно рутинны. Они получают обратно свои карточки от Галембо в короткие сроки. Затем товарищ Царев

оказывается в центре внимания. Хотя ему почти сорок лет, он студент. Его лоб и щеки изрезаны глубокими морщинами. В его манере держаться чувствуется бодрый, военный акцент, и его признания вскоре показывают, что он много лет служил в армии, был награжден во время гражданской войны. Впоследствии он стал фабричным служащим и два года назад поступил в институт. Он женат и имеет двоих детей.

«Теперь скажите нам, товарищ Царев, — спрашивает председатель, — что вы думали о коллективизации? Каково было ваше настоящее к ней отношение?»

«Я работал в деревне, товарищ, и помогал ликвидировать кулачество как класс. Признаюсь, что некоторые меры мне показались довольно жестокими и неприятными, но в принципе я был согласен».

«Вы, кажется, не поняли моего вопроса, товарищ Царев, или, может быть, предпочитаете не понимать его. Вы не единственный, кому было неприятно это великое начинание. Я хочу знать вашу политическую реакцию».

«Я никогда не выступал против партии».

«К сожалению, это неправда». Член комиссии жестикулирует несколькими загадочными листами бумаги в своей руке. «У нас есть данные, показывающие, что в период ликвидации кулачества вы с одобрением отнеслись к заявлению Бухарина, критикующему политику товарища Сталина. Товарищи Касарик и Сомов, пожалуйста, выйдите вперед и подтвердите свои заявления Комиссии».

Многие из нас знают этих двух студентов: тех, кто мало учится и много говорит. Они выходят вперед перед аудиторией и повторяют свои показания о том, что, находясь вместе с ними в деревне, Царев выступал критически обо всей политике коллективизации. Они подробно цитируют его предполагаемые слова. Попытки Царева прервать их ни к чему не приводят. Очевидно, что его дело безнадежно.

Я покрываюсь холодным потом. Поведение Царева в деревне, его слова, кажутся мне похожими на мои собственные.

«Теперь, Царев, — поворачивается к нему председатель, — вы все еще отрицаете свое несогласие с партией?»

«Да. Они преувеличивают. К тому же критика — это не обязательно несогласие. Я всего лишь человек. Вокруг меня было так много страданий».

Галембо кричит на него, боясь, что он скажет лишнее.

«Преданные члены партии доверяют своему Центральному комитету и нашему любимому вождю, товарищу Сталину». Аплодисменты в зале. «В партии нет места таким, как вы, кто имеет наглость отрицать свои ошибки». Еще аплодисменты. «Исключен».

«Я обращусь в Центральный комитет», — кричит Царев. «Мои военные заслуги говорят сами за себя, и мое задание в деревне было успешным. Я пролил свою кровь за революцию. Вы не имеете права губить меня»

Но члены комиссии не слушают. Они уже вытаскивают досье на следующего человека. Царев был одним из самых популярных людей в Институте, но теперь все отшатываются от него как от прокаженного, когда он покидает помост. Он едва может поверить в то, что произошло - именно с ним из всех людей!

Парень, который сейчас на помосте, - Духовцев. Он работает руками с восьми лет, стал бригадиром и был отобран среди «тысяч», чтобы стать инженером. Он производит первоклассное впечатление. Его ответы на политические вопросы и каверзные вопросы об истории коммунистической партии безупречны.

«Товарищ Духовцев, вы женаты?» - спрашивает Галембо почти небрежно.

«Да, я женат».

«Когда вы поженились и кто ваша жена?»

«Я женился в прошлом году. Моя жена - дочь бухгалтера, а сейчас медсестра в больнице».

«Скажите, вы зарегистрировали свой брак или нет? Другими словами, как был освящен ваш брак?»

Духовцев краснеет. Он переминается от смущения. Кажется он осознаёт важность этого направления расследования. Аудитория становится напряженной, ожидающей. В зале не слышно ни звука. Наконец, наш чистимый тихим голосом признаёт ужасную правду:

«Я был обвенчан в церкви», — удручённо говорит он.

Напряжение снято. Аудитория сотрясается от смеха.

«Я знаю, товарищи, что это звучит смешно», — Духовцев повышает голос над смехом. «Это смешно, и я признаю это. Церковная церемония для меня ничего не значит, поверьте мне. Но я был влюблен в свою жену, а ее родители просто не позволили бы ей выйти за меня замуж, пока я не соглашусь на церковную комедию.

«Они отсталые люди. Моя жена следует суевериям не больше, чем я, но она единственная дочь и не хотела причинять боль своим старикам.

«Я спорил с ней, умолял ее и предупреждал, что это не приведет ни к чему хорошему. Но она не уступила, и с другой стороны, я не мог жить без нее. Так что в конце концов мы тайно обвенчались в далекой сельской церкви. На обратном пути я спрятал вуаль и цветы в портфель».

Толпа не может сдержать веселья. Председатель стучит, призывая к порядку, но безуспешно. Духовцев, теперь потерявший контроль, кричит еще громче: «Мы не верующие, я могу вас заверить. Жена работает, я учусь, у нас есть ребенок. Прошу вас, товарищи, простить мне мою ошибку. Я признаю, что виновен в том, что скрыл это преступление от партии».

Хотя несколько человек и выступили в его защиту, его исключили из партии. Не только сам по себе церковный брак, но особенно тот факт, что он не сообщил о столь серьезном проступке своему начальству, является его настоящим преступлением.

Таким образом, чистка продолжается, день за днем. Заседания начинаются сразу после лекций, то есть около пяти вечера, и продолжаются далеко за полночь. В конце первой недели, когда дело превратилось в унылую рутину, тянущуюся под аккомпанемент слез, смеха и абсурда, мы внезапно пробуждаемся.

Вызывают талантливого педагога и научного работника, товарища Петра Ёлкина. Мы знаем, что его отец - бывший священник, что делает его положение шатким. Конечно, его отец отрекся от церкви и даже вступил в Общество безбожников, чтобы стереть это пятно с послужного списка своих детей.

Без этого отречения Петра никогда бы не приняли в партию, несмотря на то, что он блестящий ученый. Преданность этого человека своим исследованиям была совершенно бескорыстной. Он работал долгие часы, консультантом на нескольких заводах, в лабораториях, в классах. Как будто, с неуемным рвением, он пытался загладить свою «позорную» семейную историю.

Я случайно столкнулся с ним в коридоре утром перед его запланированной чисткой.

«Ну, Петр, как ты себя чувствуешь?» — спросил я.

«Не очень хорошо, Витя. «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?»

«Ого! Если ты так цитируешь «Евгения Онегина», то ты действительно беспокоишься», — рассмеялся я.

Теперь, стоя перед необычно большой аудиторией, он рассказывает

свою личную историю. Возможно, из-за своего церковного прошлого он проявляет талант к исповеди. Он никогда не скрывал этого позора своей жизни, заявляет он, и, кроме того, его отец публично, через газеты, порвал с религией. Нелегко было искоренить старое и освободить место для нового; потребовался долгий и серьезный труд, чтобы стереть все последние следы детских суеверий. Но он сделал это, товарищи, и теперь он отдает все свои мысли исследованиям. Таким образом, он чувствует, что может лучше всего послужить Партии и Сталину.

"Скажите, товарищ Ёлкин," - говорит председатель Галембо, "вы давно знаете Санина?"

"Да, довольно давно. Мы были однокурсниками, одновременно окончили институт, а теперь оба здесь преподаем".

"Вы знали, что Санин подписал троцкистский документ?"

"Да, как и многие другие здесь знали об этом".

"Я спрашиваю не о других, а о вас".

«Да, я знал о Санине и не отрицаю этого», — признает Ёлкин.

«В таком случае», — сердито повышает голос Галембо, — «почему вы не сообщили Комиссии по чистке, что вы об этом знали?»

«Я не видел причин для такого заявления. Факт был настолько общеизвестен, что мне это не приходило в голову. Сам Санин публично отказался от своей ошибки, и все это произошло давно».

«Послушайте, Ёлкин, вы не отрицаете, что были в близких отношениях с Саниным, вы информированный член партии. Вы должны знать, как враги партии, как левые, так и правые, скрывают свое истинное лицо. Вы проявили какие-либо признаки коммунистической бдительности? Вы сообщили о том, что, как мы знаем, говорил Санин?»

«Он никогда ничего подобного не говорил в моем присутствии. Мне нечего добавить».

«Хорошо, а вы знали Пономарева?» Это другой член Комиссии, который сейчас переходит в наступление.

"Да, я его знал. Он также подписал троцкистскую платформу".

"А вы сообщили о нем в Комиссию по чистке?"

"Нет, и по тем же причинам, что и в деле Санина".

"Другими словами, у вас не только были друзья-троцкисты, но и вы скрывали их грязную работу от партии".

"Во-первых, эти преподаватели не личные друзья, а профессиональные коллеги, не больше и не меньше, чем многие другие сотрудники. Во-вторых, никто из них не делал секрета из своего прошлого".

"По всей видимости, товарищ Ёлкин, вы не знаете, что партия борется с уклонистами. Вы относитесь ко всей этой борьбе довольно легкомысленно, не так ли? А если ваши друзья — замаскированные троцкисты? Вас это не касается. Как мы можем вам доверять?"

"Я не вижу сути своей вины", — говорит Ёлкин твердым голосом.

«Тем хуже для вас», — заявляет Галембо.

Допрос принимает для Петра плохой оборот. Несколько человек, почувствовав направление прилива, встают, чтобы потянуть голову ученого

под воду. Один из них, как бы внезапно осознав собственную безчестность, останавливается на середине предложения, запинается, затем выпаливает:

«Но я говорю чепуху. Товарищ Ёлкин — замечательный товарищ и великий человек».

В зале внезапно наступает тишина, словно все парализованны шоком от этого смелого поступка. Членам Комиссии требуется еще пять минут риторики, чтобы привести себя в надлежащее состояние гнева. Ёлкин лишается партбилета, к удивлению почти всех.

Позже я узнал, что его семья была раздавлена исключением из партии. Хуже того, его сестра, студентка другого института, была исключена только потому, что ее брат был в опале. Таким образом, пожертвование своей религии их отцом ничего не дало, и две полезные карьеры были разрушены. Однако, после месяцев апелляций, в которых многие видные товарищи, впечатленные гениальностью Ёлкина, ходатайствовали за него, он был восстановлен в членстве. Автоматически была реабилитирована и его сестра.

Теперь заседание продолжается. Четверо или пятеро товарищей проходят сессию чистки без проблем. Затем на трибуну вызывают молодую студентку, которую мы все знаем и восхищаемся ее умом и преданностью. Она брюнетка с горящими глазами и звонким голосом: одна из тех женщин, которые привлекательны, не будучи красивыми. Она заявляет, что она дочь ремесленника, плотника; что она пошла работать на фабрику в раннем подростковом возрасте; что она училась по вечерам и, наконец, была отобрана для поступления в институт на инженерные курсы.

"Товарищ Граник, - спрашивает председатель, - вы замужем?"

"Да".

"Сколько времени?"

"Пять лет".

"А кто ваш муж?"

«Он бывший рабочий. Я встретила его на работе. Позже он был бригадиром на чугунолитейном заводе».

«Он член партии?»

«Нет, сейчас нет. Но раньше был».

Вдруг зрители снова чувствуют запах крови. Те, кто выходил покурить в коридор, возвращаются на свои места. Головы в ожидании наклоняются вперед.

«Почему он вышел из партии? Или, может быть, его исключили?»

«Моего мужа исключили, — спокойным голосом говорит Граник, — за участие в движении Рабочей оппозиции».

«А вы развелись с ним тогда?»

«Нет».

«Где сейчас этот ваш муж?»

«Его арестовали. Он в тюрьме ГПУ».

Теперь толпа заряжена. Это настоящая драма: партийная жена с мужем-уклонистом — это стандартная ситуация в советских пьесах, где с помощью автора она всегда выбирает партию, а не любовь.

«Это первый арест вашего мужа?»

«Нет, второй».

«И все же вы с ним не развелись!»

«Нет».

«Вы навещали его в тюрьме?»

«Да, я навещаю его каждую неделю».

«Почему?»

«Почему? Я приношу ему продуктовые посылки, белье, сигареты».

«Разве нет никого другого, кто мог бы это сделать?»

«Ну, я полагаю, что да — у него есть мать и сестра».

«Тогда расскажите нам, почему вы навещаете его в тюрьме. Вы же член партии, не так ли? Но вы не стесняетесь помогать человеку, который является врагом партии».

«Он мой муж».

«О! Он ваш мужI Разве безопасность партии не важнее, чем узкие личные соображения?»

«Я не согласна с ним политически. Я пытаюсь спорить с ним и показать ему, что он неправ. Каждый раз, когда мы встречаемся, мы спорим до ссоры».

«О, Вы просто ходите в тюрьму, чтобы агитировать?»

Ирония Галембо снимает напряжение. Тут и там люди смеются. Раздаются возгласы, «Достаточно! Выгнать ее!»

«Простите, товарищ председатель», — повышает голос девушка. «Это чистка партии или цирк? Я прошу вас высказать ваши политические обвинения против меня, а не превращать мою личную жизнь в посмешище для этой публики».

«Ну, тогда почему бы вам не ответить на вопрос по существу и не рассказать нам точно, почему вы еженедельно наносите визиты классовому врагу и партийному уклонисту».

«Я вам сказала. Он не только мой муж, но и человек. Было бы нечестно и трусливо разводиться с ним, когда он в беде. Я осуждаю его взгляды. Но мы работали вместе, мы учились вместе, мы жили вместе. У нас есть определенные чувства друг к другу. Фактически – мы влюблены!»

Громкий смех приветствует это признание. Предполагаемая коммунистка влюблена в заключенного в тюрьме ГПУ!

«Короче говоря, - резюмирует Галембо, - как член партии вы даже не признаете своей ошибки, связавшись с врагом народа. Я думаю, вопрос ясен. Гражданка Граник не заслуживает оставаться в рядах партии. Ей больше не позволят играть с интересами нашей страны».

Раздаются аплодисменты. Раздаются крики «Правильно! Вон ее!» Но волна сочувствия охватывает толпу, когда девушка с высоко поднятой головой, дрожащими губами сходит с платформы, идет по центральному проходу и выходит из зала. Студент, сидящий рядом со мной, шепчет мне на ухо: «Я не за Граника. Но в конце концов, это личное дело, и ее нельзя было

обрабатывать таким образом". Я молчу. Как я могу знать, действительно ли мой сосед встревожен, или же он сексот и у него есть какие-то скрытые мотивы, возможно, чтобы спровоцировать меня на какое-то опасное замечание?

3

Когда называют имя Сережи Цвет

кова, мое сердце начинает колотиться. Его показания, безусловно, коснутся его опыта коллективизации деревни. Это может коснуться меня. Я знаю, что он эмоционален и боится за свою и мою безопасность.

На сцене, когда все глаза обращены на него, он кажется слишком молодым и беспомощным. Его молодость кажется почти оскорблением в этой мрачной обстановке. Он очевидно нервничает. Тем не менее, он рассказывает свою историю связно. Он продолжает смотреть в дальний угол зала; я прослеживаю его взгляд и вижу, как его отец ободрительно улыбается. Как только глаза Сережи встречаются с моими, я улыбаюсь и также делаю знак ободрения. Когда он начинает рассказывать о своей работе в деревне, председатель прерывает его.

«Товарищ Цветков, ваш отец — член партии?

«Да, и он уже успешно прошел чистку».

«Расскажи, как вы себя чувствовали во время коллективизации в деревне?»

Я вижу, что Сережа побледнел. Он смотрит в мою сторону и говорит: «Я выполнил задание, поставленное мне обкомом, но признаю, что моя реакция на некоторые события в деревне была отрицательной».

«У нас есть доказательства, — продолжает Галембо, — что вы были недостаточно тверд и во многих случаях проявлял колебания и недостаточную решительность. Каков ваш ответ?»

Я чувствую, что Цветков пойдет ко дну, если его не поддержать. Совершенно необходимо дать ему возможность собраться с мыслями. Импульсивно я встаю и прошу разрешения выступить.

«Какой у вас вопрос?» — говорит председатель.

«Я бы настоятельно просил вас назвать имя человека, который сделал враждебное заявление об этом товарище».

«Он из прокуратуры».

«Все равно, товарищ, его имя важно. Я был в деревне с товарищем Цветковым и знаю факты».

«Ну», — соглашается председатель, — «его зовут Аршинов».

«Я так и думал», — говорю я с ноткой торжества, которая дает Сереже сигнал. Интермедия помогла ему успокоиться. Само упоминание имени Аршинова, кажется, возрождает его гнев и возвращает ему уверенность в себе.

«Аршинов!» — говорит он. «Я могу сказать вам, что заявление этого человеканеверно и никчемно. Оно мотивировано личными соображениями. Он так боится, что я расскажу то, что я о нем знаю, что он страхует себя, донося на меня. Я был в деревне впервые. Естественно, у меня не было опыта, и, возможно, я совершил ошибки в работе. С другой стороны, Аршинов использовал методы, которые были позорными — такие методы, которые с тех пор отвергались и подвергались осуждению со стороны партии. По возвращении я доложил о его поведении в райком. Виноват не я, а этот самый Аршинов».

«Но разве не правда, что Аршинов добился превосходных результатов в поставках хлеба, иногда после того, как вы терпели неудачу?»

«Да, это было верно в нескольких случаях. Но из этого не следует, что

я должен нарушать партийные указания и вести себя так, как он вел себя»

«Хорошо, кто хочет выступить?»

Я встал, и председатель дал мне знак продолжать.

«Я работал с товарищем Цветковым и товарищем Аршиновым в селе Подгородном. Подробности я расскажу, когда придет моя очередь. Но сейчас я хочу сказать, что я нашел товарища Цветкова честным, общительным и добросовестным коммунистом. Он в целом порядочный парень, хотя у него не так много опыта. Мы не должны делать его жертвой

методов Аршинова — если бы он был здесь, я бы сделал из него фарш. Если вы позволите, я расскажу вам кое-что о «достижениях» Аршинова».

«Давайте послушаем! Продолжайте!» — раздаются голоса, но председатель явно встревожен. Он не хочет рассказа об ужасах в деревне.

«Товарищи, мы проверяем послужной список Цветкова, а не Аршинова. Этот товарищ может рассказать свою историю Комиссии в частном порядке. Я иду на трибуну и тихим голосом перечисляю некоторые из зверств Аршинова. Члены Комиссии делают заметки. Я никогда не узнаю, делают ли они это ради зрителей или на самом деле не знают фактов. Я подробно изложил факты, но всегда было возможно, что у Аршинова были друзья, достаточно влиятельные, чтобы не допустить попадания моих отчетов в руки Комиссий по чистке. Мое покровительство Сереже воодушевляет других. Трое мужчин и две женщины выступили с речами в его защиту. Ему возвращают его билет. Со сцены он идет прямо туда, где сижу я. Он с благодарностью жмет мне руку, на его глазах слезы. Затем он присоединяется к отцу, который обнимает его.

Я надеюсь, что меня вызовут на мое испытание сразу после Цветкова. Я могу извлечь пользу из благоприятного впечатления, которое он, похоже, произвел. Но следующее названное имя принадлежит товарищу Гринченко, преподавателю марксизма и ленинизма в Институте и, следовательно, в некотором смысле «духовному» и идеологическому наставнику Института. Если в списках Института есть кто-то, кто ipso facto [по самому факту] выше критики, то это должен быть этот долговязый, невзрачный преподаватель. Мы считаем его довольно скучным как преподавателя, но совершенно достойным восхищения как человека.

Гринченко читает лекции на украинском языке, который является его родным языком, несмотря на то, что старые языковые излишества не просто были отброшены, но осуждены как «националистический уклон». Он фанатичный коммунист, о котором студенты говорят: «Гринченко — да он ложится в постель спать с Марксом каждую ночь». Поскольку мы мало знаем о его истории, мы слушаем его исповедь с исключительным вниманием.

Он сын в бедной крестьянской семье, говорит он, и до революции работал конюхом в богатом поместье. Ему было девятнадцать, когда царь пал, и он сразу же присоединился к большевикам. Он достиг звания командира роты в

Красной Армии и был несколько раз ранен в бою. После гражданской войны он поступил в специальный Институт коммунистической теории, и вот он здесь, читает лекции по ленинизму. Это, действительно, безупречная советско-коммунистическая карьера.

«Однако я должен признаться Комиссии и собравшимся товарищам, — заключает он, — в своих ошибках в вопросе националистических отклонений. Я пошел по стопам Скрипника и других, которые искажали генеральную линию партии по этому вопросу. Это часть моего горького прошлого, о котором я сожалею и которое все забыто».

«Значит все забыто? — вмешивается председатель самым зловещим образом. Опять все настороже. «Но вы все еще видите некоторых людей--позвольте мне сказать,» и он называет три или четыре имени.

«Да, я мог с ними время от времени сталкиваться. Едва ли что-то можно с этим поделать. Это были украинские националисты, и я с ними не в очень хороших отношениях».

«Вы когда-нибудь переписывались с ними?»

«Нет».

«После того, как партия великодушно простила вам грех, вы встречались с этими людьми?»

«Нет. Хотя, если я хорошо помню, я однажды встретил общего знакомого этих людей. Мы не говорили о политике".

"Знаете ли вы, где сейчас находятся эти националисты?"

"Я слышал сообщения, что некоторые из них были арестованы. Я не знаю, кто именно."

"Кто принес вам сообщение?"

"Общий знакомый, с которым я случайно встретился."

"Вы только что сказали, что не обсуждали с ним политику. Как так получилось, что он дал сообщение об арестах?"

"Ну, может быть, я использовал не то слово. Не сообщение - просто замечание мимоходом."

"Вы наивны, товарищ Гринченко, если думаете, что можете пустить нам пыль в глаза. Мы знаем, например, что, когда вы услышали об их арестах, вы возмутились."

"Извините, но кто-то, должно быть, налгал обо мне."

"Наоборот. У нас есть подтверждения из многих источников, что вы все еще в первую очередь украинец, во вторую - ленинец. У нас есть показания двух ваших ближайших товарищей-" и снова он называет имена.

Гринченко кажется ошеломленным. Для всех нас в зале очевидно, что названные люди больше не находятся среди свободных.

"Я не могу понять, почему они говорят обо мне такие вещи", - бормочет Гринченко. "Да, они были моими лучшими друзьями".

"И я полагаю, Гринченко", - добавляет член комиссии, "что вы не выступали против коллективизации".

"Нет. Может быть, я выступал против определенных эксцессов, но никогда, никогда против партийных решений".

"Этого достаточно. Давайте послушаем товарищей в зале».

Один за другим все преподаватели по марксизму и ленинизму теперь поднимаются, чтобы нанести удар своему коллеге. Они произносят речи о несовместимости национализма и коммунизма. Они поспешно ищут в своих умах, в панике, обвинения против человека на трибуне; и на самом деле, они откапывают полузабытые обрывки его разговора; Они не называют никаких дат, так что даже националистический энтузиазм Гринченко в то время, когда он был обязательным для партии, до смены генеральной линии партии по этому вопросу, служит гвоздем в его политический гроб.

И поэтому Гринченко, такой фанатический ленинец оказался среди отвергнутых и опозоренных. Его карьера закончена.

Я все еще задаюсь вопросом, что с ним будет, когда я слышу, как меня зовут, и спешу на сцену. Я рассказываю историю своей жизни — в колхозе, на донецких шахтах, на фабрике, на персидской границе, снова на фабрике и, наконец, в институте. Я чувствую, пока говорю, что это впечатляющая

биография. Мое «происхождение» — прилично пролетарское, моя деятельность была последовательно коммунистической. Как бы мимоходом я упоминаю свою инспекцию Никополя и свой долгую беседу с Орджоникидзе. . . . Наконец, я погружаюсь в краткий обзор моих двух заданий в аграрных районах. Зная, что другие донесли на меня, я не скрываю того, что принимал некоторые смелые решения, но утверждаю, что их требовала чрезвычайная ситуация.

«При каких обстоятельствах вы потеряли свой партийный билет? Вы осознаете, что это является серьезным нарушением партийных правил?»

«Знаю и сожалею, товарищи. Это было в разгар жатвы. Я заменил колхозника, который внезапно упал в обморок и в волнении потерял кошелек. Вот справка из местного Политотдела».

Комиссия изучает документ, приобщает его к моему делу и продолжает допрос.

«У нас есть доказательства, что вы были против энергичных мер применяемых при сборе хлеба и дискредитировали Уполномоченного партии».

«Наоборот, товарищи. Это он дискредитировал партию. Я полагаю, вы имеете в виду товарища Аршинова. Я уже рассказывал вам о его методах».

«Хорошо, допустим, это Аршинов».

«В таком случае, товарищ председатель, вот копия моего доклада Обкому партии и газете «Правда» о нем. Вы увидите, что он позорил имя коммуниста. Я сделал все возможное, чтобы защитить доброе имя партии от его действий, и именно поэтому он пытается подорвать мое положение. Он использовал физические методы».

«Какие «физические методы»?» — спрашивает кто-то из аудитории.

«Комиссия теперь полностью осведомлена о фактах», — быстро говорит председатель. Он стремится сменить тему. «Вы лучше расскажите нам что-нибудь о ваших собственных методах — во время уборки урожая в Логине».

Это мое самое большое препятствие. Я уже организовал свою версию. В течение нескольких дней я точно знал, что скажу. Но каким-то образом

заготовленные предложения слились в клубок. Я не могу их распутать. Я признаюсь, что убирал овес и ячмень, чтобы спасти урожай, организовал коллективный детский сад и использовал «жесткие методы», чтобы накормить детей, спасти людей и спасти положение.

«Товарищ Хатаевич поблагодарил меня лично за урожай, который был собран на десять дней раньше срока, и вот официальная характеристика моей хорошей работы от Политотдела». Я передаю бумагу. «Что еще я могу сказать?»

Председатель смущен. Я пришел хорошо документированным. Если он планировал выдвинуть против меня какое-то дело, то теперь он колеблется. Я еще могу быть спасен.

Он меняет тактику, и мне становится легче дышать.

«Кем работает ваш отец?»

«Он работает на заводе имени Петровского-Ленина вместе с моим младшим братом, а мой старший брат — бухгалтер на химзаводе».

«Ваш отец — член партии?»

«Нет».

«Ваши братья?»

«Нет».

«За что ваш отец сидел до революции?»

«За революционную деятельность — в восстании 1905 года и после».

«В какой партии он состоял?»

«Он никогда не состоял ни в какой партии».

«Вы уверены?»

«Совершенно уверен, товарищ Галембо».

«Ну, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать?»

Три моих друга встают, чтобы напасть на меня. Несколько других, среди них Серёжа, хвалят меня. Но это не цирк. Люди выходят покурить

и поболтать. Скучное дело . . . Я получаю обратно свой партбилет.

Перед тем как сойти с трибуны, я прошу членов комиссии сказать мне, кто донес на меня в Логине. Они просматривают файлы. Очевидно, человек не просил, чтобы его личность была скрыта.

«Это член партии, товарищ Скопин», — говорят мне.

«Как я и думал», — улыбаюсь я. Значит, чекист ГПУ из Политического отдела не простил мне отказа поговорить с ним!

Друзья окружают меня, жмут мне руку. Жизнь — это открытая дорога перед нами — мы все еще члены партии на хорошем счету.

В начале 1934 года товарищ Лазарь Каганович в Москве объявил, что 182,50 членов были исключены из партии. Окончательные цифры будут еще больше, потому что в некоторых областях чистка еще не была закончена. Таким образом, более 200 000 партийных карьер были закончены. Это, однако, не доказывало, как утверждал Каганович, что партия была теперь «очищена», и что она стала теперь поистине «монолитна».

Доказательство обратного было во мне. Хотя я и прошел испытание, я, без сомнения, был более скептичен, более глубоко обеспокоен своей партией, чем тысячи мужчин и женщин, выброшенных на политическую свалку. То же самое было и с десятками тысяч других. Руководители моей партии могли сказать себе, что «последние остатки отклонения и разногласия ликвидированы».

Рядовые члены знали лучше о действительном положении вещей.

ГЛАВА XI

ТАЙНА ЕЛЕНЫ

МНОГО знакомых лиц, среди преподавателей и студентов, исчезло из Института после чистки. Те, кто остались, однако, работали с более свободным умом и большей энергией, теперь, когда пальцы партийного страха больше не держали их за горло. Это был мой последний год обучения в институте. Уже в рамках моей учебной программы я уделял большую часть своего времени практическим инженерным проблемам на заводе. После

окончания учебы я мог рассчитывать на ответственную должность в растущей металлургической промышленности.

Вскоре после окончания чистки я встретил Елену.

Драма ее личных страданий стала неотъемлемой частью моего собственного опыта: она принадлежит моей личной истории. Действительно, мало что, случившееся непосредственно со мной, оставило такие сильные следы на моем отношении к советской власти, как то, что случилось с Еленой.

Я часто удивлялся роли чистой случайности в исполнении человеческой судьбы. Переехав в Днепропетровск, Елена получила квартиру в моем районе. Она ходила на работу по утрам примерно в то же время, что и я в институт. В результате мы иногда ездили на одном трамвае. Я заметил ее впервые, когда мы ждали в снежную бурю вместе с десятком других сгрудившихся мужчин и женщин на остановке трамвая. Это была случайность. Вторая и третья такие встречи в последующие недели также были случайными. После этого я начал искать глазами высокую брюнетку и, наконец, стал ее ждать. Я пропустил много трамваев и был нелогично раздражен, потому что она опоздала. Я подозревал - и, как оказалось, совершенно правильно, - что она вполне осознавала мой интерес и была к нему безразлична. Позже мы часто смеялись над этим бессловесным ухаживанием на обочине трамвая.

Когда меня наконец представили ей - снова случайность, - мы почувствовали, как будто мы знали друг друга давно. Был поздний вечер. Я возвращался с долгого заседания обкома. Зал был полон табачного дыма, и обсуждение было скучным. Было приятно выйти на открытое пространство, вдыхая свежий воздух и испытавая легкие покалывания мороза. Вдруг, когда я шел, я услышал, как меня окликнули. Я едва заметил двух женщин, мимо которых только что прошел.

Я обернулся и узнал женщину-врача, которая лечила меня, когда я лежал в госпитале после службы на персидской границе. И с ней была моя прекрасная незнакомка.

«Виктор Андреевич, — сердечно поприветствовала меня врач, — как вы? Я искренне рада вас видеть. Я читала ваши статьи в газетах и слышала о ваших прекрасных успехах от общих друзей.

Но, извините, я хочу представить вам мою молодую подругу Елену Петровну».

Она была довольно поражена той страстностью, с которым мы с Еленой пожали друг другу руки, и смущением в нашей манере. Ее изумление еще больше усилилось, без сомнений, когда мы нашли предлог, чтобы проводить ее до трамвая и уйти вместе. Мы жили в одном районе, и предлог был легко придуман.

Главными составляющими уникальной красоты Елены были грация и элегантность. У нее было красивое лицо. Но художнику не пришло бы в голову просто поместить одно ее лицо на холст. Он, вполне естественно, захотел бы нарисовать ее всю фигуру. В этот вечер нашей первой официальной встречи она была одета в черную шубку с узкой талией и с расклешенной юбкой в кавказском стиле.

Шляпка без полей. из белого меха подчеркивала ее стройный рост: несколько снежинок сверкали, как драгоценности, на ее бровях. Мы шли почти час, рука об руку, говоря о себе, мире и снова о себе. Она тоже только что вернулась с душной встречи и нашла сильный холод и кристаллический воздух стимулирующими. Это был ее первый приезд в Днепропетровск, сказала она, но она работала архитектором в государственном плановом бюро и, скорее всего, обосновалась здесь надолго. Она окончила Художественный институт в Харькове, где она специализировалась на архитектуре, около четырех лет назад.

«Как я рад, что встретил вас», - сказал я в какой-то момент. «У меня есть чувство, что встреча перерастет в настоящую дружбу».

«Я тоже», - сказала она, улыбаясь, - «но, честно говоря, ради вас, я надеюсь, что этого не произойдет. Если бы у вас было хоть немного здравого смысла, Виктор Андреевич, вы бы сделали эту первую нашу встречу последней».

Хотя она рассмеялась, ее замечание встревожило меня. Я сразу заподозрил, что это было более серьезно, чем показывала ее манера поведения; что это намек на некую личную трагедию. В ее улыбке не было и следа радости, а в глазах таилась странная грусть, которая сразу же противоречила ее красоте и усилила ее эффект.

«Я рискну с тобой», — сказал я.

«Помни, что я тебя предупреждала».

«Хорошо, я запомню. Но взамен ты должна рассказать мне больше о себе. Например, --»

«Не спрашивай меня», — перебила она. «Да, я замужем. Мой муж -- хороший человек, но несчастный. Мы живем под одной крышей, и я забочусь о нем как сестра. Но помимо этого мы муж и жена только по названию. Я не люблю его; в этом смысле... я рада, что встретила тебя. Я была одинока."

"Одинока? Ты? С домом, карьерой, твоей красотой..."

"О, я знаю многих людей; возможно, слишком многих. Но я завидую тебе, потому что у тебя есть настоящий дом, мать. Мой отец умер, а моя мать живет в Киеве. Я в некотором смысле рада, — в наши дни есть вещи, которые нельзя рассказать даже матери. Я завидую твоим иллюзиям, поскольку ты, очевидно, преданный коммунист."

"Можно быть преданным, даже избавившись от некоторых иллюзий", — сказала я. "Но давай отложим политику. Расскажи мне больше о твоем муже..."

"Пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Если ты действительно хочешь снова увидеть меня, я ставлю только одно условие: ты будешь вести себя так, как будто его не существует. В более глубоком смысле, его не существуует. Но я должна повторить свое предупреждение. Вы полны надежды и веры. У меня нет ни того, ни другого. Я меньше всего могу считаться одной из последовательниц процессии, в то время как вы во главе ее. Вы пройдете лучше, если пойдете в одиночку."

"Я отказываюсь принимать ваше предупреждение. Какова бы ни была цена, я намерен видеть вас часто." Я принял беззаботную манеру поведения. "Я никогда не пожалею о том, что знаю вас, даже если все адовы муки обрушатся на меня."

"Вы сказали "адовы муки"?" она грустно улыбнулась. "Я ничего не знаю о адовых мука, но я много знаю о муках нашей нынешней жизни. Они хуже, гораздо хуже, потому что они случаются с людьми при жизни, а не после смерти».

Когда я оставил ее у двери, мы договорились встретиться снова в парке в следующую субботу вечером. Я купил билеты на гала-концерт в ту ночь, на котором должны были выступать знаменитые артисты Московского балета Викторина Кригер и Голубин. Ожидание субботы было мучением, но я избегал встречи с ней на платформе трамвая. Я был рад приближению времени отхода ко сну, потому что это приближало день нашей встречи. Когда мы встретились, я был счастлив почувствовать по пожатию ее руки и румянцу ее щек, что Елена тоже с нетерпением ждала этой встречи. Мы гуляли, разговаривали, затем пошли в Оперный театр. Она казалась взволнованной, как ребенок на празднике.

«Когда я с тобой, я забываю все свои проблемы», — прошептала она посреди исполнения Голубиным партии Корсара.

Кригер, хотя уже не молода, все еще танцевала божественно и была обожаема по всей России. В этот вечер она танцевала сцены из своей знаменитой роли в «Лебедином озере» и вызвала бурные аплодисменты. Затем певица начала арию: «Дайте мне, о, дайте мне мою свободу. Я сумею искупить свой позор. Я сохраню свою честь и славу...». Я чувствовала, как Елена сжимает мою руку до боли.

«Послушайте, Виктор Андреевич, эти слова имеют глубокий смысл для меня, и для многих и многих других», — сказала она тихим, напряженным голосом. Затем полная женщина спела арию Лизы из «Пиковой дамы». Я чувствовал, что радость Елены от концерта ушла. Она шевельнулась и вздохнула.

Певица дошла до отрывка: «Пришла тучка, принесла гром и разбила счастье и надежду … ». Элиена внезапно встала и потянула меня за собой.

«Пожалуйста, пойдемте, Виктор Андреевич», — сказала она; «пожалуйста! Я не могу больше слушать».

На морозном воздухе она успокоилась. Я не задавал никаких вопросов. Какая бы печальная тайна ни омрачала ее жизнь, я решил не исследовать ее.

«Пойдемте в какой-нибудь ресторан», — сказал я. «Послушаем веселую музыку».

«Хорошо, но только одно условие: я плачу за себя. Вы студент; я работаю. Нет никаких причин, по которым вы должны платить».

Мы встречались по крайней мере раз в неделю, обычно чаще, в последующие месяцы.

Зима сменилась весной. Я познакомил Елену с моей матерью — это была любовь с первого взгляда между двумя женщинами. После этого они с матерью часто встречались, даже когда меня не было рядом.

«Она милая женщина», — сказала мне мама, — «и она очень влюблена в тебя. Я знаю, что я чувствую к ней. Но есть что-то в ее жизни, что тяготит ее дух».

«Я знаю, мама, и я не имею ни малейшего понятия о ее несчастье. Я обнаружил, что расспросы только вредят ей, и я больше не задаю вопросов».

«Ты прав, Витя. Она хороший человек, и ты должен доверять ей. Что бы ни беспокоило Элиену, это не может ее дискредитировать. Она из тех, кто не может причинить вреда никому, кроме себя».

Однажды вечером, после ужина с моей семьей, Елена осталась на вечер. Мы вместе читали и слушали радио. Мы оба знали, не выражая этого словами, что она не пойдет домой.

«Это наша брачная ночь, Виктор. Я люблю тебя всем сердцем и душой», — сказала Елена. «Пожалуйста, поверь мне, что ты первый и единственный мужчина в моей жизни с тех пор, как я перестала любить своего мужа».

Прошло два месяца. Елена часто приходила к нам домой и стала, по сути, членом семьи. Мои родители, мои братья, все обожали ее. Вокруг нее была аура гламура, которая придавала яркость всему нашему дому. Тем не менее, я нередко терзался осознанием того, что важная часть ее жизни была закрыта для меня. Иногда я чувствовал, что она живет в постоянном состоянии тревоги, как будто все ее существование было неким домом, опасно балансирующим на краю пропасти.

Затем настал день, когда мое беспокойство сфокусировалось. Хотя я объяснил свои подозрения беспокойством о ее благополучии, они были в значительной степени продуктом обычной мужской ревности.

Однажды после лекций мы несколько студентов пошли на футбольный матч на городской стадион. Между таймами мы поспешили в буфет за пивом. Как обычно, у стойки была длинная очередь, и мы заняли свои места. Пока я

стоял там, рассеянно глядя через дверь в соседний ресторан, я заметил Елену, элегантно одетую, в компании двух мужчин, которые были по виду несомненно иностранцами. Все трое пили вино, весело болтали, и мужчины, как мне показалось, смотрели на Елену смело, жадно.

Хотя я просидел на стадионе остаток игры, я этой игры не видел. Что Елена делала в компании иностранцев? После игры я видел, как она уехала со своими спутниками. Они уехали на большом иностранном автомобиле. Я был в оцепенении весь оставшийся день и не спал в ту ночь.

На следующий день Елена пришла на ужин ко мне домой, как и было условлено ранее. Я продолжал наблюдать за ней во время еды, но она не показывала никаких признаков перемен.

Может ли этот контакт с иностранцами — опасное дело в советской стране — быть настолько обыденным, что не повлиял на нее? Когда мы остались одни, она небрежно упомянула, что была на футбольном матче накануне.

«Начальник моего бюро попросил меня пойти с парой посетителей», — сказала она. «Они, конечно, были скучными».

Я ничего не сказал о том, что видел ее там. Когда она вышла из моей комнаты, чтобы направиться на кухню, я заметил, что ее сумочка открыта, и мельком увидел в ней бумаги. Все еще охваченный сомнениями и ревностью, я поспешно взглянул на бумаги. Один лист был на английском языке. Хотя я не знал языка, я понял, что его содержимое было техническим, со ссылками на измерения и машины. Другой лист был на русском языке. Он начинался так: «Прилагаю материал по прилагаемому отчету, который я хочу заявить...».

В этот момент я услышал шаги Елены и быстро положил бумаги обратно на место. Я не сомневался, что эти бумаги каким-то образом связаны с двумя иностранцами и что весь этот эпизод, в свою очередь, является ключом к тайне ее жизни. Когда мы расстались поздно ночью, я спросил, когда мы встретимся снова.

«В пятницу вечером», — сказала она.

«К сожалению, в эту пятницу у меня снова лекция. Давайте сделаем это в четверг».

«Извини, дорогой, но в четверг я, как ожидается, буду занята некоторыми срочными делами».

Сделанный чувствительным к своим подозрениям, я внезапно понял то, что ускользало от меня до тех пор: что в течение нескольких месяцев Елена обычно была слишком занята, чтобы видеть меня в четверг. Я решил последовать за ней в тот четверг, если это возможно, чтобы узнать все, что я смогу.

Ночь выдалась темной, дождливой, что облегчило мое любительское расследование. Увидев, как она садится в трамвай, я прыгнул на заднюю платформу. Когда она вышла, недалеко от центра города, я тоже вышел и следовал за ней на расстоянии по другой стороне улицы. Я видел, как она приближалась к тому, что выглядело как большой частный дом. Она позвонила в звонок.

Мужчина в униформе открыл дверь, впустил ее, осторожно огляделся, затем закрыл дверь.

Из дверного проема, который давал мне хороший вид на дом, я наблюдал за ним почти два часа. Я видел, как люди приходили и уходили. Было достаточно света из окон окружающих домов и из двери, когда она была открыта, чтобы я мог видеть их лица. Каждый раз, открывая дверь, привратник в униформе осматривал улицу, как будто чтобы убедиться, что нет никаких наблюдателей. Большинство звонивших были женщины. Некоторых из них я узнал. Одна была женщиной, известной во всем нашем городе своей красивой внешностью и обаянием хозяйки; она была женой ведущего врача, профессора гинекологии. Другая была известной певицей в нашей местной опере. Был известный инженер, которого я часто видел на технических конференциях. Некоторых звонивших, когда они стояли в ожидании открытия двери, я узнал как женщин, которых я часто видел в театре и на спортивных мероприятиях — днепропетровский эквивалент светских дам.

Наконец появилась Елена в сопровождении двух мужчин в гражданских плащах. Когда один из них расстегнул плащ, чтобы достать сигарету из внутреннего кармана, я увидел, что он был в униформе. Это была, несомненно, униформа ГПУ. Я узнал все, что мне было нужно знать. Елена, как мне теперь стало ясно, принадлежала к бесчисленному сонму сексотов и

доносчиков, действующих во всех уголках нашего славного советского общества!

Мой ум был в паническом смятении. Ворочаясь в постели той ночью, я пытался организовать свои мысли. Теоретически, как коммунист, я вряд ли мог осудить всепроникающую слежку ГПУ. Для меня не было новостью, что тысячи людей, казалось бы, занимающихся другими видами деятельности, на самом деле занимались также доносительством и шпионажем. Однако открытие, что женщина, которую я любил, была, по-видимому, агентом ГПУ, глубоко потрясло меня. Какой-то атавистический инстинкт против слежки и шпионажа заставил меня похолодеть.

Хотя мы, коммунисты, загнали такие знания в отдаленные области нашего сознания, некоторые из нас достаточно хорошо знали, что огромное число невинных мужчин и женщин в СССР были брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Мы объясняли это себе как «превентивные» меры, или мы вообще избегали моральной проблемы, отказываясь смотреть на нее открытыми глазами. Может ли быть, что Елена, такая близкая и дорогая мне, была ответственна за то, что принесла боль и смерть невинным? Чем больше я боролся с ужасающим открытием, тем безнадежнее казалось мое положение, разрываясь между любовью и чувством ужаса.

Утром я отправил Елене записку. Я сказал ей, что должен уехать из города примерно на неделю. Из-за страха, что она может прийти искать меня дома или что я могу столкнуться с ней в нашем районе, я переехал в дом друга. В следующий четверг вечером я снова наблюдал за таинственным частным домом из своего укрытия через дорогу. Я снова увидел, как Елена и еще несколько человек, в основном женщины, зашли в него.

Мне схема казалась ясной. Все они, включая жен известных лиц, представляли отчеты о своей проделанной недельной работе и, предположительно, получали инструкции. Частный дом делал это дело проще и безопаснее, чем визит в управление ГПУ.

Той ночью я вернулся домой. Я написал Елене, что по причинам, которые я не мог раскрыть, я больше не могу ее видеть. Все отношения между нами, сказал я, прекращаются, и я должен быть благодарен, если она примет мое решение в этом вопросе и не попытается возобновить отношения, которые

стали невозможными.

Я был настолько сломлен этим решением, что не мог ни работать, ни ясно мыслить. Я держался подальше от Института и часами мерил шагами улицы города, в тщетной попытке избежать всепоглощающей боли. Под всем этим, смешанным с моим жгучим желанием снова увидеть Елену, было мучительное сомнение, отношусь ли я к ней справедливо.

Несколько дней спустя, когда я вернулся из Института, моя мать вручила мне письмо. "Елена оставила его для тебя", - сказала она. «Кажется, она в большом горе. Глаза у ней опухли от слез. Я не хочу вмешиваться в твои личные дела, Витя, но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Раны, нанесенные любимыми людьми, самые болезненные из всех».

Письмо Елены было кратким:

«Витя, милый: умоляю тебя, сделай мне последнее одолжение. Встреть меня завтра в шесть вечера на вокзале. Умоляю тебя, сделай это последнее дело для меня, прежде чем мы расстанемся навсегда».

Я ждал ее, когда она приехала. Она несла небольшой чемодан. Страдание, отразившееся на ее прекрасном лице, пронзило мое сердце, как нож.

«Мы едем на реку Самару, — сообщила она мне, — и будем есть и разговаривать на открытом воздухе. У меня уже есть билеты на поезд».

В поезде мы говорили о пустяках: о моей подготовке к выпускным экзаменам в институте, о стройке, над которой она работала. Прибыв на небольшую станцию, мы пошли по проселочной дороге, пока не достигли берега реки. Какое-то время мы оба избегали серьезного разговора, словно намеренно оттягивая тот самый момент, который привел нас сюда. Вечер был уже близко, и раздался далекий гром. «Давайте искупаемся, пока не разразилась гроза», — предложил я.

Мы сбросили одежду и нырнули в реку. После освежающего купания мы оделись, и она разложила еду на скатерти. Она также принесла с собой бутылку вина «Напареули».

«Когда-то, давным-давно, мы пили за нашу встречу. Теперь выпьем за наше расставание», — сказала Елена. Ее глаза наполнились слезами. «Помнишь, я

тогда сказала тебе, что лучше нам больше не встречаться. Я потеряю тебя. Я снова буду одна».

Никто из нас не притронулся к еде, но мы выпили вина.

«А теперь, Витя, скажи мне, что вдруг случилось? Почему ты перестал меня любить?»

«Я люблю тебя так же сильно, как и прежде. Вот почему я здесь. Я пришел сюда, рассчитывая на твою честность, Елена. Ты можешь рассказать мне свой секрет? Я не позволю водить себя за нос, как какого-то безмозглого мальчишку».

«Что ты хочешь знать? О моем муже?»

«Нет, о тебе. Я знаю, почему ты встречаешься с иностранцами. Я знаю о твоих встречах по четвергам вечером в доме на улице Y--. Что еще ты хочешь, чтобы я сказал?»

«О Боже мой, Боже мой», — начала она всхлипывать. «Что мне делать? Что мне делать?»

Вспыхнула молния. Упали первые крупные капли дождя. Мы укрылись в заброшенной рыбацкой хижине неподалеку. В сгущающейся темноте, сидя на куче свежего ароматного сена, Елена рассказала мне свою историю.

«Я слишком сильно люблю тебя, чтобы бросить», — сказала она. «Дорогой, постарайся выслушать меня с открытым сердцем. Я расскажу тебе то, что не говорила ни одной другой живой душе, даже моей матери, и уж тем более моему бедному мужу. После того, как ты выслушаешь меня до конца, ты решишь что делать».

Вот, в ее собственных словах, насколько я их помню, история жизни Елены:

3

Мы жили в Киеве. Моя мать была бывшей школьной учительницей. Мой отец был известным профессором инженерного дела. Он работал в местном тресте и зарабатывал хорошие деньги. Я была их единственной дочерью, и у меня было счастливое детство.

Я ни в чем не нуждалась. Меня учили музыке, языкам, и я росла беззаботно в мире. Больше всего мне нравилось рисовать.

У наших соседей был сын Сергей, который учился в Технологическом институте в Харькове. Он приезжал домой на лето. Мы были друзьями. Потом, когда я стала старше, дружба переросла в любовь. Мне было всего немногим больше семнадцати, когда он сделал мне предложение. Я приняла его, и мы переехали в Харьков. Там я смогла реализовать свою мечту, поступив в Художественный институт, который я окончила в 1930 году.

Ты, конечно, помнишь, что это был год, когда многих инженеров и специалистов обвиняли во вредительстве. Я как раз гостила у своих родителей в Киеве, когда прибыли сотрудники ГПУ, чтобы арестовать моего отца.

Они обыскали дом, даже разрезали иконы, диваны и матрасы, но, конечно, ничего не нашли. Вся идея о том, что мой кроткий и ученый отец пойдет на саботаж, была фантастической. Это было настолько абсурдно, что мы с мамой утешали себя тем, что его скоро освободят.

Естественно, я осталась в Киеве, чтобы помочь ей пережить это испытание. Наша счастливая жизнь закончилась. Мы не знали, что они имели против папы, и нам не разрешали его навещать. Каждый вечер, неделю за неделей, затем месяц за месяцем, я ходила к воротам тюрьмы ГПУ, чтобы доставить продуктовые посылки. Часами я стояла в очередях, под дождем или снегом, вместе со многими сотнями других несчастных женщин. Я также ходила по приемным ГПУ.в тщетной надежде помочь отцу.

Однажды, когда я пошла в ГПУ, меня попросили зайти в кабинет Начальника ГПУ. Я задавалась вопросом, зачем он послал за мной. Я нашла мужчину средних лет, вежливого и презентабельного. Он выслушал, как я умоляла за своего отца. Затем он сказал:

"Теперь послушайте меня, Елена Петровна. Вы красивая женщина, на самом деле вы очень привлекательны. Более того, у вас есть культура и вы обладаете хорошими манерами поведения. Это дары, которые могут быть очень полезны для нашего советского государства, не говоря уже о вас и вашем отце. Мы можем вам помочь, если вы поможете нам. Мне не нужно говорить вам больше, потому что я вижу, что вы умны, как и красивы. Теперь не кривите лицо и не отступайте. То, что я предлагаю, не так грязно, как сама жизнь. Я не прошу вас ложиться в постель с кем-либо. Для этого у нас тоже

есть такие женщины, и некоторые из них являются весьма уважаемыми дамами в нашем городе.

"Вы будете более полезны для нас как чистая, недостижимая женщина. Мы позаботимся о том, чтобы вы встретили нужных людей, от которых вы сможете услышать многое из того, что нужно знать нашему государству. Естественно, мы будем хорошо вам платить и защитим не только вас, но и тех, кто вам дороги».

Он предложил мне сигарету, от которой я отказалась. Затем он вытащил коробку конфет из ящика и жестом пригласил меня взять себе. Я посмотрела на него недоверчиво.

«Другими словами, — наконец сказала я, — все, что вы хотите, чтобы я сделала, это доставила вам несколько человеческих жизней, может быть, друзей и знакомых моего отца, чтобы помочь вам состряпать еще несколько сенсационных дел? Если я это сделаю, вы освободите моего отца. Я правильно вас поняла? Только это, с несколькими конфетами в придачу?»

Он рассмеялся. «В слишком упрощаете картину».

«Ну, извините, что не могу угодить».

«Не торопитесь с решением, Елена Петровна. У нас много времени. Подумайте и возвращайтесь сюда. Но если вы кому-нибудь намекнете на это интервью, мы посадим нашу птичку в клетку на долгое-долгое время. Пожалуйста, подпишите эту бумагу."

Это была форма, в которой подписавший обязывался никому не говорить об этом разговоре и перечислялись суровые наказания за любое нарушение обязательства.

Время прошло в глубокой печали, Витя. Получив шанс купить свободу отца, став агентом ГПУ, я почти чувствовал себя виноватой за его продолжающееся заключение. К счастью, я знала, что он был бы последним человеком в мире, который будет обвинять меня, если бы узнал. Я была утомлена душой и телом. Затем меня снова пригласили в кабинет начальника ГПУ. На этот раз его вежливость исчезла. Не было никаких предложений конфет или сигарет.

Он занимался бумагами, когда я вошла, и сделал вид, что не замечает меня. Пока я стояла там неловко, я услышала ужасные крики, доносившиеся

откуда-то из коридора. Я невольно вскрикнул от страха. Он поднял глаза. "О, Вы снова здесь", - сказал он. "Вас раздражает неприятный шум снаружи? Вы правы, это кто-то, кого побуждают кое-что вспомнить или в кое-чем сознаться. . . Да, наша работа трудна. Она требует стальных нервов. Ну, вы примете мое предложение?»

«Нет. Я не принимаю его — не могу принять».

«Это окончательно?»

«Да, окончательно».

«В таком случае мне ужасно жаль вас — и вашего отца. Я все еще думаю, что вы передумаете.Теперь прощайте».

Он снова занялся своими бумагами. Я ушла.

Той ночью, когда подошла моя очередь вручить посылку для отца в решетчетом окошке у ворот тюрьмы, бывший там чекист повторил за мной имя отца:

«Ладынин? Нет, я не могу принять посылку».

Я стояла там, застыв от страха.

«Что случилось?» — закричала я. «Это мой отец. Он умер? Его сослали?»

«Я ничего не знаю. Проходи. Следующий!»

«Но он же старый человек. Он невиновен. Я должна знать, что с ним случилось».

«Уходи, или я силой тебя уведу. Вы задерживаете очередь».

Я подошла к другому окну с надписью «Справочная». Я сказалу охраннику, что хочу узнать о своем отце и назвал ему имя. Он закрыл окно, и я увидела, как он звонит по телефону. Я напряглась, чтобы услышать, что он говорит, но уловила только одно слово — больница. Он снова открыл окно. и объявил: «Нет сведений. Извините."

Едва держась на ногах, я повернулась, чтобы пойти домой. Чтобы не тревожить мать, я отдала посылку с едой нищему. На следующий день я

попыталась найти врача, работавшего в тюремной больнице, в смутной надежде на какие-то известия об отце. Я начала с нескольких врачей, которые были друзьями нашей семьи. Один направил меня к другому. После нескольких часов этих поисков, кто-то дал мне имя врача, который, как он думал, был связан с Киевской тюрьмой.

Я пошла к нему. Врач впустил меня, думая, что я пациентка. Но как только дверь его кабинета закрылась, я упала на колени перед ним и в слезах рассказал ему, что я искала. Он был добрым человеком, но моя история напугала его до смерти. Он умолял меня уйти от него. Его работа в тюремной больнице была секретной, сказал он, и он ничего не мог мне рассказать.

«Пожалуйста, помните моя дорогая», — сказал он, — «что у меня жена и дети. Я не могу рисковать. Мне правда жаль, но я ничего не могу сделать, ничего. Пожалуйста, уходи и ради любви к своей семье не втягивай мою в опасные неприятности».

Но я отказалась уходить. Я плакала и говорила, пока не измотала его. Наконец, он согласился найти моего отца, если он действительно в тюремной больнице. Я должна была позвонить ему через три дня из телефонной будки.

Моя мать продолжала делать продуктовые посылки, которые я регулярно отдавала нищим. Я ждала назначенного дня. Наконец, мне позвонил врач.

«Возьми себя в руки», — предупредил он меня. «У меня плохие новости. Твой отец в больнице. Его состояние, боюсь, безнадежно. У него воспаление легких.... Кроме того, — он колебался, — «его довольно сильно избили. Теперь до свидания. Мне очень жаль».

Нехотя я пошла в управление ГПУ и передала своё имя начальнику. Меня приняли почти сразу. Он встретил меня у дверей своего кабинета, широко улыбаясь.

"Ну, что нового? Ты окончательно решила?"

"Нет", - сказала я. "Прежде чем я решу, я должна увидеть отца".

"Это будет трудно устроить. Я не хочу тебя расстраивать, но твой отец в больнице, и он не совсем в презентабельном состоянии".

«Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне навестить его. В конце концов, вы же человек...»

«Здесь нет людей, Елена Петровна, только скромные хранители революции. Здесь нет места сантиментам. Наши средства против врагов советского государства — боль, страдания и смерть. Чем раньше вы это поймете, тем лучше. Я позволю вам увидеться с отцом, но только потому, что мне нужна ваша помощь.

«Идите в тюрьму. К тому времени, как вы туда дойдете, я обо всем распоряжусь. И по дороге еще раз подумайте о моем предложении. Не будьте идиоткой».

Меня отвели в больничную палату. Моего отца, готовясь к моему визиту, перевели в отдельную комнату. Он лежал на железной койке, неподвижный, как мертвый. За те месяцы, что я видела его в последний раз, у него отросла седая борода. Он был весь одна кожа да кости. На лбу и впалых щеках были уродливые синие рубцы. Его пальцы и кисти рук были забинтованы. Я подошла к его кровати. Он был слишком измучен, чтобы улыбнуться в знак приветствия. Когда он начал говорить, я с ужасом увидела, что у него выбиты передние зубы.

«Не плачь, Ёлочка», — сказал он слабым голосом. Это было его ласковое прозвище для меня с самого детства.

Меня предупредили, чтобы я говорила только о семейных делах и избегала политики. Но охранник отвернулся, как бы давая понять, что не слушает. Мой отец жестом показал мне наклониться к нему, и зашептал мне на ухо:

«Ты видишь, как я выгляжу, Ёлочка. Чекисты мучили меня непрерывно день за днем. Это не люди, это какие-то звери. Пытки — это их обычное дело. В подвалах этой тюрьмы находятся сотни людей, которых мучают здесь, бьют скрученными влажными полотенцами по гениталиям, не дают спать неделями, или держат в ледяных комнатах.

«Они избивали меня без жалости, чтобы заставить меня назвать им имена моих «соучастников по заговору».

«Как я мог им сказать, когда не было никакого заговора? Ничего, кроме их собственного воспаленного воображения. Они видят призраки. Иногда мне хотелось в чем-то признаться. Я вспоминал обычные недочеты производства

и признавался в них как в актах саботажа. Я придумывал примеры вредительства. Но они только еще больше пытали меня, потому что моя ложь была слишком наивной. Но зачем тебе рассказывать больше? Я слышал о ГПУ и об их методах пыток на допросах, но худшее, что я мог предвидеть, было ничто по сравнению с действительностью. Говорю тебе, чекисты это не люди, а чудовища, хладнокровные садисты. Ох, Елочка, дитя мое, до чего дошли эти люди...»

«Ты поправишься, папа, и я вытащу тебя из этого ада. Обещаю...»

«Нет, это безнадежно, дитя мое. Врачи были со мной откровенны. Раны от пыток могли бы зажить. Но «обработка холодом» вызвала у меня воспаление легких. В моем состоянии и в моем возрасте я не могу поправиться. Я умру через несколько дней. Постарайся забыть об этом и продолжай работать, как будто ничего не случилось. Будь добра к маме и к Сергею.»

"Гражданка, пять минут истекли. Вы должны уйти."

Через несколько дней мой отец умер. Я вернулась к мужу в Харьков,

4

Я прервал рассказ Елены.

«Довольно, дорогая, я больше ничего не хочу знать. Мне так жаль тебя и так стыдно за себя. Прости меня за мое глупейшее поведение».

«Нет, нет, теперь, когда я начала, ты должен выслушать меня до конца», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты все знал и понимал. Это только начало ужаса». И она продолжила свой мрачный рассказ:

Прошел 1931 год и большая часть 1932 года. Мой муж к этому времени окончил учебу и работал на большом заводе. Как и другие технические специалисты в то время, он постоянно боялся ареста. У него не было ничего на совести, но был этот бессмысленный и бесконечный страх, когда он видел, как одного за другим хватают его коллег.

Тем не менее, когда его действительно арестовали, я не могла в это поверить. Я знала всех его друзей, все его мысли, все его поступки. Он был совершенно невинен, даже в мыслях. Я снова стояла в унылых

очередях, под дождем, под снегом, с тысячами других женщин, чтобы доставить посылки заключенному.

Меня уволили с работы под каким-то глупым предлогом. Было очевидно, что мои руководители на работе не хотели, чтобы жена арестованного инженера была рядом с ними.

Постепенно я распродавала все, что имела, часть за частью, чтобы купить еды для себя и моего заключенного мужа. Я давала уроки музыки. Несколько друзей помогали мне деньгами, но всегда под обещание, что я никому не скажу, что они навещали меня, или оказали мне доброту. Как жена «врага народа», я сама стала изгоем, неприкасаемой.

Через несколько месяцев после ареста Сергея его посылку не взяли у ворот тюрьмы. Это было похоже на повторный показ старого фильма ужасов. Я подошла к другому окну и попросила позвать начальника. Примерно через два часа ожидания меня проводили в кабинет товарища Т., одного из помощников начальника Харьковского ГПУ. Это был высокий, красивый, упитанный блондин. Он излучал обаяние.

«А, я так и думал, что меня могут навестить», — сказал он, пожимая мне руку и галантно помогая мне сесть на стул. «Я наслаждаюсь визитами красивых женщин. Кроме того, я получил полный отчет о вас из нашего киевского управления. Как жаль, что мы встречаемся при таких, скажем так, официальных, обстоятельствах. Все равно, я благодарен за эту возможность».

«Вы имеете в виду, что вы воспользовались возможностью, отказавшись принять посылку для моего мужа», — сказал я.

«Они что, не взяли посылку? Какие болваны! Я немедленно разберусь».

Он нажал кнопку, и вошел аккуратного вида офицер. Он дал указание принимать посылки для моего мужа. Офицер ушел.

«Пожалуйста, поверьте мне, Елена Петровна, что я сожалею о страданиях, которые вы претерпели. Но, в конце концов, это ваш собственный выбор. Предложение, высказанное в Киеве два года назад, все еще в силе, вы знаете. Мы, чекисты, держим свое слово».

«Зачем вы удерживаете моего мужа?» — ответила я. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что он невиновен. Если бы у вас была мать или сестра, вы бы пожалели меня. Я не могу стать вашим шпионом. Это не в моем характере. Я бы лучше умерла. Но я сделаю все, чтобы спасти своего мужа. Я просто не могу выносить мысли о его страданиях».

Я говорила и говорила, повторяясь, умоляя и обвиняя по очереди.

Он терпеливо слушал. Когда я наконец кончила, он подошел, похлопал меня по плечу почти отеческим жестом.

«Жизнь жестока, Елена Петровна, — сказал он, — поэтому нужно быть практичной. Вы должны думать прежде всего о себе. Почему вы упрямитесь? Почему вы не идете к нам?»

«Я скажу вам, почему. Убийство моего невинного отца — одна из причин, а убийство тысяч других, таких как он, — тысячи других причин. Даже ради мужа я не возьму на свою совесть слезы и кровь других жен и матерей. Вот почему».

«Я понимаю твою брезгливость по поводу слез и крови», — сказал он. «Но будь благоразумна, если можешь. Мы не дадим тебе заданий, которые будут означать кровь и слезы. Нам нужно, чтобы ты работала среди иностранцев. Наша страна окружена капиталистическими гиенами, воющими по крови революции. Я не буду сейчас на тебя давить. Но в любое время, когда ты передумаешь, я в твоем распоряжении. Твой отец умер. Этого не исправить. Но ты все еще можешь спасти своего мужа. Это зависит не от меня, а от тебя».

Однако он пообещал, что Сергей будет получать мои посылки — пока его официально не осудят и не вышлют. Через несколько недель мне сообщили, что его приговорили к десяти годам каторги и отправили в один из концлагерей на Урале.

Долгое время я боролась с искушением пойти работать на ГПУ. Я тосковала по Сергею. Я устала от борьбы. Во времена лжи и несправедливости, почему я должна вести себя как Дон Кихот?

Много раз я решалась на роковой шаг. Но каждый раз, в последний момент что-то внутри меня, что-то слишком глубоко укоренившееся, чтобы я могла

объяснить это разумно, говорило: «Нет! Ты не должна!» Мысль о шпионствеВ, о том, чтобы притворяться другом, ведя кого-то на бойню, вызывала у меня отвращение. Это делало меня физически больной.

Почти год я продолжал писать петиции в различные государственные органы, умоляя о пересмотре дела моего мужа. Конечно, ничего не вышло.

И тут что-то произошло. Я был на выставке украинской живописи с подругой по художественному институту. Вдруг в толпе я увидела товарища Т. из ГПУ. Его сопровождала очень красивая женщина. Его манера обращения с ней давала понять, что это он находится в ее власти, а не наоборот. Я внимательно за ними наблюдала. Она была капризной, а он был таким же внимательным и послушным, как влюбленный школьник.

Не знавший жалости чекист, державший в своих руках судьбы десятков тысяч людей, вел себя как теленок с этой роскошной женщиной. Парадокс картины, я полагаю, навел меня на мысль. Хотя на первый взгляд это казалось фантастикой, я была полна решимости попробовать.

Не так уж сложно было узнать личность подруги товарища Т. Затем я отследила ее адрес. Я подкараулила ее у входа в новый квартирный дом, где она жила. Я последовала за ней по лестнице. Пока она возилась с ключом у двери своей квартиры, я смело подошла к ней и заговорила.

«Ради всего святого, умоляю вас, позвольте мне поговорить с вами всего несколько минут», — сказала я.

Сначала она испугалась. Но потом, осмотрев меня, она, видимо, решила, что я не причиню ей вреда.

«Я не понимаю. Чего вы хотите? Но заходите. Мы не можем стоять здесь, в коридоре».

Мы вошли в ее гостиную, которая была обставлена с превосходным вкусом. В углу стоял большой рояль. Я, должно быть, выглядела очень усталой и несчастной после нескольких часов ожидания на улице.

«Снимай пальто, дитя мое, и садись», — сказала женщина. «Я сварю кофе. Выглядишь ты скорее мертвой, чем живой».

Я схватила ее за руку и заставила выслушать мои беды. Я рассказала о мерти отца, о страданиях матери, о ссылке в лагерь мужа.

Мне нужна была ее помощь. Через своего друга-чекиста она могла добиться для меня права навестить в концлагере мужа. Это было единственное, что я все еще могла для него сделать.

Моя тоска была настолько глубока, что она заразила женщину, и она начала плакать сама. Она задавала мне много вопросов. Затем она ходила взад и вперед по большой комнате с ковром, размышляя. В рассеянности, она даже села за рояль и сыграла несколько аккордов.

"Елена Петровна, - сказала она наконец, - мне жаль, что я не могу дать никаких обещаний, кроме обещания попытаться. Вы, конечно, понимаете, что ни при каких обстоятельствах вы никогда не должны упоминать об этом визите, даже по телефону, когда разговариваете со мной".

Она поцеловала меня с нежностью, которая меня удивила. Я догадалась, что она не была такой счастливой, и, возможно, не такой безмятежной, какой казалась. В тот вечер я пошла в церковь и долго молилась. Я не верующая, Витя, но в тяжелые моменты жизни я возвращаюсь. к привычкам детства. Так или иначе, я молилась так же истово, как и любой верующий. Затем я позвонила любовнице чекиста Т. и узнала, что мои молитвы были услышаны. Она попросила меня немедленно приехать к ней.

Когда я приехала, я плакала от радости и целовала ее руки. Она велела мне написать еще одно официальное прошение о встрече с мужем и заверила меня, что на этот раз она будет удовлетворена. О себе она дала мне только намек.

«Жизнь есть жизнь, Елена Петровна, было время, когда я не жила так уютно, как сейчас, но тогда я была намного счастливее. Мне даст по крайней мере один момент радости знать, что я могу принести немного облегчения от несчастья вам и вашему мужу. Приятно сделать что-то достойное для разнообразия.

«Пожалуйста, забудьте, что мы когда-либо встречались. Вы никогда больше не должны мне звонить или узнавать меня, если увидите меня».

Итак, через несколько недель я была в поезде, направлявшемся на Урал. Я везла большие узлы. Я потратила каждую копейку, которая у меня была, на продукты, теплое белье, ботинки, табак. Я представляла себе нашу встречу, радость Сергея, его светлое лицо, несколько минут счастья. За Свердловском

я сошла с поезда на одной из маленьких станций. Шел осенний дождь, и мне показалось, что я попала в мир серости и глубокой грязи. Концентрационный лагерь находился во многих верстах от станции, и мне было трудно уговорить крестьянина отвезти меня туда. Мы ехали долго. Вокруг нас были густые леса и дикие скалы. Наконец мы выехали на своего рода плато, огромное открытое пространство, окруженное высокими заграждениями из колючей проволоки.

За колючей проволокой я могла видеть длинные ряды бараков с крошечными зарешеченными окнами. Я разглядела чекистов, ходящих вокруг, некоторые из них со злобными собаками. Когда я стояла у ворот под дождем, ожидая когда меня впустят, группа из примерно трехсот узников, шедших по четыре в ряд, возвращалась из леса в лагерь. Никогда в жизни я не видела людей настолько уничиженными и опустошенными. Это были не люди, а непристойные тени людей, человеческие существа в лохмотьях, похожие на отвратительные карикатуры на людей. Все они были с бородами, в крайнем истощении, волочащие ноги по грязи на последних стадиях смертельной усталости. Витя, у меня просто нет слов, чтобы заставить тебя почувствовать всю муку этого зрелища.

На гауптвахте я предъявила документы. Вошел чекист, задал много вопросов, затем меня обыскала женщина-чекистка. Она обыскала не только мою одежду, но и тело. У меня отобрали карандаши и бумагу, даже маленькие маникюрные ножницы из моей сумочки. Затем мне сказали, что посылки не допускаются, разрешив только рассыпной табак, сигареты и мыло.

«Это не курорт и не санаторий, гражданка», — рявкнул на меня чекист. «Для них достаточно того, что мы им даем есть и носить. Это враги советского государства».

Я села в грязной маленькой комнате, чтобы дождаться Сергея. На стенах висели засиженные мухами портреты Сталина, Дзержинского и Ягоды, а также обтрепанная полоска кумача с надписью «Перевоспитание через труд». Я все время смотрела в окно. Вскоре я увидела, как подходит изможденный старик, за которым следует чекист с наганом. У мужчины была седая лохматая борода, седые волосы; он был истощен и выглядел ужасно. Один глаз у него был повязан грязной тряпкой, и в целом он выглядел так, словно вылез из адова чистилища. Тронутая сочувствием к этому жалкому существу, я повернулась к чекисту.

«Товарищ, - сказала я, - вы видите вон того старика? Пожалуйста, дайте ему эту пачку сигарет».

Это было единственное, что я могла сделать, чтобы выразить емуу свое сочувствие.

Чекист расхохотался и будучи в приподнятом настроении хлопнул себя по ляжкам.

«Черт побери! Вы шутите или действительно не узнали своего мужа?»

Я окаменела от ужаса. Дверь открылась, и вошел старик. Когда он подошел ближе, я поняла, что это действительно Сергей, но сломанный, постаревший, едва похожий на человека. Все это было невероятно. Я подошла к нему, обняла его и прошептала: «Сережа, милый, бедный Сережа».

Он посмотрел на меня в замешательстве, его измученное лицо задрожало от волнения. Вдруг он упал на колени, начал рыдать и целовать мое платье, мои колени, мои руки. Я успокоила его и усадила рядом с собой на скамейку. Мне было предоставлено всего десять минут свидания с ним после путешествия через пол-России, и нас предупредили говорить только о личных делах. Едва мы собрались, чтобы поговорить, как услышали объявление:

«Ваше время истекло. Одна минута на прощание».

«Елена, дорогая», — прошептал бедный Сергей, «спаси меня, если сможешь. Жизнь здесь ужаснее, чем кто-либо во внешнем мире может себе представить, хуже, чем я когда-либо мог себе представить. С нами обращаются как с животными, а не как с людьми. Заключенные здесь умирают каждый день, как мухи. Нас избивают и морят голодом. Елена, Елена, спаси меня. Я не проживу еще год в этом аду».

«Заткни глотку, сволочь!» — заорал на него чекист.

Я обещала Сергею сделать все, что смогу. С мучительным видением развалины, который был моим мужем, я вернулась в Харьков. Все колебания были стерты. Я не могла позволить ему остаться там только для того, чтобы спасти свою гордость и моральную чистоту. Я пошла к товарищу Т., и мы заключили сделку — я приму рабство ГПУ в обмен на свободу Сергея.

«Я заверяю вас, Елена Петровна, моим личным словом чести, что

вы никогда не получите назначения, которое может быть связано с «кровью и слезами», как вы однажды выразились. С другой стороны, вы заплатите головой, если когда-либо раскроете хотя бы малейшим намеком вашу связь с нами».

«Всегда помните», — ответила я, — «что я не собираюсь спасать своего мужа, чтобы отправить мужа или отца или брата какой-то другой женщины на подобную участь. Вы прекрасно знаете, что Сергей невиновен и что большинство других людей в этом адском месте также невиновны. Я позволю вам убить меня, прежде чем я стану участником любой такой несправедливости.

«И кроме того, я должна сохранить право уйти со службы. Я должна иметь это в письменном виде».

«Я понимаю, и я вам это обещаю, хотя я не могу дать вам что-либо в письменной форме. Вы должны доверять мне. У вас будет право уйти. Теперь давайте заключим сделку. Заполните эту анкету».

Это была анкета на десяти страницах. Ничего из моей жизни и взглядов, жизни и взглядов моих родных и друзей не было упущено из виду в вопросах. Я долго над ней трудилась и, наконец, подписала ее.

Помощник начальника ГПУ товарищ Т. просмотрел ее, сделал несколько пометок на полях и запер в своем сейфе. Затем он надел гражданское пальто и шляпу, и мы вместе вышли из управления.

Автомобиль доставил нас в расположенную в нескольких кварталах гостиницу «Интурист».

Там мы вышли.

«Я пойду один», — сказал он, — «а вы последуете за мной ровно через три минуты. Поднимитесь на пятый этаж гостиницы». Он назвал номер комнаты. Я буду там ждать вас. И не смотрите так ошеломленно. Сейчас я сотрудник ГПУ, а не мужчина, так что вам не нужно беспокоиться».

Через несколько минут мы были вместе в номере. Когда официант постучался, принеся еду и вино, я спряталась в соседней комнате.

«Умно», — похвалил меня мой начальник, когда официант ушел.

«Но здесь осмотрительность не так уж важна. Все в гостиницах, от управляющего до уборщиц, работают на ГПУ». За ужином он дал мне первые инструкции и своего рода ускоренный курс по методам ГПУ.

«К сожалению, пока вы не будете работать со мной», объяснил он. «Но когда-нибудь, по возвращении в Харьков, мы с вами вместе сотворим чудеса».

«Куда мне нужно будет отправиться в первую очередь?»

«Вы пробудете в Харькове несколько месяцев. Вам нужно многому научиться. Затем мы направим вас в Днепропетровск. Это хороший город. Из-за строительства большой плотины, строительства завода и других текущих объектов там сосредоточено много иностранцев — инженеров и специалистов из Америки и других стран, которые помогают нам строить заводы и фабрики. Работы предстоит много.

"Ты должна понять, что я рекомендовал тебя лично, а это значит, что я отвечаю за тебя. Если ты выкинешь какие-нибудь трюки, это будет списано на меня. Ты можешь думать, что ты в моей власти, но все наоборот, моя дорогая. Я в твоей власти. Если ты когда-нибудь совершишь честные ошибки, ты будешь прощена. Но да поможет тебе Аллах, если ты попытаешься обмануть нас или работать «налево», как говорится. Да, я в твоей власти, и поэтому я подумал, что было бы неплохо поговорить по душам прямо сейчас".

"Я слушаю", — сказала я.

«Мой первый совет, Елена Петровна, — тренируйте свою память, особенно зрительную. Никогда ничего не записывайте. Поймите это своим умом и удерживайте. Это навык, который приходит с практикой. Бумаги и заметки опасны. Запоминайте то, что вам нужно — имена, адреса, телефонные номера, факты. Память — ваш главный инструмент.

«Практикуйте свои иностранные языки. Это также ценные инструменты. И то же самое касается вашей красоты. Вы одна из самых привлекательных женщин на нашей службе, и часть вашей работы — поддерживать себя привлекательной. Не жалейте на одежду и косметику — это оправданная смета расходов.

«Время от времени вы будете встречаться с другими нашими работниками. Никому из них вполне не доверяйтесь. Никогда не упоминайте о характере вашего задания, даже мимоходом. Если вам приходится работать над каким-то заданием с несколькими другими людьми ГПУ, следуйте только тем инструкциям, которые относятся к вам, даже если они кажутся абсурдными. Это ваша единственная обязанность.

«Еще один важный совет, моя дорогая. Никогда не принимайте напиток, если его не налили в вашем присутствии и если ваш хозяин не выпьет его первым. И никогда не заводите дружеские отношения с любым человеком на нашей службе без явного одобрения вашего начальника и сообщайте о каждом вашем новом знакомстве, каким бы тривиальным и случайным оно вам ни казалось. У вас будет доступ к нашим специальным магазинам и купонам, которые дадут вам одежды и еды больше, чем это имеют обычные граждане. Стражи безопасности страны ни в чем не должны нуждаться, а вы теперь одна из нас».

«Еще один вопрос», - прервала я. «Когда мой муж будет дома?»

«Не волнуйтесь. Мы держим свое слово. У него будет хорошая работа в Днепропетровске, а вы будете работать архитектором».

Сергей действительно вернулся примерно через два месяца. Он разумный и добрый человек. Он знал, что я испытываю к нему только жалость, и что интимная любовь, в прежнем смысле, исключена. Эта часть наших отношений была убита советской властью. Он никогда не спрашивал меня, как мне удалось его вызволить - возможно, его подозрения еще ужаснее, чем ужасная правда.

Это было ужасное решение, которое мне пришлось принять. Но, Витя, если бы ты видел этот лагерь и во что превратился Сергей, ты понял бы, почему после многих лет сопротивления мне, наконец, пришлось сдаться. Я всего лишь одна из той армии многих тысяч, которые, таким образом, вынуждены выполнять приказы ГПУ. Мы неизвестны друг другу. В том доме, где ты меня видел, ни один посетитель никогда не видит других. Каждого отводят в отдельную комнату, и мы никогда не сталкиваемся друг с другом даже случайно. Тем не менее, я встречала некоторых из этих людей в ходе выполнения заданий. Среди них жены высокопоставленных чиновников и вообще известных людей.

Иногда их ловят на какой-то неосмотрительности и шантажируют, чтобы они пошли работать на ГПУ. Иногда работники ГПУ намеренно заманивают какую-то женщину в роман, а затем заставляют ее работать на них под угрозой доноса на нее мужу. Часто, женщин обвиняют в преступлениях, которых они не совершали; их подставляют так убедительно, что ни один муж не поверит в их невиновность. И поэтому они тоже иногда сдаются. У ГПУ существуют сотни, тысячи грязных трюков для создания армии сексотов и шпионов, Витя.

Немногие делают это только ради денег и власти. Обычно это происходит под каким-то непреодолимым давлением. Все это так жестоко и отвратительно.

"Так вот почему ты приехала в Днепропетровск, Елена?"

«Да, Витя. И вот так я встретила тебя, примерно через месяц после того, как переехала из Харькова. Я сообщила о нашем знакомстве — у меня не было выхода. Но больше ничего, Витя, милый».

«Твои начальники что-нибудь обо мне сказали?»

«Конечно. Но ничего компрометирующего тебя не было. Кажется, твое досье, что касается ГПУ, чистое. Ты все еще поражен и в ужасе, что я агент ГПУ?»

«По правде говоря, да. Потребуется время, чтобы оправиться от шока».

«И все же, Витя, ты коммунист. Как коммунист, ты обязан сообщать обо всем, что может быть вредно для партии, нравится тебе это или нет. Неужели, в конце концов, между этими миллионами добровольных осведомителей и теми, кто вынужден это делать, такая большая дистанция? Разве мы оба не пойманы в одну и ту же грязную сеть?»

«В том, что ты говоришь, есть доля правды, даже если сравнение — как бы это сказать? — примитивно. Вольно или невольно, мы оба фактически защищаем советское государство».

«Теперь, мой дорогой, когда я сделала роковой шаг, рассказав все тебе, моя жизньв твоих руках. Как добрый коммунист, ты обязан донести на меня. Но я прекрасно знаю, что ты этого не сделаеешь. Я бы ушла на край света, чтобы вырваться из когтей ГПУ: но у них длинные руки. Нет спасения, кроме

смерти. Я часто думаю о самоубийстве как о единственном выходе.

«Витя, милый, будь осторожен. Мы живем в стране, где все вокруг нас носят маску. Никому, никому не доверяй свои мысли. Я говорю не о дворниках и уборщиках, а о самых уважаемых людях в городе. Единственная безопасность — предполагать, что все без исключения доносят, доносят, доносят … Ох, Витя, я так устала и отчаялась. Я буду нежно любить тебя, даже если ты меня бросишь».

«Елена, не говори ерунды», — сказал я с порывом привязанности к пойманной в ловушку девушке. «Я несчастен только потому, что не могу тебе помочь. Это бесит, когда мужчина так бессилен помочь любимой женщине».

«Пойдем поплаваем», — предложила Елена. «От одного воспоминания о том, что я пережила, я чувствую себя покрытой чем-то липким».

Вода была теплой. Мы плавали в темноте, под дождем, среди вспышек молний и раскатов грома. Это было глупо и беспечно, но каким-то образом это, казалось, смыло ужас ее истории. Я вынес ее из воды в рыбацкий сарай и высушил, как ребенка. Затем я уложил ее спать в сладко пахнущее сено. Измученная эмоциями этого странного дня, она почти мгновенно уснула.

Утром мы сели на поезд и вернулись в город.

"Знаешь, Витя, - прошептала она мне, - я чувствую себя намного лучше, чище, теперь, когда ужасная тайна больше не существует между нами. Если только ты продолжишь любить меня, я буду счастлива, как никогда раньше".

Несколько недель спустя Елена поехала в Киев навестить свою мать, и я присоединился к ней там. В один солнечный день мы пошли на кладбище. Я выдернул сорняки с могилы ее отца и украсил ее принесенными цветами. Я принес с собой банку краски и покрасил решетки вокруг могилы и железный крест у изголовья. Елена не плакала. Пока я работал, она рассказывала мне о своем отце и своем счастливом детстве.

«Если бы чекисты узнали, что ты украсил могилу, они бы арестовали тебя, Витя», — сказала она по дороге обратно в город. «Даже после смерти опасно быть добрым к моему бедному невинному отцу. Но твой маленький человеческий поступок вызвал у меня любовь к тебе».

«В таком случае, стоило рискнуть», — сказала я.

«И это не мешает тебе быть хорошим коммунистом?»

«Нет, ни капельки. Может, я не очень хороший коммунист в этом смысле».

Мы пошли в Киевский парк, прежде называвшийся Царским садом. Там играл оркестр. Песня, тогда популярная, восхваляла «счастливую, свободную и радостную жизнь» советских людей. Елена и я посмотрели друг другу в глаза. Нам не нужны были слова, чтобы знать, что мы оба об этом думали.

ГЛАВА XII

ИНЖЕНЕР В НИКОПОЛЕ

Выпускной класс нашего института с волнением готовился к выпускному экзамену. Условием получения диплома был индивидуальный инженерный проект, принятый государственной комиссией, и мы напряженно трудились над своими проектами. Кроме того, мы много времени проводили на различных металлургических заводах, своего рода стажерском корабле. Больше всего нам был нужен душевный покой, отдых от политики.

Но судьба не распорядилась так — именно эти последние месяцы стали лихорадочными политическими драмами.

В лучшем случае в институте было мало академического спокойствия. Внешние задания и чистки серьезно подорвали нашу энергию. Иногда казалось, что учеба была всего лишь побочным занятием. Теперь даже это зыбкое спокойствие было нарушено: револьверный выстрел в далеком Ленинграде 1 декабря 1934 года ударил по нашим жизням в Днепропетровске с силой землетрясения. Выстрел был произведен в вестибюле бывшего Смольного института, ныне комитета партии в Ленинграде, молодым коммунистом по фамилии Николаев.

Сергей Киров, член Политбюро и фактический правитель Северной России, упал замертво у ног Николаева. Отголоски этого выстрела будут звучать много лет. Сотни тысяч жизней будут разрушены или полностью уничтожены, прежде чем они утихнут. Я сам заплачу годами страданий за этот акт террора, совершенный неизвестным молодым человеком.

Сталин и Ворошилов поспешили в Ленинград. Согласно историям, распространенным в партийных кругах, Сталин лично руководил интенсивным перекрестным допросом Николаева. Конечно, никто

посторонний не мог знать, что он узнал, но по его последующему поведению можно предположить, что Сталин был встревожен до паники.

Сотни людей в Ленинграде были схвачены и расстреляны без суда и следствия. Сотни других, вытащенных из тюремных камер, где они годами держались в качестве заложников, были убиты в знак официальной мести врагам партии. Местные тюрьмы были переполнены до отказа. Товарные поезда вывезли еще тысячи «политически чуждых элементов» из города в далекие места ссылки. Затем новый террор распространился на Москву, Киев, Харьков и, в конечном итоге, на всю страну.

В первых сообщениях о смерти Кирова говорилось, что убийца действовал как орудие подлых иностранцев — эстонцев, поляков, немцев и, наконец, британцев. Затем появился ряд официальных сообщений, туманно связывающих Николаева с нынешними и прошлыми последователями Троцкого, Зиновьева, Каменева и других коммунистов-уклонистов. Почти ежечасно круг тех, кто предположительно был замешан, напрямую или «морально», расширялся, пока не охватил всех и каждого, кто когда-либо высказывал сомнения относительно какой-либо сталинской политики.

Машина пропаганды была запущена на полную мощность. Забыв, что еще вчера они хвастались беспримерным единством своей "монолитной" партии, коммунистические лидеры и их пресса теперь истерично вопили, что в партии есть предатели, уклонисты, двуличные обманщики и саботажники. Были темные намеки на заговоры и сговоры с капиталистическим лагерем, который готовился к войне с Советским Союзом. Те из нас, кто хоть немного разбирался в политической погоде, знали, что кровавая бойня в масштабах Чингисхана вот-вот начнется. И мы были правы; следующие несколько лет должны были принести самый ужасающий официальный террор в советской российской истории.

В партийных кругах распространился слух, что поступок Николаева вовсе не был политическим - что он выстрелил из ревности, потому что Киров наставил ему рога, соблазнив его хорошенькую жену. Такие неофициальные слухи и официальная спланированная пропаганда соединились, чтобы окутать убийство тайной и догадками, которые не разгаданы и по сей день. Через некоторое время, Центральным Комитетом партии было выпущено официальное «закрытое письмо», которое было зачитано, под подпиской о секретности, на специальных собраниях активистов партии по всей стране. В

нем убийство Кирова было представлено как выражение далеко идущей борьбы против политики и лидеров партии врагами революции.

Но какова бы ни была непосредственная причина или более глубокие мотивы выстрела Николаева, для думающих коммунистов это казалось символом отчаяния под чугунной полицейской поверхностью жизни их страны. Каждый из нас знал горечь и отчаяние в своем собственном сердце. Иногда мы, коммунисты, даже осмеливались делиться своими сомнениями по двое и по трое. Потребовалось убийство одного из ближайших сотрудников Сталина, чтобы мы осознали, что наши личные печали были частью великой подземной реки недовольства, текущей через сердце огромной страны.

Внешне все было спокойно. Критики слева и справа были раздавлены, и великий Сталин, Наше Солнце, благосклонно сиял над объединенной партией.

Крестьяне, как и все население, были принуждены к угрюмому повиновению чекистскими расстрельными командами, концлагерями, и голодом. Больше не было слышно ни единого ропота протеста по поводу убийственного темпа индустриализации, элементарной нехватки продовольствия, лишений, многочисленных арестов. Но внутри себя, многие в партии и стране кипели от негодования. Под оцепенением безразличия, под коркой молчаливого отчаяния была горячая лава примитивного гнева.

Это должно было быть ясно остальному миру, чтобы дать меру обычной справедливости по отношению к русскому народу. Народ этот был бессилен в своих страданиях; ослаблен двадцатью годами войны, революции, недоедания и систематических преследований и террора; одурманен лозунгами и сбитый с толку ложью; полностью отрезанный от внешнего мира. Тем не менее, он никогда не одобрял жестокость своих советских правителей. Глубочайшая горечь была и в самой партии, потому что она была смешана с чувством вины и взбаламучена оскорбительной беспомощностью перед партийными лидерами и их могуществом.

Не случайно, что Николаев и те, кого обвиняли в прямом соучастии в его преступлении, были все молодые люди, продукты советской эпохи, в основном студенты. Традиционно, высшая школа России была рассадником

революционного идеализма. Теперь такой идеализм назывался контрреволюцией, но он все еще следовал в той же традиции.

Хотя ни слова об этом никогда не попадало в прессу, было общеизвестно среди коммунистов, что тысячи студентов были арестованы и сотни из них приговорены к смертной казни по делу Кирова. Достаточно было для группы студентов собраться в чьем-то доме на вечер танцев и развлечений, чтобы возбудить подозрения ГПУ.

Внезапное исчезновение студентов в нашем Институте не было необычным явлением. Мы не задавали вопросов. Мы делали вид, что ничего не замечаем. Но наши симпатии всегда были на стороне арестованных студентов, а не на стороне органов ГПУ. Все мы решили в глубине души держать язык за зубами, потому что говорить откровенно означало говорить в «антикоммунистическом ключе».

Мое личное разочарование было уже глубже, чем я осмеливался признать себе, не говоря уже о других. Именно по этой причине я избегал участия в политических спорах. Но, будучи человеком, и русским в придачу, я обнаружил, что время от времени говорю слишком много в кругу друзей, которым доверял, и проводил жалкие недели после этого, беспокоясь, не донес ли в ГПУ кто-нибудь из них на меня.

Убийство в Ленинграде вызвало трепет романтической надежды в студенчестве. Мог ли этот акт террора быть выражением действительно народного движения? Возможно ли, что ГПУ, при всей своей изощренности и всеохваченности, не смогло искоренить подпольную оппозицию? Мы, в конце концов, были частью нации, воспитанной на воспоминаниях о тайных революционных кружках в дореволюционной России, политических заговорах, выстрелах и метаниях бомб во имя свободы.

Это также вызвало холодок страха по нашим позвоночникам. Новые чистки были неизбежны. Первый знак намерений Политбюро, по сути, быстро обнаружился в объявлении, что все партийные билеты будут заново проверены и обновлены. Не называя это открыто чисткой, нас фактически подвергли бы расследованию еще раз, менее чем через год после всеобщей политической чистки.

Мой сокурсник по институту, товарищ М. был одним из немногих коммунистов, с которыми я иногда позволял себе откровенные замечания о

политических делах. Мы чувствовали определенную общность настроения, которая делала нас смелыми, когда мы были вместе.

Вскоре после смерти Кирова, М. пригласил меня встретиться с несколькими друзьями в доме Андрея С., студента, которого я знал лишь отдаленно. «Мы попьем чаю и поболтаем», - сказал он мне. Я колебался, идти ли - в небрежности приглашения была фальшивая нотка. Но, в конце концов, любопытство и моё расстроенное состояние нервов привели меня на встречу.

Андрей был высоким, бледным мужчиной лет тридцати, с открытыми чертами лица и глубоко посаженными голубыми глазами. Он был начитан и мог красноречиво рассуждать даже о таких неинтересных темах, как процессы производства стали. Его все любили и уважали. В его маленькой комнате тем вечером я нашёл М. и двух других студентов, оба из других институтов. Мы сидели вокруг нагретого самовара при тусклом свете одной лампочки и говорили без умолку, обходя тему, которая была у всех на уме, как будто оценивая друг друга. Я отметил любопытный факт, что все мы обращались друг к другу вымышленными именами. Это само по себе придавало собранию оттенок конспирации, одновременно пугающий и в какой-то мере интригующий. Игра с огнём для многих русских является увлекательным занятием.

Я был новичком в этом рискованном деле политических разговоров, но остальные, казалось, продолжали знакомую игру. Через некоторое время благоразумие было забыто. Когда мы разогрелись, обсуждая убийство Кирова, голоса стали более интенсивными, а глаза засверкали. Воспламененные собственными словами, мы скоро говорили о «тиране в Кремле» и сочувствовали «угнетенному русскому народу». Каким-то образом мне показалось, что я как будто заново переживал детское воспоминание: мой отец и его революционные друзья в жаркой политической дискуссии о царском гнете в нашей гостиной на улице Пушкина. ...

«Выстрел Николаева», - сказал Андрей, - «мы считаем актом провокатора». Это «мы» звучало зловеще; я не имел ни малейшего представления, кого он имел в виду. «Да, провокаторский поступок! Он был ненужным и вредным. Сталину нужен был исходный пункт, с которого он может начать погром, истребление инакомыслящего слоя партии--теперь он у него есть. Вопрос

теперь уже не в Николаеве. Он и его друзья обречены. Дело в том, что у кремлевской банды теперь есть идеальный предлог для ликвидации своих критиков и оппонентов до последнего человека.

«Запомните мои слова, товарищи. Многие тысячи, может быть, миллионы, заплатят за выстрел Николаева. Если до сих пор мы могли мечтать о свободе и демократии в партии, то эта мечта кончилась--кончилась, я вам говорю. Последняя надежда ушла! Россия скоро будет залита кровью!»

Он мерил шагами комнату в нарастающем волнении. Его страстность и его мрачные слова заразили нас всех. Мы чувствовали себя, как люди, попавшие на тонущее судно, и бурлящие воды уже подступают к нашим ноздрям. Андрей замолчал, покачнулся, словно пьяный, и продолжил:

«Сталин и Ворошилов лично присутствовали при пытках Николаева. Я знаю, товарищи. Им нужны были имена, имена и еще раз имена... пища для их расстрельных команд. И неважно, что именно чекисты выпытали из Николаева. Они напишут такое признание, которое нужно Сталину, и тогда массовое кровопускание пойдет гладко, теоретически оправданно».

Самым молодым членом нашей группы был маленький, анемичный на вид студент. Он казался странно красивым в своей хрупкости, когда он внезапно встал и начал декламировать стихи из поэмы поэта-декабриста Рылеева:

Я знаю, что смерть ждет

Того, кто первым восстает

Против утеснителей народа.

Уже меня ждет гибель …

Я умру за свою любимую землю,

Я чувствую это и знаю это. . . . .

Его изможденное лицо, казалось, преобразилось, когда он произносил эти слова. Он казался ожившим персонажем из великих революционных сцен Достоевского и Горького. Хотя это было вдохновляюще прекрасно, мне было глубоко жаль, что я позволил втянуть себя в это собрание. Все это было так пугающе наивно, непрактично, бессмысленно. Сама цель собрания оставалась для меня непонятной. Была прочитана запрещенная мимеографическая брошюра ведущего оппозиционера Слепкова, в которой

резко критиковались кремлевский диктатор и его клика; это была единственная интересная информация, которую я узнал на этом странном собрании. Как Андрей получил этот опасный документ, я понятия не имел. В любом случае, простого чтения брошюры было бы достаточно, чтобы отправить меня в сибирскую ссылку или лагерь, если бы ГПУ узнало об этом.

Было уже почти рассвет, когда мы расстались. Только когда я вышел бледным утром, пробираясь по снегу, я в ужасе осознал чудовищность того, что я сделал. Я был вовлечен в заговорщическую встречу, за которую тысячи других студентов по всей России платили своей свободой и своими жизнями. Если советские власти узнают об этом, то мне конец. Тем не менее, в то утро в Институте я все время искал глазами Андрея. Меня тянуло к нему, не вопреки опасности, а из-за нее. Мне не терпелось узнать о тех «мы», которые фигурировали в его речи всю ночь.

В час дня меня вызвали в партбюро. Я нашел там других, включая моего друга М. Секретарь партии выглядел серьезным, когда он закрыл дверь и встретился с нами. Я ожидал худшего.

«Товарищи», - сказал он, - «у меня для вас печальные новости. Я подумал, что лучше, чтобы вы узнали об этом сразу. Один из наших лучших товарищей покончил с собой сегодня утром, в своей комнате. Вероятно, из-за любовной связи или какой-то другой личной трагедии».

«Кто это?» - спросил я.

«Андрей С. Он был хорошим студентом и хорошим товарищем. Жаль...»

Когда мы выходили, М. нашел мою руку и сжал ее. Слезы катились по его щекам. Итак, страстный порыв бедного Андрея не был одной лишь позой:

«Последняя надежда исчезла! Россия скоро будет залита кровью!» Его пророческие слова эхом звучали в моей голове месяцами. К счастью для всех нас, это ночное заседание, когда мы слушали чтение стихов Рылеева, оставалось тайной на протяжении всех последующих лет чистки.

Хотя никто точно не знал, почему Андрей покончил с собой, Институт гудел от лихорадочных догадок. Все чувствовали, что каким-то таинственным образом его смерть была связана с убийством в Ленинграде и

с паникой страха, которая уже охватила всю партию и всю советскую бюрократию.

Проверка партбилетов не была публичной, как чистка. Вместо этого она носила характер полицейского расследования. Нас вызывали и допрашивали по одному. Когда подошла моя очередь, я вошел в кабинет в состоянии тревоги, от которой я весь покрылся потом. Что, если встреча в комнате Андрея за несколько часов до того, как он застрелился, была раскрыта? Вопрос был нелогичен — если бы ГПУ об этом знало, меня бы уже давно арестовали. Но большой страх, как и большая любовь, не знает логики.

«Садитесь, товарищ Кравченко», — сказал человек за столом.

«Дайте мне ваш партийный билет».

Я знал его как одного из активных коммунистов Днепропетровска. Присутствовали еще двое. Один был мне незнаком, но я понял, что второй, хотя и был в штатском, был из ГПУ.

Остальные допрашивали, но было очевидно, что на этот раз настоящим судьей был работник ГПУ. Перед ним лежала папка, предположительно мое личное дело, он время от времени заглядывал в нее и время от времени передавал какой-нибудь документ человеку за столом.

Это была знакомая линия допроса — ритуальное изложение моей биографии, друзей, кровных родственников и партийной работы. Однако, такое очень скучное повторение успокаивало. В частности, они хотели знать о тех, кто меня рекомендовал, когда я вступал в партию. Я назвал имена.

«Они все еще члены партии?»

«Да, насколько мне известно», — сказал я.

«Кто-нибудь из них когда-либо участвовал в каком-либо оппозиционном движении?»

«Если и участвовал, то мне об этом неизвестно».

«Товарищ Кравченко, не странно ли, что вы единственный в вашей семье член партии? Почему ваши братья и отец вне наших рядов?»

«Почему странно? В конечном счете, в нашей стране больше беспартийных, чем партийных».

«Его отец», — вмешался человек из ГПУ, — «занимался политической деятельностью до революции, но, видимо, большевики ему не по вкусу».

«Извините, товарищи», — сказал я, «но несправедливо делать такие предположения только потому, что люди не вступают в партию».

«О, я не хочу нападать на вашего отца. Я просто указал на факты», — сказал сотрудник тайной полиции с иронической улыбкой.

Допрос продолжался, возможно, час. По мере его продолжения я приобрел самообладание. Очевидно, мое досье было по-прежнему чистым. Я снова был в безопасности. Мой партийный билет был мне возвращен в конце собеседования. Но процедура оставила горький привкус во рту. Теоретически мы, коммунисты, были господами страны, «лучшими из лучших» среди строителей нового мира. На практике мы были беспомощными пешками в игре, которую вел коммунистический режим по правилам, которые он сам себе придумал.

Тысячи коммунистов в нашем Днепропетроске были исключены из партии. То же самое было и в каждом другом городе страны. И на этот раз исключение часто означало немедленный арест.

2

Мой дипломный проект — описание и проект новой трубопрокатной машины моего собственного изобретения — был не только оценен на «отлично», но и удостоен государственного патента. Хотя машина так и не была произведена, она поместила меня, по крайней мере теоретически, в категорию технических новаторов.

Здав письменные экзамены, я выдержал последний устный экзамен перед Государственной приемной комиссией. Выпускной банкет ознаменовал конец моей студенческой жизни. Мы ели, пили, пели и нагромоздили гору словесных штампов советского патриотизма. Один за другим ораторы подчеркивали тот факт, что мы получили образование за государственный счет и теперь должны начать отплачивать сторицей, служа пятилеткам во славу Партии.

И вот, наконец, я стал дипломированным инженером. Четыре года назад цель казалась озаренной славой. Каким-то образом слава ушла. Она

была омрачена деревенским террором и великим голодом, партийной чисткой и стеной цинизма вокруг меня. Последние жалкие остатки блеска были стерты для меня историей Елены и самоубийством Андрея и настроением отчаяния и тщетности, из которого они проистекали. Для такой пролетарской семьи, как моя, полноценный инженер был поводом для гордости. Я симулировал радость, которой не чувствовал. Моя мать, несомненно, видела насквозь мое притворство, но в свою очередь подыгрывала ему. Отец достаточно хорошо знал, что путь советского инженера был испещрен политическими ловушками; он был сдержан и даже обеспокоен. Для моих братьев Евгения и Константина, которые были равнодушны к политике, мой диплом означал просто шанс улучшить мое экономическое положение.

Гордость Елены была пронизана меланхолией. Ее привязанность и сочувствие помогли успокоить мой собственный встревоженный ум. Она ожидала перевода из Днепропетровска в Харьков, и теперь казалось вероятным, что и меня направят в какой-нибудь далекий металлургический центр. Никто из нас не был свободным человеком. Наши отношения, резко колеблющиеся между экстазом и печалью, были обречены пройти через ряд испытаний. Как бы я ни старался изгнать это, знание того, что она была сотрудником тайной советской полиции, всегда было призраком на пиру наших привязанностей.

Я послал копию своего дипломного проекта комиссару Орджоникидзе и получил теплый ответ. Я поддерживал с ним контакты в течение студенческих лет. И действительно, незаметно официальная связь переросла в личную дружбу.

Однажды, в 1933 году, у меня возникла идея постоянной Советской Промышленной Выставки, мало чем отличающейся от таких выставок в Германии. Я сделал предложение в статьях, которые были опубликованы в газетах, вместе с моей фотографией и редакционной статьей, восхваляющей такую «советскую инициативу». Затем я разработал подробный план в поддержку идеи, полный чертежей, и передал его в руки Орджоникидзе. Из этого предложения ничего не вышло, но мой кремлевский покровитель был доволен и в своей сердечной кавказской манере дал мне знать о своем удовольствии. Затем я выступил с аналогичным предложением о сельскохозяйственной выставке, которая имела более благоприятную

судьбу; некоторое время спустя она уже функционировала, хотя моя инициатива нигде не упоминалась.

Я мог бы обратиться напрямую лично к Орджоникидзе, как к человеку номер один в советской промышленности, с просьбой о приеме на работу, но я предпочел не злоупотреблять его дружбой. Вместо этого меня направили в распоряжение Трубосталя, металлургического треста, ответственного за производство стальных труб и некоторых других стальных изделий для всей страны. Его возглавлял Яков Иванченко, который некоторое время был директором завода имени Петровского-Ленина и поэтому хорошо меня знал. На совещании в его харьковском кабинете было решено, что я буду назначен на новый металлургический комбинат в Никополе, который должен был начать работу в апреле. Я не забыл грязь, неразбериху и горечь, которые я видел в Никополе, будучи партийным расследователем, и воспоминания были достаточно удручающими. Казалось невероятным, что завод вот-вот начнет производство, несмотря на все затраты и человеческие страдания. Никополь, как мне казалось, был символом всего процесса советской индустриализации — расточительного в трате человеческих жизней и материалов, варварского в своей неэффективности, но каким-то образом двигающегося вперед.

Моя мать и Елена махали мне с причала, пока судно, везущее меня в Никополь, не повернуло за изгиб Днепра. Я глубоко осознавал, что начинается новый этап в моей жизни. Мне было двадцать девять лет, преклонный возраст для начала инженерной карьеры, но я начинал около вершины, как один из руководителей крупного промышленного предприятия.

Теперь я за одну ночь превратился в одного из элиты советского общества, одного из миллиона или около того высших партийных чиновников, промышленных управляющих и чекистских функционеров, которые вместе взятые, были новой элитой России.

Никополь — это старинный город на Днепре, благоухающий рекой и окруженный пышными лесами и пшеничными землями. Он находится в районе, известном во всем мире как один из самых богатых источников марганца, металла необходимого для производства стали. Также поблизости находятся крупные месторождения железа, что делает его естественным центром металлургии. Улицы и дома Никополя вызывали ностальгические

отголоски моих детских лет с дедушкой Федором Пантелеевичем в соседнем Александровске, теперь известном как Запорожье.

К сожалению, сам завод находился далеко от города, в унылой пустыне. Его пять тысяч рабочих по большей части все еще были набиты в грубые бараки, лучше тех, что шокировали меня во время моего первого визита, но все еще больше подходящие для скота, чем для людей. Рядовые рабочие питались в огромной, антисанитарной, зловонной столовой; гораздо более чистый и лучше снабженный ресторан обслуживал лучших мастеров и инженеров; третий и довольно современный ресторан был в распоряжении горстки самых важных руководителей, которые, кроме того, получали достаточно еды для своего дома из продуктов, выращенных на территории фабрики. Эти резкие классовые различия были настолько обычными в советской России, что только иностранцы считали их парадоксальными в «пролетарской» стране.

Лично меня поселили в просторном пятикомнатном доме примерно в километре от фабрики. Это был один из восьми таких домов для использования самыми высшими администраторами. Мой был расположен среди высоких деревьев и имел приятный, ухоженный цветник, а также небольшой фруктовый сад сзади. Он был оборудован ванной, радио и даже солидным холодильником. В гараже стояла автомашина, и в моем распоряжении было несколько прекрасных лошадей — все собственность завода, конечно, но исключительно моя, пока я работал на этой работе, как будто я владел ими. Вместе с домом в мое распоряжение поступили шофер и конюх, а также Паша, женщина-крестьянка, которая занималась хозяйством и готовила еду; я платил женщине, остальным платил завод.

Мой заработок колебался от 1500 до 1800 рублей в месяц, хотя часто, с премиями, он доходил до 2000 и более. Что это означало в советских условиях, можно судить по тому факту, что бригадиры и квалифицированные рабочие, работавшие у меня, редко зарабатывали больше 400 рублей, в то время как простые неквалифицированные рабочие зарабатывали только от 120 до 175 рублей в месяц. Пролетарии, от имени которых управлялось советское государство, конечно, не пользовались ни одной из привилегий, предоставленных мне и, возможно, еще десятку людей во всем комбинате.

Я работал напряженно, всегда под ужасным давлением. День, когда я

проводил на заводе менее двенадцати часов, казался почти праздником, и были времена, когда я оставался на работе по сорок восемь или даже семьдесят два часа, урывая несколько часов сна на диване в своем кабинете. Но иногда, оставаясь один в своем прекрасном доме, с пышнотелой, румяной Пашей, готовящей мне на кухне вкусную еду, с государственным садовником, поливающим мой сад, с холодильником, полным свежих овощей, дынь, икры и сметаны, я чувствовал себя виноватым.

Я думал о мужчинах в бараках, об их детях, об их унылом безрадостном существовании. Как я мог их винить, если, как я предполагал, они возмущались мной, даже ненавидели меня, как одного из своих новых бар, своих новых господ? Как мне было донести до них, что этот контраст между их нищетой и моим комфортом не был моим выбором; что я тоже был всего лишь беспомощным винтиком в огромной машине коммунизма; что мое благоденствие было даром советского государства и могло быть отнято произвольно, без всякого предупреждения?

Я искренне хотел установить дружеские, открытые отношения с рабочими. Я понимал их; их нужды и надежды были мне близки. Но для инженера в моем положении общение с простыми рабочими могло оскорбить их гордость; это попахивало покровительством. Кроме того, руководство не одобрило бы такое братание, как вредное для дисциплины. Теоретически мы представляли "рабочую власть", но на практике мы были иным социальным классом. Глубокая пропасть пролегала между миром официальных лозунгов и миром реальности.

Тот же товарищ Брачко, который некогда отвечал за строительство завода, теперь был его директором. Время стерло часть дерзости из его характера и сделало его гораздо более приятным коллегой. Только Брачко и главный инженер Вишнев были выше меня в техническом управлении. В политическом плане ключевыми людьми были Алексей Козлов, глава заводского парткома, и товарищ Старостин, председатель профсоюза.

Козлов был пожилым человеком, вполне человечным, искренне заботящимся о благополучии рабочих. Но Старостин был карьеристом чистейшей воды, и к тому же глупым. Он выглядел таким же грубым и скользким, каким и был на самом деле.

К счастью, как профсоюзный деятель, он имел больше титула, чем власти. Поскольку профсоюзные функционеры не могли открывать рот, не говоря уже о том, чтобы принимать решения, без разрешения партии; они, как правило, были людьми не имеющими значения. Профессиональные рабочие организации при большевисткой диктатуре казались любопытным пережитком далекого прошлого. Это был даже не обман, поскольку никого не обманывала чепуха собраний и решений, и меньше всего рабочих. Только профсоюзные взносы, выплачиваемые из их мизерной зарплаты, были реальны для их членов. Влияние Старостина было настолько ничтожным, что любой высокопоставленный чиновник мог его игнорировать, но каждое слово Козлова, секретаря парткома, было законом.

Мы, руководители, естественно, очень часто общались друг с другом. Мы стали осознавать слабости и особенности друг друга. Секретарь Никопольского горкома партии Бродский, крупный крепкий мужчина, которого я знал по Днепропетровску, также пристально следил за нашим заводом. Что касается начальника Никопольской тайной полиции НКВД Дорогана, он следил за нами при помощи сотни глаз - через Особый отдел, секретный отдел на моем заводе, легионы профессиональных, добровольных и вынужденных осведомителей в каждом цехе, отделе и кабинете.

Дороган был грубым, вспыльчивым человеком с лицом бульдога; человек, высеченный из булыжника его Создателем, чтобы быть полицейским при любом режиме. ГПУ недавно переименовали. Оно уже не было Государственным Политическим Управлением (ГПУ или ОГПУ), а Народным Комиссариатом Внутренних Дел, сокращенно НКВД. Первоначально ЧК, затем ГПУ, теперь НКВД, изменения в названии не изменили ни методов, ни зловещей репутации этого «обнаженного меча советской власти». Людей, связанных с этой ужасной организацией, по-прежнему называли чекистами, исходя из первоначального названия, и в течение многих лет после того, как она стала НКВД, советские люди продолжали говорить о ГПУ.

Наши контакты с местным отделением НКВД были не столько с начальником Дороганом, сколько с его энергичным помощником Гершгорном, который руководил Экономическим Отделом НКВД по городу Никополь и его окрестностям. Этот Гершгорн занимает особое место в моем личном деле позора и унижений. Это был толстяк с маленькими бегающими глазками,

вделанными в жирное, бритое лицо, его голый бритый череп возвышался до точки, подобной горной вершине, он был то заискивающим, то грубо-оскорбительным, в зависимости от того, кто к кому обращался. Если в его натуре и была искра человеческой порядочности, я не видел никаких ее свидетельств за годы нашего неприятного знакомства.

Мой первый месяц был посвящен в основном сборке машин и другим предварительным работам по организации производства. Было два трубопрокатных цеха, на каждом из которых работало около полутора тысяч мужчин и женщин, и через некоторое время я полностью руководил одним из них. К концу июня производство было запущено. Мне нравилась эта ответственность, несмотря на все ее риски, и я едва оставлял себе достаточно времени на сон в своем стремлении, чтобы работа шла в три смены. Время от времени, когда я проходил по заводу и чувствовал, что все идет гладко, я чувствовал себя невыразимо счастливым. В такие моменты я знал до мозга костей, что подразумевается под «радостью труда».

Если бы только было меньше сексотов и соглядатаев, меньше подозрений, меньше того липкого страха, который парализовал умы людей и так сильно давила на их дух!

Я прекрасно знал, что за каждым моим шагом следят и его фиксируют, не только в том, что касается работы завода, но и моей личной жизни. Я считал само собой разумеющимся, что мой личный секретарь, женщина средних лет по фамилии Тувина, кислая и деловая, докладывает обо мне куда следует; также мой шофер, моя горничная, по крайней мере, один, а может быть, и больше моих помощников. Я задвинул это знание в глубины своего сознания, но оно всегда было там, как зуд, вторгаясь в мою работу и мысли.

Неоднократно я обнаруживал, что каждое мое слово, произнесенное на каком-то рутинном производственном совещании, которое я созвал, было известно Хантовичу, начальнику Особого отдела, а через него, конечно, и Гершгорну с его бегающими глазками. В этих совещаниях не было ничего секретного или примечательного; я бы с радостью представил их протоколы для всеобщего обозрения. Именно техника шпионажа заставила меня почувствовать себя липким от отвращения. Именно потому, что я никогда не считал себя потенциальным «вредителем», этот шпионаж казался мне оскорбительным до такой степени, что вызывал даже негодование.

Ни один промышленный процесс не работает с абсолютным совершенством. Машины ломаются, совершаются ошибки, уставшие люди становятся небрежными, производственные планы слетают наперекосяк. Это особенно касается совершенно нового завода, использующего в основном импортное иностранное оборудование и укомплектованного в основном неопытными рабочими, недавно приехавшими из деревень. Тем не менее, после каждого неприятного инцидента, немедленно являлись НКВДавцы вынюхивать запах «саботажа» и «вредительства». В кабинетах Особого отдела проводились открытые допросы, часто тайные ночные допросы и запугивание в управлении НКВД в городе.

В случае аварии, даже самой незначительной, я велел вызывать себя, даже если это означало разбудить меня среди ночи. Но как бы быстро я ни мчался на место происшествия, НКВДавцы всегда были впереди меня, мрачно подозрительные, иронично обвиняющие.

Такова была атмосфера, в которой мы работали с самого начала. Старые инженеры и административные служащие считали ее естественным климатом советской промышленности и шутили про себя о вездесущих «писателях» на предприятиях. Я так и не смог полностью к ней привыкнуть. И это состояние было суждено ухудшаться с каждым месяцем, поскольку Великая Чистка, вырастающая из смерти Кирова, набирала силу. В течение года Никополь казался не столько промышленным предприятием, сколько охотничьим угодьем для чекистов и их тайных доносчиков.

3

Моя мать приехала ко мне в гости. На нее произвел впечатление элегантный дом, с его прекрасной мебелью, множеством современных удобств и особенно тем, что у меня было пять комнат, полностью в моем распоряжении. Ее второй сын, безусловно, «проложил себе дорогу в мир»! Кухня с ее вместительным холодильником и обильными припасами притягивала ее, как магнит. Когда я пригласила коллег на ужин и вечеринку в ее честь, она настояла на том, чтобы готовить самой.

Паша с восхищением смотрела, как мать ее работодателя готовила особые блюда, которые он любил с детства.

После ужина заглянуло еще несколько гостей, среди них бригадир и несколько рабочих с завода. Все обращались с моей мамой очень галантно. В

какой-то момент она прошептала мне на ухо: «Тебя здесь любят, Витя. Я вижу по тому, как они ведут себя. Это хорошо, очень хорошо!»

На следующее утро, прощаясь с мамой, я попросил ее не слишком скучать; я вернусь домой очень поздно. Я и не подозревал, что у нее есть свои планы на день. Первые намеки на ее деятельность пришли ко мне в тот же день. Один из инженеров сказал, что видел мою мать в столовой, разговаривающей с поварами и официантками. Видимо, кто-то дал ей пропуск, подумал я, и женское любопытство привело ее прямо на кухню.

В ту ночь я вернулся так поздно, что мама уже спала.

На следующий день мне снова сообщили, что она находится на территории фабрики — «бродит с блокнотом в руке», как выразился мой информатор. Я слышал, что она прошла по баракам, кооперативным магазинам, детским яслям. У меня был самый тяжелый день на работе, без умственного отдыха, чтобы беспокоиться о «бродяжничестве» моей матери.

Когда я пришел домой вечером, я обнаружил ее сидящей за моим столом, в очках в стальной оправе, низко нависших над ее крошечным носиком, и записывающей в блокноте очень деловым образом. Я не задавал вопросов. немного тревожно ожидая, когда она сделает первый ход. После еды, когда Паша убрала со стола, мать объявила: «А теперь, Витя, я хочу поговорить с тобой — серьезно».

«Хорошо. Что тебя беспокоит, мама?»

Как директор, отчитывающийся перед своим правлением, она сообщила мне, что провела тщательную проверку фабрики: ее жилые помещения, ясли, клубы, бани и гигиенические помещения. Ее голос был полон упрека.

«Я в шоке от того, что я увидела», — резюмировала она. «Ты понимаеешь, как у вас здесь относятся к рабочим? Что касается вас, директоров и чиновников, то у вас всего достаточно, но когда дело касается простых рабочих, то только грязь и пренебрежение. Кухня отвратительная. Меню убийственно однообразное. А что касается бараков — скажите, вы действительно считаете их пригодными для советских рабочих?»

«Зачем на мне отыгрываться? Я делаю все, что могу. Ответственность вряд ли лежит на мне».

«Ты здесь один из руководителей, Витя, и должен чувствовать себя ответственным. Посмотри, как ты живешь — неужели контраст никогда не терзает твою совесть?»

«Боюсь, ты не понимаешь, мама. Мы, чиновники, а не начальники в старом смысле. Приказы идут из центра, и мы связаны по рукам и ногам. Я приказал побелить столовую. Я настаиваю, чтобы ее чистили три раза в день, после каждой смены. За пределами таких мелочей я беспомощен. Вопросы тарифных сеток, жилищных проектов, бюджетов, фиксированных цен на одежду и обувь — все это решается в Москве. У меня руки заняты изготовлением труб».

«По крайней мере, ты должен знать факты! Я сделала записи, и вот они. Ты знал ли, что женщины должны ехать или идти в город, четыре километра и больше, чтобы сделать покупки? Почему здесь нет рынка, на который колхозники могли бы привезти свою продукцию? Я вижу, у тебя есть прекрасная белая ванна для тебя одного. Но у рабочих, тысяч из них, есть только мерзкая дыра, которая не заслуживает названия ванны, и даже она не работает. На таком заводе, который стоит десятки миллионов, почему бы не построить приличные бани, как для мужчин, так и для женщин? И вот еще один пример, Витя: ясли. Не хватает белья, не хватает лекарств, не хватает всего».

«Ты рисуешь картину чернее, чем она есть», - слабо сказал я. Я не сомневался, что моя мать права.

«Я не виню тебя, сынок, но, может быть, если бы ты знал и если бы другие директора знали, то что-то бы с этим сделали».

К этому времени деловая манера матери рухнула. Это была поза, которую она не могла удерживать слишком долго. Ее глаза наполнились слезами. Она была ранена тем, что увидела, — ранена самим контрастом с комфортом, окружавшим ее сына.

Через несколько дней после того как она уехала обратно в Днепропетровск товарищ Козлов созвал совещание технических, партийных и профсоюзных работников. К моему прибытию партком был переполнен. На повестке дня стоял только один вопрос, говорил Козлов, а именно условия жизни наших

рабочих. Я был взволнован. Вот, раньше чем я надеялся, появилась возможность изложить администрации факты, которые собрала для меня моя мать! Какое удачное совпадение, подумал я.

Многие говорили в общих чертах, которых требовала тема. Конечно, условия были отвратительными, но что можно было сделать? Когда пришла моя очередь, я смог перейти к делу. Лекция моей матери была свежа в памяти, и я фактически продолжил повторять ее выводы.

Я обнаружил, что повторяю не только ее факты, но и ее гнев, ее печаль, ее упреки. Очевидно, большинство моих слушателей были так же тронуты, как и я несколько ночей назад. Мы могли бы сделать так много, сказал я, даже с теми средствами, которые у нас есть, если бы мы не были так заняты «своими собственными делами». Давайте начнем рассматривать повседневные проблемы рабочих также как «свои собственные дела», — призвал я.

Откуда у Кравченко столько информации? — спросил кто-то.

«О, это его мать», — заговорил Старостин, глава профсоюза; в его голосе послышалась нотка насмешки. «Разве вы не знали? Она — самопровозглашенный сыщик, которая все проверяет и обнюхивает, как барыня в своем поместье. . . . «Важная дама» думает, что владеет Никополем, потому что ее сын — один из руководителей. Мы понимаем такое любопытство...Создает политический капитал для своего сына.»

Поднялся общий шум. Все говорили одновременно. Кровь бросилась мне в голову, и я онемел от ярости. Козлов сжал мою руку, чтобы удержать меня.

«Товарищи, замолчите!» — он ударил по столу. «Товарищ Старостин говорит как идиот. Мать Кравченко не барыня, и он это знает. Она жена старого рабочего, ветерана 1905 года с революционным тюремным прошлым. Вам, Старостин, должно быть стыдно нападать на нее. Неужели вы прикрываете свою собственную лень и равнодушие к условиям труда рабочих?»

Раздался хохот. Председатель профсоюза был настолько презираем, что возможность высмеять его с разрешения партийного секретаря была слишком хороша, чтобы ее упускать.

«Я случайно знаю, что старушка пыталась встретиться с вами, товарищ

Старостин, но вы ее не приняли», — продолжил Козлов. «Без сомнения,

вам было плевать на такую ерунду, как клопы в бараках и грязные пеленки в яслях. Но я с ней поговорил — она проявила советскую инициативу, которая имеет большое значение».

Так значит моя мать не только все осмотрела, но и обратилась к высшим должностным лицам со своими выводами! Эту часть она мне не раскрыла.

И эта конференция была не совпадением, а прямым результатом ее «любопытства». Доброта и мужество этой женщины! Несмотря на смущение, которому она меня подвергла, мое сердце переполнилось привязанностью к ней.

В последующие месяцы наивное заступничество моей матери принесло некоторые плоды. Возле завода был устроен колхозный рынок. Детские дома были убраны и снабжены большим количеством белья. Были объявлены планы постройки новой бани. Было сделано еще несколько мелких улучшений. История о кампании матери Кравченко в их пользу распространилась среди рабочих, и ее сын разделил скромную «славу».

4

Однажды ночью в городе я увидел свою старую деву-секретаршу, товарища Тувину, выходящую из здания Никопольского НКВД. Я никогда не сомневался, что она доносит на меня; шпионить за своим начальником — основная работа советских секретарей. Но знать это — одно, а наткнуться на доказательство — совсем другое. На следующий же день я дал указание нашему отделу кадров убрать эту женщину из моего кабинета и рекомендовать кого-то другого, желательно мужчину.

Через несколько дней ко мне в кабинет вошел мужчина лет тридцати двух с запиской от начальника отдела кадров. Его внешность была примечательной. Первое слово, пришедшее мне в голову, когда я поднял на него глаза, было «пугало». Он казался скелетом, обвешанным тряпками. Его ботинки были рваными, брюки заплатанными, куртка грубо сшита из мешковины. Даже в наших советских условиях он был образчиком крайнего убожества. Но его изможденные черты лица были чисто выбриты и даже привлекательны, под белокурыми седыми волосами на висках.

«Я знаю, как я выгляжу, товарищ Кравченко», — сказал он, «но прошу

вас не держать на меня зла. Видите ли, я только что вернулся из лагеря, отсидев четыре года. Отдел кадров это знает. Если вы дадите мне шанс, я знаю, что вы найдете мою работу удовлетворительной».

Он говорил как интеллигентный человек. Мое первоначальное отвращение сменилось жалостью. Бедняга, видимо, пережил какое-то страшное испытание. Я позвонил, чтобы ему принесли чай и бутерброды. Он старался сдерживаться, ел медленно и небрежно, но было видно, что он голоден. Пока мы разговаривали, у меня зазвонил телефон. Это был Романов, важный и симпатичный чиновник из другого ведомства. Хотя он и не был членом партии, Романов пользовался доверием начальства, начиная с Козлова.

«Виктор Андреевич, — сказал он, — я бы счел за личную услугу, если бы вы взяли на работу гражданина Громана, который сейчас у вас в кабинете. Несмотря на его неудачи, он надежный человек».

«Вы давно его знаете?»

«Нет, но я могу за него поручиться».

«Спасибо, очень любезно с вашей стороны сообщить это мне».

Пока Громан ждал в приемной, я позвонил в НКВД, и меня соединили с Гершгорном. Я был обязан сообщить ему, поскольку мой секретарь будет заниматься важными официальными документами. Когда я рассказал ему эту историю, он попросил меня подождать минуту. После короткого перерыва он вернулся к телефону и заверил меня, что не возражает, если я найду этого человека в остальном приемлемым.

Когда я сказал изможденному бывшему заключенному, что он может явиться на работу через день или два, он впервые улыбнулся. Он был смущен и благодарен. Я дал ему достаточно денег авансом и поручил заводскому магазину выдать ему необходимую одежду. Я также помог ему через своего помощника найти пригодную для проживания комнату в одной из фабричных квартир.

Громан быстро показал себя как умный и эффективный человек. Он снял с меня много мелкой работы. Теперь он был лучше одет, его кости медленно обрастали плотью, его глаза ожили, он казался человеком, родившимся заново. Он часто приходил ко мне домой по работе, и иногда я отвозил его домой после работы. Наши отношения были на простой человеческой

основе. Я поблагодарил Романова за рекомендацию первоклассного секретаря.

Прошло много недель. Однажды утром Громан не явился на работу. Я предположил, что он заболел. Когда он не появился на следующий день, я забеспокоился и решил послать кого-нибудь к нему домой в конце рабочего дня, чтобы узнать, что случилось. У него не было телефона. Разбирая некоторые бумаги, сложенные стопкой на моем столе, я наткнулся на пачку листов, исписанных от руки и скрепленных вместе. Я узнал почерк Громана. Инстинктивно я не стал прикасаться к листам, когда прочитал первые слова:

«Дорогой Виктор Андреевич, когда вы прочтете эти слова, меня уже не будет в Никополе. Я попытаюсь сбежать из этой страны ужасов. Даже смерть будет лучше, чем жизнь раба...». Я покрылся холодным потом. Нервно запер дверь. Затем я надел перчатки и взял письмо. Это был необычный документ. Хотя я не помню всех слов, суть осталась запечатленной в моем сознании:

«Благодарю вас от всего русского сердца за все, что вы для меня сделали. Ваша доброта пробудила во мне чувства человечности, которые, как я думал, уже давно умерли. Это, собственно, одна из причин, по которой я решил бежать. Если Бог со мной, я перейду границу. Если меня поймают, меня, конечно, расстреляют.

«Я ненавижу советский режим и его Чеку лютой ненавистью. Хотя я не совершил ни одного преступления — если только любовь к свободе не является преступлением — я прошел через их камеры пыток и тюремные изоляторы. Когда меня освободили, я понял, что моя свобода будет недолгой и что я даже не смогу найти работу, если не отдам себя на службу своим палачам. «Вечером перед встречей с вами я только что прибыл в Никополь из концлагеря, как мне было приказано. Я пошел в НКВД и был доставлен к Гершгорну. Вот как я попал к вам. Все, что произошло, включая рекомендацию Романова, было частью отвратительной комедии, жертвой которой вы стали.

«Я согласился работать сексотом. Ненавидя всех коммунистов, мне показалось, что это шанс отомстить, втянув нескольких из них в неприятности, чем глубже, тем лучше. Я считал вас своей первой жертвой. Но очень скоро я стал уважать вас и ненавидел себя за то, что я планировал с вами сделать.

«Я хочу, чтобы вы знали, что через некоторое время я стал главным чекистским осведомителем, насколько это касается вас. Как только человек прошел через чистилище НКВД, ему доверяют. Эти исчадия Сатаны знают, что страх сохранит их человеческие орудия покорными. Каждый день другие сексоты, которые заполняют ваш завод и кабинеты, доносили мне. Примерно раз в неделю я собирал их информацию в подробный отчет о вашей работе, ваших словах, ваших друзьях, даже выражении вашего лица, а также о погрешностях в работе вашего завода.

«Хотя сами «стукачи» не знали друг друга, я знал их всех. Самое меньшее, что я могу сделать в благодарность за ваше сочувствие, это раскрыть их вам».

Последовал список. В него входил Романов, тот самый добродушный Романов, которого мы все любили и которому доверяли за его мягкие, отеческие манеры. В него вошли несколько моих ближайших коллег по заводу, бригадиры, простые рабочие, продавцы в комиссионном магазине. Сеть чекистских осведомителей была раскинута по всем цехам и учреждениям завода, охватывая все стадии технологического процесса.

«Остерегайтесь этих людей, Виктор Андреевич! Они не уважают истину. Их карьера зависит от раскрытия заговоров, и их искушение состоит в том, чтобы придумывать заговоры, чтобы раскрыть их. Вы должны знать, что люди, физически сломленные и психологически деморализованные чекистами, сделают все, что угодно, признаются в чем угодно, обвинят кого угодно. Вокруг вас есть несколько таких, — он снова назвал мне имена, — «потому что я был не один.

«Я полагаю, вы заподозрите, что это письмо — ловушка. Я не могу вас винить. Я могу только поклясться Богом и моей святой матерью, что я говорю правду, что я пытаюсь искупить недели шпионажа за человеком, который был добр ко мне и внимателен к человеческой искре во мне. Поверите ли вы мне или нет, я оставлю на ваше усмотрение.

«Если вы передадите это письмо Гершгорну, он скажет, что я лжец, и немедленно перетасует свою сеть осведомителей и доносчиков. Но если вы сможете заставить себя доверять мне, уничтожьте письмо, притворитесь возмущенным моим таинственным дезертирством, и они никогда не заподозрят, что я их предал.

«Что бы вы ни решили, я умоляю всем, что для вас свято, дать мне хотя бы один день, прежде чем сообщать о моем отсутствии. Дополнительный день может оказаться разницей между жизнью и смертью. Я умоляю вас на коленях, дорогой Виктор Андреевич.

«Спасибо за все, что вы для меня сделали. Спасибо за то, что помогли возродить достойного. человека, которого большевистские палачи почти уничтожили. Если я останусь жив, я буду молиться за вас всегда».

Какое-то внутреннее чувство побудило меня довериться беглецу. Возможно, я пришел к доверию тому типу ума, который он мне открыл в наших случайных разговорах за последние недели. Несмотря на эту внутреннюю уверенность, я чувствовал, что играю в азартные игры с самой своей жизнью, когда переписывал имена, которые он мне дал.

Затем я сжег письмо, тщательно удалив все следы пепла.

К концу дня я отправил курьера на дом к Громану. На следующее утро он сказал, что семья, с которой жил Громан, сообщила, что его не было дома два дня. После этого я позвонил в отдел кадров и с притворным гневом, спросил, почему они не могут найти мне более надежного секретаря. Это был третий день, когда он отсутствовал, даже не дав объяснений, пожаловался я.

В течение часа сам Гершгорн с еще одним чекистом в униформе, прибыл в большом волнении. Они задавали мне вопросы, обыскали стол Громана и ушли. Спасся ли беглец, этого я никогда не смог узнать.

Вероятность прокрасться через советскую границу очень мала, но сотни людей совершили этот подвиг.

Информация о стукачах вокруг меня была полезной. Она позволяла мне обезопасить себя, а иногда и других. Если я хотел, чтобы что-то незамедлительно достигло ушей тайной полиции, мне нужно было просто небрежно упомянуть об этом в пределах слышимости стукача у печей, доносчика в инструментальном отделе, начальника отдела отделки, инженера Макарова, бригадира Юдавина, профсоюзного функционера Иванова, который был помощником Старостина. Общаться с Романовым стало мучительным занятием, но я не мог отказаться от этого, не вызвав подозрений.

Преемницей Громана стала молодая, симпатичная и трудолюбивая комсомолка. Несомненно, что она подхватила шпионские нити там, где их оставил несчастный Громан.

Имя моего шофера было в списке Громана, что меня не удивило. Он подчинялся непосредственно Информационному отделу НКВД, а не Экономическому отделу Гершгорна. Но имени моей горничной Паши в списке не было. Однако со временем я узнал, что это была оплошность или что Громан просто не знал о ней.

Однажды, когда Паша прожила у меня дома почти год, я вернулся из поездки в Москву. Она помогла мне распаковать два чемодана. Я купил ей несколько подарков — яркую узорчатую шаль, несколько пар хлопчатобумажных чулок, пару домашних тапочек. Она приняла их, как мне показалось, со странной сдержанностью. «Тебе они не нравятся, Паша?» — спросил я.

«О, да, нравятся, и я очень благодарна, Виктор Андреевич».

Но в тот же вечер, подав мне ужин, Паша вошла в столовую с подарками. Она громко плакала по-крестьянски.

Я поднял на нее вопросительный взгляд.

«Я не могу принять эти вещи, Виктор Андреевич», — всхлипнула она. «Пожалуйста, пожалуйста, заберите их обратно».

«Хорошо, но скажи мне почему. В чем тайна?»

«Прости меня Бог», — перекрестилась она, — «но я не могу вам сказать. Только не заставляйте меня принимать эти подарки».

После некоторых уговоров и обещания хранить тайну, она все же мне рассказала.

В итоге получилось следующее: она не могла принимать подарки от хорошего человека, будучи доносчиком на него.

«Да, с тех пор, как я приехала сюда, я раз в неделю отчитываюсь в НКВД», — сказала она. «Я приехала из деревни и получила работу. Но как только я устроилась в вашем доме, мне приказали явиться в НКВД и сказали, что делать. Я отказалась, заплакала и сказала, что это противоречит моей вере,

но человек в униформе только сказал: «Паша, не будь дурой. Ты хочешь, чтобы твой отец вернулся из ссылки, не так ли? Ну, если ты будешь служить нам хорошо и преданно, мы посмотрим».

«Раз в неделю я иду в частный дом в Никополе и рассказываю все, что знаю, особенно, кто сюда приезжает и что они говорят. «А они ругали правительство?» — спрашивают меня, и я всегда крещусь и говорю: «Нет, наоборот». Они смеются, когда я крещусь, безбожники!»

Я заверил бедную Пашу, что она получила мое прощение. Я никогда не упомяну того, что она мне сказала, при условии, что она тоже будет держать язык за зубами. Я даже убедил ее, что будет правильно принять мои подарки, теперь, когда она доверила мне свои тайны.

В течение всего моего пребывания в этом доме, Паша продолжала докладывать обо мне. Мы никогда не упоминали ее слезной исповеди. Но несколько раз она задавала мне вопросы, направленные, как я был уверен, на то, чтобы выяснить, желательно ли, чтобы она сообщала в НКВД об определенных инцидентах. Я ясно дал ей понять, что мне нечего скрывать и что, в любом случае, то, что не сообщит она, будет сообщено другими.

5

Обычно в Никополе было несколько иностранных инженеров, в основном американских, для установки импортного оборудования и повышения его эффективности. Для советских, как для низко-, так и для высокопоставленных, они были одновременно объектами очарования и страха. Общаться с ними — устанавливать «контакты с классовыми врагами» — было опасно, но сама аура опасности придавала иностранцам некую необыкновенность. Хорошо одетые, раскованные в своей речи и поведении, они казались существами с другой планеты. Полное бесстрашие, с которым они работали и говорили, и даже критиковали в определенной степени, как будто не было ни НКВД, ни Гершгорна, ни стукачей, - казалось самым замечательным в них.

Когда товарищ Брачко предложил мне взять двух американцев к себе домой, я был откровенно встревожен. Они были из местечка Янгстаун. Им предстояло проработать в Никополе несколько месяцев. Местная гостиница была грязной и убогой. Как холостяк с большим домом, я не мог отказаться

принять их. Но я боялся осложнений, вызванных этим вынужденным «контактом с чуждыми классовыми элементами».

Ларри и Джо были два высоких блондина, сбитых с толку окружающей их серой обстановкой и, очевидно которым здесь давно наскучило. За те месяцы, когда они были у меня в доме, мы подружились, несмотря на языковые трудности. Ни разу ни один из них не затронул политические вопросы. Советскому гражданину, для которого политика и жизнь почти одно и то же, это равнодушие казалось не только невероятным, но и противоестественным. Умы этих американцев были сосредоточены на работе. Когда разговоры о работе иссякали, они рассказывали анекдоты, играли в карты и искали «вечеринки» или развлечений. Общительные и предельно откровенные в отношениях с другими людьми, они никогда не могли понять, почему их всегда оставляли одних, почему их так редко приглашали люди, с которыми они работали на заводе.

Ларри и Джо были со мной уже несколько недель, когда Гершгорн позвонил мне рано утром.

«Сегодня ваши американцы отправляются на охоту», — сообщил он мне.

«Понятно. И что же?»

«Я хочу, чтобы вы позвонили мне, как только они уйдут. Передайте своей прислуге, чтобы она взяла выходной и не возвращалась раньше пяти».

После завтрака американцы в приподнятом настроении отправились в горы.

Они хлопали меня по спине в своей восторженной манере и обещали принести мне все, что смогут унести. У меня не было выбора, кроме как позвонить в НКВД, как это было мне велено. Около одиннадцати прибыл Гершгорн в сопровождении другого чекиста. Они вошли в мой дом, как будто он был им хорошо известен, и ходили по нему, как будто знали каждую деталь его устройства. Тревожная мысль пришла мне в голову: вполне вероятно, что они достаточно часто обыскивали это место в моё отсутствие!

В комнате, которую занимали мои гости, чекисты провели кропотливый обыск. Они осмотрели внутреннюю часть карманов, брючные ремни, манжеты рубашек, лацканы пальто, подошвы обуви, все, что могло предположительно служить тайником. Все книги, журналы, блокноты, письма были тщательно изучены. Некоторые вещи были сфотографированы;

каждое местное имя или телефонный номер были тщательно переписаны. Гершгорн, казалось, был особенно заинтригован американскими бритвенными наборами. Он сжимал и тряс бритвенные ручки, изучал щетки и щупал тюбики с кремом, возможно, убежденный, что это были наиболее вероятные хранилища американских секретов. Напарник Гершгорна не был местным сотрудником; по-видимому, он хорошо знал английский.

К четырем часам обыск был завершен. Чекисты ничего для себя не нашли, так как на их лицах не было радости открытия.

«Вы, конечно, понимаете, товарищ Кравченко, что ни одно слово об этом не должно быть известно», — сказал Гершгом. «Если произойдет утечка, НКВД возложит на вас прямую ответственность. Подпишите это обязательство».

Это была форма, с которой был знаком любой, кто имел дело с советской тайной полицией: «добровольное» обязательство держать рот закрытым. Когда они ушли, я бродил по дому, подавленный, чужой в собственном доме. Мне было стыдно встречаться с американцами, когда они вернулись, и я нашел причину, чтобы отсутствовать в тот вечер.

Ни один из американцев, я уверен, не имел ни малейшего подозрения, что его вещи были осмотрены; или, если на то пошло, что каждая минута его пребывания в советской России наблюдалась и записывалась. Однажды, спустя много времени после того, как двое американцев покинули Никополь, Гершгорн позволил мне взглянуть на их досье. Оно содержало, среди прочего, фотографические снимки, показывающие этих американцев в откровенных сексуальных положениях с разными обнаженными девушками в гостинице в Москве. Они и представить себе не могли, находясь в том гостиничном номере, что скрытые операторы снимают их на пленку. Гершгорн похотливо чмокал толстыми губами, показывая один непристойный снимок за другим.

«Но зачем вам это?» — спросил я. «К этому времени они уже вернулись в Америку».

«Да, они вернулись в Америку. Но вы можете быть уверены, что вернувшись домой, они не напишут там непозволительную ложь про нашу советскую страну, как это делают некоторые американские ублюдки, взяв наше золото и съев нашу лучшую еду».

Был еще один американский инженер, чьи приключения в Никополе остались в моей памяти, по имени Ленц, мужчина среднего роста и крепкого телосложения. Его прислали устанавливать нам американское оборудование. Хотя ему предоставили двух переводчиков, я предпочел общаться с ним через одного из моих людей на заводе, Юрьева, который знал немного язык.

Одной из переводчиц Ленца был днепропетровский сотрудник НКВД, привезенный в Никополь по этому случаю. Этому сотруднику было лет тридцать, она была бойкой и с недурной внешностью. Она без труда выполняла свои задания. Вскоре ни для кого не было тайной, что Александра живет с Ленцем. Она носила шелковые чулки, импортные сумочки и другие красноречивые подарки. Однако НКВД, должно быть, решил, что одной женщины недостаточно, и добавило в число переводчиков Ленца молоденькую Наташу. Наташа была дочерью священника, сосланного в Сибирь много лет назад и поэтому была хорошо известна в городе. Ей еще не было двадцати и она была хорошенькой. Через Юрьева я узнал, что НКВД заставил ее быть переводчицей у Ленца угрозами касательно ее отца и обещаниями разрешить ему переписываться с ней.

В одно приятное воскресенье американец, его два переводчика и их предполагаемый друг, «моторист», отправились кататься на моторной лодке по Днепру. У них было много еды, вина и водки в лодке, а в качестве романтического приложения — граммофон с русскими и английскими пластинками.

После пикника в прохладном и очаровательном месте на берегу реки и прослушивания музыки, «моторист» отправился на прогулку с Александрой. Ленц, подогретый вином, женщинами и песнями, остался один в компании смазливой Наташи. Как и ожидалось, его одолел амур. Девушка, полувызывающе, полузастенчиво делала вид, что сопротивляется его ухаживаниям. Ленц стал более настойчивым. Именно в тот момент, когда он разорвал блузку девушки, обнажив ее молодую грудь, американцу показалось, что он услышал какой-то шум в близлежащих кустах. Он оставил свою добычу и одним прыжком оказался в кустах, как раз когда «моторист» делал очередную фотографию места происшествия.

Ленц, заметно протрезвевший, разгневанно схватил камеру, разбил ее на куски и швырнул в реку. Он выругал «мотористa»-чекиста и вернулся домой.

Когда на следующий день он пожаловался администрации, пригрозив сообщить об этом эпизоде в американское посольство, его заверили, что это была просто веселая шутка без всякого политического значения. Но Ленц был не дурак.

«Я фотографирую лучше, чем ваш НКВД», — похвастался он, теперь хохоча. «Посмотрите на эту пачку».

И он показал мне фотографии себя и Александры в различных сексуальных позах.

«Если бы ваше правительство хотело моих фотографий с хорошенькой Наташей, я с радостью бы услужил ему», — сказал он. «Ему не нужно было тратить деньги на моторную лодку и пикник. Как вы видите, я и сам своего рода фотограф-любитель».

Ленца вскоре попросили покинуть Россию. Его согласие хранить молчание и не жаловаться в посольство, я подозреваю, было хорошо оплачено американскими долларами.

Александра вернулась в Днепропетровск, где у нее был большой простор для ее талантов среди многочисленных иностранных специалистов, работающих в этом городе.

Отплатили ли Наташе когда-либо привилегией писать письма отцу, я не знаю. Юрьева, когда его арестовали год спустя, обвинили, среди прочего, в «связях с американскими империалистами». «Обвинение основывалось исключительно на его случайных услугах в качестве переводчика для Ленца.

ГЛАВА XIII

БЫСТРЕЕ, БЫСТРЕЕ!

1

В СЕНТЯБРЕ 1935 ГОДА в угольном регионе Донецкого бассейна произошло «чудо». Рабочий по фамилии Стаханов добыл 102 тонны угля за одну смену — в 14 раз больше нормы на шахтера! Мало какие события в современной истории встречались с таким продолжитеьным, истеричным и театральным восторгом. Это было, конечно, довольно обыкновенное и заурядное «чудо». Для практического инженера элементы обмана в нем были довольно

очевидны. Было ясно, что были предоставлены особые условия и особые инструменты и особая помощь, чтобы Стаханову удалось достичь этого рекорда. Это было чудо, сделанное по приказу Сталина для запуска новой религии — религии ускорения.

То, что сделал Стаханов, могут сделать все шахтеры! То, что могут сделать шахтеры, могут сделать все остальные отрасли промышленности! Вот вам и резюме новой религии. Сомневающиеся подлежат проклятию, которых ожидает ад еще до загробной жизни. Специалисты, которые выдвигали практические возражения, были пораженцами, врагами стахановщины! Рабочие, которые не могли соответствовать планке, установленной донецким шахтером, были бездельниками!

Москва выкрикивала все новые стахановские лозунги. Телеграфные приказы начали поступать в Никополь из Харькова и московских комитетов. Каждый приказ был прямой угрозой. Мы должны немедленно создать стахановские бригады, задающие темп для тугодумов. Инженеры или прорабы, выступающие с возражениями, будут считаться саботажниками.

Наш завод проработал менее шести месяцев после введения в строй. Он работал в три смены, несмотря на множество препятствий. Ни количество, ни качество стали и других сырьевых материалов не соответствовали требованиям. Рабочие и прочий персонал были в основном неопытными. Из-за недоедания и плохих условий жизни рабочие находились в плохой физической форме. Для успеха производства,превыше всего нам необходима была плавная интеграция производственного процесса. То, что нам предлагалось, казалось наихудшим из возможных вариантов для перегрузки как людей, так и машин. Ритмичная коллективная работа, а не рывки рекордов, были ключом к стабильному выпуску продукции. Более полутора тысяч рабочих, занятых общей задачей, в которой каждая операция переплеталась с другой, не могли ускоряться произвольно, не превращая все усилия в хаотический дисбаланс.

Но партийный приказ есть приказ. Секретарь парткома завода Козлов и директор Брачко вызвали инженеров и начальников отделов. Товарищ Бродский присутствовал на собрании горкома партии. И Бродский, и Козлов, как неспециалисты, могли иметь некоторые иллюзии относительно применения стахановщины на нашем заводе.

Брачко был практичным хозяйственником и видел его абсурдность так же ясно, как и я. Однако ни у кого из нас не было иного выбора, кроме как создать бригады ускоренной стахановщины любой ценой, даже жертвуя планомерностью и эффективностью.

«Товарищ Брачко, разрешите вопрос?» — спросил один из инженеров.

«Говорите, Лазарь Петрович».

«Я начальник участка, в котором работают 180 человек. Если некоторые из них будут работать быстрее остальных, весь участок будет связан в узлы. Пожалуйста, скажите мне конкретно, что я могу сделать для развития стахановщиы?»

Директор Брачко, конечно, не мог ему сказать. Он мог только повторять лозунги, присылаемые из Москвы, и запутываться в бесполезной политической риторике. Мне было его жаль. Он был такой же жертвой долгосрочного сверхпланирования, как и все мы.

В конце концов, в моем собственном цехе мне пришлось прибегнуть к искусственному ускорению, которое я в душе считал преступлением перед машинами и рабочими. По прямому указанию партийного комитета я перегруппировал имеющуюся рабочую силу, объединив лучших рабочих, мастеров и инженеров в одну смену. Затем мы отобрали лучшие инструменты и материалы, отложив их для особой смены. Подтасовав таким образом карты, мы дали сигнал к началу показной игры.

В одиннадцать часов вечера, в присутствии репортеров и фотографов, «стахановская» смена началась. Как и ожидалось, она «перевыполнила» норму на 8 процентов. Тотчас появились пламенные заголовки в прессе. Поздравления от официальных лиц из столиц. Все вздохнули свободнее - мы отвели молнию. Мне, как ответственному техническому руководителю, приписали наибольшую заслугу.

Но эта «победа» на промышленном фронте оставила меня в подавленном состоянии. Это было, по сути, мошенничеством и должно было обернуться бумерангом. Две другие смены, лишенные своего лучшего персонала и лучших инструментов, потеряли больше, чем выиграла смена, которой были созданы наиболее благоприятные условия. Напротив, эти две смыны казались неумелыми, если не «ленивыми». Они, естественно, возмущались

тем, что их сделали козлами отпущения. Они проклинали счастливчиков и чиновников.

По всей советской стране гонка за ускорением превратилась в яростную кампанию, превратившуюся в уже привычную атмосферу страха и репрессий. Тысячи административных работников были уволены, многие из них были арестованы за саботаж нового «социалистического производства» и за «неспособность обеспечить надлежащие условия для стахановцев». Каждое отставание в выпуске продукции было списано на инженеров и техников. В общественном сознании создавалась картина, что рабочие стремятся увеличить производство, но его намеренно «сдерживают» коварные управленцы. Таким образом, между рабочими и техническим персоналом был вбит клин.

Даже для самого простого рабочего на фабрике или шахтера было очевидно, что новые рекорды, установленные принудительным ускорением, вскоре станут «нормами» для всех.

Когда движение достигло своего пика, в ноябре, в Москве был созван всесоюзный съезд ведущих стахановцев. На нем выступил сам Сталин, который осыпал их лестью, противопоставляя их усердие отсталости других рабочих. По сути, с этого времени стахановцы стали рабочей аристократией, зарабатывая намного больше своих товарищей по труду и пользуясь всевозможными привилегиями — особенно в том, что касается еды и одежды, -- недоступными для всего рабочего класса.

И таким образом, Сталин также вбил клин между различными категориями рабочих. Старый принцип «разделяй и властвуй» применялся к целой стране под знаменем «строительства коммунизма».

Прошло совсем немного времени, когда сбылись худшие опасения рабочих.

Из Партии поступили обязательные приказы пересмотреть нормы выработки продукции, на которых основывалась заработная плата, в сторону повышения на 10–20 процентов. Это было фактически приказом потребовать на 10–20 процентов больше работы за ту же зарплату. На моем заводе из полутора тысяч человек, возможно, двести считались стахановцами или «королями скорости». Для остальных пересмотр норм выработки означал

просто серьезное сокращение заработка. Всеобщее негодование было молчаливым, угрюмым, несомненным.

Чтобы добавить оскорбление к обиде, новые нормы должны были быть рекомендованы и приняты «самими» рабочими, не только «добровольно», но и с энтузиазмом. Фарс был разыгран на нескольких собраний. Сначала было общезаводское собрание партийных, технических и профсоюзных лидеорв и «активистов» из рядовых. На них лежала ответственность за воспитание рабочей массы для «понимания» и принятия новых норм.

Все было подготовлено и отрепетировано заранее. Была зачитана речь Сталина в похвалу стахановцам. Старостин от профсоюза, Козлов от партии, другие от технического персонала с серьезными лицами объяснили, что действовавшие тогда низкие нормы были оскорблением для коммунистического рвения и производственного гения нашей партии и завода. Амбициозные коммунисты, ищущие признания и партийного продвижения, использовали возможность продемонстрировать свое преклонение перед гениальностью Сталина в речах, перекликающихся с прессой и радио.

В конце концов была зачитана резолюция, предлагающая резкое увеличение норм, и одобреная, конечно, «единогласно».

Затем были созваны отдельные собрания в различных цехах, на которых присутствовали все рабочие. Технические и политические руководители, которым помогали «активисты», провозглашали отрепетированные лозунги и предложения. На собрании моего цеха рабочие сидели угрюмо, молча, едва заинтересованные. Они машинально аплодировали каждому упоминанию имени товарища Сталина. Вспотевшие партийные вожди, разбросанные по залу, не могли поднять нужную температуру энтузиазма. Большинство мужчин и женщин только что отработали восемь часов тяжелого труда. Они устали, им было скучно, они хотели только чтобы эта комедия закончилась поскорей и они пошли домой. Был зачитан отчет о славных достижениях стахановцев; были объявлены новые предлагаемые рабочие нормы выработки. Затем несколько рядовых членов профсоюза, заранее подготовленных для этой роли, взяли слово и призвали принять новые нормы. Голосование началось...

«Товарищи, предлагаю принять резолюцию единогласно»,

закричал председатель профсоюза, как ему и было велено.

Кто за? Лес безразличных рук. Кто против? Тишина.

Вдруг женский голос воскликнул: «Товарищ председатель, Кирюшкин здесь не голосовал». Впервые собрание оживилось. Бунтарь среди нас! Лев среди кроликов! Какой-то неизвестный Кирюшкин, кем бы он ни был, посмел не поднять руку, и его преступление против партии мгновенно раскрылось. С одной стороны бунт, с другой бдительность, страна спасена в последний момент...

«Товарищ Кирюшкин, вы не голосуете?» — спросил председатель раздраженным голосом.

Встал худой, кроткий на вид человек. Его лицо, заляпанное маслом, было спокойным, и он говорил с достоинством.

"Зачем мне голосовать?" - он жалко пожал плечами. "Так или иначе нормы будут приняты. Моя работа - работать, и я работаю. Что еще вам нужно? Я должен поднять свою руку? Хорошо, вот моя рука". Он поднял мозолистую руку над головой. "Моя жена и дети ожидают, что я заработаю больше денег, но это значит, что я, напротив, заработаю еще меньше..."

Некоторые люди засмеялись, но в целом зал молчал, тронутый его словами и манерой поведения.

"Товарищи, Кирюшкин компрометирует собрание и поливает великое стахановское движение грязью!" - закричал кто-то. "Он не сознателен".

"Не сознателен?" Кирюшкин, все еще стоя на ногах, снова пожал

плечами. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Да, я осознаю, что зарабатываю всего 140 рублей в месяц, а кормить надо троих детей и жену».

«Хватит этой комедии! Давайте примем резолюцию!» — прервал председатель. Но этот кроткий рабочий, казалось, был побежден собственной смелостью. Он чувствовал себя не в своей тарелке.

«Что вы имеете в виду под комедией?» — неожиданно повысил он голос. «Посмотрите на меня: этот рабочий костюм — единственный, который у меня есть. Скоро он совсем свалится с меня от ветхости. С моими 140

рублями в месяц моя семья голодает. Если это комедия, то что же тогда трагедия?»

Он сел. Смеха было очень мало.

Моей задачей как технического руководителя было объяснить собранию с инженерной точки зрения, что новая норма и возможна, и справедлива. У меня не было выбора, я делал то что мне было велено.

Пока я говорил, я почти убедил себя, если не свою аудиторию, что новая и более богатая жизнь ждет всех нас, как только мы все научимся хорошо работать и эффективно производить. До революции, у нас были столетия лени и отсталости, которые нужно было наверстать за одно короткое поколение, сказал я. Мне было жаль себя и этих измученных мужчин и женщин, которые были моим народом. Правильно или нет, мы были поколением, отмеченным историей для жертв и страданий. В глубине моего сознания, когда я распространялся на эту тему, была настойчивая мысль: я должен помочь Кирюшкину...

Массовый митинг закончился нестройными аплодисментами. Люди

разошлись. На следующий день никопольские газеты и радио описали собрание на лицемерном языке политической гиперболы: «В бурном энтузиазме пролетарии Никопольского металлургического комбината вчера потребовали пересмотра устаревших норм. Они единогласно провозгласили ...». И ни строчки о Кирюшкине.

Я послал Кирюшкину записку, чтобы он пришел ко мне в кабинет в конце рабочего дня. Когда его смена закончилась, я услышал в своей приемной шум. Куда вы? Товарищ Кравченко слишком занят, — говорила моя секретарша.

«Поверьте, это не я захотел его видеть. Он сам за мной прислал».

«Какое у вас к нему дело?»

«Какое у меня может быть дело к начальнику? Он зовет, вот я и пришел».

Я позвонил секретарше и сказал ей, чтобы она впустила товарища. Кирюшкин вошел с шапкой в руке.

«Садитесь, пожалуйста», — сказал я.

«Спасибо, я могу постоять».

«А зачем стоять? Садитесь».

Он сел по другую сторону моего стола. Я спросил его, как идет у него работа.

«Как у всех», — ответил он. «Работаю, пока силы не кончаются».

Я узнал, что он приехал на завод два года назад из деревни, после того, как его хозяйство было коллективизировано. До этого он был в Красной Армии. Он привез с собой кое-какие вещи, но продал их, поскольку нуждался.

«Моя жена моет полы в квартирах некоторых чиновников, это выручает, и она также стирает. Но есть трое маленьких детей. Это нелегко. Но чего жаловаться? Немногие рабочие живут лучше, чем я».

Он говорил медленно, взвешивая слова, и смотрел прямо на меня. В его поведении не было ни высокомерия, ни страха — только бездонная, фатальная печаль.

«Да, Виктор Андреевич, о чем тут говорить? Вы... вы... один из начальников. Вы живете хорошо. Вы живете в своем мире, я — в своем. Вы никогда не поймете участи таких, как я».

«Не будьте так уверены, товарищ Кирюшкин. Может быть, я понимаю лучше, чем вы предполагаете. Но скажите, вы хотели бы пойти работать на токарном станке? Вы будете получать 220 рублей или больше, и вам будет положена особая одежда — обувь, костюм».

«Охотно. Жить надо, знаете ли».

Я отдал приказ о переводе его на новую работу. Он поблагодарил меня и ушел. В глубине души я был рад, что он сохранил достоинство, без намека на подобострастие. Я позвонил Старостину и договорился, чтобы ему выдали аванс из профсоюзной кассы взаимопомощи. Кроме того, я распорядился выдать ему комплект рабочей одежды и обуви.

2

Социальная дистанция между Кирюшкиным и каким-нибудь стахановским «аристократом» ощущалась острее, чем дистанция между рабочими и

руководством, хотя бы потому, что Кирюшкины и стахановцы находились в постоянном ежедневном контакте. Официальная политика, казалось, была направлена на расширение этой пропасти и создание другой напряженности, антагонизма и подозрительности, где только возможно.

Инженеры и администраторы как социальный класс подвергались осуждению день за днем за предполагаемый «консерватизм», за «сдерживание» задающих тон рабочих. Партийные работники, чтобы избежать обвинений, присоединились к этой игре. Наш авторитет специалистов продолжал падать. Чувствуя, что они имеют превосходство, некоторые инженеры, бригадиры и даже токари принимали произвольные решения, чтобы увеличить свои собственные сдельные заработки, часто с катастрофическими результатами для производства в целом.

Политика под знаменами эффективности, имела все преимущества. Коммунистические и полицейские бюрократы часто имели последнее слово против инженера и управляющего, даже по чисто техническим проблемам. Мы были в середине эпохи анархии и гражданских распрей в промышленности. Я был зажат между инструкциями сверху из Москвы и подозрениями снизу, между более сложными задачами и ухудшением дисциплины. Нервозность и стресс стали почти моим нормальным состоянием. Однажды ночью меня разбудил телефонный звонок. Одна из машин внезапно сломалась, оставив половину моего цеха без работы. «Еще больше головной боли!» пробормотал я и начал одеваться. К тому времени, как я добрался до завода, он кишел чиновниками. Сам глава Никопольского НКВД, Дороган, был там, вместе с Гершгорном и другими помощниками. Козлов, Старостин, различные инженеры бегали вокруг кругами, в то время как в моем кабинете следователи тайной полиции допрашивали подозреваемых и делали записи.

Что произошло, мне сразу стало ясно. Несколько стахановцев и инженер решили самовольно увеличить скорость вращения ролика. Поскольку труба не была пропитана сталинской твердостью, большая ее часть лопнула на главном ремне, и одна из машин была выведена из строя. Дело было достаточно серьезным; машина была американской, и вероятно пройдет долгое время прежде чем удастся ее отремонтировать или заменить. Однако толпа бюрократов, оглядывающихся на тайную полицию, была меньше озабочена восстановлением работы, чем поиском виновных. Следователи

рыкскали по всему заводу. В управлении НКВД шли допросы с угрозами и ругательствами. Несколько раз меня вызывали туда и допрашивали всю ночь; после такой ночи я едва был способен к дневной работе на заводе.

Простые и очевидные объяснения не интересовали коварный и некомпетентный ум чекиста Гершгорна. Он кричал, кипятился и требовал «доказательств» против того или иного человека. Каждый раз, когда он упоминал какое-нибудь имя, появлялось досье. . . Под наблюдением полиции находились не только руководители, но и простые рабочие завода.

«Кравченко, ты не сотрудничаешь с нами», — кричал Гершгорн.

«Ты можешь за это дорого заплатить, поверь мне. Ради себя самого ты должен помочь нам найти саботажников».

В разгар всех этих треволнений ко мне пришел опытный механик Дубинский в сопровождении своего помощника Шпачинского. Пока другие расследовали, эти два опытных механика испытывали металлы, проводили термические эксперименты и чертили чертежи. Они думали, что смогут построить копии сломанных деталей, но хотели быть уверены, что в случае неудачи потеря времени и материалов не будет использована против них.

Изучив их планы и рисунки, я решил, что эксперимент стоит попробовать. Чтобы обезопасить этих людей и себя, я сообщил Брачко, Козлову и Бродскому о своем решении. Я также продиктовал полный отчет в Трубосталь в Харьков. Затем я назначил необходимых людей и материалы и дал сигнал к началу работы.

Несмотря на все мои политические предосторожности, я был глубоко обеспокоен. Я случайно узнал из вопросов заданных в НКВД, что этот Дубинский, находился под облаком официальных подозрений чекистов. Он был тихим, порядочным, очень компетентным старым рабочим, которым все восхищались. Самоучка и начитанный, он был типичным представителем дореволюционного рабочего интеллигента - типа, который как раз тогда в СССР считался особенно склонным к политической неблагонадежности.

Дубинский был членом меньшевистского крыла социал-демократов при царе; восемнадцать лет преданного труда при советской власти не стерли это ужасное пятно на его репутации.

В общем, он казался идеальным объектом преследования для чекистов из НКВД. Была горькая ирония в том, что Дубинский был единственным, кто предложил практическую идею восстановления производства. Если его эксперимент провалится, я боялся, что это даст как раз тот шанс, которого ждали Гершгорн и его команда. Они могли бы тогда обвинить бывшего меньшевика в преднамеренном вредительстве.

Я оставался на заводе с Дубинским и Шпачинским почти четыре дня. Соглядатаи НКВД наблюдали со стороны, готовые разоблачить нас, если что-то пойдет не так. Наконец, взволнованные, мы испытали машину с новыми деталями. Она заработала! Производство снова пошло.

Тем не менее, расследование продолжалось еще несколько недель. Не найдя козла отпущения за поломку, чекисты остались угрюмыми и разочарованными, словно их обманули, лишив законной добычи. Мои отношения с ними едва ли подсластились этим эпизодом. Я не скрывал, что все это было незначительной аварией, недостойной такого внимания полиции.

Мои отношения с профсоюзными и партийными «активистами» тоже не улучшились с течением времени. Редко выпадала неделя, когда их политическое рвение и мой производственный здравый смысл не сталкивались лбами. Из десятков инцидентов я выбираю несколько наугад в своей памяти.

Однажды утром я обнаружил, что мой цех как-то странно неспокоен. Все были раздражены. Атмосфера казалась заряженной электричеством. Вскоре я столкнулся с объяснением. В одном углу, на виду у всех в цехе, было искусно сложено много труб, а над ними висел огромный плакат с надписью:

«Рабочие и инженеры этого участка должны знать, кто препятствует

стахановскому движению». За этим следовал длинный список имен. Оказалось, что была обнаружена партия бракованных труб, и ответственные были публично унижены. Я знал перечисленных людей как вполне лояльных рабочих.

Дефекты, вероятно, были вызваны примесями в стали и вина за это не могла падать на этих людей.

Я приказал убрать «экспонат» и плакат. Старостин был в ярости. Он отчитал меня за то, что я вмешиваюсь в его работу по «политическому просвещению» членов профсоюза, и мрачно намекнул на доносы «надлежащим должностным лицам».

Вскоре после этого я заметил, что пожилой седовласый Макаев, токарь, работу которого я ценил, тихо плакал во время работы. Когда я спросил его в чем дело, он указал на противоположную стену. Карикатура этого рабочего была вывешена на стене, а под ней была надпись: «Он мешает стахановскому движению».

«Виктор Андреевич, увольте меня от этого позора», — умолял он. «Я признаю, что я, возможно, совершил ошибку. Дело в том, что моя жена больна, и я не спал несколько дней. Я всего лишь человек, и поэтому, возможно, я совершил ошибку. Разве недостаточно того, что меня обвиняют за порчу? Я что, еще и насмешкам подвергаюсь?

Я позвал бригадира.

Кто повесил этот плакат? — спросил я.

«Председатель профсоюза нашего отделения.»

«Срывайте его немедленно и отправьте мне в кабинет.»

«Но я не могу, товарищ Кравченко. Я попаду в неприятное положение».

«Передайте ему, что это я приказал, и буду нести полную ответственность».

Оскорбительный плакат сняли. Через несколько минут на меня налетела толпа профсоюзных и партийных активистов. Они все разом заговорили. Я препятствовал «политическому воспитанию» и поощрял отсталость. Я «подрывал авторитет профсоюза и партии». На меня будут жаловаться в Харьков, даже в Москву.

«Хорошо, товарищи», — сказал я. «Жалуйтесь сколько душе угодно. Что касается меня, то это вы мешаете, оскорбляя моих людей и подрывая рабочую мораль. Я здесь главный, и ваша обязанность — сотрудничать со мной, а не действовать через мою голову. И некоторые из вас, кстати, должны сейчас работать, а не спорить здесь».

Позже в тот же день Козлов послал за мной. Жалобы на «великое»

дело Макаева дошли до него. Я изложил свою точку зрения и был рад обнаружить, что он со мной согласен; он поддержит меня, если глупое дело выызовет огонь сверху. Известие о том, что я встаю на сторону рабочих против коммунистов-фанатиков, произвело сенсацию и повысило мою популярность среди рабочих, но это оскорбило множество чиновников и влиятельных партийных людей.

Многие недели моего времени и энергии были потрачены также и на другой случай сломанной американской машины. Когда сломался главный подшипник, замена оказалась сложной, и один из моих цехов был связан на три или четыре дня. В очередной раз наш участок был захвачен агентами полиции НКВД и мрачными «властями».

Мой собственный анализ быстро показал мне истинную картину. Авария произошла ночью. Освещение в цехе было плохим, и кто-то случайно взял не тот кусок стали. Машина была настроена на сталь с низким содержанием углерода. Когда сталь, содержащая 18–20 процентов хрома и 2 процента никеля, была введена в работу, подшипник сломался. Тайна была не глубже этого.

Неудовлетворенный моим объяснением, все еще идущий по следу неуловимых саботажников, Экономический отдел НКВД провел собственные анализы стали, опросил десятки рабочих, вызвал специалистов из других городов и получил отчеты профессора металлургии в Днепропетровском институте. Само единодушие отчетов показалось «странным» для чекистского ума. Какова была «политическая физиономия» профессора, который согласился с Кравченко? Может быть, мы были знакомы? Я снова проводил долгие ночи в спорах, понимая, что любое неосторожное слово, любая оговорка может означать гибель для какого-нибудь рабочего или инженера, не говоря уже обо мне. На этот раз, как и прежде, Гершгорн отчаянно пытался сузить свои обвинения на Дубинском. Я защищал механика на каждом шагу.

Срочный заказ на нержавеющие трубы пришел ко мне за подписью Орджоникидзе. Наш завод не был оборудован для этого конкретного заказа; у нас не было опыта в этом типе работ, и мы взялись за него только после уверения властей не ожидать слишком многого. Чтобы помочь нам, из Москвы прибыла специальная группа, состоящая из людей, имеющих опыт работы со специальным типом труб и с химической промышленностью, для

которой они изготавливались. В этой группе был специалист-металлург по фамилии Тимошенко — худощавый молодой человек, в очках, уже седеющий и, как мне показалось, как бы все время испуганный. Мне сказали, что он сын известного профессора Тимошенко, тогда жившего и преподававшего в США.

Как и следовало ожидать, работа шла медленно. Только 10 процентов первоначально произведенных труб были пригодны к использованию, и бывали дни, когда весь выпуск был бракованным. Эксперты приезжали из разных трестов, чтобы дать нам советы. Мы проводили долгие совещания по температуре, скоростям обработки, типам стали, амальгамам. Каждый из нас стремился выполнить заказ и огорчался задержками; какими бы ни были наши тайные политические взгляды, мы чувствовали, что Сталины приходят и уходят, а Россия остается вечно, и на кону было промышленное будущее России. Что же касается кишащих вокруг сексотов, то для них трудности означали только одно — возможный саботаж.

В конечном итоге мы решили технические проблемы. Нержавеющая труба была изготовлена и должным образом принята Кемеровским химическим комбинатом.

Всем были розданы солидные премии. Но Гершгорн и его чекисты считали, что они вцепились в что-то свое, и не хотели отпускать. Конечно, это был молодой Тимошенко вместе с несколькими инженерами, присланными трестом в Харьков. В вулканическом полуночном сеансе Гершгорн изверг лаву на мою уставшую голову. Зачем я «защищал» этого сына грязного эмигранта? Разве я не знал, что Тимошенко поддерживал связь со своим отцом, который «продался капиталистам»?

«Все, что я могу вам сказать, это то, что молодой человек очень способный, много работал и исполнил свой долг», — настаивал я. «У нас было много неприятностей, но я уверяю вас, что ни одна из них не была его виной».

«Вы играете с огнем, Кравченко! Помните, это касается химической промышленности. Это вопрос обороны страны! Но вы и пальцем не пошевелили, чтобы помочь нам искоренить вредителей».

Только когда я в полном отчаянии пригрозил позвонить Орджоникидзе

и разоблачить это вмешательство полиции в мою работу, Гершгорн утих. Тот факт, что у меня был могущественный покровитель в Москве, был моим единственным преимуществом в ситуации, где инженер без влиятельных связей давно бы оказался в тюрьме или в концлагере.

В начале 1936 года товарищ Орджоникидзе вызвал меня в Москву.

Мне показалось, что это было деяние моих ангелов-хранителей. Мои отношения с НКВД зашли в тупик. Мой отказ обвинить невиновных или потворствовать поддержке полицейских навязчивых идей делал мою жизнь в Никополе невыносимой. Я набирался смелости, чтобы изложить факты Комиссару, и это был мой шанс.

После сердечных приветствий Орджоникидзе рассказал мне, почему он послал за мной. Была острая необходимость в специальных трубах для бакинской нефтяной промышленности.

Весь нефтяной план зависел от скорости, с которой мы могли бы выпустить определенное количество труб.

«Я обращаюсь к вам, мой друг, — сказал он, — потому что чувствую, что могу положиться на вас. Вы получите все инструменты, материалы и дополнительных людей, которые вам нужны. Если у вас все получится, то в качестве награды вам будет автомобиль и орден, а также премии всем вашим коллегам».

«Я, конечно, сделаю все, что смогу, и мне приятно, что вы понимаете, что нам не хватает некоторых инструментов. Но, Григорий Константинович, я хочу, чтобы вы знали, что я работаю в условиях вмешательства НКВД, которые делают жизнь невозможной. Я в отчаянии». .

«Что вы имеете в виду?»

Я погрузился в подробный рассказ об изощренном сыске и мании преследований и доносов, которые превращали мою фабрику — и все другие предприятия в Никополе — в адово чистилище. Я рассказал о попытках Дорогана и Гершгорна из Никопольского НКВД сфабриковать дело о саботаже из простых несчастных случаев, о давлении с целью обвинить невинных людей, таких как Тимошенко и Дубинский.

«Я не люблю говорить об этих вещах», — заключил я, — «но я больше не могу молчать. Комиссариат тяжелой промышленности управляет металлургией, или же это делает НКВД? Как мы можем пробовать что-то новое, как мы можем следовать приказам, которые предполагают эксперимент, как мы можем добиться прогресса, если каждая неудача и каждый промах будут истолкованы как вредительство? Как человек вообще может работать, когда его постоянно «контролируют» полицейские следователи, партийные комиссии, профсоюзные бригады, стахановцы и сотни других.

«Почему мы не можем покончить с этим повсеместным шпионством и позволить людям спокойно работать? Старое поколение инженеров и специалистов в основном мертво или ликвидировано. Мы советские люди, большинство из нас — продукты советского партийного образования. Если нам нельзя доверять честный труд, какая надежда на прогресс для нашей страны? Я, товарищ комиссар, больше не могу работать в таких условиях. Эти негодяи заставляют меня крутиться как волчок. Как можно работать в состоянии постоянного головокружения?»

Орджоникидзе выглядел серьезным. Он закусил губу. За последние год или два он заметно постарел. Он уже не улыбался так охотно, как раньше, больше не испускал прежней уверенности и прежней энергии. Что бы он ни чувствовал, он едва ли был в состоянии открыть свое сердце мелкому управленцу, такому как я. В конце концов, он был членом Политбюро, одним из десятка или около того людей, наиболее приближенных к Сталину.

«Успокойся, мой друг», — тихо сказал он. «Я не держу на тебя зла, что ты так говоришь. Есть много вещей, которые ты не видишь с того места, где ты сидишь. Я не буду скрывать, что ты всего лишь один из сотен ведущих инженеров, членов партии, которые подали ту же жалобу прямо в этом кабинете... Что касается твоего личного дела, то я обещаю, что пока я жив и ты продолжаешь честно работать, тебя никто не тронет. Даю тебе слово».

Он еще тогда, когда я сидел, позвонил товарищу Хатаевичу, первому секретарю Днепропетровского обкома, в сферу которого входил Никополь. При мне он строго отчитал Хатаевича и приказал Никопольскому НКВД прекратить донимать товарища Кравченко, иначе он узнает причину.

«Ну, ты доволен?» он улыбнулся, положив трубку.

"Большое спасибо. Но это едва ли решит большую проблему. Ужасная система остается".

С того дня и до внезапной смерти Орджоникидзе, меня больше никогда не вызывали и не допрашивали в НКВД. Осведомители НКВД вокруг меня, Макаров, Романов, Юдавин и еще сотня других следила так же усердно, как и прежде. Но я оставался неприкасаемым. Какие бы сомнения или доносы ни имел на меня в своем досье секретный отдел нашего завода, они на время были подавлены приказами моего могущественного московского покровителя. Однажды им внезапно дадут ход, и они затопят мою жизнь ужасающим потоком.

Вернувшись в Никополь, я созвал главных членов заводской и технической администрации и изложил им задачу, которую мне поручил Орджоникидзе. Я распределил обязанности между разными людьми. Материалы и инструменты прибыли, как и обещал комиссар, и работа быстро закипела. В последующие недели я спал в своем кабинете чаще, чем дома. Бакинские трубы были изготовлены с опережением графика. Еще раз официальные поздравления хлынули на завод из Харькова и Москвы, мой портрет был в газетах, Иванченко, начальник треста Трубосталь, прилетел из Харькова и поблагодарил меня лично.

Было настоящее волнение от решения сложной промышленной задачи. Осознание того, что я преодолел тысячу препятствий, доставляло мне и окружающим больше радости, чем официальное признание и щедрые денежные премии.

Находясь в Никополе, Иванченко угостил меня ужином. Мы знали друг друга уже много лет. Я доверял ему. Я был на заводе уже больше года. Благодаря покровительству комиссара моя личная судьба улучшилась. Но я извивался в сетях шпионажа и доносов. Я приводил Иванченке один пример за другим того, как вмешательство чекистов и паника саботажа уничтожали инициативу и тормозили производство.

"Я знаю, что вы чувствуете, Виктор Андреевич", - грустно заметил он. «Не думайте, что на более высоких уровнях положение лучше. Вот я, глава одного из крупнейших трестов, член правительства, старый коммунист, человек, который помог штурмовать Зимний дворец во время Октябрьской революции.

Можно было бы подумать, что мне доверяют. Но нет! Эти муравьи и термиты так быстро размножились, что я их боюсь — я, который никогда не боялся рисковать своей жизнью в бою. Они сделали меня таким нервным своими расследованиями и подозрениями, что я не знаю, где я нахожусь. Что это вообще такое? Я полагаю, знает только он, Главный».

3

Временное ослабление чекистского давления дало мне кратковременную иллюзию личной независимости. Это, в свою очередь, предрасположило меня к оптимистическому взгляду на недавно объявленную Сталинскую конституцию. Тот факт, что вся власть оставалась в руках одной партии, казался менее важным, чем явные гарантии гражданских прав и, прежде всего, ограничения на формы задержания и ареста. Если новый документ был показателем мышления в высоких кругах, то, несомненно, худшее из террора уже позади.

Чтобы выжить, человеку нужна надежда, как и воздух. Как и миллионыдругих, я потянулся за обещанием большего количества прав человека для рядового советского гражданина. Мы хватались за соломинку надежды, чтобы спасти себя от погружения в глубины отчаяния. За исключением меньшинства упрямых циников, для которых Конституция была всего лишь еще одной мистификацией, мы, коммунисты особенно хотели верить.

Случайное возрождение надежды было почти условием продолжать жить. Нам нужно было поддаться экстравагантной вере, нам нужно было обмануть наши умы и чувства. Мы с тревогой боролись с сомнениями, придумывали оправдания, подбодряли друг друга оптимистическими ожиданиями, в которые, оставшись одни, мы не верили. «Самая демократическая в мире советская Конституция» являлась миражом в советской политической пустыне.

Может быть, смерть Кирова встревожила наших правителей и отпустила гайки? Казалось, Европа катится к войне. За войной в Эфиопии последовали гражданские распри в Испании. Может быть, наше правительство решило объединить советские массы вокруг себя, подарив им несколько крох свободы? Именно так мы зажгли наши надежды и побороли наши сомнения.

Нелегко было сохранять веру пылать в то время, когда ветры произвольного террора дули сильнее, чем когда-либо. Нужно было закрыть глаза, почти буквально, чтобы сохранить последнюю искру надежды.

Никопольский трубопрокатный комбинат расширялся. Толпы строительных рабочих перегружали наши продовольственные запасы и жилье, как никогда прежде. Однажды, среди раздутых надежд на какие-то перемены к лучшему, я заметил контингент солдат НКВД с винтовками вокруг строек. Это могло означать только одно: сюда ввели концлагерный каторжный труд.

Я подошел к месту стройки. Моя догадка оказалась верной. Четыреста или пятьсот изможденных узников, мужчин и женщин работали под вооруженной охраной НКВД. Они были самой трагичной группой человеческих существ, какую я когда-либо видел. Их гробовое молчание было ужаснее, чем их оборванность, грязь и физическая истощенность. Они занимались своей работой, как обреченные, слишком апатичные, чтобы осматривать свое окружение или общаться с заводскими рабочими вокруг них.

В конце каждого дня узников выстраивали в ряд и отправляли в специальные бараки в нескольких километрах отсюда. Я навел справки и узнал, что это был «подряд» на строительство, заключенный руководством завода в ходе официальных переговоров с руководством НКВД. НКВД получало фиксированную сумму за каждого заключенного, примерно равную сумме, выплачиваемой вольнонаемным рабочим.

Помимо использования миллионов заключенных непосредственно — на добыче соли или золота, прокладке рельсов, вырубке лесов, расчистке болот, строительстве гаваней — НКВД сдавал в аренду излишки своих рабов другим советским предприятиям.

Однажды в выходной день тем летом я спустился по Днепру на моторной лодке с другом. У нас было с собой много еды, а также бутылка вина, и мы устроили пикник в прохладном лесистом месте на берегу. Затем мы долго шли по дороге вдоль берега реки. Внезапно мы услышали шум впереди нас. На повороте дороги мы вышли на ровный болотистый участок, где работали несколько сотен мужчин и женщин под вооруженным надзором.

Я чувствовал, что вторгся во что-то очень плохое. Моим первым побуждением было уйти, сделать вид, что я этого не видел. Но что-то

привлекло нас к месту действия. Работавшие в лохмотьях, по колено в грязи и воде, казались едва ли человеческими существами. Над ними кружили тучи болотных комаров. Охранники развели костры, чтобы отогнать насекомых от себя, но заключенные, казалось, привыкли к комарам. Мой взгляд остановился на молодой женщине с омертвелыми чертами лица; ее руки и лицо были черными от комаров, и она машинально ворочала лопатой, словно не подозревая, что ее едят заживо.

К нам подошел офицер.

"Идите по своим делам, граждане." он сказал. «Здесь не спектакль».

«Я член партии и руководитель завода», — сказал я. «Меня это интересует, чисто технически. Что они делают?»

«Мы расчищаем болото».

«Проект НКВД?» — спросил я.

«Нет, Никопольский Городской Совет выполняет работу с законтрактованной рабочей силой НКВД».

Мы молча вернулись к моторной лодке и направились домой. Продолжать прогулку после увиденного казалось неприличным. В то утро мы говорили о Конституции и о том, что ее обещания могут быть реальными. Мы не стали возобновлять обсуждение Конституции после увиденного.

4

Между моим отцом и мной за годы,с тех пор как я вступил в партию, возникла определенная сдержанность. Каким-то образом в его присутствии я чувствовал потребность затушевать и оправдывать ту самую политику, которую я внутренне осуждал и ненавидел. В какой-то степени меня раздражали его высокие стандарты, его ворчливый гуманизм, его неспособность идти на компромисс. Оглядываясь назад, я знаю, что тогда я только подозревал: мой отец стал для меня воплощением совести. Недоразумение было не столько с ним, сколько со мной. Когда я примирюсь со своей совестью, я примирюсь и с ним.

Во время моих визитов домой в Днепропетровск, отец иногда рассказывал мне об арестах и «исчезновениях» людей на Днепропетровском заводе, людей которых мы оба знали много лет. Я чувствовал, что он возлагает на

меня личную ответственность, как на члена партии, за каждую несправедливость. Я ничего не рассказывал ему об аналогичных арестах в Никополе, о контингентах принудительной рабочей силы, о шпионаже, которому я подвергался.

Это иррациональное желание скрыть что-то от моего отца, раздражало меня, злило и стыдило. Как будто я скрывал что-то от себя самого... Я не слишком стремился, чтобы он навестил меня в Никополе. Мне как-то не хотелось увидеть великолепие, в котором я жил, через искренние глаза отца. И все же я продолжал уговаривать его провести несколько дней со мной, и в конце концов он согласился приехать. Когда он прошел через мой большой дом, цветник, сад, гараж, беспокойство и смущение овладело мною.

"Ты живешь как помещик", - сказал отец.

Когда он попросил у меня пропуск на фабрику, меня охватило то же самое необоснованное смущение. Я не хотел, чтобы условия там оценивались суровой праведностью моего отца. Тем не менее, я послушно подписал серию пропусков. В следующие несколько дней я видел его мало. Он заводил друзей везде на заводе. Этот бодрый старик, его красивые черты такие тонкие и четко очерченные, его молодые глаза такие строгие, чувствовал себя совершенно непринужденно среди рабочих людей везде. Они автоматически принимали его как своего. В течение нескольких месяцев после его отъезда, люди на заводе расспрашивали о моем отце с простой, сердечной заботой.

«Товарищ Кравченко, ваш отец — прекрасный человек, прекрасный человек», — сказал мне старый Дубинский в день встречи с ним. «Он заставляет меня гордиться тем, что я являюсь рабочим. И позвольте мне сказать, он разбирается в технике лучше, чем большинство наших инженеров».

«О, да», — согласился я, немного неловко, — «он был моим первым учителем в промышленности».

В конце того дня я был у себя в кабинете, просматривая чертежи с несколькими коллегами, когда услышал шум в приемной. Моя секретарша повысила голос.

«Я вас спрашиваю, гражданин, для чего вы должны видеть товарища Кравченко?»

«А вам какое дело?» — голос моего отца перекрыл ее. «Он бюрократ или товарищ, что нужно просить разрешения? Ничего, кроме пропусков и разрешений»!

«Тогда я вам не разрешу войти, гражданин. Правила есть правила».

«Вот вашим правилам!» воскликнул он и рывком открыл дверь в мой кабинет.

Он немного смутился, обнаружив, что со мной есть еще люди, но не смог сдержать порыв своего гнева.

«Что это за правила, Витя? Знаешь, даже во времена Романовых до революции рабочий человек мог видеть своего начальника... Но, прошу прощения, я думал, что ты один».

Я представил отца присутствующим, затем отпустил их. Отец извинялся.

«Я был немного груб. Прости меня. Но вся эта бюрократия, вся эта дистанция между простыми людьми и чиновниками действует мне на нервы».

Когда я успокоил его, он попросил об одолжении. Могу ли я позволить ему увидеть учетные книги моего цеха? Наблюдая за работой в течение нескольких дней, он хотел знать, сколько зарабатывают слесари, токари, вальцовщики, электрики и другие рабочие. Он также хотел узнать, сколько человек побывало в государственных домах отдыха и получило другие льготы в прошлом году. Поскольку никакая из этой информации не была секретной, я позвонил главному бухгалтеру и поручил ему предоставить ее моему отцу.

Я остался на заводе еще на несколько часов. Когда я пришел домой, отец уже был там. За ужином он казался озабоченным. Мы говорили о всяких пустяках. Я понял, что он приберегает свои боеприпасы для «серьезного» разговора попозже. Когда он предложил мне дать Паше вечерний выходной, я был в этом уже уверен. «Не нужно чужих ушей», - сказал отец.

Я устроился на диване в своем кабинете, закурил сигарету и приготовился слушать.

«Ну, отец, что у тебя на уме?»

«Давно, сынок, я хотел поговорить с тобой открыто и откровенно. Ты мне дорог не только как сын, но и как человек, за развитием которого я наблюдал эти тридцать лет. Но со временем нам становится все труднее быть откровенными друг с другом. Это печально. Это симптом страхов, среди которых мы живем в эти дни».

«Извини, отец. Но мне интересно, следишь ли ты за историей. Я имею в виду, не живешь ли ты в атмосфере прошлой эпохи».

«Я признаю, Витя, что ты знаешь гораздо больше меня о текущей политике. Ты активный партийный деятель и крупный хозяйственник. У тебя в подчинении полторы тысячи человек, и ты производишь продукции на сумму в десятки миллионов рублей. И все же, я думаю, что знаю больше о жизни простых людей, рабочих и крестьян, чем ты. Ты отдаляешься. Начинаешь видеть массы не с того конца телескопа. У тебя много денег, удобств, машин, слуг...»

«Отец, я не думаю, что заслуживаю этих упреков. Я ведь ничего не украл, правда? Государство дает мне эти вещи, а взамен я работаю больше, чем любой крестьянин».

«Я не хочу тебя упрекать. Пожалуйста, постарайся понять меня правильно. Я просто не могу не беспокоиться, не потерял ли ты все сочувствие к простым людям; не согласен ли ты, грубо говоря, с тем, что ты, как и остальные бюрократы, являешься одним из начальников над несчастным русским народом».

«Я не совсем понимаю, чего ты от меня хочешь. Я всего лишь маленький винтик в большой машине. Правда, отец, состоит в том, что я так много работаю, что у меня нет ни времени, ни сил беспокоиться о первопричинах. Я погружен с головой в свою работу».

«Короче говоря, ты становишься страусом. Ты прячешь голову в песок, и все проблемы исчезают. Ты говоришь: «Это не моя вина, я не сторож брату своему» и все. Да, были такие люди и в старые времена. Страдания твоей страны больше не трогают твое сердце».

«Послушай, отец, не думай, что я не знаю, что происходит, или что я подчинился системе. В конце концов, ты не знаешь, что происходит в моем

сознании — и в сознании миллиона других коммунистов. Но что я могу сделать? Мне выйти на улицу и кричать «Помогите! Убивают!»? К тому же есть и некоторые положительные моменты. Новые фабрики, новые шахты, железные дороги...»

«Конечно, Виктор, конечно. Но революции делаются не для фабрик и железных дорог. Они делаются для людей. Суть вопроса в личных правах и свободах. Без них, без человеческого достоинства, люди являются рабами, независимо от того, насколько индустриализирована их тюрьма. Когда вы коммунисты хвастаетесь новыми заводами, подразумевается, что люди живут лучше. Действительно ли они живут лучше в нашей стране?

«По сравнению с их жалким существованием при царях, я полагаю, что да.»

«Витя, зачем ты обманываешь себя? Ты помнишь свою жизнь до революции у дедушки и дома, когда ты был мальчиком? Мы были небогаты, но никогда не испытывали недостатка в хлебе, молоке и обычной одежде. У тебя и твоих братьев даже была няня. Мы жили прилично. Если оглянуться назад, то наше существование кажется почти роскошным по сравнению с жизнью рабочей семьи сегодня. Сколько рабочих сейчас имеют такие дома, в которых мы жили тогда? Только очень незначительное меньшинство рабочих в прошлом жило так голодно и безнадежно, как сейчас живет большинство.

«У меня сегодня была причина спросить о цифрах по вашему заводу. Я как раз очень хорошо помню соответствующие цифры до революции. Слесари в Никополе сейчас получают от 145 до 200 рублей в месяц.

«До революции 1917 года они получали всего от 35 до 50 рублей. Опытный вальцовщик тогда зарабатывал от 45 до 85 рублей. Сегодня он зарабатывает от 200 до 350. Если же учесть еще токарей, литейщиков, электрокрановщиков, то сегодня заработная плата рабочего составляет в среднем 240 рублей, тогда как в прежние времена при царе она составляла около 55 рублей.

«Это звучит хорошо. Но какой рубль был тогда и какой сейчас? До революции килограмм хлеба стоил 5 копеек. Сколько он стоит сейчас? Где-то между одним рублем с 20 копейками и 2 рублями. Тогда килограмм мяса стоил 15 или 20 копеек, сейчас, если ты вообще сможешь его достать, тебе придется заплатить около двенадцати рублей — то есть в шестьдесят раз больше! Сколько ты заплатил за костюм, который надет на тебе?»

«800 рублей».

«Восемьсот рублей — от трех до четырех месячных заработков квалифицированного плавильщика! Знаешь, сколько это стоило бы до революции? Около 15 рублей, максимум 20. Вот тебе картина: денежная заработная плата выросла в три-пять раз, и это приветствуется как большой экономический прогресс. Но стоимость жизни выросла не в пять раз, а в пятнадцать, сорок, пятьдесят раз. Слесарь, который раньше при царе получал 50 рублей в месяц, был зажиточным человеком. Сегодня он зарабатывает 200 рублей, и он жалкий нищий».

«Но ты забываешь обо всех привилегиях, которые он получает сейчас — бесплатные отпуска, медицинское обслуживание, детские ясли...»

«Хорошо, давай рассмотрим эти льготы. Ты называешь их «бесплатными», но ты знаешь ли ты, что большая часть изымается из заработной платы, чтобы покрыть эти льготы? Включая профсоюзные взносы, принудительные займы и остальное, от заработка трудящегося удерживается от 20 до 25 процентов. За 20–25 процентов своей зарплаты рабочий в прошлом мог бы купить себе всю необходимую медицинскую помощь и отпуск, не будучи обязанным государству.

«Зачем нам нужны ясли? Потому что так мало женщин могут позволить себе оставаться дома и заботиться о своих детях. Раньше на 50 рублей в месяц мужчина мог прилично содержать свою семью при неработающей жене. Теперь на 200 рублей он должен отправлять свою жену и своих подрастающих детей на работу, чтобы свести концы с концами. Что касается медицинского обслуживания, которое они получают, то чем меньше о нем говорить, тем лучше. Когда ты болеешь, Витя, ты идешь в государственную клинику?"

"Нет, я посылаю за доктором Горкиным лично."

"Конечно. Так делает любой, кто может себе это позволить. Ты знаешь не хуже меня, что единственный способ получить достойное лечение — это заплатить за него. Медицинское обслуживание, как и все остальное, прогнило от бюрократии и апатии. А как насчет отпусков в домах отдыха, которыми всегда хвастается коммунистическая пресса? На твоем заводе, Витя, у тебя 1500 рабочих. Ты случайно не знаешь, сколько из них побывало в домах отдыха за последний год?"

"Нет. Несколько сотен, я полагаю."

"Ты ошибаешься. Я сегодня проверил цифры. Всего 57 на всем твоем заводе. Все 1500 заплатили за льготу, а получили ее только 57. Дома отдыха были полны, конечно, все время — полны директорами, партийными чиновниками, высшими стахановцами и прочими любимчиками государства. Конечно, я за социальное страхование, медицинское обслуживание и прочее, при условии, что это будет даваться людям из прибыли, которую государство, как собственник заводов, получает на них, — прибыли, которую раньше получали капиталисты, — а не из заработков самих рабочих. В этом и была суть революции.

«Но где же ваша прибыль? Ваша промышленность и вся ваша экономика работают в убыток. И мы, граждане, вынуждены покрывать эти убытки. Больно, сынок, что вы раздаете крохи, а хвастаетесь, как будто это горы благ. Экономический прогресс, к сожалению, невелик по сравнению с капиталовложениями и жертвами.

«Только несведующие иностранцы и молодые люди, не знающие о прошлом, верят в эти сказки. Для меня материальные факты не так важны, как политические и духовные факты. Но весь акцент в вашей коммунистической пропаганде делается на материальных достижениях. Я меряю вашими собственными мерками».

«Ну, если все в прежние времена было так прекрасно, отец, почему ты сидел в тюрьме и устроил революцию?»

«Не говори ерунды! Ты же знаешь, что я ни о чем не жалею и сделал бы это снова. Мы боролись со злом. Мы рисковали жизнью, чтобы свергнуть политическую тиранию и экономическое угнетение. Это не значит, что мы должны гордиться тем же злом под другим названием. Оправдывать нынешнюю несправедливость ссылкой на прошлое зло — это низкий демагогический трюк».

«Но теперь все принадлежит народу. Нет ни капиталистов, ни эксплуататоров».

По мере того, как длилась дискуссия, я все больше раздражался, именно потому, что в глубине души я соглашался с отцом во многих вещах.

«Не говори глупостей, Витя. Работнику, который недоедает, несмотря на то, что он, а часто и другие члены его семьи работают, все равно, кто его эксплуатирует, частный предприниматель или государство. Когда его бросают в тюрьму или ссылают на каторгу, ему мало утешения в том, что это делается от имени народа. В конце концов, когда владелец-капиталист не платил мне достаточно или не обеспечивал мне достойных условий труда, я мог сменить работу. Я мог пропагандировать и агитировать среди своих товарищей, созывать митинги протеста, устраивать забастовки, вступать в политические партии, издавать оппозиционную литературу. Попробуй сделать что-нибудь из этого сегодня, и ты окажешься в концентрационном лагере или еще хуже. Поверь мне, у нас, рабочих, было больше шансов улучшить свою жизнь, имея дело с сотней тысяч капиталистических работодателей, чем сейчас с одним работодателем — государством. Почему? Потому что у государства есть армия, тайная полиция и неограниченная власть. Всю свою жизнь я боролся против капитализма, и я все еще его враг, но это не значит, что я должен кричать «ура» полицейскому социализму».

Я молчал. Я мог только хмуриться.

«По крайней мере, мы могли думать и говорить свободно, что нам угодно. Было много политических партий, фракций, мнений. Каким бы суровым ни было самодержавие, теперь оно кажется очень либеральным по контрасту с нынешним советским строем. Конечно, царская полиция раньше избивала и иногда расстреливала забастовщиков, расстреливала или ссылала революционеров. Но весь масштаб был совершенно другим. Мы считали наших политических заключенных тысячами, а не, как сейчас, миллионами. И каждая несправедливость вызывала протесты, демонстрации, массовые митинги. Сегодня у нас только кладбищенская тишина.

«Возьми наши так называемые профсоюзы. Что они, как не еще один инструмент для обеспечения выполнения решений партии и правительства и выжимания из нас еще большего труда? В прежнее время, организации профсоюзов были настоящими выразителями интересов рабочих. Это были политические школы, в которых мы учились требовать свои права и бороться за них. А кто сегодня осмелится протестовать против чего-либо?

Пресса, которая выдает себя за рупор общественного мнения, теперь является собственностью партии и государства. Она отражает только их мнение.

"Еще одно, сынок. Ты знаешь, что я никогда не был верующим. Но я всегда уважал право людей поклоняться богу, если они этого хотят. Как мало от этого права осталось! Какие шансы у тебя были бы сохранить свою работу и карьеру, если бы ты был прихожанином церкви? Совсем никаких.

"Даже в худшие дни Романовых, люди могли покинуть страну, если они того хотели. Теперь мы все заперты, и тех, кто пытается пересечь границу, убивают, как собак. Наказывают не только их, но и их семьи. Уехать из страны? Ты привязываешь рабочих к их машинам, а крестьян к их земле, как крепостных".

"Почему ты все время говоришь "ты", как будто это все мои личные дела?"

"Прости, Витя, но как коммунист ты не можешь уклониться от своей доли ответственности".

"Я - НКВД или Политбюро? Ты реалист во всем остальном, отец, но ты, кажется, не понимаешь того факта, что даже ответственные коммунисты, не только рядовые, так же бессильны, как и остальное население. Может, даже больше".

«Я не хочу быть несправедливым, Витя. Я знаю, как мало может сделать один человек. Я не хочу, чтобы ты кричал: «Помогите! Убивают!» Но, по крайней мере, я хотел бы чувствовать, что твое воспитание мною не было полным провалом — что ты, по крайней мере, знаешь где правда».

"Да, я знаю об этом. Больше, чем ты подозреваешь. На этот счет ты можешь успокоиться. Но я все еще цепляюсь за остатки надежды. Я предпочитаю не быть циничным. Например, насчет новой Конституции и законов. Может быть, у нас будет больше свободы в конце концов..."

"Хотел бы я разделить твою веру, Витя. Но какую ценность имеют слова на бумаге, пока тайная полиция управляет всем, как ей заблагорассудится, пока только одна партия может существовать со своей собственной прессой, своим собственным богом — Сталиным, своими собственными судами,и все инакомыслие рассматривается как преступление? Я слишком стар, чтобы жить в иллюзиях. Если я увижу какой-либо признак ослабления террора —

рассвета настоящей свободы — я буду первым, кто будет приветствовать это с настоящей радостью. Пока я не вижу такого признака. Когда я читаю ваши хвастовства и вашу новую Конституцию, Виктор, я не могу не думать о строках Вольтера:

Вы не найдете другой руки столь щедрой и доброй как та, что дает людям мыльные пузыри.

"Не думай, что мне легко так говорить. Я не рад, что мой сын оказался среди новых эксплуататоров, даже если он сам не виноват в этом. ... Возможно, придет время, когда мы лучше поймем друг друга...».

Это время пришло раньше, чем кто-либо из нас предполагал.

ГЛАВА XIV

СУПЕРЧИСТКА

ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ городского комитета партии я ехал домой с близким другом в администрации завода. Он вернулся тем же утром из Москвы, где у него были хорошие связи, и можно было ожидать, что у него будут какие-то новости. Было объявлено об аресте и предстоящем суде над Зиновьевым, Каменевым и другими старыми коммунистами, и я, как и все остальные, был начеку, ища любую крупицу информации. Члены ленинского «Генерального штаба революции» в тюрьме, под угрозой расстрела! Эта мысль была чудовищной, неправдоподобной.

Население в целом — я судил по рабочим Никополя — было довольно равнодушно к тому, что им казалось внутрисемейной драмой среди их новых бар. Трагическая судьба старых ленинцев не вызвала у них особого сочувствия.

Но члены партии, беспартийные функционеры, члены правящей верхушки в целом были встревожены до глубины души. До сих пор ленинская старая гвардия считалась неприкосновенной. Их могли осуждать, изгонять, очернять отвратительными обвинениями, но их жизни оставались неприкосновенными. Даже Лев Троцкий после своего заката был просто сослан в Алма-Ату в Средней Азии, а затем депортирован в Турцию. Но теперь Григорий Зиновьев, некогда глава Коммунистического

Интернационала, человек, письмо которого (возможно поддельное) было достаточным, чтобы повлиять на выборы в Англии, будет публично судим по обвинению в тяжком преступлении! Это, несомненно, была не местная буря, а начало циклона, который пронесется по всей Партии, всей бюрократии, всей стране, проложив дикую полосу смерти и опустошения.

«Виктор», — тихо сказал мой спутник, чувствуя шофера впереди, — «у тебя крепкая шея?»

«Что ты имеешь в виду?»

«Я имею в виду, что скоро много голов будут отсоединены от тел».

«Но что может случиться с моей головой? Я не оппозиционер и никогда им не был. Я придерживаюсь своей работы и не вмешиваюсь в политику».

«Благословен имеющий веру. Век живи, век учись».

Тон его слов был шутливым, но смысл был вполне серьезным.

«Давай пройдем остаток пути пешком. Такой приятный лунный вечер», — предложил я, подтолкнув его локтем.

Мы отпустили машину. В стране, где слишком много стен имеют диктофонные уши, а большинство шоферов работают доносчиками для НКВД, разговор безопаснее всего вести во время ходьбы.

«Что случилось? Говори прямо», — настаивал я.

"Москва перевернута с ног на голову, и Ленинград, говорят, не лучше. Аресты тысячами. Больше нет никакой скрытности. Коммунистов и беспартийных выводят прямо из кабинетов, на виду у всех. Полдюжины ключевых партийных людей, с которыми я обычно имел дело в Москве, неизвестно куда исчезли. НКВД добирается до самого верха, стаскивая оттуда больших людей, комиссаров, руководителей трестов, людей внутри самого Кремля.

"Все мрачны и напуганы, все парализованы. Некоторые партийцы убеждены, что Зиновьев и Каменев будут казнены, и что другие, многие другие последуют за ними. Трудно поверить. Это бессмысленно. Но вот оно! С нами будут обращаться как с кулаками и белыми".

"Кто будет следующим?"

"Твоя догадка так же хороша, как и моя. Но никого из нас, скорее всего, не пощадят. Я имею в виду, что безвестность сама по себе не спасет ни тебя, ни меня. Двое наших инженеров"- он назвал их имена - "были арестованы вчера вечером. Это было обставлено покровом секретности. Директору завода Брачко было приказано отправить их в Москву определенным поездом. На станции Запорожье их арестовали чекисты НКВД и увезли в закрытом автомобиле. Мой друг случайно оказался на станции и все это видел. Теперь все будет происходить быстро. Вот увидишь!"

Действительно, все происходило быстро. Не успел я прибыть на завод на следующее утро, как один из моих помощников поведал мне новость об аресте двух инженеров. Как и многие другие советские «секреты», она распространилась по заводу.

В течение утра мне позвонил Ленский, второй секретарь заводского парткома. Он попросил меня немедленно прийти. Хотя Ленский был мягким, тихим и выглядел как сельский учитель, он имел репутацию человека беспощадного.

«Товарищ Кравченко, я хочу посоветоваться с вами по очень деликатному вопросу», - начал он. «Это касается Аркадия Лиманского. Вы наблюдали за его работой. Он был у вас дома, вы были у него. Он когда-нибудь говорил с вами о политике? О своем политическом прошлом в Ленинграде, например?»

«Нет, мы редко говорили о чем-либо, кроме работы. Его цех и мой должны часто координировать работу, и это сводит нас воедино. Но я не помню никаких политических разговоров».

Это было по сути верно. В советских условиях немногие люди, работающие вместе, достигают той стадии близости, когда они делятся мнениями по «деликатным» политическим вопросам. Лиманский и я, конечно, не достигли этой стадии.

Ленский был разочарован и сделал мысленную пометку, - я не сомневаюсь - что я «выгораживаю» подозреваемого. Вечером, сообщил он мне, будет заседание партбюро по «делу Лиманского». Между тем, я не должен раскрывать, что со мной консультировались по этому вопросу.

Лиманский пришел на заседание в тот вечер в отличном расположении духа. Он не имел ни малейшего подозрения, что срочное заседание касается его самого. Это был дородный мужчина лет тридцати пяти, любивший хорошо одеваться. Побывав однажды за границей с официальной закупочной миссией, он вообразил себя несколько космополитом, немного презирающим Никопольскую провинциальность.

Зал партийного заседания был синим от табачного дыма. Ленский председательствовал. Рядом с ним сидел незнакомец — упитанный детина с коротко бритой головой и хмурым взглядом. Хотя он был в штатском, у него были бойкие, деловитые манеры, выдававшие чекиста. По тому, как он сжимал портфель на коленях, можно было подумать, что его содержимое не сулило некоторым людям ничего хорошего.

«Товарищи, заседание партийного бюро открыто», — сказал Ленский. «На повестке дня сегодня только один вопрос: начальник цеха и член коммунистической партии Аркадий Васильевич Лиманский».

«Я?» — воскликнул Лиманский, вскакивая на ноги. На его лице была глупая улыбка. Удар был настолько внезапным, что не сразу был воспринят.

«Да, вы... Садитесь, пока вас не вызовут».

Лиманский медленно опустился на стул. Казалось, вся кровь внезапно отхлынула от его лица. Он вытер лоб платком.

"Товарищи, кто-нибудь из вас может что-нибудь сказать по теме расследования?"

Никто не ответил.

"Очень хорошо, в таком случае встаньте, Лиманский, и расскажите нам кратко о вашей деятельности, особенно в Ленинграде".

Бедный Лиманский к этому времени дрожал, как в сильной лихорадке. Обычно бойкий и самоуверенный, он внезапно обнаружил, что ему трудно следить за последовательностью прошлых событий. Запинаясь, он зигзагом прошелся по своей биографии, вернулся к началу и в своем замешательстве внес не относящиеся к делу вопросы, включая упоминание о своем браке. Незнакомец стал нетерпеливым.

"Нас не интересует ваша личная жизнь", - сказал он. "Мы хотим услышать

о вашем политическом прошлом".

«Ну, товарищи, это не секрет. ... Я уже сто раз объяснял. … Я имею в виду Ленинград. Я тогда был немного неуверен... Я колебался и связался с какими-то троцкистами. Это не секрет, и партия великодушно простила меня. Да, она доверяла мне, и с тех пор у меня хороший послужной список. Спросите любого здесь. К тому же, товарищи, это было так давно...»

«Давным-давно!» Ленский усмехнулся. «Грязная работа Зиновьева и Троцкого и других бешеных собак тоже была давно. Это алиби больше не спасет врагов народа. Скажите, Лиманский, вы когда-нибудь выступали против Центрального Комитета и нашего Любимого Вождя, товарища Сталина?»

«Нет, конечно, нет».

Ленский махнул рукой чекисту, который теперь заговорил:

"Гражданин Лиманский, вы нагло обманываете партию! Что вы говорили на собрании активистов в N-- районе в августе... ?"

Перемена с "товарищ" на "гражданин" была зловещей.

"Да, теперь я начинаю вспоминать", - пробормотал Лиманский. Он держался за стул, чтобы удержаться на ногах.

"Вспомните еще кое-что. Кого вы знали в Ленинграде, кто тоже "колебался", кто тоже был "немного неуверенным"?"

"Трудно вспомнить... после стольких лет. Но дайте-ка подумать..." Он назвал полдюжины имен.

"А где сейчас эти люди?"

"Понятия не имею, … работают, я полагаю."

"Ну, так я могу вам сказать. Все они арестованы! Кстати, вы подписывали с ними какие-нибудь оппозиционные документы?"

"О нет... Я имею в виду, что я так не думаю".

"Тогда позвольте мне освежить вашу память. Вот фотокопия. Подойдите и

посмотрите на нее. Вы, возможно, узнаете нее? Ваша подпись?"

Лиманский посмотрел на бумагу, затем вернулся на свое место, спотыкаясь, как слепой.

«Но вы не помните, а? Слишком заняты воспоминаниями о дне вашей свадьбы, а?»

«Это была частная бумага, никак не связанная с политикой, и так много лет назад...»

Перекрестный допрос продолжался, возможно, полчаса. Лиманский, теперь полностью деморализованный и сломленный, без всякой необходимости отрицал незначительные факты, а затем, когда ему предъявляли доказательства, делал признания. Ни один из пунктов сам по себе не был жизненно важным, но, взятые вместе и напыщенно прочитанные чекистом, затем Ленским, они укладывались в определенную цепочку. Последовало некоторое напряженное обсуждение из зала.

Несколько человек заступились за этого человека; гораздо больше его осудили. Наконец, собрание единогласно исключило его из партии и просило городской комитет подтвердить решение. Когда мы вышли из комнаты, никто не говорил. Мы избегали смотреть друг на друга. Немного позже, возвращаясь домой, я увидел свет в окне кабинета Лиманского и, повинуясь импульсу, вошел, не постучав. Я нашел его за столом, он сидел, уткнувшись в голову руками, его широкие плечи дрожали от сдерживаемых слез. Еще час назад он был сильным, уверенным в себе хозяйственником, не без налета бюрократического высокомерия; внезапно он стал жалкой, дрожащей развалиной.

"Виктор Андреевич!" - он поднял удивленный взгляд. "Спасибо, что зашли. Это конец! Арест, пытки, концлагерь, потом что? Моя жена … О, Боже! Может, мне лучше застрелиться".

Он был неутешен, и он был прав. Городской комитет партии быстро подтвердил исключение. Лиманский был переведен на незначительную работу в тресте в Харькове и вскоре затем был арестован. После этого никто в Никополе не знал, что с ним стало.

Неделю или две спустя у меня возникли дела с помощником Брачко, членом партии Алексеем Сухиным. Я быстро вошел в его приемную и собирался войти в его кабинет. Но его секретарь остановил меня.

«Подождите, пожалуйста, товарищ Кравченко. Товарищ Сухин очень занят».

«Я тоже», — раздраженно ответил я и вошел в кабинет.

Я остановился на пороге. Сухин сидел за своим столом, а рядом с ним сидел толстый, потный Гершгорн из НКВД, ухмыляясь. Вдоль стен, справа и слева, сидели десять или двенадцать инженеров, некоторые из них были членами партии. Смутившись, я тем не менее громко поздоровался со всеми. Отвечал только Сухин. Затем я заметил четверых одетых в униформу чекистов НКВД, державших инженеров под стражей.

Я в замешательстве вышел и направился в кабинет директора Брачко.

"Что случилось, Пётр Петрович?" - спросил я.

"Я сам больше ничего не понимаю. Двенадцать человек за один день! Восемь вчера. Если так и дальше будет.... Но голова кружится, Виктор Андреевич."

Брачко, казалось, за одну ночь стал стариком. Глаза его были неестественно расширены, он был как потерянный.

Из его кабинета я пошел в бухгалтерию, чтобы отыскать нужные цифры. Я оставался там около десяти минут. Вдруг один из бухгалтеров, сидевший у окна, взволнованно крикнул: «Боже мой! Посмотрите на это!» Мы все бросились к окнам. Перед зданием стоял специальный грузовик НКВД, без окон, который в народе называют Черным Вороном.

Инженеры и техники, собранные в кабинете Сухина, теперь выходили из двери. Одного за другим их заталкивали в машину чекисты с обнаженными револьверами.

В этот момент мы были поражены истерическим визгом женщины, затем снова наступила тишина. Жена одного из арестованных, также работавшая на нашем заводе, ничего не подозревая, подошла к окну, как раз вовремя, чтобы увидеть, как ее мужа сажают в Черный Ворон. Она вскрикнула и потеряла сознание.

Когда все инженеры были погружены, грузовик был заперт с громким лязгом и уехал. Гершгорн и его подельники-чекисты сели в элегантный автомобиль, который следовал за грузовиком. Десятки людей стояли у окон кабинета, зачарованно глядя на следы на снегу, оставленные автомобилями.

Моя память изнемогает, когда я вспоминаю последние месяцы 1936 года, когда мы еще не привыкли к циклону террора. Это всего лишь несколько эпизодов, выхваченных наугад из хаоса: обломки окружавшего нас мира, который потерял равновесие и, казалось, рассыпался, когда мы смотрели на него с ужасом.

По какой-то причине воспоминание об инженере Стецевиче продолжает оставаться в моей памяти. И я не могу думать о нем, не вспоминая женщину, которая была его матерью. Он был поляком, как и его жена. Будучи беспартийным специалистом, этот инженер избегал политики, хорошо и усердно работал и мало общался со своими коллегами.

Я понял, что Стецевич попал в беду, когда один из людей Гершгома прибыл, чтобы допросить меня о его работе. Честно говоря, я мог сообщить только благоприятные факты — еще одно черное пятно в мое досье в архивах НКВД; мой отказ «сотрудничать» в кампании против «саботажников» станет, по сути, главным обвинением против меня.

Вскоре после этого, нашего поляка все равно арестовали; его жену и мать выселили из квартиры.

Однажды вечером я ехал в Никополь на своей машине. Впереди нас на дороге, примерно в трех километрах от города, я заметил согбенную старушку,медленно бредущую со свертком в руке. Когда мы поравнялись, я увидел, что это мать Стецевича. Я остановил машину и пригласил ее в машину. Я знал, как опасно проявлять доброту к «преступнику», матери «ликвидированного» человека, который, к тому же, обвинялся в шпионаже в пользу Польши, но в тот момент мне было все равно. Я бы взял ее, даже если бы это означало верную смерть мне. «Спасибо, спасибо, Виктор Андреевич», — сказала она. «Дай Бог, чтобы твоей маме не пришлось страдать так, как страдаю я: чтобы тебе не пришлось терпеть то, что терпит мой бедный мальчик. Я пойду в НКВД. Постою там и подожду. Может, мне разрешат отправить ему эту посылку. Другие женщины говорят, что он будет в составе контингента, который сегодня отправляется в Днепропетровск».

Когда мы добрались до города, она настояла на том, чтобы выйти, чтобы не впутывать меня в неприятности. Мой шофер обернулся.

«Товарищ директор», — сказал он, — «я, может быть, и сукин сын, который должен докладывать в НКВД обо всем, что он видит и слышит. Хотите верьте,

хотите нет, но я клянусь своей собственной матерью, что на этот раз я не донесу. Моя мать — простая женщина, я люблю ее и, в любом случае, благодарю вас, Виктор Андреевич, как русский русского».

За годы моих мытарств этот инцидент так и не был поднят, хотя мне предъявляли много менее серьезных «преступлений». Шофер сдержал свое слово.

2

Обстановка в Никопольском комбинате становилась все более гнетущей с каждым днем. Козлова, секретаря заводского парткома, «перевели» в город Кривой Рог, и вскоре мы узнали, что он арестован. Один за другим административные чиновники не появлялись на работе, и их предполагаемая «болезнь» оказывалась постоянной.

Простые рабочие сначала считали, что эти странные дела их не касаются. Но теперь мужчины и женщины, близкие им, товарищи по цехам, такие же рабочие, как они сами, начали исчезать. Это было другое дело. Тревога стала настолько всеобъемлющей, что она глубоко врезалась в общие показатели производства. Моральный дух на заводе был сильно подорван.

Когда была созвана специальная сессия активистов Никополя, мы пошли туда с замиранием сердца, У двери наши удостоверения партбилеты были тщательно проверены, хотя мы и знали друг друга близко. Старого чувства товарищества на таких встречах больше не было. Несколькими месяцами ранее были громкие приветствия. «Привет, товарищ Кравченко» «Здорово, старина!» Был товарищеский обмен сплетнями, анекдотами, разговорами о делах, партийной политике. Теперь была только суетливая торжественность. Мы отодвинулись друг от друга, словно боясь какой-то страшной заразы.

Спасай себя! Спасай себя! Остерегайся ближнего! Можно было почти услышать невысказанные слова.

Товарищ Бродский, первый секретарь горкома, обычно такой решительный и энергичный, теперь выглядел так, словно он давно не спал. Его глаза опухли, а руки тряслись. Голос звучал глухо, как будто он говорил в мегафон. Мало кто из нас подозревал, что это его последнее публичное выступление; что могущественный, кипучий Бродский скоро окажется в одном из подвалов НКВД вместе с большинством тех, которые сейчас с ним на трибуне власти.

Нас созвали, объявил Бродский, чтобы выслушать конфиденциальное письмо Центрального Комитета партии в Москве. Он прочитал его медленно, страстно, желая засвидетельствовать свою лояльность, свое полное одобрение, свое униженное одобрение. Это было за несколько дней до вынесения приговора и казни Зиновьева, Каменева и прочих. Московское письмо, по-видимому, было направлено на то, чтобы подготовить партию к шоку и вселить страх в любое скептическое сердце. Теперь, когда «было доказано», говорилось в письме, что троцкистско-зиновьевские чудовища объединились в своей борьбе против Советской власти с иностранными шпионами, провокаторами, кулаками, диверсантами, белогвардейцами, вредителями, и агентами капиталистов, все члены партии должны понять необходимость чрезвычайной бдительности... Доказательством истинного коммуниста, говорилось в нем, отныне будет его способность распознавать и беспощадно разоблачать врагов народа, скрывающихся за партийными билетами.... Теперь нет места «гнилому либерализму» и «буржуазной сентиментальности».

Смысл сообщения был достаточно ясен. Дрожь пробежала по аудитории. Так же, как в недавнем прошлом мы искали «врагов» в широких массах населения, теперь мы должны искать их в наших собственных рядах коммунистов! Впредь ваши заслуги будут оцениваться по количеству ваших доносов на близких товарищей. Слабаки, брезгливые личности, которые ставили личную дружбу выше интересов партии, пострадали от последствий своего «двурушничества».

Бродский долго говорил о важности конфиденциальных приказов, необходимости сохранять их в тайне. Как будто его жизнь зависела от количества и экстравагантности его эпитетов, которыми он восхвалял гениальность Сталина, Солнце нашего советского отечества, Мудрого и Непогрешимого Вождя. Я впился ногтями в ладони до крови, внимательно слушая.

Другие просили слова, чтобы ругать себя и Никопольский партком за «отсутствие бдительности», за «самоуспокоенность перед лицом опасности». Коммунисты ринулись в атаку, панически стремясь заявить о себе, унизить себя, спасти себя. Вдруг среди мутного потока непристойных речей у двери возникло волнение. Мы все обернулись.

Прибыл товарищ Хатаевич, первый секретарь обкома, член Всесоюзного Центрального Комитета партии. Он шел по проходу к трибуне, в окружении своей чекистской охраны. Это был новый штрих, возможно, самый страшный из всех: охрана и револьверы на собрании коммунистов-активистовI Охрана вождей от «лучших из лучших» в народе!

Хатаевич выглядел усталым. Его лицо было бледным и изрезанным глубокими морщинами, а голос, казалось, доносился откуда-то издалека. Его речь следовала основным линиям московского письма. Но он не мог скрыть своего несчастья.

Слушая его, я вспоминал сцену на пшеничных полях во время колхозной коллективизации, когда этот самый Хатаевич благодарил меня за то, что я досрочно выполнил план уборки хлеба, и убеждал меня понять необходимость «сильной» политики; вспомнил я и наши заседания в областном комитете. Он тогда был таким сильным, таким самоуверенным...

С этого времени стало «делом чести» для коммуниста разоблачать и еще раз разоблачать «замаскированных врагов» в партии. Вы не решались говорить с ближайшими товарищами. Вы отмежевывались от друзей, родственников и коллег. А что, если они были заражены, разносчиками политической эпидемии, охватившей страну? Вы забывали, что когда-то существовали такие вещи, как честность, верность, дружба.

Падение любого руководителя или высокопоставленного чиновника означало, что все его назначенцы и приспешники будут также вычищены. После ареста Бродского, Черные вороны и закрытые автомобили НКВД забрали его помощников, его друзей, людей, которых он устроил на работу в Никополе, и больше их никто не видел.

Был арестован комендант Никопольского гарнизона, затем городской прокурор и весь его штат; наконец, сам председатель Никопольского Совета. Местный банк, газета, все учреждения были «зачищены». Везде новые люди брали власть, и часто в течение недели или месяца их, в свою очередь, арестовывали.

Шепотом люди рассказывали об аресте председателя Совета,

высшего гражданского должностного лица в городе. Он был бывшим шахтером, с гордым послужным списком гражданской войны. Его разбудили среди ночи. Его жена и дети так громко плакали, что разбудили соседей.

«Я представитель советской власти в Никополе», — кричал председатель чекистам. «Вы не имеете права меня арестовывать! Покажите мне ордер!»

«Шагай, паршивый пес! Мы тебе покажем, у кого какие права», — прорычал НКВДовец и вытолкал его за дверь.

После ликвидации председателя были схвачены большинство высших чинов городского управления, среди них управляющий коммунальной администрацией, начальник пожарной охраны, директор городской сберегательной кассы, даже начальник санэпидстанции; некоторых забирали ночью дома, других открыто в их рабочих кабинетах.

В партком на место арестованного Козлова пришел новый человек, чужой нашему заводу.Его звали Лось. Это был туповатый, фанатичный малый, такой же неприятный и дурно-пахнущий как плохой самогон. Последние капли товарищеского чувства испарились в пылу рьяной охоты Лося на виновных. Встречаясь на территории или в коридорах, мы, технические и партийные функционеры, с удивлением смотрели друг на друга. «Как? Ты еще жив?» — говорили наши взгляды.

Управление НКВД, на одной из главных улиц города, горело огнями всю ночь, теперь каждую ночь. Смертоубийственная чекистская машина работала безостановочно двадцать четыре часа в сутки. Чекисты Дороган, Гершгорн и их подельники были одушевлены близким запахом крови. Арестованных держали недолго. Никополь был, в конце концов, лишь небольшим филиалом советской империи. Их отправляли в Днепропетровск, из Днепропетровска в Харьков, в другие центры, чтобы освободить место для большего и большего числа.

Никополь был лишь крошечным сегментом в расширяющейся полосе, прорезаемой суперчисткой. Инструкции из нашего треста, Трубостали, и из комиссариата в Москве все чаще подписывались незнакомыми именами, столь много прежних чиновников было ликвидировано. Хатаевич и группа его коллег по областному комитету партии были арестованы; Хатаевич был достаточно важен, чтобы занять половину колонки оскорблений в нашей местной прессе. Везде была одна и та же история. Невозможно было

угнаться за потоком сенсаций, трагедий, зловещих сюрпризов. Самые воображаемые слухи не могли сравниться с реальностью.

Внешний мир наблюдал за несколькими судебными процессами кровавых чисток, организованными в бывшем Дворянском Собрании в Москве. Он не понимал, он не понимает и по сей день, что московские процессы были всего лишь формальным фасадом, витриной, за которой настоящие ужасы громоздились высокой горой. В судебных процессах участвовало несколько десятков тщательно отобранных и отрепетированных жертв. Чистка и массовые убийства коснулись сотен тысяч, в конечном итоге около десяти миллионов, которые были быстро отсортированы и уничтожены: этих в тюрьму, этих в ссылку, этих в каторжные концлагеря, этих на смерть. Толпы женщин и детей толпились вокруг здания НКВД в Никополе в любое время, несмотря на сильный холод. Сотрудники НКВД разгоняли их, но вскоре они возвращались снова, плача, крича, выкрикивая имена отцов, мужей, братьев. Многие из этих несчастных были местными жителями, но многие другие приехали из близлежащих деревень. где погром поражал председателей сельских советов, секретарей партийных комитетов, головку комсомола, председателей колхозов.

Эти сцены у здания НКВД я никогда не смогу вычеркнуть из своей памяти. Великий театральный гений, надеясь передать массовое отчаяние, жуткую и безграничную скорбь, не мог бы придумать ничего более ужасающего. И посреди бури, сквозь крики убиваемых и стоны страдающих, советская пресса и радио объявили об официальном принятии «самой свободной и демократической в мире Конституции» в ноябре 1936 года.

Истерия достигла той точки, когда нервные партийцы ложились спать в одежде, «на всякий случай». Как и почти у всех, у меня был небольшой чемодан, набитый вещами, которые могут пригодиться человеку в тюрьме: сменное нижнее белье, носки, носовые платки, одеяло.

«Вы куда-то едете?» — невинно спросила Паша, обнаружив чемодан под моей кроватью.

«Кто знает, Паша, кто знает?» — вздохнул я.

Директор Брачко, побывавший в Днепропетровске по делам, вернулся нагруженный ужасными новостями. В моем родном городе хаос был, пожалуй, еще хуже, чем в Никополе. На одном моем старом заводе, как ему

сказали, аресты уже превысили пятьсот человек, а Черные Вороны все еще голодные. Многие из моих однокурсников по институту — Берецкой, Кац, Рихтер, список казался бесконечным — были вырваны с инженерных должностей.

Каждый день товарные эшелоны, запертые и опечатанные снаружи, вывозили человеческий груз из Днепропетровска. Четыре года назад трагический груз состоял из простых крестьян; теперь состав был более знатный: партийные, руководители, военные, техники, беспартийные чиновники.

«О чем думают Сталин и Политбюро? Все это кажется каким-то безумием», — сказал Брачко, и затем вероятно пожалел о своих словах, как я мог видеть по его встревоженному, обращенному на меня взгляду.

О чем думают Сталин и Политбюро? Именно этот вопрос стучал в моей голове. Я сделал глупую и бесполезную вещь. Поскольку я знал одного члена Политбюро лично, я решил спросить его, что все это значит. До глубокой ночи, несколько вечеров подряд, я корпел над письмом наркому Орджоникидзе.

Как можно спокойнее, словно составляя технический отчет, я рассказывал, что происходит в Никополе, Днепропетровске, Кривом Роге и других местах нашего края. Я называл имена. Я защищал лояльность людей, которых лишили работы. Если такие вещи продолжатся, предупредил я, скоро не останется никого, кто мог бы управлять промышленностью в нашем регионе. Производство уже было дезорганизовано, никто не осмеливался начинать работу, никто не осмеливался принимать решения.

Я отправил письмо по частным каналам и точно знаю, что оно было передано в руки комиссара. Но я так и не получил никакого ответа.

Когда началась моя собственная эпопея чистки, меня никогда не спрашивали об этом письме, и поэтому я знал, с благодарностью, что Орджоникидзе не передал его в чекистские органы. Любого абзаца в моем письме было бы достаточно, чтобы гарантировать мою скорую смерть.

3

Моя очередь пришла в ноябре 1936 года.

Она пришла ко мне так же внезапно, как и к Лиманскому, но у меня было психологическое преимущество, поскольку я ожидал удара и много репетировал с другими товарищами в главных ролях. Главное, говорил я себе, не терять контроль над своими чувствами. Бесконечными бессонными ночами я пытался представить, в чем можно было бы обвинить меня. В чем будут мои «преступления»? Быдет ли это чем-то, что я сказал или сделал год назад, пять лет назад? Связано ли это с работой на моем заводе? Кроме сомнений в моей душе и тяжелой печали в моем сердце, я не осознавал никаких преступлений против Советской власти. Когда обвинения против меня были наконец объявлены, они не имели ничего общего с моими предварительными догадками.

Однажды мы проводили партийное собрание в помещении заводского клуба. Это была скверная, мокрая ночь. Пол был грязным и скользким от наших сапог. Синие облака сигаретного дыма висели в воздухе. Собрание, ночь, дым, грязь останутся со мной навсегда. Они стали частью повторяющегося кошмара. Они задали настроение тому, что последовало, так же, как увертюра Вагнера задает настроение для последующей драмы.

Несколько членов партии были привлечены к какой-то ответственности. Местные партийные ячейки теперь демонстрировали свою «инициативу» и «сталинскую бдительность», действуя против своих товарищей еще до того, как органы успеют до них добраться.

Они действовали как соглядатаи для НКВД. В трех случаях собрание рекомендовало исключение. Теперь собрание, казалось, почти закончилось. Но внезапно Лось поднялся, чтобы заговорить. Я думал о чем-то далеком от этого уродливого собрания, когда смысл его слов поразил меня и пронзил, как электрический разряд. Это был тот самый долгожданный момент!

«Товарищи», - начал Лось, - «предлагаю обсудить дело начальника трубопрокатного цеха, члена коммунистической партии Виктора Андреевича Кравченко. У нас есть донесения, содержащие очень серьезные обвинения в прошлой и настоящей деятельности этого товарища».

«Пусть обвинители выскажутся!» - крикнул кто-то в глубине зала.

«Совершенно верно», — сказал Лось. «Инженер Григорий Макаров может теперь иметь слово».

Когда товарищ Макаров шел на платформу для ораторов, товарищ, сидевший справа от меня, встал и ушел, бормоча что-то о «покурить».

Человек слева от меня тоже отошел. Я превратился как бы в прокаженного. Меня окружала пустота. Я знал товарища Макарова еще со времен института. Он был одним из тех некомпетентных, беспомощных людей, которые выживают, эксплуатируя чужое сочувствие. Я устроил его на работу в Никополе, нашел ему квартиру и всегда наивно считал само собой разумеющимся, что он за это мне благодарен.

«Я знаю Кравченко много лет», — говорил он сейчас. «Он был членом Бюро партийного комитета Металлургического института. Большинство его коллег по этому комитету были арестованы; в частности, Берецкий, который был его другом, также Кац. Интересно, случайно ли это, товарищи! У этого Кравченко много друзей и «связей» в Москве, и он приехал в институт по рекомендации самого товарища Орджоникидзе. Позвольте мне сказать попутно, что некоторые из его московских «связей» были разоблачены как враги народа.

«Но это все между прочим, товарищи. Я хочу сказать, что за все эти годы членства в партии Кравченко лгал партии. Он скрыл от партии самый важный факт — политическое прошлое своего отца! Почему он не признался партии, что его отец был активным меньшевиком до революции и что он агитировал беспартийных рабочих против политики нашего Любимого Вождя с тех пор?"

"Говорите о Кравченко, а не о его отце!" - вмешался кто-то.

"Яблоко от яблони недалеко катится", - крикнул товарищ Лось в ответ. "Продолжайте, товарищ Макаров".

"Правильно", - продолжал Макаров, - "яблоко от яблони недалеко катится. Кравченко ничем не лучше своего отца. Он окружил себя "чуждыми элементами". Случайно ли, как вы думаете, что он собрал так много беспартийных в своем отделе? Кто его помощники? Кто его бригадиры? Кто арестованный меньшевик Дубинский? Я мог бы назвать многих других. Все они беспартийные или настоящие враги, чье вредительство было раскрыто органами НКВД."

В разгар моего отчаяния я подумал: Так вот что его грызет; тот факт, что я не повысил его до полного помощника!

"Товарищ Лось", - теперь заговорил директор Брачко, - "я предлагаю оратору придерживаться фактов и прекратить возиться с грязью и чепухой".

"Я приведу вам факты, товарищ Брачко, много фактов. Вспомните то время, когда новые нормы были приняты в соответствии с нашим славным стахановским движением. Разве не было всем нам ясно, что Кравченко выступил против изменений? Только один рабочий был настолько неблагодарен, чтобы нападать на новые нормы, человек по имени Кирюшкин. Что сделал Кравченко, этот великодушный гуманист? Да, он наградил Кирюшкина лучшей работой!

«Да, я обвиняю его в том, что он защищал все антисоветские элементы в нашей среде, и я обвиняю его, прежде всего, в том, что он обманывал нашу славную партию, скрывая меньшевизм своего отца».

Когда он сходил с трибуны, раздались крики «Правильно! Молодец!», а также крики «Ложь! Все вранье! Абсурд!»

«Слово имеет член партии инженер Шайкевич», - объявил Лось.

Шайкевич был человек невысокого роста, со сморщенным обезьяньим лицом и маленькими злыми глазками.

«Товарищи, я тоже отправил рапорт на товарища Кравченко», сказал он фальцетом, похожим на натянутую проволоку. «Я давно наблюдал за ним вблизи. Это правда, что газеты и радио превозносили его до небес. Сколько раз его фотография появлялась в газетах! Но что, если все эти заслуги перед страной были всего лишь дымовой завесой, за которой такой человек проводил свою подлую работу?».

«Факты, а не риторику!» — крикнул Брачко.

«Кравченко — скептик!» Оратор, разгневанный прерыванием, взял еще более пронзительную ноту фальцетом. «На заводе всегда недовольное лицо, все не в его большом вкусе! Даже его мать приходила шпионить по территории завода и подавать жалобы. Почему он вообще занимает такую высокую должность? Потому что у него есть друзья в Москве и в Харькове! Не способности, а связи!»

«Это ложь, товарищи!» — снова крикнул Брачко. «Кравченко был назначен товарищем Иванченко после консультации со мной. Он один из лучших

инженеров Трубостали, и сам комиссар часто поручал ему важные спецпроекты».

«Но вы же не можете отрицать, товарищ Брачко, что он сын антисоветского отца и скрывал это от нас!» — торжествующе раздался фальцет. «Он лишил повышения всех верных, преданных Сталину коммунистов в своем цехе...».

И теперь я вспомнил. Мне тогда было жаль расстроенного, несчастного маленького Шайкевича, и я пытался скрыть его промахи. Но в конце концов, обсудив проблему с Брачко, я перевел его в отдел, где к его ограниченным знаниям предъявляли меньшие требования.

После Шайкевича поднялся Юдавин, чтобы завершить обвинения. Он был стукачем НКВД. Зная этого Юдавина как чекистского секстота, я избегал его. Теперь он был готов отплатить мне с лихвой.

«Товарищи», — сказал он, — «я не только поддерживаю выводы других ораторов, но и хочу перейти к самому серьезному пункту. Кравченко — диверсант!»

Страшное слово взорвалось, как бомба. Аудитория замерла в тишине. До тех пор я сохранял самообладание. Теперь я вспотел. Мое сердце билось так громко и быстро, что я чувствовал, как оно слышно сквозь слова Юдавина. О чем он мог говорить? Что этот тайный чекист и его хозяин Гершгорн готовили для меня?

"Да, диверсант! Этот Кравченко намеренно заморозил миллион рублей советской и иностранной валюты. Как он это сделал? Просто, очень просто! Он заказал все виды дорогих инструментов и свалил их в своем цехе. Его отдел забит дорогостоящими деталями машин, ни одна из которых никогда не используется. Некоторые из них даже никогда не были распакованы! Я утверждаю, что все это преднамеренно и рассчитано на то, чтобы нанести вред государству и стране!"

Теперь, когда обвинение было выдвинуто, я почувствовал облегчение. Я чувствовал, что обвинение было слишком надуманным и слабым. Поскольку Лосю, как и всем остальным, не терпелось закончить собрание и пойти домой, я был избавлен от дальнейших нападок. Он призвал меня прокомментировать. Собрав все мои запасы силы воли, я поднялся на трибуну.

«Товарищи, члены партии», — сказал я, — «я хочу поговорить с вами откровенно, какими бы ни были последствия. Я в партии уже десять лет. Моя история говорит сама за себя. У меня есть свои человеческие недостатки, я совершал ошибки. Может быть, я выдвигал людей, которые этого не заслуживали, или убирал других, которые этого не заслуживали. Человек на посту власти должен принимать решения, и поскольку он всего лишь человек, некоторые из этих решений обязательно будут неправильными. Вы все знаете, что у Макарова и Шайкевича есть личные обиды, какой смысл в этом разбираться? Это совершенно очевидно для любого, кто знаком с этим заводом.

«Я настаиваю, что я ни в чем не виноват. Более того, я ничего не боюсь! Я прошу вас только об одном. Дайте мне время, чтобы привести доказательства того, что эти обвинения являются злонамеренными выдумками. Назначьте комиссию для расследования обвинений. Тогда, если я не убедил комиссию, я буду готов принять последствия.

"Вся буря была вызвана тем, что, как говорят, мой отец был меньшевик. Позвольте мне заявить об этом совершенно ясно. Я не отрекаюсь от своего отца. Я люблю его и восхищаюсь им. Именно он привил мне те пролетарские идеалы, которые в конечном итоге привели меня в комсомольскую организацию, а затем в партию. Он беспартийный, но его заслуги перед рабочим классом хорошо известны. Он высоко ценится рабочими, которые знают его лучше всего, рабочими Днепропетровска.

"Простой факт заключается в том, что он никогда в своей жизни не был меньшевиком или членом какой-либо другой партии. Он был просто хорошим революционером, который боролся с царем и капиталистами, но не носил никакого политического ярлыка. Он с оружием был на баррикадах в 1905 году. Он работал с меньшевиками, но также и с большевиками, и сидел в тюрьме со всеми видами революционных борцов. Все это я могу доказать, если вы дадите мне необходимое время.

Что касается разговоров о саботаже, то это просто глупо. Правда, у меня в моем цехе есть большой склад инструментов. Но каждая его копейка известна Комиссариату. Я регулярно докладывал об этом и предоставлял его в распоряжение треста, который мог бы в любое время получить поставку.В каждом случае материал заказывался для удовлетворения реальной потребности.

«Как так получается, что у меня так много дорогих инструментов и деталей, некоторые из которых мало использовались? Ответ в том, что мне часто поручали специальные работы, требующие специальных инструментов. Например, был срочный заказ на трубы для бакинских нефтяных месторождений, вы все помните. Затем случилось так, что изначально заказанные количества были сокращены, соскращено и задание, к которому мы готовились, Иногда задания полностью отменялись из-за изменений в планах.

«Таким образом, накопились дорогие инструменты. Мы сохранили их, потому что они могли понадобиться в любой момент, без предупреждения. Но все это было открыто, а не тайно, как настаивают мои обвинители. Все это выросло из решений в Москве, а не в моей собственной голове.

«Представлять это как диверсию или саботаж слишком нелепо, товарищи. Я могу доказать документами, как, когда и особенно почему каждый предмет в инвентаре был получен. Все остальное, что было сказано, тривиально. Я не хочу испытывать ваше терпение подробным ответом. Я прошу вас позволить мне доказать свою невиновность здесь, в этом зале, а не где-то еще. Но что бы ни случилось, помните, что я ни в чем не виноват».

После того, как я вернулся на свое место, раздались сдержанные аплодисменты. Раздались также крики: «Выгнать его! Меньшевик! Вредитель! Спекулирует на своих «связях»!»

Встал рабочий лет шестидесяти, товарищ Силинин, с которым я был знаком лишь случайно; все узнали его.

«Пока товарищ Кравченко все еще является начальником цеха, было бы неправильно прерывать его работу. Кажется, в этом деле много сомнений, так зачем же нам действовать в спешке или панике? Будет достаточно времени, товарищи, для исключения и административных мер. Предложение самого Кравченко хорошее. Я предлагаю, чтобы мы попросили Городской Комитет назначить комиссию для расследования, и чтобы товарищ представил свои доказательства комиссии».

Предложение было принято. Юдавин, Шайкевич, Макаров и некоторые другие проголосовали против. Только Брачко и старый Силинин осмелились

подойти ко мне, когда мы вышли из зала. С этого времени и до конца моих испытаний, в течение более чем восемнадцать месяцев, я был «неприкасаемым», и таким же изолированным, как если был бы болен Черной Чумой.

ГЛАВА XV

МОИ ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ НАЧИНАЮТСЯ

Я ОТКРЫЛ никопольскую местную газету на следующее утро, чтобы обнаружить себя знаменитым. Как будто стремясь загладить частые похвалы мне в тех же колонках в прошлом, местная пресса теперь порвала меня в клочья. Самые отборные пасквили предыдущей ночи были заполнены темными намеками и стандартными фразами советских приемов уничижения.

«Согласно достоверным свидетельствам», - говорилось в одном из отчетов, - «этот персонаж Кравченко преуспел все эти годы в сокрытии того, что его отец был крупным землевладельцем-эксплуататором».В другой статье было сказано, что я белый и долгое время счастливо служил «лакеем» врагов народа; что я покровительствовал и защищал элементы, враждебные партии; что я занимался «вредительской» деятельностью.

В безрассудстве дезинформации, в изобилии обвинений я чувствовал вдохновение извне.

Преемником Бродского в городском комитете партии был человек по имени Филин.

Я был поражен, когда получил от него телефонный звонок, в то время когда я торопливо завтракал.

«У нас есть полный отчет о вчерашнем собрании, и мы прочитали утренние газеты», - сказал он. «Пожалуйста, не беспокойтесь, товарищ Кравченко. Продолжайте работать и следите за тем, чтобы соблюдались производственные графики. В настоящее время вас никто не тронет».

Я поблагодарил его, испытывая огромное облегчение. По крайней мере, на какое-то время я был в безопасности.

Филин не осмелился бы успокаивать меня, если бы он и другие вокруг него не посчитали «дело» против меня шатким.

Когда я прибыл на завод, я обнаружил, что следственная комиссия, назначенная Филлином, уже работала. В нее входил Лось, что было не очень обнадеживающе, но также Брачко, что поддерживало мою бодрость; в нее также входил главный инженер Вишнев. Все они были в кладовой, где хранились инструменты, и изучая их.

«Доброе утро», — холодно поприветствовал меня Лось. Он принял манеру обвинителя. «Давайте приступим к делу. Вы тот, кто заказывает здесь инструменты?»

«Да».

«Тогда вы не отрицаете, что заказывали все эти сохранные материалы?»

«Конечно, нет».

«А кто дал разрешение на это на заводе? Кто подписывал бумаги?»

«Товарищ Вишнев, как главный инженер».

Вишнев был явно поражен.

«О, нет, я не думаю, что я это делал», — нервно сказал он. «Или если и делал, то, должно быть, по приказу из центра».

«Кто составил предварительный список инструментов для заказа?»

«Механик Кизнаменко, с разрешения товарища Вишнева».

И снова Вишнев, теперь уже более обеспокоенный, чем я, вспылил, отрицая, настаивая, что он этого не помнит.

«Что-ж», — сказал Брачко, — «бумаги должны предоставить нам факты».

«Я постараюсь их найти», — пообещал я, — «но я могу только надеяться, что копии есть в деле или что я смогу получить доступ к оригиналам в Харькове и Москве».

Поиск этих документов стал моим главным занятием на долгие недели. Эти листки бумаги превратились в призраков, теперь дразнящих меня, всегда ускользающих от меня. Если бы я когда-нибудь схватил их и крепко держал, я

мог бы показать, что инструменты — особенно большая их партия из Америки, которая никогда не использовалась — считались необходимыми для выполнения определенных заказов из Москвы: что количество было тщательно рассчитано в связи с количеством труб, которые должны были быть изготовлены и обработаны.

Я так и не узнал, были ли эти копии честно утеряны или злонамеренно уничтожены. С разрешения и Брачко, и Филлина я отправился в тот же день в Харьков, а при необходимости и в Москву, чтобы искать доказательства того, что покупка различных дорогостоящих инструментов не была дьявольским актом саботажа.

Ужасное обвинение и гротескная миссия — но увиденные в искаженных зеркалах того времени нелепости имели свою собственную советскую логику. Если Троцкий, создавший Красную Армию, был «немецким шпионом»; если его соратники, которые совершили революцию вместе с ним и Лениным, на самом деле были «дикими псами» на содержании у иностранной реакции, то почему Кравченко в Никополе не мог бы попытаться подорвать советский строй, купив на миллион рублей ненужных инструментов для изготовления труб? Только враг народа мог бы легкомысленно отнестись к такому предположению!

Дружелюбие Филина было единственным ободряющим фактором в моем затруднительном положении.

Я сказал ему, прежде чем уйти, что я также остановлюсь в Днепропетровске, чтобы представить доказательства того, что мой отец никогда не принадлежал к меньшевикам.

На этот раз я безоговорочно доверился своей семье. Психологическое напряжение между моим отцом и мной, казалось, наконец-тосломалось. Разрыв казалось закрылся. В основе моих страданий с тех пор лежало утешение, что долгое отчуждение более или менее закончилось. Внезапно я снова почувствовал себя так близко к родителям, как будто я был маленьким мальчиком. Я больше не был «убежденным большевиком».

Мои новости из Никополя совпали с событиями в моем родном городе. За одну ночь, главы трех семей в нашем районе были ливидированы в результате чистки. «Все они были беспартийными. Это были люди, которых

мы знали много лет, люди, с которыми мой отец, братья и я работали в разное время.

Первым был Зарвин, бригадир завода. Один из его сыновей был хирургом, другой — инженером-металлургом. Ни они, ни их мать не имели понятия, за что арестовывают старика. «Ну, пошевеливайся, ты, гнида!» — орал НКВДавец, толкая Зарвина, полуодетого и взятого с постели, в «Черный ворон». Эти слова были единственным ордером на арест, единственным обвинительным заключением, единственным объяснением, которое семья Зарвина когда-либо узнает.

Вторым был русский поляк Кашельский, общительный и энергичный человек, популярный среди соседей. Его сын был комсомольцем, с которым я столкнулся во время этого визита.

«Но товарищ Кравченко», — сказал он в жалком недоумении, «как мой отец мог быть «польским шпионом»? Он такой простой, открытый человек. Это просто безумие. Мы с ним очень близкие друзья. Если что-то было подозрительным, как я мог бы не заметить?»

Третьим, и самым трагичным, в этой однодневной перекличке среди наших ближайших соседей был Блинов. Он был в моем цехе, когда я работал на заводе Петровского-Ленина. Высокий, красивый и очень способный мужчина, уважаемый своими коллегами. Он и его жена, будучи бездетными, спасли от голода и удочерили маленькую сироту и посвятили ей свою жизнь.

Когда чекисты уводили его той ночью, крики его жены разбудили соседей. Босая, в ночной рубашке, она с криком бежала за зловещим грузовиком по снегу, пока он не скрылся из виду. Затем она вернулась в свою комнату и повесилась. Приемная их дочь, однажды осиротевшая из-за искусственно созданного голода, снова осиротела из-за искусственного циклона террора.

Живя среди таких трагедий, умножавшихся стократно ночь за ночью, моя семья, естественно, обеспокоенно смотрела на мое положение. Отец больше не работал, будучи уволенным на пенсию, на которую имели право те, кто проработали определенное количество лет. Но он оставался в дружеских отношениях со своими товарищами по цеху и знал масштабы террора среди административного и технического персонала на своей фабрике.

Он знал, что просто быть обвиненным в чем-нибудь, в девяносто девяти случаях из ста само по себе уже было доказательством вины. И все же мы отчаянно цеплялись за надежду, что каким-то чудом я стану сотым, исключением.

Мой сон был прерывистым и мрачным с мучительными снами, Когда я стряхнул с себя ночной кошмар, я заметил свет в комнате матери и подошел на цыпочках, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Я увидел мать на коленях перед иконой, молящуюся, ее глаза были закрыты, голова откинута назад. Хотя ее щеки были залиты слезами, ее лицо было спокойным, наполненным внутренним сиянием. Я услышал, как она пробормотала мое имя. Я на цыпочках вернулся в постель и заснул крепко, мирно, впервые за несколько месяцев.

Утром у меня был долгий разговор с отцом. Он кипел от негодования.

«Если я сделал что-то не так, почему они меня не арестовывают?» — повторял он. «Почему они должны вымещать злобу на моем сыне? Разве сын ответственен за своего отца? Какая глупость и какое скотство! Когда я был на баррикадах и полиция арестовала меня, я один пострадал. Царской полиции не пришло даже в голову беспокоить моего отца, моего брата или мою семью. Но теперь — какая гнусность — отцы, сыновья и жены отвечают друг за друга. Царская полиция и охранка, поверь мне, была безобидным филантропическим учреждением по сравнению с советским НКВД!»

«Гнев никому не поможет, отец. Что мы должны сделать, так это собрать доказательства того, что ты не был меньшевиком».

«Как будто быть одним из них было преступлением, — сказал он. — Некоторые из самых героических революционеров принадлежали к меньшевикам».

В тот день отец посетил нескольких известных местных коммунистов, людей его поколения, которые помнили его революционную деятельность. Каждый из них написал декларацию, официально заверенную, суммируя то, что он знал о старшем Кравченко и подтверждая, что он не был членом какой-либо конкретной партии. Затем я пошел с ним, чтобы навестить вдову доктора Караваева.

Она была высокой, худой, и седой старухой. Когда-то ее группа была членом Думы и автором законопроекта об аграрной реформе. Она жила на советскую пенсию и считала многих ключевых большевиков среди своих друзей. Она знала отца более тридцати лет и приветствовала его с настоящей радостью. Все революционеры, бывшие частью окружения ее мужа, казались ей окруженными ореолом света, людьми, вылепленными из какой-то божественной глины.

"Как чудесно снова тебя видеть!" - воскликнула она, обнимая его и целуя в обе щеки. "Как чудесно! Так это твой Витенька - взрослый мужчина и инженер!"

Несмотря на всю ее дружбу в высших кругах, она принадлежала к миру, находящемуся в затмении. Она казалась изолированной от реальности. Сначала она просто не хотела верить, что нам нужны "доказательства", что отец не был меньшевиком.

"Совершенно смешно!" - сказала она. "Быть меньшевиком в те дни считалось чем-то героическим. Это означало рисковать своей жизнью каждый день. Я думаю, я становлюсь слишком старой, чтобы понимать, что происходит с умами людей в наши дни. Я должна поговорить об этом с Крупской в следующий раз, когда буду в Москве!"

Но она села и написала длинное письмо, адресованное Никопольскому горкому партии, вспоминая революционную доблесть моего отца и подтверждая, что он всегда был «свободным художником», отказываясь от тесных уз партийной дисциплины.

Тем временем моя мать проводила много часов в архивном отделе партии в Днепропетровске. Она умоляла чиновников архивов найти записи царской полиции об арестах и тюремном заключении ее мужа. Там, конечно, указывалось бы на то, что он не был связан ни с какой конкретной группой. Чиновники боялись проводить поиск без запроса от партии. Мне пришлось позвонить Филлину, который, в свою очередь, позвонил в Днепропетровскую Партию, прежде чем они согласились поискать важные записи.

«Так царские жандармы помогут спасти моего сына от жандармов советских, — криво улыбнулся отец. В этой мысли действительно был мрачный юмор.

Несколько дней пребывания в моем родном городе усилили это чувство ужаса жизни в фантастическом и мучительном мире грез, которое не покидало меня годами. Я посетил свой завод, только чтобы обнаружить, что многие из моих друзей исчезли. По тому, как люди со страхом уклонялись от прямых ответов на мои вопросы, у меня не было сомнений в том, что именно с ними случилось.

Директор завода Степан Бирман не был арестован. Когда чеикисты пришли за ним, они нашли его в ванне, полной крови – он перерезал себе вены, чтобы обмануть палачей. Бирман, венгр по национальности, был министром в недолговечном коммунистическом правительстве Белы Куна на своей родине. Красивый, умный и преданный, он занимал ряд важных государственных и промышленных постов в своей приемной родине: блестящая карьера, окончившаяся самоубийством. Прежде чем перерезать себе вены, Бирман написал письмо в Центральный Комитет, в котором он яростно осудил варварство Сталина. Были написаны тысячи, десятки тысяч таких писем. Несколько из них распространялись тайно и дрожащими руками, словно это были взрывчатые заряды, которые вот-вот взорвутся, но ни одно не дошло до советского населения.

Среди «тех ликвидированных», как я узнал, был Иосиф Манаенков. Видный член Верховного Совета Украины, он был любим рабочими за его усилия по улучшению их условий жизни. Его жена также была активной коммунисткой. Всего несколько месяцев назад Днепропетровск прогремел славой чести, которая ей выпала: ее сфотографировали в Кремле прямо рядом со Сталиным! Она тоже была под арестом. Как и главный инженер Жданов, хотя он только что был награжден за заслуги в пятилетних планах.

История была такой же на всех других заводах города. Феленковский, Кинжалов, Сочан, Пустовойцев — сотни имен, которые ничего не значили для других. Но для меня, работавшего с ними, учившегося с ними, сидевшего на партийных собраниях с ними, их «ликвидация» расширила и углубила пустоту. Ни один из руководителей хозяйственной, технической и политической жизни моего родного Днепропетровска, с которым мне довелось лично познакомиться, не остался равнодушным. Многие из них, конечно, были беспартийными.

Мать провожала меня на вокзале, когда я уезжал в Харьков. Я надеялся, что она даст волю слезам, потому что я знал, что с ней делает сдерживание их.

«Пожалуйста, Витя», — сказала она мне на платформе вокзала, — «держи себя в руках. Уступай там, где можешь уступить. В конце концов, они же люди, не так ли? Они должны понимать...»

В управлении Трубосталь в Харькове смятение и паника были очень ощутимыми. Все, казалось, оцепенели от ужаса. Никто не знал наверняка, был ли это его последний день на работе, его последний день свободы. Различные должностные лица, которые в течение лет были знакомы с моей работой, пытались искренне помочь, но не могли найти нужных мне документов. Они звонили по междугородним номерам в другие места, но безрезультатно. Один из них позвонил в Москву, но ему сказали, что единственный человек, который мог бы помочь, сам комиссар Орджоникидзе, слишком болен, чтобы к нему можно было обратиться. В отчаянии я позвонил Брачко в Никополь.

"Петр Петрович, я ничего не нашел", - доложил я. "Обычная неразбериха еще больше усугубилась чисткой. Мне ехать и попытать счастья в Москве?"

"Нет, нет. Возвращайтесь немедленно", - ответил он.

«Но почему? Что случилось?»

«Я не могу обсуждать это по телефону. Возвращайтесь как можно скорее. Это важно».

На следующее утро я вернулся на свой завод.

2

Тревога товарища Брачко оправдалась. Партийные фанатики и корыстолюбцы и мои личные враги воспользовались моим отсутствием. Для начала НКВД «зачистил» мой персонал, арестовав Дубинского, Шпачинского, инженера Бако и более десятка других.

Рабочие казались ошеломленными. Кроме того, секретарь моей собственной партийной ячейки, некто Ясенев, действуя, конечно, по вышестоящему начальству, оказывал давление на разных рабочих с тем, чтобы они разоблачили» меня. Его предприятие прошло под аккуратным эвфемизмом «сбора материала».

Несколько человек, старых рабочих завода, пришли ко мне по отдельности и со стыдом и печалью признались, что подписали заявления против

меня, заявления, сотканные из лжи и догадок. Они делали это, в каждом случае, под угрозой «ужасных последствий». Более того, я узнал, что неутомимый Лось отправил эмиссаров в Днепропетровск, чтобы собрать «компромат» на меня и моего отца. Он, в частности, стремился показать, что я был на близкой ноге с Кацем, Берецким, Перлиным, Рихтером, Борисовым и другими бывшими студентами Института, которые теперь были в лапах НКВД и, следовательно, по определению, являются «врагами народа».

Лось продвигал свое расследование с бешеной скоростью. Он должен был избавиться от дела Кравченко, не теряя больше времени. Фактически, мое осуждение послужило бы крючком, на который можно было бы повесить обвинения против ряда людей, так или иначе связанных со мной. Лось и его люди хотели «прикончить меня» без раздражающих задержек. Для них это было делом чести, а также политической целесообразностью. Через несколько дней они созвали специальное закрытое заседание заводского комитета партии, чтобы возобновить рассмотрение моего дела. Я чувствовал себя как дикий зверь, загнанный в угол преследующими собаками; круг становился все меньше, теснее; лай становился все ближе и ближе.

Заседание снова состоялось в клубном зале. Тот факт, что чиновники выстроились на сцене под красными знаменами и портретами коммунистических вождей при ярком свете рампы, усиливал иллюзию, что театральное представление — своеобразная советская нравственность — вот-вот начнется. Атмосфера была напряженной. Несмотря на всю мою решимость держать себя твердо и достойно, я дрожал и чувствовал неприятную дрожь и слабость в коленях. Люди, которые всего несколько недель назад лебезили передо мной, теперь делали вид, что не замечают меня. Я ни с кем не поздоровался, опасаясь быть отвергнутым, и сел сзади, в жалком одиночестве.

Только двое товарищей осмелились подойти ко мне. Это были Силинин и Гущин, оба простые рабочие и оба пожилые люди. Видимо, их возраст защитил их от чрезмерной дозы «сталинской твердости».

«Не волнуйтесь, товарищ Кравченко», — сказал Гущин, сжимая мою руку. «Если они выступят против вас здесь, вас реабилитирует Горком или Обком, если, конечно …».

Он колебался.

«Если что?» — спросил я, хотя и знал ответ.

«Если вас вперед не арестуют».

На этот раз Лось принял меры предосторожности, чтобы не помешать его твердой решимости выкурить очередного «вредителя». У каждого подготовленного актера были свои реплики и заготовки. В вестибюле был накрыт буфет с водкой и закусками, и многие из ведущих актеров уже напились до воинственного настроя. Их роли будут сыграны с большим энтузиазмом. Я поймал взгляд Брачко. Он ободряюще улыбнулся и сделал жест, который означал: «Держи себя в руках. Надежда еще есть».

Лось выступил с увертюрой. Его речь была шедевром инсинуаций, предназначенных для возбуждения толпы. Моя вина, сказал он, была доказана «в значительной степени». То, что мой отец был в «антисоветском настроении» и был активным меньшевиком, было «вне всякого сомнения». Подробности моего саботажа будут определены «другими способами» и «в других местах». Но разве не было примечательным совпадением, что так много моих сотрудников и друзей, на моем заводе, в Институте, в нашем тресте, были поражены обнаженным мечом революции, НКВД?

«У нас пока нет подробных данных, чтобы доказать, что Кравченко был их сообщником», - заявил он. Его тон подразумевал, что сам факт несомненен, доказательства — лишь вопрос времени. «Мы получили множество заявлений, все из которых сводятся к тому, что Кравченко — это ловко замаскированный враг народа, который увольняет коммунистов и окружает себя классовыми врагами. Кто-нибудь хочет выступить?»

Поднялось много рук. На этот раз Макаров, Шайкевич и Юдавин более тщательно подготовили свои роли. Ясенев присоединился к ним. К ним присоединился профсоюзный представитель в моем цехе, Балабин — он так и не простил мне «саботаж» его «политического воспитания» и рассказал с душераздирающими подробностями, как я срывал плакаты со стен, чтобы защитить врагов стахановщины. Их речи сопровождались греческим хором отрепетированных голосов в зале: «Правильно! Выгнать его! Вычистить его!»

«Теперь кто-нибудь хочет выступить за Кравченко?» — спросил Лось. Ему не нужно было добавлять: «Вы делаете это на свой страх и риск»; его интонация говорила это без слов.

«Я», — сказал Гущин, вставая. Все глаза обратились на него, с удивлением, гневом, восхищением.

«Я», — сказал он, — «потому что все обвинение против этого молодого и способного товарища — продукт чьего-то перегретого мозга. Кравченко — сын рабочего и старого революционера. Все остальное в его отце — ложь и чепуха. К тому же он взрослый и сам за себя отвечает.

«Но есть еще кое-что. Я хочу вам сказать, товарищи, что Ясенев вызвал меня к себе в кабинет и потребовал, чтобы я написал донос на Кравченко. Когда я отказался, он стал угрожать и ругаться. Вот как вы должны ценить различные доносы!»

«Это ложь!» — завопил Ясенев.

«Ложь! Какая наглость!» — вторили Макаров и его группа.

«Нет, это правда, товарищи. Вы знаете, я слишком стар и слишком долго был членом партии, чтобы выдумать такое. Я рабочий и я за партию. Но это преследование одного из наших лучших и самых честных руководителей — это скандал».

Разразился бедлам. Мужчины и женщины выкрикивали свои мнения. Запах буфетной водки стал красноречивым. Со своих засиженных мухами портретов на стенах, Сталин, Молотов и Калинин должно быть в ужасе смотрели на эту эпизод. Советская мораль была нарушена извращенным вторжением какого-то зрителя на сцену!

Когда порядок был восстановлен, Брачко попросил слова. Он защищал меня от обвинения в саботаже. Все инструменты, заказанные моим отделом, настаивал он, были необходимы, хотя некоторые и остались неиспользованными из-за изменений в производственных планах, в которых не было моей вины.

«Давайте факты! Где знаменитые документы?» — прервал Лось.

«У меня нет с собой документов, это правда, но я верю, что мы их найдем. Если Кравченко был виновен, то я был виновен как его начальник; тогда Вишнев был виновен как главный инженер; то Трубосталь в Харькове и Наркомат в Москве были виновны, руководя нашей работой.

"Товарищи, я смотрю на вас и мне стыдно. Что это, партийное собрание или толпа, жаждущая крови? Мы ученики Ленина или толпа садистов? И кто сегодня вечером, когда идет партийное собрание, разрешил продажу спиртного? Прошу вас, товарищи, опомнитесь. Это не пустое представление. Это вопрос жизни и смерти товарища!"

В этот момент в глубине зала раздался гулкий голос. Он заглушил страстную мольбу Брачко и прорезал шум в зале. Все обернулись, чтобы увидеть, кто это был. В дверях стоял Дороган, начальник Никопольского НКВД. Огромный человек с грубыми и негабаритными чертами лица, с холодными, ничего не выражающими глазами, он стоял как карикатурный Голем, широко расставив ноги. Он стоял, слегка покачиваясь, как буй на ветру. Его левая рука покоилась на маузере, правая держал сигарету у рта.

Дороган презрительно ухмылялся.

"Сентиментальность, товарищ Брачко!" - громко сказал он. "Хорошее время вы выбрали для такой чепухи".

Его взгляд медленно скользнул по аудитории. Брачко поспешно закончил свою речь, немного ее скомкав, и Лось начал торопить представление. Как и большинство других в зале, он предполагал, что Дороган пришел арестовать меня, когда будет закончен этот «фарс».

«Хватит! Давайте закончим комедию и исключим этого врага!» — раздался чей-то голос. Это Макаров, — подумал я.

«Нет, товарищи», — заявил Лось, — «Кравченко имеет право на последнее слово, если пожелает. У него пять минут».

Я вышел на сцену. Мысленно я подготовился к этому моменту, но я не предвидел возможности, что у меня будет так мало времени. Укорочив свои аргументы, я неизбежно ослабил их. Я чувствовал, что не использую этот шанс наилучшим образом. Пока я говорил, я не мог отвести взгляд от Дорогана, все еще презрительно покачивающегося в дверях. Я знал, что все мои слушатели, больше осознавали этот наглядный символ советского полицейского государства, чем слова, которые я произносил.

«Я не стыжусь своего отца, я горжусь им», — заключил я. «Мне не в чем извиняться за так называемые «сохраненные» инструменты. Они могут указывать на неэффективность — мою или чужую, — но не саботаж. Если я

виновен, то виновен весь трест, виновен весь комиссариат. Они решают, какие объемы должны быть произведены. Но позвольте мне сказать это напоследок: это вопрос не только Кравченко. Суть дела в том, что вы уничтожаете невинных людей. Я заявляю, что я невиновен. Дайте мне еще десять дней, чтобы собрать больше доказательств».

Я все еще шел по проходу, глядя в глаза Дорогану, когда было проведено голосование. Одно его присутствие было формой запугивания.

Против исключения из партии проголосовало всего полдюжины человек. Лось проигнорировал их.

"Единогласным голосованием, - объявил он, - это собрание рекомендует Горкому исключить Виктора Андреевича Кравченко".

"Ну, вы собираетесь подавать апелляцию?" - спросил Дороган, когда я подошел к нему.

"Да, конечно", - ответил я. "Я буду телеграфировать товарищу Орджоникидзе и подам протесты в Харьков и Москву, а завтра обращусь в Горком".

"Кравченко", - он затянулся сигаретой и медленно выпустил дым, прежде чем закончить предложение, "поверьте, было бы жаль беспокоить так много людей. Да, жаль..."

Я вышел в темноту. Ночь была пронзительно холодной, но я даже не застегнул пальто. Казалось, я утратил способность к физическим ощущениям. Я огляделся, ожидая увидеть машину НКВД, ожидающую меня. Несколько других выбежали посмотреть на мой арест. Они казались разочарованными, что ничего не произошло. Я пошел к своему дому. Вдруг я увидел двух мужчин, стоящих у фонарного столба. Я не мог разглядеть их лиц. Может быть, меня все-таки возьмут под стражу!

Я остановился на месте, в смутном изумлении.

«Виктор Андреевич, это мы, ваши друзья», — заговорил один из мужчин. Это были Гущин и Силинин.

«Спасибо. Вы действительно мои друзья, раз ждете меня в такой момент».

Они сопровождали меня часть пути, выражая мне свое сочувствие и пытаясь успокоить меня. Дома я ходил по комнатам, как будто где-то я мог найти

утешение. Я написал телеграмму Орджоникидзе, затем разорвал ее. В конце концов, я был всего лишь одним из миллионов. Чем моя участь отличалась от их? Что я мог сказать члену сталинского Политбюро, о чем он еще не знал? Затем я снова перерыл свой стол, как я делал это уже сотню раз, в надежде найти какой-нибудь клочок бумаги, который мог бы послужить «документальным доказательством». Доказательством чего? Я едва ли знал ответ.

Наконец, измученный, я бросился на кровать в одежде. Зачем раздеваться, когда мне вскоре придется снова одеться и пойти с чекистами навстречу своей судьбе? Я не заснул. Или, скорее, мое тело спало, пока мой разум оставался бодрствующим, лихорадочно активным, рассматривая одну мысль со всех сторон. Мой разум играл с ним, почти нежно, и какая-то истерическая радость начала наполнять меня. Это была мысль о том, чтобы послать пулю себе в лоб. По сей день я верю, что если бы мое тело не было парализовано этим наяву сном, если бы оно не обладало собственной волей, так сказать, я бы покончил с собой.

Это странное разделение разума и тела, каждое со своей собственной волей, почти как если бы они схватились в мучительной борьбе за превосходство, было новым для меня. Позже я должен ближе был познакомиться с этим. Я смотрел на себя почти так, как будто я был наблюдателем за «самим собой», нейтральным арбитром, безразличным к результату. И теперь, когда я лежал, полностью одетый, на своей кровати, мой разум ласкала соблазнительная мысль. Нажимаешь на курок, и все кончено.

Один маленький жест, и ты уничтожаешь Дорогана, НКВД, все Политбюро. Они бессильны, все их претензии сведены к шутке с указательным пальцем вашей правой руки в ласкающем изгибе маленького куска металла. ...

Сквозь эту горько-сладкую задумчивость я услышал стук в мое окно. Это был негромкий стук, но я услышал его мгновенно, потому что все время я его ждал. Мое тело отреагировало на него, как будто оно мешало моему разуму, одерживая верх в напряженной борьбе за первенство.

Итак, они пришли за мной. Все кончено … Полностью проснувшись, я решительно, подошел к двери и распахнул ее. Передо мной стоял не чекист в униформе, которого я ожидал, а рабочий Кирюшкин

Немногословный, бывший крестьянин и красноармеец, который отказался поднять руку, когда голосовали за новые «нормы».

«Войдите, войдите, товарищ Кирюшкин», — воскликнул я, чрезвычайно довольный.

«Что привело вас сюда среди ночи?»

«Может, мне лучше не заходить», — сказал он. «Я испачкаю ковер. Видите ли, я иду с работы и решил зайти. Ночь отвратительная».

«К черту ковры. Заходите. Дайте мне ваше пальто. Как насчет стакана чая? Как вы нашли мой дом?»

«Вас нетрудно найти, Виктор Андреевич. Это не то, если бы вы пришли меня искать в бараке. Ладно, я зайду».

«Не говори так. Когда я работал на шахтах, я жил в бараках хуже, чем ваши. К тому же, скоро я, вероятно, перееду в элегантную тюремную камеру».

«Вот что привело меня сюда, Виктор Андреевич. Видите ли, весть о вашей беде разнеслась в ночную смену. Рабочие все беспокоятся. Они вас уважают и жалеют. А для меня — как бы это сказать? — вы много значите в моей жизни. Это не более лучшая работа, поверьте мне, хотя сейчас я живу немного лучше. Это то, что вы заставили меня почувствовать себя человеком, как раз когда я был в глубокой депрессии. Я необразованный человек, Виктор Андреевич, но я многое понимаю. У меня работает голова. Иногда я думаю о революции, речах и всем остальном, и меня обижает лицемерие нашей жизни. Потом я думаю о том, как вы со мной обращались, и мне становится легче. Я говорю себе, что это не все шелуха, есть и зерна в куче».

Я заварил чай и подал его, с сахаром и лимоном. Кирюшкин медленно отпил.

"Знаете, - сказал он, - я впервые пью чай с лимоном за четыре года… Но зачем я пришел? Ну, я человек прошлого, слишком мал, чтобы привлекать к себе внимание. Мне нечего терять, мне мало чего бояться. Как вы, коммунисты, говорите? Мне нечего терять, кроме моих цепей. Иногда мышь может сделать то, чего не может лев. В любом случае, Виктор Андреевич, теперь моя очередь помочь вам, как могу, и вот я здесь.

"Я подумал про себя, что теперь ему, наверное, нужен верный друг. Я не герой, но я готов рискнуть, если понадобится. Может быть, вы хотите что-то

спрятать или передать кому-то документы или опасное сообщение. Я не разбираюсь в теориях политики, но я знаю ее практику и я в вашем распоряжении. Вы можете мне доверять..."

Несмотря на свои беды, я рассмеялся. Сколько доброты, сколько чуткости было в этом простом, скромном рабочем! В своей простой манере он предположил, что мне действительно есть что скрывать; что, возможно, мне нужен сообщник. . . .

"Послушай, Кирюшкин, и поверь мне. Я не вредитель. Мне нечего скрывать. Пусть придут чекисты. В моем доме и на моей совести нет ничего компрометирующего".

"Разве я говорил, что ты вредитель? Но на всякий случай..."

"Я хочу, чтобы ты понял, Кирюшкин, что ты уже сделал много для меня. Я буду помнить тебя всю жизнь. Твой визит — самое дорогое, что я увезу из Никополя».

Он хотел уйти, но я задержал его. Мы говорили о его жизни и о его товарищах, больше часа. Несколько раз звонил телефон. Не называя себя, люди с завода хотели узнать, как я себя чувствую, дома ли я. Я не спрашивал, кто они. Это был устоявшийся способ выяснить, был ли уже арестован кто-то, о ком вызаботитесь. После того, как он ушел, я много думал о Кирюшкине. Я думал, что в России, которую я люблю, миллионы, десятки миллионов Кирюшкиных. Они испытывают не больше привязанности к Дороганам, Гершгорнам и московским начальникам, чем я. Они ждут своего шанса взять права, которые им принадлежат. Коммунисты не обманули их, нисколько не обманули.

Долгий разговор с Кирюшкиным, его странное предложение подвергнуться какой-то мифической опасностью ради моего дела, освежили меня. Я решил еще раз обыскать дом, в последний раз, в поисках проклятых документов. Как будто ведомый какой-то новой интуицией, я подошел к шкафу, где в беспорядке были свалены разные ненужные вещи. Прямо наверху кучи лежал портфель. Я пользовался им много месяцев назад, во время поездки в столицу, и по возвращении опустошил его и отбросил в сторону. Теперь, небрежно и только из уважения к законченности, я открыл портфель. Он был пуст. Я закрыл его и собирался бросить обратно в шкаф. Затем я помедлил, без всякой причины, и снова открыл его. На этот раз я заглянул в боковой

карман, и там — чудо из чудес! -- были черновики заказов на инструменты и копии под копирку, которые я искал. Я не веря своим глазам, уставился на потрепанные, мятые и испачканные листки. Я знал, что чувствует выигравший первый приз в большой лотерее.

Среди бумаг были копии расчетов, сделанных Главным Трестом нефтяной промышленности, основанных на планах, которые позже были сокращены. Они докажут любому здравомыслящему человеку, что количество заказанных запасных частей и специальных инструментов полностью соответствовало первоначальным спецификациям. Сам заказы были скреплены подписью Вишнева, как я и думал.

Все печальное дело против меня теперь, казалось, было разбито вдребезги.

Я едва мог спать, в своем нетерпении сообщить хорошие новости Брачко и особенно Вишневу, чья судьба, вероятно, была связана с моей. Моя первая остановка была в кабинете Брачко. С притворной небрежностью я бросил бумаги на его стол.

"Ну, вот они, Петр Петрович", - сказал я.

"Что? Документы?!"

"Да, проклятые документы".

Директор долго их просматривал. По мере того, как он продолжал, его лицо светлело и, наконец, расплылось в радостной улыбке.

"Виктор Андреевич, вы самый счастливый человек! Вы, должно быть, родились под счастливой звездой. Бедному Вишневу нужно немедленно сообщить; ведь он почти сошел с ума. Я так рад за вас, за Вишнева, за себя".

В цехах рабочие смотрели на меня с откровенным удивлением. Ночью по городу распространился слух о моем аресте. Многие из них ободряюще улыбнулись мне; некоторые нашли повод сказать несколько дружеских слов, когда я проходил мимо их станков.

Я сделал фотокопии драгоценных бумаг и отправил один комплект Брачко, другой — Вишневу. Третий я передал в руки близкого друга вместе с тщательно сформулированным заявлением, в котором излагались обвинения против меня и указывалось, как эти документы их опровергали. Если меня арестуют, я поручил ему представить эти доказательства моей

невиновности в Центральный Комитет партии в Москве.

Я написал комиссару Орджоникидзе, сообщив ему о моем положении, Я также сообщил Иванченко, начальнику треста Трубосталь, о сфабрикованных обвинениях против меня. Затем я подал официальное обращение в городской комитет партии, чтобы отменить решение заводского комитета. Товарищ Филлин безотлагательно созвал заседание Бюро городского комитета. Дело Кравченко к этому времени приобрело «определенную известность» в Никополе. Мое выдающееся положение руководителя крупнейшего трубопрокатного подразделения было лишь частью причины. Более важным, поскольку это было так редко, было энергия и дух, с которыми я защищал себя.

Я склонен полагать, что я обязан своим окончательным спасением, даже своим физическим выживанием, этой известности. Преследование было начато открыто, и для правительства и партии становилось все более неловко заканчивать его в полной секретности. Под влиянием заблуждения, что они поймали меня с поличным — со скрытым родителем-меньшевиком, с сокровищами в деталях машин и инструментах, группой «врагов народа» под моим крылом — власти планировали уничтожить меня публично, так сказать «законно». Это была стратегическая ошибка, о которой Дороган, Лось и их подельники немедленно сказали мне, что они глубоко сожалеют о ней.

В любом случае, все Бюро городского комитета было в партийном здании на главной улице Никополя, на Днепре. За исключением Дорогана и Брачко, оно теперь состояло из новых людей. Меньше чем за два месяца, чистка уничтожила высший партийный орган жизненно важного промышленного региона.

Лось представил дело против меня, начиная, конечно, с моего меньшевистского отец. Филлин дослушал это место до конца, затем прочитал письма и показания, которые заполучил мой отец.

«Это заявления, сделанные хорошими коммунистами, которые не согласны с политическими взглядами старшего Кравченко», — сказал он. «Это делает их показания в его пользу еще более впечатляющими. Но товарищи, члены Бюро, я также получил по почте сегодня некоторые интересные архивные материалы — копии докладов царской полиции и записей тюремных архивов, касающихся революционной деятельности отца этого товарища. Вот

они для тех, кто хочет их изучить. Я внимательно их изучил. Совершенно ясно, что мы имеем дело с беспартийным героем революции, а не меньшевиком».

Дороган нахмурился и яростно затянулся. О чем он думал и что планировал? Этот вопрос не покидал меня на протяжении всего собрания.

Все дело против меня, конечно, было устроено не без участия НКВД. Позволит ли Дороган отнять у себя добычу? Затем Лось перешел к главному обвинению. И Кравченко, и Брачко говорили о документах, которые опровергают саботаж, сказал он, но они могут только говорить.

"О нет, товарищ Лось", - прервал его Брачко. "У нас есть доказательства. Вот они!"

Дороган был так поражен, что вскочил на ноги, но потом передумал и снова сел. Лось остался стоять с открытым ртом, но ничего не сказал.

Брачко разложил копии на столе и кратко показал, как полностью они разрушили обвинения против меня и, как следствие, также против Вишнева.

Филлин не скрывал своего удовлетворения.

«Для меня очевидно, что это оправдывает Кравченко», — сказал он.

Слушание длилось несколько часов. Лось перечислил имена инженеров, техников, служащих, которые были арестованы и которые, как он настаивал, были моими друзьями. Его рвение в обвинении меня было настолько напористым и настолько грубым, что Дороган, его профессиональная гордость была задета, пробормотал: «Что ты, Лось, вынимаешь у меня хлеб изо рта...» Все рассмеялись, кроме Лося, который покраснел как свекла. Его самый амбициозный проект сверхбдительности, казалось, рухнул, и он, понятное дело, был недоволен. Если он планировал поднять свой рейтинг в партии и у НКВД, поймав большую рыбу в мутных водах большой чистки, то он потерпел неудачу.

После того, как были представлены доказательства, различные члены Бюро высказали свои мнения. Большинство из них высказались за мою «реабилитацию». Печальная правда была в том, что документальные доказательства и несостоятельность обвинений имели меньшее отношение к

их реакции, чем отношение первого секретаря Филлина. Он задал тон, остальные осторожно подстроились. Наконец меня вызвали для заявления.

«Товарищи, мне мало что можно добавить», — сказал я. «Это правда, что очень много людей, работающих со мной и рядом со мной, были арестованы. Но в конце концов я нанимаю и увольняю людей на основе их работы. Проверять их политическое прошлое не входит в мою компетенцию. Я полагаюсь на надлежащие органы, товарищ Дороган, сделать то, что необходимо по вопросам, не связанным с производственной работой этих людей.

«Но я хотел бы извлечь мораль из своего собственного дела. Что, если бы документы не были найдены? Что, если бы царские архивы были уничтожены? В этом случае я был бы наказан, несмотря на свою невиновность. Позвольте мне выразить надежду, что мы должны быть более осторожными, более сдержанными, разбрасывая такие серьезные обвинения против товарищей».

Дороган позволил себе гримасу отвращения.

Брачко внес формальное предложение об отклонении рекомендации фабричного комитета об исключении. Оно было принято, при этом Лось и Дороган не голосовали. Затем кто-то выдвинул другое предложение — объявить выговор Кравченко. Хотя основные обвинения были сняты, утверждал он, я был груб с партийными и профсоюзными функционерами и должен быть «размягчен». Это была явная подачка самолюбию Дорогана.

К моему удивлению, даже Филлин проголосовал за выговор. Я мог только объяснить это усиливающимся хмурым выражением на грубом лице Дорогана. Заняв позицию в мою пользу, Филлин теперь действовал, как опытный коммунист, чтобы умиротворить НКВД. Я протестовал против выговора, но безуспешно.

Брачко и я поехали домой вместе. Мы были очень довольны результатом, но выговор раздражал. Это было пятно на моем послужном списке, которое может быть нелегко стереть.

"Ради бога, Виктор, плюнь на все это", - убеждал Брачко. "Вы спасли свою шкуру, и это главное. Слава Аллаху, что вы все еще свободны и живы!"

До глубокой ночи я писал письма друзьям, своей семье, начальству в Харькове и Москве, сообщая им о своей "счастливой судьбе".

Но я ни в коем случае не был безрассуден в своем оптимизме. Было бы слишком наивно ожидать, что НКВД оставит меня в покое.

3

Благоприятный поворот в моем случае был исключением. По всему СССР чистка набирала новые обороты. В Москве шел показательный процесс над Радеком, Сокольниковым, Пятаковым и другими старыми коммунистами. В течение семи дней целые страницы в прессе подробно описывали кошмарные «признания» этих людей. Затем последовали неизбежные приговоры и казни.

На нашем заводе, как и в каждом учреждении и институте страны, был созван массовый митинг, чтобы приветствовать уничтожение этих вредителей, шпионов и «бешеных собак». Лось представил готовую резолюцию.

«Мы, рабочие, служащие и инженеры металлургического завода Никополя, приветствуем решения советского суда по делу врагов народа», — заявлялось в нем. «Бдительность партии и правительства искоренила шпионов и диверсантов, агентов капитализма, которые угрожали счастливой жизни нашего народа по сталинской конституции. Да здравствует наш любимый вождь и учитель товарищ Сталин!»

Тысячи мужчин и женщин покорно подняли руку в знак одобрения. Оркестр заиграл «Интернационал». Красные флаги по всему залу провозглашали славу «счастливой жизни» этим переутомленным работой и ослабленным недоеданием апатичным массам; этим совершенно бездушным массам советских людей. Некоторые зевали, некоторые засыпали, пока ораторы пересказывали утренние передовицы местных газет, которые в свою очередь были пересказанными из московских передовиц. Наконец, ритуал был завершен, люди вернулись в свои дома или мастерские. Они не были ни убеждены, ни особенно заинтересованы.

Если кто-то в Советском Союзе искренне верил в фантастические «признания», я лично с ним не встречался. Только когда я много лет спустя оказался за за границей, я узнал, что иностранцы, в частности либеральные

американцы, благополучно проглотили жуткую мистификацию, крючок, леску и грузило; что американская кинокомпания фактически сфабриковала глупый и безграмотный фильм, основанный на предположении, что сказки НКВД были правдой.

Среди обвиняемых на последнем из московских процессов, человек, которого я знал лучше всего, был Пятаков, поскольку он работал первым помощником Орджоникидзе. Я много раз навещал его лично по делам и принимал участие в совещаниях, где он председательствовал. Это был высокий, прямой мужчина с длинной прямой бородой и высоким куполообразным лбом. Всегда его решения, на частных или групповых совещаниях, были строгими и честными. Никогда не довольствуясь вторичными суждениями по техническим вопросам, он брал логарифмическую линейку и вычислял, проверял, перепроверял, прежде чем разрешить работу или расходы.

Пятаков, которого я знал, не имел ни малейшего сходства с «преступником», изображенным на суде или в той чуши, которую я позже с удивлением прочитал в странной американской книге под названием «Миссия в Москву». Благодаря своей работе и техническим контактам я встречался буквально с сотнями людей, тесно связанных с отраслями промышленности и конкретными заводами, где предположительно был совершен «саботаж» Пятакова. Конечно, ни один из них не поверил ни единому слову обвинений, хотя многие из них вслух оправдывали судебные процессы.

Признанный Пятаковым «саботаж» был в основном в строительной промышленности. Чиновником, непосредственно отвечавшим за все строительные работы под ведомством Пятакова, был некто К. З. Гинзбург, начальник Главного управления строительных работ для тяжелой промышленности. Каждая деталь работы прошла через руки Гинзбурга. Что такого размера саботаж, провозглашенный прокурором Вышинским, мог бы осуществляться год за годом без ведома и активного попустительства Гинзбурга, был физически невозможен.

Но Гинзбург не был арестован. Его имя тщательно скрывалось из судебных разбирательств, хотя проекты под его личным руководством обсуждались в мельчайших подробностях. А после суда Сталин назначил его наркомом строительной промышленности. В последний раз, когда я видел Гинзбурга, его грудь была увешана медалями, звездами и орденами. В нашей

отрасли считалось само собой разумеющимся, что Гинзбург играл роль главного провокатора и что его выдающейся строительной деятельностью было изготовление доказательств для больших процессов. Он был закулисным руководителем советского прокурора Вышинского.

Еще одним человеком, который фигурировал в судебных процессах и которого я знал лично много лет, был Николай Голубенко. Он был казнен в Харькове без судебных формальностей. Ему была вменена фиктивная роль главы «террористической группы», поклявшегося убивать членов Политбюро. В частности, он должен был признаться в заговоре с целью убийства члена Политбюро Косиора и секретаря Коммунистической партии Украины Постышева. Вскоре после того, как Голубенко был убит за это «преступление», чекисты НКВД арестовали и Косиора, и Постышева. Ошеломленные партийцы могли только предполагать, что эти два близких сотрудника Сталина сотрудничали с Голубенко в подготовке собственной кончины.

Голубенко некоторое время был директором комбината Петровского-Ленина в Днепропетровске. Я часто его видел и разговаривал с ним. Он был мужественным и откровенным человеком, и его настоящее преступление заключалось в том, что он возражал против непрерывного кровопускания в стране. В последний раз, когда я его встречал, он был тогда председателем Днепропетровского Совета, он уже знал, что он обречен, он живой труп. Только этим можно объяснить ту откровенность, с которой он говорил со мной. Чистки в стране, по его словам, были всего лишь последним шагом в ликвидации всякой независимой мысли и даже независимых чувств в нашей стране. Сталин, сказал он, осуществлял целенаправленную контрреволюцию: те остатки власти, все еще удерживаемые Центральным Комитетом партии, остатки престижа и народного влияния, все еще удерживаемые поколением, совершившим революцию, будут искоренены, оставив Политбюро — то есть Сталина — абсолютным повелителем.

Голубенко не возглавлял «террористическую организацию». Если бы была такая организация, она совершила бы по крайней мере один акт террора. Но он выступал против контрреволюции и презирал тирана. Поэтому его официальное убийство не было бессмысленным или легкомысленным. Это был акт войны Сталина в его окончательном и кровавом завоевании неограниченной власти. Голубенко, Пятаков, возможно, Косиор и Постышев

были «виновны» только в том смысле, что они не подчинились покорно тирании и абсолютизму Сталина.

Безымянные миллионы, партийные и беспартийные, ликвидированные во время советской суперчистки, не были виновны даже в этом «преступлении». Я был в ужасе, годы спустя, узнав, что на западе за границей жертвы репрессий были описаны как «пятая колонна». «Пятая колонна» из девяти или десяти миллионов, включая 60-80 процентов высших руководителей партии, комсомола, вооруженных сил, правительства, промышленности, сельского хозяйства и национальной культуры — просто заявить об этой нелепости значит раскрыть ее гротескность.

На процессе Пятакова некто Шестов был обвинен в заговоре с целью убийства секретаря Сибирского обкома партии П. Эйхе. Шестов был казнен, а вскоре после этого его назначенная жертва, Эйхе, был арестован. Энергичный помощник прокурора Вышинского, Матулевич, проделал безжалостную и хитроумную работу, готовя подсудимых к расстрелу. Вскоре после суда сам Матулевич был арестован и ликвидирован.

Весь процесс был состряпан Генрихом Ягодой, зловещим главой НКВД, но вскоре сам Ягода и его главные помощники были, в свою очередь, арестованы и расстреляны. Большинство людей, которые составляли сталинскую конституцию, к тому времени были уже убиты или заключены в тюрьму. Вскоре крупные руководители Красной Армии, включая известного генерала Тухачевского, были «судимы» за закрытыми дверями и расстреляны; вскоре почти все его «судьи» были расстреляны в свою очередь.

«Пятая колонна», по-видимому, включала всех, кроме Сталина, Молотова и посла США Дэвиса.

Хотя я был оправдан, за исключением выговора, меня мучили ужасы вокруг меня; непрекращающиеся аресты и исчезновения людей в моих собственных отделах и кабинетах. Я погружался в работу, иногда по четырнадцать, восемнадцать, двадцать часов без перерыва, чтобы отвлечься от мыслей, чтобы сохранить рассудок. У меня не было личной жизни, никакого удовлетворения от работы, не было надежды на свое собственное будущее или будущее страны.

Так наступил трагический день в феврале 1937 года. Я сидел за своим столом, составляя производственный отчет, адресованный Иванченко в Харьков и Орджоникидзе в Москву, когда один из моих помощников вбежал в кабинет. Он был в слезах.

«Виктор Андреевич, — выпалил он, — Серго Орджоникидзе умер! Какое несчастье!»

Я сидел неподвижно, безмолвно, словно парализованный. Слезы катились по моим щекам. Я потерял защитника и покровителя.

На следующий день мне позвонил Гершгорн из НКВД. «Какая трагедия», сказал он, «Ваш покровитель в Москве умер. Может, нам лучше встретиться поскорее, немного побеседуем» о «том и сем»?

Плотина рухнула. Бурные воды забурлили вокруг меня.

ГЛАВА XVI

ПОИСК СПРАВЕДЛИВОСТИ

МЕНЯ ПОПРОСИЛИ выступить на заводском массовом собрании в честь памяти Орджоникидзе. Впервые на советском собрании я смог говорить от души. Прошло семь лет с тех пор, как Орджоникидзе выбрал меня для обучения как одного из «нашей собственной технической интеллигенции». Все эти годы он поощрял меня, защищал меня почти отеческой заботой; и я знал, конечно, что я был только одним из тысяч кого он таким образом защищал и использовал в интересах СССР.

Я, должно быть, передал свое собственное чувство потери аудитории очень хорошо, потому что десятки моих слушателей прямо рыдали. Массы, которые угрюмо, даже безучастно, прошли через ритуальное одобрение убийств и фальшивой советской конституции, были способны на честные чувства. Источники русских эмоций еще не иссякли. Газеты опубликовали длинный хвалебный некролог наркому, подписанный Сталиным и девятнадцатью другими высшими руководителями. Политбюро назначило комитет из семи видных деятелей промышленности и советского правительства для организации официальных похорон. Четыре крупных врача засвидетельствовали, что усопший умер от «паралича сердца». Эти

цифры застряли в моей памяти, где они указывают на зловещую статистику этого периода: до конца этого года только девять из двадцати подписавших некролог останутся живыми и на свободе. Остальные будут убиты, покончат с собой или будут гнить в тюрьмах или концлагерях. Из семи членов похоронного комитета только двое останутся в живых и на свободе; трое будут, один покончит с собой, а другой быдет заживо похоронен в советском концлагере. Из четырех врачей в живых останется только один, и он будет жить в постоянном страхе перед арестом, пытками, и смертью.

Зачем было нужно подробное подтверждение смерти комиссара? Потому что советский народ, и особенно члены партии, больше не верили, что люди власти умирают естественной смертью. Многие стали циничными из-за странных событий. Примером может служить смерть молодой жены Сталина Надежды Аллилуевой, произошедшая несколькими годами ранее. В то время были предприняты колоссальные усилия, чтобы скрыть обстоятельства ее внезапной кончины. Тем не менее, многие сенсационные факты стали известными и получили распространение, по крайней мере, в высших кругах советского руководства.

Аллилуева была дочерью революционера, жившего до 1917 года, и, по-видимому, унаследовала некоторые из его устаревших революционных предрассудков против массового террора. Зверская коллективизация была для нее невыносимой, даже от отца ее двоих детей. Она не ограничивала свои выражения ужаса семейным кругом, но неоднократно критиковала политику мужа на партийных собраниях в Академии, где она училась на технических курсах. Одного лишь упоминания этих фактов было достаточно, чтобы посадить человека в тюрьму, но они просочились через высшую советскую бюрократию, где скандалы, сенсации и интриги стали так же распространены, как и при старом дворе Романовых. Когда, в разгар ее единоличного восстания, было объявлено о смерти Аллилуевой, единственным элементом сомнения было то, покончила ли она с собой или была отравлена по приказу своего мужа, Сталина.

И вот теперь, несмотря на показания четырех врачей, сомнения в смерти Орджоникидзе были широко распространены. Так уж получилось, что я знаю некоторые истинные обстоятельства. Еще не пришло время, когда я могу раскрыть источники своей информации, поскольку это означало бы пытки и смерть этих людей. Но поскольку последние годы этого комиссара были так

тесно переплетены с моими собственными, я считаю своим долгом кратко изложить факты.

Орджоникидзе долгое время страдал от острой астмы и больной правой почки. Он часто шутил о своих недугах. Не раз я видел его изнуренным до обморока после долгого рабочего дня, несмотря на острую боль. Когда в 1936 году начался террор, затронувший тысячи его ближайших друзей и коллег по партии и тяжелой промышленности, он протестовал перед Сталиным, устраивал бурные сцены на заседаниях Политбюро, боролся как тигр с НКВД. Его здоровье ухудшилось. Арест Пятакова, его ближайшего соратника, сделал его вполне больным.

Один из моих друзей был в его кабинете, когда кто-то принес ему новость об аресте выдающегося инженера, руководителя одного из крупных трестов под началом Орджоникидзе. Комиссар побагровел от ярости, его глаза выпучились, он ругался и ругался так, как может ругаться и ругаться только темпераментный грузин. Ягода, глава НКВД и главный архитектор первых процессов чистки и террора, к этому времени был расстрелян. Новым главой советской тайной полиции стал известный Ежов. Орджоникидзе тотчас позвонил Ежову и на необузданном языке потребовал объяснить, почему инженера арестовали без его разрешения. «Ты ничтожная мразь! Ты грязный подхалим!» — услышал мой друг крик комиссара, — «как ты смеешь! Я требую, чтобы ты выслал мне документы по их делу и немедленно!»

Затем он позвонил Сталину по прямой линии, соединяющей главных лидеров советской тирании. К этому времени его руки тряслись, глаза налились кровью, и он все время нажимал на то место на спине, где болела почка.

«Коба», — услышал мой друг, как он кричал в трубку — Коба — это было

интимное прозвище Сталина, — «почему ты позволяешь НКВД арестовывать моих людей, не поставив меня в известность?»

Повисла долгая тишина, пока Сталин говорил на другом конце провода. Затем Орджоникидзе прервал: «Я требую, чтобы этот авторитаризм прекратился! Я все еще член Политбюро! Я устрою скандал, Коба, даже если это последнее, что я сделаю перед смертью!» Орджоникидзе бросил трубку. Он сидел за столом в оцепенении бесполезного гнева.

Такие сцены происходили почти ежедневно. Они истощали жизненные силы темпераментного грузина. Он выполнил свою угрозу и устраивал скандалы на заседаниях Политбюро. Косиор, Рудзутак, Чубарь и Антипов обычно поддерживали его - все четверо были позже арестованы и исчезли в ходе чистки.

Через некоторое время он был слишком болен, чтобы посещать заседания Политбюро. Но даже из-за заточения в своей больничной комнате он держал свои многочисленные телефоны горячими от гневных требований сохранить жизнь или свободу чиновникам, которые работали под его началом, и в которых он верил.

Во время этой последней болезни жене Орджоникидзе, Зинаиде, которой он был глубоко предан, не разрешалось навещать его. Охранники из НКВД, якобы защищая его, не подпускали его друзей к его постели. Единственными допущенными посетителями были Микоян и Ворошилов, оба члены Политбюро. Они несколько раз пытались убедить инвалида помириться со Сталиным, признав необходимость большой чистки. Визиты, однако, всегда заканчивались жаркими спорами и ссорами.

Хотя он был слишком болен, чтобы передвигаться, он никоим образом не был на грани смерти. Он мог бы продержаться, как инвалид, много лет. С кровати он диктовал письма в Центральный Комитет и Политбюро, в которых он осуждал Сталина и требовал созыва пленума Центрального Комитета для рассмотрения состояния страны и обуздания массовых потоков арестов и убийств. Его письма были написаны со страстной убежденностью. Если они сохранились, историки в далеком будущем получат подробное обличение сталинской контрреволюции из уст человека, который осуществил первые пятилетние планы СССР.

Два дня спустя, к полному удивлению своей семьи и лечащих врачей, Орджоникидзе умер. Есть те, кто считает, что в момент отчаяния он принял яд. Есть и другие, кто считает, что его отравил доктор Левин-- — тот самый врач, который позже признался в том, что отравил Максима Горького. В том, что он умер насильственной смертью, что его конец не был "естественным", мои источники не имеют ни малейшего сомнения.

Если они правы, то пышные похороны, повсеместные панегирики были частью непристойного фарса. На опубликованных фотографиях вдова,

которой не дали увидеть мужа, стояла рядом со Сталиным на похоронах. В последующие несколько лет имя Орджоникидзе стало постепенно изчезать из обихода, и через некоторое время его стали редко упоминать. Города, улицы, заводы, носящие его имя, постепенно переименовали. Молодые коммунисты теперь редко знают,кем он был.

Новым наркомом, сменившим Орджоникидзе, был Валериан Межлаук. Я был поражен, когда он вызвал меня в Москву личным сообщением. Межлаук, по-видимому, подсчитывал имеющийся технический персонал, сильно сокращенный террором, взяв в свои руки бразды правления тяжелой промышленностью страны.

Это был крепкого телосложения мужчина, который жил некоторое время за границей. У него и внешность, и манеры европейца. Хотя он был способным управленцем, у него было мало политической власти или влияния. Сталин, казалось, не хотел рисковать назначением другого «независимого» комиссара на этот ключевой пост.

«Я думаю назначить вас руководителем одного из наших крупнейших заводов, товарищ Кравченко», — сказал он. «Ваша работа в Никополе оправдывает это. Как вы к этому относитесь?»

«Позвольте мне спросить вас, товарищ комиссар, кто меня рекомендовал?»

«Зачем вам это знать?»

«Ну, видите ли, у меня много политических трудностей в Никополе. Меня обвиняли во вредительстве и других грехах. Возможно, вам следует знать об этом, прежде чем вы повысите меня на более ответственную работу».

И я подробно рассказал ему о своих недавних неприятностях.

«Странно, странно, что мне не сказали», — пожал плечами Межлаук. «Я знаю, что Орджоникидзе высоко ценил вас. Может быть, вы правы. Давайте оставим пока все как есть».

Впоследствии у меня были причины поблагодарить ту счастливую звезду, под которой я родился. Межлаук вскоре был арестован и исчез, словно был проглочен матерью-землей, вскоре за ним последовал и его брат Иван. Если бы он назначил меня на важную должность, я, несомненно, дорого заплатил бы за такую услугу.

В первых числах марта 1937 года, Сталин выступил с длинным докладом на заседании Центрального Комитета партии. Он был опубликован полностью. Как обычно, толпы партийных активистов пережевывали его слова на бесконечных народных и партийных собраниях. Пресса и радио цитировали и аплодировали часами. Шум не мог скрыть суть его сообщения: чистка, террор, каками бы ужасными они ни были, были только началом; будет больше и хуже.

«Вредительская и диверсионная работа, - сказал Сталин, - в большей или меньшей степени охватила все или почти все наши организации и учреждения». Он упрекал партию в том, что она «забыла, что советская власть и коммунизм захватили пока только одну шестую часть мира, а пять шестых мира находятся в руках капиталистических государств... Пока у нас сохраняется капиталистическое окружение, у нас всегда будут саботажники, диверсанты и шпионы...».

Это было, в едва завуалированном виде, его объявление войны всем организациям страны, всем, кто сейчас или в будущем мог бы возразить его абсолютному единовластию. Сталин предупреждал, что хорошая работа и даже блестящие достижения не должны приниматься как алиби, если вера у человека не является полной: "Настоящий саботажник должен время от времени показывать доказательства успеха в своей работе, поскольку это единственный способ сохранить свою работу саботажника.... Нам придется искоренять таких людей, перемалывать их не останавливаясь, не ослабевая, поскольку они враги рабочего класса, они предатели нашей советской родины!"

Садисты, пылкие мстители в каждом коллективе, таким образом, получили свой сигнал. Безжалостность имела преимущество. Мы почувствовали результаты немедленно в нашем собственном коллективе. Через несколько дней после публикации речи Сталина был арестован директор крупного завода сельскохозяйственных орудий, а вместе с ним и все его сотрудники. Администрация и технический персонал Никопольских марганцевых рудников и всех других предприятий региона были арестованы и затем расстреляны.

Однажды утром, придя на завод, я обнаружил, что меня ждет Брачко. Он был в состоянии паники.

«Виктор Андреевич», — тревожно объявил он, — «первый секретарь горкома товарищ Филлин был арестован ночью».

Позднее в тот же день товарищ Лось позвонил мне. Он едва сдерживал ноту торжества.

«Нам придется снова представить ваше дело в горкоме», — радостно сообщил он мне. «Видите ли, в прошлый раз вас спас Филлин — враг народа. Теперь мы позаботимся о вас, не бойтесь!

Мое чистилище, которое, как я думал, закончилось, только начиналось.

2

«Маленькая беседа», обещанная Гершгорном, вскоре состоялась.

Когда я прибыл в здания НКВД в одиннадцать часов вечера, как мне было велено, его еще не было. Я ждал его в переполненном людьми зале, и мой мозг кипел от безумных теорий. Какую дьявольскую ловушку они готовили для меня? Позволят ли мне покинуть этот дом ужаса?

Был почти час ночи, когда Гершгорн наконец появился — его толстые щеки были свежевыбриты и напудрены, его лысый череп сиял. Он был отдохнувшим, бодрым, готовым к «работе». Я последовал за ним в большой, полупустой кабинет, с которым я уже был слишком хорошо знаком. Огромный полированный стол красного дерева, несколько стульев, огромный сейф и диван — вот вся обстановка, которая там была. Его пустота и чистота как-то напоминала кабинет хирурга.

"Ну, Кравченко, - начал начальник Экономического отдела НКВД с поддельной веселостью, - я верю, что мы с вами быстро поймем друг друга. Пока вам удавалось выкручиваться в партии с помощью этих глупых бумажек. Но этот фокус-покус не пройдет с НКВД. Мы докопаемся до сути этого дела с инструментами, меньшевизмом вашего отца и ваших связей с известными врагами народа".

В эту первую из многих ночей Гершгорн прошелся по большей части уже публично освещенной темы. Ссылаясь на досье, набитое отчетами его агентов-сексотов, окружавших меня, он воскресил в памяти несчастные случаи на заводе, иногда невыполнение приказов. В каждом пункте, и особенно в моих отношениях с людьми, вовлеченными в данное дело,

которые с тех пор были арестованы, убиты, или иным образом ликвидированы, он чувствовал запах вредительства и пытался хитростью заманить меня в ловушку противоречий и признаний.

До четырех часов утра продолжался допрос. Он в значительной степени касался других людей в металлургической промышленности. Через меня НКВД стремился упрочить заведенные уже дела против других арестованных должностных лиц, так же как, без сомнения из них самих, чекисты выбивали компрометирующие данные или мнения уже против меня.

Если действительно кто-либо из этих несчастных людей был вовлечен в саботаж, я бы увидел доказательства этого. Их планы, их продукция, их ошибки и достижения отразились бы на моем заводе. Но я не видел никаких признаков саботажа. Было много неэффективности, путаницы и задержек, но это были общие детские болезни новорожденной промышленности.

Как бы я ни старался, я не мог превратить представленные данные в доказательства сознательного вредительства.

Гершгорн был возмущен моим «упрямством». Постепенно он становился все более нетерпеливым, более гневным. Напускная вежливость постепенно сменилась оскорбительной наглостью, приправленной отборными ругательствами. Ему показалось личным оскорблением, что я осмелился противостоять его наветам и опровергать его фантастические теории. Он действовал так, как будто он был жертвой, как будто я злоупотреблял его добротой, заставляя его потеть и ругаться из-за моего упрямого отказа «сотрудничать».

Новый день уже наступал, когда я вышел из здания НКВД. Поверхность Днепра была мягкой, волнистой, шелковистой. Можно было окунуться в нее и быть навсегда окутанным забвением. В этом мрачном здании меня никогда не покидала соблазнительная мысль о смерти. Почему они не оставляют меня в покое? Я хочу только работать, отдавать лучшее, что есть во мне. Почему они не оставляют меня в покое? Почему? Мои мысли, как и мое тело, шатались. Они не могли придерживаться прямой линии. Те немногие люди, которые видели, как я иду по улице тем холодным, туманным утром, должно быть были уверены, что я был пьян. . . .

В тот день я пошел на работу на завод после короткого сна, в оцепенении. Мои виски пульсировали от боли. Я с нетерпением ждал ночи как своего

рода освобождения. Но в конце дня позвонили от Гершгорна... Я должен был прийти еще раз, снова в одиннадцать, чтобы продолжить нашу маленькую «беседу».

Я был там, как и было приказано, уставший, нервный и ожесточенный. Лишь с редкими перерывами допрос продолжался почти месяц. Это было начало испытания бессонницей, ужас которого вряд ли кто поймет, не испытав его на собственной плоти и нервах.

Советские шакалы Никополя -- Дороган, Гершгорн, Лось и другие выли, требуя моей крови. Они с нетерпением хотели разорвать меня на части. Можно было почти видеть, как слюна капает из уголков их ртов в предвкушении пиршества. Почему? Почему? Что они могли иметь против меня, который не причинил им никакого личного вреда?

На эти вопросы были логичные ответы. Убив десятки людей на нашей фабрике и в других местах, чья деятельность тесно переплеталась с моей, чистая последовательность требовала моей головы. Пока я был жив и свободен, картина чистки на их территории казалась перекошенной; чекистам казалось, что сильное сомнение в виновности тех других останется и расцветет среди «масс», пока эта дыра в головоломке их лихорадочного обмана не будет должным образом заполнена. Более того, инициировав и разрекламировав мое дело, для них было бы политически вредно позволить мне выпутаться из него. Их «авторитет будет подорван», как гласит советская фраза.

Но логические ответы — это только поверхностные ответы. Более глубокие причины кажущегося преднамеренного преследования следует искать в скользких отбросах человеческой извращенности. Дело превратилось в захватывающую охоту, и охотники не будут лишены своей добычи. Без сомнения, они начали без особых чувств ко мне, так или иначе, но в пылу погони, в моменты разочарования, у них ко мне родилась ненависть. Чекисты хотели победить, добавить мою шкуру в свою кровавую кучу трофеев. В то же время охотники, казалось, были настроены, опять же извращенно, придерживаться правил охоты, по крайней мере внешне. Просто арестовать и расстрелять меня в одном из их скользких подвалов заставило бы их выглядеть смешными в глазах Никополя. Мой случай стал одним из тех случаев, когда убийство должно быть совершено открыто, с публичным саморазоблачением и признанием.

В течение нескольких недель, пока мне не давали спать, терзали и оскорбляли на тайных «беседах» в НКВД, одновременно также проводилась публичная фаза моих преследований. Записи заседаний моего первого исключения были снова подняты; снова были следственные комиссии, беседы на партийных собраниях, клевета в газетах. Я прошел через них в состоянии лихорадочной жажды сна и отдыха. Иногда мое тело чувствовало, как будто оно было наполнено свинцом, давящим меня своим огромным весом; затем оно внезапно становилось легким, как перышко, оно, казалось, плыло. Волны жара и холода попеременно прокатывались через меня.

К старым обвинениям добавились новые. История саботажа была расширена и обновлена, поскольку конкретное обвинение казалось немного изношенным. Пересмотренные обвинения меньше акцентировали мои личные действия, больше на попустительстве другим людям, уже формально признанным саботажниками; если не попустительство, то, по крайней мере, предательская терпимость и отсутствие бдительности с моей стороны. Чем слабее становились обвинения, конечно, тем труднее было их опровергнуть.

На самом деле, по мере продолжения преследования я забыл, за что меня преследуют. Я был просто уставшим, несчастным, с головокружением и сбитым с толку. В отчаянии, хотя бы только для того, чтобы прервать утомительную монотонность преследования, чтобы избежать ночных допросов у Гершгорна в НКВД на некоторое время, я решил поискать справедливости в другом месте. Я изложил свой план директору Брачко. «Петр Петрович, — сказал я, — я смертельно устал. Голова кружится, нервы на пределе. Я не могу ни работать, ни есть, ни спать. Где-то должна быть память о правде и простой справедливости, и я намерен пойти и поискать ее. Я пойду в Обком, в Центральный Комитет, к отдельным товарищам. Я расскажу свою печальную историю всем, кто готов меня выслушать. Может быть, где-то кто-то даст мне совет или поможет. В конце концов, я не совершил никакого преступления. Почему за мной должны охотиться, как за преступником? Почему, будучи оправданным один раз, я должен проходить через ужас во второй раз, а затем в третий? Да, я отправляюсь искать ответ».

Директор завода Брачко был обеспокоен моим состоянием и моим предложением. Он совершенно не знал о моих ночных допросах в НКВД — я дал чекистам подписку строжайше молчать об этом. Но он чувствовал, что причин для моего отчаяния было больше, чем было видно на поверхности.

«Это глупая и бесполезная затея», — заверил он меня. «Более того, вам вряд ли разумно покидать Никополь сейчас. Они воспользуются вашим отсутствием. С другой стороны, вы выглядите ужасно, и, возможно, вам следует уехать на некоторое время. Если вы настаиваете, я организую для вас командировку куда-нибудь».

И вот я отправился на свои душераздирающие поиски справедливости. Мне предстояло повидать множество людей и организаций.

Я начал с места своего рождения, в Днепропетровске. Мой бывший однокурсник, Сошников, теперь был вторым секретарем обкома партии и, следовательно, человеком с определенным политическим весом. Двое других товарищей институтского времени были в его штате. Один из них был Суворов. Он тогда был очень беден, и я часто брал его к себе домой, чтобы моя мать могла его накормить и починить его рваную одежду. Другой был Уласевич. Его голова не была приспособлена для учебы, поэтому вместе с другими друзьями я часами занимался с ним, чтобы помочь ему пройти курсы и экзамены.

Теперь все трое сидели в этом партийном здании и делились своею мудростью с «массами». Показания такого хорошо поставленного трио, дающего мне хорошую партийную характеристику, может быть полезным.

Сошников растолстел и разбух за прошедшие годы. Он сидел за большим столом в роскошном, мягко устланном ковром кабинете под огромным портретом улыбающегося Вождя. Целую минуту он не поднимал глаз от бумаг перед собой: знакомое бюрократическое утверждение собственной важности.

Наконец он поднял глаза и холодно сказал:

"Так это вы, товарищ Кравченко. Чем я для вас могу быть полезен?"

Он использовал формальное "вы" вместо привычного "ты".

"С каких это пор ты отказался от "ты" для старых институтских друзей? Какого черта ты должен говорить как помазанник Божий?"

Сошников смутился и отговорился загруженностью и большой ответственностью. Я решил перейти к делу без предисловий.

«У меня неприятности», — сказал я.

«Да, я слышал ...».

«Скажи честно, за те годы, что мы были вместе в Институте, ты наблюдал какой-либо саботаж с моей стороны?»

«Конечно, нет. Что за чушь!»

«Тогда я хотел бы, чтобы вы это сказали в заявлении Никопольскому партийному комитету — ты, Суворов и Уласевич».

Он поежился и поправил свой колыхающийся жир. Он снова вытер пот. Он попытался сменить тему. Наконец он позвонил тем двум другим.

По-видимому, они тоже что-то слышали. Их приветствия были дружелюбными, но осторожными, очень осторожными. Я извлек горькое наслаждение из их тройного страха и опасения. После некоторых споров они пришли к мысли, что мне следует обратиться повыше; что не подобает таким скромным людям, как они, вмешиваться в большие дела, затрагивающие жизнь и безопасность страны.

"Спасибо за совет. Надеюсь, вы понимаете, насколько вы низки и трусливы", - сказал я и ушел, не попрощавшись.

Это трио, несомненно, знало, как охранить свою шкуру. Некоторое время спустя Сошников стал начальником НКВД по Челябинской области; Уласевич стал секретарем городского комитета в Западной Украине; Суворов тоже получил повышение.

В коридоре, разыскивая кабинет нового первого секретаря, товарища Марголина, я вдруг услышал, как меня зовут.

"Виктор Андреевич, здравствуйте! Как дела? Как приятно снова вас видеть!"

Я обернулся и увидел Ивана Золкина, с которым работал на заводе имени Петровского-Ленина. Было приятно увидеть кого-то из тех прошедших, молодых лет, когда я еще не был инженером и "ответственным работником". Он, казалось, был очень доволен случайной встречей.

"Как дела, Витя?" - спросил он. "Почему ты такой бледный и осунувшийся? Заболел что ли?"

"В каком-то смысле", - улыбнулся я. "Эпидемия по всей стране … Обвинения во вредительстве и прочее".

"Ох, дорогой Витя, как ужасно... какая скверная история! Ну, прощай... тороплюсь на прием. Извини, пожалуйста..."

И он помчался дальше. Мне предстояло встретиться с ним снова ровно через три года в Кремле, и я не был удивлен; короткая встреча в днепропетровском коридоре убедила меня, что Иван Золкин пойдет далеко в нашей советской земле. Последнее, что я знал, он был главой важного отдела в Центральном Комитете партии, должность, которую он, вероятно, занимает до сих пор.

Огромную приемную первого секретаря Марголина охраняли энкавэдовцы в униформе и штатском. Они следили за входящими и выходящими людьми. Они спросили меня, имею ли я какое-либо оружие, прежде чем впустить меня, и просканировали меня тренированными глазами на предмет какой-либо подозрительной выпуклости. В СССР, советские официальные деятели, по крайней мере, до ареста, хорошо охраняются; убийство их является монополией НКВД, а НКВД не терпит конкуренции.

Ожидая там в бывшей приемной Хатаевича, я вспомнил, что Хатаевич тоже был драматически окружен вооруженной охраной, когда я видел его в последний раз, на Никопольском партийном собрании. Где он сейчас? Я знал, что его арестовали, но был ли он еще жив? Я знал большинство сотрудников его офиса, но никого из них сейчас не было; без сомнения, они разделили судьбу своего хозяина.

Я ничего не знал о преемнике Хатаевича. Я никогда его раньше не видел. После нескольких отказов я был готов к еще одному. Но, что удивительно, Марголин проявил человечность. Он не только выслушал меня до конца, но и даже выражал искреннее сочувствие.

«Я хотел бы, чтобы вы помогли мне, товарищ Марголин», — взмолился я. «Почему мое дело должно быть возобновлено только потому, что арестован Филлин? Какое мне до него дело? Я был оправдан на основании документов».

«Потерпите, товарищ», — сказал Марголин приглушенным голосом. «То, что с вами происходит, если подумать, это довольно мягко. Мы находимся в критическом периоде революции. Наш долг помогать партии, а не критиковать. Все равно, я отправлю директиву в горком по вашему делу».

«Спасибо. Если вы сдержите свое обещание, я буду очень признателен».

«Не благодарите меня, товарищ. Никто из нас не знает, где мы будем завтра»;

Последние слова были сказаны как циничная шутка. Но я посмотрел ему в глаза и увидел, что в них не было и тени юмора. Вернувшись в Никополь, я узнал, что Марголин сдержал свое обещание: он написал, призывая к справедливости и честности. Но к тому времени его самого арестовали. Его заступничество, действительно, долгое время будет меня преследовать. Это будет рассматриваться как еще одно серьезное «доказательство» моей близости с врагами!

Вторым этапом в моих поисках справедливости был Харьков. Я рассчитывал на помощь Иванченко. Он был одним из дюжины или около того выдающихся промышленных командиров страны. Строгий и резкий, бескомпромиссный в своем требовании хорошей работы и в наказании лени или невежества, он был, тем не менее, чувствительным и добрым человеком. Я знал эту его сторону. Я знал, что он не колеблясь будет защищать своих подчиненных, когда правда на их стороне.

Но я обнаружил атмосферу паники в Трубостале. Как оказалось, Иванченко, герой революции и обладатель всех почестей и наград, дарованных Кремлем, долгое время бывший членом советского правительства, был вызван в Москву, предположительно по делам. Когда он прибыл туда, его ожидала бригада из чекистов НКВД и увезла его в тюрьму. Поскольку он был особенно популярен в Харькове, арест его был произведен в Москве. В то же время были арестованы все его основные сотрудники по Трубостали — Шпельти, Стрепетов, Спринг и другие, все они были беспартийными.

Я нашел мало тех, с кем мог поговорить. Новые люди с испуганными глазами сидели в большинстве кабинетов. Я рассказал свою историю одному сочувствующему инженеру. Он выслушал меня, затем покачал головой с упреком:

"Послушай, Кравченко, ты думаешь, у тебя неприятности! Ты слышал, что случилось с Константином Шпельти? Или со стариком Спрингом?".

И Шпельти, и Спринг были известными инженерами. Я читал и изучал их работы. Их имена были магическими для молодых советских управленцев.

Теперь я услышал подробности их арестов; как их вытаскивали из постелей, оскорбляли чекисты и заталкивали в машины с другими арестованными. Я покинул Трубосталь, как покидают кладбище ... кладбище, на котором некоторые трупы все еще двигались, притворяясь живыми.

По дороге в областной комитет партии я прошел мимо Гиганта, этого улья студенческого общежития, где я когда-то был важной фигурой. Я решил заглянуть. Я прошел по его коридорам, заглянул в комнату, где я жил. Мало что осталось от чистоты и порядка, за которые я выступал и агитировал. Место все еще кишело студентами, не сильно отличающимися от тех, что были несколько лет назад: те же недокормленные, оборванные, но ревностные юноши и девушки и девочки, в их глазах светилась вера и честолюбие.

Впервые за много лет я подумал о Юлии, сочной и умной Юлии, которая когда-тобыла моей возлюбленной. Где она? Жива ли она? Вспоминала ли она иногда молодого коммуниста из Гиганта?

Когда я подошел к областному комитету, я услышал знакомый голос.

"Витя! Витя! Подожди, куда ты идешь?"

Это был Сеня Волгин, тот самый Сеня, который много лет назад поспорил с моим отцом после визита Раковского на завод, который был моим соредактором нашей заводской газеты, которому я однажды сделал выговор в газете за то, что он устроил попойку в общежитии.

"Сеня! Как я рад тебя видеть после всех этих лет!"

"И я рад, Витя, милый. Дай поцеловать тебя!" И он обнял меня

"Будь осторожен, Сеня, ты можешь пожалеть о поцелуе. Я заразный. У меня дела пошли плохо..."

"Что за черт ты такое говоришь... Ну, ты должен мне все рассказать. Я не из тех, кто сбегает. А помнишь, как он меня называл, этот твой отец? "Весенний цыпленок", который не может научить старую курицу, как он, никакой политике! И, ей-богу, он был прав!"

Мы сидели на скамейке в парке, который еще несколько недель назад назывался парком Постышева, но теперь Постышев был арестован, и парк был безымянным. Сеня был в военной униформе и нес большой портфель.

Он поседел на висках. Но официальная одежда ему не шла. Он был все еще маленьким, простым, непритязательным.

Мы рассказали наши истории за годы, прошедшие с тех пор, как мы в последний раз были вместе. Сеня теперь занимал высокий пост в обкоме.

«Да, Витя, ты сидишь с выдающимся пролетарским лидером... Стопроцентный сталинец. Ты когда-нибудь видел туши, висящие в мясных лавках? На их бедрах клеймо: «Проверено — съедобно». Это я, Витя, проверен и съедобен. Но доберутся ли чекисты до меня, чтобы съесть, и когда, я не знаю».

«Сеня, — сказал я, — сейчас не время для шуток, сейчас время для слез».

«Я уже исплакался. У меня больше нет слез. То один друг исчезнет, то другой... Так что скоро и моя очередь... У меня есть одно преимущество перед тобой. У меня есть надежный источник утешения. Он в бутылке. Да, это правда, я изрядно пристрастился к бутылке, но поверь, в такие сатанинские времена мне жаль вас, трезвенников».

Мы обменялись впечатлениями об общих знакомых. Большинство из них были арестованы.

«Так что же нам делать, Витя? Плакать? Нет, это бесполезно. Помнишь песню: «Что было, не вернешь, как и лето...» Наш рыжий Гриша пел ее, помнишь? Он сам стирал свое белье в коммуне, и пока оно сохло, что ему оставалось делать, кроме как петь, пока он ждал? Он надевал пальто, садился на скамеечку, бренчал на гитаре и пел. Бедный Гриша! Он был арестован несколько недель назад. А мы с тобой все еще этого ждем, так что будем иметь достаточно разума, чтобы петь.»

Мы расстались с пылкими обещаниями вскоре снова встретиться. Но вышло не так. Чекисты НКВД взяли Сеню примерно через два месяца. Его семья рассказала мне, что он был изрядно пьян, когда за ним пришли чекисты из НКВД, и пел во весь голос посреди ночи. Что он пел? Я хотел узнать. Старую любимую: «Что прошло, то не вернется …», — сказали они.

Поезд в Москву отправлялся только поздней ночью. Я уже купил билеты. Мне пришло в голову узнать, в городе ли Елена. Я позвонил ей на квартиру. Елена сама ответила. К моему полному удивлению, ее голос не тронул во мне никаких струн. Мои страдания и внутреннее отчаяние, казалось,

притупили более нежные чувства. Я спросила себя с тревогой: неужели эти негодяи выжгли во мне старые чувства? Неужели они стерли романтическую жилку в моем характере?

Елена пришла в мою гостиницу. Она была по-прежнему красива, с той необычной ритмичной грацией, которая раньше пронзала меня, как нож. Но она постарела; печаль в ее глазах стала глубже, чем когда-либо. Ее муж, как она сказала мне, был арестован и снова отправлен в концлагерь, и она жила теперь с матерью. У нее была скромная работа в архитектурном бюро. Я не спросил ее, работает ли она все еще в НКВД.

"Ах, Витя, все стало гораздо хуже, а не лучше», - вздохнула она. «Я знаю о твоих бедах. Видишь ли, когда я бываю в Днепропетровске, что бывает нечасто, я стараюсь видеться с нашими общими друзьями. Ты забыл меня, а они нет. Как хорошо найти людей, которые остались чистыми, нетронутыми, за все эти грязные годы. Это чудо».

Когда она провожала меня на вокзале, мы обещали друг другу встретиться снова. Мы оба прекрасно знали, что обещание не будет выполнено.

3

Я полюбил Москву. Это не элегантный и не красивый город. Несмотря на все его новые «небоскребы» и расширенные улицы, он остается «самой большой деревней в России». Москва-река, извиваясь через город, кажется, навязывает свою своенравную природу всему городу с его множеством узких, извилистых переулков, провинциальных площадей, внезапных византийских штрихов. Нет, она прекрасна, если только смотреть на нее русскими глазами и чувствовать ее русским сердцем.

Что тронуло меня, что тронуло бы любого русского в Москве, так это любопытное ощущение ее возраста, ее постоянства. Она была до Романовых и осталось после них; она была до коммунистов и останется долго, долго после них. Она обладает качеством, выходящим за рамки политики, даже за рамки запланированной модернизации. Каким-то образом личное горе отступает, становится меньше, почти незначительным в присутствии этого вечного города.

Я решил не регистрироваться в гостинице. Это было бы все равно как поместить себя в аквариум на каминной полке НКВД. Вместо этого я

попросил товарища Мишу и его жену разрешить мне пожить у них несколько дней.

Товарищ Миша был известным старым революционером и теперь был активистом Общества бывших царских политических заключенных. Советское государство предоставило ему комфортабельную квартиру и пенсию, достаточную для удобной жизни. С оружием в руках, он сражался рядом с моим отцом. Более десяти лет он просидел в Александровской тюрьме, пока его не освободила революция. Товарищ Миша и его жена всегда относились ко мне как к сыну, и теперь они были очень рады принять меня, хотя и встревожены моей бледностью и измученным видом.

"А как мой дорогой Андрей? Он все еще жив и здоров?"

"Да, отец здоров и так же возмущен жизнью и положением вещей, как всегда".

"Мы — крепкие люди, мое поколение. Хотелось бы мне снова его увидеть, чтобы поговорить о старых временах".

За ужином я рассказал ему, что привело меня в Москву. Я ничего не скрывал. Товарищ Миша знал лично Ленина, Бухарина, и других видных деятелей революции. Он называл нынешних советских вождей, начиная со Сталина, по именам. Вдова Ленина, Крупская, часто встречалась с ним. Новые советские владыки обращались с ним — по крайней мере, до периода супертеррора — как с одним из своих.

Пока я рассказывал свою историю, особенно об обвинениях против моего отца, его товарища по баррикадам, старый Миша пришел в ярость. Он отодвинул свой стул в гневе и подошел к шкафу, из которого вытащил тяжелую, ржавую цепь. Он поднял цепь обеими руками над седой головой и потряс ею в неконтролируемой ярости. «Я сидел на этой цепи десять лет, потому что верил в правду, в справедливость, в лучшую жизнь!» — кричал он. «А теперь, эти негодяи, которые называют себя революционерами, истязают наших детей! Будь они прокляты! Будь прокляты садисты, которые залили кровью нашу Россию!»

Это был высокий, худой и больной человек. Подняв ржавую цепь кверху, он был грозен на вид. Мишина жена и я пытались успокоить его. «Чего я не понимаю, товарищ Миша, — сказал я позже, — так это зачем им нужен весь

тот террор. Не может быть, чтобы мы все были шпионами и вредителями, целая страна шпионов и вредителей — все, кроме Политбюро...»

«Чушь! Исключений нет. В самом Политбюро многие были арестованы, и более три четверти состава Центрального Комитета партии ликвидировано. Косиор, Рудзутак, Чубарь, Постышев — под арестом. И многие из приближенных к Политбюро, Антипов, Межлаук, Бубнов и многие, многие другие — изчезли в никуда. Яковлев, Стецкий, почти все лучшие в Центральном Комитете, тоже. Погром такой же кровавый и наверху, и внизу.

«Сталин и его клика хотят партию, которая не думает, Центральный Комитет, который подчиняется приказам слепо, Политбюро, которое всегда соглашается с ним полностью. И он это получает. Он решает проблемы так, как это делал Петр Великий — рубя головы».

В течение вечера мы приступили к обсуждению того, к кому можно обратиться, чтобы заступиться за меня. Крупская не рассматривалась. Только то, что она была вдовой Ленина, спасло ее от ареста. Ее ненависть к Сталину и его методам была общеизвестна, и любой, за кого она сказала бы доброе слово, только пострадал бы от этого. Другие близкие друзья товарища Миши сами находились в шатком положении. Но вдруг его осенило:

«Ярославский!» — воскликнул он. «Да! Если Емельян еще не совсем развращен, он должен нас послушать!»

Емельян Ярославский, один из немногих старых большевиков, все еще находившихся у власти, считался официальным теоретиком советской коммунистической партии, как бы личным первосвященником Сталина.

Он был главой Общества безбожников и написал много статей, объясняющих и оправдывающих каждое новое сталинское злодеяние. У меня поэтому было мало надежды с этой стороны, но товарищ Миша убедил себя в оптимистичных ожиданиях. Разве Ярославский не знал его десятки лет? Разве они не боролись вместе против царя, не сидели вместе в тюрьме?

На следующее утро товарищ Миша позвонил и договорился о встрече. Это само по себе уже было достижением. Пропуска ждали нас, когда мы приехали в Центральный Комитет.

Ярославский был облачен в простую русскую рубаху. Встретив нас, он обнял и поцеловал товарища Мишу и сердечно пожал мне руку. На мгновение в

моем сердце зародилась надежда. Это был коммунист старого образца, человек идеалистического поколения моего отца.

Но как только товарищ Миша начал объяснять цель своего прихода, на лице Ярославского обозначилось выражение тревоги. Он нервно жевал склокоченные кончики своих окрашенных никотином усов.

"Ну, Емельян, вот и вся история", - заключил товарищ Миша. "Если ты нам поможешь, я буду любить тебя как родного брата. Если ты этого не сделаешь, я буду знать, что ты, даже ты, Емельян, пропал..."

"Прости меня, Миша", - тон Ярославского стал официальным. "Когда ты приходишь ко мне как к старому другу, это одно; когда ты приходишь ко мне как к ответственному руководителю Партийного Контроля, это другое. Мой долг - защищать Партию и ее Вождя от врагов. Здесь нет места для дружбы и одолжений. Мы не можем позволить себе быть мягкотелыми. Понимаешь?"

«Да, я понимаю. Но к чему вся эта риторика? Я не митинг и не страница в «Безбожнике». Поможешь или нет? Говори прямо».

«Не горячись, мой старый друг. Товарищ Кравченко, ты оставишь нас на несколько минут, чтобы я мог говорить свободнее?»

«Нет, нет, он останется здесь, Емельян!», — воскликнул товарищ Миша. «Я не буду терпеть твои новомодные секреты и интриги. Мы товарищи или нет?»

«Ладно, будь по-твоему», — пожал плечами Ярославский.

Мы вышли из его кабинета подавленные, сломленные духом. По щекам товарища Миши текли слезы; ему пришлось держаться за мою руку, чтобы идти. «Итак, даже Емельян умер — я имею в виду откровенного и смелого Емельяна, который когда-то был моим товарищем. Эх, Витя, я рад, что я старый. Мне не придется долго наблюдать это безобразие».

Единственная уступка дружбе, которую сделал Ярославский, состояла в том, что он дал мне имена и телефоны нескольких важных работников Центрального Комитета партии и разрешил использовать его имя для получения аудиенции. В течение следующих нескольких дней я видел этих людей. По формальности их поведения — дружелюбного, улыбчивого, но

строго формального — я заподозрил, что Ярославский дал им понять, что они должны хорошо ко мне относиться и ничего не делать для меня.

Даже люди, близкие к Сталину, по-видимому, не могли позволить себе оказать помощь и сочувствие «вредителю».

Я просмотрел свой список московских адресов. Был ли кто-то, к кому я мог бы обратиться? Просматривая имена, я вычеркивал многие из них: этот умер, этот уже казнен, тот покончил с собой, остальные арестованы. Наконец я наткнулся на одно имя, которое заставило меня задуматься.

"Лазарев!" - сказал я себе. "Я найду его. В каком-то смысле именно он наставил меня на путь, который привел меня в этот тупик. Разве не его влияние, еще в угольных шахтах Донбасса, привело меня в комсомольскую организацию?"

Когда я позвонил в его дверь, две пожилые женщины открыли дверь. Они уставились на меня с тревогой, когда я спросил о Лазареве, и одна из них заплакала.

"Моего бедного мальчика нет... почти год... Разве вы не знали? Они говорили, что он враг народа. Изверги! Мучители!"

Итак, я узнал, что мой первый наставник коммунизма тоже был среди «врагов».

Утомленный неудачами и горестями этих дней, я был вынужден навестить семью А--. Я всегда мог рассчитывать на старушку А-- и ее очаровательную дочь Таню, чтобы приятно провести час или два. Несмотря на многие трагедии, они сохранили немного своей естественной радости жизни. Товарищ А-- с женой и маленьким сыном бежал в Америку от полиции после 1905 года. В Соединенных Штатах у них родились еще другие дети, мальчик и две девочки, которые выросли как типичные американские подростки.

После революции семья приехала в Россию. Сам Ленин приветствовал их. А-- принял видное участие в гражданской войне. Он возглавлял отряд красных партизан против белых и японцев на Дальнем Востоке и был убит. С окончанием гражданской войны, семья переехала в Москву, где Ленин дал им квартиру и пенсию в знак признания героических заслуг А--. Старший сын вырос и стал инженером — именно через него я познакомился с его семьей.

Несколько лет назад его арестовали и отправили на каторжные работы в советский концлагерь во время очередной чистки. Женщины остались одни.

Теперь я, ничего не подозревая, пришел к ним домой, в старый дом. Их дверь была заперта и опечатана. Я разглядел на печати страшные инициалы: НКВД. Соседка высунула голову, чтобы посмотреть, кто там. «О, спаси нас бог, молодой человек. Гражданка А. и ее дочь арестованы и отправлены в ссылку!»

Она быстро закрыла дверь, боясь, что сказала лишнее. Я вышел из дома совершенно потрясенный. Я не прошел и нескольких шагов, как понял, что за мной следят. Один взгляд на его ботинки, и у меня не осталось сомнений, что это был чекистский шпик, несмотря на его гражданское пальто. В дополнение к моей чаши скорби, теперь, конечно, будет сообщение о том, что я приехал навестить ликвидированную семью!

К счастью, в этот момент мимо проезжало ветхое такси. Я запрыгнул в него и просил, чтобы шофер поскорее ехал на железнодорожный вокзал; я-де опаздываю на поезд. На вокзале я расплатился с ним и нашел другое такси, которое довезло меня до дома товарища Миши, который оказался в нескольких кварталах от того дома. Когда я рассказал своим любезным хозяевам о своем посещении, дядя Миша снова вышел из себя.

«О, негодяи! При царе лучше было», — воскликнул он, в волнении расхаживая по комнате. «Теперь хуже — в тысячу раз хуже. В те дни у нас были суды, адвокаты, шанс на победу. Когда у нас были политические неприятности, наши друзья не сторонились нас. Наоборот, они навещали нас, помогали нам, были с нами. Были митинги протеста, обращения к правительству, к прессе, речи в Думе. Теперь, только ужасная тишина, страх и трусость повсюду.

«И еще одно, Витя. В мое время весь мир, казалось, был на нашей стороне, на стороне революции. Демократические и либерально настроенные люди Англии, Франции, Америки выступали против тирании и подавали нам моральное утешение. А сегодня мы в изоляции, как в тюрьме. Внешний мир, похоже, не знает, что здесь у нас происходит. Те самые люди, либералы и демократы, которые должны быть на нашей стороне, теперь оказываются на стороне тиранов и палачей, и — вот ирония, сынок, — они называют себя «друзьями Советского Союза».

«Друзья деспотизма было бы лучшим названием для этих дураков», — сказал я.

«Витя, в нашей спецбиблиотеке я иногда вижу французские и английские газеты. Конечно, туда допускаются только избранные люди. Поверишь ли ты, но они пишут о «социализме» и о «прекрасной новой жизни» в советской России! Я не шучу. Я как-то видел одну американскую книгу о нашей стране. Я прочитал несколько страниц и не мог поверить своим глазам. Идиот-автор был в СССР, но ничего не видел и ничего не понял. Он описывал нашу распятую и истекающую кровью страну так, словно это был какой-то рай на земле. Лгуны! Негодяи!»

«Но, дядя Миша, не может быть, чтобы весь мир действительно не знал, что здесь происходит. Не может быть, чтобы весь мир сошел с ума».

«Конечно, это бессмысленно, но если кто-то извне понимает, я пока не видел доказательств этого факта. Я состоял во многих официальных комитетах по приему делегаций иностранных рабочих, иностранных педагогов, иностранных студентов. По их пылу и по их наивным вопросам мне было ясно, что они ничего не знают об ужасах, под которыми сейчас живет русский народ. Они ничего не знают о разгуле безудержного террора в России. Витя, это страшно...»

Он сел, отвернулся от меня и заплакал.

Моим последним шагом в тщетных поисках справедливости был визит в Комиссариат тяжелой промышленности. Дух безграничного несчастья, который никто нисколько не пытался скрыть, наполнил всю организацию. Мало кто из тех, кого я знал, остался. Казалось почти неприличным навязывать свои проблемы людям, которые и так явно считали свое собственное положение среди живых очень неопределенным, в месте, кишащем призраками расстрелянных, как высокопоставленных руководителей, так и рядовых работников.

От тех немногих чиновников, которые все еще осмеливались говорить со мной, я узнал больше о масштабах чекистского террора в советской промышленности. Человек, который сделал больше всех для умножения советских нефтяных ресурсов, М. Баринов, был ликвидирован вместе со своим персоналом и помощниками. Так же чекистами были ликвидированы Альперович, начальник инструментальной индустрии, и его помощник

Степанов, и многие, многие другие. Почти все основные сотрудники Орджоникидзе - Александр Гуревич, Рухимович, Павлиновский, например, - уже больше не были на свободе. Гуревич был начальником всех металлургических отраслей в стране; впоследствии я узнал, что он ослеп в тюрьме НКВД и умер там.

Его помощник Антон Точинский, считавшийся одним из ведущих русских инженеров, также был арестован. Лишь немногие из высокопоставленных администраторов, начальников отделов Наркомата, директоров трестов и институтов сумели избежать великого террора.

Чтобы просто дать некоторое представление о масштабах бойни, я хочу перечислить несколько расстрелянных лиц, с которыми у меня были личные контакты. Их имена не могут ничего сказать постороннему человеку, но для тех из нас, кто занимался советской промышленностью, они означали сливки советских технических мозгов:

1. Бондаренко, директор Харьковского моторного завода; Константин Бутенко, начальник комбината в Кузнецке; Ганшин, возглавлявший нефтяную промышленность на Востоке; Гвахария, директор Макаевского завода в Донбассе; Осипов-Шмидт, начальник треста синтетического каучука; Михайлов, помощник директора знаменитой плотины Днепростроя; С. Макар, знаменитый строитель Магнитостроя; главный человек в сланцевой промышленности, большевик со стажем С. Шварц; Гугель, директор Азовского металлургического комбината в Мариуполе; И. Косиор, брат ликвидированного члена Политбюро и некоторое время ответственный за всю дальневосточную промышленность; М. Власов, начальник Челябинского завода черных металлов; Г. Кржеминский, глава марганцевого треста в Никополе; Николай Радин, директор крупного Мариупольского завода; Федор Логийко, директор Нижне-Днепровского завода; Звайсне, директор Лысьвенского завода на Урале; И. Рогочевский, директор Запорожского сталелитейного завода; Николай Донсков, глава Чусовского металлургического завода; Хазанов, начальник металлургии всего Урала; Трахтер, начальник Криворожского рудного треста.

Я выбираю имена почти наугад и мог бы продолжить их на много страниц по памяти. И я выбираю только самые выдающиеся имена.

В поезде из Москвы я столкнулся со своим другом Яковом Весником, тогдашним директором металлургического комбината в Кривом Роге. Тогда, я уделил его словам меньше внимания, чем они того заслуживали, но каким-то образом они остались в моей памяти, становясь больше, значимее с течением времени. Весник был известным революционером и высокопоставленным коммунистом, который не поддался новым коммунистическим методам. Он был награжден высшими медалями и орденами в Красной Армии, а затем, когда его перевели на промышленную работу, был близок к Орджоникидзе, Молотову и другим коммунистическим вождям. Часто он представлял нашу страну за рубежом, возглавляя важные экономические миссии.

Он был рад случайной встрече. Оказалось, что он тоже был в столице, пытаясь избежать ареста. Красивая жена Весника, Евгения, недавно была сфотографирована со Сталиным в Кремле. Публикация этой фотографии казалась гарантией неприкосновенности для нее и ее мужа. Но у Весника не было таких иллюзий.

"Я ожидаю ареста по возвращении в Кривой Рог", - сказал он мне. "Я тоже обнаружил, что Москва не окажет нам никакой помощи. Все это идет с самого верха. Вы услышите, как нас, старую гвардию, которая сражалась под началом Ленина, оклеветают как участников фантастических международных заговоров; вы услышите, как нас заклеймят как предателей и врагов народа. Помните, эти обвинения – это ширма для чего-то другого. Сталин и партия не могут сказать массам правду: что внутри партии есть конфликт. Потому что тогда массы захотят принять чью-то сторону, а Сталин боится, что большинство может победить".

Мы много говорили, в том числе, о его многочисленных поездках за границу. Он посмотрел мне в глаза:

«Если у вас когда-нибудь появится возможность рассказать внешнему миру об ужасах, которые здесь происходят, Виктор Андреевич, это будет вашим долгом. На этой стадии русский человек, который любит свою страну и свой народ, не может оказать большей услуги. Борьба за освобождение России не может и не должна прекращаться».

Его ожидания ареста вполне оправдались. Его жена тоже была арестована, несмотря на краткую славу того, что она сфотографировалась с Вождем. Слова моего друга оказались пророческими.

4

Когда я добрался до Никополя после моего бесполезного путешествия, был уже вечер. Я чувствовал себя подавленным, без всякой надежды. Когда я подошел к своему домику, я задался вопросом, почему он был в темноте. Где Паша? Я написал ей, что приеду и она должна была быть здесь. Я попробовал дверь. Она была заперта. Я постучал, потом еще громче. Никакого ответа. Пальцы страха внезапно сжали мое горло.

Мой голос был настолько сдавленным, что я едва мог внятно говорить, когдая подошел к следующему дому. Мой сосед, заводской служащий, посмотрел на меня с удивлением, как будто увидел призрак.

"Виктор Андреевич!" - прошептал он. "Это действительно вы? Живы? Не арестованы? Слава Богу!"

"Что случилось? Где Паша? Я просто был в Москве по делам."

"Вы не знали, Виктор Андреевич? Вас сняли с должности и приказали выселить из дома. Я не знаю, где ваши вещи. Приехала фура и увезла их..."

Я попросил разрешения позвонить Брачко.

"О, я рад, что вы вернулись, Виктор", - сказал директор.

"Но'Петр Петрович, что случилось? Почему заперт мой дом?"

«Не волнуйтесь. Держите себя в руках. По распоряжению горкома я вынужден был вас освободить от должности. Я назначаю вас начальником Технического отдела завода. Вы понимаете, что у меня не было выбора, что я убит горем».

«Конечно, понимаю, Петр Петрович, но где мне провести ночь?»

«О, я забронировал для вас номер в заводской гостинице в Никополе.

Не очень какой номер, но это единственное, что было доступно."

Я поехал обратно в город. Заведующий гостиницы ждал меня. Он

сочувствовал мне. Он знал, каким падением это было для меня, после моего роскошного дома с гаражом и садом, и поэтому он извинился, когда показал мне номер. Эта похожая на клетку кабинка с отслаивающимися обоями станет моим "домом" на все оставшееся время моего пребывания в Никополе. Мои книги и другие вещи были свалены в беспорядке по углам. Помимо кровати, там был небольшой,стол, шкаф, маленькое зеркало и выцветший портрет Сталина на стене. Не было ни туалета, ни даже раковины.

Но я устал, слишком устал, чтобы думать или чувствовать. Я проспал допоздна до следуюего утра.

ГЛАВА XVII

МУЧЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

У меня СЕРДЦЕ замерло, когда я узнал голос Гершгорна по телефону.

"Ну, ну, вот и пташка вернулась из своего долгого путешествия … Надеюсь, вам нравится новое жилье в гостинице. . . Приходите ко мне в полночь!"

Как обычно, мне пришлось долго его ждать. Это был первый день на моей новой должности начальника Технического отдела завода. Я работал долго и допоздна и большую часть времени был на ногах. Эмоциональное напряжение моего унижения и выселения из дома отняло у меня больше, чем физических сил. В любом случае, я был измотан, подавлен, в полуобмороке, когда Гершгорн наконец впустил меня в свой кабинет.

"Ну, Кравченко, - криво улыбнулся он, - надеюсь, у вас была плодотворная поездка. Мы не любим, когда наши расследования прерываются таким образом".

"У меня были все необходимые разрешения", - сказал я.

"Я знаю, я знаю. И я так понимаю, что вы отправились на поиски "покровительства"-через таких людей, как Иванченко и Марголин, а? Теперь, увы, оба они под арестом как враги народа!"

"Это правда, товарищ Гершгорн, я хотел помощи от Иванченко. А почему бы и нет? Он был моим начальником в течение ряда лет и членом правительства. Что касается Марголина, то он в тот момент был первым

секретарем обкома партии. В конце концов, не я назначал их на эти должности".

"Конечно, не вы. Но удивительное совпадение - все ваши друзья и покровители оказываются предателями родины! Филлин, Марголин, Иванченко, так и многие другие. Скажите, как так получилось, что Марголин написал о вас благоприятное письмо в горком? Ваш старый друг, несомненно."

«Я видел этого человека только один раз в жизни, в тот день в его кабинете».

«Я в этом не уверен… Но оставим это на время. Меня больше интересует мерзский саботажник Иванченко. Вы знаете этого предателя уже давно...»

«Да, но я не знал его как предателя».

«Вы никогда не наблюдали никаких актов вредительства и саботажа с его стороны, работая так близко с ним, будучи с ним так дружны?»

«Нет, никогда».

«Что вы можете рассказать мне о его работе, насколько она касалась трубопрокатной промышленности?»

Я пересказал все, что знал, что знала вся страна. Толстое, блестящее лицо Гершгорна теперь выражало гневную гримасу. Его толстые, похожие на сосиски пальцы — я заметил, как тщательно они были ухожены — нетерпеливо барабанили по столу.

"Кравченко, хватит шутить. Ты же знаешь, что это не та информация, которая мне нужна".

"Это единственная информация, которая у меня есть".

"Я думаю, мы можем помочь тебе вспомнить гораздо больше, прежде чем мы закончим твое "обучение". У нас были такие упрямые клиенты, как ты. Что тебе известно об отношениях Иванченко с Кабаковым?"

"Кабаков до ареста был партийным секретарем на Урале и членом Центрального Комитета партии. Естественно, Иванченко часто приходилось с ним видеться. Но я не знаю ничего особенного или необычного".

"Другими словами, ты не будешь говорить".

"Я бы с удовольствием говорил, но ты же не ждешь от меня, что я буду выдумывать информацию".

Новый день был виден в окне, но Гершгорн, все громче и оскорбительнее, по мере того как он уставал, долбил меня.

«Скажи мне, Кравченко, — внезапно сказал он, посреди другого вопроса, — почему ты так боишься ареста? Почему ты бегаешь за помощью - даже к товарищу Ярославскому? Может быть, потому, что ты чувствуешь, в глубине души, что ты виноват?»

«Извините … Сейчас 5 утра, а в восемь я должен явиться на работу. Если я еще не арестован, то это не очень подходящее время для начала философской беседы».

«Совершенно верно, совершенно верно. У нас будет много других ночей вместе, чтобы исследовать этот предмет. Я изучаю человеческую психологию, - по-своему. Вы, как инженер, проверяете сопротивление металлов, их податливость, их особые качества, так? Я, как хороший чекист, проверяю сопротивление людей, политическую податливость их разума и так далее. Ну, до свидания, до следующего раза".

Я встал. Я был так измотан, что пошатнулся. Держась за край стола, я сказал:

"Послушай, Гершгорн, я знаю тебя уже несколько лет, и ты знаешь меня. Ты правда, честно считаешь, что я диверсант? Пожалуйста, ответь мне."

«Конечно, я отвечу вам. Мы, чекисты, начинаем с того, что верим обвинениям. Иначе мы никуда не придем. Насколько это я понимаю, все виновны, если только они не докажут свою невиновность. Это все на сегодня. Вы можете идти!»

Ближе к вечеру я сидел за своим столом в новом незнакомом кабинете. Одурманенный бессонницей, с болью во всех мышцах, с горящими глазами, я отчаянно пытался сосредоточиться на технических отчетах, лежавших передо мной.

Зазвонил телефон. Это был Брачко, но его голос был таким подавленным, что я едва узнал его. «Виктор Андреевич! Теперь моя очередь — заводской комитет только что закончил свое заседание. Меня исключили из партии! Исключили, после более чем двадцати лет!»

«Петр Петрович, этого не может быть...»

«Да, и сегодня вечером закрытое заседание партийной организации на нашем заводе завершит работу. Я хочу просить вас — как бы это сказать? Но я уверен, вы поймете. Я хочу попросить вас не говорить за меня на собрании. Это только ухудшит мою ситуацию». Он повесил трубку.

После нескольких беспокойных часов сна я пошел на собрание. Новый секретарь горкома Кондрашин был инженером в моем отделе. Он был хитрым, осторожным человеком. У него был тот талант избегать ответственности, который был совершенно неоценим в советских условиях.

Он позволил товарищу Лосю, молодому человеку, так жаждущему власти, вести дело против Брачко. В длинной, страстной и совершенно сумбурной речи Лось нагружает Брачко всеми грехами календаря суперчистки. Плохое жилье, высокий процент брака, низкая заработная плата, огромное количество арестов во всех цехах фабрики — все это, по воспаленной логике Лося, вина Брачко; все это доказательство целенаправленного и дьявольского саботажа!

«Снять его!» — кричит кто-то, и другие подхватывают хором. «Давно пора! Долой вредителей!» Среди самых горластых, я замечаю, несколько рабочих, барачных людей. По сути дела они ничего не могут знать о работе или характере директора огромного комбината, в котором они сами являются ничтожными винтиками. Они просто выражают свое личное недовольство, удобно вымещая свои обиды на высшем административном должностном лице. Они не останавливаются, чтобы вспомнить, что заработная плата, а также цены и ассигнования на жилье для рабочих устанавливаются властями в Москве.

«Кто-нибудь хочет выступить?» — спрашивает Лось.

Один за другим члены партии требуют исключения. Каждый добавляет еще несколько обвинений к уже накопленной горе нелепостей. Затем слово берет одна работница. Нет места для сомнений в ее искренности.

«Товарищи», — заявляет она, — «я работаю на Никопольском металлургическом комбинате. Теперь, наконец, мне стало ясно, почему мы живем так плохо, почему нет домов для нас, рабочих, почему мы ходим без приличной одежды.

Эти Брачко живут на широкую ногу, но тяготы пролетариата их не трогают. Долой саботажников! Они достаточно долго над нами издевались!»

Ее напористость вызывает бурные аплодисменты и крики одобрения.

Наконец говорит Брачко. Он знает, что его дело безнадежно, что его слова не тронут это взволнованное собрание. Эти люди жаждут мести, им нужен законный козел отпущения для их различных личных недовольств. Брачко начинает с рассказа о своих двадцати годах как преданного коммуниста. Он рассказывает, как еще до большевистской революции, будучи офицером на фронте и тайным большевиком, он привлек солдат на сторону дела коммунизма.

Но люди прерывают его насмешками и обзывают нелестными эпитетами.

«Не играй в демагога! Хватит этого вздора. Пошел вон!»

Слезы катятся по щекам Брачко. Но эпитеты оживляют его угасший дух, и он возвышает голос, перекрывая помехи. Наконец наступает молчание. Брачко поднимает сжатые кулаки над головой.

«Я, Брачко, этими двумя руками штурмовал правительство в Зимнем дворце в Петербурге! Я боролся против белых и за красных! У меня много ран, полученных за советскую власть. Затем, в течение пятнадцати лет я работал день и ночь, чтобы строить, строить, строить, несмотря на ужасные препятствия.

«И вот я стою перед вами, которые готовы разорвать меня на куски. Почему? То, что я построил, вы хотите снести. Вы обвиняете меня в тех самых условиях, с которыми я боролся изо всех сил. Я не прошу вас ни о чем. Я ни на что не надеюсь. Заканчивайте вашу работу. Мне все ясно, независимо от того, что вы здесь решите. Но я хочу, чтобы вы подумали о том, что вы делаете. Я оставляю свою судьбу на вашей совести. Ни одна из ваших речей, ни один из ваших ярлыков не меняет того факта, что я совершенно невиновен.

"Верите вы мне или нет, товарищи, но я люблю людей этой моей советской земли. Я рисковал своей жизнью тысячу раз ради них, и если теперь они вознаградят меня, разрушив эту жизнь своими руками, я приму это безоговорочно. Это все, что я хочу сказать."

Голосование за исключение из партии было почти единогласным. Я покинул собрание и поехал в дом Брачко, куда меня впустила его служанка. Через некоторое время он приехал, тихий как тень, его плечи тряслись от дрожи.

"Каким-то образом я знал, что вы будете ожидать меня, Виктор Андреевич", сказал он. «Спасибо от всего сердца. Не забудьте, если у вас когда-нибудь появится возможность — если это безумие когда-нибудь утихнет — скажите тем, кто будет слушать, что они наговорили обо мне безумной лжи».

Он не позволил мне остаться больше, чем на несколько минут. Если чекисты найдут нас вместе, это будет плохо для нас обоих. Он не сомневался, что его арестуют. НКВД хотел заранее получить «народное» одобрение в этом случае; это облегчило бы их работу в Никополе.

Брачко не появился на работе на следующее утро. Я узнал, что он решил поехать в Днепропетровск, чтобы обратиться в обком. Но он смог добраться только до Запорожья, где его сняли с поезда и арестовали.

Больше я его не видел и до сих пор не знаю его судьбу. Два дня спустя были арестованы его жена, сестра жены и его секретарь. Остались только его пожилая мать и шестилетняя племянница, которые жили с ними. Их выселили из дома. Старуха, чей разум был поражён случившимся, месяцами бродила по улицам Никополя, спрашивая людей, не видели ли они её «маленького Петю», который «потерялся». Затем она тоже исчезла.

2

На той же неделе городской комитет снова занялся «делом Кравченко». Все считали, что я теперь конченный человек, но моя счастливая звезда не утратила своей магии; именно Брачко, как я вспомнил, первым упомянул эту мистическую звезду, когда я обнаружил пропавшие документы.

В тот же день в никопольской советской прессе появилась длинная статья на первой полосе, обвиняющая группу инженеров нашего завода в различных политических грехах, а также в грубости по отношению к рабочим. Главными виновниками, согласно этой статье, были Макаров и Шайкевич — мои главные обвинители!

Удар, подготовленный для меня, был таким образом чудесным образом отражен. Несомненно, Лось чувствовал, что ему будет теперь неловко предъявлять мне свои давно затасканные обвинения, когда его главные

свидетели сами оказались в затруднительном положении. Комитет забыл о запланированной теме и «посвятил себя новой сенсации». И Макарова, и Шайкевича выгнали из партии. Впоследствии я узнал, что публикация и время статьи, которая спасла меня, были не случайными; старый Силинин и другие друзья совершили этот маневр.

Арест Брачко вызвал новые приступы страха на заводе. Неизбежно, что многие из тех, кто работал рядом с ним, с кем он дружил, будут арестованы. Главный инженер Вишнев был в настроении черной меланхолии. Однажды, мне нужно было поговорить с ним по поводу какой-то проблемы в моем отделе. После первых нескольких слов я понял, что его разум уже не служит ему, что он не вполне вменяем. Он сидел за своим столом, одетый в свой лучший костюм, с орденом Ленина, приколотым к лацкану пиджака. Он заплакал, как ребенок, задыхаясь.

«Видите ли, Виктор Андреевич, — сказал он, — когда они придут арестовывать меня, они арестуют и Ленина. Со мной больше никто не разговаривает. Они больше не признают меня главным инженером. Со мной разговаривает только Ленин».

Спустя два года я услышал от друга, что разум Вишнева, и без того затуманенный, полностью сломался во время допросов и пыток в НКВД. Чекисты считали его безумие «трюком», чтобы избежать «признания», и продолжали мучить и пытать его, пока наконец не убедились, что его безумие было подлинное.

Однажды ночью, несколько недель спустя, меня разбудили. Меня спрашивали по телефону, в вестибюле внизу. Я оделся и спустился. Это был Гершгорн. Он приказал мне немедленно явиться в НКВД.

Я снова сидел в его кабинете, похожем на хирургический. Я завидовал свежему, здоровому румянцу на его лице. Если бы только у меня была моя физическая жизнеспособность... Острая бессонница, беспокойство, безнадежный хаос на заводе истощали мои силы, делая меня слабым и почти больным.

«Ну, давайте продолжим нашу маленькую беседу», — воскликнул Гершгорн, выказывая свое здоровье и энергию. «И я надеюсь, что на этот раз вы будете более разумным и начнете сотрудничать».

«Чего вы от меня хотите?»

Гершгорн стукнул кулаком по столу и затем затряс им перед моим лицом.

«Здесь мы задаем вопросы», — заорал он. «Все, что ты делаешь, — отвечаешь на них! Понимаешь?»

«Понимаю... Только я еще не арестован, я еще партийный человек на хорошем счету...»

«Нас это не касается. Для нас ты — саботажник. Я спрашиваю тебя еще раз, что ты знаешь о саботажной деятельности Иванченко? У тебя было достаточно времени, чтобы все обдумать».

«Я ничего не знаю».

«Послушай, Кравченко, тебе будет лучше, и мне это сэкономит много хлопот, если ты начнешь говорить. У нас есть способы и средства, чтобы заставить людей говорить. Мы делаем их мягкими, как шелк, и податливыми, как масло. Понимаешь?»

В его голосе было что-то сладострастное, почти эротическое.

"Послушай, Кравченко. Ты довольно красивый мужчина с привлекательным лицом. А мы можем так измордовать его, что ведь родная мать не узнает тебя ..."

"Я говорю честно. Я не могу вам рассказать то, чего не знаю, и не могу рассказывать ложь".

"Так вы не хотите говорить?"

В этот момент зазвонил телефон. Его требует к себе Дороган, сказал Гершгорн. Пожалуйста, подождите меня в коридоре. Мы вместе вышли из кабинета, и меня передали энкавэдовцу в униформе.

"Пусть этот гражданин подождет меня", - сказал Гершгорн.

Четверо или пятеро человек уже стояли в коридоре, повернувшись лицом к стене, сцепив руки за спиной.

"Гражданин, идите туда, займите ту же позицию", - сказал чекист, подталкивая меня.

«Но я не арестован. Я здесь только по просьбе товарища Гершгорна».

«Молчать! Делай, что тебе говорят! Лицом к стене, руки за спину, и не смей поворачиваться. И не клади голову на стену».

Я занял свое место рядом с другими мужчинами. Мы не могли видеть друг друга в тусклом свете коридора, и мы не могли видеть, что происходит за нашими спинами. За четыре часа, которые меня держали там, к строю присоединились другие мужчины. Я слышал об этомй форме пытки, одной из самых мягких в репертуаре НКВД; теперь я испытывал ее на себе самом.

Никто, кого не заставляли стоять в одном положении, лицом к стене, час за часом, никогда не сможет понять, что это такое.

Ваши руки, ваши ноги становятся тяжелее, как бы наливаются свинцом с каждой минутой. Начинаешь ощущать каждую часть тела, каждый палец, каждый сустав пальца, как отдельный груз... тонны и тонны сокрушительной усталости. Ты знаешь, что не сможешь этого вынести, но терпишь... . . .

Из комнат вдоль коридора раздавались душераздирающие крики; крики и ругательства, звуки ударов и глухой стук тел, падающих на пол. Мы слышали, как людей допрашивали, избивали, пытали. Не знаю, сколько я простоял там, когда услышал шаги и голоса в одном конце коридора. Кто-то запел:

- *Полная сока, ароматная и нежная*

В нашем саду цвела яблоня.

«Заткни глотку!» — заорал энкавэдовец. «Я заставлю тебя цвести, если ты не заткнешься».

«Оставь его, он совсем сумасшедший», — сказал другой, когда группа куда-то ушла.

Меня прошиб холодный пот. Слезы унижения сами собой потекли по моему лицу, незаметно для меня. Все тело невыносимо чесалось. Когда я развел руки, чтобы почесаться, энкавэдовец приказал мне положить их обратно, иначе он вышибет мне мозги. Как будто для иллюстрации его угрозы, откуда-то раздался какой-то неземной, едва ли человеческий не то вой, не то вопль. . . . Дневной свет начинал проникать в коридор. Я увидел, как он отразился на серой стене.

"Ну, идем, Кравченко. Извините, что заставил вас ждать. Столько работы, столько работы..."

Это говорил Гершгорн, свежим, бодрым голосом. Я обернулся и последовал за ним, как сквозь туман. Сидя в его кабинете, я не чувствовал облегчения. Как будто я все еще стоял, все еще придавленный тоннами и тоннами усталости. Гершгорн задавал вопросы, но я улавливал только отдельные слова. Они не имели для меня никакого смысла.

"Ладно, иди домой, поспи. Тебе это понадобится. Я скоро позвоню тебе снова… И, кстати, эти наши разговоры и все что ты видел и слышал здесь, никого не касаются, кроме тебя и меня. Наш маленький секрет. Если ты проболтаешься кому-нибудь, ты пожалеешь об этом".

Вернувшись в отель, я умылся ледяной водой, затем лежал без сна на незаправленной кровати, пока не пришло время идти на работу. Меня ждало сообщение от НКВД: я должен был быть там снова в полночь...

В ту ночь Гершгорн был елейно вежлив, почти сердечен вначале. Он даже предложил мне чай и печенье, от которых я отказался. Я не был добр и внимателен к нему, сказал он. И это я принудил его вести себя как зверь, заставляя, например, меня ждать в коридоре, когда на самом деле он вовсе не был зверь. Думаю ли я, что его работа приятна? Думаю ли я, что ему это нравится? Но что делать человеку, когда он родился с сильным чувством долга?

"Сегодня вы можете оказать нам небольшую услугу, Кравченко", - сказал он. "НКВД оценит это, партия оценит это. Видите ли, мы не просим от вас многого".

"Какую услугу?"

"Просто ваша подпись, ваша честная, свободная подпись инженера, советского директора и верного члена партии. Видите ли, речь идет о серьезном деле. Об оборонном деле. Трубы с примесями были поставлены вашим предприятием на химический оборонный завод. Конечно, это не ваша вина. Вы не производили металл. Совершенно очевидно, что это была организованная диверсия, которая началась высоко, в Москве, и просочилась в Харьков, затем на Запорожсталь, где директором был враг

народа Рогочевский, сейчас арестованный, и где выплавлялась сталь для вашей трубы."

Я сразу понял, что эта его идея — ужасная чекистская фантазия. Сталь, которую мы получали, часто была плохого качества. Я сообщал об этом и неоднократно протестовал. Иногда Брачко и Вишнев были в отчаянии из-за этого. Но этому были простые, технические причины, вполне известные Орджоникидзе, Пятакову, Иванченко — причины, связанные с честными ошибками и неопытностью на плавильном этапе.

«Во-первых, товарищ Гершгорн, я совсем не уверен, что примеси и плохое качество были следствием саботажа», — сказал я. «Во-вторых, я хотел бы прочитать документ, который вы хотите, чтобы я подписал».

«Конечно. Вот он». Он протянул мне пачку из примерно двадцати длинных листов, отпечатанных мелким шрифтом. Я читал медленно, почти час. Волны жара и холода проносились по мне, пока я читал. Это была необычная смесь полуправды и лжи, тщательно, изобретательно подобранные вместе, чтобы создать предопределенный мелодраматический узор. Документ был усеян именами, некоторые из них я знал, десятки имен: известные на всю страну инженеры в химической и сталелитейной промышленности, директора заводов, бригадиры. Там были Иванченко и Брачко, должностные лица в полудюжине комиссариатов, Пятаков -- удивительная «амальгама» известных и неизвестных людей.

В этой истории была определенная логика, определенная последовательность — при условии, что кто-то без сомнений принимал предпосылку, что все заинтересованные лица, от ведущих фигур в комиссариатах в Москве до литейщиков в Запорожье и бригадиров в Никополе, были дисциплинированными, смелыми и дьявольски умными членами одного заговора.

«Я не могу подписать такой документ», — сказал я, закончив чтение. «Я делал трубы из присланной мне стали. Иногда сталь содержала примеси. Это все, что я знаю, и это все, что я мог бы подписать».

«Очень хорошо. Почему же тогда некоторые из наших самых выдающихся профессоров и руководителей промышленности подписали его? Вы выставляете себя более великим экспертом, чем все они?»

Документ и в само деле был подписан выдающимися советскими учеными и выдающимися инженерами. Их коллективный вердикт гласил: «вредительство». Я мог себе только представить, какими способами и как были исторгнуты у них эти подписи. Но я лишь просто повторил, что я не подтвержу ничего, о чем я лично не знал.

«Если хотите», — сказал я, — «я засвидетельствую, что в металле были примеси».

«Ты шутишь, Кравченко? Ты забыл, где ты находишься? Примеси! Нам не нужны твои показания по этому поводу. Нам нужно твое подтверждение саботажа. Производство труб находилось под твоим руководством».

Я молчал. Гершгорн спорил со мной, орал на меня до рассвета. Он читал мне отрывки показаний и указывал, насколько «очевидными» были намерения вредительства. Единственное, что было очевидно для меня — даже в моем трансе усталости — было то, что Никопольскому НКВД было приказано получить то, что было фактически моим косвенным признанием саботажа. Это было недостающее звено в цепи фантастических гипотез. Как только я соглашусь предоставить это звено, меня задушат той же цепью. Я не геройствовал, отказываясь подписывать; мне было совершенно ясно, что моя подпись будет равносильна моему собственному смертному приговору. Наконец, меня отпустили, выругав и дав четкое предупреждение хорошенько подумать.

Ночь за ночью в течение многих месяцев меня вызывали в НКВД, допрашивали, угрожали, уговаривали. Пытка бессонницей была рассчитана на то, чтобы измотать меня. Весь день я работал на заводе; я не мог позволить себе расслабиться на новом посту, потому что любая ошибка или неудача будут истолкованы как дополнительное «доказательство» вредительства. А большую часть ночи меня мучили чекисты.

Тем временем машина партийного правосудия продолжала работать. Новая следственная комиссия неохотно сообщила, что первоначальные обвинения были опровергнуты документами. Решение по моему делу, принятое при Филлине, было поддержано при Кондрашине. Хотя новый секретарь был трусом и оппортунистом, он не был недоволен результатом; когда никто не видел, он пожал мне руку в знак поздравления. Я все еще был членом

коммунистической партии, теоретически одним «лучшим из лучших», одним из элитных управляющих страны.

Но ночные мучения продолжалось без передышки. Каждую ночь на меня обрушивались новые обвинения. Каковы были мои отношения с этими «бешеными собаками» Марголиным, Брачко, Вишневым, Иванченко, Филлином, Розенгольцем? Разве не факт, что я общался с «меньшевистским шпионом» Дубинским? Разве я не оказывал помощь и поддержку «фашистскому шпиону» Зельману? Каждое новое имя и новая тема давали Гершгорну тему для многочасовых перекрестных допросов и запугиваний. Я был ошеломлен и весь как бы окаменел, у меня болели каждый нерв и мускул.

Солдаты на поле боя знают, что такое длительная бессонница. Я чувствовал себя пловцом, которого течение унесло далеко от берега, все еще слабо махая, все еще держась на воде, но последние силы утекали из него с каждым болезненным гребком.

Однажды ночью, после того как я простоял в коридоре лицом к стене четыре или пять часов, Гершгорн отправил меня домой без вопросов.

Извините, сказал он, но он не мог тратить время на дальнейшую «болтовню».

На следующую ночь, однако, он выдвинул совершенно новое обвинение.

«Кравченко, у вас жили двое американцев, не так ли?»

«Да. Они помогали нам эксплуатировать американское оборудование».

«Почему предатель Брачко поместил их именно с вами, а не с кем-то другим?»

«Полагаю, потому что я холостяк. Я жил один в большом доме».

«Скажите, вы когда-нибудь жаловались на советскую власть этим иностранцам?»

«Нет, конечно, нет. Они все еще в СССР. Можете проверить».

«Не говорите мне, что я могу сделать. Я устал от вашей наглости. Какие у вас были политические связи с этими американцами?»

«Никаких. Я относился к ним по-доброму, что было моим долгом гостеприимства».

«Но ведь именно Иванченко заказал это оборудование в Америке?»

«Да».

«План саботажа между Иванченко и американской фирмой поэтому вполне возможен».

«Я этого не знаю».

«Вы не знаете? Вы невинный и наивный ягненок.»

Он говорил медленно, зловеще, как будто собирался сделать сокрушительное открытие, «но вы же навещали этих американцев в Харькове, не так ли?»

«Да, я случайно столкнулся с одним из них на улице. Он уговорил меня пойти с ним в гостиницу «Красная», и я не мог отказаться».

«И вы снова встретились с ними в московской гостинице?»

"Нет. Я был в "Метрополе", ел, совсем один. Американцы были за другим столиком, ели, пили, с какими-то двумя девушками. Они стали кричать и звать меня по имени через всю залу. У меня не было выбора, кроме как подойти и выпить с ними. Я посидел с ними всего пять минут или около того, а затем ушел."

"А почему один из ваших американцев внезапно полетел в Стокгольм? И почему он привез вам подарок?"

«Насколько мне известно, он отправился по какому-то личному делу. Не было причины, по которой он должен был мне рассказать. Что касается подарка, то это был кусок специальной стали и определенные материалы для тепловых испытаний, материалы, которые мы не могли производить у себя. Это была просто услуга мне и нашему заводу."

"Но он также привез антисоветские директивы для Иванченко из контрреволюционных центров в Стокгольме, не так ли?"

"Я ничего об этом не знаю."

Допрос об американцах занял несколько часов. Внезапно дверь открылась, и вошел громадный Дороган, дикий от гнева.

Его мясистые губы были искривлены в уродливой гримасе. Гершгорн встал уважительно.

"Гершгорн, как долго ты будешь позволять этому вредителю водить себя вокруг пальца? Ты чекист или грязная тряпка? Жаль, что мы не арестовали его год назад, а позволили горкому с ним повозиться".

Гершгорн казался встревоженным. Было очевидно, что он дрожал в присутствии своего начальника.

"Товарищ начальник, я старался изо всех сил. Работал над ним каждую ночь в течение месяца. Если вы хотите, чтобы я использовал более жесткие методы …"

Дороган проигнорировал его. Он гневно возвысился надо мной.

"Берегись, Кравченко, или тебе прийдется очень плохо."

Он вышел, хлопнув дверью. Когда Гершгорн отпустил меня, примерно через час, я решил поговорить с Дороганом. Я хотел, чтобы это испытание так или иначе закончилось. Возле его кабинета я назвал свое имя охраннику.

Мне разрешили войти.

«Ну, что, черт возьми, тебе нужно?» — закричал Дороган.

«Я хотел спросить, чего вы хотите от меня. Меня так долго мучили ... Каждую ночь придумывают новые обвинения. Товарищ Дороган, вы член бюро горкома партии. Вам известно, что меня дважды оправдали. Я прошу вас как коммуниста...»

«Как коммуниста?!» — в бешенстве заорал он и бросился на меня, как разъяренный бык. Он ударил меня открытой ладонью сначала по одной щеке, потом по другой. Затем он схватил меня за горло и начал душить, одновременно яростно тряся меня из стороны в сторону. Он был сильным человеком, его руки были железными кандалами, которые затягивались все туже и туже. Все вокруг начало темнеть...

«Убирайся, пока я тебя не прикончил!» — услышал я его крик, когда он выталкивал меня в шею за дверь. Я пошатнулся у стены и оставался там несколько минут.

Не знаю, как мне удалось вернуться в гостиницу. С трудом я поднялся по лестнице. Я бросился на кровать и провалился в глубокий сон.

3

Однажды днем, около часа пополудни, дверь моего кабинета открылась, и вошел Гершгорн, отряхивая снег со своей военной шинели. «Он пришел за мной», — подумал я.

«Здравствуй, Кравченко». Слово «Здравствуй» было обнадеживающим. «Где инженер Валентин Бычков, начальник вашей химической лаборатории?»

«Он в литейном цехе. Они работают с электроплавильным цехом».

«Позвони ему немедленно, немедленно, говорю, но не говори ему, зачем».

Я дозвонился до Бычкова и попросил его зайти ко мне. Он объяснил, что не может оставить плавку и умолял позволить ему довести работу до конца.

«Извините, бросайте все. Это важно». Я повесил трубку.

«Могу ли я узнать, зачем вам Бычков?» — спросил я. «В конце концов, он мой подчиненный».

«Послушайте, Кравченко. Разве вам недостаточно того, что Дороган преподал вам той ночью? Вы трудный ученик. Кстати, явитесь ко мне сегодня в одиннадцать вечера».

«Неужели я не могу поспать хоть одну ночь?»

«Вы подпишите то, что нужно подписать, немного посотрудничайте, и будете спать сколько хотите».

Бычков прибыл, ничего не подозревая. Он был в комбинезоне, вспотевший и чумазый.

«Добрый день, Виктор Андреевич», — сказал он, затем, заметив моего посетителя и все еще ничего не подозревая, добавил: «Добрый день, товарищ Гершгорн».

Он протянул руку Гершгорну, который проигнорировал жест.

«Я тебе не „товарищ“, вредитель».

«Что случилось, товарищ Гершгорн? Вы меня не знаете?»

«Я вас прекрасно знаю. Как вас зовут!»

«Бычков».

«Имя и отчество?»

«Валентин Иванович».

«Вы арестованы как вредитель. Пошли!»

«Но что случилось? Я не понимаю».

«Шагай! Вперед, марш!» Гершгорн вытащил револьвер и направил его на своего пленника.

Озадаченный молодой инженер вышел, за ним последовал чекист.

Я запер дверь своего кабинета. У меня больше не осталось сил. Может быть, я должен подписать, что угодно, все. Какой смысл? Какие у меня были шансы против этих опьяненных властью садистов?

Через час ко мне пришла молодая жена Бычкова. С ней была их двухлетняя дочь. Бычкова, симпатичная женщина, истерически рыдала. Ребенок тоже плакал. Я пытался их успокоить, подбодрить... А ночью, вдвойне измученный событиями дня и собственными неприятностями, я прошел еще один долгий допрос, который все сильнее и сильнее напрягал мои нервы...

Через три или четыре дня жена Бычкова снова пришла ко мне. Оказалось, что пропали фотоаппарат, секундомер и другие заводские принадлежности, которые ее муж хранил в своем кабинете. Пока они не будут возвращены, финансовый отдел отказывался выплачивать ей заработную плату, причитающуюся арестованному. Я позвонил помощнику Бычкова. Он поклялся, что ничего не знает об этих вещах, но у меня было сильное подозрение, что он их украл. Бедственное положение женщины и ее ребенка заставило меня позвонить Гершгорну.

"Пожалуйста, спросите у Бычкова, куда он положил камеру, часы и другие предметы", умолял я его.

"Спросите его сами", - ответил Гершгорн. "Приходите немедленно, и я разрешу вам поговорить с ним".

Я удивлялся, почему он, казалось, стремился организовать эту встречу между арестованным инженером-химиком и мной. Через час я был в НКВД. Гершгорн позвонил охраннику и приказал ему привести заключенного "из подвала". Вскоре появились двое чекистов, и между ними был Бычков, которого едва можно было узнать.

Я содрогнулся, увидев Бычкова. Его обезображенное от побоев лицо было в синяках и все распухло. Один глаз был закрыт. Его комбинезон - тот самый, в котором его арестовали,был разорван и окровавлен. Его руки были в запекшейся крови. Вокруг него витал дурной запах, запах тюрьмы и страдания. Я не мог поверить, чтоэтот человек был тем самым красивым молодым инженером Бычковым, который приходил ко мне в кабинет несколько дней назад.

И тут я понял, зачем Гершгорн попросил меня прийти. Он хотел дать мне представление о том, что случается с теми, кто не хочет «сотрудничать» с органами.

«Валентин Иванович», — сказал я, отводя глаза от его ужасного вида, — «где вы оставили камеру, секундомер и другие заводские вещи?»

«Все эти вещи, Виктор Андреевич», — ответил он дрожащим голосом, голосом человека в ужасной агонии, — «находятся у моего помощника. Он использовал их в лаборатории».

«Спасибо, это все, что я хотел знать».

«Виктор Андреевич... моя жена и дочь... моя бедная Мариуса...» Он начал громко плакать. «Достаточно, Бычков», — Гершгорн ударил по столу своим волосатым кулаком. «Без драм, или мы начнем тебя учить заново. Ты ведь не плакал, когда травил рабочих в своем отделе, да? Убрать его отсюда!»

Так вот в чем было обвинение против Бычкова! Недавно мы работали с трубой из нержавеющей стали, которую нужно было протравить в азотистой кислоте, в импровизированных деревянных корытах. Бычков инструктировал рабочих по процессу в соответствии с официальными инструкциями, предписанными для всех заводов. Четверо рабочих, проигнорировав его инструкции, отравились вредными парами и были отправлены в больницу.

Теперь, по-видимому, Бычкова обвиняли в преднамеренном «отравлении» рабочих! Это был самый распространенный вид обвинения, поскольку он был направлен на то, чтобы настроить рабочих против инженеров. Это было не только надуманно, но и безумно.

Вернувшись на завод, я вызвал помощника Бычкова, который оказался членом партии, хотя Бычков им не был. Я пригрозил сдать его в НКВД как вора, если я не получу пропавшие вещи через десять минут. Они были на моем столе через две минуты. Когда Бычкова пришла, чтобы забрать эти вещи и доставить их в администрацию, я сказал ей, что видел ее мужа.

"Валентин здоров и выглядит отдохнувшим", - солгал я. "Конечно, он скучает по тебе и просил передать тебе, чтобы ты не беспокоилась. Он передал, что любит и целует тебя и ребенка".

Что еще я мог сказать несчастной женщине? Она поблагодарила меня и ушла. Я больше никогда ее не видел, и не знаю, что случилось с ее мужем.

В течение большей части осени 1937 года, НКВД давали мне иногда спать по ночам, но к концу 1937 года чекистская инквизиция возобновилась по непрерывному графику. Недостатка в темах для "разговора" не было — каждая новая ликвидация людей в отрасли давала новые осложнения, по которым мои показания считались жизненно важными. Именно тогда я сделал шаг, от которого долго уклонялся, опасаясь оскорбить своих инквизиторов.

Я написал в Контрольную комиссию Центрального Комитета, в его Днепропетровский отдел, жалуясь, что меня преследуют необоснованными обвинениями во вредительстве. Я не упомянул НКВД, так как они меня сто раз предупреждали держать мои ночные допросы в тайне, даже от партии. По крайней мере, теоретически считалось, что Контрольная комиссия следила за правами и честью членов партии. Формально я основывал свою просьбу на выговоре, который все еще был в моем деле; я просил Комиссию удалить это пятно. Через несколько дней пришел следователь. Я был оправдан Горкомом, сказал он, так чего же я жалуюсь?

«У меня все еще есть выговор», — сказал я. «Его следует стереть. Я хотел бы, чтобы Контрольная комиссия партии проверила обвинения против меня». Я изложил основные обвинения, которые мне предъявляли ночь за ночью.

Следователь пробыл несколько дней, опросил различных людей в парткоме и на заводе и ушел. Мои ночные допросы продолжались с небольшими перерывами. Я сильно похудел. У меня теперь были хронически воспаленные глаза. Друзья, которые давно меня не видели, с трудом узнавали меня.

Никополь в это время был оклеен плакатами о первых «советских демократических выборах» в СССР по новой Конституции. 12 декабря 1937 года народы СССР воспользуются своим демократическим правом свободно избирать депутатов в Верховный Совет путем «тайного голосования». Плакаты, печать, радиогромкоговорители на улицах Никополя, на металлургических заводах и марганцевых рудниках возвещали населению радостную весть:

«Сплотимся вокруг коммунистической партии! Голосуйте за счастливую советскую жизнь! Каждый должен использовать свое право тайного голосования при нашей самой демократической в мире конституции! Да здравствует наш любимый Вождь и Учитель товарищ Сталин I»

Все это казалось насмешкой над моими собственными страданиями и страданиями миллионов других. Конечно, никто не воспринимал эти «выборы» всерьез. Как и массовые митинги и резолюции, это был ритуал, через который люди проходили из страха, в нескрываемой скуке, в то время как агитаторы и радиорупоры громко выкрикивали лозунги. А в это самое время на нашем комбинате производились новые аресты — начальника нашего финансового отдела Б--; главного электрика Романченко; и других.

12 декабря 1937 я стоял в длинной очереди в городе и, наконец, получил «тайный бюллетень». В нем был список фамилий, составленный коммунистической партией. Не было даже места для голосования «за» или «против»; ни места для записи других имен. Если мы были против кого-либо из списка, нам было сказано, что мы имеем право вычеркнуть его имя. В закрытой кабинке я сложил листок бумаги и бросил его в избирательную урну. Среди пяти тысяч избирателей на нашем заводе, вероятно, ни один не осмелился вычеркнуть хотя бы одно имя. Пресса хвасталась этим единодушным одобрением «счастливой советской жизни».

День выборов был праздником, днем встреч и угощений.

Гершгорн отпраздновал это событие, заставив меня стоять в коридоре несколько часов и проявив исключительную жестокость в своих допросах.

Из его вопросов я понял, что Иванченко обвиняется во вредительстве в трубопрокатной промышленности и что для завершения картины НКВД необходимо, чтобы я «признался» в преступном с ним сговоре.

«Я не могу честно сказать тебе больше, чем знаю», — повторял я.

«К черту твою честность. Мне нужны факты, а не твоя проклятая честность. Какая жалость, что мы не вытащили тебя вовремя. Ты уже давно был бы разговорчивым, мягким и уступчивым».

Мое сопротивление начало давать трещину. Я жаждал положить конец долгим мучениям, на любых условиях. Иногда я обнаруживал, что погружаюсь в сонные грезы наяву: я писал свое имя большими жирными буквами. . . оркестр играл «Интернационал»... Моя мать и бабушка Наташа торжественно отвели меня в большую пуховую постель и уложили спать ...

Знали об этом мои мучители или нет, я сам знал, что настроен сдаться. Еще неделя или две этих мучений, еще два избиения, и я сдамся, понесу ответственность за последствия. Я не был сделан из стали, увы.

Именно в это время ко мне в гостиницу пришел старый Силинин. Догадался ли он, что мои силы подходят к концу, что я могу сдаться? Наблюдая за мной издалека, догадался ли он, что происходит, и понял ли он, что мне нужна моральная поддержка?

"Почему ты так плохо выглядишь?" - начал старик. "Говори мне откровенно, потому что я все равно подозреваю худшее. Ты можешь мне доверять".

Меня не нужно было уговаривать. Желание рассказать кому-то, излить мое больное сердце было похоже на мучительную жажду. Я рассказал ему все: как все эти месяцы мне не давали спать, как от меня требовали подписать различные компрометирующие бумаги.

"Прошу тебя, товарищ, не подписывай", - сказал Силинин. "Ты так долго держался, держись до конца. Подписание тебя не спасет. Оно только захлопнет ловушку, и ты пропадешь навсегда".

«Но как долго, как долго человеческая плоть и нервы могут выносить страдания?»

«Я знаю, знаю, мой дорогой. Я много видел за свои долгие годы и имел опыт страданий. Но я думаю, что террор и чистка ослабевают. Осталось немного для чистки — уже около 40 процентов всех коммунистов Никопольского района были исключены или арестованы, а на каждого ликвидированного члена партии приходилось не менее восьми беспартийных. Мне кто-то в горкоме сказал — хотя я не могу за это поручиться — что есть новая директива: больше никаких арестов коммунистов без согласия партии. Ради бога, подождите еще немного. Дороган поднимал вопрос о вашем аресте по крайней мере пять раз в горкоме. Он в ярости. Если вы сейчас поддадитесь органам, вы подведете нас всех».

Я обещал. Именно его вера в меня, а не его советы или его оптимизм, остановила меня на грани капитуляции.

«А теперь, — сказал Силинин, — выпьем за Новый год».

До этого момента я не осознавал, что это был канун Нового года.

В ту новогоднюю ночь, я простоял в НКВД с одиннадцати до трех утра в темном коридоре, лицом к выцветшей стене, слушая стоны и крики мучимых жертв, и ругань их палачей. Ни Гершгорн, ни Дороган не пришли за мной — несомненно, они праздновали наступление 1938 года со своими семьями и друзьями.

В последующие несколько дней число арестов на заводе резко возросло. Каждый раз, когда погром, казалось, утихал, пауза оказывалась всего лишь прелюдией к новым арестам и ликвидациям. Тормоза были полностью отпущены со смертью Орджоникидзе. Его преемник, Каганович, не имел никаких угрызений совести и щепетильности. Он «сотрудничал» и аресты технического и промышленного персонала резко возросли. Среди тех, кого теперь взяли с нашего завода, был Мирон Рагоза, коммерческий директор комбината. Его жена и приемная дочь были выселены из их квартиры.

В первую неделю января 1938, Гершгорн подал мне новый документ. Это были мои «добровольные показания», по сути, признание. Это было длинное и хитрое заявление, полное двусмысленностей и косвенных признаний.

Преступления моих друзей, моих начальников, моих подчиненных были

обрисованы смело; моя собственная ответственность рассматривалась слегка, почти небрежно. Она там подразумевалась, но не была заявлена прямо. Это было рассчитано на то, чтобы сделать мою капитуляцию более легкой для меня, более заманчивой.

«Пожалуйста, поймите», — сказал Гершгорн, пока я читал страницу за страницей эту техническую сказку, — «это абсолютный минимум, который НКВД от вас ожидает. Здесь нет места для торга. Если вы не согласитесь, вы объявляете войну НКВД, и вам это не сойдет с рук. Я так же устал от этого затянувшегося допроса, как и вы, так что будьте благоразумны. Вы подпишете ручкой или карандашом?»

«Ни тем, ни другим. То, что я знаю в этих утверждениях, неправда...остального я не знаю. Я не делал таких признаний, которые вы вложили в мои уста».

«А я говорю, что ты подпишешь, вредитель! Как подписал Бычков, как подписал Иванченко!»

«Делай, что хочешь. Я не признаюсь в преступлениях, которые я не совершал."

Гершгорн вскочил во внезапной ярости и бросился на меня с криком: "Диверсант, вредитель, негодяй! Получи вот это!" Его два кулака один за другим врезались мне в лицо, как пара поршней. Кровь хлынула из моего носа. Кровь наполнила мой рот теплой соленой тошнотой. "Теперь ты подпишешь?" И снова град ударов и пинков обрушился на меня.

Кровь. из раны на голове хлынула мне в глаза, ослепляя меня. Я услышал, а не увидел, как Дороган шагнул в комнату. Мои нервы научились узнавать его тяжелый шаг. Он тоже начал бить меня кулаками. Я упал на пол и свернулся в клубок, словно глубже заползая в собственную кожу, в то время как четыре тяжелые ноги в сапогах топтали и пинали меня.

Я застонал от боли. Гершгорн, должно быть, позвонил надзирателям, которые подняли меня.

"Уберите мерзавца! Выкиньте его!" – заревел Дороган.

Когда меня тащили к двери, я почувствовал, как его кулак снова врезался мне в шею. Надзиратели отвели меня в маленькую комнату, где я остался

залечивать свои раны. Я просидел там час, может быть, два часа. Время превратилось в агонию без начала и конца. Я не мог организовать в голове ни одной мысли. Я даже не злился.

Затем вошел Гершгорн.

"Ну, ты все обдумал или хочешь еще убеждений? У нас есть гораздо более убедительные аргументы, чем те, что ты пробовал сегодня вечером."

"Нет, я не подпишу. Можешь убить меня, но я не подпишу."

"Я даю тебе три дня на раздумья. А теперь убирайся!"

Я ушел, но мой партийный билет все еще был у меня в кармане. ...

Я брел по улице, спотыкаясь через вьюгу.Ветер хлестал мое изуродованное лицо тысячью плетей. Я добрался до гостиницы. В вестибюле мой разум машинально прочитал слова на большом плакате, оставшемся от выборов: «Сплотимся вокруг Сталина за счастливую советскую жизнь!»

Я лег на кровать, не раздеваясь. Как я ни поворачивался, я видел портрет Сталина на фоне отслаивающихся обоев. Я думал не о физической боли, а об унижении. «Итак, товарищ Сталин, — обратился я к портрету, — наше знакомство завершено. Ничто не осталось недосказанным. Все ясно. Приветствую вас, товарищ Сталин».

Глубокая печаль наполнила меня, безличная печаль. Я страдал за весь род человеческий. Я был унижен за все человечество. Я страдал за мою родину и мой народ... за мою бедную «советскую Россию».

Боль, казалось, отступила. Жалость исцеляла мое тело, жалость, которая затопила мою душу и была не жалостью к себе, а всеобщим состраданием.

«Ты, Гершгорн, и ты тоже, Дороган, и твой Самодержец в Кремле, вы больше не можете причинить мне боль. Вы не понимаете, что я не подпишу … потому что пока я держусь, есть надежда. Вы не понимаете, что судьба нашей страны, может быть, судьба человечества, зависит от моего сопротивления. . . . Я не шелковый и не податливый. Я упругая сталь. Я согнусь, но не сломаюсь. Я могу нанести ответный удар, и я нанесу ответный удар. . .»

На некоторое время я задремал, унесенный большим мягким облаком. Затем я проснулся снова, и боль снова охватила мое измученное тело. Я посмотрел в холодные глаза Сталина там на стене и возненавидел его и его правительство как никогда никого и ничего не ненавидел. Теперь старая повторяющаяся фантазия, горько-сладкая фантазия о том, чтобы застрелиться, захватила мой разум и подтолкнула мое тело. Но мое тело не двигалось. Я был слишком измучен, чтобы подойти к чемодану, чтобы вытащить револьвер, нажать на курок. Мой разум проделывал эти вещи, в то время как мое тело оставалось неподвижным на окровавленной кровати.

Я засыпал под бдительным оком Сталина. Но часть моего мозга была начеку, ожидая шагов в коридоре. Сегодня ночью они придут, чтобы забрать меня. Вот, я знал это! Шаги эхом раздались во сне. Раздался стук в дверь. Я открыл глаза, с трудом поднялся и побрел к двери. Я несколько мгновений держал дверную ручку, последние мгновения моей свободы... Затем я открыл дверь.

В полумраке стояла женщина, ее зимнее пальто было покрыто снегом. В руке у нее был чемодан. Сначала я не понял. Я подумал, что это часть сна наяву. Потом я понял. "Мама, дорогая мама!" - закричал я и упал в ее объятия.

4

Мать обмыла и перевязала мои раны. Она не плакала. Она не задавала вопросов. Вместо этого она говорила о себе. Инстинктивно, она отвлекла мою жалость от моих бед к своим. Она была женщиной огромной силы воли.

"Прости, что пришла вот так, без предупреждения, Витя", - сказала она. «Я чувствовала, что что-то не так. Сердце матери, я полагаю. Я прошла четыре версты от станции сквозь эту ужасную вьюгу. Я не могла найти повозку или даже крестьянскую телегу. Проехало несколько автомобилей, но они не остановились, когда я кричала им. Четыре версты в эту вьюгу — это долгий путь, волоча чемодан. Ты же не думал, что твоя старая мать все еще может это сделать, не так ли, Витенька? Но мы, маленькие женщины, самые выносливые матери.»

Она принесла мне шерстяные носки, одеяло, несколько теплых рубашек ... вещи, которые могут понадобиться человеку в тюрьме или в концентрационном лагере. Я ничего не рассказывал семье о своих испытаниях. Но моя мать знала. Ей не нужно было задавать вопросы ...

вскоре свет нового дня, отраженный в снегу, наваленном на подоконнике, проник в окно.

«Да, Витя, у меня есть опыт», — вздохнула мама, распаковывая чемодан. «Я готовила такие же вещи для твоего отца, когда его посадили в тюрьму. . . . Годы проходят, а тюрьмы остаются. Вот пара меховых варежек, да поможет нам Бог!»

Наконец-то слезы потекли по ее щекам.

В волнении от встречи я забыл о Сталине. Но он был, все еще смотрел на меня сверху вниз. Удушающая ярость внезапно наполнила мое сердце. Когда мама на некоторое время вышла из комнаты, я медленно, неторопливо, словно совершая трудный, но ужасно важный обряд, с церемониальной серьезностью, не с наслаждением, а с грустью, разорвал портрет на клочки, затем разорвал клочки на еще более мелкие кусочки. Затем я осторожно, как будто они были ужасно драгоценными, отнес маленькие бумажки в туалет в коридоре, бросил их в унитаз и потянул за цепочку.

Я слушал журчание воды и знал, что никогда, никогда больше не буду чувствовать прежнего отношения к Партии, Руководителю, Делу. Пуповина, которая так долго связывала меня с этими идеями и символами, несмотря ни на что, была окончательно и навсегда перерезана. Я буду работать на государство, буду принимать и исполнять важные партийные задания, буду произносить речи. Но все это будет игрой, стратегией, терпеливым ожиданием возможности бежать: Бежать! Я думал об этом не как о конце борьбы, а как о возможности начать борьбу всерьез.

5

На заводе я парировал настойчивые вопросы о моем опухшем лице и синяках рассказом о несчастном случае, но я видел в их глазах, что люди не были убеждены. Из Днепропетровска меня ждало извещение: Контрольная комиссия займется моим делом послезавтра и просила меня присутствовать. Новый директор завода, Шалахов, отказался дать мне отпуск. Но я решил, мысленно, что поеду без его разрешения.

В ту ночь я проводил мать на вокзал. успокоил ее, как мог, и сказал, что приеду домой через два дня.

Никому не сказав о запланированном слушании в Контрольной комиссии, я уехал в Днепропетровск. В ту ночь, когда истекли три дня отсрочки, товарищ Гершгорн ждал меня напрасно.

Две полноценные ночи сна дали мне новые силы, а с силой пришла новая надежда. В приемной Контрольной комиссии, в областном партийном комитете, дежурил чекист. За большой двойной дверью, я с внезапным приливом тревоги подумал, что за большой двойной дверью мою судьбу будут решать незнакомцы. На мягкой скамейке вокруг приемной комнаты сидело еще восемь или десять человек. По их угрюмым взглядам я догадался, что у каждого из них была какая-то беда, не похожая на мою собственную. Партийный следователь, тот самый, который приезжал в Никополь, вышел из зала заседания комиссии. Он узнал меня.

«О, я рад, что вы пришли, товарищ Кравченко», — сказал он. И он улыбнулся так, что немного успокоил мои нервы.

Затем вышел другой чиновник и назвал имя. Высокий, почтенного вида бородатый мужчина лет сорока, с белокурой головой, взволнованно поднялся. Чиновник жестом пригласил его во внутреннюю комнату. Прошло около часа, прежде чем он снова вышел, смертельно бледный, вытирающий пот и явно нервничающий. Он занял свое место среди ожидающих людей на мягкой скамье.

Вдруг в приемную вошли двое чекистов НКВД в униформе со взведенными револьверами. Один из них назвал то же имя, которое мы слышали ранее. Человек с бородой встал, выглядя совершенно ошеломленным.

«Вы арестованы», — объявил один энкавэдовец. «Пошли!»

«Но это невозможно.... Должно быть, произошла какая-то ошибка ... Комиссия рассматривает мое дело...»

«Пойдем, и побыстрее, а то мы тебя вынесем»

Чекисты и их пленник ушли. Остальные молчали, не смея взглянуть друг на друга.

Наконец меня вызвали в Комиссию. Я оказался в большой, ярко освещенной комнате. Пять человек сидели за длинным столом, накрытым красной тканью. Я был слишком нервным, чтобы сразу объять все происходящее.

Моим первым впечатлением было то, что никто не улыбался, впечатление непереносимой мрачности.

«Здравствуйте, товарищ Кравченко», — сказал человек, который, очевидно, председательствовал. «Садитесь. Отвечайте на вопросы кратко и ясно. И не волнуйтесь».

Сев, я оглядел пять лиц. И вдруг я заметил, что один из них улыбается мне, кивает в знак признания меня. Слава Богу. . . . Григорьев! . . . Григорьев был коммунистом с дореволюционным стажем. Он знал меня с детства. Он работал с моим отцом на заводе имени Петровского-Ленина (теперь он называется просто завод имени Ленина, Петровский исчез). Я воспрянул духом. Найдется по крайней мере один человек, который поймет, который знает, что я не саботажник, который знает, что старший Кравченко никогда не был меньшевиком. Это дало моему уму и моему сердцу что-то, за что можно было ухватиться, чтобы успокоиться. Я мог говорить смелее, яснее.

Больше часа я отвечал на вопросы. Один из допрашивавших, смуглый грузин с лицом нездорового цвета и хриплым голосом, казался мне враждебно настроенным. Председатель и рабочий Григорьев казались сочувствующими. Я отвечал на вопросы об отце, о «припрятанных» инструментах, о моих отношениях с длинным списком «врагов народа».

Не имея ничего, что нужно было скрывать, я отвечал без колебаний, всегда по существу. В какой-то момент Григорьев, отбросив формальный прокурорский прием, вдруг сказал:

«Товарищ Кравченко, я давно знаю вас и вашу семью. Скажите откровенно, как вы себя чувствуете?»

«Откровенно говоря, товарищи, — сказал я, — мне очень плохо. Я мучаюсь уже больше года. Мучаюсь, вы понимаете, товарищи?» Неосознанно я потянулся рукой к своему избитому лицу. «Вы должны знать, что я пришел сюда без разрешения и что я не знаю, что меня ждет, когда вернусь».

«А кто вас мучает?» — хрипло спросил смуглый грузин.

«Не могу сказать...»

«Ничего, ничего», — торопливо вмешался председатель, «давайте продолжим расследование».

И вскоре я снова оказался в приемной, где сидел тот арестованный. Я закурил. Каждый раз, когда открывалась внешняя дверь, я был уверен, что за мной идет НКВД. Примерно через пятнадцать мучительных минут меня снова вызвали в Комиссию.

«Товарищ Кравченко», — объявил председатель, широко улыбаясь, «Комиссия решила подтвердить решение Никопольского горкома и, кроме того, снять выговор. Вы можете вернуться на работу. Никто больше вас не потревожит. Но я бы посоветовал вам сменить место работы. Новый старт в другом месте, понимаете? Верьте в нашу партию и в нашего Вождя и Учителя. До свидания, товарищ, и удачи вам».

В то время, конечно, он не мог знать, что через два месяца и он сам, и Григорьев будут арестованы как «враги народа»!

Все пятеро пожали мне руки. Я вышел. Но я не был так безумно счастлив, как во время первой чистки в Институте. Я был свободен, в безопасности, но веры, которая тогда была во мне, больше не было. На ее месте был камень ненависти.

Я спал глубоким сном без сновидений в ту ночь в доме моей семьи. Утром я позвонил одному из своих начальников в Главтрубостали в Москве. Я объяснил ему, что я полностью оправдан Контрольной комиссией и что по ее предложению я хочу быть переведен в какой-то другой город. Он понял и согласился телеграфировать директору Никополя, что я немедленно должен быть отправлен в Москву на совещание.

В Никополе, Гершгорн мне больше не звонил. Директор завода Шалахов ничего не сказал на мое нарушение дисциплины, когда я уехал без его разрешения; он был напуган сообщением из Москвы. Выполнив некоторые заброшенные работы в своем отделе, я отправился в столицу.

Лазарь Каганович, член Политбюро и, по общему мнению, один из очень немногих доверенных соратников Сталина, теперь занимал пост, который когда-то занимал Орджоникидзе. Путь к его кабинету открыла для меня Главтрубосталь. Однажды поздно ночью, после обычных часов ожидания в переполненной приемной, я был допущен перед очи могущественного комиссара.

Я видел Кагановича несколько раз и прежде. Тогда он носил небольшую темную бородку и выглядел для меня почти как типичный интеллигент. Человек, с которым я сейчас столкнулся, изменился поразительно. Борода исчезла, ее заменили усы по-сталински. Лицо стало жестским, с тяжелым подбородком. Это было не просто физическое изменение; внутренне, человек казался другим; интеллектуал превратился в бюрократа.

Пока мы разговаривали, Каганович поигрывал ниткой янтаря. Это стало модой среди высокопоставленных коммунистов, своего рода советскими четками.

Вкратце я рассказал ему о своих неприятностях в Никополе, которые, по-видимому, теперь подошли к концу.

«Партия и народ очищаются от врагов», — с важностию провозгласил Каганович. «Неизбежно, что иногда удары будут падать не по тем местам. Когда лес рубят, щепки летят».

«Мне от этого не легче, Лазарь Моисеевич».

«Большевик должен быть твердым, смелым и несгибаемым, готовым пожертвовать собой ради партии. Да, готовым пожертвовать не только своей жизнью, но и своим самоуважением и чувствительностью. Помните, мы живем в окружении капиталистических акул. Время от времени мы должны проверять свои ряды и очищать их от капиталистических агентов — огнем и мечом, если необходимо».

Я не спорил. Орджоникидзе понял бы мои страдания, произнес бы слово извинения или сострадания, но не Каганович,человек с бесцветными холодными глазами и его затхлыми речами. Как я устал от этих речей, этих благочестивых призывов, этого липкого словоблудия, прикрывающего бесчеловечный ужас!

Сначала комиссар предложил мне стать главным инженером Никопольского комбината, но в конце концов я убедил его, что не смогу приложить все усилия в этом месте, наполненном для меня такими плохими воспоминаниями.

Тогда он сказал, что оставляет эту проблему Главтрубостали. Когда я уходил, я вспомнил фразу, которую он сделал печально известной за последние два

года: «Мы проломим им черепа», — сказал Каг:мович, говоря о классовых врагах и саботажниках.

Я все еще был в Москве, когда я получил назначение на металлургический завод имени Андреева в Таганроге.

Вернувшись в Никополь, я пошл в горком, чтобы перевести свою официальную партийную принадлежность в Таганрог, секретарь Кондрашин был елейно любезен. Он сообщил мне шепотом, что он мужественно сопротивлялся давлению Дороган, добивавшегоя моего ареста. Он хотел убедиться в заслуге. Кто знает? Когда-нибудь этот потрепанный Кравченко, возможно, сможет спасти его в свою очередь. В новой советской России люди копят кредиты на черный день, говоря политическим языком.

Возле здания горкома я столкнулся лицом к лицу с Дороганом.

«Так ты убегаешь в Таганрог», — злобно ухмельнулся он. «Не радуйся! Ты никогда не будешь вне нашей досягаемости. Нет такого места на земле, где мы не могли бы тебя настичь, если понадобится!»

«Это твое дело», — сказал я.

«Как жаль, что я не посадил тебя сразу в тюрьму, а позволил этим идиотам начать публичный процесс исключения...»

«Но скажи мне, товарищ Дороган, почему ты так меня ненавидишь? Я никогда не причинил тебе никакого личного вреда».

«Это мое дело», — буркнул он сердито и ушел.

На заводе я попрощался со своими рабочими. Я был глубоко тронут простотой и честной их привязанностью. Хотя они не догадывались о подробностях, они знали о глубине моих страданий и сочувствовали мне. Силинин с чувством обнял меня. Гущин тоже. Затем я увидел Кирюшкина, вытирающего руки о фартук, и подошел к нему. Я схватил его руку и сердечно пожал ее. Нам было мало нужды в словах между нами.

"Прощайте, Виктор Андреевич, - сказал он, - да хранит вас Бог.

Что бы ни случилось, помните, что миллионы нас, Кирюшкиных, на вашей стороне, всегда на вашей стороне … даже когда мы беспомощны".

Я приехал в Никополь в начале 1935 года, полный надежд и жаждущий преуспеть как инженер и промышленный руководитель, ради страны и ее людей. Я покидал его почти три года спустя, лишенный всяких надежд и честолюбивых планов, оскорбленный в самой своей душе. Я бы с радостью обменял свой более высокий личный доход и привилегии на безвестность в сером оборванном стаде советской трудящейся массы.

Что, в конечном итоге, было моим главным достижением за эти три года? Только это: я остался на свободе и живым, в то время как миллионы других, таких же невинных, как и я, были изгнаны со своей работы, убиты или превращены в рабов-каторжников в концлагерях для беспощадного государства.

Было время, когда индустриализация моей страны была вызовом, чтобы разбудить молодую кровь. Я любил инженерное дело. Я был в восторге от ритма производства, интенсивного, упорядоченного, бесстрастного - сырье подавалось на одном конце процесса, а готовые продукты выходили на другом конце! Этот творческий импульс был выбит из меня. Смелое техническое видение было вытеснено страхом, осторожностью, подозрением. Моя профессиональная подготовка и технические способности теперь казались жестокой ловушкой. Я был пойман навеки, обречен нести ответственность, в которой могла быть только опасность, но не радость.

ГЛАВА XVIII

ТРУД: СВОБОДНЫЙ И РАБСКИЙ

ТАГАНРОГ, в Ростовской области, лежит на Азовском море. Некогда чистый и неторопливый город с просторными садами и огородами, теперь был переполнен пятилетними планами. Он стал городом дыма, копоти и рыбных испарений от новых консервных заводов, городом, переполненным на многие километры новыми домами и бараками вокруг авиационных, мотоциклетных, металлургических и обувных заводов.

Завод имени Андреева, названный в честь члена Политбюро, производил железнодорожные колеса, листовой металл, трубы и другие стальные изделия. Управление трубным участком, конечно, должно было быть моей особой обязанностью. Мне выделили комфортную квартиру в административном комплексе, где располагались элитные жилые дома.

Намеревались ли планировщики драматизировать контраст между высшими и низшими классами в советском мире? Сомневаюсь. Но контраст был, он кричал на вас, заставлял вас чувствовать себя неуютно. Красивые тенистые деревья закрывали вид на заводские строения и бараки. Гравийные дорожки, обрамленные кустами сирени, вели к полосе для купания и катания на лодках (конечно, зарезервированной для официальных лиц) на хорошо ухоженном пляже. Также были теннисные корты и площадки для крокета, бильярдные, привлекательная специальная столовая.

Единственное, чего не хватало в этом величии, — это улыбающееся лицо или веселое выражение. Худшая часть кровавой истерии террора закончилась, но его пары сохранились. Почти половина административного персонала, партийного и беспартийного, была ликвидирована, а те, кто остался, были нервными, запуганными, почти стыдящимися, что их так долго щадили. Новый первый секретарь Двинский, ранее работавший в личном секретариате Сталина, приехал прямиком из Москвы, чтобы управлять Ростовским областным комитетом, а новый директор, Семен Резников, командовал нашим заводом. Но призраки ликвидированных руководителей, казалось, всегда были с нами.

Орджоникидзе, давая советы инженерам, часто говорил: «Учитесь технологической культуре и добросовестности у Бориса Колесникова». Таганрогский металлургический завод, директором которого он был несколько лет, был образцовым предприятием Колесникова. Он жил одно время в Соединенных Штатах и делал все возможное, чтобы внедрить у нас здесь американскую индустриальную организацию и эффективность. Он довел свою «американизацию» до такой степени, что коллеги считали его трудным человеком. Так вот, этот Колесников и его жена были арестованы; говорили, что после пыток и он, и его жена были казнены, а их дети заключены в специальную харьковскую тюрьму для несовершеннолетних.

Хотя прошло всего несколько месяцев с момента ликвидации Колесникова и большинства его сотрудников, к тому времени, когда я приехал, мало что осталось от его страстной американизации. Работа, за которую он был награжден похвальными грамотами и медалями, лежала в руинах. Повсюду царили лень и путаница. Производство развалилось. Директор завода Резников и я были в ужасе от стоявшей перед нами задачи.

Встречаясь с местными и региональными партийными руководителями, я понял, что моя репутация опередила меня. Никопольский комитет и Дороган передали сюда полные папки «материалов» обо мне; мне не было позволено начать с чистого листа. Местные партийные начальники сразу же дали мне почувствовать, что я нахожусь на испытательном сроке и в их власти. Они исследовали мой ум и характер, часто грубо, выискивая слабые места, пытаясь застать меня врасплох.

Это было не самое обнадеживающее начало. Мое душевное состояние, кроме того, вряд ли улучшилось вследствие того, что каторжный концлагерный труд был здесь гораздо более очевиден, чем в Никополе. Большой контингент рабов НКВД выполнял большую часть тяжелой работы по погрузке и разгрузке на наших складах.

Они работали по десять-двенадцать часов в день под вооруженным надзором. Еще более многочисленная группа работала на новых стройках на соседнем Сулинском металлургическом заводе: и я постоянно сталкивался с группами этих илотов на шоссе между Таганрогом и Ростовом.

Вид изможденных, едва ли человеческих существ, в их грязных лохмотьях, подавлял любую случайную искру энтузиазма в моем сердце. Осознание, что миллионы рабов, работают и страдают, умирают как мухи по всей советской России, было настолько болезненным, что я постоянно отодвигал его на задний план сознания. Каждое прямое столкновение с жестокой реальностью было, таким образом, новым шоком. Что всегда обостряло его остроту -- это осознание того, что если бы не случайность, я тоже был бы в рядах этих несчастных; что, насколько я знал, я могу скоро оказатья среди них ...

Примерно через две недели после моего прибытия, когда у меня едва было время проанализировать и организовать свою работу, меня вызвали в Таганрогское управление НКВД поздно ночью. Заместитель начальника Экономического отдела, чье имя я уже не помню, принял меня. Он был корректен, но сдержан в своем поведении. Я сразу заметил, что на его столе были разложены «материалы» обо мне, подготовленные его коллегами-чекистами из Никополя.

«Это моя особая обазанность — следить за вашим трубопрокатным цехом», — объявил он, — «и я подумал, что нам стоит познакомиться». Он

откинулся на спинку стула, как ребенок, готовящийся послушать сказку на ночь.

«Ну, расскажи мне о себе».

«Я не знаю, что тебе рассказать. Мне кажется, ты уже все знаешь».

«Нет, нет, дорогой мой Кравченко, все никогда не известно. Не мог бы ты сказать мне, например, как давно ты знаешь инженера Николая М--, и как давно ты его знаешь?»

М-- был помощником главного инженера на заводе. Мы работали вместе в разное время, и я был о нем высокого мнения.

«Какое отношение он имел к твоему назначению сюда?» хотел знать чекист.

"Никакого. Я даже не знал, что он здесь работает".

"Почему же тогда М-- говорил о вас, да еще и с энтузиазмом, с Резниковым?"

"Я не имею ни малейшего представления. Зная меня, он, естественно, мог упомянуть этот факт".

"В НКВД мы не видим в этом ничего естественного. Напротив, я считаю очень странным, что к вам, члену партии, должен относиться как к протеже некоммунист, чья лояльность, между нами говоря, немного сомнительна".

Затем он перешел к бывшему директору Колесникову.

"Послушайте, товарищ," - сказал я с некоторым жаром, "я отвечал на эти одни и те же вопросы сотни раз в течение почти полутора лет, пока меня чистили. Я отвечал на них на допросах в НКВД, в горкоме, в контрольной комиссии. Мне они надоели. Меня послала сюда Москва на работу. Я был оправдан. Вы не можете оставить меня в покое?"

"Ну, ну, возьмите себя в руки, товарищ Кравченко". Он посмотрел на меня с недоумением, как будто я был каким-то отвратительным экземпляром в бутылке. "Пожалуйста, помните, что бывает так, что человека оправдывают по всей линии, а потом - бац! - арестовывают по новым уликам".

Я понял намек. Устало я повторил заезженную информацию, знакомые отрицания, которые были выдавлены из моего утомленного ума и памяти за последний год. Этот полицейский бюрократ играл со мной час за часом, как

непослушный ребенок играет с жуком, и, насколько я мог видеть, с такой же неразумной целью. Он бросал линию расследования, чтобы внезапно вернуться к ней... трюк, которому я слишком часто подвергался в прошлом.

Единственное, что он дал мне понять своими вопросами, было то, что здесь, как и в Никополе, каждый инженер и управляющий был окружен доносчиками и провокаторами, и на работе, и дома. Было также очевидно, что Таганрогский НКВД намеревался состряпать дело против этого несчастного М--. Я предполагал, что, хотя он и был на свободе, беднягу подвергали той же ночной «подготовке», которую я сам получил.

Поспав всего два-три часа, я был в своих цехах тем утром, принимая решения по производству на миллионы рублей. Какая жестокая ирония!

2

Мое пребывание на берегах Азовского моря оказалось крайне кратким. Без объяснений, меня вызвали в Главтрубосталь в Москву.

Начальник организации Меркулов в присутствии своего помощника Кожевникова объявил, что комиссар Каганович и партия собираются оказать мне большую честь.

«Новотрубный завод на Урале, — сказал он, — стал рассадником вредительства и саботажа. Большинство негодяев ликвидировано, а другие взяты под контроль. Мы укрепляем администрацию способными, квалифицированными и политически надежными людьми».

«Это меня освобождает», — улыбнулся я. «Я грешник, товарищ Меркулов. Меня вычистили и оправдали, но я с головы до ног запятнан грязными обвинениями».

«Мы все знаем об этом, но мы вам доверяем».

«Да ладно, Виктор Андреевич», — добавил Кожевников, — «перестаньте обижаться на прошлое».

«В любом случае», — продолжил Меркулов, — «мы назначаем вас начальником нашего крупнейшего трубного подзавода, крупнейшего не только в СССР, но и во всей Европе».

«Но я не хочу ехать на Урал. Я устал. Зачем мне это ужасное место?»

Завод «Новотрубный» в Первоуральске, примерно в сорока верстах от Свердловска, был печально известен в нашей промышленности. Он был построен в заброшенном, гиблом, безлюдном на многие километры вокруг месте, среди болот и топей, лесов и концлагерей. Он был запущен в производство на много лет раньше до того, как были достроены основные цеха, до того, как было подведено достаточно электрической энергии. В этих обстоятельствах объемы производства были небольшими и плохого качества. Несчастные, отправленные управлять недостроенным заводом, обычно платили своей свободой за ошибки, допущенные плановиками в Москве.

«Мы знаем, что в Первоуральске бардак, и поэтому окажем вам полную поддержку», — пообещал Меркулов. «Товарищ Каганович сам вас поддержит. Мы дадим вам максимальную зарплату, премию за каждый процент улучшений, новый автомобиль и все, что вы попросите».

«Я прошу только, чтобы мне разрешили остаться в Таганроге».

«Извините. Я ожидал, что вы проявите большую признательность за доверие партии. Ваше назначение остается в силе. Оно прошло через Центральный Комитет».

Позже, оставшись наедине с Кожевниковым, я не удержался и сказал: «Если вы считаете, что эта насильственная любовь принесет плоды, и поскольку вы угрожаете мне дисциплинарным взысканием, я принимаю назначение и сделаю все, что смогу».

«Ну, вот это великолепно!» — рассмеялся он. «Любовь, знаете ли, дело привычки. Сначала принуждение, потом привычка и, наконец, любовь. Так что вопрос решен. Давайте приступим к делу."

Я встретил недавно назначенного директора всего комбината, Якова Осадчего, который должен будет стать моим единственным начальником на уральском посту, и других, только что назначенных для работы с нами. В Москве собиралась совершенно новая администрация - пока без намека на инженеров и руководителей, управляющих комбинатом, и я с нетерпением ждал новых задач с горькими опасениями. Ново-Трубный производил всего 35-40 процентов своей месячной нормы, и его часто цитировали в советской прессе и официальных речах как ужасный пример бесхозяйственности и

саботажа. Я унаследовал одну из самых страшных головных болей во всей металлургической отрасли.

Более того, атмосфера в Москве как раз тогда казалась была хорошо рассчитана на то, чтобы углубить мой пессимизм. Это была вторая неделя марта 1938 года: неделя, когда состоялся третий и самый сенсационный показательный судебный процесс в Москве.

Страна к тому времени уже привыкла к гротескным обвинениям против бывших руководителей большевистской революции и еще более гротескным их «признаниям». И все же она была ошеломленна, недоверчива, поскольку среди обвиняемых были Бухарин, Рыков, Крестинский и другие, чьи имена были тесно связаны с Лениным.

Николай Бухарин был особым кумиром коммунистической молодежи моего поколения. Я вспомнил нашу встречу давным-давно в кабинете Орджоникидзе и последующие встречи в его собственном кабинете. Даже после того, как его исключили из Политбюро и он был известен своей немилостью, появление товарища Бухарина на публичном собрании вызывало овации, уступающие только овациям товарища Сталина. Алексей Рыков был преемником Ленина на посту Председателя Совета Народных Комиссаров. У него была голова фанатика, с неровной бородой и горящими глазами; даже его известная слабость к бутылке не уменьшила его популярности. Теперь эти люди и им подобные осквернили себя, возмутили поклонение, которое мы им воздавали. Теперь они во всем сознались и их расстреляли как шпионов, капиталистических агентов и предателей.

Я могу засвидетельствовать, что никто из тех, кого я встречал в Москве, не придавал ни малейшего значения их признаниям. Эти люди согласились служить марионетками в политической аморальной игре, не имеющей ни малейшего отношения к истине. В борье за власть, товрищ Сталин уничтожал своих личных противников и сумел заставить их участвовать в их собственном унижении и уничтожении. Мы спрашивали себя, какие методы он для этого использовал?. Даже от партийцев не ожидалось, что они поверят показаниям суда буквально. Для коммунистов это было бы равносильно признанию врожденного идиотизма. В лучшем случае мы приняли эти фантазии в символическом, аллегорическом смысле.

Старый товарищ Миша, которого я навестил в этой поездке, был сильно надломлен. Он близко знал казненных руководителей до и после революции. Его объяснение признаний, хотя и далеко не удовлетворительное, является наиболее близким к той логической оценке явления, к которой я когда-либо приходил.

Объяснение это было основано на информации, полученной им от его многочисленных друзей в Кремле.

«Начнем с того, Витя, — сказал он, — ложь остается ложью, сколько бы ни признавались в ней люди. Давай забудем речи. Бухарин, Рыков и другие, несмотря на все свое героическое прошлое, были людьми из плоти и крови. Ты сам рассказывал мне, как близко ты подошел к тому, чтобы подписать ложные показания под давлением в Никополе, Но то, что ты пережил, было детской игрой по сравнению с моральным, а может быть, и физическим принуждением, примененным к этим руководителям».

«Но эти же люди, товарищ Миша, выстояли против преследований и угроз со стороны царской полиции и охранки в свое время».

«Здесь не может быть никакого сравнения. Тайная полиция в царской России, Охрана, была слишком простодушной и наивной, она не была такой научно-бесчеловечной, такой дьявольски изуверской, как нынешняя система научного человекоубийства НКВД . Сколько из нас, старых революционеров, выдержали бы, если бы на допросах царская полиция подвергла нас пыткам или использовала те методы садизма, которые применяют чекисты НКВД?

«И есть еще одна вещь, не менее важная, Витя. В старые времена у этих людей была глубокая вера, которая поддерживала их. Люди будут жертвовать собой и - что труднее - своими близкими ради великой веры и страстной надежды. А что у них было, чтобы поддерживать их дух под пытками в НКВД и одиночным заключением? Ни надежды, ни веры. Они стали разочарованными людьми. Их работа безвозвратно лежала вокруг них в руинах. Зачем играть в героя ради мертвого дела? Зачем продолжать бороться, когда больше нет ни проблеска надежды? Попытайтесь понять это, и вы начнете понимать, почему вчерашние герои революции стали мягкотелыми, податливыми и лишенными всякого человеческого достоинства.»

"Вы верите разговорам о сделках, заключенных между обвиняемыми и следователями?"

«Я считаю это за факт, и, вы должны понимать, что я основываю свои доводы на доверенной информации. Вы знаете, что НКВД редко ликвидирует человека, не ликвидировав также и его семью. Вы действительно считаете это случайностью, что дочь Рыкова, которую он любил больше всего на свете, осталась жива и на свободе? Или что отец Бухарина, жена Рензенгольца и другие близкие родственники не были тронуты? Я принимаю за факт то, что эти люди осквернили себя - сыграли свои назначенные роли в трагикомедии - чтобы спасти тех, кого они любили.

«Позвольте мне рассказать вам то, что я знаю от товарищей, близких к Ежову, который руководил непристойным представлением с момента ликвидации Ягоды.

«Сценарий спектакля был подготовлен в НКВД по личному приказанию Сталина. Каждый актер - обвинители, подсудимые. свидетели, судьи – назубок выучил свою роль до того, как занавес поднялся. Тех из обвиняемых, кто не хотел сотрудничать, до суда не доводили и убивали в застенке. Остальным пообещали сохранить жизни их детей, жен, родителей, близких друзей. Им обещали вдобавок, что у них будет право апелляции в более высокие инстанции, даже в Политбюро. Маленькая надежда имеет большое значение при таких обстоятельствах.

«Но в случае Бухарина, Рыкова, Крестинского и нескольких других, сделки были более конкретными. Если они выполнят свою часть сделки, как им предписано, их смертные приговоры будут смягчены, и они будут просто сосланы в отдаленные места, как им это обещали. Сталин даже играл на их тщеславии. Как он мог позволить их расстрелять, сказал он, когда их имена имели такой большой исторический вес?

«Ну, они выполнили свою часть соглашения. Но Сталин свою не выполнил. Очевидно, он никогда и не собирался этого делать. Через несколько часов после суда, состоялись казни. Говорят, что Бухарин и Рыков умерли с тщетными проклятиями в адрес Сталина за его коварство. Но зато они не ползали по полу подвала перед своими палачами, плача и умоляя о пощаде, как это делали Зиновьев и Каменев.

«И вот еще одно достоверное известие. Сталин создал комиссию, чтобы написать новую историю партии и страны. История будет пересмотрена. Исторические события будут искажены так, чтобы соответствовать фантасмагории этих процессов.

«Мы с вами будем смеяться над искажениями или плакать над ними. Но растет новое поколение, без памяти о прошлом. Уже теперь библиотеки очищаются от всякой старой книги или статьи, которые противоречат повествованию на этих процессах. Кошмар укоренится как официальная правда. Ложь победит. Эх, Витя, и ради этого я провел десять лет в царской тюрьме ...»

Таково было положение дел в Москве в начале 1938 года, когда я отправился чистить авгиевы конюшни на Урале.

3

На железнодорожном вокзале в Свердловске (прежде Екатеринбург и известный как город, в котором были убиты последний царь и его семья) меня встретил чиновник с завода Ново-Трубный. К счастью, он был довольно хорошо мне знаком, и он мог позволить себе быть откровенным. Пока мы ехали сорок миль до Первоуральска, он рассказал мне последние новости о заводе. Хотя он говорил сдержанно, мои худшие предчувствия подтвердились.

Мне предстояло наладить упорядоченное производство из физического хаоса и морального краха. Около шести тысяч рабочих и их семей, в общей сложности семнадцать или восемнадцать тысяч человек, жили в самых примитивных условиях. Единственными, на кого можно было рассчитывать, что они не сбегут, были родившиеся в этих местах и концлагерные контингенты принудительного труда на строительных работах.

Технический персонал, или то, что от него осталось после чисток, был деморализован и, конечно, уклонялся от ответственности. Из-за плохих условий жизни и работы они чувствовали себя ссыльными и надеялись только на скорый перевод в другое место.

Примерно в семи или восьми милях от Первоуральска я внезапно увидел забор из колючей проволоки концентрационного лагеря в нескольких сотнях метров от дороги. Мы остановили машину, чтобы я мог получше

рассмотреть. Сам лагерь и большое число мрачных бараков на огромном очищенном участке в лесу, казались заброшенными, тихими как смерть. Лагерь был шестигранным, и на каждом из шести его углов стояла сторожевая вышка, оборудованная большими прожекторами и пулеметами.

«Где заключенные?» - спросил я своего спутника.

«На работе в это время дня», - сказал он. «Несколько из них на нашем заводе, остальные на других заводах, шахтах и на стройках.

«Виктор Андреевич, я вижу, что вы человек новый на Урале. Вам лучше привыкнуть к концлагерям и заключенным. Они здесь повсюду».

Мы продолжили наш путь. Хорошее начало для знакомства с моей новой жизнью.

Осадчий, новый директор, прибыл раньше меня. Он был угрюм. Одного взгляда на комбинат было достаточно, чтобы погасить энтузиазм, который он выказывал напоказ в Москве.

"Товарищ Кравченко, у нас определенно есть работа", - вздохнул он, когда мы шли через различные здания и цеха. "Пройдут годы, прежде чем этот комбинат станет самоокупаемым. У нас нет собственных электрических печей для изготовления инструментов. Нет термического участка, нет удовлетворительного механического цеха. Электроэнергии намного меньше наших потребностей, а заправочная станция далека от завершения. Нет установок для хромирования инструментов. Короче говоря, это еще совсем не завод. Это только начало".

Мои собственные глаза подтвердили его рассказ. Механический цех был только по названию. Гальванический цех был недостоин этого названия. Склады были еще не закончены, так что тысячи тонн стали и другого металла лежали под открытым небом. Металлы всех видов и свойств были свалены в кучу, без малейшей попытки отсортировать их. Само трубопрокатное оборудование было самого современного американского изготовления, что составляло миллионы рублей в валюте. Но какой смысл был в нем без соответствующих вспомогательных производств? Многие импортные машины покрылись коркой грязи и вышли из строя. Везде я видел торчащие из грязи кучи ржавеющих дорогостоящих инструментов и деталей машин.

Осмотр рабочих кварталов довершил мое чувство отчаяния. Жилье, которое я мельком увидел за колючей проволокой, под дулами пулеметов, мало чем отличалось от тех жалких деревянных ящиков, сырых и грязных, в которых кишмя кишели свободные пролетарии нашего завода.

Я завязал разговор с несколькими женщинами. Они были угрюмы. Очевидно, они считали нас, руководство, виновниками своих бед, а не товарищами по работе. В этой части Урала было мало распространено земледелия; только полдюжины высших чиновников, имея в своем распоряжении автомобили, могли надеяться получить достаточно продовольствия в Свердловске. Рабочие жили в основном на хлебе, нескольких местных овощах и консервах. В короткое лето, внтри бараков было жарко, как в печи; во многих бараках дождь проходил через дыры в крышах и пропитывал дощатые стены. В долгие уральские зимы они не защищали от сильного холода.

Проведя час в бараке, я покраснел от стыда, осматривая свою собственную четырехкомнатную квартиру в одном из трехэтажных кирпичных домов, расположенных посреди деревьев по другую сторону заводской территории. В других местах, даже в Никополе или Таганроге, такая квартира считалась бы довольно посредственным жильем. Но в Первоуральске, это казалось последним словом роскоши, с собственной ванной, ковровым покрытием, хорошей мебелью и хорошей кухней. Вместе с квартирой, от моего предшественника я унаследовал Дуню, неряшливую бабу средних лет, которая готовила и убирала.

Меня ждал обещанный лимузин, а также небольшой Форд, который в грязное время года был более пригодным для использования. У меня также были хорошие лошади, закрепленные для моего исключительного пользования. Моя основная зарплата составляла 1500 рублей в месяц, но с премиями и другими поощрительными выплатами мой средний доход иногда был ближе к 3000 рублей. Что это означало, можно судить по тому факту, что неквалифицированные рабочие на заводе зарабатывали около 150, квалифицированные механики около 250, а квалифицированные инженеры около 600 рублей в месяц.

Инженеру приходилось тратить целую месячную зарплату на покупку простого костюма; но это было чисто теоретически, так как в Первоуральске не было в продаже никакой одежды, а в Свердловске ее было мало. Только те из нас, кто мог иногда ездить в командировку в Москву или Ленинград,

могли купить себе обувь и одежду. Для всех остальных, ограниченный запас был в распоряжении администрации, и мы .распределяли его среди достойных инженеров, мастеров или даже рабочих.

Я проработал меньше двух недель, когда главный бухгалтер принес мне на подпись полугодовую ведомость. Когда я изучал этот документ и заметил любопытную статью: значительная сумма «для НКВД».

«За что это?» — спросил я, озадаченный.

«Это по нашему трудовому договору, для 160 исправительно-трудовых рабочих, приписанных к вашему участку. Половина их зарплаты идет в НКВД».

«Они из какого-нибудь концлагерей?»

«Нет, нет, товарищ Кравченко. Это совсем другой отдел НКВД. Это контрактники, они живут здесь, как и вольные рабочие. Но они живут в своих бараках. Это люди, сосланные сюда за различные преступления».

Впоследствии мне сказали начальники других участков, что у всех у них были контингенты этой принудительной раб. силы -- 250 в одном цехе, восемьдесят в другом, пятьдесят в третьем. Свободные рабочие с ними не общались, и в любой части завода их обычно можно было узнать по их исключительно нищенскому виду.

Однажды я поговорил с одним из этих подневольных рабочих на моем трубопрокатном заводе. Это был невысокий, бледный нездоровый человек. Мне было трудно вызвать его на беседу; очевидно, этим несчастным созданиям был дан строгий приказ держать язык за зубами. Но я узнал, что он прежде был бригадиром на ленинградском заводе и был арестован три года назад.

«Но что же мешает вам сбежать?» — спросил я.

«Сбежать?» — грустно покачал он головой. «Куда? Где мы могли спрятаться и как долго? Но я бы сказал вам, товарищ начальник, что этот разговор вреден для здоровья и вам, и мне».

Мы начали ужасную задачу — выбираться из этой неразберихи. Электрические печи валялись повсюду, забытые. Мы их очистили,

и после недель напряженного труда — четырнадцатичасовой рабочий день казался праздником — у нас работала одна печь. Я установил большую механическую секцию и поручил квалифицированным рабочим научить остальных как ею управлять.

Я создал термический цех и организовал обучение новичков для его эксплуатации. Отделение хромирования было построено и оборудовано с нуля. Производство в прошлые годы замедлялось из-за отсутствия внутренней телефонной связи и надлежащей диспетчерской; их также я строил с трудностями, которые может оценить только техник. Мы установили незаменимые печи, краны, верстаки.

Помимо таких минимально необходимых технических установок, я приказал сотням мужчин и женщин работать на уборке, мытье, покраске, удалении накопившейся грязи. Я понял, что без элементарного порядка и чистоты нет надежды на увеличение производительности. Саботаж? Мне казалось чудом, что заводу удавалось произвести хотя бы 35–40 процентов квот, назначенных управлением.

В течение двух месяцев место стало едва узнаваемым. К маю мы не только подняли производство до 80 процентов — достижение, которое казалось невозможным, когда я только пришел, — но и улучшили качество. Примеси в наших трубах снизились от 12 процентов в среднем до 5 или 6 процентов.

Естественно, эти колоссальные усилия не оставляли мне места для личной жизни. Помимо того, что я отвечал за производство, я также лично отвечал за жилье, питание, техническое обучение и медицинское обслуживание двух тысяч работников и их семей, находящихся под моим непосредственным началом. Хотя у меня было достаточно помощников, и часть из них была компетентной, конечная ответственность лежала на мне. Редко выпадал день, когда моя энергия не отнималась проблемами, не связанными напрямую с производством.

Чтобы добавить еще больше к моему бремени, кампания чисток и репрессий была далека от завершения. У меня отнимали и ликвидировали ценных людей, когда я больше всего в них нуждался; те, кто избежал прямого ареста, жили и работали в атмосфере непреодолимого страха. К этому времени я приучил себя игнорировать многочисленную слежку и доносы. Я приучил свой мозг и нервы сосредоточиться на работе, не тратя нервную энергию на

бесполезный гнев. Тем не менее, я все еще был потрясен и иногда шокирован в своей работе в критические моменты, когда обнаруживал, что Экономический Отдел местного НКВД знал детали работы, детали технических решений еще прежде меня. Это заставляло меня чувствовать себя голым, незащищенным.

Особый отдел нашего завода, возглавляемый товарищами Колбиным и Штоффиным, служил глазами и ушами для советской тайной полиции. Помимо получения копий всех приказов и технических отчетов, эти полицейские чиновники имели своих сексотов в каждом цехе и отделе. Однако это была только рутина слежки. Комбинат вдобавок шатался под тяжестью бесконечных специальных следственных комиссий, проверяющих бригад и отдельных инспекторов. Они приезжали, тихо или под фанфары из Обкома, ЦК в Москве, Главтрубостали в Москве, Комиссариата тяжелой промышленности и еще десятка других организаций.

Но это было не все. Заказы на трубы, направляемые через Москву, всегда исходили из других отраслей промышленности, которые поэтому отправляли свои комиссии для проверки прогресса работы и бросали угрозы саботажа нам в лицо. Мы производили трубы для танков, авиации, артиллерии, кораблей, нефтяных установок, автомобильных заводов и множества других целей. Поскольку заказы неизменно были слишком большими для наших предприятий, а конечная продукция редко соответствовала точно спецификациям, то задействованные тресты и отрасли, а также армия, подавали протесты, которые, в свою очередь, вызывали проверки, расследования и, конечно, новые приступы «бдительности» со стороны НКВД.

Не проходило и недели без множества контролеров и уполномоченных из того или иного учреждения, вооруженных внушающими благоговейный страх мандатами и вынюхивавших следы «вредительства». Они занимали мое время, топтались и ругались в моем кабинете и созывали бесчисленные совещания. Удрученные скукой жизни в этом отдаленном месте и глупостью своих собственных заданий, многие из них в конце концов запивали свои печали водкой или покрывали их в карточных играх на высокие ставки.

Наконец-то, оказавшись в постели после четырнадцати-шестнадцатичасового рабочего дня, я редко мог рассчитывать на спокойный сон. Были междугородние звонки из Москвы, снова с проверкой, мольбами и грозами.

Были звонки из тайной полиции в связи с непрерывными арестами. Не успевал я заснуть, как кто-то из ночной смены звонил с известием об авариях, затерянных инструментах, или испорченной продукции.

Из разговоров вокруг меня я смог составить картину страшного хаоса, вызванного репрессиями и чистками до моего прибытия на завод «Новотрубный». И так было на каждой шахте и фабрике в нашей округе. История Семена Магрилова, директора другого металлургического завода, в самом городе Первоуральске, оставила у меня неизгладимое впечатление.

Его завод был, возможно, старейшим в России, основанным, согласно местному преданию, самим Петром Великим. На нем работали потомственные рабочие, отцы и деды которых работали там до них. Они жили в своих собственных чистых маленьких домах, возделывали небольшие сады, держали свиней и птицу, и в целом смогли поддерживать уровень жизни почти на дореволюционном уровне. Отправляя Магрилова управлять этим заводом, партия фактически даровала ему синекуру. Он был давним членом партии, уже в преклонном возрасте, близким знакомым вдовы Ленина и сестры Ленина, Марии Ульяновой, и считался одной из самых влиятельных фигур в регионе.

Но ураганное безумие чистки не пощадило и его. Местный НКВД преследовал его обвинениями. Его обвинили во вредительстве и в защите других вредителей. После нескольких месяцев допросов он сдался. Он заперся в своем кабинете, приставил револьвер к голове и нажал на курок... Он оставил длинное письмо, в котором заявлял о своей невиновности и гневно критиковал репрессии и террор в стране. НКВД конфисковало письмо, но каким-то образом его содержание стало известно рабочим завода. Несколько ближайших коллег Магрилова, подозревавшихся в том, что они прочитали предсмертное послание, бесследно «исчезли».

История Магрилова была исключительной только из-за известности своего персонажа. До меня доходили известия о буквально сотнях арестов, многодневных пытках и самоубийствах. Но я не мог позволить им повлиять на мою работу. Я наконец научился стирать в своем уме тревожные знания. Это искусство нелегко приобретать, но только те, кто овладевают им, могут выжить в СССР качестве хозяйственных руководителей. Те, кто не может держать свое сострадание под строгим контролем, почти в непроницаемом

отсеке своего существа, обречены сойти в могилу с разбитым сердцем или сойти с ума.

Москва заметила значительное улучшение ситуации на Ново-Трубном. Московское совещание в Комиссариате, почтенное присутствием самого Кагановича, высоко оценило мою работу. Согласно статье в журнале «За Индустриализацию», завод был в плохом состоянии, пока приход «товарища Кравченко, способного молодого инженера и члена партии», не изменил положения.

4

Начальник Первоуральского НКВД, товарищ Паршин, которого я уже встречал на партийных совещаниях, нанес мне визит. Он был щедр на похвалы тем «чудесам», которые я сотворил, увеличив производство, и он отнял у меня много времени вопросами о различных заказах, над которыми мы тогда работали, и о «политическом настроение» различных лиц, находящихся под моим руководством. Я едва мог скрыть своего удивления степенью его детальных знаний о моей работе. Это дало мне неопровержимое доказательство того, что вокруг меня была раскинута плотная сеть информаторов и доносчиков.

«Вы, безусловно, устраняете результаты саботажа вашего предшественника.» — наконец сказал он. Из его уст это было наивысшей возможной похвалой. «Поэтому мне не хочется отнимать у вас время, Виктор Андреевич. Но сегодня вечером вы можете оказать мне услугу. Я позвоню вам позже и скажу, когда приходить.»

Встреча была назначена на два часа ночи.

НКВД размещался в лучшем двухэтажном здании на грязной главной улице Первоуральска. Несмотря на позднее время, в каждом окне горел свет; очевидно, что дела у чекистов шли оживленно. Начальник встретил меня радушно и провел в свой кабинет.

«Устраивайтесь поудобнее», — сказал он. «Боюсь, что вы можете пробыть здесь довольно долгое время.»

"Чего вы хотите от меня?"

«Вот в чем история: у нас здесь арестован враг народа, отъявленный вредитель. Нам ясно, что он виноват во многих тех неполадках, которые вы обнаружили на своем заводе. Но он упрямый гусь. Мой план - сегодня вечером задать ему 10 вопросов в вашем присутствии. С таким специалистом, как вы, он не сможет пустить мне пыль в глаза».

«Честно говоря, мне это дело вообще не нравится», — сказал я в смятении.

«Это странно. Вы меня удивляете. Разве сам Ленин не говорил, что каждый хороший коммунист обязательно должен быть в душе чекистом? Но давайте начнем." Он позвонил своему секретарю: «Пусть приведут заключенного из камеры 7».

Главный чекист подготовился к допросу, вытащив из огромного сейфа несколько толстых папок и демонстративно положив револьвер рядом с собой на стол. Когда он ждал своего пленника, он, казалось, напрягся, как тигр, собирающийся наброситься на свою добычу. Вскоре дверь открылась. Вошил двое чекистов с револьверами наготове, а между ними — остатки того, что когда-то было человеком.

Надзиратели ушли, оставив нас троих в комнате.

«Здравствуйте», — слабо произнес заключенный, оглядываясь вокруг, словно в изумлении.

Паршин не ответил. Я ответил на приветствие. Заключенный был не более чем скелетом в лохмотьях. Его лицо было мертвенного бледно-серого оттенка и выглядело как посмертная маска. Свежая рана, багровая от запекшейся крови, проходила зигзагом от виска почти до подбородка. Он стоял, держа руки за спиной. Его спина и голова опущены.

Чекист начал читать обвинительное заключение арестованному, тем самым ознакомив меня с обстоятельствами дела. Я узнал, что он был арестован более тринадцати месяцев назад. Он выглядел глубоким стариком лет за шестьдесят, хотя ему было всего лишь немногим за сорок. Он был главным строительным инженером на Новотрубном заводе до момента его запуска в производство. Я смотрел на этого человека и думал: «Если бы не божья милость, вот так стоял бы Виктор Кравченко.»

«Товарищ Паршин, — сказал я тихо, — не могли бы вы предложить заключенному сесть?»

«Это мое дело», — ответил он. «Это НКВД, а не курорт.»

Окончив чтение, Паршин громогласно обратился к заключенному:

«Я буду спрашивать вас о вашей вредительской деятельности на трубопрокатном заводе. Отвечайте точно, ясно и не путая. Ты находишься в присутствии настоящего инженера, знающего завод. Так что не сможешь более обманывать меня. Первый вопрос: Почему вы в качестве главного инженера Управления капитального строительства завода велели строить деревянные крыши над заводскими печами, которые легко могли загореться?»

«Согласно плану», — ответил заключенный, выказывая желание говорить ясно и точно, несмотря на его физическое состояние, -- «крыши должны были быть железными. Но вышло правительственное распоряжение, принятое самим комиссаром Орджоникидзе, об использовании древесины из-за большого дефицита железа в то время. Распоряжение распространялось на наш завод и на десятки других. Рапорты в архиве комиссариата должны были бы легко это доказать. Я считал это технически неразумным, но у меня не было полномочий отменить явное указание комиссара, тем более, когда я знал о нехватке металла.»

"Ваше мнение", - обратился ко мне начальник.

"Гражданин …" - начал я.

"Он не гражданин, а враг народа".

"Ну, заключенный совершенно прав. У нас на Никопольском заводе тоже были деревянные крыши, и по той же причине, хотя к настоящему времени они покрыты оцинкованным железом. Мне довелось присутствовать на совещании в кабинете товарища Гинзбурга, когда он, действуя с согласия Орджоникидзе, одобрил деревянные крыши для всех цехов, кроме литейных и мартеновских."

Паршин немного смутился.

«Не забывайте, — сказал он, — что вы несете ответсвенность за свои показания!»

«Я это прекрасно понимаю», — сказал я.

«Второй вопрос,» — провозгласил он, снова обращаясь к заключенному. «Почему вы построили большой трубный цех без гальванического, термического и механического цехов, без базы для ремонта и изготовления необходимых точных приборов?»

«Проект был для большого, современного комбината», — ответил заключенный. «Все упомянутые вами цеха должны были находиться вне основных цехов, сосредоточенные в специальных цехах обслуживания. Госплан и наркомат не смогли выделить деньги, материалы и оборудование для этих вспомогательных цехов. Так и получилось, что основной завод был построен раньше, чем другие вспомогательные цеха. Затем, к нашему удивлению, нам приказали начать выпуск продукции, что я считал крайне нежелательным, а позже меня арестовали».

Несмотря на тринадцать месяцев страданий и мучений, ум этого человека достаточно хорошо работал в профессиональных вопросах. Первоклассный инженерный мозг, подумал я про себя.

"Что вы на это скажете?" - спросил меня чекист.

"Заключенный совершенно прав. Фабрика была запущена намного раньше плана. Даже сейчас она далека от завершения. Если бы мы ждали, пока все будет закончено в соответствии с первоначальным планом, мы не смогли бы работать еще год. Лично я считаю, что было ошибкой не построить обслуживающие цеха на главном заводе, но это решение было принято в Москве. Завершение основного завода, прежде чем были построены полностью вспомогательные цеха, конечно, не было саботажем".

"Вы абсолютно в этом уверены?"

"Абсолютно ... Могу ли я дать заключенному сигарету?"

"Хорошо, дайте."

Я было передал ему всю пачку, но чекист не разрешил.

«Одной сигареты достаточно», — закричал он. «Пусть подпишет и признает свое вредительство, и тогда будет курить сколько захочет».

Когда инженер вытащил руку из-за спины, я увидел, что

она была обмотана окровавленными тряпками, видимо со следами пыток.

Допрос продолжался еще несколько часов. В каждом случае мне удавалось, совершенно честно, встать на сторону инженера против чекиста-полицая.

Около пяти тридцати, во время речи Паршина, заключенный упал. Я наблюдал, как он медленно сползал вниз, словно в замедленной съемке.

После того, как его привели в чувство, облив холодной водой, чекисты принесли ему стул, и допрос возобновился.

Было уже шесть утра, прежде чем несчастного вывели. Я никогда не забуду благодарность в его глазах, когда он посмотрел на меня с порога.

«Я собираюсь поработать над протоколом этого допроса», - объявил Паршин, «и он будет представлен вам на подпись через несколько дней. Извините, что задержал вас так долго».

«Поскольку уже слишком поздно идти ложиться спать», - сказал я, «не могли бы вы показать мне здание?»

Он колебался, озадаченный необычной просьбой.

«Ничего интересного», — сказал он наконец. «Но если вы хотите... Это, пожалуй, может помочь вам проникнуться ответственностью, которую вы берете на себя, давая правильные и правдивые ответы...»

Он расчесал волосы, надел офицерскую фуражку с красной тульей и синим верхом и сунул револьвер в карман. Мы оба надели шинели. В сопровождении охранника мы совершили обход, который остался в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. Мы вышли во двор. Железная дверь открылась, и мы спустились по крутой лестнице в подвал НКВД. Вонь ударила мне в нос. В коридоре горела слабая лампочка.

Я заметил, что чекист-надзиратель, который вытянулся по стойке смирно, когда мы вошли, читал «Историю Партии», которая тогда выходила по частям в «Правде». Я удивился, что этот человек, живущий в ужасной вони сталинщины на практике, так старательно изучает ее в теории...

Возле камер по бокам коридора началось волнение. «Важные гости!» - сказал кто-то. Надзиратель открыл одну из дверей и скомандовал «Встать!» Около двадцати человек поднялись на ноги. Они были небриты, неописуемо жалки, и большинство из них несли следы побоев и пыток. Единственной «меблировкой» в комнате было ведро воды с прикрепленной к нему

жестяной кружкой; еще одно ведро в дальнем углу для человеческих нужд; грубые доски, служившие кроватями; и своего рода деревянная полка, наполненная тряпками и узлами заключенных. Камера была маленькой и была бы переполнена пятью заключенными, не говоря уже о двадцати здесь находящихся.

Другие камеры были не менее ужасны. Я потерял всякое желание видеть остальные. Несколько камер предназначались для женщин.

"Вентиляция не работает." - сказал начальник молодому чекисту у входной двери, когда мы уходили. "Вы провоняете могилой".

"Я хожу в городскую баню каждый день, когда заканчиваю здесь, - объяснил он бодро, - "иначе жена не пустит меня в дом. А вентиляторы давно не работают".

Выйдя из здания, я обнаружил своего шофера спящим за рулем и разбудил его.

"А, Виктор Андреевич, вы так долго там были, что я начал сомневаться.... Когда мы возим сюда важных людей, мы никогда не знаем, привезем ли мы их обратно."

«Я очень устал, Петя. Поедем прямо на завод. Мне сегодня не до сна».

В тот день ко мне пришел мой главный помощник. Нельзя ли ему отлучиться на три часа? Небольшие расспросы показали, что его вызвали в НКВД.

«Я не могу отпустить тебя в рабочее время», — сказал я. «Позвони и скажи, что будешь там после шести. И, кстати, когда побудешь там, приходи ко мне еще раз».

Поздно ночью он пришел ко мне. Он не мог рассказать, что произошло, так как в НКВД его предупредили, чтобы он ничего не рассказывал из того что видел и слышал. Но в ходе разговора я понял, что его вызывали по тому же делу, что и меня.

«Вы знали главного инженера по строительству до его ареста?» - спросил я его как бы между прочим.

«Да, Виктор Андреевич, и я не узнал его …». Он запнулся, поняв, что выдал запрещенный секрет.

Два дня спустя Штоффин из Особого отдела принес мне обещанный протокол допроса.

"Просто подпишите его, и я отправлю его в Первоуральск", - сказал он.

"Во-первых, я не собираюсь подписывать его без очень внимательного прочтения. Во-вторых, я не собираюсь прерывать важную работу. Я прочту его после работы".

"Но мне приказано не оставлять его. Я не могу …"

"Просто позвони своему начальнику и скажи ему то, что я сказал. Это снимет с тебя ответственность".

Он дрожащим голосом позвонил в НКВД. Паршин был в ярости. Наконец, из сочувствия к напуганному, забитому Штоффину, я взял у него трубку.

«Кравченко, ты должен проявлять больше уважения к НКВД» — взвизгнул Паршин. «Особенно после твоего посещения подвала»

«А ты должен проявить больше уважения к руководителю этого завода!» — ответил я. «Если ты не прекратишь беспокоить меня, я позвоню Кагановичу напрямую и скажу ему, кто мешает производству».

Угроза сработала. Внезапно Паршин начал извиняться. Он был так перегружен работой, умолял он, и я не должен судить о нем слишком сурово. Конечно, я могу прочитать показания и, естественно, в свое свободное время.»

В конце рабочего дня, когда Штоффин мрачно ждал в кабинете Особого отдела, я сел читать предполагаемый протокол моих ночных показаний в НКВД. Мои волосы встали дыбом. Все, что я сказал, было произвольно переделано в противоположное. В мои уста вложили обвинительные слова, которые я не говорил. Ответы заключенного и мои показания были фальсифицированы так, чтобы подтвердить обвинения в преднамеренном вредительстве.

На каждой странице было предупреждение, напечатанное крупными буквами, что никакие изменения не допускаются. Тем не менее, я обмакнул перо в красные чернила и кропотливо, предложение за предложением, редактировал документ. Во многих случаях я даже перефразировал вопросы, которые были искажены, чтобы сфальсифицировать смысл ответов. Во

многих случаях мне нужно было только вставить слово «не», настолько основательно был искажен смысл слов и предложений.

Когда я позвонил Штоффину и вручил ему протокол, каждая страница которого после моей правки была больше красной, чем черной, он выпучил глаза от ужаса. Ничего более кощунственного никогда ему не случалось видеть в его жизни. Кровь отлила от его лица.

«Но это не разрешается, товарищ директор. Это ужасно», - пролепетал он.

«Передай своему начальнику. Ответственность на мне».

Я больше не слышал об этом деле. Но на вытянутом по-лошадиному лице Паршина всякий раз, когда мы встречались, появлялось выражение обиды и раздражения. Примерно через три недели по заводу разнеслась весть, что старый главный инженер-строитель, пробывший четырнадцать месяцев в страшных застенках НКВД, был освобожден. Конечно, это было не мое одно вмешательство; наверное, многие другие дали такие же ответы. Но глупые и бесчеловечные работники-чекисты, которые истязали и мучили его больше года, даже не получили выговора. Они продолжали править бал, арестовывать и мучить по своему усмотрению.

5

Молодой инженер Панов, начальник моей ночной смены, был одним из моих самых добросовестных коллег. Человек с правильными чертами лица, скромный и молчаливый, он производил на людей хорошее впечатление. Тот факт, что его смена отставала от нормы выработки, тяготил его, и он много часов отрабатывал дополнительно, пытаясь ускорить работу.

Мое любопытство к Панову вызвала крайняя убогость его внешнего вида. Бледность его черт говорила о недоедании. Его единственный костюм был изношен, и в любую погоду он ходил в парусиновых тапочках. Поинтересовавшись, я сразу понял причину его бедности. Из его зарплаты 550 рублей в месяц, 150 рублей изымались в виде налогов, займов и различных взносов, оставляя ему 400 на руки. На эти деньги он должен был содержать жену, маленькую дочь и старую мать, которая жила с ним в двухкомнатной квартире в заводском административном доме.

Я позаботился о том, чтобы Панов получил обувь и рабочий костюм со склада завода. Тронутый моей заботой, он набрался смелости поговорить со мной о своих проблемах.

«Виктор Андреевич, можно поговорить с вами откровенно?» — спросил он, сидя в моем кабинете.

«Ну, конечно».

«Ну, я здесь для того, чтобы умолять вас помочь мне покинуть эту дыру. У меня есть некоторые связи, и я надеюсь на инженерную должность в армии, но мне нужно ваше сотрудничество».

«Но почему вы здесь так недовольны, Панов? Вы молоды. Вы приобретаете ценный опыт, работая в трудных условиях. Вы знаете, как это бегство с трудной работы называется на партийном языке?»

«Я знаю, я знаю... оппортунизм, трусость и так далее. Но посмотрите на это с моей стороны. Я провел пять голодных, холодных лет в институте. Моя жена, на которой я женился еще студентом, с нетерпением ждала моей жизни как полноценного инженера. Но что она получила? Еще больше голода и одиночества, и ужасной нищеты. Я вижу, что ее любовь ко мне угасает под этими ударами, и я хочу ее спасти. Я хочу спасти нашу маленькую девочку, которая не может получить достаточно молока. Вы вините меня за то, что я хочу спасти нашу семейную жизнь?»

«Что касается меня, Панов, то я не виню вас. Я могу это понять».

«А в армии я буду получать 750 рублей, помимо обмундирования, квартиру, бесплатный паек. Я смогу отдавать почти весь свой заработок своей семье. Кроме того, я буду посвящать себя обороне, что тоже жизненно важно».

В конце концов, я согласился помочь ему добиться освобождения с завода. В уральских условиях он бы за короткое время превратился в озлобленного, сломленного человека. Мне было ясно, что и другие люди, в сущности, хороший человеческий материал, портятся бессмысленным акцентом на производство, который игнорирует комфорт и здоровье людей, стоящих за производством.

Не менее разрушительным, чем физические лишения, было постоянное со стороны властей подозрение и сомнение в честности и лояльности людей.

Как бы мы ни трудились, вся система в СССР была ориентирована на предположение, что мы предатели, вредители, саботажники и негодяи, которые все погубят, если не держать нас под наблюдением двадцать четыре часа в сутки.

Однажды, ко мне пришла специальная комиссия в связи с заказом № 14 для Управления оборонной промышленности. Заказ требовал трубы чрезвычайной точности, к производству которых мы были едва ли были готовы. Несколько других трубопрокатных заводов отказались взяться за него на том основании, что они не смогут его выполнить.

Я созвал совещание начальников своих цехов и изложил им проблему в присутствии представителей обороны. Мы согласились, что хотя мы можем справиться с заданием, вероятность неудачи огромна. Это потребует быстрой переоснастки, поиска специализированных типов стали, а затем работы при огромном напряжении.

Я принял заказ только после того, как потребовал и получил письменный документ, в котором заранее признавалось, что результаты не могут быть гарантированы. Мне дали 20 000 рублей на выплату премий, если задание будет выполнено в срок.

Мы выполнили заказ за пятнадцать дней. Нередко я оставался на заводе по три-четыре дня, обедая в кабинете и урывками поспав несколько часов среди грохота машин. Мои помощники работали так же усердно, как и я. Конечно, не могло быть никаких разумных сомнений в честности наших усилий. Тем не менее, Особый отдел и следователи из оборонной промышленности следили за нами каждый день, вынюхивая саботаж. Ни премии, ни поток поздравительных телеграмм не смогли устранить неприятный привкус, оставшийся у всех нас.

Колбин, Штоффин, сотрудники Экономического отдела НКВД и даже секретарь горкома Довбенко возгордились от своего «триумфа» по этому заказу. Они вели себя так, как будто именно их неустанная бдительность обеспечила успех.

"Почему столько подозрений? Откуда вся эта радость, что никто ничего не натворил?" - спросил я Паршина.

Он едва мог понять мои вопросы. Шпионаж, стукачество казались ему такими естественными. Они на самом деле казались ему самой важной частью любой работы!

«Кроме того, Виктор Андреевич», — доверился он мне, — «наш успех в этом задании ставит новую задачу перед Экономическим отделом. Теперь мы должны выяснить, почему другие заводы отказались принять заказ! Мы показали, что это возможно, почему же тогда другие директора отказались его взять? Может быть, они говорили правду, а может быть, они саботировали оборонную промышленность. Так что, вы видите, насколько важна наша работа …»

Несколько других специальных заданий — всегда в лихорадочной атмосфере подозрений, угроз и тотальной слежки — были завершены с блеском.

Репутация нашего Новотрубного завода быстро улучшалась. Корреспонденты «За индустриализацию» и других газет писали восторженные описания того, как «остатки саботажа» «ликвидируются» на этом уральском заводе. Но выпуск продукции все еще составлял около 85 процентов от нормы, и Москва, демонстрируя свою «сталинскую твердость», настаивала на 100 процентах. Это означало неприятности как награду за наш успех.

6

У меня были причины достаточно часто вспоминать совет, который мне дали в день моего прибытия: привыкнуть к повсеместному присутствию заключенных, а также концентрационных лагерей и каторжных колоний принудительного труда. Первоуральск и его окрестности находились в центре одного из крупных регионов рабского труда советской России. Нельзя было уехать далеко от главной магистрали в любом направлении, не столкнувшись с ужасами труда рабов.

В другом месте можно было бы осторожно умолчать об этом. Но здесь реальность была слишком большой и явной, слишком близкой для такого умолчания. Можно было слышать как кто-нибудь говорил довольно небрежно: «На реке Чусовой, в километре или около того от колонии НКВД, есть хорошая рыбалка» или «Вам лучше пойти по этой дороге налево, мимо концлагеря».

Наша заводская топливная станция работала на торфе, предоставленном трестом «Уралторф». Когда у меня возникала необходимость пожаловаться на перебои с поставками топлива, сотрудники треста звонили в «Уралторф», который, как само собой разумеется, звонил соответствующему начальнику НКВД за объяснениями. Тысячи узников, как женщин, так и мужчин, резали и прессовали дерн в Свердловской области.

Торф был одним из источников топлива также для «Уралэнерго», треста, поставлявшего нам электроэнергию. Я старался избегать этого зрелища труда рабов, потому что оно угнетало меня неделями. Меня всегда тошнило от страха, что я могу оказаться перед глазами того, кого я знал и любил, потому что так много сотен моих друзей были проглочены государственным террором. Однажды, во время прогулки с коллегой, мы наткнулись на унылый участок болот, где работало, возможно, триста заключенных, в основном женщины. Все несчастные были неописуемо грязными и одетыми в лохмотья, и многие из них стояли по колено в грязной холодной воде. Они работали в полной тишине, самыми примитивными инструментами и, казалось, были совершенно равнодушны к двум незнакомцам.

Это была сцена из какого-то дантовского ада, которую я месяцами не мог выкинуть из своей памяти. Одно слово «торф» вызывало у меня мурашки.

По дороге в Свердловск и обратно я познакомился с видом большого советского концлагеря, у которого я остановился, чтобы посмотреть в день своего прибытия сюда. Его главный вход, в одной стороне шестиугольника, обращенной к дороге, был увенчан замысловатым, довольно модернистским деревянным карнизом, в который был вмонтирован большой овальный портрет Сталина. По всему карнизу были натянуты полосы кумача с текущими лозунгами. Ночью маленькие цветные электрические лампочки освещали портрет и надписи.

Человек, мельком увидевший этот фасад с дороги, проезжая мимо, мог бы предположить, что за украшенными воротами размещается какое-то благовидное советское учреждение. Те из нас, кто жил в этом районе, знали, что этот шестиугольник ужаса и смерти отгораживал 2500 обреченных от мира живых. Прожекторы на шести сторожевых вышках освещали концлагерь всю ночь, автоматически вращаясь, каждый по очереди, как на маяке. Эти столбы света, проносящиеся по ночному небу, создавали красивые узоры — для тех, кто не знал, что они означают.

Работая на заводах, шахтах и на строительных объектах в окрестностях, большинство заключенных проходили пешком шесть или семь миль на работу и с работы каждый день в любую погоду. Это означало, что в дополнение к работе по десять или двенадцать часов в день, они шли еще около трех часов, и лишь у немногих из них была обувь, подходящая для этих маршей.

Недалеко от Первоуральска находится город Рывда, где находится еще один металлургический завод. Каждый раз, когда я отправлялся туда, я проезжал мимо концентрационного лагеря с двумя тысячами каторжников. Большая их часть работала на заводе, где строительство все еще продолжалось, а остальные были заняты на строительстве дорог или на близлежащих медных рудниках.

Другой советский концлагерь, в котором находилось всего около тысячи заключенных, находился на берегу Чусовой, прекрасной, быстрой реки в живописном окружении густых сосновых лесов на холмистом ландшафте. Летом наши инженеры и чиновники иногда вывозили свои семьи на берега Чусовой для купания, рыбалки и отдыха.

Они старались останавливаться на приличном расстоянии от концлагеря; зачем портить отдых мрачным напоминанием?

Услышав, как многие люди восторженно отзываются о красоте этой реки, я наконец решил ее исследовать. Мои два товарища, оба члены партии, тоже были новичками в районе, так что никто из нас не знал об этом концлагере. Мы ехали на моем «Форде», говоря о делах завода, когда внезапно оказались на холме, и глядя вниз на колючую проволоку, на лесной поляне в нескольких сотнях метров от края реки.

Как обычно, по углам квадрата стояли четыре охранные вышки, и видно видно было присутствие конвоиров с примкнутыми штыками. В дальнем конце ограждения несколько сотен заключенных, мужчин и женщин, работали над строительством нового ряда бараков.

На этом наша поездка тут же закончилась. Все желание увидеть реку покинуло нас, и мы молча поехали обратно в Первоуральск. Даже самые фанатичные коммунисты, защищавшие сталинщину, часто чувствовали беспокойство. Называя свои жертвы ругательными словами — кулак, вредитель, сволочь … они, казалось, заглушали свой внутренний страх.

Каждый из них прекрасно знал, что еще один поворот колеса политической фортуны, еще одна чистка или террор могут легко поставить их среди тех изгоев, чей рабский труд теперь укреплял советскую разновидность социализма в СССР.

ГЛАВА XIX

ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЫВАЕТСЯ

КОГДА Я ВСПОМИНАЮ свое пребывание на Урале, наполненное подобными воспоминаниями, один эпизод вытесняет все остальные. Этот эпизод основывается на обмане тогдашнего советского общественного мнения, экстравагантной мистификации, в которой большие и малые чиновники, в Москве и в Первоуральске, работали вместе, чтобы обмануть советскую общественность. Они сделали это так ловко, искусно подгоняя свою ложь, что и по сей день «великая победа на Новотрубном заводе» приводится как пример чудес, сотворенных «энтузиазмом советского народа».

Дело началось с шумного прибытия на наш уральский завод ударной бригады активистов из Москвы, которым было поручено повысить стандарты до стахановских на нашем трубопрокатном заводе. Теперь, когда мы производили 85 процентов нормы, один большой, задуманный в Москве толчок вывел бы нас на 100 процентов и более. Где есть желание, там есть и достижение. Нет такой крепости, которую мы, коммунисты, не могли бы взять. Коллективная работа сделает это. Вперед, товарищи, ради нашего Вождя и Учителя ...

Перед отъездом из столицы, члены ударной бригады были приняты комиссаром Лазарем Кагановичем в присутствии прессы.

Они прибыли в Первоуральск, вооруженные чрезвычайными полномочиями и подкрепленные полным незнанием наших проблем. Ритм производства, которого я с таким трудом добился, был внезапно сломан. Бригада созвала массовые собрания и технические конференции, и подвергла нас всех долгим агитационным речам. Стены всех наших цехов и кабинетов, столовых и залов отдыха были оклеяны множеством красных лозунгов. Внезапно никто уже не говорил, все кричали. Инженеры и руководители были доведены до нервного безумия.

Еще вчера нас похвалили за достижение 85, а теперь на нас оказывалось давление, чтобы мы довели норму до 100 процентов. Мы страдали от подразумеваемого оскорбления. Директор Осадчий ходил с вытянутым лицом.

«Мы должны сделать что-то радикальное, Виктор Андреевич», — вздохнул он.

«Московская пресса поднимает большой шум вокруг этого стахановского движения, и мы просто не можем позволить себе потерпеть неудачу. Моя голова — и ваша тоже — поставлена на карту».

Осадчий был типом промышленного руководителя, слишком распространенного в нашей стране. Политик в нем всегда преобладал над инженером. Официальное признание волновало его больше, чем фактическое производство; номинальное больше, чем фактическое. То, чего ему не хватало в технических знаниях, он с лихвой восполнял «важными контактами» в соответствующих кругах. Он был немного сибаритом, падким до девушек в Свердловске.

«Но что мы можем сделать?» — ответил я. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что невозможно выжать больше, чем мы сейчас получаем с завода. Ораторское искусство не заменит инструменты и металлы».

Но у Осадчего уже был гениальный план. Он попросил меня предоставить ему подробную опись готовых труб, накопленных на наших складах. Их количество, как оказалось, было значительным. Например, были запасы, произведенные без конкретных заказов в предыдущем году. Я дал ему цифры.

Только после я понял, зачем ему нужна была эта информация, и ужаснулся. Осадчий, сговорившись с ударной бригадой, отправил в Москву специального человека, который тайно сговорился с Кожевниковым, тогда начальником Главтрубостали. Кожевников, в свою очередь, договорился с Главным управлением металлоснабжения промышленности. Наш человек вернулся в Первоуральск с партией заказов на различные виды труб для производства и последующего складирования по всей стране.

По чудесному совпадению, заказы требовали именно такие количества труб, которые были у нас на складах. Нам нужно было только почистить, смазать,

упаковать трубы — и зачислить их на текущий выпуск! А умелая бухгалтерия сделала все остальное.

Это был бесспорный обман. Но Осадчий, горком, обком, бригадиры, все были в восторге. И все притворялись, что не видят мошенничества. Только чекисты ухмылялись, зная, что этот обман дает им в руки компромат на промышленных руководителей на их территории. Победа — не просто 100 процентов, а любой процент, который мы пожелаем — была в кармане.

Начался большой месяц, июнь. С самого начала ежедневные итоги были на блестящем «стахановском уровне». «Продолжайте хорошую работу!» — призывали меня сообщения из Москвы. Мы делали это последовательно; но ни слова не было сказано о том, что в некоторые дни более 25 процентов заявленной продукции было мошенничеством, продукции не произведенной, а состоящей из труб со склада. Бригадиры и рабочие, конечно, не были обмануты. Они читали ежедневные и еженедельные сводки ...но они знали правду.

По мере того, как шел месяц, восторг заговорщиков перешел в беспокойство. Они были немного напуганы своей работой, особенно тем «успехом», который получил большое освещение в газетах и на радио. Каждый из них понимал, что когда-нибудь этот трюк может быть представлен им как «обман правительства и партии». Они сплотились - московские бригадиры и местные функционеры - в чувстве общей вины и общей опасности.

Как честный коммунист, я был возмущен обманом и решительно отказался быть вовлеченным в круг сообщников. Я решил, что, учитывая все, я буду в большей безопасности, если не буду участвовать в этом жонглировании цифрами. Я особенно осознавал, что искусственно завышенные суммарные показатели июня месяца установят для меня невозможную планку на будущие месяцы.

Поскольку приближался конец великого стахановского месяца, то я собрал основные документы и, для протокола, написал полный отчет, разоблачающий обман. Я адресовал его комиссару Кагановичу, Кожевникову в Главтрубосталь, Осадчиму и товарищу Довбенко, первому секретарю горкома партии в Первоуральске, оставив себе копии в качестве моей личной страховки на будущее.

Осадчий и Довбенко были вконец напуганы. Они немедленно позвонили своим единомышленникам в Москву, в Главтрубосталь, как я узнал.

Уверенные в поддержке наверху, они вызвали меня в горком.

"Ты с ума сошел, Кравченко?" - завопил Довбенко. "Все идет прекрасно, Каганович в восторге от наших успехов, а ты хочешь вставить палки в колеса. Ну и что из того, что мы прибегнем к трюку, когда цель - поднять моральный дух трудящихся масс? У тебя нет чувства долга?"

Он в гневе мерил шагами свой кабинет. Осадчий кусал губы, чтобы сдержать праведный гнев.

«Извините, но я не согласен с вами», — сказал я. «Я не принимал участия в этом трюкачестве и не возьму на себя никакой ответственности. Напоминаю вам, что после того, как этот шум утихнет и мы вернемся к старому проценту производства, нас обвинят в том, что мы не достигли июньского объема производства».

«Об этом будем думать, когда придет время», — заявил Довбенко. «Ты идешь по опасному пути, Кравченко, ставя свое мнение выше чужого. Ты дискредитируешь бригаду, посланную Комиссаром, членом Политбюро! Это игра с огнем».

«Иногда сверхчестность — это сверхглупость», — вставил Осадчий. «Нам нужно немного житейской мудрости».

Я отказался отозвать свой отчет.

Вскоре великий месяц июнь закончился, с великолепным общим объемом производства 114 процентов! Москва, Свердловск, Первоуральск ликовали от победы. Отчеты о «великолепном триумфе на заводе Ново-Трубный» заполнили прессу. Утром первого июля я получил телеграмму из Москвы: «Поздравляем с вашей великой победой. Мы разделяем ваше счастье. Мы уполномочиваем вас выдать премии отдельным рабочим. Мы верим, что теперь план будет регулярно перевыполняться».

Журналисты прилетели из Москвы и приехали из Свердловска, чтобы описать чудо стахановщины в действии. Ново-Трубный, который поддерживался на уровне 35 или 40 процентов его прежним саботажным руководством всего несколько месяцев назад, теперь гордо стоял на уровне

114 процентов при его новом верном сталинском руководителе товарище Кравченко! Поприветствовать товарищей-победителей приехали делегации с других заводов Первоуральска.

Радость царила повсюду, но в моем собственном сердце царило отчаяние. Невольно я стал соучастником мошенничества и был поставлен в неловкое положение принять официальную благодарность и денежное вознаграждение за свою роль в его совершении. За закрытыми дверями, с помощью моих трех помощников и главного бухгалтера, я подсчитал фактический выпуск за месяц июнь. Без поддельного «производства» из складских запасов, цифра составила 87 процентов, то есть, немного лучше обычного. Раз десять меня прерывали во времяэтого печального упражнения в арифметике междугородние звонки с поздравлениями. Телеграммы с похвалами продолжали накапливаться; одна из них была от самого товарища Кагановича.

Той ночью я начал работать над тщательным и очень конкретным отчетом о мошенничестве, адресованном товарищу Кагановичу.

Тем временем был созван массовый митинг всего завода, чтобы отпраздновать достижение. На территории завода была возведена платформа, задрапированная красным кумачом, украшенная огромными портретами большевистских лидеров. Духовой оркестр играл беспрестанно. Тысячи рабочих и чиновников, многие из которых прекрасно знали о мошенничестве, собрались перед платформой.

Мне показалось, что я уловил преднамеренную иронию в необычном жаре их аплодисментов и в громкости их «ура», когда ораторствовали Осадчий, Довбенко, региональные партийные представители, затем ударные бригадиры.

Директор Осадчий зачитал некоторые из поздравительных посланий. Он сказал, что рабочие своей замечательной работой в этом месяце посрамили скептиков и критиков. Они дали громкий ответ грязным саботажникам и уклонистам. Здесь он закричал что есть мочи: Да здравствует наша партия и ее дорогой любимый Вождь, Учитель, и Отец товарищ Сталин! Ура, товарищи!"

"Ура!" - загремели тысячи глоток, и оркестр заиграл Интернационал.

Я стоял на трибуне и уже было поздравлял себя с тем, что избежал испытания речью. Но Довбенко, очевидно, хотел публично обязать меня принять участие в "победе".

"А теперь, - объявил он, - мы послушаем товарища, чье руководство было так ценно в достижении славного итога в 114 процентов – Товарищ Кравченко!"

Я встал. Я не упомянул об июньском производстве. Вместо этого, я говорил о сложных проблемах, стоящих перед нами, и необходимости постоянных, организованных усилий. Я поблагодарил рабочих за то, что они сделали, и подчеркнул, что недостаточно случайного всплеска энергии, что высокая производительность должна быть постоянной. Я получил бурные овации и покинул трибуну с чувством, что, по крайней мере, некоторые из моих слушателей меня поняли.

Встреча завершилась вручением Красного Знамени моему цеху, которое я принял от регионального представителя без улыбки.

По прибытии в Москву ударная бригада была принята наркомом, снова под пристальным вниманием прессы. Она была украшена и напичкана премиями. Газета «За индустриализацию» посвятила целую страницу чуду «Новотрубного», а другие газеты выразили свое редакционное благословение. Я все еще получал телеграммы с поздравлениями, когда отправил свой отчет Лазарю Кагановичу.

Несколько недель спустя я придумал предлог, чтобы поехать в Москву, в надежде привлечь Главтрубосталь на свою сторону в том, что, как я боялся, могло бы взорваться грандиозным скандалом. Кожевников не скрывал своего недовольства мной; как один из главных организаторов мошенничества, на карту была поставлена его собственная карьера.

«Постарайтесь понять меня», — умолял я. «Как я могу смотреть в глаза рабочим и техническому персоналу, когда все они знают или подозревают, что великая победа была всего лишь великим обманом? Вы прекрасно знаете, что в ближайшие месяцы мы не сможем быть на уровне этого искусственного рекорда. Рабочие ничего не выиграют от этого. В чем смысл всего этого?»

«Успокойтесь, Виктор Андреевич», — едко ответил он. «Ваше отношение, если я могу так сказать, очень наивно. Вам следует смотреть на такие вещи в

долгосрочной перспективе. Если партия считает необходимым популяризировать определенный вид деятельности — в данном случае стахановство, — это становится политической необходимостью, в которой цель оправдывает любые средства. Ваша тревога бессмысленна».

«Вы не правы», — настаивал я. «Мы не можем строить на лжи. Она обязательно вернется бумерангом».

Кожевников терял терпение.

«Я дам вам совет, товарищ Кравченко. Перестаньте поднимать шум об этом деле, иначе вы сами пострадаете от этого».

Затем я позвонил редактору газеты «За индустриализацию». Он сказал, что он в ужасе, когда я изложил ему факты мошенничества, и настоятельно просил меня написать статью об этом до того, как я уеду из Москвы, что я и сделал, и отправил копию в «Правду». Я больше не слышал ничего ни от одной из этих газет, ни от Кагановича.

Вернувшись на завод, я обнаружил рабочих, мастеров и низший инженерный персонал в состоянии угрюмого недовольства. На заводе было много разговоров о премиях. Однако этим людям платили строго по сдельной ставке. Поскольку они фактически не производили больше, чем обычно, их единственной наградой была доля в шумихе и Красное знамя. Но административный персонал, включая Осадчего и меня, получил солидные премии: 150 процентов от нашей основной зарплаты. За июнь месяц я получил свыше 4000 рублей — щедрое вознаграждение за обман, который я безуспешно пытался раскрыть.

Слухи о моих московских усилиях достигли Первоуральска, и советские чиновники были разъярены. В горкоме — что примечательно, в присутствии товарища Паршина из НКВД — меня обвинили в «подрыве их престижа». Зачем я пытался создать им всем проблемы? Зачем я «раздувал пожар, который уже потух»?

Прошло несколько месяцев, прежде чем эти руководители и коллеги по заводу забыли о моем «предательстве» и снова стали улыбаться мне; но я не пожалел о своем поступке. Что бы ни случилось, мое досье было чистым. На самом деле, ничего не случилось. Слишком много влиятельных коммунистических бонз было вовлечено в этот эпизод шарлатанства.

«Великолепная победа» спокойно отошла в историю.

2

Публикация в 1938 году новой официальной Истории Коммунистической Партии ознаменовала сворачивание чисток и террора. Это не означает, что кровавый кошмар террора был прекращен, что «Черные вороны» НКВД прекратили свою работу. «Обычные» аресты тысячами, убийства по суду и без суда, репрессии и произвольные высылки «нежелательных элементов», но чей принудительный труд был желателен в отдаленных регионах и лагерях, допросы и пытки продолжались. Население советских концентрационных лагерей росло такими темпами, как никогда прежде. Уже среди коммунистов, близких к кремлевскому престолу Сталина, шепотом давали оценки, что численность лагерных рабов в СССР составляла более пятнадцати миллионов и продолжала расти; в ближайшие несколько лет оценка приблизится к двадцати миллионам и перейдет ее.

Я имею в виду только то, что кампания по чистке партии и советской аппарата, запланированная Сталиным после убийства Кирова, теперь была почти завершена. Не осталось ни одного правительственного, партийного, военного органа или предприятия, экономического или культурного учреждения которые не были бы обновлены и в значительной степени находились теперь в новых угодных Сталину руках. Если бы иностранный завоеватель захватил Советский Союз и поставил у руля своих новых людей, изменения вряд ли могли бы быть более полными или более радикальными.

Масштабы массовых убийств и ужаса в России никогда не были осознаны на Западе и внешним миром вообще. Возможно, эти масштабы слишком огромны, чтобы их когда-либо можно было осознать. Россия была полем внутренней войны, битвы, усыпанная трупами, испещренная гигантскими концлагерными загонами для пленников, где миллионы несчастных «военнопленных» трудились, страдали и умирали. Но как мысленный глаз может охватить нечто столь обширное? Можно только заглянуть в тот или иной угол, и судить о целом по его частям. Мне удалось через Кремль получить несколько официальных цифр. Они не охватывают всю реальность, они лишь намекают на ее масштабы и чудовищность.

В правительстве, Совете Народных Комиссаров остался угодный Сталину только Молотов; все остальные были казнены, заключены в тюрьму, или

ликвидированы иным образом. Центральный Комитет партии, теоретически являющийся сердцем и умом правящей партии, насчитывает 138 членов и заместителей; только около двадцати из них остались в этом органе, когда завершились чистки и террор. Из 757 членов ЦИК, Центрального Исполнительного Комитета, иногда называемого за рубежом «парламентом» России, только несколько десятков пережили ликвидации. Еще более кровавыми было чистки в так называемых автономных «республиках» и областях. Весь без исключения руководящий состав их правительств и их партийных организаций были уничтожены по приказу из Москвы — достаточный комментарий к их предполагаемой автономии. Промышленность, наука, искусство и образование, пресса и вооруженные силы — все было перетряхнуто и перевернуто с ног на голову, их руководители были убиты, заключены в тюрьму и концлагеря, или сосланы в отдаленные районы.

Но даже эти колоссальные цифры не вполне отражают трагедию. Они огромны, но они холодны. Их невероятная величина делает их как бы нереальными. Нужно думать о жертвах не в таких безличных терминах, а как о личностях.Нужно помнить, что у каждого из этих множеств загубленных людей были родственники, друзья, иждивенцы, которые разделяли его участь и его страдания; что у каждого из них были надежды, планы, реальные достижения, которые были вдребезги разбиты. Для историка завтрашнего дня, для социолога сегодняшнего дня это статистика. Но для меня, который пережил это, у этих цифр есть тела, умы и души, все из которых были ранены, унижены и подверглись надругательствам. Более того, я знаю, что ум и душа миллионов советских людей, избежавших кровавых чисток и террора, были исковерканы и искалечены тем повсеместным страхом и жестокостью, среди которых они жили в СССР. По масштабу, я не знаю ничего подобного во всей человеческой истории, что можно было бы сравнить с этими целенаправленными и беспощадными преследованиями и убийствами, от которых пострадали десятки миллионов русских людей прямо или косвенно. По части убийств, Чингисхан был дилетантом, не знавшим своего дела по сравнению со Сталиным. Большевистский режим вел беспощадную войну на истребление против русского народа, и истребление прежде всего его лучшей части.

Именно завершение этой долгой войны было ознаменовано появлением новой официальной истории СССР. Она оказалась документом, вероятно,

беспрецедентным. Бесстыдно, без каких-либо объяснений, она пересмотрела полвека русской истории. Я не имею в виду, что эта история просто фальсифицировала некоторые факты или дала новую интерпретацию событий. Я имею в виду, что она намеренно перевернула историю с ног на голову, вычеркивая события и выдумывая факты. Она извратила недавнее прошлое — прошлое, которе все еще было свежо в воспоминаниях миллионов людей — в новые и причудливые формы, чтобы соответствовать версии событий и дел, представленных на показательных московских процессах и сопутствующей коммунистической пропагандой.

Это была наглая и бессовестная ложь. Было определенное великолепие в ее несокрушимом цинизме, ее пренебрежении здравым смыслом советского народа. Роли ведущих советских деятелей были извращены или полностью стерты. Новые роли были придуманы для других. Лев Троцкий, один из создателей Чека и Красной Армии, был представлен как дьявольский агент иностранных капиталистов, который стремился продать советскую страну, сговорившись с Рыковым, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, Бубновым, Крестинским, Пятаковым и практически всеми другими отцами-основателями СССР и советской власти.

По новой версии, Иосиф Сталин, конечно, был единственным большевистским лидером в России до революции, а затем единственным близким и доверенным соратником Ленина. Все книги, статьи, документы, музейные материалы, которые противоречили этой необычайной фантазии, выдаваемой за историю, — а это значит, что почти все исторические и политические труды и документы — исчезли в СССР!

Более того, все живые свидетели, насколько это было возможно, были ликвидированы. Руководящий состав Института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве, хранилища коммунистической истины, был снят с работы, а наиболее важные люди из них были посажены в тюрьму или расстреляны. То же самое произошло в филиалах этого Института в разных частях страны. Я был близко знаком с историей профессора Сорина, одной из выдающихся фигур этого Института, и мне показалось, что она подводит итог всей жалкой и трагической эпохе повсеместной лжи в СССР.

Профессор Сорин в свое время был публично осужден Сталиным, потому что он осмелился написать, что «диктатура пролетариата» в России идентична «диктатуре партии». После этого, виновный должным образом «признал

свои ошибки» и стал одним из духовных наставников Сталина в марксистской теории, фабрикуя речи и статьи, к которым Сталин прикреплял свое имя. Он был назначен помощником директора Института Маркса-Энгельса-Ленина, старательно подъискивал документы и цитаты для поддержки любой политики, которую Сталин хотел навязать советской стране, и, казалось, счастливо приспособился к новой жизни.

Но, оказалось, что наступил момент, когда и кроткий Сорин воспротивился. Всем казалось, что он всегда будет готов придумывать и сочинять тексты и цитаты, которые от него требовались, однако и у него оказалась предельная черта фальсификации и подлога, за которую он не смог переступить. И вот посреди одной зимней ночи фургон НКВД подъехал к прекрасной квартире профессора Сорина и увез его. От него не осталось и следа. Его жену и ребенка выселили из квартиры и выбросили на улицу. Все книги, документы и бумаги профессора были увезены в НКВД.

Другие сотрудники Института, которые слишком много знали об истинной истории и теории коммунизма, чтобы принять фальшивую версию, были также посажены в тюрьму, среди них главный директор Адоратский. Глава отдела пропаганды партии Стецкий был арестован. Тысячи других, с исторического, политического и литературного «фронтов» были отправлены в путешествие в один конец на фронт трудовой. Путь был расчищен для лжи и фальсификации без всякой меры и предела. Таким образом, стала возможной новая советская «историография».

Для целей лучшего усвоения новой версии советской истории, ее изучение было сделано обязательным для всех ответственных партийных и хозяйтвенных работников. Лекции и занятия по истории партии и СССР проводились почти каждый вечер в этот период, и для это в наш город приезжали преподаватели из Свердловска, чтобы индоктринировать нас. Даже самая большая ложь, посредством бесконечного повторения, пускает глубокие корни в душах людей. И я мог видеть, как самая возмутительна большевистская ложь постепенно становится установленным и непререкаемым «фактом», особенно среди молодых людей без личного жизненного опыта.

Что касается внешнего мира в этой фальсифицированной истории, то к нему относится директива, напечатанная во введении к этому руководству. «Изучение Истории Коммунистической партии», - говорится в ней, -

«укрепляет уверенность в конечном исполнении великой задачи партии Ленина-Сталина: добиться победы коммунизма во всем мире». Эта директива касательно мировой коммунистической революции и развязывание войны для ее осуществления осталась неизменной. Даже когда Коммунистический Интернационал был якобы «отменен», подготовка к сталинской мировой революции не была отменена, пересмотрена или отвергнута. Это сталинская история является официальной, не только для коммунистов в советской России, но и для коммунистов в Америке, Англии, Китае и везде в мире.

Однажды мне поручили прочесть доклад об одном из этапов партийной истории перед ответственными членами партии Первоуральского района. Я согласился на этот гнусный фарс потому, что это был приказ горкома, которому я не осмелился не подчиниться. Темой моего доклада была «Коммунистическая партия в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства». Для этого, я нашпиговал себе голову соответствующими отрывками и цитатами из официальной истории, читал речи Сталина по этому вопросу, а затем стоял перед заполненной аудиторией и лгал, лгал, лгал, более часа.

Каждая такая ложь разрывала полузажившие раны моего собственного страшного опыта в ходе коллективизации и последовавшего за ней морового голода. Я чувствовал, как будто я издеваюсь над умирающими от голода детьми с раздутыми животами, среди которых я работал, и оскверняю трупы, которые я видел сваленными в огромные кучи в деревнях.

И все время, пока я говорил, я не сомневался, что мои слушатели-коммунисты тоже знали, что я лгу. Мои слова и их бурные аплодисменты были одинаково фальшивыми; мы были только актерами, играющими на сцене свои предписанные роли в мерзской политической трагикомедии.

Почему я и почему моя аудитория поддались этому унижению? По той же причине, по которой вы отдаете свой кошелек грабителю, который наставляет на вас пистолет или нож. В нашем случае, причиной был страх перед НКВД. Поэтому пусть ни один иностранец, обеспеченный своих правах человека, не смотрит свысока на меня, обязанного читать лживую лекцию, и на моих слушателей, с энтузиазмом аплодировавших мне.

Наряду с «обучением» партийных и беспартийных в соответствии с

переписанной историей, официальные пропагандисты опирались на два эффективных психологических подхода к заграница. Первый был односторонним и искаженным описанием жизни в капиталистических странах, особенно в Соединенных Штатах и Англии.

Лектор показывал вырезки из иностранной прессы, на которых полиция избивала дубинками забастовщиков; протестовавших безработных обливали водой из пожарного шланга, в пролетариат бросали слезоточивые бомбы. Представленный как полное и объективное изображение жизни при капитализме на Западе, этот материал производил глубокое впечатление на советских людей; он казался подлинным, документированным, неопровержимым.

Вторым подходом было цитирование, верное или нет, нападок на Советский Союз со стороны отдельных враждебных иностранцев, в которых были пренебрежительные или оскорбительные замечания о русском народе в целом. Эти иностранцы не смогли провести четкую границу между русским народом и коммунистическим режимом. Человеческое самоуважение, а также гордость слушателей были уязвлены, чего и добивалась советская пропаганда.

Еще один результат чисток и репрессий заслуживает упоминания. Каждый коммунист имеет партийный билет. Это его личный паспорт, его политический патент. В партбилете, помимо личных данных, есть подписи местных партийных лиц, которые его выдали. Поскольку большинство ведущих партийцев были подвергнуты чистке и ликвидации, выяснилось, что большинство членов партии получило свой благословенный статус от «врагов народа». Режим не мог терпеть этот иронический штрих. С целью стереть почерк и память умерших и заключенных, осенью 1938 года был отдан приказ о новой регистрации коммунистов. Там, где билеты были подписаны ликвидированными «врагами народа», выдавались новые.

Этот процесс превратился в новую, хотя и менее кровавую, чистку. Каждый коммунист снова предстал перед комиссиями из трех человек и подвергся подробному допросу. Новые билеты, кроме того, уже не были таким простым делом, как раньше. Теперь они включали фотографию. Кроме того, на каждого члена партии теперь заводилась специальная книжечка в двух экземплярах, содержащая подробные биографические данные, запись о профессиональной деятельности, поощрениях, наказаниях; один экземпляр

сдавался в его городской комитет, другой в Центральный комитет партии в Москве. Вся процедура напоминала оформление полицейской документации, а не записи о членах политической организации. Последняя претензия на то, что мы являемся участниками добровольного объединения соратников, была отброшена.

Чтобы не было никаких иллюзий в этом отношении, было введено новое правило: коммунист, желающий покинуть один город или область, чтобы поселиться в другом, --- даже если это было сделано по приказу вышестоящих органов, должен был сначала дождаться официального решения городского комитета партии, разрешающего его переезд. Коммунистическая партия в СССР стала, по сути, еще одной тюрьмой, оснащенной удобствами и тысячью привилегий, которыми не пользовались узники еще большей тюрьмы под названием Советский Союз, но все же местом заключения для ее членов.

Однажды, когда на Урале уже чувствовалось приближение зимы нового 1939 года, первый секретарь горкома Довбенко сообщил мне, что мне выпадет честь принять участие в предстоящих «выборах» в Верховный Совет СССР, советский парламент. Центральный Комитет партии выбрал товарища Кузьмина в качестве кандидата на выборах от Первоуральского округа в Верховный Совет, и для меня будет большой честью «выдвинуть» этого кандидата официально на общем собрании избирателей.

«Но почему Кузьмин?» — спросил я. «Он никогда здесь не жил, и никто здесь его не знает. Как заместитель наркома тяжелой промышленности, он живет и работает в Москве. К тому же я сам его почти не знаю».

Мои возражения были отвергнуты. Мой завод, оказался в центре внимания как обладатель Красного Знамени, и меня сочли подходящим человеком, чтобы представить товарища Кузьмина суверенным избирателям. Он, конечно, будет единственным кандидатом. Мысль о том, что при советской демократии может быть оппозиционный кандидат, чтобы бросить вызов кандидату коммунистической партии, даже не приходила никому в голову; это было за пределами опыта нового советского поколения. Вооружившись информацией о «моем» кандидате, я потратил несколько вечеров, готовя предвыборную речь. В ритуальных фразах большевистской демагогии я превозносил Кузьмина, «истинного сына партии и народа», за его заслуги перед партией и за его преданность Вождю.

Довбенко и его сотоварищи прочитали рукопись, внесли различные поправки и заявили, что удовлетворены.

Несколько дней спустя кавалькада элегантных автомобилей подъехала к нашему заводу. «Мой кандидат», о существовании которого я до той недели знал лишь смутно, вышел из автомобиля, окруженный чекистами и партийной свитой. Кузьмин представлял собой примечательное зрелище: по виду это был неотесанный мужик, с небольшой бородкой, в поношенной одежде. На нем была вышитая русская рубаха, заштопанная на воротнике; он носил рабочую фуражку и сапоги. Короче говоря, он прибыл замаскированным под пролетария!

Мне был противен этот маскарад, и я покраснел от мысли о своей собственной доле в обмане. В четыре часа на главной площади Первоуральска началось предвыборное собрание. Со всех окрестных заводов прибыли делегации со своими знаменами, лентами и другими знаками отличия. Комсомольцы вышли на сцену и пропели бодрую песню. Красная драпированная трибуна была украшена портретами Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова и других комммунистских бонз. Я занял свое место на трибуне вместе с Довбенко, Осадчим, Кузьминым и другими высокопоставленными чиновниками, пока оркестр играл «Интернационал» и другие соответствующие гимны.

В положенное время я начал свою речь, восхваляя Кузмина как «лучшего из лучших». Народ ликовал, и оркестры громогласно издавали свое одобрение.

Несколько других произнесли такие же стандартные речи. Наконец сам Кузмин вышел вперед, чтобы поблагодарить людей за их «доверие» и заверить их в своей преданной службе, «если они его выберут».

«Да здравствует Ум, Сердце, Сила Партии и Советского Народа, наш Любимый Вождь и Учитель, Товарищ Сталин!» — заключил он, и музыка снова усилила аплодисменты.

Когда мы сошли с трибуны, направляясь на торжественный ужин, ожидающий высших должностных лиц, Кузьмин взял меня за руку.

«Вы хорошо говорили, товарищ Кравченко», — сказал он. «Спасибо, спасибо вам. Когда приедете в Москву, заходите ко мне. Я всегда буду рад помочь вам».

Я не мог не заметить, когда мы пожимали руки, что его ногти на холеных руках были прекрасно ухожены.

Вскоре после этого, я отправился в Москву и, как оказалось, в связи с делом, в котором Кузьмин мог быть полезен, если бы захотел. Его кабинеты были большими и роскошно обставленными. К моему удивлению, мне пришлось долго ждать. Когда я наконец вошел в его личный кабинет, я увидел человека, лишь отдаленно напоминавшего пролетарский образец на предвыборной платформе в Первоуральске. Кузьмин был одет в европейский костюм с ярким галстуком. В этом надменном, ухоженном, откормленном чиновнике не было и следа прежней простонародной манеры.

«Что такое, товарищ?» — раздраженно сказал он, глядя на меня непонимающе. «Кто вы?»

Именно тогда я с потрясением осознал, что он уже полностью забыл того, кто выдвигал его на выборах, человека, который представлял его своим "избирателям". Это был завершающий штрих к фарсу однопартийных, однокандидатских выборов по "самой свободной и демократической в мире советской Конституции".

3

Я мало рассказывал о своей личной жизни на Урале, а до этого в Таганроге и Никополе. Я сам чувствую это упущение. Я почти слышу, как читатель спрашивает: являются ли советские хозяйственные руководители всего лишь автоматами, без личной жизни в их существовании?

Я бы преувеличил, если бы ответил просто утвердительно. Мы, русские — люди общительные, теплые и разговорчивые и быстро загораемся в дружбе. Мы не скрываем своих чувств. Я – русский человек, и не являюсь исключением в этом отношении.

Да, в те годы у меня появились десятки, даже сотни друзей. Пусть будет известно, что для тысяч мужчин и женщин, окружавших меня, я был влиятельным человеком, одним из избранных. У меня были милости, которые я мог раздавать. Под моим покровительством они нашли достаток и комфорт — те вещи, которых всем советским людям, кроме горстки избранных людей, катастрофически не доставало.

Материальный уровень моей жизни был скромным по сравнению с людьми моего положения в Америке. Но в Никополе, Таганроге, Первоуральске или даже Москве он был настолько выше среднего, настолько далек от уровня жизни рабочего класса, что мне казалось, что я живу в другом мире. Мало кто из тех, кто завидовал своим хорошо оплачиваемым «новым барам», своим новым хозяевам, или мельком видел великолепие нашей жизни, знал о той тяжести страха, отсутствии личной свободы и профессиональной независимости, муках неопределенного пребывания в должности, при которой мы пользовались нашими льготами и преимуществами.

Да, я заводил друзей, и время от времени даже романтика не была мне чужда. Но оглядываясь назад, общая сумма этих вещей представляется ничтожно жалкой. Человеческие отношения в этот период для мужчин в моем положении были в минорной тональности, заглушенные шумом чрезмерного труда и воем чрезмерной политики. Искры романтики не могли устоять против ветров страха ареста, пытки, издевательств, концлагеря или расстрела. Мало кто из нас был застрахован, мало кто из нас чувствовал себя устоявшимся, укоренившимся. Наши дни казались торопливыми и переходными платформам к другой станции или же к внезапному исчезновению. Заводя друзей, мы испытывали равнодушное чувство торопящихся пассажиров, встречающихся на короткое время на платформе вокзала, прежде чем сесть на поезда в противоположном направлении.

Но это только часть истории. Если годы кажутся такими пустыми, несмотря на их шумные события, то это потому, что я жил в духовной пустоте. Потеряв веру в Великий Социальный Эксперимент, мне не за что было цепляться, кроме работы и смутной, маловероятной надежды на выживание. Как можно было сохранить внутреннее достоинство, когда прихоть какого-нибудь товарища N. в Москве, или рвение какого-нибудь местного партийного или полицейского чиновника могли стереть в порошок твою личность без предупреждения? Как воспитывать самоуважение под бесчисленными глазами вульгарных и слишком часто злобных осведомителей и шпионов?

Были моменты, когда я жаждал семейной жизни как у некоторых из моих коллег и задавался вопросом, не был ли бы я счастливее с женой и

детьми. Но мысль о том, как гораздо ужаснее арест мужа и отца, быстро излечила меня от такого желания. В свое ограниченное свободное время я

обычно ездил в Свердловск на оперу и в театр. Я также много читал художественную литературу для собственного удовольствия и политико-экономические работы в качестве партийной обязанности: нельзя было отставать в знании Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса,

Колповские -- Константин Михайлович, который был нашим главным инженером, его хорошенькая жена Вера, и Ниночка, их семилетняя дочка – были семьей, которая тронула во мне струну ностальгию по нормальной домашней жизни.

Они казались настолько объединенными естественной, недраматической любовью, что вы едва ли могли подумать об одном из них, не вспомнив о других. Я навещал их время от времени, и для маленькой Ниночки я стал дядей Витей, с привилегиями и обязанностями любящего дяди.

Когда Колповский уехал в Москву по делам, ближе к концу лета 1939 года, он попросил меня присмотреть за его семьей. Вечером перед его возвращением Вера и ребенок были у меня дома, и пили чай с закусками. Константин Михайлович отсутствовал почти две недели, и его семья не могла сдержать радости и волнения от завтрашней встречи. Они не могли говорить ни о чем другом.

Я пригласил директора Осадчего зайти ко мне, и через некоторое время он пришел. Он приветствовал Веру Колповскую и маленькую девочку довольно нервно и даже обиженно, как будто его беспокоило их присутствие. Я не придал этому значение; вероятно, это было просто вследствии каких-то производственных неприятностей. Но вскоре он нашел предлог, чтобы вытащить меня на балкон. Была мягкая ночь, наполненная пряными сосновыми запахами окружающего леса.

"Почему вы не сказали мне, что Колповские будут здесь?" - спросил он тихим, натянутым голосом.

"Какой странный вопрос! Какая разница?"

"Вы не понимаете, Виктор Андреевич. Ситуация довольно щекотливая, потому что Колбин сказал мне под большим секретом ..."

"Что он вам сказал?"

«Ты не должен никому говорить, но, может быть, тебе стоит знать. Завтра в Свердловске, Колбин и свердловское НКВД встретят скорый поезд из Москвы. Им приказано арестовать Колповского».

«Этого не может быть! Бедная Вера, бедная Ниночка. Но почему, почему?»

«Что касается почему, то я знаю не больше, чем ты. Ты же знаешь, как это бывает. ... Но нам лучше вернуться, а то они начнут подозревать».

Через несколько минут Осадчий пробормотал что-то в оправдание и ушел. Вера и Ниночка остались еще на час — болтливые, восторженные, нетерпеливые перед завтрашним днем и полные планов на поездку в Свердловск.

«Константин всегда делает вид, что не ждал нас и что он удивлен неожиданностью», — смеялась Вера.

Сохранение самообладания, притворство, что разделяю их счастье, истощило все мои силы. Когда они наконец ушли, я обессиленно опустился в кресло. Мысль о том, что их ждет, пронзила мое сердце. Предупреждать их было бы бесполезно, и могло бы только навлечь на них, Осадчего и меня серьезные неприятности.

Около полуночи у меня зазвонил телефон.

"Виктор Андреевич, это Колбин. Могу ли я одолжить ваш Ford на завтра? Мне нужно срочно ехать в Свердловск".

"Нет, извините, Колбин, он мне нужен", - резко ответил я. Мне не нравилось использовать свою машину для этого грязного дела.

"Но у вас же есть новая машина. Пожалуйста, не устраивайте скандал. Этот звонок просто формальность - я уже получил разрешение Осадчего".

Знание того, что мой собственный автомобиль отвез одного из чекистов на станцию, добавило бремени моей печали на следующее утро.

Даже когда я был на работе, часть моего сознания видела ужасную сцену. И мое воображение было не так уж далеко от реальности. Эту сцену мне описал с нескрываемым ликованием сам Колбин.

Когда поезд подошел, мать и дочь ждали. Они были в своих лучших праздничных нарядах, улыбались и были счастливы, с цветами в руках.

"Вот он!" - закричала Ниночка, и они бросились к Колповскому, когда он вышел из вагона, неся два чемодана. Это был красивый, широкоплечий мужчина с копной темных волос. Он осветился радостной улыбкой, когда наблюдал, как приближаются его «две девочки», как он всегда их называл.

Но трое чекистов НКВД в униформе с револьверами в руках встали между ними. Они сообщили ошеломленному инженеру, что он арестован, взяли у него чемоданы и потащили его в ожидавшую закрытую машину. Они даже не дали ему времени поздороваться или поцеловать свою семью. Вера Колповская и ребенок истерически рыдали. С ними в машине поехал чекист НКВД -- их дом обыщут с тем, чтобы убедиться, что Вера ничего не укроет.

После этого никто не осмеливался общаться с женой Колповского. Даже другие дети, друзья Ниночки, издевались над ней. «Твой папа — враг народа, и мы больше никогда с тобой не будем играть», скандировали они хором. Я вспомнил времена, давным-давно, когда маленькие мальчики в Екатеринославле также издевались надо мной, потому что мой отец сидел тогда в тюрьме. Колповских, конечно, выселили из их заводской квартиры.

Арест главного инженера встревожил весь технический персонал. По цехам ходили слухи самого разного рода. Поскольку я был в тесных деловых отношениях с Колповским, то ожидали и моего ареста и, действительно, я был удивлен, что он не состоялся. До сих пор я ничего не знаю об обвинениях против него — его работа была и компетентной, и лояльной, и он казался настоящим инженером, членом партии, но почти безразличным к политике.

Позже я узнал, что после нескольких месяцев нахождения в тюрьме Колповский был "реабилитирован" и даже восстановлен в членстве в партии. Он сделал большую карьеру в своей профессии и со временем был даже награжден медалью советским правительством. Но период допросов и тюремных страданий подорвали его здоровье. Его прежней бодрости, прежней радости жизни больше не было.

4

Для постороннего, личная история советского официального деятеля может иметь реальные очертания только в том случае, если никогда не упускать из вида и не забывать условий жизни простого русского народа: условия жизни полуголодных, угнетенных, задавленных нуждою и презираемых советских

народных масс, лишенных элементарных политических и экономических свобод. Редко выпадал день, когда какой-нибудь рабочий или его жена не приходили ко мне с рассказом о нищете и болезнях. Я делал все, что мог, а этого всегда было до обиды мало. Иногда мне удавалось прорваться через бюрократическую волокиту, чтобы получить пару обуви или рабочую одежду для того, кто в этом остро нуждался.

Время от времени я заставлял действовать больничные службы, когда на карту была поставлена жизнь ребенка. Но зло было слишком огромно и слишком укоренено, чтобы его можно было смягчить, не говоря уже о том, чтобы вылечить, усилиями нескольких чиновников тут и там. Хуже всего, оглядываясь теперь назад, то, что страдания людей воспринимались как должное. Они воспринимались как нечто естественное и неизбежное, как грязь и непогода нашей уральской природы.

Несмотря на государственные меры привязать рабочих к их рабочим местам, текучесть кадров была шокирующе высокой. В моих собственных цехах ежемесячно исчезало от двух до трех сотен человек, в общей сложности около семнадцати сотен. Разумеется, это наносило огромный вред непрерывности и эффективности производственного процесса.

Только реальное улучшение условий жизни могло бы решить эту проблему. Рабочий, который собирал свои скромные пожитки и отправлялся на поиски работы в другом месте, был движим чистым отчаянием. Возможно, он слышал, что где-то в другом месте его семья может получить большую зарплату и паек, более чистое место для проживания. Но наши новые господа предпочитали игнорировать причины и иметь дело со следствиями. Советская пропаганда выработала множество оскорбительных кличек для этих граждан, ищущих лучшей жизни. Она называла их бездельниками, дезертирами с трудового фронта, неустойчивыми элементами. И она прописала единственное известное большевизму средство лечения от всех социальных недугов: насилие.

Лекарство от недуга приняло форму «трудовой книжки», обязательной для всех рабочих. Хотя формально эта книжка была внесена в свод законов 15 января 1939 года, фактическое распространение нового документа началось несколькими неделями ранее. Она была расхвалена в прессе как доказательство «роста и успеха рабочего класса, его верности советской родине». Хотя она была принята Политбюро и навязана массам, которые

достаточно ясно видели в ней еще один замок на их тюремной жизни, трудовая книжка была представлена как оружие рабочих в борьбе с «леньтяями- дезорганизаторами производства».

Трудовая книжка стала для рядового рабочего тем же, чем партийный билет был для коммуниста. Рабочий больше не мог уйти с работы без письменной записи в книжке, разрешающей ему это сделать. Он не мог устроиться на другую работу, если в книжке не было указано его увольнение на предыдущем месте работы. Более того, в книжке фиксировались любые выговоры или наказания, которые ее владелец мог получить за опоздания, производственные ошибки или другие грехи. Таким образом, рабочий был обречен тащить бремя всего своего прошлого с собой, куда бы он ни пошел; он больше не мог надеяться начать все сначала в каком-то другом городе или отрасли.

Я разговаривал с десятками мужчин и женщин на заводе «Ново-Трубный» в то время, когда выдавались новые трудовые книжки. Все они без исключения ненавидели их. Самый простодушный неквалифицированный рабочий смотрел на этот документ как на составную часть государственного обмана и насилия. Даже те, кто не собирался уходить со своей работы, чувствовали себя в ловушке.

«Кто захочет уходить с завода, если там жизнь более-менее приличная?» — говорили они мне. «Чем мы теперь будем отличаться от заключенных в концентрационных лагерях?»

Но в обычной советской манере массы были вынуждены принять свои новые цепи не просто «охотно», но и «с энтузиазмом».

Недостаточно было просто вытерпеть порку, они должны были целовать кнут их поровший и кричать при этом «ура». Профсоюзные чиновники провели «просветительскую кампанию» о прелестях новой «дисциплины». Они устроили массовые собрания, на которых избранные партийцы из числа рабочих завода воспевали новые благодеяния и на которых единогласно принимались решительные резолюции с одобрением, заранее изготовленные в горкоме в духе кремлевских предписаний.

На наш завод прибыла специальная комиссия, чтобы убедиться, что распространение новых сталинских трудовых книжек было проведено должным образом. Оказалось, что одним из ее членов был мой однокурсник

по институту. За ужином, в интимной обстановке моей собственной квартиры, мы заговорили о трудовых книжках. Побывав на многих заводах, мой друг казался подавленным. Всеобщее недовольство среди рабочих подействовало на него. «Да, я произношу пламенные речи об этом новом советском достижении, — вздохнул он, — но, Витя, я говорю не от души. Сначала милицейские билеты для членов партии, теперь желтые билеты для рабочих!»

Я услышал то же самое наименование, как ни странно, из другого источника. Один из моих помощников зашел ко мне в кабинет по делам.

«Ну, Виктор Андреевич», — сказал он с кривой усмешкой, — «можете меня поздравить. Я, как проститутка, только что получил свой желтый билет ...»

Убедившись, что пролетарии теперь не смогут убежать с места работы, советское правительство сделало еще один шаг к «коммунизму»: оно приказало провести общесоюзный пересмотр норм труда. Профсоюзы снова были ответственны за проведение мероприятия, и пересмотр был во всех случаях, конечно, в сторону повышения. Снова на публичных собраниях сотрудники наших различных отделов принимали резолюции «добровольно» об увеличении своих норм труда, что означало, по правде говоря, снижение их собственной заработной платы. Первоуральские газеты лирически описывали большой энтузиазм по поводу этого события, хотя никто из присутствующих не видел ничего, кроме обычного поднятия рук и обычных аплодисментов.

Привязав рабочих к станкам и заставив их работать больше за ту же плату, коммунисты были готовы к следующему и самому унизительному доказательству того, чего стоит труд при диктатуре пролетариата. Сначала разразилась громкая и сильная пропагандистская буря на тему безделья и опозданий на работу. В разных городах были устроены «показательные суды» над «бездельниками».

Баснословный марсианин, если бы он спустился в это время и в этом месте,был бы уверен, что мы, советские люди, являемся народом лоботрясов, валяющихся в своих перинах, пока солнце не взойдет высоко; в нашей лени он увидел бы простое объяснение повсеместных недостатков.

Затем последовал драконовский указ об «укреплении советской трудовой дисциплины». Пусть те иностранцы, которые утверждают, что видят

«экономическую демократию» и «свободное общество рабочих и крестьян» в советской России, изучат этот указ. Пусть они подумают, будут ли угнетенные рабочие в их темных странах терпеть такое обращение. Новый закон предусматривал, что о всяком, кто опоздает на работу более чем на двадцать минут, должно быть обязательно доложено местному прокурору. Затем его должны были судить и, если он был признан виновным, приговорить к тюремному заключению или к принудительным работам.

Из опасения, что «мягкие» чиновники и «гнилые буржуазные либералы» в местных судах могут быть снисходительны к провинившимся, указ сделал арест и наказание обязательными для руководителей всех рангов, которые не сообщили или иным образом покрыли опоздавших «преступников». Только серьезная болезнь, официально подтвержденная врачами, или смерть какого-либо члена семьи были приемлемым доказательством невиновности. Просто проспал или транспортные трудности не могли быть оправданием при опоздании на работу.

За годы работы в качестве хозяйственника я видел много разных ударов, обрушившихся на несчастные головы простых рабочих. Но ни один из них не был таким непостижимым, таким ошеломляющим, как этот. Сначала большинство людей полагало, что это слишком суровый указ, чтобы его можно было привести в исполнение. Но вскоре мы поняли, что Сталин не шутил. Двадцать минут были границей между ограниченным рабством "свободных" рабочих вне концлагерей и полным рабством внутри концлагерей.

Каждое утро на мой стол ложился список опоздавших с точным числом минут их опоздания. Партийные и профсоюзные организации на заводе получали копии этого документа. У меня не было другого выбора, кроме как подписать его и передать директору, который, в свою очередь, отправлял его прокурору. «Преступников» быстро вызывали на судебное заседание. Нам было трудно поверить, что кормильцев действительно оторвут от их семей, осудят на год или более принудительных работ по таким незначительным причинам. Но мы жестоко ошибались. Помимо предупреждения, содержащегося в самом законе, суды получили строгие инструкции быть беспощадными. Они выполняли свои обязанности.

За первые три месяца действия закона по всей России около миллиона рабочих и служащих были привлечены к ответственности за безделье и

превышение двадцати минут, и большинство из них были осуждены! Органы брали отцов и матерей прямо из дома, оставляя их детей голодать или отдавали их в приюты за то, что их отцы и матери проспали или потому, что их болезнь была сочтена врачами не достаточно серьезной. В моих собственных цехах десятки рабочих были осуждаемы каждый день. Громкий вопль горя и отчаяния разносился по унылым баракам и многоквартирным домам, но он не был достаточно громким, чтобы достичь ушей Политбюро. До сих пор его не услышали те идиоты, которые стремятся распространить благословения такой "экономической демократии" из Советского Союза на другие страны и народы.

Ко мне пришел старый токарь. Я знал его как компетентного и трудолюбивого работника. Он плакал. Еще до того, как он заговорил, я понял, о чем речь. Я уже видел его имя в списке опоздавших.

"Я опоздал на тридцать минут", - признался он. «Но я же старик. Эти руки трудились сорок лет. Что будет с моей женой и детьми? Помогите, помогите, товарищ директор!»

«Почему вы опоздали?»

«У меня сильно болят зубы. Они не давали мне спать всю ночь. Наконец я уснул под утро и не проснулся вовремя. Я побежал на завод почти не одеваясь, как будто все черти гнались за мной. Но я не успел!»

«Я верю вам, товарищ, но у меня нет выбора. Если я вычеркну ваше имя, я сам сяду в тюрьму. Я могу только послать записку к врачу с просьбой помочь вам».

Я написал записку. Но, очевидно, врач также беспокоился о себе. Старика отправили в суд.

Работница оттолкнула моих секретарей и вбежала в кабинет. Она громко плакала по-крестьянски.

«Сядь и возьми себя в руки», — попросил я.

Оказалось, что она опоздала почти на час и уже получила повестку в суд. Она была вдовой, содержала двоих детей, одиннадцатилетнюю дочь и еще одного двухлетнего ребенка, работая на заводе. Старший ребенок, как она

объяснила, был очень болен. Она послала за врачом, но к тому времени, как он пришел и осмотрел больную, она обнаружила, что опоздала на работу.

Я обещал поговорить с врачом. К сожалению, по его мнению, девочка была не так больна, как представляла себе любящая мать. Он не мог по совести честно подтвердить, что болезнь оправдывала опоздание. Мать была приговорена судом к принудительному труду на нашем заводе.

В другом случае рабочий утверждал, что у него нет будильника и он имел привычку вставать по солнцу. Исключительно темное, пасмурное утро стало причиной его опоздания на работу. Объяснение не спасло

его.

Мне было очевидно, что борьба с опозданиями была лишь одной целью драконовского указа. Другой, и, возможно, более важной, целью было увеличение населения, занятого принудительным, рабским трудом. У судов на то были «конкретные приказы».

Машина «советского правосудия» по обращению свободных людей в рабов работала усердно: с одного конца поступали десятками и сотнями тысяч свободные рабочие, а с другого выходили готовые рабы. Эти тоталитарные дисциплинарные меры против простого человека, уничтожающие последние остатки его свободного человеческого достоинства, совпали с исключительно суровой зимой. Рабы в уральских концлагерях НКВД работали на открытом воздухе, несмотря на страшный холод, обмороженные, гангренозные, искалеченные. В соседних с нами концлагерях, заключенные, мужчины и женщины, часто замерзали насмерть в лесах, в неотапливаемых бараках и землянках за колючей проволокой. Эти страдания были невероятными. В общем, Первоуральск был совсем не радостным местом для нашего хваленого «свободного труда» при советском строе.

Поэтому вести из Москвы о том, что меня могут перевести на другое предприятие, были приветствуемы. Всегда была иллюзия, что где-то в другом месте дела могут быть, если не лучше, то хотя бы менее удручающими. В течение многих месяцев металлургическая промышленность была взбудоражена сообщениями о грандиозном проекте по прокатке труб в Сибири, а именно в Сталинске (бывший Кузнецк), где уже работали гигантские новые промышленные предприятия. Предполагалось строительство на сумму более ста миллионов рублей. В предсказуемой

советской манере планы были составлены заранее. Я слышал об этой шумихе и читал отчеты безличным образом, но внезапно все это сосредоточилось для меня и сделалось ужасно личным. Не спрашивая о моих желаниях и предпочтениях, Наркомат и Центральный Комитет партии выбрали меня для руководства всем строительством этого нового завода в Сталинске.

ГЛАВА XX

СИБИРСКИЙ ОБМАН

"НАРОДНЫЙ комиссар черной металлургии назначил товарища В. А. Кравченко директором металлургического завода, который будет построен в городе Сталинске, Сибирь", - писала московская газета «За индустриализацию» 28 февраля 1939 года.

Речь шла о новом крупном предприятии в Сталинске, Сибирь, способном производить 170 000 тонн стальных труб в год. Сам Молотов в своей «тезисной записке» для предстоящего Восемнадцатого съезда Коммунистической партии подчеркивал важность сибирского предприятия. Строительство, как он сказал, начнется скоро, и первые секции будут введены в эксплуатацию к 1941 году.

То, что мое имя было таким образом связано с промышленным гигантом, на который обратил внимание Молотов, а следовательно, и Сталин, мгновенно создало ореол славы вокруг меня. Мое назначение было сделано публично, как часть процесса подготовки к съезду. Это было более значимо, чем сама должность. Это означало, что я «пробился», что я был теперь в верхнем эшелоне экономической и политической советской аристократии. Друзья и знакомые, которые сторонились меня в тяжелые годы чисток и террора, внезапно вспомнили, что знают меня, и поспешили сообщить мне о своей гордости за мой успех.

В рамках подготовки к своему сибирскому назначению мне пришлось много работать в Москве, где мне предоставили прекрасный номер в гостинице «Метрополь», все расходы и немалые оплатило государтсво. Я мог иметь все, что хотел. О, это не мелочь — числиться в фаворитах Центрального

Комитета партии. Сама диктатура пролетариата на уже выглядит иначе, менее мрачно, менее тиранически, если смотреть откуда-то с вершины.

Несомненно, именно эта мысль была в голове моего отца, когда он наполовину серьезно, наполовину шутливо предупреждал меня не терять связь с простыми людьми теперь, когда я оказался среди «высокопоставленных и могущественных». «Не позволяй «им» подкупить тебя званиями и почестями», — говорилось в его письме. Я с удовлетворением отметил это доказательство того, что время не смягчило его отношение к людям у власти. Я был бы разочарован, если бы он сделал исключение для своего сына.

Известие о моем назначении, появившееся в прессе моего родного города, показалось моей матери прекрасным знаком того, что испытание преследованиями наконец-то остались позади.

"Дай Бог тебе здоровья, удачи и успеха, дорогой сын", - писала она. "Постарайся забыть прошлые обиды. Обрати свой взор вперед. Трудись усердно ради нашей любимой земли и нашего народа, дорогой. А мы живем, как всегда. Прости, что упоминаю об этом, но если приедешь домой в гости, привези что сможешь из Москвы - масло, сахар, чай, рыбу... У нас здесь ничего этого нет. Я бы не упоминала об этом, если бы условия жизни не были такими ужасными".

Письмо отца подтверждало ее слова. Шутливо, как бы мимоходом, он писал: «Нам говорят, сын мой, что мы достигли в СССР «свободной и счастливой жизни». Но не дай лозунгам помешать тебе найти, если сможешь, пару туфель для твоей матери. Каким-то образом «свободная и счастливая жизнь» обошла стороной Днепропетровск».

Мой новый статус облаченного доверием лица, конечно, не освободил меня от рутинного внимания со стороны чекистов. Возвращаясь в свой номер в гостинице, я часто находил явные признаки того, что мои чемоданы и ящики гардероба снова были кем-то тщательно осмотрены. Теперь, как и всегда, новые знакомые пытались втянуть меня в опасные политические дискуссии. К счастью, я научился чуять провокацию; своего рода шестое чувство, выработанное на ночных допросах в кабинетах НКВД в Никополе, предупреждало меня, что нужно молчать, когда люди казались слишком охотно «открывающими свою душу».

Я также научился оберегать свою холостяцкую жизнь от внимания посетительниц дорогих гостиниц, которых мы называли «дамами Любянки» или, проще, проститутками НКВД.

Лубянка была штаб-квартирой НКВД в Москве. Для любителей женской плоти, этих девушек отбирали чекисты и наряжали в дорогую элегантность, включая великолепные шубы, за счет потрепанного, нищего пролетариата. Те, кто немного владели иностранными языками, специализировались на иностранцах: дипломатах, американских и английских инженерах, корреспондентах газет. Остальные охотились на отдельных чиновников, достаточно высокопоставленных, чтобы снимать номера в больших отелях.

Однажды вечером, например, я сидел в своем новмере гостиницы и читал металлургический журнал, когда зазвонил телефон.

«Петр Иванович, — пожаловался женский голос, — почему вы

так долго мне не звонили? Мне вас так не хватает, дорогой».

«Извините, но такого человека здесь нет», — резко сказал я.

«Перестаньте шутить, Петя. Как будто я не узнала ваш голос!»

«Я не ваш Петя. Пожалуйста, оставьте меня в покое». .

«Вот как! Я полагаю, вы с какой-то другой девушкой! Ну, я приду и сама посмотрю!»

Минут через двадцать в мою дверь постучали. Проститутка НКВД, высокая, стройная, довольно красивая блондинка стояла в дверях. На ее кокетливой меховой шапочке блестели снежинки. Она сделала вид, что удивлена, но затем мило улыбнулась.

«Петр Иванович дома?»

«Послушай, птичка, я тут живу, и никого Петра Ивановича здесь нет. Пожалуйста, оставьте меня в покое».

«Но почему же вы так грубы со мной, мой дорогой? Такой интересный мужчина, как вы, должен говорить вежливее с привлекательной женщиной».

«Я занят. Извините, но я должен сказать спокойной ночи».

"Ах, внешность так обманчива... Ты кажешься настоящим джентльменом, но даже не предлагаешь даме присесть".

«Спокойной ночи!» — твердо сказал я. Закрывая дверь, я не удержался и добавил: «У тебя еще мало опыта. Тебе нужно больше практики».

Поскольку мне нужно было проконсультироваться с некоторыми рукодителями металлургии в Днепропетровске, я смог совершить свой визит домой за счет государства. Мне предоставили отдельное купе в вагоне первого класса или так называемого «международного вагона». Я был хорошо одет, ехал по высшей категории комфорта. Любой гражданин мог сразу увидеть во мне еще одного солидного, высокопоставленного советского представителя номенклатуры.

Кондуктор был подобострастен. Я чувствовал раздражение, что меня таким образом принимали как символ неравенства, неравенства которого я не желал.

«Жесткие» или вагоны третьего класса в конце поезда, за нашим «международным» вагоном-рестораном, были заполнены простым народом, во множестве расположившимся на двухъярусных деревянных полках. Когда я из любопытства проходил по этим вагонам, я мог чувствовать упрек и даже ненависть в их глазах за мое высокое социальное положение. На станциях, когда я выходил размять ноги, мне казалось, что я замечал такую же враждебность у оборванных крестьян, торговавших какими-то овощами, сушеной рыбой и молоком.

Вскоре мы оказались на моей родной Украине. Сам пейзаж казался более дружелюбным, чем в северных российских областях. Но мое сердце сжалось от боли, когда я увидел нищету и запустение, царившие повсюду.

Когда мы подъезжали к станции за Харьковом, я был в вагон-ресторане. Я был изумлен несколькими детскими лицами с грустными и голодными глазами, заглядывавшими в мое окно. Это были безпризорники, просившие хлеба бездомные мальчики и девочки в жалких лохмотьях. Они смотрели на одного из своих «коммунистических дядей», высокоблагородно восседавших при диктатуре пролетариата.

И это на Украине, которая когда-то обеспечивала едой не только все свое население, но и большую часть Европы! Я нервно заплатил по счету, внезапно впал в депрессию и поспешил вон из вагон-ресторана.

Какая пропасть лежала между Россией советской пропаганды и официальной статистики, с одной стороны, и реальной Россией из плоти и крови, с другой! Какая странная машина этот человеческий разум, который может отгородиться от реальности стенами бумажных побед и пустых лозунгов!

На станции Синельниково я снова вышел прогуляться на бодрящем холоде. У дверей зала ожидания первого класса я наблюдал, как милиционер выгоняет семейного крестьянина, его жену и нескольких его детей, все нагруженные тяжелыми узлами. «Вам место там, граждане, в зале ожидания третьего класса», — сказал он, и они покорно ушли. Им, как и милиционеру, никогда не приходило в голову, что трудовой народ имеет какое-нибудь право находиться в помещении первого класса в нашем советском «бесклассовом обществе».

Несколько молоденьких девушек, провинциальных и приятных на вид, юными лицами, обрамленными цветными шалями, пришли встречать поезд. Это, несомненно, был один из самых захватывающих моментов жизни в таком провинциальном городе как Синельниково.

В возбужденном нетерпении они заглядывали в окна первого класса, хихикая и подталкивая друг друга. Возможно, они мечтали, что какой-нибудь советский принц первого класса с партийным билетом и орденом Ленина, богатый и могущественный, увидит их, влюбится сразу и увезет их в сказочную страну Москву.

Мой брат Константин ждал меня на переполненной, шумной платформе днепропетровского вокзала, а с ним была его жена. Проведя вдали от дома больше года, я ещё не познакомился с этим новым членом нашей семьи. Я обнял и поцеловал их обоих. Они помогли мне с огромными упаковками с едой и одеждой, которые я привёз из столицы, и вскоре мы уже ехали домой: багаж в одном автомобиле, мы втроём – в другом. Было приятно снова увидеть знакомые улицы, площади и дома, закутанные в снежные одеяла, какими я буду помнить их всегда.

«Эх, Витя, ты похож на настоящего московского орла, настоящего сталинца», – весело говорил Константин. «Разве я не говорил тебе, Клава, что мой брат очень важная шишка?»

Мне показалось, что в его шутливых интонациях проглядывали серьёзные нотки. Чем старше становился мой брат, тем больше он походил на нашего отца. У него была та же худощавая, подтянутая внешность, та же ирония.

«Почему ты так говоришь, Котя?»

«Не обижайся, братишка. Но в моих провинциальных глазах ты кажешься таким величественным. Как бы это сказать? Может быть, это тот важный вид, который появляется у пролетарских вождей после жизни, полной самоотречения...»

«Да перестань ты, Котя, — вмешалась жена. — Ты ждёшь Виктора Андреевича с таким нетерпением, словно он твоя возлюбленная, и первое, что ты делаешь, как только он появляется, — нападаешь на него».

«Но, дорогая Клава, — объяснил он, — это мой первый и, вероятно, последний шанс напасть на сталинца!»

Мы все рассмеялись. Зная брата досконально, я не мог отнестись к его шутке так же легкомысленно, как его жена. Я знал, что он меня очень любит. Словно читая мои мысли, он ласково сжал мою руку, как делал это в детстве. Его горькая насмешка была направлена не на меня, а на породу самовлюблённых, самодовольных и духовно чёрствых бюрократов. Мне казалось, что он вторит цинизму, которым была пропитана жизнь советских масс.

Константин был во многих отношениях типичным русским интеллигентом. Он сопротивлялся всем попыткам уговорить его вступить в партию, но он глубоко любил Россию и ее народ. В наших беседах во время этого визита он как-то сказал: «Наша страна — это одно, Витя, а её государство — совсем другое... Давай не будем путать эти два». Тогда я не обратил внимания на это замечание, хотя оно выражало то, что я чувствовал сам, но позже оно постоянно возвращалось ко мне. Во время войны он будет мобилизован и погибнет на фронте.

Мои родители заметно постарели со времени нашей последней встречи. Имея трех сыновей, помогавшим им материально, они жили гораздо лучше большинства своих соседей. И всё же жизнь была тяжёлой. Даже с деньгами невозможно было достать нужную им на склоне лет еду. К тому же, отец, его дух и плоть, страдал от каждой новой репрессии, обрушивавшейся на рабочих – трудовых книжек, закона об опозданиях, повышенных норм, роста принудительного труда. Всю свою жизнь он настолько отождествлял себя с простыми людьми, что каждое новое унижение ранило его за живое, несмотря на то, что он сам был в безопасности.

Мать, казалось, стала ещё более хрупкой. Моё сердце щемило от сочувствия к ней. Доброта в ней казалась осязаемой. Она освещала её лицо и делала его таким прекрасным, что словами это не передать. Я никогда не уставал наблюдать за ней, как она готовит нам еду или хлопочет над своим выводком взрослых мужчин. Почему-то мне было приятно, что лампады всё ещё горели под её иконами, поскольку я помнил их с младенчества, – свидетельство того, что у неё был неиссякаемый источник утешения. Она была убеждена, что именно её молитвы богу спасли меня во время террора чистки, и я не перечил ей.

Вечером приехал мой брат Евгений с женой. Это была памятная встреча. Отец, который так и не научился полностью расслабиться, забыть мир и его проблемы, снова и снова пытался заговорить о политике, но был должным образом подавлен своими тремя крепкими сыновьями. Было и без того о чём поговорить. Жена Константина была инженером, жена Евгения – учительницей, и таким образом все мы были близки к суровой повседневной реальности.

На следующий день моя работа привела меня на завод имени Ленина. Там был совершенно новый административный персонал. Было бы безрассудно упоминать Бирмана, Иванченко или кого-либо другого, кто в прошлом стоял во главе этого громадного промышленного предприятия; даже Петровский, чьё имя когда-то было связано с именем Ленина в названии завода, был ликвидирован. Но среди рабочих в цехах я встретил людей, которые знали меня десять или пятнадцать лет. Они тепло приветствовали меня и толпились вокруг меня.

«Вы сделали себе имя, Виктор Андреевич, — сказал один из них, — и я счастлив от всей души».

«Да, сын старика Кравченко непременно будет наркомом. Дайте ему только время», — засмеялся другой.

Но перед моим уходом два старых рабочих поговорили со мной более серьёзно. Они были не только расстроены, но и глубоко оскорблены новыми постановлениями советского правительства.

«Теперь мы привязаны к заводам и станкам, как наши деды были привязаны к земле и сохе при крепостном праве», — вздохнул старик Ларин. «Эх, Витя, жизнь наша горька и с каждым днём становится всё горьше».

«Да, скажи нам, теперь, когда ты там, наверху, когда же мы наконец начнём жить по-человечески? Мы ждём уже двадцать два года!»

Что мне оставалось, кроме как успокаивать их дежурными фразами из газетных передовиц? К счастью, эти люди и не ждали от меня ответов. Они знали, что я так же беспомощен, как и последний из них, всего лишь ещё один и более дорогой винтик в той же бездушной машине.

Когда я вернулся домой, отец ждал меня. Он не собирался лишать себя удовольствия от серьёзной идеологической беседы с единственным сыном из троих, который унаследовал частичку его политической страсти. К тому же, я подозревал, что он считал своим священным отцовским долгом наставить меня на праведный путь. Он больше всего боялся, что я тоже могу поддаться соблазнам власти; что я могу предать класс, из которого я вышел, ради злачных мест диктатуры пролетариата.

Я успокоил его на этот счёт. Мы проговорили несколько часов. В конечном счёте, он был одним из очень немногих людей, кому я мог открыть свою израненную душу, не опасаясь доноса в НКВД. Его собственным чувством, когда он наблюдал за событиями в советской жизни, было разочарование. Моё же было гораздо сильнее. Мои сомнения переросли в глубокую ненависть к новым советским правителям, в безграничное презрение к их коммунистическим лозунгам, в неотступный страх перед большевистской машиной террора и садистских пыток.

«И я не единственный, кто так думает, папа. Чистки не принесли Сталину никакой пользы. Правда, множество честолюбивых выскочек нового призыва поспешили принести ему свои пылкие клятвы верности и занять места, прежде занимаемые убитыми и заключенными в концлагеря. Они полностью

обязаны своей карьерой чисткам. Но врагов у Сталина в партии по-прежнему много. Да, они есть в каждом кабинете, на каждом посту, в самом Кремле. Просто невозможно убить и замучить такое огромное количество людей, не оставив кровавых следов ненависти и страстной жажды мести.

«Конечно, вокруг Сталина есть и новое поколение коммунистов, которые действительно считают, что все их предшественники были предателями и врагами Сталина и коммунистической партии. Ничего другого они не знают, а противоречить им никто не смеет. Это люди, которые любят его и доверяют ему, готовые пройти за него через огонь и воду. Они – сила Сталина и трагедия страны.»

Отец вспоминал свою революционную юность. Что случилось с русскими людьми, хотел он знать. Неужели больше нет молодых людей с пламенными идеалами, со смелостью протестовать?

«Многие из нас хотели бы высказаться и кричать всему миру», – сказал я. «Но мы знаем, что это невозможно. Смерть приходит слишком быстро к тем, кто пытается что-то сделать. Только те немногие, кто смог убежать за границу, могут сказать правду. У нас же здесь страх слишком могучий, слишком всеобъемлющий».

Я сделал паузу и посмотрел в глаза моему отцу. «Если мне когда-нибудь удастся покинуть страну, папа, и я решусь высказать всё во весь голос, понимаешь ли ты, что может случиться с тобой и мамой?»

«Не беспокойся о нас», – ответил отец. «Мы старики, которые уже прожили свою жизнь». Всегда делай то, что считаешь своим долгом, Витя. Ничто другое не имеет значения. Терпеть боль самому – ничто. Знать, что ты причина боли тем, кого любишь, – вот что тяжелее всего. Как хорошо я это знаю, сынок. Думаешь, мне было легко сесть в тюрьму и оставить свою дорогую жену и детей голодать?»

Когда я уезжал из Днепропетровска, со мной была мама. Потребовалось много споров и помощь всей семьи, чтобы уговорить её поехать со мной в Москву. Она никогда не была в столице, и мне, конечно же, было очень приятно показать ей город. К тому же, я хотел дать ей отдохнуть от домашних дел. Несмотря на мои заверения, что в вагон-ресторане первого класса будет много еды, она набила чемодан съестными припасами на дорогу.

Роскошь «международного» вагона и элегантные номера гостиницы «Москва», ожидавшие нас, лишили её дара речи. В течение почти двух счастливых недель я видел Москву её глазами: спектакли в Московском Художественном театре и Малом театре, опера, балет, спортивные представления на стадионе «Динамо», художественные галереи, Парк культуры и отдыха. Обычно с нами была Ирина, женщина, с которой я познакомилась несколько месяцев назад.

«Витя, почему ты настоял на том, чтобы привезти меня в Москву?» — спросила меня мама как ни в чём не бывало, когда мы сидели однажды вечером в ресторане гостиницы.

«Что за вопрос, мама! Это своего рода подарок, чтобы показать тебе, как сильно я тебя люблю».

«Да, конечно, конечно. Но, может быть, — она посмотрела на меня с озорной усмешкой, — может быть, это ещё и потому, что ты хотел показать мне Ирину? Ну-ну, не красней, Витенька. Я вижу, ты влюблён».

«Признаюсь, мама. Ты права, хотя я не то, что бы ужасно влюблён. Я устал от одиночества и мне очень нравится Ирина».

«Могу сказать только, что у тебя прекрасный вкус. Ты с ней уже зарегистрировался?»

«Нет, но всё решено. У Ирины есть работа, которую она не может оставить, и я этому рад. Я не хочу начинать жизнь семейного человека в далёкой Сибири».

Ирина была высокой, красивой, с большими голубыми глазами и светло-каштановыми волосами. Дочь француза и русской матери, она зарабатывала на жизнь переводами литературных произведений с немецкого и французского для различных московских организаций. Я встретил её на многолюдной домашней вечеринке, куда меня привел один мой высокопоставленный друг. Что-то в ней – мягкость выражения лица, звук голоса, её тихая, непринуждённая манера держаться – произвело на меня глубокое впечатление. В тот вечер я не обменялся с ней почти ни одним словом, хотя ощущал её присутствие каждую минуту. И когда я спросил, могу ли я проводить её домой после окончания вечеринки, она не удивилась. Как будто она ожидала этого с самого начала.

Наша встречи не были драмой; тут не было той лихорадочной напряжённости, того бурного излияния чувств и признаний, которыми были отмечены мои первые встречи с Юлией или Еленой много лет назад. И всё же, уже через несколько недель мы поняли, что наши жизни будут связаны. Наши отношения были глубокими, но без потрясений. Я наблюдал за её первой встречей с моей матерью без тревоги, зная наверняка, что они будут обожать друг друга.

Несмотря на такие разные истории жизни, образование и душевный склад, Ирина казалась мне каким-то образом сделанной из того же теста, что и моя мать. Их объединяла доброта, настолько неосознанная, настолько бескорыстная, что эта доброта придавала каждому их слову и поступку измерение духовной красоты.

Когда Ирина присоединилась к нам после обеда – мы собирались послушать «Князя Игоря», – моя мать обняла её и поцеловала. Слова были излишни.

Сначала мама была в восторге от Москвы, как девчонка, но через некоторое время она задумалась, а иногда даже впадала в меланхолию.

Ей казалось несправедливым, что мы… и другие… тратили сотни рублей на гостиничные номера, изысканные обеды и развлечения, в то время как другие недоедали. Я купил три билета на «Князя Игоря» у спекулянта.

«Сто двадцать рублей!» – воскликнула она, когда я ей это сказал. «Но это столько же, сколько зарабатывает кондукторша трамвая в Днепропетровске за месяц. Это несправедливо, дети, говорю вам, это несправедливо. И посмотрите на публику! Я никогда не видела столько шикарно разодетых людей в одном месте со времён революции. А я всё думала, что у нас была революция».

«Ну, мамочка, — улыбнулась Ирина, — забудь о политике и наслаждайся оперой».

«Но 120 рублей!»

Однажды я повел её на Сельскохозяйственную выставку. Она рассматривала всё с огромным интересом — сельскохозяйственные машины, племенных лошадей, призовых коров и свиней. Она даже сняла очки в стальной оправе со своего маленького носа, чтобы лучше прочитать лозунги и статистику, расклеенные на каждой стене выставки.

«Ну, как тебе понравилось, мама?» — спросила я, когда мы ехали обратно в гостиницу. «Почему ты так притихла?»

«Витя, можешь называть меня глупой старухой, если хочешь, но мне всё это кажется маскарадом. Кому это нужно? Если в стране так много коров, почему в Днепропетровске нет мяса? Если у нас так много хлопка, почему я не могу купить рубашку твоему отцу? Это маскарад, Витя, и тем, кто его поставил, должно быть стыдно.»

Я ничего не ответил.

«Если бы не встреча с Ириной, — сказала мама, — то может быть, было бы лучше, если бы я сошла в могилу, не увидев Москвы. Это двуличный город. Несколько дорогих роскошных гостиниц, театры, музеи, рестораны, но съедешь с главных улиц — и видишь ту же нищету, что и во всей стране. Да, двуличный! С башен Кремля вы призываете к коммунизму и мировой революции, а в нескольких кварталах от него люди живут бесправно и в нищете.»

«Мама, ты политически выросла за эти две недели... Не говори папе; он будет в шоке. Я правда думаю, он любит тебя, особенно за твое старомодное политическое простодушие.»

3

Западная Сибирь занимала большое значение в советской военной доктрине, будучи расположенной так, что могла служить плацдармом и для европейской и для азиатской части советской России, если война будет на любом из флангов. В планировании развития этого региона, Военный комиссариат играл такую же важную роль, как и промышленные комиссариаты.

Сталинск считался важнейшим бастионом в советской оборонной промышленности. В Западной Сибири переплетались многие нити новой индустриализации – машиностроительная, автомобильная, авиационная, химическая, металлургическая.

В советской России, где символы часто перевешивают содержание, было важнейшим событием переименование старого западносибирского города Кузнецка на реке Томь в Сталинск. Имя всемогущего грузина в его кремлевском раю никогда не упоминалось всуе. Это означало, что это место

было предназначено для славы; и действительно, небольшие достижения в Сталинске порой казались важнее в общегосударственной пропаганде, чем крупные достижения в других местах.

Поэтому, когда я настоял на осмотре места планируемого Сталинского трубопрокатного завода, прежде чем приступить к его строительству, это уже отдавало святотатством. Товарищ Кожевников, который к тому времени уже возглавлял Главтрубосталь, был возмущен и бросил меня, как горячую картофелину, товарищу Меркулову, который к тому времени стал наркомом черной металлургии.

«В чём дело, Виктор Андреевич?» — спросил Меркулов. «Я так понимаю, что вы хотите лично проверить решение, утверждённое Наркоматом, Госпланом, Металлургическим проектным институтом, Военным комиссариатом, Центральным Комитетом партии и Политбюро. Вы в здравом уме?»

В такой формулировке моё предложение действительно звучало нелепо. Но опыт научил меня осторожности. Слепо брать на себя ответственность было для советского руководителя промышленности вернейшим путём к катастрофе. В капиталистической стране человек просто рискует своими деньгами или своим местом работы; в коммунистических условиях я в буквальном смысле рисковал своей головою.

«Раз уж мне доверили строительство на сто пятьдесят миллионов рублей, — взмолился я, — вы должны хотя бы дать мне возможность изучить место строительства, наличие рабочей силы и материалов, а также условия строительства в целом».

«Средства для завода выделены. Проектный институт в Ленинграде работал над чертежами несколько месяцев. Но поскольку это не может причинить вреда, я разрешаю поездку. Только имейте в виду, Виктор Андреевич, что мы не можем играть с партийным решением!»

Через четыре дня на поезде, в сопровождении моего главного инженера Герардова, я добрался до Сталинска. Маленькая грязная железнодорожная станция едва ли соответствовала раздутой репутации города. Грязь и неразбериха, казалось, были присущи этому сибирскому форпосту. На много миль вокруг я видел сооружения на разных стадиях строительства. Как обычно, работа над амбициозными промышленными предприятиями

началась без малейшей мысли о приемлимых условиях жизни и работы для рабочих.

Уже более 150 000 человек переполняло город, в котором несколько лет назад проживало, возможно, 30 000 человек. Кроме того, Сталинск активно использовал каторжный труд: около 8000 рабов находились в близлежащих концентрационных лагерях. Некоторые из недавно построенных административных зданий и жилых домов для высшей элиты, возведённые в основном заключёнными и при ужасающей скорости, уже просели и потрескались. Каждый дом и каждая хижина в старом городе кишели людьми. За великолепной новой административной колонией располагались вонючие трущобы, называемые «шанхайскими», и они были, по сути, такими же грязными и кишащими живыми существами, как наихудшие восточные человеческие муравейники.

Огромные барачные поселения разрослись, начиная от окраин старого города. В ужасной скученности тысячи семей жили в сырых землянках. Это были вырытые в земле ямы, покрытые самодельными двускатными крышами. Они были до боли знакомым видом вокруг новых предприятий в Советском Союзе, где жильё не могло поспеть за притоком нового населения. Они обычно были шестнадцать или восемнадцать футов в длину, восемь или десять футов в ширину и шесть или восемь футов в глубину – достаточно, чтобы кое-как спать двум человекам. Двускатные крыши обычно делались из досок и укреплялись ветками деревьев, соломой, обожжённой глиной – всем, что попадалось под руку. Немногим счастливчикам удавалось найти несколько досок, чтобы подпереть земляные стены и покрыть скользкий пол.

В советской практике сначала возводятся новые заводы и административные здания, и только потом – жилье для рабочих. Какой контраст, подумал я, проезжая по Сталинску, между этими «шанхаями», этими глинобитными «домами» и пропагандистскими картинками в наших фильмах и журналах! Как мало общего между официальной советской ложью и неофициальной правдой!

Руководство Сталинска приняло нас радушно, даже с энтузиазмом. Они гордились своим «процветающим» городом и были рады видеть ещё один крупный объект, способствующй его промышленному развитию. Но уже на первых встречах я уловил некоторую неловкость, когда обсуждались детали

картины нашего строительства. Мы с Герардовым вскоре поняли, что это смущение было полностью оправдано.

Условия для реализации трубопрокатного проекта здесь были не просто трудными или неблагоприятными, они были совершенно невозможными. Уже действующие заводы тормозились нехваткой древесины, цемента, кирпича, топлива. Несмотря на рабсилу в концлагерях, не хватало ни квалифицированных рабочих, ни жилья для них; властям пришлось принять жёсткие меры, чтобы не дать директорам различных предприятий переманить друг у друга рабочую силу. Имеющихся мощностей было недостаточно для текущих потребностей, не говоря уже о новых проектах, которые планировались.

Когда мы увидели место, где должен быть построен наш завод, мы пришли в ужас. Это был огромный голый участок грязной набережной реки на значительном расстоянии от города, без линий электропередач и газопроводов, без железной дороги и трамвая, без хотя бы одной проезжей дороги. Это было больше похоже на строительство нового города в пустыне, чем на строительство ещё одного завода в функционирующем промышленном районе, так что ни средств, ни времени, выделенных нам, совершенно бы не хватило.

Но самым серьёзным было то, что местность была совершенно непригодна для металлургического предприятия. Не нужно было быть инженером-строителем, чтобы видеть, что земля не выдержит больших зданий и тяжёлой техники, необходимой для прокатки труб. Мы с Герардовым переглянулись и пожали плечами в недоумении. Как же так, что столь много инженеров и комиссий одобрили место и планы? Кто обманул Наркомат и Центральный Комитет? Кто разрешил вложить миллионы рублей в предварительное планирование предприятия, которое было явно обречено на провал?

Мы не знали ответов. Но мы знали, что для нас взяться за эту работу было бы равносильно самоубийству. Любые сомнения, которые у нас могли быть, развеялись после посещения здания института, расположенного неподалёку и на такой же местности. Мы обнаружили, что его подвалы затоплены, стены промокли насквозь, и всё здание просело, хотя ему было меньше двух лет.

Вооружённые фотографиями, схемами, графиками и другими материалами, мы вернулись в Москву. Передо мной стояла невероятная задача – разубедить правительство в этом широко разрекламированном предприятии, получившем одобрение высшего начальства и затрагивавшем репутацию, а возможно, и свободу, десятков крупных и мелких чиновников, чьё бюрократическое безразличие или техническая неграмотность лежали в основе этого неумелого проекта.

Мой доклад Меркулову и его сотрудникам, включая Кожевникова, имел силу землетрясения. Все были потрясены. Все они, как мне было очевидно, думали только о том, как выпутаться из того, что могло перерасти в политическую катастрофу. Картина, которую я нарисовал, была слишком ясной, слишком подробной, чтобы от неё можно было отмахнуться. К тому же, быстро выяснилось, что предупреждающие голоса уже были, но страх заглушал их. Ответственные партийные руководители смотрели на меня гневными, обвиняющими глазами, как будто мои выводы, а не их собственная некомпетентность, были ответственны за неприятную ситуацию.

Последовали недели бурных совещаний, полных завуалированных угроз, что я лишусь головы, если подниму слишком много шума по этому делу. Но я сопротивлялся всем попыткам принудить меня взяться за эту работу, несмотря на уверенность, что это означало бы выброшенные на свалку миллионы рублей и напрасную трату энергии очень многих людей. В конце концов, решение было найдено: совершенно типичное советское решение, то есть решение, которое сохраняло лицо чиновников и скрывало гигантскую ошибку от широких кругов общественности.

В Кемерово, примерно в 200 км от Сталинска, также на реке Томь, строился ещё один важный промышленный центр. Во время планирования нашего проекта это место также упоминалось как возможное место для строительства трубопрокатного завода. Подгоняемая страхом, советская бюрократическая машина заработала на полную мощность, и вскоре весь энтузиазм, вызванный Сталинском, был уже перенаправлен в Кемерово.

Все плановые отделы и академики, партийные работники и технические органы внезапно обнаружили, что Кемерово должно иметь приоритет перед Сталинском. «Политическая конъюнктура» за рубежом — под которой мы подразумевали напряжённые отношения с Японией — и интересы индустриализации Сибири в целом, по-видимому, требовали, чтобы

Кемерово получило предпочтение. Со Сталинском можно было обождать -- навсегда, как я прекрасно это знал, хотя никто пока не осмеливался признать это открыто. И вот так, в суматохе, которая кажется неизбежной при планировании столь масштабных проектов, моё назначение в Сталинск привело меня в Кемерово. Я снова потребовал возможности осмотреть местность, и на этот раз Наркоминдел и Главтрубосталь не смогли возразить. К счастью, Кемерово оказалось вполне удовлетворительным. Это был город с населением около 125 000 человек, с улицами, парками и кварталами нового жилья и особенно красивыми зданиями для чиновников и администраторов. На окраинах были обычные городки из уродливых бараков и даже несколько жалких землянок, но в целом условия были вполне сносными. Я видел только одну трущобу, заслуживающую названия «Шанхай». На городских рынках, куда колхозники района приносили продукты со своих личных огородов, -- свежих овощей, мяса, молока, масла, птицы, казалось, было много; цены были значительно ниже, чем в Москве. По сравнению с Уралом, это казалось почти раем.

Место для нашего предполагаемого завода, очевидно, предназначалось для какого-то другого строительства, ныне оставленного. Мы нашли несколько готовых зданий, заложенные фундаменты для ряда зданий, железнодорожные пути, газо- и водопроводы, линии электропередачи и другие сооружения, которые значительно упростили бы нашу работу. Более того, мы находились почти в черте города, что упрощало жилищные и транспортные проблемы для наших рабочих.

Мы с Герардовым были вне себя от радости. Кемеровские чиновники пошли нам навстречу. Наш приезд означал, что город получит дополнительно около 150 миллионов рублей, и местная пресса чуть ли не визжала от гордости за строительство. Хотя здесь были коксовый завод, угольные шахты и военные заводы, главная слава Кемерово (помимо скандальной известности, полученной в результате Московских процессов, к которым я вернусь позже) была связана с его химической промышленностью. Расположенный здесь химический комбинат, один из крупнейших в мире, был построен для производства продукции военного назначения.

Нас тепло принял товарищ Сифуров, инженер, ныне занимавший пост первого секретаря горкома партии. На нашей первой беседе, как будто случайно, присутствовали два высокопоставленных чекиста НКВД. По их

вопросам мне стало очевидно, что они прекрасно понимали скрытую скандальную подоплеку внезапного переноса строительства из Сталинска в их город.

Знали это Меркулов, Кожевников и другие или нет, но глаза и уши окружавшей их советской тайной полиции были всё время широко раскрыты.

Бюро Кемеровского горкома, где я сделал доклад, одобрило перенос проекта в их город.

Я вернулся в Москву. Затем я провел несколько недель в Ленинграде, работая в Металлургическом проектном институте, который теперь отказался от Сталинска и спешно завершал проектирование для Кемерово. Значительные суммы денег поступили на наш счет в Кемеровском банке, и я отправился на новую должность с новыми сотрудниками.

Ирина проводила меня на Московском вокзале. Грусть нашей разлуки смягчало осознание того, что работа будет часто приводить меня в столицу.

4

Тяжелая работа – опиум для разочарованных. Так было, по крайней мере, в моем случае. Я взялся за трудное задание в Кемерово с упорством, которое во многом было отчаянием. Чем я беспощаднее изнурял свой организм, тем легче мне было спать по ночам. Нагружая свой мозг сиюминутными заботами о производственных делах, мне удавалось отбросить тревожные мысли о более широкой общегосударственной картине. Чем глубже я ненавидел большевистский режим террора и лжи, тем более преданно я сосредотачивал свою энергию на мой работе.

Хотя мне доверили управление предприятием, в конечном счёте расходовавшим многомиллионные государственные средства, мне не доверяли самостоятельно подбирать административный персонал. Высшие должностные лица назначались непосредственно наркоматом и начальником Главтрубостали, даже не спрашивая моего мнения. Эта система была очевидно направлена на то, чтобы все следили друг за другом и, как правило, создавала взаимное недоверие и подозрительность среди людей, объединенных для выполнения общих задач. Мне посчастливилось, что Герардов оказался одновременно и компетентным главным инженером, и приятным человеком, но нам обоим довелось работать с людьми, которые

не были компетентными, но были также невыносимыми как люди. Некоторые из местных назначенцев, очевидно, были всего лишь шпионами и осведомителями для Новосибирского обкома, Кемеровского горкома, Экономического отдела НКВД, и Главтрубостали. С самого начала наши усилия были опутаны бюрократической волокитой и блокированы бюрократической глупостью. Мне приходилось подбирать материалы и инструменты и организовывать их транспортировку и хранение. Тысячи квалифицированных и неквалифицированных рабочих нужно было набрать, а затем обеспечить их жильём и элементарными условиями жизни. В обычных условиях такие проблемы не были бы непреодолимыми. В СССР при нашей советской системе каждый шаг требовал формальных решений бесконечных комитетов, каждый из которых ревностно охранял свои права и смертельно боялся проявлять инициативу. Постоянные мелкие трудности завязывали нас в узлы, которые никто не осмеливался развязывать без указаний из Москвы. Мы жили и трудились в джунглях анкет, бумажных форм и отчётов в семи экземплярах.

Я избавлю читателя от технических диссертаций. Но несколько примеров могут передать всю «прелесть» вести дело в условиях той бесплановости, которую эвфемистически называют плановой экономикой.

Нам остро требовался кирпич. Сотни заключенных были пригнаны к нам из отдаленных концлагерей работать по четырнадцать часов в день, чтобы удовлетворить заказы в этом строительном материале, поступавшие в различные кемеровские администрации. В то же время, однако, два больших и хорошо оборудованных кирпичных завода простаивали.

Оказалось, они принадлежали другому комиссариату, который «законсервировал» их для каких-то мифических будущих целей. Я умолял, угрожал и отправлял эмиссаров в Москву, пытаясь разконсервировать эти заводы, но бюрократия восторжествовала над здравым смыслом. Кирпичные заводы оставались бездействующими на протяжении всего времени моего пребывания в городе.

Пока мы предпринимали отчаянные попытки найти жилье для наших рабочих, на окраине Кемерово, словно в насмешку, стоял квартал новых домов, недостроенных и бесполезных. Деньги, выделенные на это строительство, похоже, были исчерпаны до завершения работ. У меня были необходимые деньги на покупку и достройку этого жилья, но мне так и не

удалось прорваться сквозь бюрократические препоны. Организация, начавшая строительство, была готова отказаться от своих интересов. Все, казалось, были согласны, и разрешение на сделку, казалось, вот-вот будет получено, но этого так и не произошло.

Жизненно важная трамвайная линия, проходившая через наш район, была почти построена. Нескольких десятков тысяч рублей хватило бы для её запуска, и средства были в наличии. Но из-за бюджетных неурядиц городской совет не осмелился выделить их без решения вышестоящих инстанций. Я написал десятки срочных писем с требованием открыть трамвайную линию. Проходили бурные заседания горкома партии и Кемеровского Совета. Этот вопрос обсуждался. Но месяц шёл за месяцем, и ничего не происходило. Тем временем тысячи измученных рабочих, мужчин и женщин тратили по два-три часа в день, добираясь на работу и с работы.

Подобные проблемы были бесконечны, нагромождаясь одна на другую. Они превращали каждую мелкую задачу в крупную проблему. Они привязывали сотни бесполезных чиновников к бесполезной работе и таким образом, в некотором смысле, давали им экономическую выгоду в расширении и продлении хозяйственной неразберихи. К тому же, каждый конфликт и бюрократическая волокита усугублялись неусыпной слежкой, доносами и расследованиями.

Я не могу честно приписать проблемы и задержки чьему-то злому умыслу, хотя страсти вспыхивали, и звучали резкие слова. Истинное объяснение кроется в подавляющем, всепроникающем, животном страхе перед НКВД, парализовавшем деятельность отдельных чиновников и целые организации. Кемерово, как оказалось, пострадало от террора чисток больше обычного и поэтому восстанавливалось медленнее. Мало кто из высшего слоя технических специалистов и руководителей ещё вполне пришел в себя после ужасного впечатления от массовых арестов и казней. Город Кемерово сенсационно фигурировал в московских процессах. Его химические заводы и угольные шахты были изображены как одни из главных целей саботажа и вредительства; и именно в Кемерово, как считалось, была установлена и использовалась главарями оппозиции «секретная типография».

Главным «заговорщиком» в этом городе якобы был товарищ Норкин, один из обвиняемых по делу Пятакова, и казнённый через несколько часов после суда. Он работал в Кемерово представителем Комиссариата тяжёлой

промышленности. Видно, за грехи мои, мне теперь приходилось сидеть в том самом кабинете, из которого Норкин, если верить его абсурдному признанию, руководил своими преступными деяниями. Я ежедневно общался с людьми, которые работали с ним, и с несколькими из них, которые давали показания против него.

По мере того, как моё знакомство с этими людьми крепло, имя Норкина неизбежно всплывало в разговорах. Неизменно они при этом испытывали смущение и, как мне казалось, также глубокий стыд. Им едва ли нужно было говорить мне – хотя по крайней мере один так и сделал, – что они лгали под давлением со стороны НКВД, чтобы спасти свою шкуру. Несколько раз угрызения совести взяли верх над их благоразумием.

Однажды, после серьёзной аварии на химическом заводе, я оказался наедине с видным коммунистом, работавшим там. Рассказав мне некоторые подробности аварии, он вдруг воскликнул:

«И это как раз то, за что казнили товарища Норкина и многих других! «Вредители» и «диверсанты» давно мертвы, а аварии продолжаются. Наверное, они руководят ими из своих безымянных могил …»

«А как же признание в преступлениях самого Норкина, товарищ Л.?»

«Не будьте столь наивным, Виктор Андреевич. Если бы эти инженеры действительно хотели натворить дел, они могли бы взорвать весь комбинат. Зачем же они так деликатно ограничивались мелкими повреждениями и мелкими задержками производства? Зачем им травить рабочих? Признания ... Сказки для зарубежных идиотов!»

Любому инженеру было очевидно, что химический завод, как и многие новые советские промышленные объекты, работал с большими трудностями. Строительство было некачественным и во многих отношениях «неполным». Монтаж был неумелым. Рабочие не были достаточно обучены. Правда в том, что неопытность и честные ошибки были причиной несчастных случаев здесь до чисток и продолжали вызывать несчастные случаи теперь, когда «враги народа» были уже уничтожены.

«Архивы Наркомата тяжёлой промышленности переполнены докладами об условиях, которые могли привести к несчастным случаям», — сказал товарищ Л.

«Многие из этих докладов были написаны теми же людьми, которые позже признались в саботаже. Имеет ли смысл инженерам предупреждать об авариях и несчастных случаях, которые они сами замышляли?»

«Полагаю, нет».

«И подумайте вот о чём: как бы отреагировало общественное мнение, если бы правительство обнародовало эти отчёты в суде? Эх, лучше бы мне молчать. Но когда сердце полно, оно переливается через край».

То, что было справедливо для химических предприятий, применимо и к угольным шахтам. Однажды секретарь парткома Сифуров вызвал меня к себе в кабинет в партийном комитете. В то утро одна из шахт была затоплена. Известие об аварии разнеслось по всему городу, и Сифуров был очень расстроен.

«Товарищ Кравченко, нам нужно несколько сотен пар резиновых сапог для рабочих, откачивающих шахту», — сказал он. «Мне сказали, что у вас есть запас сапог, и я прошу вашего содействия».

Я, конечно, согласился одолжить ему сапоги. Затем я подтолкнул его к обсуждению аварии. Может быть, это очередной саботаж, хотелось бы мне узнать.

«Не стоит торопиться с такими выводами», — сказал Сифуров. «Покажите мне хоть одно угольное предприятие, где бы то ни было, здесь или за рубежом, которое бы не взрывалось, не обрушивалось и не затапливалось время от времени. Это в природе нашей работы, особенно здесь, где оборудование всё ещё довольно примитивно."

"Тем не менее, — настаивал я, — мы знаем из судебных процессов и признаний обвиняемых, что кемеровские шахты кишели вредителями."

Секретарь посмотрел на меня долгим взглядом, криво усмехнулся и переменил предмет.

Некоторое время спустя, в местном управлении угольного треста, я был на совещании с чиновником, с которым подружился. Наш разговор вышел за рамки обычного рабочего времени, и вскоре мы остались наедине. Внезапно, ни с того ни с сего, он подошел к картотечному шкафу и вытащил папку, которую, не говоря ни слова, передал мне.

Я открыл папку и начал наугад читать копии отчетов в Угольное управление в Москве. Это были отчеты, составленные задолго до взрывов и других аварий, впоследствии названных саботажем. В настойчивом, а порой и отчаянном тоне они предупреждали, что во избежание гибели людей и ущерба государственному имуществу следует незамедлительно принять меры защиты. Значение этих предупреждений было достаточно ясным. Диверсанты вряд ли бы так энергично просили принять меры, чтобы предотвратить их собственные преднамеренные преступления...

Признание Норкина о создании подпольной типографии было подтверждено на судебных процессах в Кемерово и Новосибирске другими арестованными и подтверждено фотографиями самой типографии и копиями антисоветских листовок. Это было одно из тех немногих признаний, которые, казалось, были подкреплены документальными доказательствами. Я был заинтригован этой историей и не упускал возможности пролить свет на неё теперь, когда я был на месте преступления.

За почти год проживания в Кемерово мне удалось сложить воедино факты, и они оказались действительно весьма поразительными. Я не смею раскрывать, как я получил эту информацию, по частям в течение длительного периода, посколькуэто могло бы поставить под угрозу жизни порядочных людей. Мне приходится лишь констатировать шокирующую правду – правду настолько шокирующую, что я не мог поверить в неё, пока не получил абсолютного подтверждения:

Секретная типография действительно существовала. Много раз я был в подвале, где она стояла; там всё ещё сохранились следы её присутствия. Листовки, с критикой на Сталина и призывающие к восстанию, действительно печатались. Но секретная типография была установлена чекистами, листовки были составлены и отпечатаны *самим НКВД*. Чтобы гарантировать молчание, организаторы этой провокации использовали в этом деле в качестве рабочих только тех, кто физически не смогли бы рассказать об этом -- узников, ожидающих смертной казни или приговорённых к длительным срокам заключения.

Вся работа выполнялась под покровом ночи. Узники, конечно же, находились под постоянной охраной НКВД, а техническое руководство осуществляли чекисты, специализирующиеся на подобных делах.

«А как же листовки?» – спросил я одного человека, знавшего эти факты. «Тысячи из них должны были быть распространены здесь».

«Какая чушь!» — ответил он. «Вы прекрасно знаете, что любого, пойманного с такой листовкой, тотчас бы арестовали. Но я не знаю здесь ни одного ареста по такому обвинению, как и никто другой. Никто из наших рабочих, похоже, никогда не видел и даже не слышал до суда об этих знаменитых листовках. Не иначе как заговорщики печатали их просто для себя, ради того, чтобы было что почитать перед сном».

Тот факт, что Кемерово — его угольные шахты, химические заводы, строительные тресты — удостоилось чести сыграть важную роль в заговорах, оставил после себя наследие в виде парализующего страха. Результатом было то, что никто ничего не делал без трех подписей и без трез печатей на документах из Новосибирска и Москвы. Оглядываясь назад, самое невероятное заключается в том, что нам удалось сделать столько же, сколько и до того, как всё начинание было остановлено очередным загадочным изменением в политике. Но здесь я забегаю вперёд в моем рассказе.

ГЛАВА XXI

ПОКА ЕВРОПА ВОЮЕТ

ДОГОВОР между Гитлером и Сталиным в 1939 году, навсегда останется в моем сознании, соединенным с сибирским городом, где я тогда работал. Именно в Кемерово я увидел, как этот пакт, подобно метеору, пронесся по нашему горизонту и стремительно врезался в умы и сознание членов партии. Он оставил нас всех ошеломленными, растерянными, и недоуменными.

Короткое и пыльное сибирское лето подходило к концу, окутанное шумом слухов о пограничных столкновениях с Японией. Шквал военных тревог, вызванный Мюнхенским соглашением прошлого года, еще не совсем утих. Те из нас, коммунистов, кто вообще задумывался над такими вопросами, осознавали угрозы с обеих сторон. То, что Германия может помириться с СССР, никогда не входило в наши расчёты, ведь нам так долго говорили как само собой разумеющееся, что у нацистов был только один враг – советский большевизм, и они готовятся напасть на СССР.

Я считал Кремль способным на любую подлость и вероломство. Его зверские методы и в отношении собственного народа и в формах организации власти давали для этого все основания. Читая или слушая постоянную антигитлеровскую пропаганду в СССР, я не мог не сказать самому себе: «Но ведь это наши собственные советские зверства?»

Тем не менее, я долго отказывался верить в известие о советско-германском пакте. Должно быть, произошла какая-то ошибка, думал я, и все вокруг, казалось, были столь же недоверчивы. Ведь ненависть к национал-социализму и к Германии вдалбливали в советские головы постоянно год за годом. И эта ненависть преподносилась как обязательная советская добродетель. Советских детей приучали играть в игры про фашистов и коммунистов; фашисты, которым всегда давали немецкие имена, каждый раз терпели поражение, а торжествующие победители заканчивали тем, что пели советский пионерский гимн «Всегда готов! Всегда готов!» В тирах мишенями служили вырезанные фигурки немцев, выставлявшие напоказ свастики.

Всего за несколько недель до пакта Молотова-Риббентропа мы слушали на партийном собрании до боли знакомую обязательную лекцию о положении в мире. Как всегда, Адольф Гитлер фигурировал как главный злодей, креатура и орудие мирового капитализма, готовящийся напасть на нас. Когда партийный докладчик говорил, что Гитлер и его партия – диктаторы и тираны, что Гитлер и его окружение обожествлены, что в гитлеровой Германии нет свободы слова и печати, что все там живут в страхе и ужасе перед Гестапо и концлагерями, то многие из нас невольно думали, что он точно описывает СССР, НКВД, Сталина и советскую действительность.

В кинотеатре на главной улице Кемерово постоянно показывали антинемецкий фильм «Профессор Мамлок». В этом фильме Германия Гитлера изображалось как сборище садистов и недочеловеков, одержимых ненавистью к самому свободному государству рабочих и крестьян, Советскому Союзу, и готовящаяся напасть на него.

Только когда мы увидели кинохронику и газетные фотографии, на которых улыбающийся Сталин обменивается рукопожатием с Риббентропом, мы начали верить в невероятное.

Свастика и серп с молотом, развевающиеся бок о бок, в Москве! И вскоре после этого Молотов объяснил нам, что немецкий социализм — это, в конце концов, «дело вкуса»!

Чтобы оценить наше изумление, нужно знать официальную большевистскую партийную линию в отношении немецкого национал-социализма и итальянского фашизма в целом вплоть до момента заключения договора. Национал-социализм, как нам говорили, отличался от капитализма не по существу, а лишь по виду и степени. Это был просто капитализм в его последней, агонизирующей стадии, капитализм без камуфляжа «демократии» и «парламентских уловок». В Италии и Германии, по нашей версии, капитализм был вынужден сбросить свою «демократическую маску» и открыто развязал против рабочих и крестьян тот же террор, который в замаскированной форме применялся в Америке, Англии и других странах. Фактически, это был лишь вопрос времени, когда остальной капиталистический мир, прижатый к стене своими экономическими грехами, также откажется от своей фальшивой демократии и вступит на путь открытого фашизма.

Нам внушали, что фашизм был, таким образом, лишь железным кулаком всего капиталистического, империалистического мира Америки и Англии. Война между фашистской Германией и ее капиталистическими покровителями была, говорили нам, немыслима, нелогична. Теперь, когда такая война началась, она казалась нам не менее безумной, чем договор о дружбе между СССР и Германией.

Но для советского государства, осуществляющего абсолютный контроль над прессой, радио, школами и университетами, – с тайной полицией, террором обеспечивающей единодушие мнений, невозможного нет. Как только первое впечатление прошло, мы тотчас приняли новую версию мировых отношений как общеобязательную. Теперь из Кремля нам говорили, что французские и британские империалисты, поддерживаемые американским крупным капиталом и польскими помещиками, ведут войну против немецкого фашизма, а Советскому Союзу следует соблюдать нейтралитет и наблюдать за событиями издали.

«Профессор Мамлок» исчез с экранов кинотеатров вместе с «Семейство Оппенгейм» и всеми другими антифашистскими фильмами.

Находясь в Москве по делам, я узнал, что несколько выставок, посвящённых национал-социалистическому искусству и экономическим достижениям Германии, уже экспонировались или находились в процессе организации. Сотни немецких военных и торговых чиновников были видны в московских гостиницах и магазинах.

Советским людям не нужны изощренные аргументы, чтобы согласиться с коммунистическим мнением. Привитый им инстинкт самосохранения делает своё дело. Советский человек приучен не просто верить, а верить глубоко, горячо, с энтузиазмом в любой абсурд, предписанный партией. Великий вождь Сталин знает, что делает – такова была реакция партийной коммунистической массы.

Мы, коммунисты, говорили о новом повороте событий не только на официальных дискуссионных собраниях различных партийных организаций, но и в частном порядке, у себя дома и на заводе. Как мы, кемеровские коммунисты, говорили мы или подразумевали, можем притворяться, что понимаем столь серьёзные вопросы? Наша работа заключалась в строительстве и управлении заводами, и в руководстве людьми, работающими на заводах, с твёрдой верой в то, что наш Любимый Вождь не может ошибаться. Только немногие непокорные среди партийцев, действительно, продолжали думать об этом вопросе. Остальные вскоре стали такими же апатичными, как и всё остальное население. После двадцати двух лет жизни при советской власти подлинное общественное мнение перестало существовать.

Казалось, что Советский Союз остался в стороне от войны, происходившей в Европе, и это казалось чем-то благовидным. Более того, СССР получил военныую добычу – половину Польши, Бессарабию, позже три страны Балтии – под мудрым руководством Сталина. Кремль считал само собой разумеющимся, что воюющие страны со временем обескровят друг друга, оставив большевисткий СССР настоящим хозяином Европы. Пока капиталисты борются, «мы, коммунисты под руководством Сталина, будем укрепляться, накапливать оружие, наблюдать за всем, и извлекать выгоду из военного кофликта». Когда интернационал-капитализм и национал-социализм ослабят достаточно друг друга, тогда мы бросим Красную Армию в двадцать миллионов вооруженных до зубов солдат на весы европейской истории; к тому времени революции во многих европейских странах

перейдут из теоретической в практическую стадию. В какой-то момент борьбы трудящиеся массы восстанут против своих эксплуататоров. Тогда империалистическая война превратится в гражданскую войну и общеевропейскую революцию. Такова была в то время официальная большевистская тактика Сталина и Советского Союза.

Когда СССР напал на Финляндию в конце ноября 1939 года, мы были смущены. На наших партийных собрания, коммунистические пропагандисты из центра, объяснявшие нам новую ситуацию, казались скованными и нервными, не вполне уверенными в том, какую партийную линию им надо проводить. Одно было несомненно, что Сталин вел какую-то нам неведомую крупную игру.

2

На мою работу в Кемерово в 1940 году было выделено сорок семь миллионов рублей. К концу 1939 года была проведена необходимая подготовка, и мы были готовы приступить к строительству основных зданий нашего будущего завода.

В соответствии с советской процедурой, фактическое строительство было передано по договору строительному тресту «Кемеровострой». На них также лежала ответственность за набор необходимой рабочей силы. Но поскольку я был больше всех заинтересован в скорости и качестве работы, то я, естественно, принимал участие во всех переговорах по рабочей силе. И вот так я впервые оказался непосредственно вовлечён в процесс реализации крупномасштабной сделки по каторжному концлагерному труду в СССР.

И первый секретарь обкома партии в Новосибирске, товарищ Барков, и наш секретарь в Кемерово, Сифуров, помогали тресту обеспечить достаточное количество рабочей силы. Кемеровский Совет также принимал активное участие в этом вопросе.

Хотя и предполагалось использовать вольнонаёмных рабочих, но основная ставка делалась на труд заключённых из концлагерей. НКВД, через своих региональных начальников, согласился предоставить две тысячи рабов для начала, с тем чтобы увеличить их число весной, когда станет возможным строительство в более крупных масштабах. Детали были согласованы на нескольких совещаниях в «Кемеровострое» и в управлении НКВД. Было много оживленных переговоров о квалификации поставляемых рабов и о

ценах на них. Посторонний, подслушавший дискуссию в середине разговора, предположил бы, что речь идёт о лошадях или мулах, а не о людях.

На первой встрече я слушал и говорил мало. Я думал: «Так вот каковы советская демократия и большевизм на практике, в советском обществе свободной и счастливой сталинской жизни... Так вот она, та новая жизнь, которую мы пытаемся силой навязать Финляндии сейчас, а остальной Европе после...» Меня пробрала дрожь, и я, должно быть, побледнел. Я почувствовал слабость. Сифуров посмотрел на меня с недоумением.

«Вы нездоровы, Виктор Андреевич?»

«Нет-нет, я в порядке... просто не выспался на этой неделе».

Представитель НКВД стал объяснять, что с их стороны недостатка в рабочей силе нет, включая необходимый процент квалифицированных рабочих и мастеров. Он может предоставить пять тысяч, десять тысяч, любое количество, какое мы пожелаем. В его голосе слышалась профессиональная гордость – хозяин, гордящийся своими лошадьми и конюшнями. Единственная сложность заключалась в том, где их разместить. Несколько концентрационных лагерей в непосредственной близости от Кемеровской области теперь насчитывали около пятнадцати тысяч человек, и он сомневался, что туда можно будет втиснуть ещё.

Можно ли достаточно быстро построить и укомплектовать новый концлагерь, чтобы он отвечал нашим целям? Возможно, стоит построить дополнительные бараки в существующих лагерях? В конце концов, мы согласились осмотреть один из самых больших местных концлагерей, прежде чем давать определённые рекомендации по этому вопросу.

Морозным и ветреным утром мы отправились туда на лимузине, чтобы увидеть всё своими глазами. Нас было четверо: чекист НКВД, представитель треста, секретарь горкома и я.

Езда по снегу была медленной, но минут через двадцать мы достигли места назначения. Лагерь располагался на возвышенности с видом на приток, ответвляющийся от Томи. Это был почти квадратный участок, окружённый высоким частоком, увенчанным колючей проволокой, со смотровыми вышками по четырем углам и караульной будкой у входа, где мы и высадились.

Деревянные бараки были расположены параллельно сторонам участка, образуя большой квадрат и оставляя большое пространство, похожее на плац, в центре. Это открытое пространство находилось в прямой досягаемости пулемётов на всех вышках, так что можно было вести сосредоточенный огонь со всех сторон в случае необходимости. У входа стояло несколько добротных домов, в которых размещались администрация и помещения для охраны.

Нас ждали, и сразу же проводили в главный кабинет, где нас встретил комендант концлагеря. Он был не только приветлив с нами, но и почти подобострастен. Это был невысокий, коренастый человек. Было видно, что он благоговел перед горкомом и функционером НКВД, возглавлявшим нашу группу. Причину этого я узнал позже. Оказалось, что он был видным коммунистом, сосланным из Москвы. Хотя его и поставили комендантом лагеря, он сам был ссыльным, и его политическая лояльность находилась под постоянным контролем НКВД. Поэтому партийное руководство и Кемеровское управление НКВД следили за ним и регулярно докладывали о его поведении в концлагере.

Хотя я уже до того несколько раз я бывал в концентрационных лагерях, я все ещё не привык к этому испытанию. Меня всё ещё охватывало болезненное любопытство ко всем подробностям концлагерной жизни. Только человек, осматривающий тюрьму, где он, как он ожидал, когда-нибудь окажется, мог понять моё душевное состояние.

Выглянув в окно, я увидел около пятнадцати женщин-заключённых, нелепо одетых на морозе, у штабеля дров возле одного из кирпичных зданий. У одной из них на голове был мешок. У нескольких других руки были обвязаны тряпками вместо перчаток. Вскоре появились ещё четыре женщины, несущие огромные вёдра, из которых поднимались клубы пара.

«Что они делают?» — спросил я, обращаясь к коменданту.

«Кормят свиней и птицу», — сказал он, а затем добавил с некоторой гордостью: «Мы здесь выращиваем свое собственное мясо».

«Для заключённых?»

«Заключённых?» — переспросил он и расхохотался, как будто я сказал что-то смешное или остроумное. «Неужели вы думаете, что мы будем кормить

врагов народа мясом? Здесь не курорт и не ресторан. Но поверьте, с едой для нас самих и охраны тоже не всё так просто.

«А кто эти три старика вон там?»

Я указал на трёх бородатых мужчин в рваных кафтанах, с головами, обмотанными платками, которые работали над грудой камней.

«Попы. Они слишком слабы, чтобы пройти восемь километров до кемеровских заводов, но зарабатывают на свой хлеб, работая здесь в лагере».

«Любопытно, — заметил представитель треста, — как эти контрреволюционеры становятся полезными членами общества, когда их сажают за колючую проволоку. Я замечал это во многих лагерях».

«Это совершенно верно, и я сам так думал», — согласился комендант.

Сидя в кабинете, мы обсудили нашу проблему. Хотя лагерь, насчитывающий около трёх тысяч заключённых, уже был переполнен, комендант считал возможным разместить ещё тысячу, хотя это будет непросто. Он объяснил, что некоторые бараки уже работали в две смены: одна смена спала, а другая работала. К сожалению, это не всегда было легко организовать, так как многое зависело от вида работы, на которую отводили заключённых. Одним из возможных решений, считал он, могло бы быть строительство третьего яруса «коек».

«Правда, это немного стеснит их, но зато в среднем ярусе, во всяком случае, будет теплее». И он снова расхохотался.

Чтобы сделать этот план более понятным, он пригласил нас пройти по некоторым баракам. Мы надели шапки и пальто и последовали за ним.

Чекисты с винтовками и примкнутыми штыками попадались нам на глаза регулярно. Бараки, сделанные из некрашеных досок, щели в которых были заткнуты опилками, были заперты снаружи.

«Сколько вмещает одно такое сооружение?» — спросил я.

«Это зависит от обстоятельств. Обычно от 300 до 350. Вот это, — сказал надзиратель, когда охранник открыл дверь, — вмещает 310 женщин».

«Встать!» — крикнул охранник в длинный, тусклый, низкий барак.

Заключенные женщины с готовностью подчинились, те, кто сидели на верхних полках, с торопливой поспешностью спускались вниз. Только трое или четверо остались лежать; по-видимому, они были больны или слишком слабы, чтобы двигаться. Это были женщины всех возрастов, молодые и старые, но все одинаково изможденные и истощенные.

Густой запах застоявшегося пота и раздавленных клопов вызвал у меня легкую тошноту. Сквозь грязные зарешеченные окна проникало очень мало дневного света. С потолка свисало несколько маленьких электрических лампочек, но сейчас они не горели. В бараке было так холодно, что был виден пар нашего дыхания, но многие женщины были полуодеты. Кое-где одна из них,застанная неожиданным посещением, пыталась прикрыть грудь одеждой, но большинство из них выглядели угрюмыми и равнодушными к своему виду; последняя капля естественной женской стыдливости уже исчезла из них. Некоторые лица были очень молоденькими, другие – старыми и морщинистыми, но подавляющему большинству женщин, как мне казалось, было лет двадцать-тридцать.

Нары представляли собой голые доски, шириной, возможно, около метра, прикрепленные к тяжелым балкам в два яруса – просто ряды полок в два этажа, без матрасов и каких-либо постельных принадлежностей. Здесь заключенные спали, по одной на полке, в одежде, под головой у них лежала какая-то рваная одежда, свернутая в рулон вместо подушки. В центре барака стояла небольшая дровяная печь, почти бесполезная для барака такого размера. За исключением нескольких помойных ведер у входа для физических нужд заключенных, в бараке не было ни мебели, ни скамеек, ни столов, буквально ничего.

По прибытии в советский концентрационный лагерь у заключенных отбирают все письма, фотографии родственников и друзей и все другие напоминания о внешнем мире за пределами концлагеря. У заключенных отбирали постельное белье и даже такие элементарные вещи, как зубные щетки и ножницы. Им выдавали металлические чашки, миски и деревянную ложку. Эти вещи они хранили на своих «кроватях» или вешали на стены. Книги, бумага и карандаши были для заключенных строго запрещены, и, само собой разумеется, не было радиоприёмников. Переписка с родственниками не разрешалась и была физически невозможна.

Вдоль одной из узких стен стояло нечто вроде железного корыта, а над ним – раковина с водой и капающими кранами. Наш официальный гид, указывая на них, назвал это «их умывальником». Затем он развил свою идею о том, что дополнительный ярус, добавленный к уже существующим нарам, может позволить втиснуть в этот барак ещё сотню женщин.

Он говорил как будто о скоте, не обращая ни малейшего внимания на узниц, которые молча стояли и слушали наш разговор. На одной из стен я заметил потрёпанную полоску красного флага, на которой прочитал лозунг, написанный белой краской: «Труд – путь к реабилитации».

«Все эти заключённые – уголовные преступники?» – спросил я, выходя.

«Нет, — сказал надзиратель, — это всё политические — кулаки и прочие

контрреволюционеры. В мужском бараке мы их содержим вместе с уголовными, но в женском, как мы обнаружили, лучше держать уголовные элементы и проституток отдельно от политических. Проблема дисциплины с женщинами-заключёнными гораздо сложнее.

Чекист провел нас в другой барак, несколько меньших размеров. Здесь все женщины были уголовницами, некоторые из них — проститутки, сказал комендант лагеря. Догадавшись, что меня больше интересует концлагерь, чем переговоры, которые привели нас сюда, он, казалось, был готов меня просвещать.

Заключённые женщины снова вытянулись по стойке смирно. Полагаю, для нормального мужчины нет более ужасающего зрелища, чем несколько сотен грязных, больных, оборванных женщин. Глубоко укоренившийся во мне романтизм мужчины был возмущён.

«Староста, подойди сюда», — приказал надзиратель.

Староста барака вышла вперёд. Ей, казалось, было лет тридцать пять, в рваном, залатанном платье. Её черты лица носили следы былой миловидности. Она стояла по стойке смирно, заложив руки за спину.

«Здесь всё в порядке, начальник», — доложила она чётким, но бесстрастным голосом. «Одна больна. Остальные готовы принять пищу и идти на работу».

«Хорошо, свободна!»

Мой взгляд упал на табличку, прибитую к стене возле двери, где мы стояли. Я прочитал её – напечатанный список правил, предписывающих чистоплотность и строгое повиновение. В конце крупными чёрными буквами я прочитал положения о наказании: первое нарушение – два дня без пищи; второе нарушение – одиночное заключение не менее недели; третье нарушение, по усмотрению начальства, продление срока заключения или «высшая мера социальной защиты», что на советском языке означало расстрел.

Когда мы вышли из этого барака, я спросил нашего хозяина, приходилось ли ему применять смертную казнь к заключённым.

«Со времени прошлогоднего мятежа, нет», – ответил он. Видимо, он предполагал, что я, как кемеровский партиец, пойму, на что он намекает.

Мужские бараки, куда он нас теперь отвёл, были одинаковы с теми, что были на женской половине. Немного привыкнув к виду и запахам, я смог рассмотреть концлагерных рабов повнимательнее. Почти все они были русские. Несмотря на то, что все они были небриты, неописуемо грязны и изможднны, я различал лица, которые казались мне умными, даже интеллигентными. Возможно, инженеры, профессора, литераторы, ученые, подумал я. Я заметил одного высокого, широкоплечего заключённого, стоявшего прямо и смотревшего мне прямо в глаза. Я был уверен, словно он всё ещё был в униформе, что он был военным. Но подавляющее большинство казались простыми крестьянами и рабочими. В одном из бараков старостою был атлетического телосложения мужчина со сломанным носом и маленькими пронырливыми глазками.

«Это Щелкунчик», — объяснил надзиратель.

«Почему щелкунчик?» — спросил я.

«О, он известный грабитель и взломщик сейфов, известный под этой кличкой в нескольких областях», — засмеялся он. «Из уголовников лучше получаются надсмотрщики и старосты бараков. Они не такие мягкотелые.» «Большинство уголовников смотрят на политических свысока», — добавил энкавэдовец, улыбаясь. «Потому, что они не враги народа … Просто негодяи, преступившие закон».

«Каково соотношение уголовных и политических?» — спросил один из нас.

«Обычно здесь не более 10–15 процентов уголовных элементов, и это включая проституток. Но, конечно, мы не делаем различий в обращении с ними».

По дороге домой я узнал еще несколько подробностей от чекиста. Я узнал, что заключенным не разрешается курить в бараках. Лишь в очень редких случаях их родственники знают, где они находятся. Людей, осужденных на короткие сроки, обычно помещают в тюрьмы или исправительно-трудовые колонии, так что концентрационные лагеря заполнены в основном мужчинами и женщинами, отбывающими сроки в пять, восемь, десять и более лет, или пожизненное заключение.

Срок на самом деле не имеет значения, поскольку освобождаются очень немногие. Их не освобождают автоматически по окончании срока, а только по специальным приказам НКВД из Москвы, который обычно продлевает сроки заключения произвольно, чтобы поддерживать свои армии рабского труда в полном составе.

Освобожденным узникам редко, если вообще когда-либо, разрешают вернуться на родину в свой родной дом. Вместо этого им приказывают селиться в предписанных регионах, обычно отдаленных районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Действительно, в Советском Союзе существуют большие населенные пункты, состоящие почти сплошь из бывших заключённых.

В самых известных лагерях смерти на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в сибирской тайге содержится от тридцати до сорока тысяч заключённых в каждом. Поскольку уровень смертности в них ужасающе высок, в некоторых из этих концлагерей есть специальные бригады заключённых, чья единственная обязанность состоит в том, чтобы двенадцать-четырнадцать часов в день закапывать умерших.

В лагере, который мы только что посетили, хлебный паёк для заключённых — а хлеб это их основная пища — составлял от 300 до 800 граммов в день, в зависимости от вида работы, характера преступления и выполнения норм выработки. Кроме того, заключённым иногда давали жидкий горячий суп из картофеля и овощей, кашу и немного вяленой рыбы. За невыполнение норм выработки , их лишали пайков или сокращали их, выгоняли на мороз без обуви или одежды. Цинга, дизентерия и другие болезни, вызванные

недоеданием, а также обморожения были обычным явлением во всех концлагерях. Мало у кого из заключённых, которых мне довелось видеть, не было гноящихся язв, воспалённых глаз и других видимых признаков подорванного здоровья. При настоящей рабовладельческой системе, например такой, которая существовала для негров в Соединённых Штатах до Гражданской войны, рабы представляют собой экономическую ценность и, следовательно, получают по крайней мере такую же заботу и уход, как и рабочий скот.

Но положение советских концлагерных рабов в СССР несравненно хуже, чем было положение негров-рабов в Америке. Человеческие ресурсы в СССР считаются практически неисчерпаемыми, и современный рабовладелец - партия и советское государство - считает более экономичным позволить им просто погибать в массовых масштабах, чем кормить и одевать их.

«О каком мятеже он упомянул?» — спросил я.

«О, это случилось в конце 1938 года», — пояснил секретарь партии. «Некоторые заключённые отказались выходить на работу... что-то насчет того, что их кормили гнилой едой. Администрация, конечно же, действовала энергично. Четырнадцать зачинщиков, двенадцать мужчин и две женщины, были расстреляны.

«Расстрелы проходили в лагере, и все заключённые были построены в ряд, чтобы они видели казнь. Затем наряды из каждого барака помогали копать могилы прямо за колючей проволокой. Мало шансов на новый бунт, пока свежа память об этом. Естественно, комендант каждого лагеря имеет власть над жизнью и смертью всех заключённых. Сейчас не время либеральничать с врагами народа».

Последнее заявление, очевидно, было сделано в качестве политической страховки. Хотя чекист из НКВД и был закадычным приятелем секретаря партии, но зачем рисковть?

Прежде чем был решен вопрос о привлечении на работы двух тысяч рабов, весь проект был отменен – «законсервирован», выражаясь бюрократическим языком.

Не подозревая, что вся моя кемеровская работы отправляется в мусорный ящик, я обрадовался внезапному вызову в Москву в конце декабря 1939 г. Это позволило бы мне встретить Новый год с Ириной. Я предполагал, что речь идёт о простом совещании по нашим планам на 194о год. Но товарищ Комевников считал иначе.

«У меня для вас плохие новости, Виктор Андреевич», – сказал он. «Естьрешение ЦК и Совнаркома о временном приостановлении работ по Кемеровскому трубопрокатному проекту. Ассигнования урезаны до одного миллиона рублей, как раз для консервации уже выполненных работ».

Я смотрел на него в замешательстве.

«Но это невозможно! Мы так усердно работали. Всё в таком прекрасном состоянии. Как такое возможно? В подготовку вложены миллионы», – продолжил я. «Подготовлено огромное количество строительных материалов. Любой, кто знаком с сибирской промышленностью, знает, что проект необходим. Почему же, чёрт возьми, все отменено?»

«Не спрашивайте меня, я всего лишь глава Главтрубостали. Со мной не консультировались – меня просто проинформировали. Между нами говоря, я так же расстроен, как и вы».

«А как насчёт меня, товарищ Кожевников? В конце концов, я ответственный директор и потратил миллионы рублей на предварительную работу. Разве я не должен сообщить партии о том, что я думаю об этом решении?»

Наука, приобретенная мною во время террора чисток, сделала меня бдительным к возможной опасности. Я понимал, как легко невинные чиновники могут стать козлами отпущения за ошибки в высших эшелонах власти, а отмена кемеровского проекта казалась мне ужасной ошибкой.

«Я бы посоветовал вам, Виктор Андреевич, держаться скромно. Просто завершите дела в Кемерово и вернитесь сюда. Кемеровострою уже велено прекратить работы».

Стоило ли мне последовать его совету и промолчать про это решение? Я мучился этой проблемой неделями. Выражение моего мнения оскорбило бы бюрократов в правительстве и партии, ответственных за это решение. Это нажило бы мне врагов, хотя и послужило бы мне некоторого рода политической страховкой. С другой стороны, пассивное отношение могло бы

в какой-нибудь будущей чистке быть предъявлено мне как доказательство моего безразличия, недостаточного партийного усердия и бдительности. У меня были веские основания опасаться, что в будущих чистках будут найдены новые вредители и саботажники, новые враги народа, которые в качестве козлов отпущения должны быть примерно наказаны. Ни Центральный Комитет, ни Совнарком не будут обвинены — они по определению безгрешны, — но будут обвинены невинные люди, такие как я. К тому же, мои размышления на эту тему были окрашены эмоциями. Я чувствовал разочарование.

Даже в условиях убийственно безличной системы советского планированияа, человек склонен отождествлять себя со своей работой. Я беззаветно отдался кемеровскому проекту. Его масштаб и значение для будущего Сибири глубоко меня интересовали. Я работал, строил планы и спорил со всевозможными чиновниками в интересах тех крупных заводов, которые я видел мысленным взором на этом месте. Теперь мне было нелегко признать, что всё это было напрасно.

Сомнения относительно моего поведения развеялись, когда я вернулся в Кемерово. Я обнаружил, что власти города были встревожены поворотом событий. И городской комитет, и обком в Новосибирске направили официальные доклады в Москву с просьбой пересмотреть решение. Они говорили, что проект находится на продвинутой стадии, и многие жизненно важные заводы рассчитывали на этот новый источник стальных труб. Более того, оба отчета хвалили администрацию проекта и, особенно меня, как его руководителя.

Как честный коммунист, я чувствовал, что у меня не было иного выбора, кроме как поддержать их просьбу – ошибка, которая будет впоследствии долго преследовать меня. В заявлении, адресованном Центральному Комитету партии и товарищу Меркулову, наркому черной металлургии, я просил о продолжении строительства в Кемерово.

Вернувшись в Москву, я быстро обнаружил, что мой поступок вызвал больше злобы против меня, чем я предполагал. Каждая большевистская советская организация – это рассадник личных распрей, соперничающих клик, гневной зависти. Это почти неизбежно в той атмосфере, где политическое мастерство и влияние являются решающими факторами. Кожевников был раздосадован тем, что я проигнорировал его совет. Его помощник, Голованенко, которому

я перешел дорогу по нескольким инженерным вопросам, по-видимому, давно был настроен ко мне враждебно. Теперь у него были основания для своих обид. Нарком Меркулов, действительно, казался единственным, кто одобрил мои действия. Но вряд ли он мог оказать мне поддержку. Он конфиденциально сообщил мне, что вся чёрная металлургия находится под следствием специальной комиссии Центрального Комитета партии, возглавляемой Маленковым. В состав комиссии входил Иван Тевосян, армянин, занимавший высокое положение в сталинской номенклатуре. Было ясно, намекнул он, что именно ему, Меркулову, суждено стать жертвой накопившихся проблем в отрасли. Вскоре после этого его действительно сняли и заменили Тевосяном.

Прошло больше месяца, а ответа на мой доклад от Центрального Комитета не было. Я забеспокоился. По совету политически бдительных друзей, я отправил копию своего заявления также в личный секретариат Сталина. Хотя этот шаг мог защитить меня от прямых карательных действий со стороны оскорбленных или встревоженных чиновников Наркомата, он увеличил мою вину в их глазах.

Они отомстили с лихвой. Состряпав против меня мелкое и надуманное уголовное дело, о котором я расскажу позже, им удалось втянуть меня в два года фантастической тяжбы. Им не удалось отправить меня в тюрьму, и в конечном итоге я был полностью оправдан высшей судебной инстанцией. Но им удалось подарить мне много тревожных месяцев и близкое знакомство с советской юриспруденцией.

В ожидании нового назначения я оставался в резерве Главтрубостали. Непривычный отдых был сладким. Каждый вечер я водил Ирину в театры, на концерты, в оперу, на балет. Как и большинству русских, мне больше всего нравится Москва в её тихом зимнем настроении, с короткими днями и прозрачными ночами, когда жизнь как бы укутана толстым снежным покровом.

В те первые месяцы 1940 года Москва была одной из немногих европейских столиц, не отмеченных войной. Этот факт постоянно подчеркивался пропагандой как доказательство проницательности Любимого Вождя и Учителя. Военные новости печатались мелким шрифтом на последней странице газет, как будто они нас по-настоящему не касались. Тем не менее, люди читали их в первую очередь и читали с жадностью.

Казалось, домашних вечеринок было больше, чем обычно. Уличные фонари и немногочисленные электрические вывески, казалось, горели более ярко. Европейская война проявилась в советской столице и в другом отношении. Так называемые открытые магазины, где продавались товары по ценам выше государственных, внезапно наполнились незнакомыми для советских людей иностранными товарами: костюмами, платьями, обувью, сигаретами, шоколадом, крекерами, сыром, консервами и сотней других товаров явно несоветского происхождения. Это был поток товаров из иностранных областей, захваченных Красной Армией. Вначале эти заграничные предметы роскоши поступали с польских и финских территорий; позже в том же году начала поступать добыча, захваченная в Прибалтике, а затем в Бессарабии.

Согласно Сталину, мы несли свободу этим странам от эксплуатации и нищеты. На практике москвичи были в восторге от возможности покупать эти чудеса капиталистического производства в коммунистической столице. Тысячи советских чиновников щеголяли награбленной заграничной элегантностью и рассказывали удивительные истории о вещах, которыми советские «освободители» обогатились на захваченных территориях.

Между тем, Главтрубосталь рассматривала подходящую для меня должность. Любой советский гражданин, конечно, может быть направлен на работу куда угодно, произвольно и без предварительного уведомления. Однако в случае особо ответственных работников считалось разумнее сделать этот процесс максимально добровольным, насколько это было возможно. Наркомат предложил мне возглавить металлургический завод в Забайкалье, Восточная Сибирь. Мне также предлагали должность главного инженера на одном из уральских заводов. В какой-то момент меня рассматривали на должность директора металлургического завода в Горьковской области. Но ни одна из этих возможностей не осуществилась.

Что касается моих собственных предпочтений, то я устал от многих лет скитаний и всеми силами стремился к оседлой домашней жизни. Я стремился остаться в Москве. Она казалась раем по сравнению с остальной страной.

Для исполнения этого требовалась ловкость в маневрировании и, кроме того, некоторое скрытое политическое влияние, в котором член Политбюро Андреев оказался весьма полезен, и в конце концов мне дали работу в Москве – на металлургическом заводе в Филях, на окраине столицы.

Должность была скромной, на две ступени ниже тех, которые я уже занимал, но, поскольку она находилась в столице, я был доволен.

Завод существовал с дореволюционных времен, был расширен и модернизирован в последние годы, насчитывал около тысячи рабочих и носил то же название, что и трест – «Главтрубосталь». Основной продукцией завода были стальная лента и трубы. Занимая должность заместителя главного инженера, я нес основную ответственность за производство.

Высшее руководство завода долгое время работало вместе. Оно составляло замкнутую и тесную клику. Среди них был директор Мантуров, высокий, рыжий, с лицом сплошь покрытым веснушками. Это был грубоватый, самоучка, склонный скрывать свое полное невежество в технических вопросах за невнятной болтовней. Он добился известности как советский партизан в годы гражданской войны и до сих пор жил на проценты с этого политического капитала. Хотя он много лет возглавлял промышленные предприятия, их работа оставалась для него загадкой, и порой он даже ненавидел инженеров, которые в этом разбирались.

Его доверенным лицом и главной опорой был товарищ Егоров, секретарь парткома завода и одновременно начальник Особого отдела. Невысокий, коренастый человек средних лет с большими густыми бровями, он гордился своими связями с экономическим отделом НКВД. Когда он с самодовольным видом расхаживал по цехам и конторам завода, некоторые рабочие за его спиной бормотали о «нашем маленьком Сталине». Его сивые брови бросали тень на мое настроение в течение года, который я провел рядом с ним.

Третьим членом этой внутренней группы был глава профсоюзной организации, товарищ Папашвили, смуглый грузин с природной склонностью к интригам. Редактор заводской газеты и несколько других коммунистических активистов, заигрывавших с руководством, завершали клику.

При новом наркоме, друге Сталина, Тевосяне, были предприняты энергичные усилия для увеличения производства. За выполнение заказов были утверждены солидные премии, а администрации – дополнительные денежные премии за каждый процент перевыполнения. Поскольку внутренняя клика не могла голосовать за вознаграждения, не распространяя сверхприбыли на высших технических руководителей, я был обеспечен

деньгами в изобилии. Бывали месяцы, когда моя зарплата и премии превышали 4500 рублей. Работа Ирины литературным переводчиком приносила ей около 1000 рублей. Таким образом, наш общий заработок в удачные месяцы был в двадцать-двадцать пять раз выше, чем у среднего рабочего.

Несмотря на эти деньги, наша «квартира» состояла из двух небольших комнат на верхнем этаже трехэтажного дома в центре города, по адресу улица Рождественка, дом 5. Когда-то в этом здании была гостиница. Теперь же в ее коридоре ютилась группа семей со своей мебелью, домочадцами и своими разнообразными проблемами.

Среди моих соседей были бывшая балерина и ее взрослая дочь; заводской мастер с женой; бывшая купеческая вдова в изношенных остатках своего старого костюма; ответственный работникк какого-то комиссариата. У некоторых из них была прислуга. У нас была прислуга, которая не жила с нами, но приходила каждый день.

Хотя мы жили несколько лет рядом с этой разношёрстной группой москвичей – так близко, что встречались и раздражали друг друга, – мы так и не узнали этих людей как следует. На каждом из нас, как и на каждой подобной группе, живущей в вынужденной и раздражающей близости, лежала тень подозрения. Те, кто романтически воображают, что общие бытовые проблемы сближают людей, никогда не жили в перенаселённой московской квартире-коммуналке. Наши многочисленные семьи делили две кухни, одну ванную комнату и туалет, единственный телефон в нашем общем коридоре. Мы закрывали уши и глаза на ссоры, занятия сексом, споры, которые во множестве происходили вокруг нас. Когда звонил телефон, все бросались к нему. Кроме того, считалось само собой разумеющимся, что среди нас есть стукачи НКВД, как это и бывает неизбежно в подобных случаях.

В нашей квартире осведомителем НКВД – это я узнал гораздо позже, во время войны – оказался тот самый человек, которого мы бы никогда не заподозрили. Это была бывшая купеческая вдова по имени Силина. Она подслушивала наши телефонные разговоры, подслушивала у наших дверей и была обязана регулярно доносить в НКВД. Несомненно, что чекисты заставили ее заниматься этим шпионством, угрожая ей высылкой в отдаленные регионы как «враждебного классового элемента», или чего-нибудь похуже.

Однако в целом мы были достаточно добрососедской компанией. Как типичные русские люди, мы были готовы забыть мелкие ссоры и разногласия; когда беда стучалась в чью-то дверь, все были готовы помочь.

Однако не следует думать, что мы с Ириной жили плохо, если судить по условиям жизни в советских городах. Ирине повезло, что она получила такую квартиру в престижном районе Москвы, и я разделил её счастье, в то же время хлопоча, чтобы нам дали квартиру в одном из новых домов, строившихся в городе. У нас было пианино, хорошая мебель из красного дерева, дорогие ковры, несколько картин. Менее удачливые друзья, навещая нас, говорили с искренней завистью о нашей хорошей жизни …

Исключая промежуток времени, когда я служил в в Красной Армии мне пришлось прожить в этом месте более трёх лет. Это было самое близкое к нормальной семейной жизни за мои зрелые года. На заводе Главтрубосталь в Филях, я работал много часов — часто с семи тридцати утра до десяти или двенадцати вечера. Но в свободные дни и в те редкие вечера, когда я возвращался домой достаточно рано, мы с Ириной чувствовали, что у нас наконец-то есть настоящая домашняя жизнь.

Иногда мы устраивали вечеринки. Почти всеми моими друзьями были члены партии, официальные лица Кремля и ЦК КПСС, технические специалисты, в то время как круг близких друзей Ирины состоял из представителей московской художественной и литературной среды. Этим двум группам не слишком хорошо удавалось общение, и мы старались держать их обособленными, насколько это возможно. Возможно, эта обособленность была символом нашего брака, который так и не перерос в глубокие отношения. Я обнаружил, что два человека могут развить истинную привязанность и уважение друг к другу, не сливая воедино свои жизни по-настоящему.

Моя работа на заводе, моя партийная работа, политические лекции, встречи, инженерные интересы – всё это было чуждо Ирине и её интересам. Наши два мира соприкасались, но редко пересекались. К тому же, советские деятели в целях безопасности склонны держать своих жён в неведении о своих внешних профессиональных и политических делах. Опыт научил их, что чем меньше семья мужчины знает о его работе и проблемах, тем в большей безопасности они находятся в долгосрочной перспективе. Находясь под постоянной угрозой чисток, ареста, или расстрела служители всемогущего

государства стараются обезопасить своих близких, рассказывая им о своей деятельности мало или совсем ничего.

В любом случае, факт заключается в том, что я редко говорил с Ириной о своей производственной работе и никогда – о своих политических мыслях и сомнениях, хотя она была умной и отзывчивой женщиной. Мне часто хотелось поделиться своими проблемами, «выговориться», но страх сделать её соучастницей моего «опасного» политического состояния всегда сдерживал мой язык.

«Скажи мне, Витя, дорогой, что тебя беспокоит?» — часто умоляла она. «Почему ты так несчастен? Неужели я виновата? Неужели я не могу чем-то помочь? Скажи мне, умоляю тебя!»

«Нет, дорогая, это не имеет к тебе никакого отношения. Просто, я наверное слишком много работаю. Не беспокойся …»

Как можно надеяться на нормальную домашнюю жизнь в таких душевных муках советского тоталитарного существования?

4

Однажды в июне 1940 года я получил письмо из треста Главтрубосталь с просьбой объяснить некоторые выплаты, сделанные моим коммерческим заместителем в Кемерово. Я был озадачен, но пока не встревожен. Я не сразу понял, что это была искусная месть, устроенная Голованенко и другими, кому я невольно когда-то перешел дорогу.

Согласно советскому законодательству с его самой свободной в мире сталинской конституцией, некоторые категории ответственных работников при назначении на должности в отдалённых районах страны, таких как Дальний Восток и Сибирь, имели право на значительные доплаты, покрывающие транспортные и другие расходы. Выплаты производятся на основе индивидуальных официальных договоров с предприятием, которое их нанимает. Теперь выяснилось, что в ряде случаев таких договоров для обоснования платежей, сделанных моим заводом, не было.

Мой заместитель и главный бухгалтер не сочли необходимым заключать какие-либо договоры. Закон и подпись Кожевникова показались им достаточными. Лично я не нанимал этих людей и не санкционировал выплаты. Тем не менее, как руководитель проекта, я формально нес общую

ответственность и теперь был обвинён в незаконной выплате средств, преступлении, наказуемом до трёх лет лишения свободы.

Схема вовлечения меня в это надуманное обвинение, по-видимому, была разработана без ведома Кожевникова. Он казался удивлённым и смущённым, когда я бросился к нему с письмом. Обвинение было абсурдным, считал он, и не должно меня беспокоить. Но он считал, что не может вмешаться в это дело, не выказав недобросовестность своей организации.

«Просто ответь на письмо», — предложил он, — «делай всё, что можешь, и забудь об этом. Полагаю, дело не зайдёт дальше этого. Это слишком глупо».

Но он ошибался. Прошел месяц. Я считал само собой разумеющимся, что «уголовные» обвинения против меня сняты. Но вдруг мне пришло уведомление о том, что Комиссариат черной металлургии, от имени самого наркома Ивана Тевосяна, подал на меня официальное обвинение в Народный суд. Таким образом, я оказался ответчиком по серьезному уголовному делу, рассматриваемому в обычных гражданских судах, в связи с «преступлением», к которому я не имел ни малейшего сознательного отношения. Главный бухгалтер Кемеровского проекта, Матвеев, был моим соответчиком. Мой коммерческий заместитель, который производил фактические платежи, не был среди обвиняемых.

Мне удалось связаться с различными должностными лицами в суде, пытаясь добиться закрытия дела. Они согласились, что на первый взгляд оно казалось притянутым, однако, обвинение поступило через Тевосяна, не просто наркома, но и, что более важно, восходящей звезды на сталинском небосклоне. Машину «правосудия» остановить было невозможно. Я должен был пройти через суд. Все, на самом деле, в этой ситуации было довольно серьёзно. Когда один гражданин обвинялся другим, он мог надеяться на объективный вердикт в советском суде. Но когда гражданина обвиняло советское государство, его шансы на успех обычно были невелики. Не правосудие само по себе, а «защита пролетарской диктатуры», то есть защита советского режима, была главной целью и обязанностью советской правовой системы.

Сначала я прошёл ряд предварительных допросов, на которых меня уговаривали признать себя виновным.

«Не будьте идиотом, товарищ Кравченко, — сказал один из обвинителей от НКВД, — не доводите дело до суда, а просто примите лекарство. Тогда ваше наказание будет гораздо мягче».

«Но как я могу признать себя виновным в преступлении, о котором я даже не знал? Я не собираюсь принимать судимость из-за глупой формальности! Деньги были выплачены с официального подписанного согласия Главтрубостали.

Я едва мог поверить, что экспертизу по такому делу будет проводить НКВД, а не сам суд; в обвинительном заключении не было никакой политической подоплеки. Но когда коммунистическая партия создает законы и также исполняет их, ничего удивительного нет.

«В таком случае вам придется предстать перед судом».

За четыре дня до назначенного суда я обратился в Коллегию государственных адвокатов с просьбой предоставить мне адвоката. В нашей стране нет частной юридической практики. Вы имеете дело с районной коллегией, принимаете прикрепленного к вам адвоката и платите установленные деньги коллегии. Но поскольку адвокат получает мизерную ежемесячную зарплату, принято вознаграждать его отдельно в частном порядке, если он позаботится, чтобы никто об этом не узнал.

Скучающая женщина, зевая мне в лицо, слушала и, возможно, даже наполовину поняла мою историю.

«Петров», — крикнула она через всю комнату какому-то мужчине, зарывшемуся в бумаги. «Дело по статье 109, суд через четыре дня. Вы можете взяться за это дело?»

«Нет, я слишком занят,» — ответил Петров.

«Хорошо, я найду кого-нибудь другого», — сказала она.

Нельзя сказать, что первое знакомство с адвокатом, которого она наконец мне нашла, подняло мне настроение. Он был довольно приличным человеком, с измученными глазами и впалыми щеками. Он был кротким и извиняющимся. Когда он услышал, что обвинения выдвинул нарком Тевосян, выражение его лица сменилось с беспокойства на отчаяние. Советский адвокат, чтобы избежать неприятностей, должен ставить интересы партии и

государства выше интересов своего подзащитного. Мой испуганный маленький защитник был совсем не рад противоречить народному коммиссару. Он вовсе не собирался играть такую опасную роль...

Народный суд заседал в обшарпанной, плохо проветриваемой комнате на втором этаже здания, которое, по-видимому, некогда было школой. Ярко-жёлтая краска на стенах была засижена мухами там, где она еще не отслаивалась. Портреты Сталина и других большевистских руководителей, конечно же, были развешаны по всей комнате. Я ждал вместе с Матеевым и нашими адвокатами среди двадцати с лишним человек, чьи дела стояли в повестке дня.

«Суд идёт. Встать!» — крикнул судебный чиновник во весь голос.

Мы встали. Двое мужчин и женщина вошли через заднюю дверь, и заняли свои места за столом, покрытым красной драпировкой, на возвышении. В течение нескольких часов я наблюдал за ходом разбирательств по другим делам. Председательствующий судья является постоянным должностным лицом суда и сам проводит большую часть допросов; двое других – «народные представители» в суде, своего рода эквивалент присяжных заседателей в англосаксонских странах. В данном случае народными представителями были молодой рабочий, нервничающий и смущённый под тяжестью этой чести, и пожилая женщина, которая, как мне показалось, вероятно, работала секретарём в каком-нибудь учреждении. Никто из них за все время не открыл рта.

После допроса председателем суда, прокурор и защита произносили речи в типичной традиции советской юриспруденции – и трое судей удалялись. Спустя несколько минут они возвращались с приговором.

Допрос Матвеева и меня проходил по тому же сценарию, что и предшествующие допросы. До этого я отказывался верить, что действительно могу попасть в тюрьму по такому нелепому обвинению. Но по мере того, как разворачивался судебный процесс, моё сердце сжималось. Моя субъективная невиновность казалась несущественной. Объективно, я «растратил государственные средства». Они вполне поверили словам комиссариата, и все дело казалось решенным.

Когда судья закончил со мной, мне показалось, что стены тюрьмы как бы смыкаются вкруг меня. Затем за меня взялся прокурор. Это был коренастый

мужчина с густой копной чёрных волос. Мне показалось, что он завидует моей обеспеченности, как будто я каким-то образом виноват в том, что ему приходится содержать семью на 600 рублей в месяц.

«Сколько вы зарабатывали в Кемерово?» — спросил он меня в какой-то момент.

«В среднем 2500 рублей в месяц, иногда больше».

Он покачал головой, словно доказал что-то важное, и многозначительно посмотрел на судей.

«А сколько вы зарабатываете сейчас?»

«Три, четыре, даже пять тысяч … смотря по обстоятельствам».

Прокурор снова понимающе кивнул и скривил губы в иронической улыбке. Он формулировал какую-то неясную логику, которая, как я догадывался, имела больше отношения к его собственному материальному положению, чем к рассматриваемому делу.

«Вот видите, товарищи судьи, в каких условиях живёт обвиняемый!»

«Но какое это имеет отношение к обвинениям?» Я больше не мог сдерживать себя. «Я руковожу крупным заводом и получаю зарплату по закону».

«Обвиняемый, пожалуйста, не перебивайте!» — предупредил председательствующий судья. «Мы доверяем выдвинувшему обвинения Наркомату, как на это указал прокурор, больше чем вам».

Речь прокурора была громкой и энергичной. Он бурно жестикулировал. Он углубился в литературу и речи Вождя в поисках мрачных красок, чтобы описать эти два «чудовища, «растратившие народные деньги». Посторонний человек, не знакомый с фактами, предположил бы, что мы с беднягой Матвеевым присвоили миллионы и вдобавок дополнили всё это убийством. Три с половиной года тюрьмы, требовал прокурор. Почему три с половиной, а не пять, не смертная казнь, он объяснять не стал. Всё это было настолько кошмарно, что я гадал, когда же проснусь.

Мой адвокат, учитывая его членство партии, действительно предпринял усилия в мою защиту. Но чувствовалось, что он считал себя побеждённым

ещё до начала, что он просто соблюдает формы. Он не стал оспаривать мою вину – даже ему она казалась вполне ясной! – а упирал на мою чистую совесть с целью смягчить наказание.

Судьи отсутствовали, наверное, минут десять. Они вернулись с приговором: два года лишения свободы с правом на обжалование в течение семи дней. Я стал осуждённым «преступником», потому что кто-то где-то, в московских кабинетах Главтрубостали, запутался в бюрократических проволочках! Комиссар подписал листок бумаги, положенный ему на стол каким-то ревностным подчиненным, после чего комедия разыгралась почти машинально. Знаю, что это звучит гротескно, но таковы, увы, были основные факты. Председательствующий судья и прокурор были, прежде всего, членами партии. Они рассматривали обвинения, выдвинутые не просто комиссаром, а членом Центрального Комитета партии. Какие шансы на правосудие могут быть в таких условиях?

От моего имени была подана апелляция, которая отсрочила мой арест. Несколько раз, с интервалом в несколько месяцев, меня вызывали на допрос в различные судебные инстанции, и ранней весной 1941 года состоялось слушание в главном городском суде. Я снова отказался признать себя виновным. Суд принял дело к сведению и примерно через тридцать минут огласил свое решение. Приговор был сокращен до одного года «обязательных работ по нынешнему месту работы».

Это было уникальное советское судебное изобретение. Осужденный гражданин продолжает жить и работать на свободе, но 10 или 20 процентов его заработка изымаются в пользу НКВД. В моем случае это были 10 процентов. Десятки тысяч советских людей посредством этого странного юридического механизма вынуждены платить часть своего дохода в качестве дани политической полиции под видом наказания за преступление.

Уведомление о моем новом статусе поступило в бухгалтерию завода. С тех пор, пока дело не было закрыто Верховным судом как беспочвенное, 10 процентов моей заработной платы и премий ежемесячно удерживались в пользу НКВД.

Я отвлекусь от хронологии с тем, чтобы закончить историю моей «преступной» карьеры. Я немедленно подал апелляцию в высшую судебную инстанцию. Однако к тому времени, когда дело дошло до меня, началась

война. Суд был эвакуирован на Урал. При этом архив суда оказался в таком плачевном состоянии, что никаких следов моей апелляции найти не удалось.

Пока я служил в Красной Армии капитаном инженерной части и политкомиссаром, Ирина продолжала работать над этим вопросом.

Сами 10 процентов были не важны. Важно было стереть пятно судимости на моем послужном списке. Вскоре после моего освобождения от военной службы, в первой половине 1942 года, Верховный суд пересмотрел дело Кравченко. Он отменил решения нижестоящих судов, подтвердил мою полную невиновность, и дело против меня было прекращено.

Если бы не это оправдание, мне, вероятно, никогда бы не предложили работать в Совете Народных Комиссаров (Совнаркоме), и уж точно мне никогда бы не разрешили выехать за границу.

Враждебность, из которой родились «уголовные» обвинения против меня, была давно забыта; когда я однажды столкнулся с Голованенко в Главтрубостали, он едва ли помнил, что когда-то был зол на меня. Но злоба, вырвавшись на свободу, действовала по инерции и едва не поломала мою жизнь.

ГЛАВА XXII

НЕОЖИДАННАЯ ВОЙНА

УТРОМ 22 июня 1941 года началась война против Советского Союза. Советские железнодорожные станции и аэродромы подверглись бомбардировкам; советские войска отступали на огромном фронте. Внезапное нападение Германии на СССР было в заголовках газет по всему миру. И ещё до рассвета того памятного утра 22 июня, по всей стране тайная политическая полиция НКВД начала аресты «неугодных» десятками тысяч.

Но я ничего не знал о начавшейся войне против большевизма. Как и никто другой на заводе, когда я рано утром в тот день пришёл в свой кабинет. За последние месяцы в тоне официальной пропаганды не произошло ни малейших изменений. Всего за несколько дней до этого памятного утра, в Отделе импорта машин Наркомата внешней торговли, я имел беседы с

нацистскими представителями. Мы обсуждали технические детали поставок нацистского электросварочного оборудования в Советский Союз.

20 июня, за два дня до начала войны, я как коммунист, выступил на политическом собрании рабочих и служащих по вопросу «империалистической войны». Моя речь, конечно, следовала заданной в то время партийной линии. Нацистская Германия, говорил я, стремится к миру, несмотря на одержанные победы, но британские империалисты, поддерживаемые американскими финансистами, хотят продолжения войны. СССР, уверял я, поддерживает нейтралитет, гарантированный пактом Молотоа-Риббентропа. Ни я, ни кто-либо за пределами ближнего круга Кремля не знали, конечно, об истинных намерениях Сталина.

Итак, 22 июня 1941 началось без единого слуха, нарушавшего привычный ход событий. Работа на нашем заводе уже шла полным ходом, когда было объявлено, что мы сделаем перерыв для важного радиообращения наркома Молотова. Эта процедура была необычной и вызвала трепет тревоги по всему заводу. Мы строили смутные догадки о предмете речи комиссара. Никто не догадывался об истинной причине. Заикание и слезы Молотова ошеломили всех нас. Какой мы могли сделать вывод из его сенсационного заявления? Через несколько часов прибыл партийный оратор. Мы созвали обеденное собрание всех наших рабочих. Я сидел на трибуне вместе с директором Мантуровым и председателем заводского парткома Егоровым. Я вглядывался в усталые, хмурые лица наших рабочих, пока трибунный оратор поносил предательство немецкого диктатора и превозносил честность нашего советского диктатора. Рабочие, привычно, без энтузиазма хлопали в ладоши, выдержав должные паузы, а затем вернулись к своим станкам, столам, чертежным доскам. Мы работали как обычно до конца дня. И всё же вероятно, что война вывела многих из многолетнего оцепенения, например, Сергей Головлёв, инженер-электрик и член партии. Он подошёл ко мне после собрания.

«Новый поворот, — сказал он. «Мы вели тяжёлую жизнь все эти годы, Виктор Андреевич. Война, революция, разруха, пятилетки, голод и чистки — и вот мы снова на войне! Когда же наконец мы начнём жить, как все?»

«Надо работать и работать, товарищ Головлёв», — ответил я. «Другого пути нет».

«Всё верно. Надо работать и воевать. Но невольно думаешь...»

«Вам лучше вернуться к работе», — поспешил я принять официальный тон, чтобы перестраховаться. «Поговорим об этом в другой раз».

В тот же день, в моём кабинете мне сообщили, что начальник смены, Вадим Александрович Смолянинов, не вышел на работу, и связаться с ним, похоже, невозможно. Я снял трубку и набрал его номер.

«Это квартира Смолянинова?» — спросил я.

«*Бывшая* квартира Смолянинова, — резко ответили мне.

«Пожалуйста, позовите Вадима Александровича к телефону».

«А вы кто?»

«Говорит заместитель главного инженера его завода».

«Его нет и больше не будет».

«Кто это? Я говорю официально».

«Я тоже говорю официально. Это НКВД».

Я бросил трубку. Значит, моего друга Смолянинова арестовали!

Какой трагический конец революционной карьеры! Грамотный инженер и образованный человек, Смолянинов принимал активное участие в революции и стал личным секретарем Ленина. Позже он занимал должности начальника Управления Совета Народных Комиссаров, начальника строительства Магнитостроя, председателя советской торговой делегации в США, директора Гипромеза, важнейшего металлургического института. Короче говоря, он был важной фигурой при советском режиме.

Однако во время террора чистки его исключили из партии и разжаловали до помощника мастера на нашем заводе. Со временем этот бывший секретарь Ленина стал мастером и, наконец, начальником смены. Недавно его восстановили в партии. Его единственный сын, сержант Красной Армии, был на границе. Теперь Смолянинов был арестован.

Он был лишь первым из жертв беспощадного военного террора, привлекшим мое внимание. Десятки других людей вокруг меня исчезли в

последующие дни. Давным-давно один мой друг из НКВД сказал мне, что в будущей войне все потенциально «опасные элементы» будут арестованы и ликвидированы в первые же дни. Для этого, в каждой деревне, поселке и городе у НКВД были наготове длинные списки: сотни тысяч будут арестованы. Он не преувеличивал. Ликвидация «внутренних врагов» в СССР была единственной частью военных действий, которая работала быстро и эффективно на первом этапе войны.

Это была смертоносная чистка тыла в соответствии с тщательно продуманным планом, разработанным по личному приказанию самого Сталина.

Несколько лет спустя, в Америке, мне пришлось слышать мнения о том, что «в России во время войны не было пятой колонны» лишь потому, что массовые убийства и террор кровавых чисток искоренили всех возможных «предателей» заранее. Я читал об этом в книге бывшего посла Джозефа Дэвиса, и в сочинениях многих других.

Внутри России, Сталин настаивал на том, что наша страна кишит антисоветскими врагами. С первого дня войны, пресса, радио и советские пропагандисты громогласно тробовали казни множества внутренних врагов, дезорганизаторов, распространителей слухов, саботажников, фашистских шпионов. Под этот пропагандистский вопль, чекистская машина убийств начала проводить массовые аресты и расстрелы. По крайней мере, в начальный период у меня было отчётливое впечатление, что Сталин боится своих подданных не меньше, чем немцев.

Вследствиие кровавого террора чисток у нас были миллионы русских людей, которые ненавидели сталинский советский режим и все его ужасные злодеяния. В этом смысле страх правящего класса был оправдан. Массовая гибель населения вследствии чудовищной коллективизации и искусственно созданного голода 1931–1933 годов, концентрационные лагеря, зверские жестокости чисток 1930-х годов – все эти преступления советского режима оставили глубокие шрамы в душе русского народа. Вряд ли была семья в России, которая не пострадала бы от преступлений советской власти. Сталин и его клика беспокоились, и не без оснований, о нашей лояльности его режиму. Возможно, в своих кошмарах они видели, как двадцать миллионов рабов внезапно прорываются сквозь стены и колючую проволоку

концлагерей в бесконечном потоке ненависти и мести, в потоке разрушения...

В любом случае, беспощадное подавление малейшей потенциальной оппозиции занимало первое место в планах советского правительства после начала войны. Оно имело приоритет над мерами военной обороны. Советские немцы были арестованы почти до последнего человека. Всё население Республики немцев Поволжья, почти полмиллиона мужчин, женщин и детей, было насильственно изгнано из региона, где оно проживало со времён Екатерины Великой, и вывезено в Сибирь и Дальний Восток.

Затем пришла очередь большевистского террора для советских поляков, прибалтов и многих других национальностей. Каторжные советские концлагеря пополнились новыми миллионами. Было очевидно, что большевистские правители были очень напуганы.

Через несколько дней после начала войны в Москве были созданы «военные трибуналы» во главе с бывшим председателем городского суда товарищем Васневым. Филиалы этого нового террористического агентства разрослись по всей столице и её пригородам. Они также были созданы и во всех других городах. Все сферы жизни в Советском Союзе были охвачены этой советской организацией, наделённой чрезвычайными полномочиями арестовывать, тайно судить, и тут же выносить смертные приговоры и казнить. Существовали специальные железнодорожные трибуналы, речные транспортные трибуналы, армейские трибуналы. И вся эта система инквизиции находилась под началом НКВД. Очевидно, большевистский режим был в состоянии паники. Задачи новых полицейских органов, расширяющих, но не заменяющих уже имеющиеся инструменты наблюдения и подавления, были сформулированы самим Сталиным через двенадцать дней после начала войны: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, трусами, распространителями слухов … Необходимо немедленно передать в суды военных трибуналов всех тех, кто паникой и трусостью мешает обороне страны, независимо от того, кто они».

Откуда этот лихорадочный страх перед «деорганизаторами тыла» в стране, так недавно «объединённой» большевистскими чистками, так часто признаваемой «монолитной»?

Разве это видение целой нации, развращённой нелояльностью и трусостью, не было вызвано угрозами Сталина, которые сами по себе были «паникёрством» в огромных масштабах? Очевидно, внутренние враги были слишком многочисленны, чтобы с ними могли справиться сотни тысяч чекистов НКВД, поэтому для массовых убийств пришлось учредить новые трибуналы.

Как такое могло произойти в стране, распевающей гимны о «счастливой и свободной жизни» под «солнцем сталинской конституции»?

Возможно, Дэвисы и Дюранти смогут ответить на эти загадки. Но, слушая гортанные предостережения Сталина, медленно произносимые с грузинским акцентом, я знал только, что они не вписывались в картину страны, очищенной от «предателей» в морях русской крови. И деяния, которые они совершили, противоречили этой картине даже больше, чем слова Сталина.

Только в Москве тысячи людей были расстреляны на основе военного положения за первые шесть месяцев войны. Одного неосторожного слова сомнения, страха или горя часто было достаточным основанием для того, чтобы арестовать и расстрелять человека.

Тысячи шпионов и доносчиков НКВД дежурили в очередях за хлебом и керосином, на рынках, на улицах, в магазинах, трамваях, на вокзалах, чтобы не проронить ни одного звука недовольства, сомнения или критики. Каждый домовой комитет обязан был докладываь о своих жильцах, каждый подчиненный – о своем начальнике. Дошло до того, что люди боялись упоминать о голоде, чтобы не быть обвиненными в том, что они усомнились в мудрости Сталина и партии, или игнорировали трудности военного времени.

В московских партийных кругах стало широко известно, что по мере приближения нацистов к Москве тысячи мужчин и женщин, много лет проведших в тюрьмах и лагерях, были без суда и следствия расстреляны. Это были политические заключенные, бывшие дворяне и белогвардейцы, казаки, левые социалисты, эсеры, анархисты, бывшие коммунисты. Это были люди, которых большевизм боялся больше всего, потому что в случае революции они могли бы возглавить поднимающиеся массы. И снова этот кошмар о двадцати миллионах концлагерных рабов, рвущих свои цепи...

Не было для партии секретом, что военная мобилизация

использовалась также для уничтожения тех, кто мог быть опасен для коммунизма и советской власти. Досье НКВД были вывернуты наизнанку. Списки неугодных – тех, где арест казался ненужным – находились в руках каждой районной призывной комиссии. Предназначенных для скорейшего уничтожения, быстро призывали и отправляли практически без всякой военной подготовки и практически безоружными на самые опасные участки фронтов на верную смерть. Это была своего рода еще одна чистка «неблагонадежного» населения.

Масштабы чудовищного террора, развязанного большевиками против русского народа после начала войны, невозможно преувеличить. Это было равносильно еще одной гражданской войне внутри страны. Это было еще одним из проявлений глубокого недоверия Сталина к русскому народу.

Еще одним характерным явлением был почти мгновенный отказ от большинства советских лозунгов, под которыми русский народ жил и страдал двадцать четыре года. После четверти века коммунистической идеологической обработки, лукавая сталинская пропаганда в час опасности для режима обратилась с призывами к патриотизму, национализму, играя на преданности к родине и русскому народу, любви к своей земле, а позже использовала даже и православную религию для своих целей. Ловко перестроившись, советская пропаганда лживо призывала теперь народ защищать не советскую власть и Сталина, а Россию, русскую землю, славянское наследие, православного бога.

Более невероятного отказа от прежней советской идеологической риторики, – пусть даже вынужденного и временного – трудно было себе вообразить. Социализм? Коллективизация? Бесклассовое общество? Мировая революция? Чем хуже были дела на фронте и чем больше территорий теряли большевики, тем меньше они вспоминали об этих идеях, ради которых они принесли стране столько горя. Лишь гораздо позже, когда стал намечаться поворот в войне в пользу большевиков, знакомые советские лозунги возродились.

2

Но позвольте мне вернуться к первому дню войны. В тот вечер в кабинете директора я застал самого Мантурова, Егорова и директора филиала завода Ларионова. Мы обсуждали войну. Радио было включено, потому что мы

жаждали новостей. Внезапно чей-то голос прорвался сквозь военную музыку. На чистом русском языке прозвучало:

«Граждане России! Русские люди! Слушайте! Слушайте! Это штаб немецкой армии».

Мы переглянулись.

«Не лучше ли нам выключить негодяя?» — тревожно сказал Мантуров.

«А, черт возьми! Послушаем, что он скажет!» — решил Егоров.

«Двадцать четыре года вы живете в голоде и страхе. Вам обещали свободную жизнь, а дали рабство. Вам обещали хлеб, а дали голод. Вы – настоящие рабы без каких-либо человеческих прав. Тысячи из вас умирают каждый день в концлагерях в ледяных пустынях Сибири. Вы не хозяева своей страны, своей жизни. Ваш хозяин – Сталин. С вами обращаются хуже, чем с рабами на галерах. Миллионы из вас сейчас находятся в тюрьмах и концентрационных лагерях. Ваши правители уничтожили вашу православную веру и заменили ее поклонением Сталину. Куда делась ваша свобода слова и печати? Смерть паразитам русского народа! Свергайте Сталина и ваших большевистских тиранов!», и далее шла антисемитская пропаганда.

«Выключи его!» – испуганно крикнул Егоров.

Мантуров поспешно повернул ручку. Наступила гнетущая тишина. Мы не осмеливались смотреть друг другу в глаза. Вскоре мы расстались, испытывая невольное смущение.

Примерно через час я вернулся в кабинет Мантурова. Я хотел посоветоваться с ним о замене арестованного Смолянинова. Как обычно, я вошёл без стука. К моему удивлению, я обнаружил, что и Мантуров, и Егоров снова слушают немецкое радио. Я прекрасно понимал их любопытство. Впервые за двадцать лет можно было услышать правду о советской власти, услышать, как осуждают вслух советский режим, вместо того, чтобы постоянно слышать, как этот режим осуждает других.

«Приходите к нам с этими листовками в руках», — говорил голос по радио, когда я входил. «Они будут вашим пропуском. При Сталине, вы воюете за собственное рабство и террор, тогда как Гитлер даст вам свободную жизнь.»

При виде меня, Мантуров выругался, поворачивая ручку приемника. Егоров, не менее смущённый моим появлением, вышел из кабинета. Я рассказал о деле Смолянинова и других неотложных делах. Мантуров перебил меня на полуслове: «Кстати, товарищ Кравченко, лучше не упоминать, что мы слушали фашистскую пропаганду по радио. Знаете, на всякий случай. Бог береженного бережет».

«Готов поспорить, половина Москвы слушала это», — сказал я.

«Завтра уже не будут слушать. Мне только что звонили: завтра все радиоприемники будут конфискованы».

«Конфискованы? Зачем?»

«Для сохранности, я полагаю.»

Именно это и произошло в Москве и по всей остальной стране на следующий день. Все советские граждане под угрозой сурового наказания должны были сдать все свои радиоприемники в местные органы власти. Впоследствии я видел горы радиоприемников, сваленных, словно дрова, в грузовики, которые затем увозили их на склады. На протяжении всей войны советским людям разрешалось использовать только громкоговорители, подключенные к официальным радиостанциям.

Это был первый шаг на пути практически полного блокирования в СССР всякой независимой информации. Цензура почты не ограничивалась письмами на фронт или с фронта, но охватывала и обычную гражданскую корреспонденцию внутри страны. Советские военные сводки в первые недели оказались настолько лживыми, что мало кто из людей им верил. Неудивительно, что советские власти столько занимались распространителями слухов и паники. Эти вещи лишь отражали распространённое мнение населения о том, что их правительство лжёт.

На нашем заводе мы работали в условиях растущего напряжения. Мобилизация подорвала нашу рабочую силу. Нарушение транспорта оставило нас без необходимых материалов. Беспорядок царил во всех сферах нашей жизни. Я с трудом мог верить слухам о том, что немецкая победоносная волна катится на восток с ужасающей скоростью. А как же наша могучая Красная Армия, о которой нам столько твердили коммунисты? Как же стратегическая оборона, предположительно, достигнутая, когда мы

продвинули наши границы вглубь Польши, Румынии, Финляндии, трёх стран Балтии? Как же преимущества, якобы полученные благодаря нашему длительному периоду нейтралитета?

В советских сводках новостей не говорилось почти ничего, что добавляло путаницы к общему потоку слухов. Наши сводки избегали откровенного признания поражений. Они даже подразумевали успехи. Но названия мест были достаточным доказательством того, что бои приближались к нам.

«В течение прошедшей ночи, — говорилось в одной сводке в начале июля, — бои шли на мурманском, двинском, минском и луцком направлении ... Под Мурманском наши войска оказали упорное сопротивление противнику, нанеся ему большие потери … Под Двинском и Минском развернулись бои, в результате которых были уничтожены передовые танковые части врага …»

3 июля 1941 года Сталин впервые выступил по радио.

«Гитлеровским войскам, — сказал Сталин, — удалось захватить Литву, значительную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Над нашим отечеством нависла серьезная опасность».

«Цель этой войны против фашистского угнетателя — помочь всем народам Европы, стонущим под пятой немецкого фашизма», — продолжал Сталин. «В этой войне мы найдём верных союзников в лице народов Европы и Америки... Наша война за свободу нашего отечества сольётся с борьбой народов Европы и Америки за свою независимость, за демократическую свободу...»

Таким образом, всё казалось перевёрнутым с ног на голову: выживание сталинского большевистского режима внезапно связалось со «свободой нашего отчества»… Причем ведущие капиталистические страны обещали, по словам Сталина, оказать всю возможную помощь Советскому Союзу.

«Братья и сёстры, я обращаюсь к вам, друзья мои!» — воскликнул Сталин.

За шестнадцать лет его правления он ни разу не обращался к нам так. Мой друг на заводе, ободрённый таким моментом, тихо заметил мне: «Хозяин, должно быть, находится в тяжелом положении, что называет нас братьями и сёстрами».

Нужно было использовать ресурсы для ведения войны и большевистский режим решил приспособить для этих целей национальный дух и патриотизм нашего народа.

Мобилизация проводилась в лихорадочной спешке и хаосе. Мобилизованных гнали на фронт, не давая им возможности попрощаться с семьями. Рабочих гнали практически прямо из мастерских на поля сражений. И всё это несмотря на то, что у Советского Союза была одна из крупнейших в мире постоянных армий, закалённая вторжениями в соседние страны и войной с Финляндией. Миллионы новобранцев брели по грязи в парусиновой обуви, а ранняя зима застала их в летней форме. Я видел, как новобранцы упражнялись с метлами вместо винтовок.

Призывные комиссии работали с утра до поздней ночи, набирая мужчин от семнадцати до пятидесяти лет. Они руководствовались, как я узнал позже, не действующим законодательством, а секретными инструкциями Государственного Комитета Обороны, составленными после начала войны. Конечно, некоторые категории работников первой необходимости должны были быть освобождены от призыва; поначалу также освобождались мужчины, имевшие двух или более нетрудоспособных иждивенцев. Но помимо этого, мобилизация была грубой и бесчеловечной. Медицинский осмотр занимал две-три минуты на каждого призывника. Я видел мужчин с одним глазом, хромых, чахоточных, мужчин с сердечными заболеваниями и язвой желудка, бородатых пятидесятилетних, настолько изможденных работой, что они едва могли тащить ноги, признанных годными к фронту. Только от одного до двух процентов позволялось отклонить по состоянию здоровья. Это, как говорила советская пресса, доказывало высокий уровень здоровья, достигнутый при советской власти. На самом деле, это было лишь полное презрение к человеческой жизни со стороны властей. Война шла всего несколько недель, когда партия призвала к формированию добровольческой армии. Многим из нас это решение показалось поразительным. Мы вспомнили слова военного комиссара Ворошилова, сказанные в сентябре 1939 года, когда война в Европе уже шла: «Опыт гражданской войны убедительно показал, что так называемая Добровольческая белая армия была очень слаба и совершенно необучена; он показал, что поспешная подготовка во время войны была неэффективной. На фронт отправляли совершенно необученных людей, и все вы знаете, чем всё это закончилось».

Теперь мы делали то же самое. Хуже того, мы прибегали к добровольческой системе в самом начале конфликта, тогда как царские генералы сделали это гораздо позже. «Считаю уместным отметить, — сказал Ворошилов по этому же поводу, — что численный рост Красной Армии и Военно-Морского Флота находится в полном соответствии с международной обстановкой, которую наше правительство, Центральный Комитет нашей партии и товарищ Сталин постоянно, внимательно и тщательно изучают». Каково же было качество этого изучения, когда через несколько недель после немецкого вторжения «наше правительство, Центральный Комитет нашей партии и товарищ Сталин» без стыда и жалости посылали полки необученных гражданских лиц на верную бойню? У меня неизбежно возникало подозрение, что это делается намеренно.

Однажды июльским 1941 г. утром меня вызвали в партийный комитет нашего завода, где Егоров поручил мне провести собрание по набору добровольцев. Я настоятельно просил его, чтобы он сделал это сам, как наш партийный вождь.

«Нет, нет, Виктор Андреевич. Это должно исходить от масс, а не от коммунистической партии. Вы очень популярны среди рабочих. Вам будет легче, чем мне».

Начался митинг. Я увидел перед собой унылые лица рабочих. Как честный коммунист, я разговаривал с ними как русский с русскими, старательно избегая слова «коммунист».

Чтобы показать пример, я первым записался добровольцем. Десятки наших рабочих, служащих и технического персонала последовали моему примеру. Но ни один из высших чиновничьих кругов не пошел добровольцем. Они ёрзали под вопросительными взглядами рабочих, но не делали никаких движений, чтобы записаться.

Позже в тот же день я пошёл к Мантурову. Я сделал вид, что считаю само собой разумеющимся, что он станет добровольцем.

«Ну, Вячеслав Иванович, — беззаботно спросил я, — когда же вы запишетесь?»

Его лицо приобрело цвет его рыжих волос. Он тревожно пошевелился в кресле; маленькие глазки забегали по комнате, и он прочистил горло.

«Пойду ли я на войну — это вопрос, который решит райком партии. У меня есть обязанности. Завод скоро придётся эвакуировать...»

«В любом случае, вам следует записаться», — настаивал я. «Рабочие так говорят. Если партия захочет оставить вас здесь, она это сделает. А пока почему бы вам не записаться?»

Но Мантуров не хотел рисковать. Егоров тоже. Они оба закончили войну с громкими титулами и орденами Почёта, старательно держась вдалеке от фронта. Однако их не следует винить лично. Они просто следовали политике, провозглашённой партией. Сталин был полон решимости сохранить свой аппарат, чиновников и бюрократию, на котором, в конечном счёте, стояла советская власть. Даже в самые тяжёлые месяцы «незаменимые» чиновники, включая Особые войска НКВД, преторианская гвардия тирана, по большей части были прибережены для последней схватки с русским народом. Схватка эта так и не состоялась.

Моя запись в добровольцы была аннулирована приказом райкома. Мантуров и Егоров были бы рады видеть меня отправленным на фронт без промедления. Они так и не простили моей попытки завербовать их, поскольку об этом стало известно всему заводу. Но пока что, их лицо сохраняло то, что Кравченко и другим добровольцам из числа высшего персонала не разрешили ехать.

3

В материалах XVIII съезда нашей коммунистической партии, состоявшегося в феврале 1941 года, всего за четыре месяца до начала войны, указывалось на трудности и неудачи, особенно в отраслях экономики, связанных с военной промышленностью. У меня было тысяча доказательств в ходе моей собственной работы в военные годы, что они не преувеличивали картину. В течение недели после начала войны, Москва, самый обеспеченный город в нашей стране, осталась без хлеба. Люди стояли в громадных очередях за крошечными пайками, а те, кто стоял в самых дальних рядах, никогда не были уверены, что им достанется хлеба, керосина и других предметов первой необходимости. Столица Советского Союза не была даже обеспечена хорошими бомбоубежищами. Ни один важный военный завод на западе и юге Советского Союза не был эвакуирован или подготовлен к эвакуации. Миллионы тонн сырья и военной техники – зерна, топлива, и, самое главное,

десятки миллионов людей – остались в западных районах, где оказались под властью фашистов.

Я ежедневно официально контактировал с комиссариатами, ответственными за заводы, склады и рабочих в районах, ставших зоной боевых действий. Вскоре мне стало очевидно, что никто в Кремле не удосужился заранее разработать программу эвакуации людей и имущества. Инициатива, конечно, могла исходить только сверху. Предположение о том, что Красной Армии, возможно, придётся отступить, пусть даже временно, даже не рассматривалось. В годы работы на административных должностях в промышленности я часто присутствовал и участвовал в разработке секретных планов подготовки военной промышленности. Мы учитывали всевозможные потребности – цветные металлы, нефть, уголь, машины, рабочую силу – и проблемы их хранения и транспортировки. Именно в соответствии с этими долгосрочными планами на будущее советское правительство накопило огромные запасы военных и стратегических материалов.

Но это планирование базировалось исключительно на предположении, что военные операции будут наступательными. Эта концепция была связана со сталинской теорией мировой революции, что война будет наступательной и, следовательно, вестись на чужой территории.

Столкнувшись с оборонительной, вместо наступательной, войной огромного масштаба, мы, партийцы, были обескуражены. Нам пришлось импровизировать всё с нуля – эвакуацию, мобилизацию, организацию партизанского движения за линией фронта.

Охваченные паникой местные партийные органы и промышленные тресты разрабатывали планы эвакуации ценного оборудования, припасов и людей. По выработанному советскому обыкновению, они не смели действовать самостоятельно даже в самой ничтожной мере, они писали рапорты, подавали их на решение «высших инстанций», а затем беспомощно ждали.

В период до Гитлера, и особенно после его прихода к власти, СССР тратил миллионы долларов на вербовку и внедрение шпионов в различные политические и военные организаии в Германии и других странах. Там велась тайная и кропотливая работа. Теперь же, для преодоления кризиса был создан новый высший орган: Государственный Комитет Обороны. Он стал главным источником государственной и партийной власти, мозгом и

движущей силой во всех оборонных мероприятиях по всей стране и на фронтах, органом, определяющим политику как по внутренним, так и по международным делам. Этот Комитет фактически заменил Верховный Совет, где теоретически находилась верховная власть. Совет Народных Комиссаров или Совнарком, стал просто исполнительным органом, выполняющим приказы нового Комитета и контролирующим деятельность различных наркоматов. В каждой области представители Комитета пользовались неограниченной властью. Государственный Комитет Обороны был самым динамичным, гибким и беспощадным органом, когда-либо существовавшим в Советской России. Все его члены были набраны из числа влиятельных членов и кандидатов Политбюро безусловно преданных лично Сталину. Ворошилов, Будённый и другие известные советские военноначальники, поставленные командовать различными фронтами в начале войны, были плохи. К октябрю 1941 г. большинство из них были уволены, и на смену им пришли новые люди.

Американцы помогали нам строить и оснащать большинство жизненно важных промышленных объектов на Украине. Теперь эти объекты, являвшиеся советской гордостью, бомбили немцы. Мои мать и отец остались под властью немцев на Украине , в Днепропетровске вместе с Клавой, женой моего брата Константина, и её младенцем. И она, и Клава остались в живых; жив ли мой отец, я не знаю.

Когда началась эвакуация, новая коммунистическая система классовых привилегий и социального неравенства проявилась самым явным образом. Первоочередное право на выезд и пользование транспортом было предоставлено «необходимым», то есть ведущим коммунистам и чекистам, составлявшим аппарат режима. Простым смертным разрешалось взять с собой только два чемодана, оставив всё остальное, но советские аристократы высшего ранга брали с собой даже самую громоздкую мебель. Квалифицированные рабочие и другие необходимые работники для вывозимых заводов и фабрик были эвакуированы вместе с оборудованием, но им часто приходилось оставлять свои семьи. Однако партийная элита брала с собой своих настоящих и мнимых родственников до десятого колена.

Коммунисты снова стали учить русских людей ненавидеть немцев после двух лет, в течение которых Германию выставляли другом России. Не стоит

забывать, что в первые недели войны целые дивизии Красной Армии добровольно сдавались в плен фашистам.

С самого начала войны большевики намеренно распространяли среди советского населния слухи о «фашистских зверствах» и что, немцы относятся ко всем славянам и русским как к «недочеловекам». Коммунисты также распрстраняли пропаганду, что немцы намерены восстановить власть царя и капиталистов. Такого рода тотальной пропагандой советскому режиму удалось разжечь в русском народе патриотизм и ненависть к немцам. Я знаю это по собственным эмоциям. В результате получилось, что русские с патриотическим энтузиазмом защищали наложенные на них коммунистами цепи тирании, рабства и террора, и тем самым спасли советский режим от поражения.

Партизанские отряды и советскую тактику «выжженной земли»некоторые авторы изображали как стихийные народные проявления. На самом деле, они были тщательно организованы и управлялись из Москвы. В своем радиообращении 3 июля 1941 г. Сталин заявил:

«В районах, занятых врагом, необходимо создавать партизанские отряды, как конные, так и пешие; организовывать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для повсеместного распространения партизанской войны, для взрыва мостов, дорог, повреждения телефонной и телеграфной связи, поджога складов и хранилищ. В захваченных районах необходимо создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их планы».

Он также заявил, что при отступлении всё ценное имущество и оборудование, которое нельзя было взять с собой, должно быть «безоговорочно уничтожено». Не является секретом, что многие крестьяне и городские жители оказали этой сталинской тактике «выжженной земли» ожесточённое сопротивление. Операции и политика «выжженной земли» осуществлялась Особыми войсками НКВД и партизанами. Ими нередко уничтожались целые населенные пункты, что затем приписывалось «фашистким зверствам». Очень часто партизаны совершали ужасающие зверства над немецкими военнопленными.

В Москве был организован главный штаб, направлявший партизанские действия. Секретарь Центрального Комитета Белорусской компартии, товарищ Пономаренко, руководил партизанской войной в Белоруссии.

Действиями украинских партизан руководил Демьян Коротченко, секретарь Центрального Комитета Украинской партии. В странах Балтии ту же роль играл товарищ Лацис. Это были партийные лидеры с давним стажем, преданные Сталину.

В соответствии с планами центрального командования, некоторые крупные части Красной Армии намеренно оставались в немецком тылу, чтобы стать центрами партизанского движения. Солдаты, отбившиеся от своих частей и естественным образом оказавшиеся отрезанными, вступали в партизанские батальоны. Многие тысячи партийцев пополнили ряды партизан.

Есть и другой аспект тайной сталинской деятельности, который нигде не упоминается. Я имею в виду сеть тайных агентов НКВД, специально оставленных в каждом районе, занятом немцами, прежде всего для наблюдения за поведением советских людей в немецком тылу. Десятки тысяч советских мужчин и женщин были впоследствии арестованы и казнены, сотни тысяч были приговорены к каторжному труду в концлагерях на основании этих наблюдений и донесений. Агенты НКВД также присоединялись и к партизанскому движению, так что привычная система советского шпионажа и доноса среди своего народа процветала даже в условиях немецкой оккупации. Семьи тех, кто был оставлен в немецком тылу для особых заданий, были эвакуированы на советскую территорию и служили заложниками, гарантируя чекистам преданность этих шпионов.

Не следует считать, что население оккупированных территорий было всюду дружелюбно настроено к партизанам. В Прибалтике, например, где большинство населения встретило нацистов с радостью как освободителей от террора советской власти, советские партизаны не имели никакой поддержки со стороны мирного населения. Но даже и в самой России – особенно на Дону и Кубани, где в следствии расказачивания, раскулачивания, советской коллективизации и голода были колоссальные жертвы, партизанское движение, направляемое из Москвы, оставалось малочисленным и отношение к нему со стороны населения было враждебным.

На Украине старые обиды на советскую систему также часто находили смертоносный выход. Ситуация на Украине, однако, была настолько сложной, что для её краткого изложения потребовалась бы целая глава. Там было пронемецкое движение; существовало также движение, одинаково враждебное и немцам, и большевикам. Кроме того, конечно, были партизаны с чётко выраженной сепаратистской программой, стремившиеся в конечном итоге к совершенно независимой и суверенной Украине.

Необходимо отметить, что значительную работу в немецком тылу проделали спецподразделения НКВД, обученные и оснащённые для диверсионно-партизанской войны. В тыл немцев постоянно забрасывались десантные отряды для выполнения специальных диверсионных операций.

18 сентября 1941 года советское правительство объявило о всеобщем военном обучении для всех мужчин в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет, которые ещё не были призваны на фронт.

На самом деле, на действительную военную службу принимались мужчины в возрасте до пятидесяти шести лет, а на небоевые службу – до пятидесяти восьми. На практике же, каждый мужчина, независимо от возраста и физического состояния, но достаточно работоспособный, был обязан являться на учения в конце рабочего дня, который в большинстве случаев длился двенадцать часов. На площадях и бульварах Москвы измученные люди, с затуманенными глазами, полуголодные и плохо одетые, муштровали с палками вместо ружья. Имея одну или две винтовки на взвод, они обучались искусству стрельбы. Ни дождь, ни глубокая грязь не освобождали их от этого. Более того, часть обучения состояла из ползания по грязи или снегу. Пусть романтики ссылаются на эти учения как на еще одно доказательство боевого пыла советского народа. Правда выглядела иначе. Учения были строго обязательными. Непосещение их наказывалось как дезертирство военными трибуналами НКВД.

Что касается вооружённых сил, то меньше патриотической чепухи было бы написано на эту тему, если бы мир знал о той свирепой дисциплине и тех зверских методах, применявшихся в Красной Армии. И особенно о том, насколько широко в Красной Армии во время войны применялись массовые расстрелы советских солдат без суда и следствия за самые незначительные проступки.

За рубежом неизвестно – и правда требует того, чтобы об этом было заявлено гласно, – что за спиной солдат Красной Армии на фронтах действовали специальные «заградительные отряды», состоявшие из чекистов с пулеметами позади идущих в наступление красноармейцев. Эти отряды особого назначения НКВД тесно взаимодействовали с политическим руководством армии.

Их задачей было перехватывать дезертиров, бегущих с фронта солдат, предотвращать отступления, расстреливая отступающих. Красноармейцы шли в бой под дулами чекистских пулеметов, которые расстреливали всех, кто отступал, колебался или проявлял нерешительность. Чекисты имели право убивать любого, кто самовольно покидал строй по любой причине, и не колеблясь применяли это право. Лишь изредка, они передавали задержанных солдат военным трибуналам.

Часто можно было видеть под охраной чекистов НКВД грузовики, наполненные дезертирами и другими провинившимися. Мы знали, что их везли на массовые расстрелы. Мне известно из доверенных источников, что доля дезертирства в Красной Армии была поразительно высокой. Десятки тысяч людей посылались в бой почти без всякой или при очень незначительной военной подготовке. Они были совершенно незнакомы с современными методами ведения войны, и потери среди них были исключительно высоки.

Огромные масштабы советских потерь в войне приводились пропагандой миллион раз как доказательство советского героизма с одной стороны, и зверств фашистов, с другой. Но на самом деле эти потери следует привести как доказательство преднамеренной бесчеловечной политики Сталина и советского руководства к собственному народу.

5

Эвакуация Москвы началась в августе 1941 и продолжалась до 1942 года, пока опасность для столицы окончательно не миновала. Около месяца, пока меня не призвали в Красную Армию, я занимался демонтажем нашего завода и подготовкой оборудования к отправке на Урал. Даже самый ярый хулитель советского режима не мог предположить, что всего через шесть недель после начала военных действий придется начинать эвакуацию столицы страны.

Привычная суета нашего завода утихла. Жизнь затихла и, казалось, вот-вот иссякнет. Мы все надеялись, что опасность преувеличена. Как только эта надежда, казалось, сбылась, мы получили приказ из нашего комиссариата приостановить демонтаж оборудования. Но, несмотря на наш энтузиазм, приказ был отменён, и с нас требовали ускорить эвакуацию.

В то время как определённое количество рабочих-специалистов было отобрано для отправки на восток с машинами, остальных массово увольняли с двухнедельной зарплатой. То же самое происходило и на всех других московских предприятиях. Хотя немцам предстояло дойти до пригородов Москвы лишь через месяц, к концу августа в столице уже царила атмосфера обреченности. Высшие партийные чины паковали свои семьи и имущество, направляясь в Свердловск и другие города Урала на автомобилях, поездах, самолетах. Сотни наших руководителей расположились в своих кабинетах, имея наготове чемоданы и служебные машины для мгновенного бегства. Мы работали весь день, тренировались весь вечер.

Весь ответственный персонал нашего завода, как и всех промышленных предприятий столицы, был объявлен «находящимся на военном положении». Неделями я не был дома, ел и спал там, где работал.

С чувством облегчения я наконец занял своё законное место в боевых рядах и вступил в Красную Армию. В начале сентября 1941 года местная призывная комиссия уведомила меня о явке на экзамен. Прошло довольно много времени с момента отмены моего добровольного призыва, и Егоров с Мантуровым вычеркнули меня из своего списка «необходимых работников». Проверка моего физического состояния в комиссии заняла всего две минуты.

Меня направили в Болшево, примерно в 32 километрах от Москвы, в Военно-инженерное училище, сохранив звание капитана, которое я уже носил. Меня зачислили в особый дивизион, где готовили офицеров к высшим должностям. Вместе с сотнями других инженеров всех видов я прошёл интенсивные курсы военно-инженерного дела, а также непосредственную боевую подготовку.

Поскольку Болшево находилось так близко к столице, мы с Ириной пока не ощущали никакой разлуки.

ГЛАВА XXIII

ПАНИКА В МОСКВЕ

В БОЛЬШЕВО меня назначили парторгом, что сделало меня главным политическим руководителем среди моих однокурсников по офицерской школе. Во всех военных вопросах, конечно, я подчинялся полковнику Варваркину и его помощникам. На курсах учились юноши лет двадцати, но в моей дивизионе были зрелые мужчины, закаленные долгим и тяжелым опытом работы в советской промышленности и политике, люди лишенные иллюзий.

Я делал все возможное, чтобы облегчить участь моих товарищей. В душе я был убежденным врагом сталинского режима. Я ненавидел его звериную сущность. Свидетельства его некомпетентности, которые теперь накапливались повсюду вокруг нас, только усиливали это отвращение.

Обучение, которое проходило в Болшево, было бы недостойно третьесортной страны, не говоря уже о великой державе после двух десятилетий тотальной индустриализации. Инструменты, которые нам давали для строительства мостов, дотов, аэродромов, были настолько примитивными, что фактически сводились к топору и лопате.

Где, спрашивали мы себя, высокоразвитая техника, а которой столько распространялась советская пропаганда? Я выслушал множество иронических комментариев и откровенной ругани на эту тему.

«Это эти инструменты для закладывания взрывчатки, — сказал мне один из офицеров-инструкторов, — нужно уважать как реликвию. Оно дошло до нас из далекого прошлого».

«Разве фашисты не перестреляют нас, как куропаток, пока мы будем возводить такой громоздкий понтонный мост?» — спросил я его лично после одной из лекций.

«К сожалению, это правда, товарищ Кравченко, — вздохнул преподаватель, но это единственное оборудование, которое у нас есть».

За редкими исключениями, к сожалению, преподаватели были столь же невежественны и примитивны, как и оборудование, с которым они работали. Подполковник, читавший лекции по дорожному строительству, мог бы с

пользой поучиться у любого прораба на дорожной стройке. Но он был коммунистом и посвящал почти всё своё время воспоминаниям о своих подвигах в годы гражданской войны. Кроме того, будучи офицерами, мы много времени посвящали чтению и обсуждению избранных произведений Ленина и Сталина. Очевидно, что от нас нельзя было ожидать, что мы будем ставить мины и наводить мосты без приличного знания основ ленинизма-сталинизма.

Несмотря на трудности и неприятности, мы учились усердно. В силу моей должности парторга я был в постоянном курсе событий не только в нашей инженерной части, но и в столице. Я присутствовал на всех заседаниях нашего партийного комитета вместе с командирами, где мы выслушивали конфиденциальные доклады.

Я довольно часто бывал в самой Москве и поэтому был в курсе её всё более ухудшающегося положения. По мере расширения эвакуации и приближения линии фронта нарастали смятение и тревога. По мере роста тревоги усиливались репрессии НКВД. Это был порочный круг, который сделал неизбежным высокий уровень паники и грабежей, столь тщательно скрываемых от внешнего мира.

К концу сентября 1941 года страх и паника среди коммунистов выросли до взрывного состояния. Фаворитизм при эвакуации приводил простых москвичей в ярость. Впервые за двадцать лет я услышал открытую ругань в адрес партийцев. Каждое бюро и административное учреждение составляло списки лиц, имеющих право пользоваться поездами до Куйбышева, Свердловска и других мест бегства. Теоретически единственным критерием была «незаменимость»; на самом деле кумовство, членство в партии и политические связи были окончательными арбитрами. Высшие члены партии занимали места для своей мебели, своих гардеробов, своих любовниц, своих родственников, в то время как тысячи простых партийцев ютились среди своих тюков и чемоданов на железнодорожных станциях в смутной надежде найти местечко в каком-нибудь поезде, идущем куда-нибудь на восток. Это были счастливчики с официальным разрешением на выезд.

Я присутствовал на совещаниях, где обсуждалась эта проблема. Если бы мы имели дело со скотом, мы бы, по крайней мере, позаботились о корме для него на долгий путь. А пока никому не приходило в голову поднять вопрос о еде для эвакуированных, о том, как они доберутся до назначенных пунктов и

как им выжить после прибытия. Когда толпы на станциях становились слишком большими, чтобы их можно было контролировать, наконец, собирали товарные вагоны, открытые угольные вагоны и даже вагоны метро.

Тем временем, словно в насмешку над простыми людьми, из Москвы выезжали целые караваны комфортабельных служебных автомобилей, загруженных семьями и домашним скарбом коммунистической партийной элиты. Пропасть между общественными классами в СССР оказалась глубже и уродливее на фоне войны и опасности.

В первую неделю октября 1941 года столица видимо утратила контроль над своей жизнью. Город, как и человек, может страдать от нервного срыва. Трамваи и автобусы работали с перебоями. Магазины были в основном пусты, но голодные люди всё равно стояли в очередях. Хотя у нас с Ириной связи были лучше и денег больше, чем у большинства людей, мы часто нуждалась в еде. Дома и учреждения не отапливались; вода и электричество подавались с перебоями и ненадежно.

Днём и ночью из труб зданий НКВД, Верховного суда, Наркомата иностранных дел, различных учреждений и партийных комитетов валил дым. Наши коммунистические руководители спешно уничтожали документы, стирая следы десятилетий своих преступлений. Правительственные учреждения, очевидно, по приказу сверху, заметали следы. Тут наступила необычно ранняя зима и выпавший в октябре снег был покрыт сажей и копотью.

Однажды ночью, в строжайшей секретности, гроб, в котором забальзамированное тело Ленина лежало в мавзолее на Красной площади, был погружен чекистами на грузовик. Его доставили в специальном автомобиле в г. Тюмень в Сибири, где оно оставалось до конца войны. Самые ценные экспонаты из Кремля и музеев также были вывезены во внутренние районы.

12 октября 1941 года немцы сбросили на наш Болшевский район листовки. Я возглавил группу доверенных коммунистов, чтобы найти и подобрать их. Нам, конечно же, было строго запрещено их читать – любой, у кого была обнаружена немецкая листовка, подлежал немедленному аресту и его передавали чекистам.

В ту же ночь нас разбудил сигнал тревоги. В течение получаса три батальона наших молодых, полуобученных офицеров в полной боевой выкладке были брошены к западной окраине Москвы. Сорок восемь часов спустя, примерно треть из них отступили, окровавленные, замёрзшие, голодные и удручённые; остальные так и не вернулись. Большинство этих молодых людей были фанатичными сталинцами. Они шли в бой с криками: «Ура за Сталина! За партию!»

Начиная с 13 октября, мы все лежали в снегу в Болшевском лесу, охраняя участок подступов к столице с нашей стороны, где предполагалась высадка вражеского десанта. На мне было летнее нижнее белье, лёгкие брезентовые сапоги, летняя кепка, потрёпанная армейская шинель, а температура уже была далеко ниже нуля. Моё снаряжение состояло из учебной винтовки и ровно трёх патронов. Хотя все мы были офицерами, лишь немногие были лучше защищены от холода, лишь у счастливчиков было целых пять патронов. Боеприпасы, которые нам обещал штаб, так и не пришли. У многих из нас, конечно,была тёплая гражданская одежда; лично у меня, например, пара хороших ботинок, шерстяное бельё и другие вещи. Но нам строго запретили носить что-либо, кроме уставной одежды. И мы замерзали и страдали во славу военной глупости советского руководства.

Те дни и ночи в снегу, из которых многие мои товарищи выходили обмороженными и больными, навсегда останутся в моей памяти. В этом неприятном воспоминании, ещё более удручающем чем отсутствие надлежащей одежды, снаряжения и боеприпасов, был вид автомобилей, полных партийной элиты с их имуществом, бегущих из Москвы.

Офицер, присевший рядом со мной в заснеженной канаве, воскликнул:

«Если увижу ещё одну машину с паразитами, перестреляю этих мерзавцев».

«Лучше убереги свои три пули для фашистов», — строго сказал я.

Возвращаясь из Болшево после ночи под открытым небом, уставшие, голодные, замёрзшие, мы пели одну из обязательных песен:

В бой за родную землю!

В бой за Сталина!

Боевая честь нам дорога.

Наши верные кони бьют копытами,

Когда мы бросаемся на врагов Сталина.

В такие моменты не копыта коней, а мои скользкие парусиновые башмаки били по зимней земле. Но я пел с остальными. Слова наших бодрых песен и чувства в наших сердцах не всегда совпадали.

Вечером 15 октября 1941 г. две роты сапёров были отправлены в Москву с секретным заданием. В качестве парторга я узнал о характере их задания, доверенного мне как совершенно секретного. К ним должны были присоединиться другие группы из специальных инженерных частей НКВД. Их задачей было минирование Москвы. Мощная взрывчатка была заложена под Московским метрополитеном, главными зданиями Кремля, электростанцией, водопроводом, железнодорожными вокзалами, музеями, театрами, важнейшими правительственными зданиями, коммуникациями и укреплениями. Всё было готово к «сожжению» и уничтожению столицы коммунистами. Это повлекло бы за собой тяжёлые потери среди фашистов и ещё более тяжёлые потери среди мирного гражданского населения. Мины были обезврежены только летом 1942 года.

Утром 16 октября 1941 г. полковник Варваркин отправил меня в Москву. Я обнаружил, что город охвачен настоящей паникой. Самые истеричные слухи распространялись повсюду. Говорили, что в Кремле произошёл государственный переворот, что Сталин арестован, что фашисты уже находятся в Филях на окраине города. Некоторые говорили, что видели приземление немецких парашютистов на Красной площади. Они рассказывали друг другу, что немцы были среди нас в униформе Красной Армии. Толпы людей перебегали с улицы на улицу, а затем возвращались обратно.

Уже начались беспорядки и грабежи. Магазины и склады опустошались беспорядочными толпами. Создавалось впечатление, что больше нет правительства; что миллионы москвичей брошены на произвол судьбы без еды, топлива и оружия. Общественный порядок рушился. В «Савое», «Метрополе» и нескольких других фешенебельных гостиницах и ресторанах всевозможные женщины и просто проститутки кутили с высокопоставленными лицами, которые ещё не покинули город. Вино и

водка лились рекой. Это было симптоматично для охватившего Москву развала.

Что все это значительной степени было правдой, я впоследствии узнал в мельчайших подробностях из доверенных источников. Например, в здании Совнаркома на Садовой-Каретном бульваре высокопоставленные партийные деятели собрали молодых сотрудниц для пьяной оргии, которая продолжалась несколько часов. В сотнях других партийных и правительственных учреждений и частных квартир люди вели себя так, будто наступил конец света.

Мне удалось вернуться в Болшево к ночи. Там я обнаружил беспорядочные толпы людей, грабивших наши дома. Грабежи начались вскоре после моего отъезда и продолжались уже несколько часов. Местные жители быстро подкрепились крестьянами из близлежащих деревень. Наши командиры исчезли. Как только военные склады были взломаны, многие наши офицеры присоединились к мародерствующим толпам, чтобы добыть для себя хоть немного тёплой одежды. Уносилось все, одеяла, простыни, униформа, обувь, продукты – всё, что можно было унести. Помещение выглядело как руины, снег вокруг был утоптан и усеян брошенными вещами.

Мне быстро удалось найти полковника Варваркина. Очевидно, он был завален донесениями и чувствовал себя беспомощным. Он слушал информацию с раздражением. Без сомнения, он знал о панике в столице. Полковник Варваркин предполагал, что Болшево в любом случае будет эвакуировано. Пусть лучше наши собственные люди разграбят припасы, чем оставлять их немцам ... К полуночи он и другие офицеры вернулись, мародеры убрались восвояси, и подобие дисциплины было восстановлено. Вскоре мы снова сидели в лесном снегу, слишком хорошо понимая, что у нас нет ни сил, ни уверенности в себе, чтобы остановить фашистов, которые могут встретиться нам на пути.

Тем временем в Москве голодные толпы мужчин, женщины и детей метались по улицам. 17 октября толпы людей в поисках еды снова врывались на склады, рынки и магазины. Милиция, казалось, бездействовала. Микояновский мясокомбинат был лишен последнего фунта мяса, колбасы и консервов. Голодные люди, брошенные правительством на произвол судьбы, штурмовали кондитерскую фабрику рядом с площадью Маяковского, распределяя между собой тонны кондитерских изделий, а

также сахар, масло и другие продукты. Десятки других предприятий были разграблены. Беспорядки продолжались весь день и большую часть восемнадцатого октября.

Тысячи коммунистов, полагая, что они оказались в ловушке обречённого города, спешно уничтожали свои партийные билеты и другие документы, коммунистическую литературу и портреты Сталина и других советских лидеров. Я могу утверждать несомненную правду, которую мне впоследствии сотни раз подтверждали люди, имевшие возможность знать реальное положение дел.

В те дни фашисты могли взять Москву практически без боя. Два-три парашютных полка, сброшенные с неба, взяли бы советскую столицу под свою полную власть.

Спешно организованные батальоны из рабочих, развёрнутые на окраинах, были необученными и плохо вооружёнными, а внутри столицы советские власти были парализованы. Первые немецкие танки, достигшие Химок, встретили незначительное сопротивление. Почему они повернули назад – это загадка истории. Предположительно, они переоценили оборону Москвы и решили дождаться весны и подкрепления. Возможно, даже, что они восприняли подозрительно слабую оборону как уловку, чтобы заманить их в какую-то адскую ловушку. Единственное, что несомненно, – это то, что им никто не сообщил, что столица практически беззащитна и психологически уже сдалась.

Начиная с 19 октября ситуация улучшилась, когда начали прибывать первые полностью укомплектованные сибирские и дальневосточные воинские части. НКВД стряхнул с себя летаргию и занялся своим привычным делом, арестами и расстрелами. В тот день Сталин за своей подписью издал указ, который был немедленно передан официальным лицам и вступил в силу немедленно, хотя и был опубликован лишь два дня спустя. Сам тон документа отражал понимание того, что в Москве бушевало стихийное восстание.

«В целях обеспечения обороны Москвы, для укрепления тыла войск, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов германского фашизма», – начинался указ. Далее он предписывал расстрелы лиц для следущих категорий: «Провокаторы, шпионы

и другие агенты противника, задержанные за нарушение общественного порядка, расстреливаются на месте».

Приказы были адресованы генералу Синилову, коменданту Москвы, но в них уточнялось: «В его распоряжении находятся войска внутренней обороны НКВД, милиция и добровольческие рабочие отряды», последнее название было эвфемизмом для обозначения коммунистов. Сталин предпочитал не поручать эту задачу Красной Армии, опасаясь, что в свете прошлого опыта четверти века, рядовые солдаты могут отказаться расстреливать свой народ. Вместо этого он рассчитывал на животный страх, внушаемый советским людям самим названием НКВД.

Мясорубка военных трибуналов работала круглосуточно; многие тысячи были арестованы и расстреляны. Тем временем, крестьяне и солдаты с самых передовых позиций утверждали, что фашисты отступают под ударами недавно прибывших сибирских и дальневосточных войск и, по-видимому, концентрируются для зимней осады.

Тем временем в Болшево мы получили приказ об эвакуации. По приказу верховного командования мы сожгли политические книги, военные билеты и архивы. Не успели мы подготовиться к отступлению, как приказ был отменен. Однако несколько дней спустя приказ об отступлении на восток был возобновлен, на этот раз уже всерьез.

Мои личные проблемы осложнялись зубной болью. В военном госпитале зубной врач кое-как запломбировал дупло в одном из коренных зубов цементом. «Этого должно мне хватить», – считал он, – «пока я не доберусь до места назначения». Мои испытания в следующем месяце, которые включали ужасную семнадцатидневную поездку в холодном и переполненном товарном вагоне, а затем шестидневный переход пешком в брезентовых сапогах на резиновой подошве, прошли в тумане мучений, которые иногда достигали пика агонии. Моя щека продолжала распухать, а боль пронзала каждый нерв моего тела.

2

Свежие армии с Дальнего Востока и Сибири, закалённые в пограничных боях с японцами, и привыкшие к зимней войне, двигались на запад, чтобы сдержать немецкие войска. В то же время другие, гораздо меньшие, контингенты с запада медленно двигались в противоположном

направлении, через Волгу и за Урал, для обучения и вооружения. Большинство из них были новобранцами; но среди них были и бывалые солдаты, спасшиеся после сокрушительных поражений на всех фронтах. Все они будут заново обучены, заново экипированы. Большевизм готовил средства предотвратить свое поражение.

Мое инженерное подразделение вошло в состав отрядов, направляющихся на восток, прочь от опасных зон, к центрам переподготовки. Ежедневное и почти ежечасное зрелище длинных воинских эшелонов, направляющихся на запад, было обнадеживающим.

Батальон офицеров, отправленный на железнодорожную станцию для подготовки нашего поезда к переезду, обнаружил, что нам было выделено пятьдесят разных товарных вагонов, и почти все они были до потолка забиты огромными рулонами газетной бумаги. Многие квалифицированные инженеры с внушительными военными званиями провели всю ночь, до самого утра, швыряя бумагу в снег. Затем мы разбились на отряды, чтобы захватить печи, фонари, доски – всё, что смогли найти, чтобы сделать наше путешествие более сносным. Некоторые из нас занялись сверлением отверстий в крышах вагонов для дымоходов, в то время как другие помогали загружать оборудование в вагоны, предназначенные для этой цели.

Вечером к нам пришли жены, матери, дети, друзья, чтобы попрощаться. Были обычные, но всегда душераздирающие сцены. Ирина была так обеспокоена моей распухшей щекой и одеждой не по сезону, что забыла плакать.

Обычные советские вагоны по военному расписанию вмещали двадцать четыре человека. В наших вагонах было пятьдесят или больше, так что мы не могли все сидеть, не говоря уже о том, чтобы вытянуться, одновременно. У нас не было ни коек, ни скамеек, ни возможности помыться или сходить в туалет. Мы спали по очереди. В моем вагоне маленькая печка давала слабое тепло в непосредственной близости. Мы оттаивали по очереди. У нас не было ни одного фонарика, а свеча в единственном фонаре, которую кто-то конфисковал в каком-то доме в Болшево, быстро догорела. В течение нескольких дней половина наших людей заболела острыми простудными заболеваниями, расстройствами пищеварения и другими болезнями; моя челюсть продолжала болеть. Так мы ехали семнадцать дней, преодолевая расстояние, которое обычные пассажирские поезда преодолевали за

двадцать четыре часа. Несколько раз в день нас переводили на запасные пути, чтобы пропускать войска и тяжелую технику, идущие на запад, на фронт, или роскошные гражданские поезда, заполненные советской элитой, спешащей на восток в города на Волге и далее.

Только несколько высших офицеров и комиссаров знали о нашем пункте назначения. Я был среди них. Я знал, что мы направляемся в небольшой городок Мензелинск в Татарской Республике, столицей которой является древний город Казань. Мензелинск расположен на реке Кама, восточном притоке Волги.

Дважды, иногда трижды в день, нас кормили на крупных станциях. Хотя наш поезд всегда подолгу останавливался на крошечных полустанках, и даже между станциями, нам строго-настрого запрещалось выходить из вагона без специального разрешения командира вагона. Разрешение давалось редко.

Это глупое и даже оскорбительное правило причиняло страдания и порождало горечь. Мы не понимали, почему офицеров, направляющихся в глубь страны, следует так строго охранять, и по мере того, как путешествие становилось длиннее, росло напряжение.

На одной из небольших остановок, мой друг капитан Нумидов попросил разрешения выйти из вагона на минуту, но получил отказ. «Это не поезд для советских офицеров, а тюрьма!» — пробормотал он, сдерживая ярость. Командир вагона его не услышал, но несколько других офицеров услышали. Кто-то среди нас — я подозревал, что это был коммунист, который домогался моего места политрука, — должно быть донес об этих словах вышестоящему начальству, не раскрывая, однако, личности «виновника». Без сомнения, донос был направлен против меня как парторга, а не против Нумидова. В любом случае, на следующей станции меня вызвали к старшему комиссару Л.

«В вашем вагоне была контрреволюционная агитация», — закричал он на меня. «Почему вы не донесли? Это было вашим долгом парторга».

«Мне ничего не известно о какой-либо агитации», — сказал я.

«Почему другим стало известно? Вы должны разоблачить классового врага, который сказал, что мы едем как каторжники».

«Не знаю, кто это сказал. К тому же, мы всего лишь люди. Слова говорят сгоряча, не желая никого обидеть».

«Ты слишком мягкосердечен, Кравченко. Это война, и чем скорее ты это усвоишь, тем лучше. Пойдём в вагон и разыщем негодяя».

Товарищ Л. направился к моему вагону с видом ангела-мстителя. Он произнёс гневную речь, требуя немедленного разоблачения «фашистского агента». Я взглянул на Нумидова, пока комиссар кипел от злости и угрожал, и увидел, что он бел как полотно, и что мышцы его лица дергаются. Было видно, что у него душа ушла в пятки от страха. Я испугался, что он может выдать себя. Я знал, что он ненавидел немцев. И всё же ему теперь грозил расстрел как «классовому врагу» и «немецкому пособнику», потому что он проявил непослушание, осмелившись возмутиться бессмысленным правилом. К счастью, никто его не выдал.

На следующий день эпизод повторился, но с более серьёзными последствиями. Молодой лейтенант в нашем вагоне, уже принявший крещение огнем на фронте, вышел из себя, когда ему отказали в разрешении выйти на минуту.

«Это возмутительно!» — воскликнул он вслух. «Там мне доверили вести роту против немцев, а в этом вагоне мне не разрешают выходить по своим нуждам!»

На следующей же станции подполковник Сергеев, которому было доложено об этом «неповиновении», прибыл, чтобы примерно наказать нарушителя.

Молодой офицер, стройный, симпатичный юноша с русыми волосами, был арестован, с него сняли знаки различия и офицерский ремень, и приговорили к десяти суткам пребывания на холоде без верхней одежды под конвоем на открытой платформе.

С пяти утра до полуночи его заставляли стоять на открытой платформе, двигавшейся сквозь суровую среднерусскую зиму. На каждой станции меняли конвоиров. Когда он возвращался к нам в вагон на короткую ночную передышку, мы выражали ему сочувствие, массируя его замерзшие конечности, давая ему еду и накладывая на него наши самые теплые вещи.

После второго дня мучений для этого молодого офицера, я больше не мог держать язык за зубами. Я разыскал товарища Л. и умолял его вмешаться.

«Мы все понимаем необходимость строгой дисциплины, — сказал я, — но разве не должны мы также проявить немного здравого смысла? Когда-нибудь от нас будут ожидать, что мы будем командовать войсками в бою. Нам нужно чувство власти и самоуважения. Имеет ли смысл охранять нас так пристально, словно мы ищем возможности дезертировать? Завтра 7 ноября, годовщина революции. Уверен, что все в нашей части сочли бы это подарком к празднику, если бы лейтенанта освободили».

По моему настоянию, товарищ Л. наконец согласился встретиться с Сергеевым. Он вернулся и объявил, что дальнейшее исполнение наказания отложено до прибытия к месту назначения.

«Но, пожалуйста, не втягивайте меня больше в подобные дела», — сказал он. «Это война, а не пикник».

Наш командир очевидно решил, чтобы мы не размякли в этом долгом путешествии, мы должны делать зарядку каждое утро на остановках поезда, желательно до восхода солнца, раздевшись по пояс, несмотря на арктическую температуру. Поэтому на первой утренней остановке нас будили звуком горна, и мы выходили, дрожа от холода и сонливые, для зарядки. Больные не были освобождены. Даже в те дни, когда сильный ветер превращал мокрый снег в мириады кружащихся иголок, гимнастику не отменяли.

Те из нас, у кого были при себе деньги, пытались купить что-нибудь у местных крестьян, торговавших на станциях, где нас кормили. Увы, мы обнаружили, что цены, и без того завышенные, взлетели за несколько месяцев войны. Самый дешёвый табак стоил сорок рублей за стакан, что является крестьянской мерой стоимости; кружка молока – пятьдесят рублей; курица – 1200 рублей, что почти равнозначно двухмесячному жалованью офицера. Рядовому солдату, чье жалованье колебалось от 8 до 12 рублей в месяц, пришлось бы отслужить девять лет, чтобы заплатить за одну курицу по свободным рыночным ценам в ноябре 1941 года.

На одном из узлов, перед тем как мы добрались до Казани, наш поезд отвели на запасной путь, чтобы пропустить длинную вереницу военных вагонов, и нам разрешили размять ноги. С несколькими сослуживцами я пошёл к ближайшему лесу, где можно было видеть, что там рубят деревья. Приблизившись, мы подумали, что работающие там мужчины и женщины,

не были русскими людьми. Хотя большинство из них носили крестьянские лапти, остальная их одежда выглядела иностранной, несмотря на то, что она уже была покрыта грязью и изношена в лучшем советском стиле.

Очевидно, эти люди не были привычны к такому изнурительному зимнему труду. От вооруженного охранника НКВД мы узнали, что они действительно иностранцы – латыши, литовцы, эстонцы, поляки – всего лишь небольшая выборка из, возможно, двух миллионов «классовых врагов» и разного рода «нежелательных», депортированных на каторжные концлагерные работы с территорий, недавно захваченных Советским Союзом.

Тем временем группа бездомных детей-бродяг собралась вокруг наших вагонов. Немытые, оборванные, полузамёрзшие мальчики и девочки с преждевременно постаревшими глазами на измождённых личиках просили хлеба своим жалким пением. Они казались более покорными и печальными, чем предыдущие поколения безпризорников, возможно, потому, что они были так юны для жизни безпризорников. Группа несчастных сирот также собралась вокруг углей простаивающего локомотива. Они пели песню бездомных детей, столь знакомую по временам гражданской войны двадцать лет назад, и теперь возрождённую сиротами новой войны:

О, я умру, я умру

Меня закопают

И никто не будет знать

Где моя могилка.

Мы отдали несчастным то немногое, что могли. К счастью, у нас было много хлеба. Даже когда эти группы безпризорников, не имея другого выбора, начинали шалить или воровать, ни один из нас не решался быть с ними суровым. Они были нам живым укором бесчеловечности советского мира.

На первом этапе пути нашей целью была станция под названием Агриз, куда мы прибыли на семнадцатый день. Мы расположились на ночлег на грязном полу заброшенной и неотапливаемой школы. Утром нам было приказано явиться в Мензелинск в течение шести дней. Как лучше всего туда добраться? Это была наша собственная проблема. За шесть дней мы должны были дойти пешком; если повезет, нас подвезут дружелюбные крестьяне. Мы разбились на группы, каждая из которых подчинялась своему парторгу.

Наши командиры-коммунисты, ехавшие впереди на автомобилях, очевидно, не видели противоречия в том, чтобы теперь оставить нас одних в суровой, заснеженной Татарии, а до этого охраняя нас в поезде, как заключенных.

3

Двенадцать человек отправились в путь, быстро шагая, чтобы согреться. Наше снаряжение и шестидневный паек были обузой, которая становилась все тяжелее с каждой минутой. Мои брезентовые сапоги со скользкой резиновой подошвой едва ли были предназначены для ходьбы по снегу и льду, поэтому вскоре каждый шаг гулко отдавался в моей ноющей челюсти. Но кто-то запел заунывную народную мелодию, глубоко русскую в своей печальной ностальгии, и она немного смягчила усталость и боль.

Мы были поражены, увидев огромные поля неубранной пшеницы под снегом, а изредка даже снопы сжатого зерна. Позже один крестьянин дал нам объяснение: поскольку все трудоспособные мужчины были взяты на войну, а лошади реквизированы для фронта, «только женщины, дети и коровы» остались на уборке урожая, и огромное количество урожая не было вывезено с полей.

Через некоторое время нас обогнала пара крестьянских саней. Только десять

из нас смогли втиснуться в них, и я, как партийный организатор, настоял на том, чтобы идти пешком. Дмитрий, мужчина лет тридцати, с которым я подружился в Болшево, вызвался составить мне компанию. День был серый, унылый, и пейзаж, хоть и разнообразный, был покрыт той же белой пеленой снега. Лишь изредка далёкая струйка дыма или далёкий лай собаки нарушали наше чувство оторванности от обжитого мира и мы устало пробирались сквозь сгущающиеся сумерки.

С наступлением темноты мы добрались до небольшой, тихой деревни. Очень уставшие, мы постучались в первый дом на нашем пути. Бородатый крестьянин открыл дверь. Он объяснил, что его дети лежат больные. Он направил нас в дом вверх по дороге, где, заверил он, нас радушно примут, и найдут для нас хорошую еду.

Он не солгал. Двухкомнатный дом был тёплым и уютным, с разноцветными занавесками на окнах и цветами в горшках на подоконниках. Худощавый, чисто одетый русский крестьянин и его седовласая жена приняли нас так

радушно, словно давно ждали нашего прихода. Остальные члены семьи состояли из сына лет двадцати двух, другого, наверное, пятнадцати, и застенчивой десятилетней дочери с косичками. Все поспешили помочь незнакомцам. Когда старший юноша снял куртку, мы увидели, что у него нет левой руки.

«Это у Вани отхватили под Киевом», — вздохнул его отец.

Младшие дети помогли нам снять обледеневшие сапоги, пока их родители грели воду и приносили большое деревянное корыто. Мы впервые за три недели искупались. Мы мыли друг друга и видели через приоткрытую дверь, как женщина раскладывала для нас чистое бельё и одежду своего сына; маленькая девочка накрывала на стол к ужину.

Щи, хоть и без мяса, после нашего долгого марш-броска были как нектар, а лепёшки с мёдом — просто амброзия. Но хлеб был тонко нарезан, что всегда было признаком тяжёлых времен в крестьянской семье. Мы с Дмитрием принесли чёрный каравай, а также копчёную рыбу, чай и сахар. Хозяйка добавила к этому огурцы и перец, а её супруг, чтобы не отставать, откопал литровую бутылку водки, чтобы согреться.

Это был пир, который надолго останется в памяти.

Наш крестьянин придвинул стул ближе к столу и обратился к гостям: «Меня интересует вот что: за что, по-вашему, уважаемые советские офицеры, мы на самом деле сражаемся?»

«За нашу родину, за Россию, конечно», – ответил Дмитрий.

«За нашу родину, за Россию, конечно… Я бы снова отправил своего однорукого сына на фронт и сам бы пошёл за неё. Но за какую Россию? За ту, которая отняла у нас землю и морила голодом до смерти наших детей, – или за другую, за новую?»

«Не понимаю», – сказал я, побуждая его продолжить.

«Что тут понимать? Я сам был на фронте в первую войну с Германией. Воевал, был ранен, меня ели вши.

Потом началась революция. Свобода, говорили они. Земля крестьянам, говорили они. Все орали во всю глотку и говорили нам, что мы — соль земли, потому что у нас в руках винтовки. Прошло двадцать два года, но нет ни

свободы, ни земли — только новая война. И вот они снова говорят с нами тихо и льстят...»

«Но на этот раз это наша собственная власть, — вставил Ваня, — а не арская».

Отец испепелил его взглядом. Невозможно было ошибиться, кто хозяин в этом доме.

«Не перебивай меня пустыми словами, Ваня. Я молчал много лет. Наша власть! Кто же тогда отнял у нас хлеб всякими уловками и прямым грабежом? Наша власть! Кто же тогда ликвидировал каждую пятую семью в нашей деревне и сослал в Сибирь во время коллективизации? Я хочу знать лишь одно: мы люди или нет? Я хочу жить так, как мне хочется, а не так, как мне говорят».

«Ладно, это у тебя просто обиды», — сказал я. «А как же ты жил при царе до революции?»

«В тысячу раз лучше», — ответил он мне. «Что правда, то правда. У меня было шесть десятин земли, хорошая лошадь, кобыла, корова, телёнок, свиньи, гуси. Я держал пчёл. И заметьте, что хотя мы не считались зажиточными крестьянами, у нас всегда было что поесть и одеть. Так вот, я спрашиваю вас, за какую Россию Ваня потерял свою руку? За какую Россию вы, два хороших, умных человека, собираетесь убивать и быть убитыми, не дай Бог? За ту же советскую Россию последних лет? Не приведи господь! Я старый человек и много болтаю, но иногда полезно для разнообразия сказать правду».

Однорукий сын, внимательно слушавший, теперь сказал:

«Ты говоришь о прошлом, отец, как будто хочешь, чтобы помещики и капиталисты вернулись и снова эксплуатировали нас, рабочих и крестьян».

«Ты не прав, Ваня. Ты комсомолец. Ты ничего не знаешь о прошлой жизни. Я не хочу, чтобы вернулись помещики и капиталисты, но и не хочу работать за гроши в колхозе. Зачем нам новые господа на шею? Те колхозы, которые хорошо работают, пусть остаются, но никого не надо принуждать силком вступать в колхоз. Это неправильно».

Долго мы говорили об этом. Всё, чего он хотел, повторял наш хозяин снова и снова, это «жить как человек». Ему надоело, что его помыкают.

Наша хозяйка, которая хранила спокойствие, как и подобает хорошей жене, в конце концов не выдержала.

«Зачем они надругались над нашей верой? Почему у нас силой отобрали церкви и превратили в склады и хлев?» — воскликнула она.

«Не знаю, мать, — сказал Дмитрий, — но я хочу верить, что этого больше не повторится».

«Если бы я была в этом уверена, я бы молилась за Сталина шесть раз в день. Скажи мне, зачем он хочет всех обратить в свою веру?»

Мы все рассмеялись, особенно старший сын.

«Перестань, Ваня», — строго упрекнул его отец. «Мудрость твоей матери глубже твоей. Если бы она не молилась за тебя каждый день, ты остался бы не без руки, а без головы. Думаешь, твои комсомольцы за тебя бы помолились»?

«Но, отец, — вставил Дмитрий, — прошлое есть прошлое. Время не повернуть вспять».

«Мне плевать на прошлое, ребята. Мне не нужен царь. Но и новых царей мне тоже не нужно. Я хочу жить свободным человеком, работать на своей земле и поклоняться своему Богу. Ваш советский бог сидит слишком далеко от меня в Кремле, за слишком многими замками и большой охраной».

В ту ночь мы спали спокойно и крепко, словно в собственных кроватях. Мне снилось, что я снова мальчик в Александровске, плыву в лодке по Днепру, слушаю дедушкины боевые рассказы о турках и курдах. А утром нас ждал горячий завтрак. Старушка, как мы обнаружили, всю ночь стирала, чистила и штопала нашу одежду. Наши рубашки и носовые платки были выстираны и выглажены, и даже носки были заштопаны.

Я был тронут почти до слез этой заботой. Я обнял женщину, погладил ее седые волосы и поцеловал в обе щеки.

«Спасибо, дорогая матушка, — сказал я, — живи долго и счастливо».

Дмитрий был не менее благодарен. Наш хозяин, спустившись с печи, крикнул с притворным гневом:

«Эй, не шалите с моей старухой!»

Мы изо всех сил пытались дать нашим хозяевам немного денег, но они и слышать об этом не хотели. Они только приняли кусок мыла и катушку ниток. Вся семья вышла нас провожать. Это было, как если бы мы покидали родной дом.

«Вы — частичка России, и это хорошо, очень хорошо», -- с чувством сказал Дмитрий.

Мы сели в сани, которые приготовил Ваня, и отправились в путь рано утром. Старушка всё ещё крестила нас правой рукой и вытирала слёзы левой, когда поворот дороги скрыл её из виду. Примерно в десяти километрах от деревни мы уговорили Ваню вернуться. Мы отдали ему знак инженерных войск с ключом и молотком, который он разглядывал с момента нашего прибытия, и велели ему ещё раз поблагодарить за нас своих стариков.

Поздним вечером третьего дня мы добрались до небольшого городка Красный Бор на реке Кама. До революции это место было известно как Пьяный Бор, – объяснила нам семья рыбаков, у которых мы остановились на ночлег. Теперь это был Красный Бор, но пьяный или красный, жизнь не была слаще.

Дмитрий проходил через все выпавшие нам испытания довольно хорошо, но я был в крайне плохом состоянии. Пальцы ног отмёрзли, ступни покрылись волдырями, и всё тело невыносимо болело. Боль в воспаленной челюсти была невыносимой.

Я не сомкнул глаз. Утром я пошел сквозь метель в районную больницу, примерно в пяти километрах от Красного Бора. Несмотря на громкое название, ею оказался заброшенный на вид деревянный дом, где жила женщина-врач средних лет. Она сама оказалась москвичкой – и я предположил, что она была ссыльной – и была вне себя от радости, увидев кого-то из столицы, и жаждала каждой новости.

В то же время она была расстроена, потому что мало что могла сделать для меня.

«У вас воспаление костной ткани», — объявила она после тщательного осмотра. «Инфекция из зуба распространилась по всему вашему организму. Вам следует как можно скорее ехать в Мензелинск и немедленно лечь в больницу. Здесь я бессильна».

«Но вы вытащите больной зуб?», — сказал я.

«Нет, у меня нет обезболивающих средств. Ампулам, которые я здесь нашла, не меньше десяти лет, и, я уверена, что они совершенно бесполезны. К тому же, у меня нет свежих игл для подкожных инъекций».

Я всё равно умолял её вытащить зуб. Она сделала это, разрезая воспалённую ткань и работая грубыми древними щипцами. У меня нет слов, чтобы описать эти пятнадцать минут безграничной агонии. Затем я час отдыхал на кушетке и, подкрепившись глотком алкоголя, пошёл обратно в Красный Бор. После того как был вырван больной коренной зуб, мое общее состояние казалось улучшилось. Дмитрий заставил меня отдохнуть в тот день и ещё одну ночь в доме рыбака, а на следующий день, пятый с тех пор, как мы покинули поезд, мы пересекли замерзшую Каму. Мы встретились с несколькими другими группами из нашей части и на шестой день достигли Мензелинска.

Это был типичный татарский городок с лабиринтом узких улочек и характерным восточным запахом. Нас разместили в старой школе, где не было ни света, ни воды. Было добыто несколько железных печек, но они мало помогали от холода. Практически все наши солдаты страдали от холода, покрылись волдырями, а в некоторых случаях у них кровоточили ноги. Я был слишком измотан, чтобы двигаться, но Дмитрий каким-то образом добыл для меня соломенный матрас и набитую соломой подушку. Моё тело, измученное болью, казалось мне раздувшимся до размеров горы. Смутно, сквозь пелену агонии, я слышал, как окружающие меня солдаты ругают свою еду, своё жилье, свою печальную судьбу. Перспектива жизни в Мензелинске наполняла их всех угрюмостью и унынием. Командиры, на этот раз, оказались слишком благоразумны, чтобы арестовывать по жалобам, и старательно не попадались на глаза.

Два дня я пролежал в мучениях на соломенном тюфяке. На третий день меня перевели в Мензелинский военный госпиталь. У меня была высокая температура. Затем боль отступила, и я смог оглядеться. Женщина-врач с приятными чертами лица и добрыми глазами измеряла мне температуру.

«Всё будет хорошо, товарищ Кравченко», — ободряюще улыбнулась она. «Как только вы окрепнете, вам нужно будет вернуться в Москву на лечение. А пока мы позаботимся о том, чтобы вам было как можно комфортнее».

Я медленно набирался сил. Дмитрий, Нумидов и другие приносили мне

хорошую еду. Сам госпиталь выдавал больным лишь ломоть чёрного, липкого хлеба, чай без сахара, суп и кашу два раза в день.

Мы спали на соломенных матрасах под жёсткими армейскими одеялами. Но дежурный врач моей палаты, Евгения Владимировна, все компенсировала своей добротой и пониманием наших физических мучений. В моей палате мы были странной разношёрстной компанией – старый солдат-крестьянин, политрук в звании полковника, несколько рядовых – и мы убивали время, споряя на все мыслимые темы. Но все мы были едины в своей преданности нашему врачу. В больнице не было ни газет, ни радио. Но мы с комиссаром узнавали новости от друзей, которые навещали нас, и наша палата стала своего рода информационным центром для всей больницы.

Однажды, незадолго до двенадцати часов ночи, после того как я провёл в больнице уже несколько недель, медсестра принесла в нашу палату зажжённую лампу. Через несколько минут вошла врач. Она была не только в штатском, но и одета с ноткой элегантности. Её тёмные каштановые волосы, обычно собранные в тугой узел на затылке, теперь были собраны в высокую модную причёску.

Пациенты приподнялись на локтях и с удивлением уставились на неё. Я даже уловил лёгкий аромат духов, когда она расставляла для нас блюда с мясными котлетами и миску с компотом.

«С Новым годом! С Новым годом!» — воскликнула она. Затем, заметив наше недоумение, она добавила, немного смущённо: «Мне пришло в голову, что вам, возможно, хотелось бы видеть женщину, одетую так, как и положено быть женщине! В конце концов, это же канун Нового года... это может напомнить вам о доме».

«И это прекрасный новогодний подарок для нас», — сказал кто-то тихо, с глубоким чувством.

«Моя старуха в деревне никогда так не одевалась, — добавил старый солдат-крестьянин, — но спасибо вам, Евгения Владимировна, и с Новым годом!»

Поздоровавшись с каждым из нас и раздав еду тем, кто был достаточно здоров, чтобы её съесть, наш врач отправилась в соседнюю палату. Вид этой русской женщины, несущей дар своей женственности тоскующим по дому солдатам в разных комнатах на рассвете нового 1942 года, в обветшалом,

плохо оборудованном, с нехваткой персонала госпитале в Татарии, останется со мной навсегда.

К концу января Комиссия военно-госпитальной службы приказала мне вернуться в Москву для прохождения дальнейшего лечения. В столице меня не положили в госпиталь, а просто я ежедневно являлся в клинику. Пока этот процесс продолжался, я питался в Центральном доме офицеров Красной Армии.

Под ласковым уходом Ирины я быстро поправлялся. Моя челюсть зажила, и тело очистилось. Выписанный из клиники с рекомендацией отдыха для восстановления сил, я обратился в соответствующую комиссию за дальнейшими распоряжениями. Там меня осмотрели поверхностно, за две минуты, и признали годным к службе. В моих новых документах было указано, что меня отправляют на фронт.

Я попрощался с Ириной, ожидая, что не увижу её ещё долго, если увижу вообще. Но когда я явился в Военный комиссариат, мне сообщили, что только что вышел новый приказ. Мужчины с высшим техническим образованием будут освобождены от военной службы для срочной промышленной работы в тылу.

4

Безрадостная столица, в которую я вернулся, была голодной, обмороженной, изможденной. Она казалась сломленной духом и слишком усталой, чтобы отчаиваться. Её население ютилось среди холодного мраморного великолепия метро, в подвалах и импровизированных бомбоубежищах, пока не звучали сигналы отбоя. Люди выбирались из промёрзших домов, чтобы работать долгие часы на неотапливаемых заводах и в кабинетах. Промышленность города была частично эвакуирована. То, что осталось, работало день и ночь на предельных мощностях.

Официальных пайков едва хватало на жизнь, а магазины редко могли удовлетворить жалкие потребности в продовольствии. Голод и холод стали большой угрозой. Война шла всего восемь или девять месяцев, но уже жители столицы великой страны ели хлеб, частично приготовленный из картофельной муки; они убивали и ели своих собак и кошек, а также тех ворон, которых могли поймать.

Как и в худшие дни революционного периода, москвичи ломали мебель и сносили деревянные заборы в отчаянной попытке добыть хоть немного тепла. Смертность в городе продолжала расти, и в то же время террор НКВД увеличивал в огромном количестве число жертв своими расстрелами реальных и мнимых саботажников и предателей. Ирина похудела. Когда ей удавалось получить один скудный обед в бюро, где она работала, она делилась своим пайком с менее удачливыми друзьями.

Наша квартира не отапливалась; мы носили дома теплые пальто, шерстяные шарфы и даже перчатки. Большую часть времени не было электричества, и часто отключалась вода. Часто, трубы в единственном туалете оказывались замороженными, иногда по нескольку дней подряд.

Жизнь была трудной и безрадостной. Москва расплачивалась за советскую четверть века бюрократической неразберихи и политического деспотизма. Половина оборудования завода «Главтрубосталь» была эвакуирована; другая половина работала день и ночь, производя мины и бомбы. Но штат был переполнен. Ни Мантуров, ни Егоров не хотели моего возвращения в штат завода.

Я доложил в райком партии, и благодаря его ходатайству был назначен на должность главного инженера Промтреста, треста, управлявшего девятью различными заводами, большинство из которых работали на фронт. Я был очень рад этому назначению, и хотя условия работы были непривлекательными, это тем не менее давало мне ощущение непосредственного участия в войне. Не менее важно было и то, что как ответственный работник, я теперь имел привилегию кормиться в специальной столовой, предназначенной для членов райкома партии. Некоторые из заводов, находящихся под моим техническим руководством, производили ручные гранаты, мины и ряд других видов боеприпасов. Некоторые из них специализировались на ремонте инженерного оборудования. Я выполнял срочные военные заказы, не щадя себя и своих сотрудников. Я действительно чувствовал и старался внушить окружающим ощущение, что и мы также «на фронте».

Моё новое назначение позволило мне вступить в близкий и почти ежедневный контакт с высокопоставленными военными и государственными деятелями, занятыми проблемами военного снабжения. Время от времени мне приходилось напрямую общаться с

высокопоставленными чинами правительства, Совнаркома – Совета Народных Комиссаров, который, получая свои полномочия от Верховного Совета, теоретически являлся главным исполнительным и контрольным органом Государственного Комитета Обороны. Впервые в своей карьере я присутствовал на нескольких срочных производственных совещаниях в зубчатых кремлёвских стенах.

Однажды я обнаружил на своём столе записку с просьбой безотлагательно позвонить по определённому номеру. Я позвонил и представился.

«Да, товарищ Кравченко, будьте, пожалуйста, в Совнаркоме РСФСР ровно в двенадцать. Вас будет ждать пропуск».

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — является крупнейшей из республик, входящих в состав СССР, даже больше, чем все остальные вместе взятые. В лучшем случае самостоятельность так называемых республик — жалкая фикция; они обладают гораздо меньшей самостоятельностью, чем штаты в Соединенных Штатах. По сути, они представляют собой административные единицы, облегчающие управление такой гигантской страной, как СССР, но полностью контролируемые из центра.

В случае РСФСР даже эта фикция едва ли существует. Ее Совнарком — не более чем продолжение Всесоюзного Совнаркома. Его столица — Москва, его деятельность тесно связана с деятельностью всего советского режима. У РСФСР нет собственного НКВД, как у других советских республик, или своего Центрального Комитета партии.

РСФСР, таким образом, на практике, хотя и не теоретически, совпадает по масштабу с СССР. Это доминирующая политическая единица, где сосредоточена сила советского режима. Обычный советский гражданин не делает различий между главным Совнаркомом и его дочерним Совнаркомом РСФСР, и мне предстояло узнать на практике, что это распространённое предположение было верным.

Я бывал в здании Совнаркома по делам несколько раз и был знаком с чрезвычайными мерами предосторожности, принимаемыми для защиты его должностных лиц.

После того как я предъявил мой паспорт и получил пропуск, меня передали от одного охранника к другому, и наконец я оказался в широком, тихом, устланном ковром коридоре, с тяжёлыми дубовыми дверями по обе стороны. У некоторых из этих внушительных дверей стояли чекисты НКВД.

Я и представить себе не мог, что вскоре один из этих кабинетов станет моим, и что я тоже окажусь среди тех драгоценных кабинетов, которые тщательно охраняются от туманных опасностей. После недолгого ожидания в приёмной секретарша провела меня в просторный кабинет товарища Андрея Ивановича Уткина, заместителя председателя Совнаркома РСФСР.

Хотя он был человеком выше среднего роста, плотного телосложения, с солидным брюшком и важным видом, он казался карликом по сравнению с огромным креслом, в котором сидел, с огромным, словно поле, столом и огромным портретом Сталина на стене позади него. Он жестом пригласил меня сесть.

«Ну, товарищ Кравченко, как у вас дела?»

«Не знаю, что сказать, так как понятия не имею, зачем вы меня позвали».

«Я имею в виду вообще. Как ваша работа, как вы помогаете партии и стране в войне?»

Я рассказал ему о деятельности моего треста и обрисовал некоторые производственные проблемы, с которыми столкнулись девять предприятий, находящихся в моём ведении. Разговаривая, я узнал среди бумаг перед ним анкету с моей фотографией, которую я заполнил, став главным инженером треста.

«Вы разговариваете с правительством, — в какой-то момент вставил товарищ Уткин. — Здесь не может быть никакой лжи, никакого утаивания фактов и мыслей».

«Конечно, конечно».

Он задавал вопросы, и я произнёс ряд речей. По советским правилам мы все привыкли произносить речи о себе. Я говорил почти безлично, как будто рассказывал о знакомом, к чьим делам имел просто дружеский интерес. Примерно через три часа Уткин склонил свою тёмную голову набок,

пристально посмотрел на меня прищуренными, хитрыми глазами и задал кульминационный вопрос:

«Хотели бы вы работать в Совнаркоме?»

«Это будет зависеть от рода работы».

«Ну, нам нужен инженер, член партии, чтобы возглавить Отдел военно-технических вооружений. Думаю, вы подходите на эту должность. Это не означает, что вопрос будет решён сегодня. Мне просто нужно ваше согласие, прежде чем предпринять необходимые предварительные шаги».

«Я совсем не уверен, что справлюсь с такой важной работой», — сказал я.

«А я думаю, наоборот, что у вас всё получится. У вас есть опыт работы в тресте, и мы наблюдали за вашей работой».

«Если вы так считаете, я, конечно, соглашусь».

«В таком случае, до свидания. Пожалуйста, пройдите в отдел кадров этажом ниже».

Я заполнил ряд анкет. Через несколько дней мне было велено явиться к начальнику Уткина, председателю Совнаркома РСФСР и одной из самых влиятельных фигур в окружении Сталина: Константину Памфилову. Его огромный кабинет, его трон власти, его портрет Сталина – всё это было на несколько градусов больше, чем у Уткина. Мебель и обстановка были на несколько градусов роскошнее.

Памфилов был высоким и внушительным на вид мужчиной, лет сорока пяти. Его голова и лицо были чисто выбриты и блестели, как бильярдный шар. Он был одет в иностранный костюм. Он стоял за своим огромным столом, поставив одну ногу на стул, опираясь на локоть.

Товарищ Уткин, выглядевший уменьшившимся в присутствии своего начальника, был с Памфиловым, когда я вошел.

Я снова отвечал на вопросы. Мои анкеты и спецдонесения на меня лежали у него на столе.

«Товарищ Кравченко, – наконец сказал председатель Совнаркома, – вы занимали ответственные посты. Но работа в правительстве – это совсем

другое дело. Мы – слуги партии, а работа в правительстве – это прежде всего партийная работа. Партия правит страной».

Я кротко заверил его, что понимаю это.

«Товарищ Уткин, – обратился Памфилов к своему заместителю, – ответ получен?»

«Ещё нет, товарищ Памфилов».

Памфилов поднял одну из трубок в лесу телефонов на столике за его спиной и набрал номер.

«Памфилов говорит. Как насчёт дела Кравченко?»

Он подождал две-три минуты. В комнате стояла гнетущая тишина. Видимо, на другом конце провода что-то проверяли.

«Да... да...» — наконец сказал Памфилов. «Нет возражений? Очень хорошо!»

Он положил трубку. Я не сомневался, что он звонил в Седьмое управление НКВД, без согласия которого никакие важные государственные должности не заполняются. Впоследствии я увидел доказательство своей догадки. Случайно мне попался официальный документ НКВД, подтверждающий одобрение моего поступления на службу в Совнарком.

Хотя партия и руководит страной и её правительством, но ни одно важное назначение на партийную или государственную работу никогда не происходит без проверки и одобрения Седьмого управления тайной полиции НКВД.

«Хорошо, товарищ Кравченко, — объявил Памфилов. — Теперь можете идти. Как только всё будет готово, вам сообщат».

Вскоре Центральный Комитет партии утвердил меня в новой должности. Через несколько дней меня разместили в кабинете рядом с кабинетом Уткина, после того как я дал Особому отделу Совнаркома письменное обязательство никогда ни при каких обстоятельствах не разглашать информацию о работе организации. Сталин, свысока взирающий на меня за моей спиной, был, конечно, меньше, чем в соседнем кабинете. Чекист НКВД стоял у двери в тихом коридоре, где находилось мое новоиспеченное присутствие, а два подобострастных секретаря сидели в моей приемной.

Я был членом правительства, в техническом смысле этого слова. Я носил с собой особую красную книжечку с золотым тиснением – волшебную книжечку, символ власти. Это было в конце мая 1942 года.

ГЛАВА XXIV

КРЕМЛЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

В РУССКОМ языке есть слово «власть». Оно означает правительство, верховное правление. Но в СССР, на деле оно означает гораздо больше: Сталин, Политбюро, тайную полицию, номенклатуру Сталина, будь то на официальных должностях или придворные при сталинском дворе без титулов, — все это было «властью». Более того, в устах среднего советского гражданина это слово «власть» имеет оттенки благоговения и оттенки негодования, подразумевая «наши хозяева» и указывая на неизмеримую дистанцию, отделяющую их от простого советского народа.

В Совнаркоме я сидел у вершины власти. Впервые я мог смотреть вниз на мир под этим привилегированным углом. Теперь я мог наблюдать (хотя и не мог разделять) ощущения у верховных советских правителей: что они сделаны из иного материала, пребывают в ином измерении человеческого существования и, действительно, свободны от обычных человеческих моральных принципов и чувств, которые они отвергали как «буржуазные предрассудки» и «гнилой либерализм».

Теперь я мог понять самодовольство, с которым эти люди использовали человеческие жизни – миллионы их -- меняя, перетасовывая, ликвидируя их – как простое сырье для своих планов, экспериментов и ошибок. Внезапно я оказался среди людей, которые могли есть обильную и изысканную пищу на глазах у голодающих и умирающих людей не только с чистой совестью, но и с чувством праведности и удовлетворения. Во главе нашего Совнаркома стоял Константин Памфилов, человек настолько приближенный к окружению Сталина, что когда он умер, через год после моего поступления к нему на службу, его прах с большой помпой был захоронен в Кремлевской стене на Красной площади.

Под началом его первого заместителя, Андрея Уткина, находилось пять могущественных ведомств, одно из которых я возглавлял. Таким образом, я

стоял всего на две ступеньки ниже. Мое ведомство было разделено на ряд специализированных подразделений, которыми руководили мои помощники.

Конечно, описывая факт моего краткого возвышения, я не хвастаюсь. Я был вознесен чьей-то прихотью. Меня могли столкнуть вниз одним лакированным пальцем те, кто стоял выше меня, а те, в свою очередь, могли быть брошены в бездну без предупреждения своим начальством. Неоднократно я видел, как Памфилов или Уткин дрожали в присутствии какого-нибудь заседателя Политбюро или какого-нибудь придворного фаворита Хозяина, как льстиво называли Сталина. Я слышал, как их оскорбляли самыми грязными словами, как провинившихся холопов. При диктатуре пролетариата равновесие достигается некоей балансировкой между неограниченной властью и безграничным страхом.

Немногие из нас, представлявшие власть в нашем Совнаркоме, всего, наверное, человек тридцать, были отделены от средних слоёв чиновников и массы служащиха, нижестоящих во многих отношениях. У нас был свой этаж, тихий, как церковь, под охраной тайной полиции НКВД. Наши просторные кабинеты, за пределами приёмных, были изолированы двойными дверями, чтобы предотвратить подслушивание. Нам бесплатно подавали хорошие завтраки и ужины прямо за рабочим столом; у нас также была собственная столовая для других приёмов пищи по смехотворно низким ценам. Парикмахеры Совнаркома приходили в кабинеты Памфилова, Уткина и других высокопоставленных большевиков, чтобы побрить и умастить их на предстоящий день. Мы, низшие чины, ходили к парикмахерам, они к нам не ходили. Те, кто был непосредственно ниже нас, вообще не имели права пользоваться услугами официальных парикмахеров. Эти тонкая градация имущественных благ и привилегий отражала иерархию советской власти. Самой ценной из всех привилегий была красная книжечка, которая давала мне право на приём в Кремлёвской больнице и на покупку лекарств в Кремлёвской аптеке, в то время как врачи и лекарства были практически недоступны широким массам советского населения.

У нас даже был свой туалет, за эксклюзивностью которого следили чекисты в коридоре. Отдельно имелся туалет для менее важных государственных деятелей, не такой удобный и элегантный, как наш.

Однажды в Совнаркоме разразился скандал. На нашем этаже оказался новый чиновник, ещё не знакомый с классовыми различиями в этой конкретной области отправления естественных надобностей, и ему внезапно понадобилось что-то сделать. Когда кто-то вышел из мраморной комнаты, он незаметно проскользнул внутрь. Когда он вновь появился, нерадивый НКВДовец в большой тревоге схватил виновного, проверил его документы и, конечно же, доложил о свершенном святотатстве по начальству. Несколько агентов НКВД, «обнажённого меча революции», тщательно обыскали туалет в поисках бомб замедленного действия или других неприятных вещей. Затем уборщицы пришли с вёдрами и щётками и отдраили святилище, пока все следы святотатственного вторжения не были смыты.

В личной жизни мною можно было пренебречь, но на своём посту в аппарате Совнаркома я был защищён, как великое государственное достояние. Ни один посторонний не мог посетить меня без моего прямого разрешения. Я выписывал пропуск для звонящего, прикрепляя свою личную печать, и прежде чем его выдавали, контролёр на проходной звонил мне для повторного подтверждения. Чтобы убедиться, что это не самозванец, я должен был идентифицировать себя кодовым словом, известным только НКВД и мне. Мое кодовое слово было «Лена № 11». Получив пропуск, посетитель был обязан пройти четыре проверки личности, прежде чем попасть в мою приёмную. Иногда мне было стыдно за эту систему сверхконтроля, введённую чекистами НКВД, особенно когда звонивший был старым и близким другом.

Такая же процедура, конечно, применялась ко всем незнакомцам, входящим в наши порталы. Никто ниже меня по званию не имел права выдавать пропуска, независимо от какой бы то ни было срочности дела. Если кому-то из моих помощников требовалось присутствие в здании какого-либо постороннего человека, он должен был объяснить мне суть проблемы, и если я считал приём необходимым, я принимал необходимые решения.

И это ещё не всё. В нашей организации, как и в Кремле, Центральном Комитете партии и некоторых других местах, была в ходу система, известная как *шахматка*. Её целью было помешать любому заговору коварной охраны с целью привести убийцу, шпиона или диверсанта в помещение. Вот как это работало: через произвольные промежутки времени, иногда с интервалом в десять минут, иногда дольше, охранники НКВД перемещались как пешки на

шахматной доске. Их перемещали без предупреждения, по сложной схеме, по сигналу с центрального пункта управления.

Поэтому ни один охранник не мог точно знать, где он будет находиться в данное время. Таким образом, сговор четырёх-пяти охранников для пропуска несанкционированного посетителя был невозможен.

В качестве дополнительной меры предосторожности через ворота могли проезжать только автомобили руководителей Совнаркома, независимо от степени важности его обитателей. Даже наркомы должны были парковать свои машины за воротами. Опасность того, что кто-то может взорвать «нашу святая святых», подложив бомбу замедленного действия в автомобиль, была таким образом устранена.

Настоящий знак и символ моего нового положения, однако, заключался не в этой бдительности и не в моем пароле. Он находился в предмете мебели, внешне обыденном, но имевшем особое значение в жизни советских сановников. Это был сейф, комбинация от которого была известна только мне. Ну, не совсем только мне одному — секрет был также известен НКВД. Смысл этого символа власти заключался в том, что никто из моих начальников не мог нарушить его тайну, что позволяло мне скрывать все что угодно даже от них. Такие сейфы были только у людей, достаточно высокопоставленных в советской иерархии, чтобы иметь право на секреты от своих непосредственных начальников; и только один такой сейф в стране — а именно сейф Сталина — имел комбинацию, не известную для НКВД.

Мой сейф стоял на виду, зловеще среди моей элегантной обстановки. Даже Уткин и Памфилов, когда они соизволяли навестить меня, вместо того чтобы вызвать меня в свой кабинет, смотрели на меня с любопытством. Им было интересно, какие заметки об их приказах и устных распоряжениях я мог записать и запереть в сейфе.

Но именно потому, что он был закрыт для остального мира, сейф был излюбленным местом охоты Секретных и Особых отделов НКВД. Их право знакомиться с моими бумагами и документами в сейфе во время моего отсутствия было настолько само собой разумеющимся, что они даже не трудились замести следы после осмотра моего сейфа или ящиков моего стола. Самый эффективный способ донести на начальство, фактически, не

рискуя доносить напрямую в тайную полицию, состоял в том, чтобы записать факты «для себя» и «спрятать» их в своем личном сейфе...

Самым важным было то, что теперь я имел право действовать от имени правительства. В рамках обязанностей моего отдела я руководил деятельностью местных органов власти и комиссариатов по всей РСФСР. Я мог требовать от наркомов и их помощников полных отчётов об их работе; я мог отдавать им приказы и даже делать выговоры в связи с моими поручениями. Я мог вызывать их в свой кабинет в любое время дня и ночи, тогда как они не могли вызывать меня.

Я сам решал, работать ли мне с тем или иным комиссаром или же игнорировать его. Я знал изнутри, что правительство думает о различных чиновниках – кого наградят, а кого «обезглавят».

Вскоре я научился чувствовать запахи правительственной и партийной «кухни» и «что там готовится». Часто наркомы, чьи регалии сияли блеском в глазах простых людей, казались тусклыми и даже жалкими в глазах тех, кто знал правду.

Я никогда не забуду свой первый день на новой должности. Я прибыл к десяти утра. Мои секретари и помощники уже были на своих местах. Документы, требующие моего внимания, были аккуратно сложены на моем столе. Я остановился в дверях, чтобы осмотреть большую, элегантную комнату; портреты вождей на стенах; большой портрет Сталина прямо над моим креслом. На мгновение я вновь пережил сцену в грязной гостинице в Никополе, когда я смывал кусочки литографии Сталина в унитаз. Едва я успел Устроиться под этим более крупным и более артистичным Сталиным, как зазвонил телефон. Это был чекист НКВД, который вежливо и уважительно спрашивал, могу ли я принять его на несколько минут. Впервые в моей жизни представитель этой ужасной организации просил у меня разрешения нанести визит. ... Я пригласил его прийти.

«Я хочу дать вам эту личную печать, — объяснил он, протягивая мне

штамп, — для использования на гостевых пропусках и других документах. Пожалуйста, держите ее всегда под замком. А теперь я позволю себе ознакомить вас с другими правилами, поскольку вы здесь новичок».

«Пожалуйста, сделайте это. Я слушаю».

Он начал с объяснения правил для звонящих, сообщил мне мое кодовое слово и предупредил, чтобы я хранил его в тайне. Например, я никогда не должен произносить его в присутствии другого человека, каким бы важным он ни был. Затем он поведал мне тайны множества телефонов на моём столе. Один из них был на особом правительственном канале связи, соединявшем Кремль, Центральный Комитет и главные комиссариаты. Официальные вопросы могли обсуждаться только по этому особому каналу, а не по обычным телефонам.

«Кроме того, каждый лист бумаги в Совнаркоме является государственной тайной», – продолжил он. «Вы будете привлечены к строгой ответственности, если оставите какое-либо письмо, документ или их копию незащищёнными. Если захотите выбросить документ или даже копию, не уничтожайте её просто так. Напишите свои указания на лицевой стороне и передайте в Особый отдел для сожжения».

Закончив свой урок хорошего поведения, он дал мне подписать документ, удостоверяющий, что я знаком с правилами. Затем он встал, отдал честь и вышел. Он тихо, тактично закрыл за собой дверь, совсем не так, как некогда Гершгорн обычно захлопывал передо мной.

Около одиннадцати часов моя секретарша, интеллигентная, приятной наружности женщина, постучалась.

«Виктор Андреевич, вы будете завтракать?» — спросила она.

«Да, пожалуйста. А вы? Вы завтракали?»

«Мне полагается только стакан чая и кусочек сахара», — вздохнула она.

«Хлеб приношу с собой из дома. Война... что ж делать...»

Вскоре появилась официантка с подносом еды. Это была женщина лет тридцати пяти, аккуратно одетая, в накрахмаленном белом чепце. Она занималась своей работой молча и деловито, расстелив белую салфетку на маленьком столике и расставив еду: два яйца, немного тушеного мяса, белый хлеб, масло, стакан горячего чая, несколько кусочков сахара, несколько печений. Всё, кроме яиц и чая, было явно иностранного происхождения, полученное по ленд-лизу из Америки.

Руки женщины, хотя и были натруженными, но были чистыми.

«Я вижу, что у вас маникюр», — сказал я с улыбкой.

«Конечно. Я ведь обслуживаю важных лиц», — сказала она. «Ну, ешьте на здоровье, Виктор Андреевич».

Что-то в её измождённом лице заставило меня сдержать свой аппетит. Я оставил одно яйцо, немного мяса, несколько ломтиков хлеба и кусочек сахара, словно это было больше, чем я мог съесть. Когда я позвонил, моя секретарша пришла, сложила остатки на поднос и вынесла его. Чуть позже, принося мне бумагу на подпись, она на мгновение замешкалась.

«Мне стыдно говорить, Виктор Андреевич», — сказала она, — «но вы умный человек и поймёте. Я позволила себе съесть то, что осталось от вашего завтрака. Простите меня, … так трудно жить».

«Всё в порядке. Честно говоря, я рад, что вы так сделали. Но, откровенно говоря, я думал, что официантка...»

«У нас с Лизой есть договоренность, — вставила она. «Один день я забираю остатки еды, на следующий день её очередь... Голод — страшная вещь, Виктор Андреевич. Он сильнее стыда».

И так все месяцы, что я работал в Совнаркоме, я съедал только половину завтрака, оставляя другую половину Лизе и моей секретарше. Лиза, как я узнал, брала свою долю домой для двух маленьких детей; её муж был на фронте. Обе эти женщины жили на пайке служащих: 400 грамм сахара, 500 грамм крупы и 400 грамм жиров в месяц, и 400 грамм хлеба ежедневно. То, что я оставил недоеденным от своего первого завтрака, если перевести на рыночные цены без карточек, стоило не менее 100 рублей – яйцо, например, стоило 40 рублей – а Лиза получала 150 рублей в месяц …

Около полудня у меня был ещё один официальный гость – человек, возглавлявший секретный Особый отдел, глаза и уши НКВД во всех советских учреждениях. Это был молодой человек, настоящий агент тайной полиции, пусть и в штатской одежде. Он был деловит и немного официален, вёл себя так, словно это был он настоящим хозяином в моём кабинете.

«Здравствуйте, товарищ Кравченко», — сказал он. «Рад познакомиться. Мы будем часто видеться. Вы здесь новичок, и вам следует с самого начала усвоить некоторые правила. Мы на войне. Враг повсюду, и осторожность не помешает».

«Конечно, конечно».

«Итак, вот правила охраны государственных тайн. Пожалуйста, прочитайте их медленно и внимательно и задавайте вопросы, если что-то непонятно».

Он вручил мне пачку из десяти или двенадцати четко отпечатанных листов. В привычной советской смеси приказов и угроз эти страницы инструктировали меня, как обращаться с государственными, партийными и военными секретными документами, как охранять свой стол, сейф и кабинет от посторонних глаз, как не допустить, чтобы даже мой личный секретарь видел некоторые виды официальных документов. Я узнал, что в Совнаркоме было два отдела стенографии: обычный и секретный. Обычные письма можно было диктовать обычным, но секретные диктовки должны предоставляться только секретным стенографистам, которых следует вызывать через Особый отдел. Каждый приказ моих начальников, как подчеркивалось в правилах, должен быть зарегистрирован письменно.

«А если товарищ Уткин, или товарищ Памфилов, или кто-то в Кремле даст мне устные указания?» — спросил я в этот момент.

«В таком случае вы должны немедленно записать их слова в свой личный дневник. То же самое относится и к содержанию важных телефонных разговоров. Записывайте всё без промедления — это ваша лучшая защита на случай последствий. Товарищ Сталин учил нас доверять, но в то же время проверять и перепроверять».

После того, как я закончил читать, мой гость развил эту тему. Суть его лекции заключалась в том, что я никому не должен верить, и сам должен предполагать, что и другие мне не верят. Следут всегда иметь письменные доказательства, подробные протоколы каждой встречи или беседы. Взаимное недоверие было не просто фактом в советском аппарате, это был признанный, обязательный образ жизни, единственный шанс на выживание. Я снова подписал бумагу, подтверждающую, что знаком с системой и осознаю наказания за её нарушение.

Наконец, он попросил меня прочитать и обдумать совершенно секретный документ с подписями Сталина и Молотова. Это оказалось решение Политбюро, определяющее права и обязанности Совнаркома. Оно входило в мельчайшие детали и не оставляло сомнений в том, что правительство, воплощённое в Совнаркоме, было покорным слугой и инструментом

Политбюро. Я подписал обычную форму о том, чтобы держать рот на замке. Это подчинение правительства коммунистической партии было известно каждому разумному советскому гражданину, но это держалось в тайне.

«Ну, до свидания, товарищ Кравченко. Как я уже сказал, мы наверняка будем часто видеться.»

2

Той прослойке номенклатуры, к которой я принадлежал, во многих отношениях повезло менее всех в советской иерархии. В целом, на нас лежало больше ответственности, чем полномочий. Мы выполняли самую тяжёлую работу, и, как правило, наши начальники присваивали себе заслуги. Вместе с тем, мы были слишком высоко поставлены, чтобы расслабиться, как могли мелкие чиновники и рядовые сотрудники, но и недостаточно высоко в пирамиде власти, чтобы перекладывать работу и вину на других.

Однако из всех крестов, которые мы несли, самым тяжким было недосыпание. Неделя, когда я в среднем отдыхал более пяти часов в день, была исключением. Основная масса наших служащих и специалистов работала с девяти до пяти, хотя время от времени я мог задерживать некоторых из них дольше, или поручить нескольким своим подчинённым отчитаться вечером. Но мой собственный рабочий день длился с десяти или одиннадцати до трёх или четырёх следующего утра, часто позже. Лишь изредка я урывал несколько вечерних часов дома с женой. Иногда я рисковал час-другой тревожного сна на диване в кабинете, заперев дверь и приложив трубку телефона к уху, чтобы не быть застигнутым с поличным.

Расписание работы советского госаппарата в Москве было необычное, и было приспособленно к специфическим рабочим привычкам одного человека. Сталин обычно начинает свой день около одиннадцати утра, работая до четырёх или пяти. Затем он обычно ложится спать до десяти или одиннадцати вечера, оставаясь на работе до трёх, четырёх утра или даже позже. Из этих двух сессий, ночная, по всей видимости, была важнее.

Существовали различные теории о странных часах работы диктатора. Одна гласила, что такой график позволял ему поддерживать личный контакт со своими подчиненными во всех частях огромной страны, несмотря на четырёхчасовую разницу во времени между её самыми западными и самыми восточными зонами. Другая теория заключалась в том, что он

намеренно оберегал своих подчиненных от различных соблазнов, разбивая их жизнь на неудобные дневные и ночные смены; это действительно уменьшало для них возможности и соблазны в личной и общественной жизни.

Как бы то ни было, столичный государственный аппарат регулировал своё существование по эксцентричным сталинским часам. Словно по сигналу, бюрократия на высших уровнях напрягалась, когда Хозяин (как мы все почтительно называли его в неформальной беседе) приходил в свой кабинет, и расслаблялась только, когда он уходил домой.

Остальная часть страны, находясь в постоянном телефонном контакте со штабом и чувствительная к его настроениям, также следовала этому графику. Приливы и отливы официальной жизни по всей России управлялись приходами и уходами одного тучного, рябого грузина. Одна организация, конечно же, работала 24 часа в сутки — НКВД. Ей не нужно было подчиняться какому-либо графику, потому что она никогда не спала.

Начиная примерно с десяти утра по будням, большие пуленепробиваемые «Паккарды» с зеленоватыми стеклами с грохотом проносятся по пригородному Можайскому шоссе, через длинный Арбатский бульвар и далее к различным оплотам «власти». По звуку сирен, по тому, как возбужденные милиционеры останавливают движение, чтобы уступить дорогу этим важным ездокам, москвичи сразу понимают, что через их столицу изволят проезжать сам Хозяин, Молотов, Берия, Маленков, Микоян, Каганович и другие подобные вожди. Каждому лимузину предшествует автомобиль (обычно «Линкольн»), а за ним следует другой, оба сопровождаемые вооруженной до зубов охраной НКВД в штатском. Руководители, конечно же, всегда путешествуют отдельно, а не группой, чтобы снизить риск для своей безопасности.

Маршруты прокладываются специальным подразделением тайной полиции, отвечающим за безопасность высших должностных лиц. Каждый метр пути тщательно контролируется. Жители каждого дома на пути известны властям, и подозрительные люди быстро удаляются. Тысячи мужчин в штатском и мундирах занимают позиции в ключевых точках, держа правую руку на револьверах наготове; они знают, что их жизнь будет поставлена на кон, если что-то случится с «возлюбленными» вождями народа за пуленепробиваемым стеклом. Москвичи никогда не останавливаются, чтобы

посмотреть, как мимо проносятся Сталин и его ближайшее окружение. Разумные граждане стараются убраться с дороги, стараются быть как можно незаметнее, когда их правители проезжают мимо.

Руководители рангом пониже – например, такие, как Памфилов и Уткин в нашем Совнаркоме – обязательно оказывались на своих постах до того, как Сталин достигнет своего, и оставались там до его ухода. Что касается меня, я стремился быть на работе до прибытия моих непосредственных начальников, так же как мои помощники всегда были рядом, когда я приходил в Совнарком. Я никогда не уходил без специального разрешения, пока мои начальники не закончат свою ночную смену, так что мой рабочий день обычно длился семнадцать или восемнадцать часов.

Уткин и Памфилов считали само собой разумеющимся, что я непременно буду на другом конце провода, когда они мне позвонят, так же, как Сталин или Молотов считали само собой разумеющимся, что Памфилов будет на работе, когда они ему позвонят. Вероятно, официальная рутина ни одной великой державы никогда прежде не была так полно подчинена прихотям одного человека.

Наш Совнарком был исполнительным и контрольным органом всемогущего Государственного Комитета Обороны. Его главной функцией на тот момент было руководить и контролировать исполнение всех заказов на военные поставки в РСФСР. С немецкой оккупацией Белоруссии, Украины и части Кавказа, территория подконтрольная Совнаркому охватывала все оставшиеся производственные мощности и население страны, так что фактически мы были ответственны за большую часть всей военной продукции в то время. Часть этой колоссальной задачи была сосредоточена в отделе, которым я теперь руководил. Термин «военно-технические вооружения» охватывал контроль и надзор за производством различной продукции: от танков, артиллерии, авиации, средств связи, десантного и маскировочного снаряжения до противогазов, компасов, полевых телефонов и даже простых кирок, лопат и фонарей, производимых промышленностью РСФСР.

Буквально сотни приказов, постановлений, жалоб и угроз, подписанных Сталиным и его ближайшим окружением, Берией, Молотовым, Микояном, Вознесенским, Малышевым и Касыгиным, попадали на мой стол. Я был на постоянной телефонной связи со всеми наркоматами, заводами, особыми промышленными бюро и региональными управлениями по всей стране. В

течение одного часа я мог проверить ход производства в Горьком и Свердловске, в Новосибирске и Челябинске.

Моя жизнь превратилась в лихорадочную борьбу за поиск материалов, топлива, рабочей силы; за то, чтобы выпустить продукцию в установленные сроки; за то, чтобы побудить к действию наркоматы и организации повсюду, от Москвы до Сибири. Меня бранили и проклинали мои начальники и руководители Государственного Комитета Обороны. В высших эшелонах советского правительства, пожалуй, больше нецензурной брани и сквернословия, чем во всем остальном мире вместе взятом. Самая непристойная матерщина – это яркое и порой единственное напоминание о «пролетарском» происхождении нашего советского режима. Каганович всех превосходил в этой области; мы говорили, что он матерился «как сапожник», достигая непревзойденных высот или низин сквернословия. Но Молотов, Ворошилов, Андрееви другие мало от него отставали в этом «искусстве», да и сам Сталин вовсе не чурался матерщины.

Были недели моей жизни, отравлённые безуспешными попытками наладить производство таких простых орудий, как кусачки для колючей проволоки, лопаты для рытья окопов, фонарей и фонариков. Я всегда буду помнить ночь, когда один генерал Красной Армии сидел в моём кабинете и требовал от меня кусачки для колючей проволоки. Тысячи советских солдат, говорил он, напрасно сажаются на кол и гибнут из-за отсутствия этого простого снаряжения. В его присутствии я вызвал комиссаров в Москву и директоров заводов из города. Но какой смысл был в моих приступах и угрозах, когда на заводах не было необходимой стали, инструментов и машин?

Я постоянно контактировал с маршалом Новиковым, маршалом Воробьевым, генералом Селезневым, генералом Волковым, адмиралом Галлером, десятками других военных руководителей, занимавшихся снабжением во время войны. Слишком часто, увы, мы могли лишь объединиться в наших сетованиях на нехватку во всех областях.

Забуду ли я когда-нибудь время, когда мы реквизировали тысячи простых школьных циркулей и бережно распределили их по различным фронтам? Приказ, подписанный Сталиным, требовал пятьдесят тысяч военно-полевых компасов, но подходящей магнитной стали просто не было у нас в наличии. Забуду ли я когда-нибудь совещания, безумные телефонные звонки, угрозы и ругань, которые мы испытали летом 1942 в поисках подков? Тысячи

животных, а часто и кавалеристы, погибли из-за отсутствия этого простого предмета, но их производство, как оказалось, было ограничено нехваткой металла и недостаточными мощностями двух уральских заводов, производящих подковы. Спрос на подковы исходил от маршала Буденного, и таким образом, между прочим, я получил ответ на тайну местонахождения этого героя революции. Во время войны он был снят со своего высокого командного поста, первоначально доверенного ему, и с тех пор его имя исчезло; ходили даже слухи, что «он был ликвидирован». Теперь я узнал, что его просто перевели в учреждение, занимавшееся снабжением для кавалерии.

Я узнал лучше, чем советские генералы и адмиралы, насколько ценными для нас были американские оружие, продовольствие, материалы и техника, поставляемые по ленд-лизу во время войны. Американцы, возможно, всё ещё сомневаются в значении этих поставок, но только не советские руководители. Для них это несомненный факт. Без огромных поставок американских самолетов, американского автотранспорта, телефонов и тысячи других вещей, которых нам так не хватало, каков был бы исход войны?

Приказы, поступавшие ко мне сверху, часто носили истеричный характер. Требование о какой-либо важной танковой детали или жизненно важном авиационном оборудовании, подписанное Сталиным и контрассигнованное одним из его секретарей, неизменно сопровождалось предупреждением о беспощадном наказании за ослушание: «Уведомить народных комиссаров о том, что выполнение настоящего решения является военно-политической задачей первостепенной важности». Обязать Прокурора СССР лично контролировать выполнение настоящего приказа и привлечь виновных в его неисполнении к строгой ответственности, независимо от того, кем они являются».

Или же это могло выглядеть так:

«Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Народного Комиссара Государственного Контроля товарища Попова. Всех виновных в нарушении настоящего приказа, независимо от того, кем они являются, привлечь к строгой ответственности и доложить мне».

Строгая ответственность означала отстранение от должности и предание суду военного трибунала. Постановления, подписанные Берией, говорившие устрашающим чекистским голосом, могли заканчиваться так:

«Обязать Народных Комиссаров исполнять настоящий приказ независимо от объективных условий. Виновных довести до моего сведения... ."

Это был обычный сталинский стиль руководства, которому подражал каждый высопоставленный коммунист в своих отношениях с нижестоящими. Это был язык страха и запугивания, грубый, неприкрытый, откровенно призванный напоминать нам о концентрационных лагерях и расстрельных подвалах. Обращаясь к высопоставленным коммунистическим руоводителям, людям, чьи сами имена приводили в страх советских людей , Сталин и его ближайшее окружение никогда не упускали возможности вызвать даже у них страх ареста и смерти.

Никогда прежде я не работал так усердно, так долго и под таким давящим чувством страха. Вскоре у меня появился серо-зеленый цвет лица, налитые кровью глаза, налет лихорадки, присущий хронической усталости. Почти все мужчины и женщины вокруг меня работали так же усердно, как и я. Без сомнения, некоторые из них ненавидели советский режим так же глубоко, как и я, но наши политические взгляды были глубоко запрятаны от посторонних. Мы работали с конкретными задачами, с материалами, инструментами, машинами, в сложных условиях, которые не оставляли нам места для эмоций.

Мои месяцы работы в Совнаркорне совпали с самыми тяжелыми периодами войны. Они совпали с критическим летом 1942 года, когда немцы добились своих крупнейших успехов и нанесли нам самые тяжелые удары.

Официальные сообщения продолжали преуменьшать масштабы наших потерь и поражений. Самые тяжелые поражения преподносились советским людям как стратегические манёвры. Советские массы знали о реальном ходе военных действий в районе Сталинграда меньше, чем весь остальной мир. Но на нашем уровне в правительственном аппарате мы не могли позволить себе самообман.

Просьбы с фронта о поставках и самолётах, о боеприпасах и людских ресурсах отдавались паникой, а иногда и полным отчаянием. На одной из стен кабинета Уткина висела большая карта РСФСР. Каждое утро булавки,

отмечавшие немецкое наступление, всё дальше проникали на карте. Однажды я застал Уткина, разглядывающего эту карту

«У меня есть срочное дело, Андрей Иванович», — сказал я, кладя ему на стол какие-то документы.

«Бумаги никуда не улетят. Идите сюда, посмотрите, что творят эти немцы».

Красная линия фронта проходила всего в ста километрах к западу от Москвы, сразу за Можайском. Она отсекала практически всю Украину и проходила пугающе близко к Волге в направлении Сталинграда.

«Что мы будем делать, если немцы захватят нашу нефть, Виктор Андреевич? Мы пропадём!»

«Картина ужасная!» — признался я — «Всё, что нам остаётся, — это работать, работать и работать. Хорошо еще, что ленд-лиз течет полным потоком...»

«Вот именно, ленд-лиз!» — воскликнул Уткин. – «Что бы мы делали без ленд-лиза! Но нам также нужен до зареза Второй фронт, а эти капиталистические свиньи всё медлят».

Мобилизация уже давно проводилась в тотальном масштабе, не имевшем себе равных ни в одной другой воюющей стране. Рабочая сила в промышленности и сельском хозяйстве была истощена как раз тогда, когда потребность в продукции была наибольшей. Я находился в том самом месте в правительстве, где эта катастрофическая картина была наиболее отчетливо видна. Возраст наших бойцов на фронте варьировался от шестнадцати до пятидесяти шести лет. Последние намёки на подлинные медицинские осмотры и освобождения от военной службы из-за беспомощности иждивенцев были отброшены приказом самого Сталина, который никогда так и не был обнародован. Десятки тысяч раненых солдат были срочно отправляемы обратно на фронт, прежде чем их раны зажили хотя бы наполовину. Мальчики и девочки школьного возраста, матери грудных детей, женщины из колхозов, уже лишенных своих мужчин, были насильно согнаны для работы на фабриках и заводах.

В этом обострившемся кризисе рабочей силы, принудительный рабский труд миллионов заключенных в концлагерях был исключительно важным, а часто и самым важным, фактором спасения советской военной машины. Эту правду необходимо учитывать при любых обстоятельствах. Постоянно росло

производство военной продукции на эвакуированных заводах, расширенных сибирских и уральских заводах, на вновь построенных промышленных предприятиях. Но мало кто из них обходился без решающих кадров концлагерной принудительной рабочей силы. Те люди за границей, которые восторженно говорят о победе Советского Союза как о доказательстве «успеха советской системы», были бы ближе к истине, если бы они прославляли успех крупномасштабного государственного крепостного строя в СССР .

Поскольку людские ресурсы выкачивались вооружёнными силами, наша промышленность становилась всё более зависимой от огромных армий заключённых в конентрационных лагерях, чьи ряды теперь пополнились до беспрецедентных размеров за счёт арестов в военное время. В официальных кругах 20 миллионов стали общепринятой цифрой этого резервуара принудительного труда. В действительности, эта цифра была гораздо выше. Сюда не включались мальчики и девочки от 14 до 16 лет, насильно оторванные от родителей и направленные в регионы и отрасли, где нехватка рабочей силы была наиболее острой. Следует всегда помнить, что военная промышленность СССР основывалась преимущественно на принудительном рабском труде русского народа.

В то время, когда голод царил в стране, легко представить себе ужасные условия, в которых жили и трудились узники в концлагерях, и ужасающую в них смертность. Для советских властей, заключенные были «расходным материалом», и НКВД не должен был отчитываться за их убыль.

С началом войны наркоматы по воооружениям и боеприпасам были переданы под контроль Берии, главы НКВД, который также был заместителем председателя Совнаркома и членом Государственного комитета обороны. Это означало передачу этих наркоматов под контроль тайной полиции НКВД. Номинальные наркомы, Устинов и Ванников, знали, что это значит, как и все остальные, вплоть до самого низшего служащего. Они предпочли бы скорую смерть, нежели испытать на себе гнев Берии и его организации. Все на заводах, в учреждениях и ведомствах, прямо или косвенно связанных с вооружением и боеприпасами, были охвачены паническим страхом перед чекистами.

Берия не был инженером. Его задачей было внушать людям смертельный страх, ибо НКВД развязал тотальный террор. Я часто спрашивал себя – как,

несомненно, и другие в глубине души, – почему Сталин предпринял эти меры. Я мог найти только один правдоподобный ответ. Он заключался в том, что ему было известно, что у русского народа нет веры в советский патриотизм и поэтому Сталин был должен полагаться прежде всего на расстрелы и на кнут. Берия был его кнутом.

Большинство промышленных отраслей подверглось миллитаризации. Их гражданские руководители были заменены военными, или, по крайней мере, лицами, облеченными военными званиями и полномочиями. Железнодорожный транспорт, например, был передан под руководство генерала Хрулёва, заместителя Сталина в Наркомате обороны. Действуя совместно с Транспортным управлением НКВД, Хрулёв ввел строжайшую военную дисциплину, заменив сотрудничество во всей транспортной системе всеобщим страхом перед арестом, пытками, концлагерем, убийством. Воинские звания были присвоены также директорам заводов и другим ключевым деятелям в этой отрасли, так что режим военной диктатуры быстро вытеснил обычную администрацию.

Точно так же Малышев, помощник председателя Совнаркома, инженер по профессии, был повышен до генерала и назначен начальником танковой промышленности, заменив гражданского комиссара.

Конечно, эти комиссариаты под руководством Берии поглощали большую часть имеющихся концлагерных рабочих сил. Но их хватало для всех отраслей народного хозяйства. Я знаю по обширным личным наблюдениям, что мало какое промышленное предприятие обходилось без каторжного контингента, и что на десятках из них принудительный труд заключенных был главной или единственной опорой.

Работая в Совнаркоме, я много слышал об особых проблемах, создаваемых концентрационными лагерями и тюрьмами при эвакуации с территорий по мере продвижения немцев. Было даже важнее вывезти этих

рабов, чем свободных граждан. Их рабочая сила представляла собой экономическую ценность, которую стоило сохранить, но, что ещё важнее, вряд ли можно было полагать в этих заключённых, особенно политических, любовь к большевистскому советскому режиму, и они могли бы многое рассказать фашистам о «райской» жизни в Советском Союзе.

Ещё одно соображение, без сомнения, было чисто политическим — опасение, что через заключённых внешний мир может узнать о реальных масштабах и чудовищной сущности советской рабовладельческой системы в СССР. Некоторые из нас в Совнаркоме знали о массовых расстрелах заключённых, как на предприятиях, так и в тюрьмах, когда становилось ясно, что их эвакуация невозможна. Это происходило в Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, в моём родном Днепропетровске, в Запорожье и во многих других местах. Один такой эпизод сохранился у меня в подробностях. В Кабардино-Балкарской советской автономной республике на Кавказе, недалеко от города Нальчик, находился молибденовый комбинат, на котором работали заключённые. Когда советские войска отступали из этого района, несколько сотен заключённых, по техническим транспортным причинам, не могли быть вывезены вовремя. Директор комбината, по приказу комиссара НКВД Кабардино-Балкарии товарища Анохова, велел расстрелять узников из пулемётов, всех мужчин и женщин до единого человека. После, это злодеяние коммунистов было приписано фашистам, как и многие другие. Впоследствии, когда область опять была занята Красной Армией, Анохов получил свое вознаграждение, став председателем Совета Народных Комиссаров, высшим органом в автономной области.

Требуя от наркоматов скорейшего выпуска продукции, я постоянно сталкивался с нехваткой рабочей силы в критических точках. Наркоматы знали ситуацию на местах лучше меня; они часто запрашивали у Памфилова дополнительные людские ресурсы из резервов НКВД, а он, в свою очередь, требовал от НКВД рабочих рук для снабжения того или иного ключевого завода; иногда он обращался с этими вопросами непосредственно к Вознесенскому, Молотову, Берии. Главное управление исправительно-трудовых лагерей НКВД, известное как ГУЛАГ, возглавлял генерал НКВД Недосекин, один из заместителей Берии. Товарищ Недосекин получал распоряжения касающиеся концлагерных контингентов рабочей силы от Государственного Комитета Обороны за подписями Молотова, Сталина, Берии и других членов и действовал соответственно.

Я живо помню встречу, которую я организовал по приказу Уткина с одним из высших руководителей ГУЛАГа. Он должен был предоставить некоему комиссариату несколько сотен лагерных заключённых для срочного задания. Мы находились под огромным давлением со стороны Памфилова, на

которого, в свою очередь, конечно же, давили сверху, и я вызвал этого чиновника ГУЛАГа, чтобы разобраться с ситуацией по рабочей силе.

«Но, товарищ Кравченко, будьте благоразумны», — прервал он мою речь. «В конце концов ваш Совнарком не единственный, кто требует рабочих. Государственный Комитет Обороны нуждается в них, товарищ Микоян делает нам жизнь невыносимой, Маленков и Вознесенский нуждаются в рабочих, Ворошилов требует их для строительства дорог. Естественно, каждый считает свою работу самой важной. Что же нам делать? Дело в том, *что мы ещё не вполне выполнили наши планы по арестам.* Спрос превышает предложение».

Планы по арестам! Фантастический, хладнокровный цинизм этой фразы до сих пор заставляет меня содрогаться. Ещё более жутким было то, что этот чекист совершенно не осознавал ужаса своего замечания — аресты и обращение в рабство людей в СССР стали обыденным делом в его жизни. Может быть, сам того не сознавая, он имел в виду, что действительно планируются, но не поспевают для удовлетворения производственных потребностей в рабочей силе. Он жаловался, выражаясь советским языком, на то, что существующей многомиллионной армии концлагерного труда становится недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы народного хозяйства.

Масштабы детского труда в Советском Союзе по какой-то причине оставались совершенно неизвестными за пределами страны. Даже внутри наших границ, эти данные были окружены большой секретностью и, конечно же, замаскированы лицемерными лозунгами. Суть этой системы, лишенной словесного камуфляжа, — принуждение. Миллионы детей забирают из их родных домов против их собственной воли или воли их родителей и загоняют на промышленные предприятия на основании «мобилизации», не учитывая их желания. Было бы неправильно списывать такой детский труд исключительно на счет войны, поскольку это началось в 1940 году и, как видно из донесений, даже усилилось после окончания войны.

Первый указ о мобилизации детей был издан в октябре 1940 года. Он предусматривал немедленный набор от 800 000 до одного миллиона городских и сельских детей в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет для производственного обучения. Помимо обязательной мобилизации, был разрешен добровольный набор. Четырнадцати- и пятнадцатилетних

подростков в основном направляли на более квалифицированные работы, требовавшие двухлетнего обучения. Шесть месяцев было сроком для менее квалифицированных профессий, для которых предназначались шестнадцати- и семнадцатилетние подростки.

После отбытия этих сроков обучения, согласно указу, молодые люди распределялись на заводы, шахты, стройки и другие предприятия по усмотрению Управления трудовых резервов на срок четыре года. Хотя эта мера и сопровождалась красивыми лозунгами, она представляла собой в действительности насильственный детский труд. Детей вырывали из рук матерей и отцов, конечно же, «ради их же блага».

К 1943 году численность детской военно-трудовой армии была увеличена до двух миллионов. Душераздирающие сцены разлуки, когда подростки рыдали и сопротивлялись, со слезами и причитаниями родственников, становились все более привычными в советской стране. Трудовых призывников облачали в униформу, размещали в государственных казармах и подвергали строгой дисциплине и практически военному режиму. Их время распределялось между работой, учебой, военной и физической подготовкой, все рассчитанное на то, чтобы превратить их не просто в послушных, но и в фанатичных слуг советского тоталитарного государства. Политическая и психологическая обработка, естественно, были важным фактором в их воспитании.

Еще до войны, когда я еще работал на заводе «Главтрубосталь» в Москве, я видел на разных заводах большие группы детей, насильно оторванных от домов. Я близко узнал всю систему. Молодых призывников будили звуками горна или барабанов в пять тридцать утра для военной подготовки. Затем они завтракали и к семи часам были на своих рабочих местах, как девочки, так и мальчики, в соответствии с коммунистическими установками их воспитания как безприкословных роботов коммунизма.

Особую мрачную иронию этой регламентации придавало назначение главы Всесоюзного комитета профсоюзов Николая Шверника, члена Политбюро, политическим руководителем мероприятия. Начальником Управления трудовых резервов, которое отвечало за подготовку молодых призывников и распределяло их по рабочим местам в различных частях страны в соответствии с потребностями государства, был Маскатов, один из секретарей профсоюзов Шверника.

Пять раз в ходе войны правительство проводило новые мобилизации детей, в результате чего общее число этих мальчиков и девочек в униформе достигло 9 миллионов. Кроме того, сотни тысяч мальчиков, некоторым из которых было всего двенадцать и тринадцать лет, были согнаны в недавно созданные военные школы для подготовки кадровых офицеров для советской армии, так же, как другие готовились к пролетарской карьере. Военные курсанты были в основном добровольцами, но для заполнения квот использовались орды военных сирот, частично взятых из детских домов, а частично из числа бездомных или безпризорных. Кроме того, родители, неспособные прокормить своих детей, испытывают искушение отправить мальчиков в военные школы: по сути, это пожизненный найм. Высшее образование, а также три старших класса в средней школе в России теперь доступны только для тех, кто может оплатить обучение; Решение о введении платы за обучение было принято, если верить Кремлю, «ввиду возросшего уровня народного благосостояния трудящихся...». Многие семьи, не имеющие возможности платить за обучение, рассматривают военную карьеру как наилучший или единственный шанс для своих сыновей вырваться из эксплуатируемых рядов рабочего класса. Если система детской промышленной повинности сохранится, а есть все признаки того, что так и будет, Советское государство к 1960 году будет иметь в своем распоряжении от 30 до 40 миллионов рабочих, обученных на этой регламентированной основе. Это будет новый вид пролетариата, советского «пролетариата». Влияния, связанные с домом, напоминающие о более свободном прошлом, и интеллектуальные влияния, выходящие за рамки предписанные государственными властями, будут сведены к минимуму. Полностью пропитанные коммунистической идеологией и ленинско-сталинской доктриной революции во всем мире, они будут людьми, не имеющими памяти о личной свободе, добровольными или недобровольными солдатами государства. Эти нравственно и политически искалеченные русские люди будут представлять собой грозную силу в руках большевистского режима, будь то для использования внутри страны, или во внешних агрессиях.

Такая психологически тщательно подготовленная масса будет дополнена, возможно, 20 миллионами заключенных НКВД, находящихся в концлагерях на каторжных работах, и огромной постоянной армией кадровых солдат и офицеров, с детства обучавшихся на основе ленинизма-сталинизма

исключительно для защиты коммунизма и советской власти, в дополнение к обычным призывникам и военным резервистам. Также не следует забывать, что десятки миллионов других детей тем временем будут проходить соответствующую идеологическую обработку в обычных советских школах, где воспитание преданности большевистскому советскому режиму и его методам правления занимает первое место в учебных программах.

Мысленная картина этих мобилизованных человеческих масс, кошмарная по своим масштабам, постоянно стояла передо мной, когда я вел переговоры о рабочей силе по заказу различных комиссариатов, стремящихся выполнить срочные производственные планы. Мне казалось, что картина эта с человеческой точки зрения наиболее близка к муравейнику или улью. Тот факт, что все это было украшено тошнотворным лицемерием о советском миролюбии, достоинстве труда и служении «социалистической» отчизне, и управлялось «рабочими вождями» вроде того же рабовладельца Шверника, делало картину в моих глазах ещё более чудовищной. Мой «гнилой либерализм», очевидно, сидел во мне слишком глубоко, чтобы его можно было излечить.

3

Я осознал нашу острейшую нехватку военного снабжения почти с самого начала моей работы. Совещание в Кремле, созванное одним из первых любимцев Сталина, Алексеем Косыгиным, подчеркнуло для меня эти факты. Поскольку повестка дня охватывала многие вопросы, связанные с моим ведомством, Уткин хотел, чтобы я присутствовал на совещании вместе с ним, но сам не говорил, если только ко мне не обратятся. Косыгин от имени Политбюро управлял пятью наркоматами, а также курировал проблемы военно-технических вооружений.

Задолго до часа ночи, а именно в это время было назначено совещание, пять народных коммисаров уже находились в большой приёмной Косыгина. Напряженность несколько ослабла, на время сброшены официальные маски. Эти люди знают друг друга близко, даже слишком близко; в конце концов, власть – это тесно сплетенный клубок. Они говорят друг другу любезности, шутят, обмениваются сплетнями. Товарищ Гинзбург, комиссар строительства, толстый человечек с плешивой головой и роговыми очками, сидит в углу, молча пьёт чай и ест печенье. Высокий мужчина в цветной русской

косоворотке под пиджаком жует яблоко; это Акимов, комиссар текстильной промышленности.

Я следую его примеру и обращаюсь к большой вазе с фруктами. Комиссар Любимов, начальник лёгкой промышленности, подмигивает мне. Он известен своим шутками и прибаутками.

«Доколе ты нас тут мучить будешь?» — обращается Любимов к одному из свиты Косыгина. «Я хочу есть — яичницу с ветчиной, например. И рюмка водки не помешает».

«Да, силы тебе сегодня понадобятся», — отвечает другой, смеясь. «Тебе наверное достанется. Лучше подготовься».

Все смеются, кроме товарища Соснина, наркома стройматериалов, высокого человека с унылым и мрачным лицом. Его мрачность понятна: работа у него неблагодарная, его наркомат получает «взбучки» от начальства, как само собой разумеющееся, на каждом совещании.

Контраст хроническому унынию Соснина составляет жизнерадостный Акопов, нарком машиностроения. Акопов — это армянин с седеющими волосами, хитрым лицом и бегающими глазками. Еще совсем недавно он был простым директором завода на Урале. Теперь он нарком и, по слухам, любимец Микояна. Его быстрый взлет в официальной советской иерархии обычно связывают с успехом в создании нового реактивного оружия, известного как «Катюша», и до сих пор окутанного строжайшей секретностью.

Затем появляется маршал Воробьев в сопровождении генерала Калягина. Воробьев – помощник Сталина по инженерным войскам и снабжению. Поскольку его проблемы также решаются через мой отдел Совнаркома, мы уже знакомы, и он меня приветствует. Мы нужны друг другу; и он, и Калягин знают, что я из кожи лезу вон, чтобы удовлетворить их нужды.

Среди разговоров и чаепития наши мысли сосредоточены на больших дубовых дверях, ведущих в кабинет Косыгина. Наконец эти двери открываются.

«Алексей Николаевич приглашает вас на совещание», – объявляет секретарь.

Воцаряется тишина. Улыбки гаснут. Все надевают самые официальные маски. В присутствии Косыгина мы всего одной ступенью отделены от самого Хозяина. Комната огромная, с высоким потолком, идеально овальной формы. Портреты всего Политбюро равномерно распределены по стенам кремового цвета. Моё внимание привлекает большой радиоприёмник иностранного производства; простым советским людям не разрешается иметь радиоприёмники во время войны. Стол для совещаний, покрытый зелёным сукном, достаточно большой, чтобы вместить тридцать человек.

Касыгин, сидящий во главе стола, одет в заграничный костюм. Выражение его лица мрачное, а черты его так же красноречиво свидетельствуют о бессоннице и усталости, как и мои собственные. Он отвечает на приветствия комиссаров и генералов короткими кивками.

«Садитесь», — командует он. «Докладывает начальник ГВИУК».

ГВИУК — это сокращенное название ведомства, подчиняющегося маршалу Воробьеву, который встает, чтобы выступить. То, что к нему не обратились по имени и званию, не ускользнуло от внимания ни кого из нас, и меньше всего от самого маршала. Это явный признак того, что Косыгин в плохом настроении. Можно ожидать фейерверка. Маршал Воробьев читает из вороха своих заметок около пятнадцати минут. Он приводит цифры, снова и снова. Он рисует мрачную картину дефицита снабжения. Нет моторных лодок для переправ через реки, говорит он, и это стоит нам тысячи жизней. Нет сборных мостов, нет мин, чтобы замедлить продвижение противника, нет авторемонтных мастерских, нет телефонных проводов и приборов, нет простых печек для окопов; нет даже топоров и лопат для пехоты.

Косыгин не отрывает взгляд от блокнота перед собой и что-то чертит от нетерпения и раздражения. Мышцы его лица нервно подергиваются. Цитируя статистику, Маршал говорит: « У нас огромные потери на фронте! Почему мы не можем дать нашим солдатам обычные лопаты и топоры, резаки для колючей проволоки? Мы приказываем им строить мосты через колючие ограждения из их собственных тел, потому что у нас нет инструментов, чтобы перерезать проволоку! Товарищи, это стыдно, стыдно!

У нас нет фонарей – не говоря уже о карманных фонариках, – только простые керосиновые лампы. Восемь раз за последние месяцы товарищ Сталин лично отдавал распоряжения о поставке этих фонарей, но фронт их до сих

пор не получил. У нас нет маскировочного снаряжения. Прошу вас, товарищи, стоящие во главе промышленности, принять необходимые меры.»

«Всё предельно ясно,» – сдавленным голосом говорит Косыгин, когда маршал садится. – «О каких фонарях идёт речь?»

Полковник, сидящий рядом с маршалом, поднимает примитивный круглый фонарь, – металлическую раму со стеклянными окнами.

«И мы не можем производить эту безделушку?» – презрительно фыркает Косыгин.

Так уж получилось, что я знаком с этой проблемой. Уткин кивает и я говорю.

«Позвольте объяснить, Алексей Николаевич. Производство фонарей замедлилось, потому что у нас нет листового металла и штамповочных машин, нет стекла нужного размера и качества. Большой завод листового металла, эвакуированный из Новороссийска, ещё не работает. Стекло мы можем получить только из Красноярска. Может быть, товарищ Соснин объяснит нам, почему его нет».

«Фонари должны быть сделаны!» — внезапно визжит Косыгин и стучит по столу. «Я говорю вам, что всей этой преступной инертности нужно положить конец! Даже если мне придётся содрать шкуру с ленивых негодяев, военные поставки будут налажены, как того требует товарищ Сталин!» — Соснин, докладывайте!

Мрачный Соснин выглядит подавленным. Он говорит безнадёжно монотонным голосом. Машины в Красноярске в плохом состоянии, электростанция не работает, нет квалифицированной рабочей силы...

Косыгин вызывает Акимова и других. Час за часом тянется совещание. Каждый доклад усугубляет всеобщее отчаяние. «Узкие места» в материалах, машинах, средствах транспорта, кажется, становятся всё более многочисленными – непроходимый лес «узких мест». Косыгин больше не разговаривает, больше не задаёт вопросов. Он визжит, приказывает, назначает квоты и даты, ни с кем не советуясь, – и все наркомы и генералы виновато ёрзают, словно школьники, внимающие разгневанному директору. Мы избегаем смотреть друг на друга. Мы все знаем, и Косыгин знает, что нехватки реальны, что никто из нас не может творить чудеса.

В какой-то момент, посреди яростной вспышки гнева Косыгина на комиссара Гинзбурга, звонит телефон. Очевидно, Косыгин узнаёт звонок. Его тон, выражение лица, даже сама осанка мгновенно меняются, становятся заискивающими, подобострастными. «Да, Иосиф Виссарионович ... Конечно, Иосиф Виссарионович ... Будет сделано, Иосиф Виссарионович … Да, я приму немедленные меры ..." почтительно говорит он. Сталин! Мы все благоговейно молчим. Мы сидим за столом, словно каменные изваяния, затаив дыхание. Наконец, Косыгин тихо, осторожно, словно хрупкое стекло, кладет трубку. Ему требуется целых пять минут, чтобы вернуться в свой прежний гневный настрой командования и оскорблений.

Четыре тридцать утра; наконец, нас отпускают. Каждого из нас нагрузили инструкциями: полмиллиона камуфляжной униформы, миллион лопат, сто тысяч бобин для полевых телефонов – ошеломляющие цифры, и их десятки. Мы все знаем, что задания невыполнимы; если их удастся выполнить хотя бы на 15 процентов, будет ликование, премии и медали «За заслуги». Мы все также знаем, что цифры намеренно завышают, чтобы выжать из промышленности последние силы и что реальные нужды гораздо больше планов.

Дома я поднимаюсь по тёмной лестнице на верхний этаж, ощупью пробираюсь в тёмном коридоре к нашей двери. Ирина шевельнулась. Почему я так поздно, спрашивает она сонно; что-то не так? Нет, нет, иди спать... просто очередное совещание. Рассвет...

Я был на десятках таких кремлёвских совещаний, созванных заместителями Сталина: Вознесенским, Сабуровым и другими. Процедура и характер совещаний были почти такими же, как на этом совещании у Косыгина. Приказы, директивы, требования Сталина, невзирающие на трудности и требующие результатов, доминировали на всех них.

ГЛАВА XXV

ДВЕ ПРАВДЫ

Как начальник отдела в Совнаркоме, я не зарабатывал и половины того, что раньше зарабатывал в промышленности, и не получал ни одной из неожиданных премий, которые назначала себе администрация заводов. Но

деньги ничего не значили во времена повального дефицита. Важнее был размер вашего пайка и магазины, в которых вам разрешалось делать покупки.

И в этом отношении я теперь относился к высшей, лучше всего обеспечиваемой категории. У меня был доступ к особым «закрытым магазинам» («спецраспределители», на помпезном официальном языке), а также к обувным мастерским и портным, зарезервированным для *власти*. В этих местах я встречал элиту партии, правительства, НКВД, Кремля; иногда их жён, шофёров и прислугу.

Ни один русский человек из тысячи не подозревал о существовании такого изобилия в магазинах для советской элиты и, действительно, власти управляли ими скрытно, насколько это было возможно, вне поля зрения советских масс. Например, у нашего «закрытого» продуктового магазина обычно выстраивалась вереница элегантных автомобилей, но мало кто из прохожих знал, для чего они там находятся. Ни один рядовой москвич не мог даже мельком увидеть, не говоря уже о том, чтобы попробовать, иностранную ленд-лизовскую и отечественную роскошь, продаваемую в этом магазине.

Наши покупки, конечно, ограничивались нормами. Но они были намного выше среднего и включали в себя товары, память о которых почти стерлась из памяти большинства населения. Во время войны, я принадлежал к категории семей, освобожденных от гнета голода и холода, которые держали советский народ в своих беспощадных тисках. Страна в целом страдала так жестоко, как не страдала в самые тяжелые годы гражданской войны – и это после четверти века «социалистического строительства» и нескольких успешных пятилеток.

Мой ежемесячный паек включал ветчину, консервы, масло, сахар, муку, солонину – все привезенные по ленд-лизу из Соединенных Штатов, а также советскую рыбу, дичь, копченую рыбу, овощи, водку, вино, сигареты. За пятнадцать тысяч рублей нельзя было купить на черном рынке все того, что я увозил в своей машине примерно на 150 рублей из «закрытого» магазина, вход в который охранял милиционер. Если, несмотря на это, бывали дни, когда моя жена не имела достаточно пищи, каково же было положение среднестатистического советского человека? Портные, работавшие исключительно на высшую советскую элиту, шили нам костюмы на заказ из

лучших американских и британских тканей, поставлявшихся по ленд-лизу, в то время как старая и поношенная одежда на открытом рынке стоила тысячи рублей.

Время от времени московские магазины одежды «открытого» типа – ненормированные и потому головокружительно дорогие – переживали кратковременные вспышки процветания. Весть о прибытии партии платьев, костюмов, детской одежды разносилась со скоростью лесного пожара. Мгновенно выстраивались длинные очереди, несмотря на то, что самое простое хлопчатобумажное домашнее платье могло стоить от 500 до 1000 рублей, пара носков – от 50 до 75 рублей, самый обычный костюм или пальто – 2500 рублей и больше. С большими пачками ветхих, рваных и часто грязных денежных банкнот люди стояли часами, молясь, чтобы запасов хватило до их очереди.

Товары повседневного спроса, такие как нитки, мыло, спички, электрические лампочки, столовые и кухонные принадлежности, практически исчезли из продажи в магазинах. Пол-литра керосина стоило 6 рублей на рынке. Даже в центре Москвы электричество поступало в жилые дома всего на два-три часа в сутки; те, кто не мог позволить себе керосина, — а это было подавляющее большинство людей, — сидели в полной темноте за своими зашторенными окнами.

Зимой 1942-43 годов люди сжигали свою мебель, ноты, дорогие для них книги – всё, что могло дать хоть несколько минут тепла. Они срывали доски с полов и балки с крыш, чтобы не дать детям замерзнуть насмерть. По утрам люди стучались в двери голодающих соседей, чтобы слабым голосом спросить: «Ваня–или Маня–как вы, ещё живы?»

Мы с Ириной установили у себя хорошую железную печь, и через Совнарком я раздобыл дров. Время от времени мы оставляли немного для соседей, хотя это и было нарушением предписаний. Иногда я задавался вопросом, не действуют ли свидетельства моего сравнительного достатка на нервы и характер этих соседей. Ирина готовила на керосинке в уединении нашей собственной квартиры. Хотя мы и делились с друзьями, мы поглощали наш паёк с некоторым смущением. В конце концов, это было время, когда вид мужчин, женщин, и детей умирающих от голода на улицах Москвы, стал слишком обыденным, переставшим привлекать к себе внимание. Но

мертвых хоронили, полумертвые стонали в своих холодных домах, а живые продолжали жить.

По долгу службы я посетил множество заводов, где производство отставало. Неизменно я обнаруживал, что нехватка продовольствия была одной из главных причин. Там, где администрация могла обеспечить хотя бы один достаточно сытный обед, разница сказывалась на темпах производства. «Дайте нам больше еды, и мы дадим вам больше товаров», — всегда умоляло руководство. «У наших людей нет сил уложиться в ваши сроки».

Однажды Памфилов отправил меня на машине в город Солнечногорск, недалеко от Москвы, для осмотра двух заводов. Помол муки замедлялся из-за нехватки сит, требующих сверхтонкой проволоки, производство которой можно было бы организовать на этих заводах. Меня сопровождал молодой человек, представленный мне как инженер завода, но, очевидно, это был сотрудник Экономического управления НКВД – не оскорбительное недоверие к моей честности, а всего лишь обычная советская процедура.

Мы ехали по территории, некоторое время занимавшейся немцами и опустошённой бомбёжками и артиллерийским огнём. По обеим сторонам дороги мы видели разбитые немецкие танки и машины. Мы проезжали через деревни и хутора, где не осталось ни одного целого дома. Призрачные женщины и дети, оборванные, с пустыми глазами, выползали из руин и протягивали дрожащие руки. Я взял с собой продуктовый набор, приготовленный на кухне Совнаркома, но раздал его задолго до того, как мы достигли цели нашего назначения. Во многих местах мы сталкивались с большими группами узников под усиленной охраной чекистов, работавших на ремонте дорог.

Сам Солнечногорск уцелел. Меня ждали руководители завода, которые проявили готовность к сотрудничеству. Они согласились, что их оборудование можно переоборудовать для производства необходимой проволоки, но все они рассказали мне одну и ту же мрачную историю об острейшем голоде.

«Наши люди готовы работать», — сказал один из них. «Как видите, у нас остались только очень старые мужчины, маленькие дети и женщины, у которых нет опыта работы на заводе. Но они готовы. Когда нам необходимо, они остаются на работе по нескольку дней, ночуя здесь, на заводе. Но если

они не будут получать хотя бы обычные хлебные пайки, как в других городах, у них не будет сил продолжать работу».

«Почему они не получают такие же пайки?» — спросил я с удивлением.

«Потому что мы находимся в сельскохозяйственном районе. Теоретически мы должны добывать продовольствие в сельской местности. Но это теория. На самом деле сами крестьяне голодают. Вы, наверное, видели их на дорогах».

Мне было ясно, что предложение о производстве продукции в Солнечногорске неосуществимо без решения продовольственной проблемы.

Когда я возвратился в свой кабинет, начальство отбыло на вечерний отдых. К их возвращению у меня был уже составлен подробный проект правительственного решения о немедленной конверсии и эксплуатации заводов.

Ближе к полуночи меня принял Памфилов. В присутствии Уткина он прочитал мой проект. «Хорошо... хорошо... отлично», — кивнул он своей лоснящейся головой. Но вдруг лицо его омрачилось.

«Что это? Пятьсот граммов хлеба в день для рабочих и их семей...»

«Да», — бодро сказал я. — «Это элементарно. Эти люди просто голодают».

«Вычеркните этот пункт из проекта», — приказал Памфилов.

«Но, Константин Гаврилович, прошу вас оставить это в проекте. Допускаю, что у некоторых рабочих могут быть свои огороды или родственники среди крестьян, но это не поможет. Эти люди работают и должны получать рабочие пайки».

«Мне их так же жаль, как и вам, товарищ Кравченко, но этот пункт нужно вычеркнуть».

Прежде чем доработанный проект был направлен Молотову для принятия, я ещё раз обратился к Памфилову с просьбой подчеркнуть необходимость хлеба для обеспечения работы Солнечногорских заводов. Глава Совнаркома посмотрел на меня с нескрываемым раздражением.

«Послушай, Кравченко. Ты кто, социальный работник или большевик? Человеколюбие – плохой советчик в принятии государственных решений.

Надо учиться у товарища Сталина: люби народ, но жертвуй им, когда это необходимо!»

Тот, что два завода, хотя и были обеспечены достаточным количеством сырья, не произвели и половины запланированного количества тонкой проволоки, меня не удивило.

Ещё одна поездка запечатлелась в моей памяти ещё ярче.

Только современный Данте в минуту упадка веры в человечность мог бы словами нарисовать картину ада в виде секретного подземного завода Наркомата боеприпасов, работавшего почти исключительно на рабском труде концлагерных узников.

За Подольском, в Московской области, на поезд, который вез нас через густой лесной район, допускались только люди со специальными пропусками. Чекисты НКВД несколько раз проверяли наши документы. Поезд двигался медленно, и мы неоднократно видели из окон множество заключенных – невозможно было ошибиться в личности этих каторжан – рубящих деревья и волочащих их к железнодорожным путям. Наконец мы остановились в тупике этой новой железнодорожной ветки и вышли.

На поляне стоял военный завод. В лесу за ним, невидимые, с узкими входами в подземные камеры, тщательно замаскированными, находились огромные подземные цеха, где тысячи заключенных наполняли взрывчаткой гранаты, бомбы, мины и другие боеприпасы. Вся территория, охватывающая этот подземный мир, была отгорожена колючей проволокой и охранялась вооруженной охраной НКВД, в сопровождении свирепых собак, специально обученныхи для этой работы.

Я прибыл с товарищем, чтобы уладить конфликт между этим военным заводом и другим, который поставлял ему некоторые материалы. После вечернего совещания с начальством мне дали комнату на ночь в заводской гостинице. Желая увидеть, как узники идут на работу, я встал рано. Шел холодный дождь. Чуть позже шести я увидел группу из примерно четырехсот мужчин и женщин, по десять человек в ряд, идущих под усиленной охраной к секретным цехам.

В предыдущие годы я видел концлагерных рабов в самых разных условиях. Я не предполагал, что мне предстоит увидеть существа трагичнее тех, которых

я видел в концентрационных лагерях на Урале и в Сибири. Здесь ужас, казалось, возвысился до поистине адского уровня. Эти лица – болезненно-желтого цвета, обескровленные – были шокирующими посмертными масками. Это были ходячие трупы, безнадежно отравленные химикатами, с которыми они работали в мерзком чистилище. Это был настоящий лагерь смерти.

Среди них были мужчины и женщины, которым могло быть пятьдесят или больше, но были и молодые люди чуть старше двадцати. Они все шли безмолвно, как автоматы, не глядя ни направо, ни налево. И они были фантастически одеты. Многие из них были в резиновых галошах, привязанных к ногам верёвкой; другие обвязали ноги тряпками. Некоторые были в крестьянской одежде; несколько женщин были в рваных каракулевых полушубках; кое-где я замечал то, что осталось от некогда хороших заграничных костюмов. Когда мрачный парад проходил мимо здания, из которого я наблюдал, одна женщина внезапно упала на землю.

Двое чекистов оттащили её; никто из заключённых не обратил на нее ни малейшего внимания. Они были вне сочувствия, вне человеческих эмоций.

Другие подобные контингенты шли в подземный ад с других направлений, из лагерей НКВД, скрытых глубоко в лесах, вероятно за много километров отсюда. Вечером я увидел колонну примерно вдвое длиннее, бредущую сквозь дождь и грязь на ночную смену.

Мне не разрешили спуститься в подземные цеха, да я и сам чувствовал, что наверное не вынес бы этого зрелища. Но со слов заводской администрации, с которой я общался два дня, я составил достаточно ясное впечатление о царивших там ужасных условиях и презрении к ценности человеческой жизни. Подземный завод плохо проветривался, и был построен в панической спешке и с полным пренебрежением к здоровью рабочих. Нескольких недель пребывания в его испарениях и вони было достаточно, чтобы навсегда отравить человеческий организм. Смертность была очень высокой; людей туда привозили почти так же непрерывно, как и химические реагенты.

Директором этого завода был коммунист со стажем, носивший орден и ряд других наград на своем кителе. Когда я начал задавать ему вопросы о его рабочих, он посмотрел на меня странно, словно я спрашивал о здоровье и условиях жизни какого-нибудь рабочего скота.

«К сожалению, среди них мало квалифицированных рабочих, — сказал он, — и у меня с ними много хлопот. Вы спрашиваете меня, что это за люди — политические или уголовные. Меня это не интересует; это дело НКВД, которое снабжает меня рабочей силой. Всё, что я знаю, — это то, что они — враги народа».

В течение месяцев я не мог изгладить эти впечатления из своего сознания. Они окрашивали мои чувства, даже когда мой разум и мои руки были заняты другими делами. И в последующие годы, в далёкой стране, эти воспоминания иногда возвращались внезапно и настойчиво, когда я слышал, как американцы разглагольствуют о чудесах советского коммунизма. Я не мог не подумать: «Если бы я мог засунуть вас, дураков, в этот подземный завод только на два дня, не больше, то вы бы пели другую песню!»

2

Авиация была одной из тех военных индустрий, на которую Кремль щедро тратил своих лучших людей, энергию и риторику в течение десяти лет. И всё же наша отсталость в этой области стала мне достаточно очевидна из документов, подписанных Сталиным и Молотовым, и прошедших через мой отдел.

Авиационные заводы в Харькове, Киеве, Запорожье, Таганроге и других городах были эвакуированы лишь частично. В результате, в начале войны наши лётчики в некоторых случаях летали на советских самолётах, сделанных из фанеры. Нескольких зажигательных пуль было достаточно, чтобы вывести их строя. Потери в советской авиации были выше, как я узнал, чем в любой авиации любой из воюющих стран. Чтобы компенсировать нехватку самолетов, наших летчиков обязывали совершать больше вылетов в день, чем летчиков любой другой страны, что конечно влекло за собой больше потерь. Положение впрочем скоро изменилось с прибытием громадных поставок самолетов по ленд-лизу.

Осенью 1942 года Сталин отдал срочный секретный приказ о немедленном изготовлении антипирена для покрытия всех самолетов. Это была смолистая смесь на основе винилхлорида, предложенная Институтом авиационных материалов. Сталин придавал огромное значение этому проекту, который в конечном итоге был сосредоточен в моем отделе.

Последовали недели совещаний с руководителями химической

промышленностей и различных авиационных бюро. Предложенная химическая формула, как оказалось, была весьма приблизительной и неполной. В конечном итоге руководители Института были щедро вознаграждены за свои достижения, но – если говорить по правде, награды следовало бы отдать скромным инженерам-химикам и простым рабочим, которые трудились день и ночь, разрабатывая этот процесс. К сожалению, все их усилия были по большей части напрасны.

«Если нам удастся покрыть самолёты этим веществом, – спросил я однажды генерала авиации в своём кабинете, – это действительно поможет?»

Он огляделся, словно проверяя, нет ли посторонних ушей, наклонился ближе ко мне и прошептал:

«Примерно столько же, сколько мертвому припарки… Если в такой самолет попадут новейшие немецкие зажигательные пули, он сгорит как уголь. Между нами говоря, всё это дело чисто психологическое. Оно может поднять боевой дух, по крайней мере, на время, наших лётчиков. Они всего лишь люди; использование переоборудованных гражданских самолётов и самолётов с деревянными деталями в военных целях вряд ли полезно для их нервов».

Десятки видов приборов, спецаппаратуры и материалов приходилось изготавливать в форсированном темпе и в самых неблагоприятных условиях, чтобы привести советскую авиацию в боевую готовность к предстоящим зимним кампаниям. Масштабы наших потерь повергали меня в уныние.

«Вся наша авиация будет парализована этой зимой, если эта спецаппаратура и приборы не будут изготовлены быстро и в нужном количестве», — писал маршал Новиков Молотову в секретном докладе, который попал в мои руки.

Когда я руководил заводами на Украине, Урале, в Сибири, меня очень раздражали непрекращающиеся звонки и телеграммы из Москвы и других центров, требовавшие ускорить производство. Теперь же, одним поворотом колеса фортуны, уже я рассылал такие требования. Я постоянно звонил, телеграфировал, умолял и требовал. Я слишком хорошо знал, насколько это раздражает и часто бесполезно. И всё же я упорствовал. Время имело решающее значение, и я находился под непристанным давлением со стороны начальства.

Было ли производство остановлено нехваткой каких-то жизненно важных материалов, оборудования или рабочей силы? Я мобилизовывал наркоматы, производившие материалы или оборудование, организации, контролировавшие рабочую силу, – при необходимости я привлекал к работе Государственный комитет обороны, партийные органы, соответствующих кремлевских чиновников – и каким-то образом всё необходимое предоставлялось.

Самое необычное заключалось в том, что аппаратура, о которой просил маршал Новиков, действительно была создана в количестве и качестве, предписанных приказом Сталина по этому вопросу. Контроль над производством самолётов был сосредоточен в руках Молотова, но большинство приказов подписывалось самим Сталиным. Чтобы ускорить выпуск продукции, я составил планы предоставления рабочим некоторых заводов хлеба и горячего питания, и они были введены в действие после подписания их Сталиным. Мы срочно отправляли кислородные баллоны из Горького в Москву на автомобилях. Мы отправляли карбид кальция через линию фронта из Еревана в Москву. И в конце концов, необходимое оборудование было создано. Вскоре, по указанию Кремля, я готовил проект указа о награждении лиц, наиболее эффективно способствовавших выполнению поставленной задачи. Указ, в том виде, в каком я его составил, был опубликован в печати. Через несколько дней мне позвонил маршал Новиков.

«Товарищ Кравченко, — сказал он, — я хочу поблагодарить вас от имени всей нашей авиации. Я много рассказывал о вашем самоотверженном труде, и хочу, чтобы вы знали, что мы все вам благодарны».

Проблема катушек для полевых телефонов также была хронической головной болью. Ответственность за снабжение средствами связи на фронтах была сосредоточена в руках товарища Сабурова, одного из заместителей Сталина, и поэтому мои контакты в основном поддерживались через его аппарат. Конкретные директивы, однако, подписывались лично Сталиным. На долгом ночном совещании в Кремле под председательством Сабурова в присутствии ряда наркомов обсуждались и проверялись производственные планы. Поскольку листового металла не было, после долгих споров было решено делать катушки из дерева, несмотря на бурные возражения военных представителей.

Примерно через месяц представители всех заинтересованных наркоматов и соответствующие военные чины собрались в моем кабинете. Один за другим они докладывали о результатах. Только один человек, помощник наркома, казался довольным.

«Наши поставки по средствам связи, — заявил он, — перевыполнены на 100%!»

Я сразу понял, что в этой картине что-то не так. Его комиссариат поставил лишь ничтожно малое количество готовых изделий и инструментов. В недоумении, смешанном с гневом, я настоял, чтобы он объяснил эту чудесную цифру. Он объяснил. Быстро выяснилось, что одни части аппарата были произведены на 270% от потребностей, в то время как другие были обеспечены лишь на 30%. Его гордое заявление ссылалось на среднюю величину. Это было типичное бюрократическое статистическое достижение. На самом деле, конечно, минимальный показатель определял количество собранных комплектов. Его комиссариат в лучшем случае выполнил лишь 30% своей работы.

Все посмеялись над замешательством этого человека. Но было не до смеха. Как объяснили присутствовавшие генералы, недостаточное снабжение телефонной связью стоило нам тысячи жизней и иногда приводило к проигрышу сражений. «Узким местом», похоже, было производство этих катушек. Заводы сильно отставали от графика, даже несмотря на деревянные заменители, утвержденные в Кремле.

Именно в этой связи я посетил деревообрабатывающий завод на окраине Москвы, чтобы лично проверить, почему катушки не поставляются. Директор объяснил, что у него не хватает квалифицированной рабочей силы; я видел, что над этим заказом работают всего несколько человек.

«А что здесь происходит?» — спросил я, входя в другой цех, где производство, казалось, шло полным ходом.

Увиденное привело меня в ярость. Около ста пятидесяти человек были заняты изготовлением изящной мебели: диванов, столов, зеркальных комодов, вместительных кресел, в основном из лучшего красного дерева.

«Нет квалифицированных рабочих, говорите вы! А между тем, вы употребляете их на дорогую мебель и диваны — а люди гибнут на поле боя! Это преступление, и я предупреждаю, я устрою скандал!»

Директор, казалось, не был встревожен. Он пожал плечами, и мне показалось, что я заметил сдержанную улыбку в уголках его губ.

«Я не виню вас за то, что вы разгневались», — сказал он. «Я и сам очень рассержен. Но я всего лишь маленький человек. Что я могу сделать, кроме как подчиняться высокостоящим людям? Зайдите ко мне в кабинет, я вам кое-что покажу».

В своем кабинете он показал документы. Мебель была заказана высшими партийными, советскими и красноармейскими чинами, среди которых, насколько я помню, были товарищ Василий Пронин, председатель Московского городского совета; генерал Мухин и товарищ Щербаков, секретарь Центрального Комитета.

Я помчался обратно в Совнарком, все еще сильно не в духе, и ввалился в кабинет Уткина. Я начал излагать ему факты. Он едва мог поверить своим ушам.

«Делать шикарные кресла вместо военных поставок, заказанных товарищем Сталиным!» — воскликнул он. «Это возмутительно! Виновных следует посадить в тюрьму! Да я сейчас ...»

«Согласен, и я рад, что вы разделяете мои чувства, Андрей Иванович! Но директор показал мне, что он производит эти гражданские товары для товарищей Пронина, Щербакова, генерала Мухина...»

Выражение лица Уткина мгновенно изменилось. Ярость тотчас исчезла из его глаз.

«Вот как? Для товарища Щербакова... Понятно», — пробормотал он, ёрзая в кресле. «Да... хм... серьёзная проблема. Полагаю, что удобства наших руководителей тоже являются военным приоритетом... Надо подумать».

Думал он долго в то время, как фабрика продолжала работать на модную мебель, а Красная Армия просила телефонные катушки, приклады для винтовок и т. д. Несколько раз, признаюсь, не без злобы, я возвращался к этому вопросу, но безрезультатно. Я не осмеливался идти через голову

Уткина к Сабурову, а Уткин, очевидно, не хотел наживать политических врагов.

В Военно-инженерном отделе мне неизбежно пришлось быть посвященным в одну из самых охраняемых тайн Советского Союза. Это была тайна советского химического и бактериологического оружия, которая тяжким бременем лежала на всех, кто ее знал. Только победоносное окончание войны позволяет говорить о ней.

При всем том, доля советского населения, оснащенного противогазами, была мала. Даже в Москве только примерно у каждого четвертого был противогаз; в остальной части страны ситуация была гораздо хуже; в подавляющем большинстве деревень и небольших городов противогазов вообще не было. Но это была лишь половина трагедии. Ужасающая тайна заключалась в том, что лишь немногие из этих масок, будь то в солдатских комплектах или у гражданских лиц, были хоть сколько-нибудь пригодны к реальному использованию в химической войне. По официальной оценке, по крайней мере 65 процентов масок, произведенных во время войны, были совершенно бесполезны. Главная причина заключалась в том, что из-за отсутствия резины мы были вынуждены использовать прорезиненный холст, который не обеспечивал герметичного закрытия лица. Также ощущалась острая нехватка листового железа, стекла и других материалов, используемых для производства противогазов.

Однажды, столкнувшись с высокопоставленным военным в отделе химического оружия, я прямо спросил его, почему он принимает эти маски.

«Но какая альтернатива?» — ответил он, пожав плечами в отчаянии. «Нет никаких других масок! Так, по крайней мере, они имеют психологическое или моральное значение».

Однажды поздно вечером я случайно оказался в кабинете Уткина, когда он собирался идти домой. Я видел, как он подошёл к сейфу и достал несколько новых, хорошо сделанных противогазов. Видимо, моё лицо отразило мои мысли.

«Не смотри так осуждающе», — улыбнулся он. «Это для моей жены и

детей. Никто не знает, может ли это случиться … Нет причин для паники, но здравый смысл требует бдительности».

«Но Андрей Иванович, почему вы не пользуетесь масками, которые выдают населению?»

«Вы с ума сошли?» — воскликнул он, а затем, примирительно, добавил: «Я поищу парочку масок для вас и вашей жены».

Что касается газоубежищ, ситуация для населения была ещё хуже. Те немногие построенные, в случае газовой атаки, могли вместить лишь малую часть жителей крупных городов, и большинство из них были плохо построены, негерметичны. В небольших городах и посёлках, конечно же, убежищ вообще не было.

В целях подготовки к химической и бактериологической войне, в Москве станция метро «Кировская» была превращена в газовое убежище для высокопоставленных чиновников; убежища были и в различных

наркоматах. В нашем Совнаркоме у нас было такое с коврами, буфетом, библиотекой. Но это было не слишком утешительно для рядового советского гражданина.

Картина была не лучше и в вопросе химической войны, несмотря на то, что Политбюро этот этап военных действий поручило Особым химическим войскам НКВД, которые должны были вести такую войну.

Но если у нас и возникали трудности с химическим оружимем, полевыми телефонами, запчастями для танков, мобильным оружием, самолётами, мы компенсировали это хотя бы в одном отношении. Однажды ночью, когда я работал над стопкой отчётов, Уткин попросил меня зайти к нему в кабинет. Там я застал его увлечённым, на первый взгляд, странной игрой. На его столе, на стульях, повсюду были разложены полоски досок, обтянутые золотой и серебряной тканью.

«Погоны!» — радостно объяснил он.

Также по комнате были разбросаны художественные эскизы униформы всех родов войск, от маршалов до лейтенантов, изображающие все это в их надлежащем виде. О том, что погоны, когда-то нам столь ненавистные как символ царского милитаризма, будут восстановлены у нас, – ещё не было объявлено всенародно. Решение было принято Политбюро и в своё время будет «утверждено» Верховным Советом. Но производство изделия уже шло полным ходом, и это были образцы.

«Я везу их в Кремль», — сказал Уткин. «Товарищ Сталин будет лично принимать по ним решение. Ну, разве они не красивы?»

Он был в игривом настроении. Кем бы я хотел быть, хотел знать он — маршалом? Адмиралом? Он подобрал подходящие погоны и надел их мне на плечи.

«Нет-нет, эти не совсем подходят», — сказал он с наигранной серьёзностью. «Может быть, вы согласитесь на эти — всего лишь полковничьи, но зато какие красивые».

«Андрей Иванович», — сказал я, — «неужели это возрождение погон и новой униформы не будет воспринято многими как возвращение к русскому империализму?»

Он рассмеялся.

«Какая глупая идея! Кого волнует, что думают какие-то идиоты у нас дома или за границей? Сердца под позолоченными плечами будут настоящими советскими сердцами, бьющимися в унисон, точно так же, как наши люди в унисон сражаются на фронте за идеи товарища Сталина». Он сделал паузу и медленно добавил для выразительности:

«Кроме того, если некоторые люди действительно считают, что это означает возврат к империализму, даже это может быть политически полезно». Он обретёт друзей для нашей страны в определённых кругах».

3

Партийный комитет в каждой советской организации, большой или малой, является сердцем партийной диктатуры, так же как Особый отдел, представляющий НКВД, является её правой рукой во всяком учреждении. Партком действует от имени членов партии (обычно составляющих незначительное меньшинство в любом советском учреждении) и следит за их идеологическими настроениями; он контролирует политическую деятельность организации и направляет идеологическую и политическую мысль всех сотрудников всякой организации. Его власть в значительной степени является идеологической, так сказать. Секретарь Комитета, хотя он может оставаться в тени, является настоящим хозяином в любом учреждении. В конечном счете, руководитель треста или завода подчиняется

и получает приказы по всем идеологическим и политическим вопросам от вышестоящего партийного чиновника.

В Совнаркоме у нас тоже был партийный комитет, который выполнял большое количество чисто партийных задач. Но было одно отличие: поскольку Совнарком является правительством, получающим свою власть от Политбюро и Центрального Комитета, он не подчинялся партийному комитету. Во главе нашего партийного комитета стоял старый коммунист Миронов. Он верховенствовал во всех вопросах «веры», так сказать, политической морали, идеологии, анализе событий и тому подобном. Но в реальной работе организации он не мог вмешиваться в дела Памфилова, Уткина и других, которые были «светскими» руководителями.

Наши партийные собрания проходили на несколько более высоком уровне, чем в большинстве мест. Мы редко касались конкретных проблем Совнаркома, посвящая себя обсуждению более широких политических и идеологических вопросов. Все ответственные посты, конечно, занимали коммунисты, и доля членов партии даже на низовых ступенях была очень высока. Поэтому партийные собрания были фактически массовыми собраниями всего советского правительственного аппарата.

Иностранцы, пытающиеся понять политику Сталина или «советский ум», – изучая советскую прессу и публичные действия Кремля, – обычно выносят из них кучу вздора и небылиц. Ни один из тысячи из них не понял советско-большевистскую идею о «двух правдах»: одна для народных масс, для всего остального мира, и другая для преданных и посвящённых. В то самое время, когда определённая линия коммунистической пропаганды проводится публично, партийным чиновникам могут сверху дать указание игнорировать её или даже верить в прямо противоположное. На критическом этапе войны с Германией, «отступление от ленинизма» – по форме, не по существу – считалось необходимым. «Отсталые элементы» внутри страны и в остальном мире нужно было обмануть кажущимся восстановлением православия. Моральные ценности национализма и патриотизма должны были быть эксплуатированы коммунистами до предела. И тогда же, капиталистические союзники Советского Союза по войне были умиротворены показным «роспуском» Коммунистического Интернационала.

Внешний мир и большинство нашего собственного народа с энтузиазмом восприняли всё это как доказательство перемены в позициях

коммунистических вождей. Мне пришлось видеть за рубежом статьи и книги, в которых это «отступление» от прежних позиций преподносилось как признак разрыва Кремля с идеей организации революций во всем мире. Находились даже «эксперты», которые бездумно заявляли, что Советский Союз отходит от партийной коммунистической диктатуры и приближается к капитализму. Они утверждали, что демократический режим на западе и советский тоталитарный режим в СССР движутся навстречу друг другу и встретятся где-то посередине.

Если бы кто-нибудь из этих экспертов присутствовал на наших закрытых еженедельных партийных заседаниях для высшего руководства, он бы очень удивился. Для нас, коммунистов, «отступление от ленинизма» было всего лишь временным тактическим и политическим ловким манёвром.

Компромисс с христианской религией был вынужденной, но необходимой и полезной уступкой. Именно потому, что наша партия и государство в этот трудный момент были вынуждены пойти на компромисс, нас призывали укрепить нашу преданность коммунизму и нашу внутреннюю веру в то, что эти временные идеологические отступления были всего лишь ловкими ходами в сталинской стратегии наступления и окончательной победы коммунизма.

Ни один должным образом индоктринированный большевик не чувствовал, что партия «лжет», провозглашая на словах всенародно одну политику, но на деле осуществляя совершенно противоположную.

У него было не больше угрызений совести по этому поводу, чем у генерала на поле боя, который обманными маневрами вводит в заблуждение и дезориентирует своего противника. Пока весь земной шар не превратится в единый Советский Союз под солнцем сталинизма, Генеральному штабу революции — то есть нашим вождям в Кремле — придется маневрировать; то нападая, то затаившись, иногда отступая для укрепления позиций; делать один шаг назад с тем, чтобы после сделать два шага вперед, постоянно эксплуатируя противоречия между капиталистическими странами. Либеральные морализаторы, болтающие о двурушничестве и вероломстве, являются для нашего большевистского «реалиста» просто нелепыми пережитками мёртвого прошлого и лицемерами в придачу.

В партийной работе не было и следа тех «глубоких перемен», которые якобы произошли в советской власти. За исключением того, что произносились речи о войне и её задачах, собрание партийного актива по своей политической сути, тону и идеям ничем не отличалось от довоенного.

В десять вечера мы собираемся на наше еженедельное собрание. Товарищ Миронов председательствует под огромным портретом Ленина; с ним на трибуне другие важные лица. Товарищ Юдин, глава государственных издательств, а теперь представляющий отдел агитации и пропаганды Центрального комитета партии, сегодня у нас в гостях. Поскольку мы знаем, что он один из ведущих теоретиков Сталина, мы настроены внимательно слушать. Его тема — мировые события. Но то, что он скажет, будет не просто «мнением» в западном смысле. Оно будет представлять собой предписанный образ мыслей и идейные установки, от которых мы не смеем отступать – от которых, по сути, советскому коммунисту и в голову не придёт отступать. Юдин будет говорить голосом Сталина, голосом партии и советской власти.

Но прежде чем он начнёт, другой партийный чиновник даёт нам обрисовку военного положения. Он не отрицает масштабов наших потерь или величину опасности. Сталинград – это испытание. Мы не смеем потерпеть и не потерпим неудачу. Если Сталинград падет, если немцы перейдут Волгу, мы останемся отрезанными от нефти; все военное снабжение может быть парализовано. Но это ещё не всё:

«Товарищи, мы все должны понимать, что Сталинград — это не просто ещё один город. Это город, названный в честь Сталина, вождя мирового коммунизма. В Сталинграде сошлись в смертельной схватке два образа жизни и мировозрения: фашизм и коммунизм. Армия Гитлера — и сила сталинской идеи. Как сказал Ленин: кто кого? кто кого победит?

Город Сталина не может и не будет сдан, какую бы ни пришлось за это заплатить цену. Мы цепляемся за каждый камень, за каждый кирпич. Огромные резервы людей и техники готовятся к этой исторической дуэли. Мы утопим немцев в их собственной крови. Мир тогда узнает, что означает любимое имя Сталин. Сталинград будет стоять вечно как славный памятник гению нашего любимого вождя.»

Громкие аплодисменты. Когда они стихают, слово берёт товарищ Юдин. Мы слушаем, затаив дыхание. Хотя он и теоретик марксизма, он сдобряет своё выступление сатирой. Это его сильная сторона, и он даёт нам её в изобилии, за счёт не только гитлеровской Германии, но и всего капиталистического мира.

В Англии и Америке, говорит нам товарищ Юдин, в массах поднимается мощная волна веры в советскую коммунистическую систему. Он цитирует Пристли, Ласки и других. Ни Черчилли, ни Рузвельты, ни их социал-демократические и лейбористские лакеи не могут её остановить. В Англии социал-фашист Клемент Эттли часто бывает в гостях у леди-фашистки Астор. Делайте выводы сами, товарищи! «Английская буржуазия понимает, что война революционизирует массы. Для неё важнее предотвратить этот ужас, чем разбить немцев. Но как это сделать? Так называемая «лейбористская партия» должна отвлекать народные массы в тем, чтобы не дать им взять власть под руководством Британской коммунистической партии и Коммунистического Интернационала».

Таким образом, по мнению товарища Юдина, кажущаяся борьба между Черчиллем и лейбористской оппозицией — это просто бой с тенью. Обе группы работают вместе, чтобы сдержать пролетариат, и обе готовы петь «Боже, храни короля».

«Что касается их отношения к России, — заявляет он, — лидеры лейбористов любят нас примерно так же, как мы любим Германию».

Эта шутка вызывает смех и разрозненные аплодисменты. Выпады в адрес лейбористов и других подобных мнимых «демократов» — это всегда хороший прием на собрании партии. Затем Турция и Япония становятся объектом критики товарища Юдина. Мы знаем, кричит он, что Мацуоко – человек, которого почтил товарищ Сталин, проводив на вокзале, – подталкивал своего микадо к войне с СССР, когда немцы рвались к Москве, до Перл-Харбора. Япония и её Мацуоко получат по заслугам после того, как мы разберёмся с фашистскими хищниками!

«В Турции генерал Эркилет и банда визжащих журналистов – с молчаливого одобрения правительства, конечно, – развязывают дикую антисоветскую кампанию. День расплаты с этими добрыми, милыми соседями у нас настанет, будьте уверены...

«А теперь я перехожу к Америке, товарищи. Там политика президента Рузвельта подыгрывать коммунизму, пока это выгодно, вызвала сильное сопротивление, что вполне естественно в величайшем оплоте капитализма. Оппозицию возглавляют бывший президент Герберт Гувер и некоторые реакционные сенаторы и другие люди, нанятые Морганом, Рокфеллером и Дюпоном, поддерживаемые фашистской и полуфашистской прессой Херста, Маккормика и других, а также большой группой продажных журналистов.

«Как бы смешно это ни звучало для нас, эти люди считают, что Рузвельт продался Советскому Союзу и большевизму. Они не понимают, что Рузвельт, как и Эттли, представляет собой последний форпост против неизбежного установления коммунизма во всем мире. Они не понимают, что дружба Рузвельта с Советским Союзом — это всего лишь брак по расчёту. Мы ненавидим капитализм так же сильно, как они ненавидят нас. Мы никогда, никогда не отступим от задач, поставленных перед нами и перед историей Лениным и Сталиным, установить коммунизм во всем мире!»

Громкие одобрительные аплодисменты подтверждают, что если американцы этого не понимают, то, по крайней мере, мы понимаем.

«Товарищи, — подытоживает товарищ Юдин, — наше сотрудничество с капиталистическими странами не должно порождать иллюзий. Мы должны твердо придерживаться основ марксизма.

«Существуют два мира. Время от времени можно перекинуть мост через пропасть, разделяющую их, как мы это сделали в этой войне. Но мы знаем, что мост рано или поздно должен рухнуть. Два мира — капитализм и коммунизм — не могут вечно существовать бок о бок. Вопрос: кто кого? — кто кого победит? — остается главным вопросом, как сейчас, так и всегда. Это главная задача будущего.

«Пока мы, коммунисты, живем в капиталистическом окружении, мы в опасности, товарищи. Никогда не забывайте об этом. Не впадайте в заблуждение, полагаясь на ленд-лиз. Это сделка по расчету. Не преувеличивайте новую и противоестественную «дружбу» с капиталистами. Всегда помните, что мы, члены партии, являемся солдатами Ленина и Сталина и умеем судить о сущности капитализма».

Когда товарищ Юдин заканчивает, мы все встаём и поём «Интернационал».

Какой бы непонятный смысл ни несли «отступления» от коммунистической доктрины, мы, на высших уровнях коммунистической веры, знаем, что это лишь временные уступки. Это изменения в формах международного коммунистического движения, а не в его сути – только дураки думают, что это означает отказ от коммунизма во всем мире.

Духовно подкрепившись, мы возвращаемся в свои кабинеты. Но «большие люди» – Юдин, Памфилов и ещё некоторые другие – отправляются в буфет, чтобы подкрепиться материально. С большим удовольствием они поглощают американские ленд-лизовские деликатесы, продолжая обсуждать тему собрания и предвкушая падение капиталистического мира.

В другой раз лектором был Владимир Потёмкин, известный советский дипломат. Его взгляды, разумеется, совпадали с взглядами Юдина – ни у кого в Советской России, конечно, нет личного мнения; каждый приукрашивает или повторяет предписанную «партийную линию». Но Потёмкин, как специалист по международным делам, был более откровенен в отношении будущего различных европейских стран. Его «мнение», как и мнения всех выступавших в Центральном Комитете, отражали воззрения партии.

Эти эксперты подчеркивали, что идеологически мы должны временно отступить на подготовленные позиции с тем только, чтобы создать новые условия для новых успехов. Они считали неизбежным, что коммунисты войдут в правительства побеждённых и освобождённых стран после одержания победы. Для этого революционные резервы и кадры должны быть сохранены и расширены. Капитализм будет атакован сверху, через его собственные правительства, и снизу, посредством массовых действий.

Самый возмутительный из компромиссов, вызванных войной, был связан с православием. Церкви было рекомендовано написать и было разрешено опубликовать книгу под названием «Правда о религии в СССР», в которой православные священники говорили о примирение с советской большевистской системой. Хотя мало кто из нас, коммунистов, придавал этой книге большое значение, мы слышали, что она произвела сенсацию за рубежом. Чтобы направить наши мысли в нужное русло по этому щекотливому вопросу, Миронов созвал партийных активистов к себе в кабинет.

«Товарищи, — сказал он, — нам пришлось временно пойти на некоторые уступки верующим, особенно учитывая то, что многие красноармейцы — выходцы из отсталых деревень, где религия всё ещё имеет значительное влияние. Кроме того, враг использует наши антирелигиозные настроения в своих пропагандистских целях, а улучшение отношений с Православной Русской церковью выбивает у него почву из-под ног. Есть ещё одно важное соображение: наши армии вскоре двинутся в славянские страны, которые не получили коммунистического воспитания. Какую пользу принесёт Панславянский комитет в Москве, если мы продолжим старую политику в отношении церкви? Наша новая религиозная политика будет ценна для разгрома антисоветской пропаганды римско-католической, лютеранской и других религиозных групп. Поэтому не стоит недооценивать мудрости действий нашей партии.

«В последующий период мы должны взглянуть на проблему шире. У нас есть шанс приблизить к СССР церкви в других странах и сделать Москву Третьим Римом».

«Но, товарищ Миронов, — заговорил один из присутствующих, — нет ли опасности, что новое поколение, которое когда-нибудь заступит наше место, может быть испорчено религиозными суевериями?»

«Не беспокойтесь на этот счёт, — ответил он, хитро улыбаясь. — В СССР нет ни почвы, ни соков, которыми могла бы питаться религия. Ведь вся пресса, театр, радио, кино, школа, литература, – все это находится под полным контролем партии. Всем ясно, что молодой человек с религиозными наклонностями не сможет сделать карьеру и добиться успеха в жизни. Если он не на нашей стороне духовно и политически, ему нет места в нашем обществе. В этом наше самое большое преимущество.

«Помните что, Церковь отделена от государства, а школы находятся в руках государства. Коммунисты, можете быть уверены, будут сильнее попов. Неужели мы настолько идиоты, что уступим новое молодое поколение попам?»

Нам всем стало ясно, что это очередная тактическая уловка партии, и ее временное использование внутри страны и за рубежом. Нам также было ясно, что, обсуждая публично эти вопросы с «народом», мы должны представлять поворот в политике как подлинный, искренний и постоянный.

«Менее развитые члены партии, – предупредил нас Миронов, – могут быть не в состоянии понять всего, о чём идёт речь. Следует проявлять большую осторожность, разговаривая с ними на эту тему.»

Когда в мае 1943 года Коммунистический Интернационал был якобы упразднён, я уже не работал в Совнаркоме. Но объяснения, данные нам коммунистическими шишками на закрытых заседаниях, соответствовали тому, что нам говорили такие люди, как Юдин и Потёмкин. Нам дали понять, что эта всемирная коммунистическая организация была ликвидирована лишь формально. На самом деле, аппарат, личный состав и целостность Интернационала должны быть укреплены теперь, когда ему придётся действовать неофициально.

«Во всём мире, товарищи, наши силы готовятся к борьбе – и к победе мировой революции».

В шумихе вокруг предполагаемого роспуска Интернационала было совершенно забыто, что учебник товарища Сталина «Вопросы ленинизма» оставался главным руководством в вопросах коммунистической доктрины. И в этой книге товарищ Сталин не оставляет никаких сомнений в том, что «победоносный пролетариат» – подразумевая СССР – имеет не только право, но и священную обязанность применять вооруженную силу для совершения революции в других странах, когда представится такая возможность. Установившийся революционный режим, заявляет Сталин, должен оказывать помощь остальному миру, «выступая, когда это необходимо, даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств».

Официальная сталинская «История партии» также оставалась в силе и циркулирует сегодня везде, где есть последователи и симпатизанты Сталина. Она достаточно недвусмысленна. «Всесоюзная Советская Коммунистическая партия, — говорится в преамбуле к этой книге, — руководствовалась и руководствуется революционным учением марксизма-ленинизма... Изучение истории партии укрепляет веру в конечную победу великого дела Ленина и Сталина, в установление коммунизма во всем мире».

Поскольку эти мнения никогда не опровергались сталинцами, то возникает вопрос о том, что могло бы произойти, если бы советское государство Сталина, а не Соединенные Штаты, первым разработало атомную бомбу! Это не надуманное предположение. Советские ученые и инженеры работали

преданно на благо коммунистического режима, способствуя достижению его победы. Они помогли преодолеть дефицит во многих областях, производя новые стратегические материалы, и дали своей стране преимущество в некоторых новых видах оружия. Атомные исследования активно продвигались под личным руководством Сталина. Ближе к концу 1942 года до нас дошел слух, что Сталин беседовал с главой Академии наук, профессором Комаровым, и директором Физического института , академиком Капицей, на специальной встрече, посвященной атомной энергии.

Советская разведка старалась изо всех сил, чтобы заполучить секреты атомной бомбы в других странах. На сессии Академии наук, состоявшейся в декабре 1942 года в Свердловске, много говорили о прогрессе в добыче редких металлов, включая уран. В советских кругах хвастались, что Капица достиг поразительных результатов в своей работе по расщеплению атома.

Если бы Советский Союз обладал атомной бомбой раньше, чем ведущая демократия в мире, то стал бы Сталин использовать её для осуществления мировой революции того сорта, который он предпочитал? Мой ответ — лишь личное мнение. Но оно основано на многолетнем знании менталитета большевизма, его идеологии и его полным пренебрежением любых моральных принципов. Этот ответ — *Да*.

В то самое время, когда было объявлено о предполагаемом роспуске Коммунистического Интернационала, что доставило радость сердцам более наивных буржуазных союзников, я случайно посетил книжный склад «Международной Книги», организации, издававшей коммунистическую пропагандистскую литературу на иностранных языках. Там я увидел огромные тюки свежеотпечатанной партийной литературы для распространения в странах, в которые собиралась вторгнуться Красная Армия. Теоретически, Интернационал был мертв; на деле же, Центральный Комитет Коммунистической партии спешно готовился к идеологическому завоеванию Европы наряду с военным завоеванием. Личный состав «упраздненного» Интернационала лихорадочно реорганизовывался для предстоящих грандиозных задач в Германии, Франции, Польше, Венгрии, Италии и других странах. Ожидаемое завоевание Европы будет достигнуто мощным сочетанием веры и силы.

В это самое время, в сердце Москвы, в ряде зданий из красного кирпича недалеко от Кузнецкого моста, особо отобранные чекисты проходили интенсивную подготовку для работы за границей, на освобожденных советских территориях и в странах несоветского пространства. Это были отборные силы НКВД. Партия готовила их к исторической задаче «чистки» населения, находившегося под фашистской оккупацией и ее влиянием – а в лексиконе НКВД, слово «чистка» имеет устрашающее значение «убивать».

Эти специально обученные чекистские контингенты сопровождали Красную Армию и войска НКВД в победном наступлении на Запад. Обычно они скрывали свою чекистскую принадлежность, надевая армейские знаки отличия вместо малиновой эмблемы НКВД. Они были подготовлены к чудовищному и кровавому делу ликвидации тех советских граждан, миллионов их, которые могли считаться «нежелательными» после их временного пребывания на территориях вне советского контроля. «Преданность советской власти» бесчисленных миллионов, оказавшихся под немецкой оккупацией, должна была измеряться жестокими мерками НКВД. В этом советском царстве террора, по обвинению в сотрудничестве с фашистами, тысячи будут убиты, сотни тысяч отправлены на каторжные работы в концлагеря. Невыразимые ужасы и страдания будут причинены этими убийцами населению Воронежа, Ростова, Смоленска и многих других регионов, по мере отступления немецких войск.

Мужчин, женщин и даже детей, которые работали у немцев, чтобы заработать себе на хлеб, арестовывали и расстреливали без всякой видимости расследования, не говоря уже о суде. Огромные армии несчастных русских людей были загнаны в вагоны для скота и отправлены в тыл в СССР, на рабский труд в концентрационных лагерях и колониях. Общее число этих депортированных, пополнивших контингенты принудительного труда, без сомнения, достигло многих миллионов к моменту окончания войны. Такая же «чистка» происходила, конечно же, и на несоветских землях за рубежом, куда приходила Красная Армия.

Масслвые репрессии и убийства, коммунисты оправдывали тем что, как это считали в НКВД, переход на сторону немцев достигал гигантских масштабов. С характерным для нее пренебрежением к человеческой жизни, советская власть считала своим врагом всякого, кто произнес хотя бы одно

неосторожное слово против сталинской тирании, выразил хотя бы одно сомнение в советском коммунизме, навязанном Кремлем.

Правда требует, чтобы мы признали неоспоримый факт: на миллионы моих соотечественников после немецкой оккупации снова были надеты цепи советского рабства.

4

Я досконально ознакомился с системой и организацией нашего советского правительства; с механизмом управления, как он функционировал фактически, и который имел мало общего с механизмом, предписанным на бумаге, в законах и советской Конституции. Эта реальность скрыта, как в глубокой яме, не только от иностранцев, но и от нашего собственного народа. Чтобы передать эту реальность, потребуется целый трактат о советской власти. Здесь же я должен довольствоваться констатацией того бесспорного факта, что политическое и хозяйственное управление в СССР, советское, представительное по форме, по сути является партийным делом. И Совет Народных Комиссаров, и Верховный Совет являются всего лишь организационным продолжением Центрального Комитета партии и Политбюро.

Поскольку моя должность была теперь так близка к вершине власти, я слышал много того, что можно было бы назвать информацией для посвященных высшей степени. Там, где пресса полностью контролируется, существует готовый рынок для устных новостей.

В Москве слухи распространялись, вероятно, быстрее, чем где-либо ещё в мире, хотя бы потому, что не было механизма для их пресечения и опровержения. Опровержения только укрепляли их. Необычная информация, особенно если она была с пикантным оттенком и слегка противозаконна, высоко ценилась и ею делились только с самыми достойными друзьями.

Ссора между высшими коммунистическими руководителями, возвышение одного чиновника и унижение другого, дела в Секретариате Сталина, пикантное замечание самого тирана — вот материал для жадных обсуждений. Я узнал, что Каганович и Андреев, оба члены Политбюро, ненавидели друг друга и постоянно интриговали друг против друга за благосклонность Сталина; что Микоян и Молотов боролись за

привилегированное положение любимцев в глазах своего Хозяина; что поднимающийся фаворит Вознесенский и старый фаворит Каганович постоянно враждовали между собой – например, что Вознесенский отнесся к Кагановичу с пренебрежением на официальном заседании; что Мехлис, начальник Политуправления Красной Армии, был тихо переведен на другую должность в пропагандистских целях, потому что был еврей; что любимый сын Сталина, Василий, постоянно попадал в неприятности из-за неумеренного пьянства, дебошей и безрассудной езды на автомобиле.

Незадолго до отъезда в Мексику на пост посла, ныне покойный Константин Уманский, ранее наш посол в Вашингтоне, пережил личную трагедию. Его юная дочь имела связь с таким же юным сыном Шахурина, наркома авиационной промышленности. Однажды ночью между ними произошла ссора на почве ревности, и молодой человек убил дочь Уманского из револьвера своего отца. Высшие московские чиновники много говорили об этом преступлении, но ни одно слов о нем не просочилось в советскую прессу.

Однако самой волнующей темой неофициальных разговоров был сам Сталин. Каждое его слов или замечание тщательно обдумывалось и анализировалось. Его симпатии и антипатии, состояние здоровья, привычки и слабости вызывали больше интереса у партийных придворных, чем ход войны или судьба мировой революции. Я узнал, что Сталин люит играть в бильярд и шахматы и, как утверждали его придворные, он может обыграть любого чемпиона по бильярду или шахматам. Любимыми винами Хозяина, как мне сообщили тоном, достойным таких государственных тайн, были «Кахетинское» и «Кагор», оба кавказских марок. Заключив пакт Риббентропа-Молотова, он, как сообщалось, хранил молчание, пока последствия пакта обсуждались в Политбюро. В конце концов, он изрек: «Вкус кушания не гарантирую, но оно будет острым!» Иногда, когда кто-нибудь выступал слишком долго, он говорил: «Переверни гуся, а то он пережарится!» Или, когда говорящий долго не мог перейти к сути, он мог сказать: «Ты мычишь, как рожающая корова, а где же телёнок?»

На заседании Центрального Комитета Сталин, обращаясь к своим подельникам, сказал: «Если ваша работа немедленно не улучшится, мы вас высечем» – и, выдержав паузу, чтобы угроза была усвоена, – «не буквально, но мы вас высечем. Вот и всё».

Говорят, что Сталин любил музыку, но его вкусы не отличались тонкостью, а его понимание музыки было ограниченным. Это, конечно, не мешало ему решать музыкальные проблемы и оценивать музыкальные произведения. История о том, как он на какое-то время подверг молодого Шостаковича опале, хорошо известна. Менее известен эпизод с молодым композитором Тихоном Хренниковым. Его опера «В буре» была восторженно встречена советскими музыкальными критиками. Затем Вождь увидел постановку и сказал, что она ему не нравится. Критики тут же изменили своё мнение на противоположное. Оперу сняли с репертуара, и с тех пор её больше никто не слышал. Есть одно предание о Сталине, в которое я никогда вполне не верил, пока не узнал о нем от людей из его близкого окружения. Оно заключается в том, что, принимая важные решения, Сталин советовался с мёртвым Лениным в гранитном Мавзолее на Красной площади. Согласно этой легенде, он проводил часы наедине с мумией в мавзолее. Один высокопоставленный чекист сказал мне однажды:

«Я сам не верю в оккультизм, но это правда: когда фашисты были у ворот Москвы, как раз перед тем, как мумия Ленина было тайно вывезена за Урал, Сталин оставался наедине с мумией несколько часов».

В высших коммунистических кругах существовало убеждение, что Сталин глубоко суеверен и меняет планы, если «знаки» были неблагоприятными. Возможно, в отличие от всех деспотов, тиранов, и преуспевших политиков, он, по сути, одинокий волк, всегда скрывавший детали своей личной жизни и склонный к длительным периодам уединения. Он редко и неохотно посещает большие собрания, – лишь только когда того требует политическая необходимость, и в такие моменты у него хватает таланта притворства вести себя как «свой в доску парень».

Те, кто знал его давно и близко, говоря о Хозяине, сходились во мнении, что он был «крутым парнем», верящим только в силу и хитрость, которую он считал разновидностью силы. Сталин чрезвычайно мстителен и злопамятен, и никогда не забывает и не прощает обид. Когда он, казалось бы, уступает в ходе конфликта, это только для того, чтобы улучшить свою позицию для нового нападения с тыла. Кроме того, Сталин имел обыкновение окружать себя людьми того же склада – властными, беспощадными, лишенными чести и совести.

В глубине души, конечно, Сталин – одинокий человек и знает это. Казалось, что он ощущал патологическую потребность убить почти всех своих ближайших соратников – даже таких, как Авель Енукидзе, с которым он вырос и которого он долгое время считал своим самым близким другом.

Говорят, что среди фаворитов, особо приближенных к Хозяину в последние годы были Микоян, Ворошилов, Берия и Молотов.

Сталин никому не доверяет вполне и всех подозревает, даже людей, находящихся в данный момент у него в милости. Нет никаких сомнений в том, что он считает каждого из них, если и не строящего сейчас заговор против него, то во всяком случае потенциальным заговорщиком. Такова была моя инсайдерская, внутренняя информация.

Склонность Сталина к уединению и его нелюбовь к публичным выступлениям, как полагало большинство из нас, не обязательно были связаны с его непривлекательной внешностью. Придворные художники и фотографы, сделавшие миллионы изображений этого человека, умели ретушировать, скрасить и скрывать тот факт, что он был невысокий, приземистый, и с брюшком; что цвет его лица более тёмный, более азиатский, и сам он выглядит гораздо более азиатом , нежели думает большинство людей; что его лицо испещрено оспой, левая рука искривлена; зубы кривые, неровные и полусгнившие. Если физические недостатки привели Сталина к комплексу неполноценности, то это может объяснить, почему он глотает византийскую лесть, от которой нормальный желудок бы вывернулся.

Это также может помочь объяснить то, что многие факты его ранней жизни, до революции, были подделаны, чтобы сделать их более гламурными. Например, досье на Сталина в архивах царской полиции часто упоминает, что он был бухгалтером; я лично видел такие документы. По сей день он обладает склонностью к работе с цифрами и статистическими отчетами. Тем не менее, этот скромный и ни в коем случае не дискредитирующий его факт никогда не был обнародован в советское время.

Нам было известно о склонности Сталина предпочитать кавказцев, то есть грузин и армян, перед русскими. Говорили, что он доверял им больше и понимал их лучше, чем русских, с которыми в конце концов у него не было ничего общего ни по расе, ни по менталитету, ни по первоначальному

образованию. Кавказцы составляют лишь незначительную часть всего советского населения, но они вездесущи при советской власти. Берия, до недавнего времени, был глава страшного НКВД и советских концлагерей; Микоян был глава всей внешней и внутренней советской торговли; Погосян и Кавтарадзе были главными помощниками Молотова; наркомы Акопов и Тевосян, заместители наркомов Дадян и Арутюнов, и сотни других — все грузины или армяне.

С приближением 7 ноября 1942, мысли всех в нашем учреждении обратились к празднику. Годовщину революции собирались отметить с размахом, несмотря на бедствия на фронте, вопреки всем бедствиям. Как обычно, ожидалось, что правительство выдаст щедрые специальные пайки в честь этого события, и в этом году перспектива что-нибудь хорошо поесть, естественно, отодвинула на второй план большинство других интересов.

Кабинеты были украшены, полы натерты, повсюду были вывешены предписанные к празднику соответсвующие лозунги. Настроение ожидания царило в нашем учреждении. Памфилов смягчил свои оскорбления в адрес подчиненных, и каждый из нас, в свою очередь, смягчил свои оскорбления в адрес своих подчиненных. 6 ноября низшие служащие, включая уборщиц, полотеров и посыльных, пришли на работу с большими хозяйственными сумками. Такие сумки были стандартным снаряжением советского гражданина; их можно было сложить и положить в задний карман в ожидании любой неожиданной удачи.

Наконец, радостная новость была объявлена. В честь годовщины, в знак глубокой привязанности Сталина к своим подданным, каждый сотрудник Совнаркома получал один килограмм белого хлеба, пять килограммов картофеля и один килограм меда. Радость была настолько сильной, что невозможно было работать. Щедрость подарков, конечно, свидетельствовала о влиянии Памфилова. Картофель будет хорошим обедом для всей семьи, а мёд был ценнее золота для людей, давно не вкушавших сладкого.

«Эх, картошечка ты моя, душечка моя...» — всё утро напевал худой, седовласый Иванов, полотер. Он казался уже не тем скромным человечком, каким мы его видели, катающего деревянные бруски по нашему прекрасному паркетному полу. Ему выпала честь взвешивать картофель, и он расцвёл и казалось стал больше ростом под тяжестью этой ответственности.

Оказалось, что под скромной внешностью исхудавшего Иванова скрывался другой человек — смелый, властный, все знающий. Теперь этот другой внутренний человек проявился и руководил раздачей картофеля, отвешивая по пять килограммов без страха и предубеждения. В такой день, что значил Памфилов в сравнении с Ивановым, богом картошки?

«Андрюша, дорогой, — умоляла его пожилая машинистка, — у меня дома три рта. Больше пяти килограммов я не прошу. Но хотя бы не так много мерзлой картошки...»

Но новый Иванов был неуязвим для либеральной сентиментальности. Теперь он был неумолимым сталинцем.

«Всего поровну», — заявил он. «Каждому достаётся и мороженная, и хорошая... если есть хорошая. А теперь, проходите, гражданка. Следующий!»

Однодневная слава Иванова, увы, закончилась слезами, проклятиями и скандалом. Пострадавшие заявляли, что этому идиоту следует продолжать мыть полы, а не доверять взвешивать драгоценные продукты. Сам Иванов настаивал, что картофеля просто не хватило на всех по пятикилограммовой норме. Как бы то ни было, факт заключался в том, что запасы картофеля, как хорошего, так и мерзлого внезапно иссякли, когда около двадцати человек всё ещё стояли в очереди за своим драгоценным подарком...

Чиновничьему сословию повезло гораздо больше. Мы получили щедрые продуктовые наборы, градуированные в соответствии с нашим положением на советской социальной лестнице. Кроме того, нам выдали специальные талоны, которые при обмене в указанном «закрытом магазине» давали две бутылки портвейна и бутылку водки.

В Кремле проходил ежегодный сталинский приём. Конечно, были приглашены только самые важные и влиятельные персоны. Приглашение присутствовать было более высокой честью, чем быть посвящённым в рыцари королём. Список приглашенных изучался в НКВД, и каждый гость проходил там собеседование за несколько недель до мероприятия. Я наблюдал за этим процессом в Совнаркоме. Я видел, с какой глубочайшей тщательностью Памфилов составлял список наркомов и помощников наркомов, удостоившихся такой высшей чести. Я видел, как, отобрав достойных, он отправлял список их имен в НКВД для проверки и утверждения.

Но и в Совнаркоме у нас был праздничный обед. Не было недостатка в помпезности, цветах, лозунгах на транспарантах, музыке. В большом зале для высшего слоя чиновников были накрыты столы. Поскольку еды и питья было в изобилии, мы смирились с неизбежностью речи партийного деятеля: приходилось сочетать необходимое с приятным. При каждом упоминании имени Сталина, нам всем полагалось встать и громко восклицать «ура», что приятно разбавляло речь и делало ее немного менее утомительной.

Когда ритуальная речь наконец закончилась, мы все принялись за дело. Горы тарелок были быстро сметены бурей праздничного аппетита. Затем последовали тосты: сначала, конечно же, за Любимого Вождя, затем за любимых вождей второго порядка: Молотова, Микояна и т. д., каждого по очереди, вплоть до Памфилова. Товарищ Миронов затянул знакомую песню и мы все ее подхватили:

Споём, товарищи, песню,

О величайшем из людей,

О величайшем и самом любимом.

О Сталине споём песню.

5

В течение некоторого времени я использовал свои связи, чтобы получить самую вожделенную награду, имеющуюся в распоряжении всемогущего правительства: отдельную квартиру. Наконец мне это удалось.

Широкое, прямое Можайское шоссе – лучше всего асфальтированная и самая ухоженная дорога во всей России, ведь именно она ведёт к загородной даче Сталина и к загородным дачам многих членов Политбюро, работающих в столице. Естественно, она находится под неусыпным наблюдением и инспекцией, чтобы обезопасить жизнь Любимого Вождя.

Энкавэдэвцы в кожаных куртках патрулируют здесь на мотоциклах. Вдоль этой дороги там, где она выходит на городскую окраину, было построено несколько прекрасных современных зданий. В одном из них, по ходатайству Совнаркома, мне наконец-то выделили квартиру: две комнаты и кухня – немыслимая роскошь по московским жилищным условиям. В квартире была отдельная ванная, центральное отопление, современное освещение и

другие прелести. Окна выходили на задний двор, а не на знаменитую дорогу, но это был небольшой недостаток.

Вооружённый ордером на заселение, совнаркомовским удостоверением, партийным билетом и своим паспортом, я явился в кабинет управдома. Управдом (важная фигура в жизни каждого советского гражданина) оказался приятным человеком, привыкшим иметь дело с высокопоставленными лицами. В официальной статистике это были «дома для рабочих», но фактически в них могли вселиться только чиновники, обладающие достаточным политическим весом, и то лишь до тех пор, пока они были в фаворе у высших властей.

«Виктор Андреевич, — сказал управдом, — кажется, всё в порядке. Теперь вы должны явиться к помощнику начальника НКВД нашего района, а затем вернуться сюда. Это формальность».

«Но при чём тут НКВД? Разве этих документов недостаточно?»

«Лично для меня они достаточны, но это правительственная дорога. Члены Политбюро проезжают здесь каждый день. Это придаёт домам вдоль дороги особый характер, так сказать».

Я понял его. Хотя мои окна не выходили на дорогу, мне не разрешили бы жить на Можайском шоссе, пока НКВД не постановит, что моё присутствие не представляет угрозы безопасности Сталина! Я обратился к соответствующему чекисту НКВД, ответил на привычный ряд вопросов и получил необходимое разрешение.

Но мне не суждено было занять эту квартиру. Это было новое строение, ещё не готовое к заселению. Проблема обустройства комнат также поглощала время. Тем временем появился шанс на командировку за границу – счастливый шанс, на который я осмеливался смотреть только в оптимистических мечтах, смешанных с болью. Пока этот вопрос не будет решён окончательно, переезжать не имело смысла.

Расширяющиеся операции по ленд-лизу потребовали отправки сотен специалистов всех отраслей промышленности в Англию, Канаду и особенно в Соединённые Штаты. Большему числу советских людей была предоставлена возможность познакомиться с внешним миром, в первый раз в советской истории. Как инженер-металлург с разносторонним опытом, я подходил для

такого назначения. Моя политическая репутация, по крайней мере формально, была безупречна, несмотря на хождения по мукам во время чисток. Тем не менее, было бы плохой стратегией, и фактически почти невозможностью, взять на себя инициативу в этом вопросе. Чем сильнее вы стремились уехать за границу, тем тщательнее вы должны скрывать это стремление, чтобы оно не было неправильно понято – или же наоборот, правильно – надзирателями за нашими советскими мыслями и чувствами.

Однажды вечером я обсуждал ситуацию с ленд-лизом с чиновником, занимавшим некоторое положение в нашей системе внешней торговли, с которым у меня были самые дружеские отношения. Осторожно как умел, я вел разговор. Я не осмеливался прямо предположить, что здесь, перед ним, сидит человек, способный помочь за рубежом; но мне удалось заронить в нем эту счастливую мысль. Ему она показалось спонтанным вдохновением.

«Виктор Андреевич, как бы вы отнеслись к поездке в Америку?» — вдруг спросил он. Я знаю, что там нам нужны люди».

«Ну, я никогда об этом не думал. К тому же, как вы знаете, я занимаю очень ответственную должность здесь, в Совнаркоме. И всё же, если бы я мог быть полезен для военных нужд...»

Мой друг не был простаком. Моя скромность его не обманула.

«Я посмотрю», — сказал он мне. «Можете рассчитывать на меня, что я передам это предложение в нужное место».

Я поблагодарил его, не думая, что он действительно сдержит слово, не смея поверить, что его предложение сработает. Это было в конце декабря 1942 года. Примерно через две недели Памфилов вызвал меня для личной беседы. На мгновение я с волнением подумал, что это может быть как-то связано с американской мечтой. Но я ошибался.

Памфилов сказал, что хочет посоветоваться со мной по одной проблеме, свалившейся ему на голову. Существовала группа металлургических заводов разных типов, работающих под началом организации под названием «Главметалл». Эти заводы находились в Челябинске, Новосибирске, Молотове, на Северном Кавказе и в других местах, – но управлялись как единое целое из московского штаба. Их работа была в плачевном состоянии,

объяснил Памфилов, и требовалась твердая рука, чтобы наладить их деятельность.

«Мне нужен ответственный человек, которого я знаю и которому доверяю», — сказал он. «Думаю, что вы — тот самый человек. Я хочу, чтобы вы понимали, что это ни в коем случае не понижение в должности. Когда вы наведете порядок в этом хаосе, я верну вас в Совнарком. Что скажете?»

Я ответил согласием небрежно, даже немного разочарованно. На самом деле я был рад. Вряд ли руководителя отдела в Совнаркоме сочтут пригодным для работы за границей. Но как сотрудник Главметалла, мои шансы на освобождение значительно возрастут...

Администрация Главметалла располагалась в длинном невысоком здании, образовавшем одну из стен Красной площади, прямо напротив Кремля: приземистое строение, знакомое любому, кто когда-либо видел кадры с этой площади в кинохронике. Здесь меня разместили в кабинете и обеспечили штатом сотрудников. Находясь в постоянном личном и телефонном контакте с директорами заводов во многих частях России, я вел дела организации.

Мои рабочие часы уже не были такими убийственно долгими, как раньше. Я начал наверстывать потерянный сон. Я мог больше видеть жизнь Москвы и друзей, которыми я пренебрегал при мучительном режиме работы в Совнаркоме. Возможно, это было предчувствие, что у меня осталось мало времени, чтобы насладиться знакомыми вещами и близкими мне людьми; почему-то мне хотелось втиснуть как можно больше в каждую прошедшую неделю.

Я наблюдал за Сталинградской битвой и, как советский гражданин, страстно желал советской победы. В то же время – таково искажение жизненной перспективы – я следил за результатами расследования, которые определят, покину ли я СССР или нет.

ГЛАВА XXVI

ПРЕЛЮДИЯ К АМЕРИКЕ

План моего отъезда в Соединенные Штаты начал обретать реальность в январе 1943 года, а паспорт для поездки был фактически выдан в июле того

же года. В течение этих шести месяцев я чувствовал себя неким редкостным жуком, насаженном на булавку в огромной лаборатории, где легионы энтомологов, зоологов, химиков и других ученых изучали образчик со всех возможных сторон. Меня тыкали и ощупывали в поисках скрытых недостатков. Вся энергия всемогущего советского государства, казалось, была сосредоточена на одной задаче: исследовании моей скромной персоны и ее продолжения во времени и пространстве через родственников по крови, родственников по браку, знакомых и друзей всех степеней.

Наше государство было цинично в своём бесконечном недоверии к своим подданным. Неделю за неделей, опытными пальцами, оно ощупывало мой разум и нервы в поисках комбинации, которая раскроет самые сокровенные тайны моей души. И, что удивительно, его обширные поиски ни к чему не привели. Моя трепетная тайна – решение бежать из СССР – оставалась закрытой, незамеченной.

Великое исследование ума и души Виктора Кравченко, сына русского народа, члена Коммунистической партии и советского инженера, началось в кабинете отдела кадров Наркомата внешней торговли. Товарищ Штуб, неприметный маленький чиновник в толстых очках, был вежливо безликим. Для него один жук был похож на всякого другого; его работа заключалась просто в каталогизации насекомых. Более тонкие различия будут определены и изучены позже более специализированными энтомологами. Товарищ Штуб пробежался по моей личной биографии от рождения до текущего дня, затем веером рассмотрел биографии моих родителей, дедушек и бабушек, братьев и родственников во вторичных ветвях генеалогического древа. Кровные родственники были расставлены по местам, супружеские связи были прослежены до мельчайших подробностей, и, наконец, схема моего скромного, но шокирующе обширного существования была заполнена вопросами о друзьях и профессиональных коллегах на протяжении многих лет.

Я проходил через этот автобиографический лабиринт десятки раз в прошлом. Каждый эпизод в моей жизни фиксировался бесконечное число раз партией, тайными службами, различными комиссариатами, не говоря уже об обычных и чрезвычайных чистках. К тому же, какое обстоятельство в моём прошлом было настолько незначительным, чтобы не найти себе места в пухлых архивах НКВД?

Но ритуал нельзя было сократить, не говоря уже о том, чтобы его пропустить. Товарищ Штуб исходил из предположения, что это первое знакомство правительства с одним из его подданных. Он даже проверил моё имя, отчество и возраст. Это периодическое духовное раздевание русского человека до полной наготы, это открывание самых интимных сторон его личности, это выворачивание наизнанку его политических мыслей и взглядов приобрело с годами символическое значение. Это было церемониальное принижение индивида ради возвеличивания коллективной массы. Советский человек должен быть кротким и покорным, раболепствующим и униженным в своей наготе перед могущественным коммунистическим государством. Хранить тайну, тянуться за фиговым листком для сокрытия было святотатством.

И это был обряд, полный опасностей. Ответы должны были быть внутренне последовательными и соответствовать ответам, данным в предыдущих допросах, анкетах, формах и беседах. Коммунистическое полицейское государство не терпело никаких уловок или путаницы. Оплошность, незначительное противоречие в ответах немедленно вызывали его подозрительность и гнев. Многие советские граждане погубили свою карьеру из-за ошибки в датах или какой-нибудь путаницы по рассеянности в родственных связях.

Убедившись, что тетя моей невестки, Вера, с которой я не был знаком лично, не представляет угрозы для Союза Советских Социалистических Республик, близорукий товарищ Штуб предпринял следующий шаг. Он вручил мне стопку отпечатанных анкет, которые я должен заполнить к завтрашнему дню дома. Я не должен вносить никаких изменений, исправлений или зачеркиваний, предупредил он. Всякие исправления и правки указывали бы на то, что данному лицу есть что скрывать. Энтомологи настаивали на аккуратном и предписанном поведении.

Я аккуратно выполнил эти поручения. Я сдал бумаги в указанном количестве экземпляров в указанное окно. Через несколько дней я получил сообщение: «Продолжайте свою нынешнюю работу. Если возникнет необходимость отправить вас за границу, вы будете уведомлены». На советском новоязыке это означало, что меня тщательно проверяют и, если меня признают достойным, проверят еще раз.

Прошло почти три месяца. Я почти потерял надежду. Где-то, подумал я с унынием, на моем или семейном гербе обнаружилось несмываемое пятно. Но однажды холодной апрельской ночью, вернувшись домой после четырнадцати изнурительных часов в Главметале, оцепеневший от усталости, я обнаружил таинственное сообщение: я должен позвонить по определенному номеру телефона.

Таинственность тоже была частью ритуала. Она гарантировала несколько минут трепетного страха, чередующихся с надеждой, поскольку это могло означать что угодно, от проблем с тайной полицией до головокружительного повышения по службе.

Оказалось, это был всего лишь высокопоставленный чиновник из Комиссариата внешней торговли. Что было достигнуто загадочной анонимностью сообщения, я никогда не узнаю. Несмотря на поздний час, мне велели немедленно приехать. Пропуск будет ждать меня в определенном окне. Я поспешил в Комиссариат; усталость была стерта новой волной надежды.

После долгого и нервного ожидания я оказался в кабинете, где меня допрашивал более опытный и важный представитель «штубовской» породы.

Три часа мы бродили по джунглям моего прошлого, останавливаясь время от времени, чтобы покопаться в зарослях моих политических настроений и мнений. Он то вёл меня, то преследовал. Он задавал мне каверзные вопросы, чтобы запутать меня, подбрасывал ложные следы, внезапно возвращался назад, чтобы застать меня врасплох. Моим спутником был опытный старый кот, но на этот раз он играл с осторожной и опытной старой мышью. Ночные курсы обучения под руководством чекистских профессоров Гершгорна, Дорогана и других приносили свои плоды. К двум часам ночи и кот, и мышь слишком устали, чтобы продолжать игру. Мне было поручено вернуться через несколько дней, чтобы заполнить несколько особо важных форм.

Несколько дней спустя я составлял ответы на вопросы самой длинной и хитроумной анкеты, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Это был документ, настолько циничный в своих предположениях, настолько острый в своем перекрестном допросе, что все остальные анкеты казались на его фоне невинными и дилетантскими. Это был документ, исходящий из

предположения, что каждый советский гражданин — лжец, и действующий в духе презрения ко всему человеческому. К тому времени, когда я подписал свои имя и партийный номер, я был весь в поту и совершенно унижен.

Когда я сдал анкету, мне было приказано сделать следующий шаг в рамках ритуала, а именно собрать рекомендательные письма и оценки моей политической и деловой деятельности от партийных организаций, в которых я принимал активное участие, и промышленных предприятий, где я недавно работал. Правда, ни одно из этих ведомств не могло сказать ничего такого, чего бы уже не было подробно зафиксировано в НКВД посредством официальных отчетов и неофициальных источников осведомителей и доносчиков. Но священные документы обойти стороной было невозможно. Это давало многим чиновникам и организациям, с которыми мне довелось столкнуться, возможность уничтожить меня, если бы они того пожелали.

Сначала я обратился к товарищу Миронову, начальнику партийного комитета Совета народных комиссаров РСФСР. Я договорился о встрече по телефону и в назначенное время явился к входу. Мои партийные документы и внутренний паспорт были проверены, и мне был выдан пропуск. Вооружившись всем необходимым, я пересек двор к зданию, где располагался партийный комитет. Здесь мой пропуск был проверен, а мое лицо тщательно сопоставлено с фотографиями на документах. На этаже, где находился комитет, неулыбчивый охранник НКВД еще более детально изучил мои документы и черты лица, и наконец мне сказали идти в комнату 503.

Всего несколько месяцев назад я занимал важный пост в этом самом учреждении. Эта охранка видела меня сотни раз. Но никакого послабления в предписанной бдительности быть не могло; возможно, с тех пор я изменил свои политические взгляды. В коридорах я встречал мужчин и женщин, которые работали со мной и под моим руководством. Некоторые были любезны, но большинство встречали меня с подчеркнутой сдержанностью. Я больше не работал в Совнаркоме, они не знали, почему я ушел, и не желали рисковать дружеским приветствием.

Товарищ Миронов был учтив, но чопорно формален. В знак уважения к нашей прежней близости он спросил, почему я выгляжу таким худым. Честно говоря, ответил я, я недоедаю с тех пор, как покинул Совнарком.

Он довольно улыбнулся, услышав это косвенное признание того, что «его» Совнарком — привилегированное место для достойных руководителей. Да, согласился он, это военные трудности, но давайте перейдем к делу.

Пока мы занимались делом, вошла невысокая женщина в накрахмаленной шапочке и фартуке горничной, неся большой поднос с обедом. Он был полон хрустящего белого хлеба, ветчины и яиц, консервов, масла, чая с сахаром.

«Всё американское», — гордо сказал он, принимаясь за еду. «Ленд-лиз, знаете ли».

Но он не пригласил меня к участию в обеде ни на условиях ленд-лиза, ни на каких-либо других условиях. Жуя, он продолжал расспрашивать меня. Доволен ли я тем местом, где сейчас работаю? Как функционирует партийная ячейка в Главметале? Грубо, даже глупо, он формально проверял мою преданность правительству и нашему Любимому Вождю. Не то чтобы его это волновало, не то чтобы он считал меня сумасшедшим, который признается в каких-то сомнениях в советском строе, а просто из уважения к ритуальной процедуре.

«Итак, вам нужно рекомендательное письмо?» — сказал он. «Что ж, я поговорю об этом с товарищем Уткиным. Нужно все обдумать. Приходите завтра около полудня».

На следующий день я прошел через ту же процедуру многократной проверки документов, и после обычного ожидания в приемной меня допустили в официальное присутствие товарища Миронова. Мне вручили письмо, хорошее письмо, подтверждающее мои политические и деловые таланты. Судьба была на моей стороне. В последующие недели я получил аналогичные письма также от главы Главметала и секретаря его партийной организации. Мои документы читали и перечитывали, мою внешность тщательно изучали, мою политическую благонадежность проверяли сотни раз. И все это, как я знал, было лишь поверхностью, под которой велась настоящая работа по изучению моей жизни и ума соответствующими отделами НКВД.

Однако, наконец, у меня появилось доказательство того, что все идет хорошо. Я получил приказ явиться в медицинскую клинику Комиссариата внешней торговли для медицинского осмотра и к штатному фотографу Комиссариата для официальной фиксации моего лица. Два дня спустя мне

сообщили, что я должен явиться к товарищу Лебедеву, помощнику и одному из фаворитов самого комиссара Микояна.

2

Товарища Лебедева сопровождали два других помощника, которые делали записи и передавали ему различные бумаги во время нашей первой беседы. Он сидел за богато инкрустированным столом, который по какой-то причине стоял в самом центре огромной комнаты, среди пестрых восточных ковров. Сталин, Молотов, Микоян и другие коммунистические вожди смотрели сверху вниз со своих постаментов на стенах. Перед ним нарочито лежала толстая папка, очевидно, содержащая копии моих многочисленных анкет и специальных докладов из таинственных мест.

После формального приветствия товарищ Лебедев начал расспрашивать меня с самого начала: мое имя, место рождения, когда я вступил в партию. Он не мог задать вопрос, на который я не отвечал уже десятки раз, но даже помощники комиссаров должны соблюдать священные обряды. Я отвечал с энтузиазмом, словно восхищенный новизной вопросов и пораженный проницательностью их формулировки. Затем я ждал, пока он пролистает досье, читая отрывки, то улыбаясь, то хмурясь. Два помощника сидели в благообразном безмолвии. Время от времени он диктовал несколько предложений для своего отчета комиссару.

Лебедев был коренаст и приземист, с толстой шеей в складках. Его лицо можно было бы назвать приятным, даже красивым, которое не соответствовало его расхожим официальным словам и манерам.

Я решил, что он не умный человек; но как же он вообще поднялся так высоко? Затем мой взгляд остановился на его руках, их пухлые короткие пальцы были покрыты густым чёрным мохом. Я подумал, что это были жестокие руки, способные на насилие.

«Товарищ Кравченко, — наконец торжественно произнёс он, — вы понимаете серьёзность задания за границей?»

«О да, я много думал об этом».

«Вы должны оправдать доверие, которое партия вам оказывает».

«Я постараюсь, товарищ Лебедев, — смиренно и с большим чувством сказал я.

«Вам сообщат о том, что будет дальше. Надеюсь, мы скоро снова встретимся».

Пять дней спустя я по секрету узнал от друга в Комиссариате, что Анастас Иванович Микоян, член Политбюро, заместитель председателя Совета народных комиссаров, член Комитета государственной обороны, народный комиссар внешней торговли, собственноручно подписал рекомендацию Центральному комитету Партии для моей отправки в Соединенные Штаты Америки. Я продолжал заниматься своими делами в Главметале, но мои мысли были уже далеко.

Вскоре мне передали сообщение из Секретного отдела Центрального управления нашего треста: мне нужно было позвонить по определенному номеру. И снова таинственность оказалась совершенно излишней, поскольку это была всего лишь женщина-служащая из Комиссариата, которая попросила меня явиться в одиннадцать тридцать следующего утра.

«Принесите с собой партийный билет, паспорт, трудовую книжку и военный билет», — сказала она. «Ровно в двенадцать часов вас примут в другом месте».

Я в точности последовал всем предписаниям. Я прошел мимо трех или четырех стражей, и ответил на все вопросы чекиста НКВД. Затем меня направили в здание Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии. Это было то самое «другое место», чья солидность требовала дополнительных штрихов таинственности и бюрократии. Получив необходимый пропуск, я направился к зданию партии. Здесь мои документы были повторно проверены, и вскоре я уже поднимался по широкой мраморной лестнице.

На лестничной площадке стоял мраморный Сталин, один на мраморном постаменте. Ему был придан нарочито наполеоновский вид, что было довольно комичнон в этом одиночестве. На второй лестничной площадке другой Сталин, такой же нелепый, смотрел мне в глаза. На этом этаже я немного подождал, и в конце концов меня проводили в застеленный ковром кабинет, где третий Сталин, на этот раз на стене, составил мне компанию, пока не прибыл соответствующий чиновник. Очевидно, советские

скульпторы и художники не испытывают недостатка в сюжетах. Чиновник сел за свой большой стол, внимательно рассматривал меня целую минуту, а затем сказал:

«Расскажите о себе. Пожалуйста, не повторяйте то, что я уже знаю из ваших анкет. Меня интересует ваше мировоззрение, политическое состояние вашего ума».

Я говорил почти наугад. Я ломал голову, пытаясь вспомнить какие-нибудь факты или мысли, которые не были досконально проработаны в предыдущих опросах и письменных анкетах. Он перебил меня. Он перешел к сути.

«У вас когда-нибудь возникали сомнения в мудрости какой-либо партийной политики?»

«Никогда», — быстро ответил я. Не было смысла вдаваться в нюансы, если только это не было необходимо.

«Даже во время коллективизации и чисток, когда вы сами немного пострадали? Даже тогда у вас не было сомнений в общей линии партии?»

«Нет, сомнений в общей линии не было».

«Но вам пришлось нелегко в Никополе в 1936 и 1937 годах. Вас проверяли, расследовали и все такое. Каково было ваше отношение к этому?»

«Ну, конечно, я был озадачен, даже немного возмущен. В конце концов, я знал, что невиновен. Я чувствовал себя в некотором роде обиженным».

«Это понятно. Нельзя вас за это винить. В то время были перегибы; враги народа, ответственные за это были ликвидированы. Но теперь, товарищ Кравченко, осталось ли что-нибудь от той боли, того негодования?»

«О, нет, конечно, нет». Я улыбнулся такому нелепому вопросу.

Естественно, я был благодарен всем Гершгорнам и Дороганам, которые избивали и унижали меня. Эта гнусная комедия продолжалась, наверное, часа два. Это был предположительно, задушевный разговор о моих основных политических взглядах, предписанный советским ритуалом. Как будто при советской власти было место для откровенности! Как будто любые два партийных товарища, встретившись впервые, осмелятся выйти за

пределы предписанного лицемерия и жалкого притворства! По мере того, как «беседа» продвигалась, я становился все увереннее в себе, я выдавал все больше клише. Я получал некое извращенное удовлетворение от того, что превзошел каждый его лозунг, и все это время мой разум злорадствовал над этой сценой*: Я сбегу! Скоро я освобожусь от этой чудовищной лжи, этого невыносимого ужаса! Я смогу говорить, бороться!*

По-видимому, я произвел впечатление на моего следователя. Мой ум, вероятно решил он, был в правильном состоянии, без неясных сомнений, без навязчивых мыслей. Вероятно, он охарактеризовал меня как человека с небольшим количеством идей, но достойных, не слишком умных, но надежных. Я почувствовал одобрение в прикосновении его липкой руки.

«Что-ж, до свидания. Вероятно, вы узнаете решение Центрального комитета уже через четыре-пять дней».

Это было благоприятное решение. В течение недели Главметал получил приказ уволить меня и передать в ведение Комиссариата внешней торговли. На следующий день я явился во Всесоюзное управление по импорту сырьевых материалов Комиссариата внешней торговли. Там мне вручили толстые конфиденциальные тома отчетов и инструкций для чтения и обдумывания, чтобы ознакомиться с программой ленд-лиза, условиями в американской промышленности, сведениями о металлургических компаниях, с которыми мне предстояло иметь дело за границей.

Затем меня снова вызвали в Центральный комитет партии. На этот раз мне вручили две конфиденциальные брошюры. Мне было велено внимательно прочитать их прямо там, затем вернуть и подписать форму, подтверждающую, что я знаком с их содержанием. В брошюрах излагались правила поведения для членов партии за границей и, в частности, наказания за их нарушение. Суть прочитанного останется со мной навсегда как комментарий к гротескной советской версии несоветского мира.

После призыва к строгому подчинению начальству, брошюры предостерегали от искушений, ловушек и соблазнов жизни в буржуазных странах. Они рисовали картину, одновременно пугающую и манящую, странного, враждебного, совершенно развращенного и похотливого мира, посвященного единственной цели – заманиванию советских граждан и выманиванию их государственных секретов.

Как я понял, главной задачей иностранных правительств был подрыв лояльности приезжающих коммунистов. Тем, кто собирался окунуться в водоворот политических пороков, подкупа бизнесменов и надушенных проституток, запрещалось без необходимости разговаривать с неверными на любую тему, и во всяком случае ни при каких обстоятельствах не обсуждать политику.

Если к нам обращаются с предложениями продать «документы» или другие секреты, мы должны направлять этих покупщиков в ближайшее советское консульство. Если нас расспрашивают о жизни внутри Советского Союза, мы должны исходить из того, что любопытные являются агентами иностранной контрразведки.

Правила были особенно строги в своем предупреждении о контактах с белыми русскими и с изданиями, «недружественными» нашей стране. Мы должны всячески избегать и ни в коем случае не читать печатной продукции, распространяемой за границей белыми эмигрантами.

Антисоветские демоны были повсюду: в эфире звучали «недружественные» обличительные речи, на экране показывали антисоветские фильмы. От всего этого, конечно же, мы должны бежать или же мы будем навеки прокляты.

Правила подразумевали, что, хотя буржуазный мир прогнил в своей основе, он был ярким и соблазнительным снаружи, так что наша советская добродетель будет подвергаться непрекращающимся атакам. Мы должны закрыть глаза на обилие еды и комфортную жизнь в буржуазных странах. Лучшие капиталистические отели были лишь замаскированными борделями, где Мата Хара поджидала невинных советских мужчин.

Во время поездок за границей мы должны были немедленно покинуть опасную зону, если в нашей каюте или купе оказывалась привлекательная женщина. Если какая-либо женщина, особенно русскоязычная, пыталась завязать с нами разговор, мы должны были немедленно бежать от нее.

Алкоголь считался вторым после секса по популярности средством искушения советских граждан за границей. Никогда, если только это не было необходимо для конкретной деловой цели и санкционировано сверху, мы не должны были заходить в бары, ночные клубы и другие притоны разврата, где предлагают алкогольные напитки, развязывающие язык. Если долг требовал присутствия на частной или публичной вечеринке, добрый

советский человек должен был крепко держать себя в руках, чтобы не выдать какой-нибудь секрет.

Что именно представляли собой эти ужасные секреты, которые мы должны хранить и которые внешний мир пытается похитить у нас? Правила в брошюре этого не разглашали. Но ответ мне казался достаточно очевидным. Советский режим больше всего боялся того, что мы можем стать свидетелями истинности «антисоветской пропаганды», распространяемой «недружественными» писателями, ораторами и изданиями. «Секреты», на которые ссылался режим, представляли собой факты о советских концентрационных лагерях, рабском в них труде, неслыханном повсеместном угнетении и унижении народных масс в СССР, все, что могло бы испортить картину, нарисованную советской пропагандой. Эти две брошюры фактически были свидетелями нечистой совести советской власти.

Высопоставленные коммунистические деятели приписывали иностранным правительствам все те грязные приемы и трюки, которые НКВД и другие советские ведомства регулярно применяли в отношении к иностранцам. Они предупреждали, что в Америке наш багаж будет обыскан, наши паспорта будут украдены для целей контрразведки, наши телефоны будут прослушиваться, нам будут навязывать соблазнительных женщин. В США, как это подразумевали правила, мы будем жить на вражеской земле, несмотря на наши хорошие дипломатические отношения с Америкой; если мы не будем осторожны, нас затянет в капиталистическую трясину жадности, роскоши и ненависти к советской Родине.

После того как я заверил, что понял эти предупреждения и вернул брошюры, меня отдали в распоряжение другого чиновника Центрального комитета в другом просторном кабинете. Его тон был суровым.

«Товарищ Кравченко, вы собираетесь отправиться в зарубежную миссию. Вы будете вести торговлю в чужой среде, среди капиталистов, которых мы справедливо презираем и которым не доверяем. Мы рассчитываем на то, что вы не поддадитесь соблазну потребительских товаров и искушениям общества, находящегося на последних стадиях разложения и гниения. Никогда не забывайте о своей исторической миссии как представителя новой советской цивилизации.

«Это верно, что Америка сейчас нам помогает. Но мы не должны упускать из виду тот факт, что помощь оказывается неохотно, из крайней необходимости. Правда, некоторые из наших военных целей в данный момент совпадают с их целями, но эти два мира остаются непримиримыми. Крепко держитесь за знание того, что как коммунист вы являетесь заклятым врагом капиталистического общества, мировым центром которого сегодня являются Соединенные Штаты Америки. Коммунизм и капитализм никогда не примирятся!»

Я принял серьезное выражение лица, соответствующее случаю. Было глупо с его стороны произносить такую элементарную проповедь опытному партийцу. Но это тоже было частью коммунистического ритуала. Ему за это платили, и он, несомненно, произносил подобную речь также и другим, подобным мне, в тот же день.

«После прибытия в Америку вы продолжите принимать активное участие в работе нашей партии. Но помните, что для американских властей вы не являетесь и никогда не являлись членом коммунистической партии. Вы должны настаивать на том, что вас даже не интересует политика. В Америке организация Коммунистической партии СССР функционирует на подпольной основе. Вы не возьмете с собой партийный билет, но факт вашего членства будет известен соответствующим лицам. Внешне вы будете инженером и никем больше. Вам это понятно?»

«Да, я понимаю».

Мне велели снова на следующий день придти в Центральный комитет партии. Стоял конец июня 1943 года. Меня продолжали «мыть и перемывать», как гласит советская поговорка.

На этот раз меня ждал другой партиец, более внушительного чина. Присутствовали также еще два человека, один из которых, очевидно, был чекистом из тайной полиции. Чиновник партии был полным мужчиной в щегольском иностранном костюме. Часы иностранной марки на его руке и иностранная перьевая ручка, торчащая из верхнего кармана жилета, говорили о том, что он недавно вернулся из капиталистического гниющего болота, возможно, из Лондона или Вашингтона.

«Товарищ Кравченко, Центральный комитет подтвердил ваше назначение в Соединенные Штаты», — строго сказал он. «Вы понимаете весь смысл оказанного вам доверия?»

«Да», — ответил я.

«Вы читали инструкции? Вы понимаете последствия ваших ошибок или проступков?»

«Да, я понимаю».

«Лучшая ваша защита от ошибок — это сталинская бдительность и безграничная преданность нашей любимой партии».

«Да, конечно. Я это понимаю».

«Вы едете в страну с самым развитым и хищническим капитализмом. Американская спецслужба ФБР будет следить за вами. Вам могут предложить предать свою страну. Местные капиталисты и эмигранты сделают все возможное, чтобы скомпрометировать вас. Контрреволюционная и капиталистическая пресса, особенно Херста и Маккормика, попытается подорвать вашу коммунистическую веру. Товарищ Кравченко, не доверяйте тем, кто притворяется друзьями нашей страны. Многие из них опаснее, чем заклятые враги. В последнее время среди некоторых эмигрантов, не только левых, но и настоящих монархистов, стало модно лизать нам сапоги. Не доверяйте им. Предатель всегда останется предателем. То же самое относится к банкирам, фабрикантам и другим капиталистам, которые следуют новой моде и восхищаются Советским Союзом. Их восхищение ничего не стоит. В одночасье оно может превратиться в предательство».

Я вставлял односложные фразы понимания и одобрения. Когда же закончится этот фарс, думал я. Но проповедь еще не достигла своего апогея. Расправившись с правительственными шпионами, перебежчиками-эмигрантами и двуличными капиталистами, он перешел к самой большой опасности. Страстным голосом он продолжал предупреждать меня о капиталистических ловушках, ярких огнях, ночных клубах, и женщинах легкого поведения.

«Это симптомы распада буржуазной жизни, товарищ Кравченко, но все же они заманчивы». «Я знаю», — тут его глазки заблестели, а тон стал

похотливым, — «я знаю, что агенты капитализма будут пытаться добраться до вас любыми средствами».

Освободившись наконец от него, я оказался в кресле перед третьим проповедником. Очевидно, его отдел был более техническим, его больше волновали мои обязанности, и возможности как инженера, чем мои риски как мужчины. Одна из моих главных обязанностей за границей, сказал он, будет заключаться в сборе любой информации экономического, а по возможности и военного характера, которая мне попадется. Я должен научиться записывать технические детали, планировку заводов в любом городе, который я посещу, методы производства, новшества в машиностроении, новые технологические процессы, все, что нам неизвестно.

«Вы станете глазами и ушами нашей страны в Соединенных Штатах. По прибытии в Вашингтон, доложите товарищу Серову. Отдайте ему корешок, который вы получите, сдав партийный билет. Он знает о вас все. Это понятно?»

«Совершенно понятно.»

«И ещё одно: не рассказывайте о том, что вы уезжаете за границу. Можете рассказать только тем друзьям, которых считаете политически благонадежными.»

Почему отправка очередного представителя по закупкам ленд-лиза должна рассматриваться как секрет, я не знал. Но, конечно, я не задавал наивных вопросов.

Перед тем как покинуть здание, я получил корешок в обмен на свой партийный билет. Я чувствовал себя странно, как бы почти голым, без билета. Право обладать этим билетом когда-то казалось мне благородной мечтой. Теперь я отказался от него без малейшего сожаления — я стал невосприимчив к политической символике. В Военном комиссариате у меня забрали мои военные документы, и меня официально освободили от всех военных обязательств. Комиссариат внешней торговли выдал мне значительную сумму советских денег и специальные купоны на покупку одежды, подходящей для выезда в дегенеративный капиталистический мир. Мне также дали немного американской валюты с тем, чтобы я мог добраться до Вашингтона.

После выполнения всех этих предварительных условий я снова предстал перед товарищем Лебедевым. Там же находились и другие члены партии, которые должны были отправиться в Америку. Теперь, когда мы преодолели множество препятствий и впитали в себя все проповеди, товарищ Лебедев улыбался и был приветлив.

«Что ж, товарищи, я буду краток, — сказал он. — Вы все политически грамотные люди. Позвольте мне рассказать вам небольшую притчу».

Долго и с явным удовольствием он стал пересказывать историю одного советского посланника в США, который, увы, оказался не таким осмотрительным, как он надеялся. Этот несчастный, по-видимому, позволил подставить себя американским агентам. К счастью, у него хватило ума побежать в консульство, и он был спасён в самый последний момент.

Мы все понимающе кивнули. Мы будем остерегаться уловок американской тайной полиции.

«Ещё одно предостережение, и я закончу, товарищи. Некоторые из вас выезжают без жён. В Америке будет много еды и напитков. Это ложное военное процветание, знаете ли, и за ним скоро последует очередная депрессия. В любом случае, вы же знаете, как бывает со скаковой лошадью после того, как она наестся овса». Тут он лукаво подмигнул, и мы с готовностью подобострастно рассмеялись, хотя многие из нас поняли цинизм его слов.

«Верно. Она начинает ржать… Бойтес ног американских девушек». Тут он погрозил нам пальцем. «Но если вы свяжетесь с капиталистическими женщинами, то просто помните, что я вас предупреждал».

Затем он сменил шутливый тон и перешёл к серьёзным угрозам. Америка, заявил он, является лишь нашим временным союзником. Нашими девизами должны быть благоразумие и бдительность. Когда-нибудь эта фальшивая дружба закончится, диалектические реалии вновь заявят о себе. «Учитесь всему, чему можете, наблюдайте за всем — ничего не давая взамен».

Когда я вернулся домой, у меня в нагрудном кармане была маленькая красная книжка, зарубежный советский паспорт. Обстоятельства сделали его самым желанным листком бумаги, какой только можно себе представить. Я постоянно прикасался к нему, чтобы убедиться, что это не мираж. Дома меня

ждала Ирина. Она мгновенно поняла по моему выражению лица, что все в порядке. Я видел, что она изо всех сил пытается сдержать слезы. Она и понятия не имела о моей великой тайне. Ее лучшей защитой, единственной добротой, которую я мог предложить в ответ на ее привязанность, было держать ее в полном неведении о моих истинных намерениях.

«Это краткосрочная командировка», — сказал я, тоже с трудом сдерживая слезы. «Меня не будет всего несколько месяцев, максимум год».

3

Зная в глубине души, что я, возможно, больше никогда не увижу свою страну и ее народ, я смотрел на них в дни перед отъездом с неким предчувствием тоски по дому. Я пытался запечатлеть их образы навсегда в своем мысленном взоре.

Конечно, были десятки друзей, которых я хотел бы увидеть перед отъездом. Абсурдная секретность, окружавшая мою поездку, делала такое желание затруднительным. Тем не менее, я рискнул нанести прощальный визит товарищу Мише и другим близким мне людям. Я старался, чтобы прощания были непринужденными, чтобы они не догадались о моем решении. Когда я показал свой паспорт, они смотрели недоверчиво. Покинуть Советский Союз, вырваться из сталинской «счастливой жизни» хотя бы на короткое время, — это самое трудное и, следовательно, самое завидное достижение для советского человека.

Одним из тех близких друзей, которых я навестил и которым показал свое маленькое красное чудо, был химик по образованию, занимавший теперь высокий пост в правительстве. Назову его Григорием. Он был одним из тех, кто был арестован во время чисток, а затем был «реабилитирован». Несмотря на его «признание» в соучастии в актах саботажа, обнародованных на московских процессах, он быстро продвинулся по служебной лестнице после освобождения из тюрьмы. Теперь на его груди висели правительственные награды за выдающиеся заслуги в военное время.

Он пожал мне руку, с завистью, как подумалось мне, и долго держал ее в своей крепкой хватке.

«Поздравляю, Витя! Ты один на сто тысяч! Если бы не моя жена и дети, я бы сам нашел повод для поездки за границу… Эх, ты увидишь этот странный внешний мир. Как мало нам позволено о нем знать!»

Он помолчал минуту, и его брови нахмурились, словно он пытался что-то решить. Затем он импульсивно сказал: «Давай заедем ко мне домой. Выпьем на прощание и… ну, мне хочется поговорить…»

И мы действительно поговорили. Стал ли он смелее от моего скорого отъезда в далекую страну? Или он не мог больше сдержать свои гнетущие мысли при себе? Какова бы ни была причина, в тот день он сказал мне вещи, которые ни один здравомыслящий русский человек не произнесет вслух в моей стране.

«Витя, эти дураки воображают, что подкупили меня своими блестящими значками. Но они ошибаются. Да, я продвинулся по служебной лестнице. Им нужны компетентные люди; хотя я бывший заключенный, я выделяюсь как способный специалист. Может быть, когда-нибудь я стану народным комиссаром. Это вполне возможно.

«Но я ничего не забыл, ничего. Я помню каждую минуту страданий, каждое оскорбление, и я берегу их как великие сокровища на случай мести. Я не забыл и не простил год пыток и мучений. Меня пытали месяцами, прежде чем я подписал это гнусное и лживое признание ... Эти долгие периоды одиночного заключения в темных сырых подвалах, которые я делил с большими крысами. Знаешь ли ты, мой друг, что такое пытка в НКВД? Позволь мне рассказать тебе…»

«Не надо, Григорий, не надо!» — взмолился я. «Я уже достаточно наслушался от других. Какой смысл открывать старые раны?»

«Они никогда не заживали, Витя. Я держал их свежими. Я не давал им зажить. Каждый день я просыпаюсь с проклятием на устах, и каждую ночь я засыпаю с этим проклятием. Послушай, я никогда никому об этом не рассказывал, но я больше не могу держать этот ужас в себе».

«Вы слышали о пытках светом, но я это пережил сам. Ты сидишь посреди комнаты, где тебе в глаза светят яркие электрические лампы, и тебе не разрешают засыпать. Если ты начинаешь свешивать голову или закрывать глаза, охранники будят тебя ударами. Однажды я просидел так трое суток,

без сна, без еды, без воды. Меня корчило, глаза горели, как раскаленные угли. А в конце этой пытки меня снова допрашивал новый, свежий чекист-садист.

«О, они сатанински умны, эти большевистские чудовища. НКВД знает, как надо по-научному пытать людей, как выжать из тебя «добровольные» признания. Боль, голод, жажда, жара, холод — все идет в ход; они умеют разыгрывать чудесные вариации на эти темы, наши советские виртоузы пыток.

«В нашей тюрьме НКВД был один чекист, который готовил свои жертвы к перекрестному допросу по-своему: он кормил их соленой пищей, например, селедкой, а затем лишал их воды. К тому времени, когда он их допрашивал, они находились в полубезумном состоянии от жажды. Во время допроса чекист делал длинные глотки прохладной воды или даже пива, в то время как замученный жаждой узник смотрел на него.

«Мне известны случаи, когда признания вырывали у людей после того, как их подвешивали за запястья в течение 24 часов. Мне известны случаи, когда у заключенного вырывали все волосы с корнем, вместе с клочками кожи головы. Да, наши чекисты – это непревзойденные мастера заплечных дел. Они знают, когда причинять мнгновенную боль, а когда прибегать к медленным, изнурительным видам пыток.

«Да, они били меня тоже, не один, а сто раз. Наконец наступило самое страшное. Об этом я никому раньше не рассказывал, кроме жены, она должна была знать. Однажды ночью меня хлестали в пыточной камере длинными мокрыми полотенцами. Со мной было трое чекистов. Они раздели меня догола и стали хлестать по лицу, по почкам. Затем меня бросили на стол. Двое чекистов держали меня, а третий изо всех сил стал бить меня мокрым полотенцем по детородным органам ...

«Представь себе самые ужасные муки, которые ты можешь себе представить, умножь их на миллион, и ты, возможно, приблизишься к тому, что я испытал. Нет, это были не люди; это были звери, монстры.

«Я не приходил в себя много дней. Я очнулся в тюремнаой больнице НКВД. Теперь для меня ничто больше не имело значения. Я задавался вопросом, почему и зачем так долго я сопротивлялся им? Я называл себя всевозможными именами за то, что был идеалистом-идиотом. И я подписал

все, что мне давали, не читая, не думая. Когда меня освободили, я был бесполезен для своей жены…

«И эти негодяи думают, что расплатились со мной титулами и значками. Они действительно воображают, что я все забыл! Чем выше я поднимаюсь на их службе, чем ближе я к престолу в Кремле, тем больше я ненавижу их, проклинаю их и жажду мести».

В Америке в последующие месяцы мне предстояло наслушаться немало вздора о «новой экономической цивилизации» в большевистской России, о нашем марксизме и «советской демократии». Слушая, я вспоминал о том, что было сделано с Григорием, и к горлу подступала тошнота, так что я поспешно начинал думать о чем-нибудь другом.

Еще одна встреча в те последние дни в Москве навсегда запечатлелась в моей памяти. К сожалению, я не могу назвать его имя.

Достаточно того, что он входит в число самых влиятельных коммунистов и имеет связи в высших кругах правящей большевистской элиты. Достаточно того, что я когда-то рисковал своей свободой, чтобы спасти его, и он этого не забыл. Я решил, что лучше не прощаться с ним, но, видимо, он знал о моем запланированном отъезде и взял инициативу в свои руки. Мы договорились встретиться, как бы случайно, в небольшом парке напротив Большого театра на Театральной площади.

«Значит, все в порядке, и ты действительно едешь?» — спросил он, когда мы уже сидели на скамейке в парке. «Поздравляю!»

«Я решил, что лучше не навещать тебя на прощание», — сказал я. «Я знал, что ты поймешь».

«Но я подумал, что должен поговорить с тобой, Виктор Андреевич. Я знаю, что ты чувствуешь по этому поводу. Ты никогда мне об этом по-настоящему не говорил, но я знаю. Поэтому я хотел тебя увидеть и предупредить. Здесь мы молчим и никому не открываем свою душу. Но за границей ты будешь постоянно подвергаться опасности раскрыть свои чувства. Свобода опьяняет. Ты начнешь чувствовать себя в безопасности, и в один прекрасный день можешь перевернуться с ног на голову. Тогда тебя внезапно вызовут на родину, под каким-нибудь совершенно законным предлогом, возможно, просто для консультации, и когда ты вернешься, — конец…

«Пожалуйста, не позволяй новой обстановке дать тебе ложное чувство безопасности. Помни, что там тебя окружает больше шпионов, больше доносчиков, даже чем здесь, дома. Если ты будешь крепко помнить об этом, ты справишься. Весь наш советский строй прочно зиждется на шпионаже, слежке и провокациях. Эта система не только переносится за границу, но и усиливается за ее пределами. Она постоянно совершенствуется, оттачивается. Наши хозяева знают, что мы прячем свои настоящие души глубоко внутри своих раковин, подобно духовным улиткам. И они хотят проникнуть в это сокровенное убежище…

«Здесь, у нас в России, по моему предположению каждый пятый человек в любом учреждении — шпион, осведомитель работающий на ту или иную из соответсвующих организаций. Там, куда ты едешь, это соотношение ближе к одному из трех. И это не только советские люди. У нас много американцев на жалованье, помимо тех, кому не нужно платить, кто делает это из-за энтузиазма. Тебе будут задавать невинные вопросы, тебя будут провоцировать на высказывания, на жалобы. Советские агенты будут комментировать тебе то, что они прочитали в газетах или услышали по радио, просто чтобы выманить тебя на открытую».

«Думаю, что я знаю эту нашу систему, мой друг, и я буду осторожен. Но я все равно благодарен…»

«Ты будешь находиться под постоянным пристальным вниманием со всех сторон, Виктор Андреевич. Многие будут опасаться тебя, задаваясь вопросом, не являешься ли ты сам также тайным агентом НКВД.

«Это дьявольская мудрость нашего советского государства — каждый должен опасаться и подозревать своего ближнего. Я знаю, как ты устал от всего этого. Но если ты хочешь выжить, недостаточно, чтобы ты понял мое предупреждение. Ты должен *прочувствовать* его до мозга костей…»

Мы расстались. Позже, когда я думал о нем, я всегда представлял себе эту странную сцену на скамейке в парке. Я видел, как он тщательно опускал козырек своей фуражки, как он зарывал голову глубже в воротник, чтобы избежать узнавания. Я думаю об этом друге как о «чуде» — глубоко порядочном и сердечном человеке, который не только пережил террор чисток, но и сидит теперь посреди сильных мира сего.

Только Ирина пришла проводить меня на Казанский вокзал. Я утешал ее, пытался поднять ей настроение. Внутри я плакал, зная то, о чем она даже не догадывалась, – что это наша последняя встреча. Это знание делало меня больным. Но что я мог ей сказать? Ничего. Гораздо лучше было оставить ее в полном неведении. В отъезде в Америку не было радости, только острая боль, всепроникающая и невыразимая скорбь. Это была не моя вина, что я покидаю свою страну. Это была вина антинародного и бесчеловечного режима. Единственное, что я мог сделать для своего страдающего народа, – это бежать, а затем попытаться рассказать миру все, что я знаю, как могу. Таков был девиз моего русского наследия. Такова была логика всей моей жизни.

4

Седовласый мужчина с мягкими манерами разделил со мной двухместное купе в вагоне. По-советски опасаясь и подозревая друг друга, мы познакомились. Мы объединили наши съестные припасы, поговорили о войне. Я собирался во Владивосток, — ответил я на его дружеский вопрос. Его ответ на тот же вопрос был еще более расплывчатым: «За Урал», — сказал он, — с неопределенным жестом.

Ночью в нашу дверь постучали. Вошел чекист НКВД. Мое сердце заколотилось от внезапного беспокойства. Хотя в глубине души я был убежден, что действительно покидаю СССР, мои нервы оставались настороже, ничему не доверяя.

«Предъявите документы», — сказал чекист.

Со своей верхней полки я передал ему свой паспорт. Он внимательно его изучил, сравнил фотографию с оригиналом и вернул маленькую красную книжку. К моему удивлению, мой новый знакомый предъявил идентичный зарубежный паспорт. Мы оба уезжали за границу, мы оба солгали друг другу — и теперь мы оба чувствовали себя глупо.

«Скажите мне, Виктор Андреевич, — сказал он, когда энкавэдэвец ушел, — почему мы должны лгать друг другу? Почему мы должны бояться друг друга? Мы соотечественники, мы знаем многих одних и тех же людей и места, и все же мы боимся друг друга. Политика меня не интересует. Я еду в Монголию, чтобы разводить скот для нашей страны и организовывать импорт мяса, ничего тут секретного нет . Как жаль, что я солгал!»

«А я еду в Соединенные Штаты, — сказал я, — чтобы помочь выбрать металлопродукцию для нашей страны по ленд-лизу. Простите, что я солгал вам! Мне стыдно».

«Здесь нечего прощать; мы в одной лодке. Эх, это вечное недоверие… эта детская секретность…»

Скотовод сошел за Уралом, чтобы сменить поезд.

Вскоре его место занял упитанный мужчина в кожаном пальто с толстым портфелем под мышкой. Он был шумным, суетливым и самодовольным, человеком, привыкшим к вниманию и мгновенному подчинению. За ним шел молодой человек в военной униформе, хотя и без знаков различия, с револьвером на поясе. Он нес багаж толстяка и обеспечивал комфорт своему начальнику. Это была знакомая картина: высокопоставленное официальное лицо и его неофициальный денщик.

Я сразу узнал в новоприбывшем товарища Бородина, бывшего председателя Сталинградского областного исполнительного комитета. Он снял пальто, обнажив значок члена Верховного Совета и орден Ленина, прикрепленный к груди. У него было солидное брюшко, а его крошечные глазки плутовато смотрели с равнодушного, плоского лица. Его пухлые руки были тщательно ухожены. Товарищ Бородин демонстративно достал из кармана револьвер Браунинга, демонстративно положив его под подушку. Его власть и важность не должны вызывать сомнений. Затем он стал рассматривать своего нового попутчика.

«А я вас где-то не видел?» — спросил он.

«Как же, товарищ Бородин, в Совнаркоме. Я присутствовал на нескольких совещаниях, где вы были. Меня зовут Кравченко, Виктор Андреевич Кравченко».

«Отлично, отлично. Куда вы направляетесь?»

«В Америку, в Вашингтон».

«Что вы говорите! Очень интересно. Умные и сильные черти, эти янки. Мы должны узнать их изнутри и снаружи. Хорошо, что их промышленность нам помогает».

Товарищи Бородин направлялся в Итайский край с официальным заданием. Он начал путешествие на самолёте, но был вынужден совершить посадку из-за «кашля и чихания в моторе», как он объяснил, и вот теперь он еле ползёт по железной дороге. К счастью, он взял с собой много еды, и, кроме того, посмотрит, что можно найти в вагоне-ресторане. О, у нас будет прекрасное путешествие, без сомнения. Играю ли я в карты? Не желаю ли я немного выпить?

Одетый в военную униформу денщик, с которым товарищ Бородин обращался как с крепостным, открыл большую сумку, набитую очень хорошей едой, и накрыл великолепный стол.

Я уступил многословному приглашению моего спутника разделить эту роскошь, но настоял на том, чтобы внести свой вклад. Съежившийся заведующий вагоном-рестораном, пораженный внушительным присутствием товарища Бородина, каждый вечер после закрытия вагона-ресторана для обычных смертных, устраивал для нас и ряда других важных пассажиров, включавших генерала и адмирала, пиршества.

Между приемами пищи мы собирались в том или ином купе, где одни играли в карты, другие предавались бессвязным дискуссиям о войне, пейзажах, о сравнительных достоинствах различных кавказских вин и о других подобных темах. Когда мы садились ужинать, товарищ Бородин неизменно произносил торжественный тост за нашего Любимого Учителя и Вождя.

Лишь голодные, полураздетые бездомные дети на станциях портили наше путешествие. На одной из станций товарищ Бородин выбросил из окна несколько обглоданных куриных костей. Мгновенно несколько голодных безпризорников набросились на эти сокровища, яростно дерясь за каждый кусочек. Бородин нахмурился, его узкие глазки сузились до щелей, и он пробормотал что-то об «ужасной войне». Пузатый «пролетарский» руководитель был раздражен. Тем не менее, он приказал своему лакею дать им немного хлеба. Затем он опустил шторы и закончил свою работу над холодной курицей.

Как мы узнали, на нашем поезде были важные иностранные гости — британская делегация профсоюзов во главе с Уолтэром Ситрином. Они ехали в специальном вагоне с несколькими советскими чиновниками и

переводчиками, которых обслуживала собственная кухня, и которые были, насколько это возможно, изолированы от воздействия советской действительности.

Однако полностью от них скрыть измученных голодом людей и плохо одетых, истощенных на вид пассажиров на некоторых станциях было невозможно. Я мог лишь надеяться, что сэр Уолтэр и его соотечественники-британцы извлекут хоть какие-то уроки из этих трагических видов.

Нам навстречу непрерывно двигался поток эшелонов с техникой, оружием и другими товарами, на запад, к фронту. «Ленд-лиз!» — часто восклицал товарищ Бородин, указывая пальцем, когда мимо наших окон проезжал очередной поезд. «Да, молодцы-американцы!» — поддакивал ему генерал. Чем ближе мы подъезжали к Владивостоку, тем более впечатляющим становился этот американский поток.

Вскоре товарищ Бородин сошел с поезда, его нагруженный поклажей денщик шел за ним. Заведующий вагона-ресторана издал слышимый вздох облегчения; я не расслышал, что он пробормотал себе под нос, но я совершенно уверен, что угадал правильно. Освободившееся место в моем купе занял другой представитель большевистской знати, так же хорошо питавшийся и самодовольный, как и его предшественник, хотя и гораздо более сдержанный. Он оказался начальником областного управления искусств и направлялся с «культурной миссией» в Улан-Удэ, в Монгольской Народной Республике.

Всю поездку я находился в крайне нервном состоянии. Каждая проверка документов — а они проверялись часто — заставляла мое сердце колотиться от нелогичного беспокойства. Я плохо спал, и когда наконец задремал, мне приснилось, что чекисты НКВД стаскивают меня с поезда. В одном из таких кошмаров кто-то прошипел мне в ухо: «Так ты думал, мы не знали? …Так ты думал, что мы позволим тебе убежать…» Я огляделся, узнал Гершгорна и проснулся в холодном поту.

Во Владивостоке я остановился в гостинице «Интурист». Оркестр постоянно играл громкие танцевальные мелодии, вина и пива было в изобилии, а женщины-агенты НКВД активно занимались своим древним ремеслом. Я посетил городской базар, где еда и одежда продавались по фантастическим ценам черного рынка в гораздо большем количестве, чем я видел где-либо в

Советском Союзе. Большая часть этих товаров была явно американского происхождения, несомненно, украденных из партий, полученных по ленд-лизу, или привезенных советскими моряками. Я видел, как простая пара женских туфель стоила 3000 рублей на этом рынке. Я видел килограмм ветчины, проданный за… 1200 рублей. Маленькие банки с красочными американскими этикетками стоили 200 рублей и больше.

Владивосток был полон жизни. Повсюду можно было увидеть военных и гражданских моряков, а пристани были заставлены горами американских товаров и оборудования. Город был охвачен военной атмосферой.

Затем наступило утро, когда меня, вместе с другими, направлявшимися через Тихий океан, отвезли на машине в портовую таможню. Нас по одному, вместе с багажом, пропустили в закрытое помещение. Три чекиста, один в штатской одежде, другие в униформе, методично обыскали каждый чемодан и пакет, роясь в карманах, исследуя подкладку и в некоторых случаях вытряхивая рубашки и другую одежду.

Затем они не менее тщательно обыскали и меня самого. Каждый карман был вывернут наизнанку. Каждый сантиметр подкладки и лацканов моего пальто был тщательно проверен тренированными пальцами. Содержимое моего бумажника было проверено, причем один из чекистов в униформе записал имена и номера телефонов.

Конверт с фотографиями различных членов моей семьи по какой-то причине вызвал у сыщиков прилив любопытства. Меня спросили о личности каждого человека на каждой фотографии.

«А кто этот офицер?» — указал на одну из фотографий таможенник в гражданском.

«Мой брат Константин».

«Где он?»

«Он погиб на Кавказском фронте».

«Почему вы берете с собой столько фотографий?»

«Это мои родные. В конце концов, я буду один, вдали от них всех».

«Но вы же возвратитесь в Советский Союз?»

Мое сердце замерло. Я с трудом сглотнул, прежде чем смог найти язык. Но, видимо, его замечание не имело под собой скрытой подоплеки, потому что я был должным образом сертифицирован и отпущен. Вскоре я уже был на борту лесовоза «Комилес», направлявшегося в Ванкувер, Канада. На его борту находилось, наверное, около двадцати пассажиров, мужчин и женщин; все мы были направлены на работу в Соединенные Штаты.

Устроившись в крошечной, но удобной каюте в офицерском крыле, я предался размышлениям. Затем я вышел на палубу и стал наблюдать, как удаляется русская земля.

Это был мой последний взгляд на мою многострадальную страну, где несчастные миллионы русских людей стонали под гнётом режима, которому в истории не было прецедентов в плане систематизированной и безжалостной тирании. К унижениям всеобъемлющего крепостного строя, теперь добавились невзгоды войны. Нигде в мире не было такой ужасающей концентрации ужасных народных страданий и политического деспотизма, и нигде нищета не была так лицемерно и цинично замаскирована «передовыми» политическими лозунгами. Я не мог долго оставаться на палубе. Мрачные мысли и эмоции захлестнули меня. Внутри я скорбно прощался со своими друзьями, своей семьёй, своим прошлым. В полном отчаянии я ушёл в свою каюту, чтобы побыть наедине со своими мыслями.

Решение бежать, обрести свободу, чтобы рассказать миру правду об ужасных лишениях и политическом рабстве в советской России, чтобы бороться за освобождение моего несчастного народа, созревало так медленно в глубине моего существа, что я сам не знаю, когда оно приняло полную форму. Но с годами это был уже осознанный план, ожидавший лишь благоприятного момента.

И вот, когда этот момент настал, я был погружен в печаль. Я остро осознавал разлуку, глубокую, как смерть, и чувствовал себя так, словно меня ведут на собственные похороны. В этот момент я любил свою страну и свой народ с почти невыносимой силой чувства.

Я вспоминал сцены из своего детства, юности, зрелости; мгновения счастья, не менее болезненные в этот час полной изоляции, чем сцены страданий и унижений. Я вспоминал времена первого голода, коллективизацию, второй искусственный голод, террор чисток, голод, холод, пытки по ночам в

Никополе. Я думал о страшных концентрационных лагерях, разбросанных по всей нашей стране, и о десятках, да, сотнях моих ближайших друзей, убитых или томящихся в тюрьмах и концлагерях.

Где моя нежная, жизнерадостная мать? Где мой неподкупный отец, такой суровый и честный в своей преданности идее свободы? Заставят ли их страдать за мое решение? А Ирина, будет ли она наказана за мой поступок? Простит ли она меня за то, что я держал ее в абсолютном неведении о своих планах? Что бы подумал мой брат Евгений, человек, совершенно не интересующийся политикой, о моем бегстве?

Мои друзья, мои любимые, живые и мертвые, поймете ли вы, почему я был вынужден вас покинуть? Поймите ли вы, что я должен был оставить вас только для того, чтобы быть ближе к вам, чтобы попытаться говорить про вас и за вас миру, одурманенному пропагандой и ослепленному самообманом?

Плывя под советским флагом, я все еще, технически, находился на советской территории. Необоснованное беспокойство все еще не давало мне покоя и вторгалось в мой сон. Одной радиограммы, одного неосторожного слова в присутствии шпионов, которые, без сомнения, были среди нас даже на этом небольшом грузовом судне, было бы достаточно, чтобы разрушить мои страстные надежды и планы.

Мы прошли берега Японии. С тревогой мы наблюдали за двумя японскими эсминцами, плывущими за нами, а на следующий день японский самолет кружил над нами. Несколько дней спустя мы увидели землю на горизонте и узнали, что это остров, где мы можем увидеть американцев. Этот первый взгляд на территорию, контролируемую американцами, вызвал большое волнение среди экипажа и пассажиров. Приближаясь к острову, я увидел американский флаг, развевающийся над группой новых домов. Рядом с нами медленно плыл моторный катер. Два американских военно-морских офицера поднялись по трапу и удалились в капитанскую каюту. Три матроса остались в лодке, и мы все столпились у поручня, чтобы впервые увидеть крупным планом тех капиталистических «классовых врагов», о коварстве которых нас постоянно предупреждали. Эти высокие, загорелые, улыбающиеся молодые люди не соответствовали образу капиталистических акул. Несколько девушек из нашей компании были переводчицами с английского, и мы сразу же погрузились в разговор.

Эти американские парни, к счастью не осознавая своей зловещей роли капиталистов в глазах советских людей, не задали нам ни одного политического вопроса. Было совершенно очевидно, что их если что и интересовало среди советских людей, то только русские девушки, и то совершенно аполитичным образом. Кто-то включил граммофон в своей каюте и поставил русские пластинки для трех матросов внизу. Один из них попросил нас спеть *Очи Чорныя*, но, увы, среди нас не было певцов.

После отплытия моторной лодки мы обсудили нашу первую встречу с американцами. Все были полны восторженных эмоций — внешность парней, их дружелюбие, их юмор тронули наши сердца. Затем коммунист (по крайней мере один есть в любой советской группе) охладил наш пыл.

«Не лучше ли нам умерить наше восхищение, товарищи?» — сказал он твердым, авторитетным голосом. «Помните, что эти „милые“ и „хорошие“ парни — дети и лакеи враждебного капиталистического мира».

Его слова вернули нас к реальности. Некоторые из нас выглядели откровенно пристыженными, оказавшись застигнутыми врасплох теми искушениями, о которых нас прямо предупреждали.

На девятнадцатый день мы уже были в пределах видимости Канады. Канадский инспектор поднялся на борт, поприветствовав нас на сомнительном русском языке, но с несомненной улыбкой. Вскоре мы оказались в гавани Ванкувера. Менее чем через двадцать минут, без криков и суматохи, мы пришвартовались. На борт поднялись канадские таможенники: двое гражданских и один военно-морской офицер. Мы выстроились в ряд, предъявляя паспорта, которые были проверены самым поверхностным образом и возвращены нам. Никто не осматривал наши чемоданы, никто не выворачивал наши карманы наизнанку и не обыскивал подкладку наших пальто в поисках спрятанных документов. Самое невероятное было то, что никто не задавал нам вопросов ни о чем. Короче говоря, не было никакого страха перед советскими гражданами, которого нас заставляли ожидать, ничего, что оправдывало бы «бдительность», к которой мы все приготовились. Менее чем через час после швартовки мы уже могли сойти на берег. Даже самые фанатичные коммунисты в нашей группе, включая товарища, который омрачил наше восхищение американскими моряками, были поражены и, в конечном счете, разочарованы — они чувствовали себя людьми, обремененными

зонтиками,калошами и дождевиками в солнечный день. Где же было буржуазное чувство классовой враждебности к нам? Почему в их спокойном дружелюбии было так мало тревоги? Были ли эти люди наивны или, что еще более тревожно, презирали нас и нашу революцию? Нам казалось нереальным, невероятным, почти непристойным, быть так легко выпущенными на канадскую землю, да еще и во время войны.

Советский консул из Сан-Франциско, товарищ Ломакин, собрал нас в салоне и скучающим, мотонотонным голосом прочитал очередную лекцию об опасностях капиталистических джунглей. Очевидно, он просто выполнял свою обязанность. Затем мы остались одни. У трапа стояли только два стража - один советский, другой канадский.

Я остановился на несколько секунд, прежде чем шагнуть в Ванкувер. Меня охватило глубокое, искренное осознание значимости момента. Впервые за все мои тридцать восемь лет я оказался за пределами своей родной русской земли. Впервые в зрелом возрасте я, как мне казалось, оказался вне досягаемости Сталина и его тайной полиции.

ГЛАВА XXVII

СТАЛИНСКИЕ ПОДДАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

Ванкувер. Моя голова кружилась. Мои мысли метались. Я был свободен! Кто-то сказал, что только те, кто были однажды рабами, могут понять что такое свобода. Мне казалось, идя по главным улицам города с группой моих попутчиков по кораблю, что я никогда прежде не видел столько беззаботных, не боящихся, счастливых людей в одном месте в одно время.

Больше всего нас поражали витрины магазинов. Это роскошное изобилие вещей, которые можно носить, есть, использовать! Мы были как дети в цирке, разинув рты и восклицая от чудес, которые для этих взрослых были обыденностью. *Как будто мечта о советском изобилии сбылась,* повторял я про себя. *Ведь это именно то, что нам обещали в наших туманных пятилетних планах!* В моих мыслях также чувствовалась нотка негодования: эти люди, наши союзники, казались очень далекими от войны, обрушившейся на мою родную страну.

Мы заходили в магазины, чтобы совершить то, что для большинства из нас стало первой буржуазной покупкой. Могли ли мы действительно купить любой хлеб, рубашку, шоколад, все, что нам вздумается? Это граничило с волшебством. А цены казались до смешного низкими. Девушки из нашей компании восторженно перешептывались о платье в витрине. В Москве или Владивостоке, если бы они смогли найти во время войны что-нибудь столь же элегантное и изысканное, они были бы рады заплатить две-три тысячи рублей, восемь-десять месячных зарплат, несколько лет сбережений. В Ванкувере цена составляла 14,98 долларов …

Мы решили зайти в обувной магазин. Нас встретили с улыбками и вежливо проводили к удобным креслам. «Этот сукин сын знает, что мы иностранцы, — проворчал мизантроп среди нас, — вот он и угодничает». Но мы не поверили, поскольку заметили, что к местным канадцам тоже относились с таким же учтивым уважением. Продавец, одетый так же модно, как буржуазный злодей в коммунистическом пропагандистском фильме, принёс много пар обуви, разных фасонов, из разных материалов, целый музей обуви. Он, казалось, был поражён нашим удивлением и озадачен восторгом русских девушек.

Мой социологический интерес вышел на первый план.

«Вы хозяин этого заведения?» — спросил я через переводчицу.

«О нет, я просто приказчик», — засмеялся он.

«Вы не возражаете, если мы спросим, сколько вы зарабатываете в месяц?»

«Вовсе нет. Это зависит от комиссионных. Я бы сказал, примерно 150 долларов».

«Сто пятьдесят долларов!» — мизантроп забыл себя настолько, что воскликнул по-русски. Как и все мы, он лихорадочно переводил эту сумму в пары обуви по ценам, которые нам только что назвали. «Выходит этому сукиному сыну на месячную зарплату хватило бы тридцати пар обуви».

Затем мы решили заглянуть в галантерейный магазин. Рубашки, галстуки, платки, свитера, пальто, горы всего по умеренным ценам. Нам показалось удивительным, что магазин не был захвачен обезумевшими покупателями и не был раскуплен в мгновение ока.

Эти невероятные капиталисты не только исполнили все ваши заветные вожделения, но и упаковали их для вас и поблагодарили за то, что вы их забрали! Неся наши упаковки, мы вошли в ресторан. Насколько нам было известно, никто за нами не следил. Если только мы сами не донесем друг на друга, никто не будет знать, где мы были, что мы делали, что мы говорили. Еда, поставленная перед нами, дополняла картину изобилия.

Заинтригованный возбужденно говорившей группой русских, пожилой мужчина, безупречно одетый и куривший длинную сигару, подошел к нам и представился. Он был собственником этого ресторана.

«Вы здорово задали жару немцам!», заявил он, пожимая руки каждому из нас по очереди. «Я думаю что, Россия выигрывает войну, и ваши союзники должны быть чертовски благодарны».

«Да, необходимо уничтожить диктатуру Гитлера», — подал голос по случаю кто-то из группы.

«Вы совершенно правы!» — сказал собственник. «Я восхищаюсь всеми русскими от всего сердца, хотя, конечно, я против коммунизма. В конце концов, господин Сталин тоже установил диктатуру».

По нас пробежал холодок. Мизантроп медленно взглянул на меня и многозначительно сказал по-русски:

«Вот видишь! Фашист, а прикидывается другом, на самом же деле ненавидит нашу страну».

Я уже собирался защитить слова нашего хозяина, но остановился. Я все еще был среди советских людей, моя свобода все еще была ограничена.

Вернувшись на корабль, мы обменялись впечатлениями и покупками. Мы говорили до поздней ночи о чудесах этого богатого, открытого мира, так далекого от реалий войны. При этом мы говорили друг другу, в качестве политической страховки, что это всего лишь обманчивая поверхность, под которой скрываются ужасы эксплуатации, дегенерация и будущие кризисы, предвещаемые нашим ленинско-сталинским учением. Нужно полагать, думали мы, те предупреждения, которыми нас снабдили дома касательно капиталистических благ, не были преувеличены в конце концов.

Через несколько дней нас пересадили на поезд. Я прошёл вдоль всего поезда, чтобы понаблюдать за людьми. Даже в дневное время пассажиры в вагонах, на мой советский взгляд, были хорошо одеты. Я смотрел на мужчин и женщин, которые, очевидно, были просто фермерами, рабочими, приказчиками или просто трудовым народом, но все они носили прочную кожаную обувь и хорошую, добротную одежду. Такая зажиточность всё ещё казалась мне нереальной, немного чрезмерной.

На следующий день к нашему вагону подошёл американец в униформе в сопровождении другого человека в штатском. Он взглянул на наши паспорта, небрежно проверил их, без тени подозрения, и вернул нам с улыбкой.

Узнав, что этот человек — таможенный инспектор, мы все достали наши чемоданы и широко их открыли. Он небрежно взглянул на один или два, как бы между прочим, а затем сказал: «Хорошо, ладно, закройте их».

Нас смутила такая абсурдная небрежность, и мы задавались вопросом, в чем тут подвох. Личная свобода — это одно, но разве такое отсутствие бдительности не попахивало анархией, хаосом? Эти двое задержались на несколько минут, довольные встречей с русскими. Затем они пожелали нам удачи и улыбаясь, ушли. Почему-то я представлял себе, что въезд в Соединенные Штаты будет долгим и сложным процессом, требующим тщательных проверок и, возможно, допросов за закрытыми дверями.

У нас была краткая остановка в городе под названием Буффало, и мы, конечно же, использовали ее, чтобы осмотреть достопримечательности. Мне вспомнилось слово «Буффало» потому, что я видел его на оборудовании на советских заводах. Я был очарован высокими зданиями, чистотой и прямоугольной формой города. Несколько американцев на улицах Буффало остановились, чтобы поговорить с нами, но ни один, к нашему удивлению, не задал ни одного политического или экономического вопроса. Нам потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к людям, столь равнодушным к политике и идеологии.

Путешествие в Вашингтон было для меня полным волнений. Я был полон любопытства к новой стране и с изумлением смотрел на каждый новый город, на широкие асфальтированные шоссе, видимые из окон, на американских фермеров на их полях, столь непохожих на наших советских крестьян. Меня трогала та непринужденная, открытая манера, с которой

мужчины и женщины начинали разговоры, задавая и отвечая вопросы с детской откровенностью и наивностью. Из романов Драйзера и Стейнбека, которые я читал, я был готов к крайней нищете и глубокому разочарованию среди населения, следов которых я пока не видел. Со временем я узнаю, что в Америке тоже есть своя доля угнетения и несправедливости. Но русский человек, только что приехавший из «самой свободной и передовой» советской страны, вряд ли мог разделить негодование Стейнбека; во всяком случае, положение семьи Джоудов было не хуже, чем положение большинства наших колхозников.

19 августа 1943 года я прибыл в столицу Соединенных Штатов и был встречен на вокзале Юнион представителем Советской Закупочной Комиссии. Для меня была снята комната в одном американском доме. Она была чистой, солнечной, уютной, с отдельной ванной комнатой, и мои хозяева, казалось, были искренне рады принять иностранца — одного из тех «замечательных русских» — под своей крышей. Они не просили у меня «документов» и, по-видимому, не должны были сообщать обо мне в какой-либо комитет по жилищным вопросам. Для тренированной советской совести такая небрежность казалась довольно предосудительной, если не откровенно греховной. Со временем мы с этой семьей выработали свой собственный язык, состоящий из жестов и некоторых слов, достаточный для наших скудных социальных контактов. Они приняли меня, полностью доверяя мне, как эксперту по войне и по всему, что связано с заграницей, не говоря уже о России, и вели себя так, как будто каждая советская военная победа была моим собственным продуктом.

На следующее утро я явился на работу. Интерьер нашей вашингтонской штаб-квартиры на Шестнадцатой улице выглядел и даже пахнул удивительно по-советски. Казалось, она была герметично изолирована от американского духа.

Хотя среди самых низших должностей были местные служащие — стенографисты, носильщики, курьеры — в этом месте царила подлинно советская атмосфера; чувствовалось что-то скрытное, суетливое, почти заговорщическое, что было уникально нашим, советским.

Товарищ Серов был высоким мужчиной, с крупными чертами лица, темноволосым, крепкого телосложения, и его новая американская одежда ему очень шла. Он принял меня холодно, немного подозрительно, как и

подобает бдительному советскому бюрократу. Я вручил ему купон, подтверждающий мое членство в партии.

«Ваш номер?» — резко спросил он.

Я бегло его назвал -2486475. Для коммуниста забыть свой членский номер — это своего рода оскорбление величия партии, симптом пошатнувшейся веры. Несколько других вопросов убедили его в том, что я действительно тот самый Кравченко, который был ему поручен, что позволило ему улыбаться, расспрашивать о моей поездке и вести непринужденную беседу о Москве. Но все это время он изучал меня прищуренным, подозрительным взглядом.

Как непосредственный полномочный представитель Центрального комитета партии, товарищ Серов был самым высокопоставленным коммунистическим эмиссаром в Соединенных Штатах. У него не было прямых контактов с американцами. Он принимал совсем незначительное участие в советско-американских переговорах. Согласно официальным документам, он был просто одним из ассистентов в Советской Закупочной Комиссии. Но на самом деле он был самым могущественным агентом советского правительства в Америке. Его слово было законом для всех, от самых мелких советских служащих до самых важных советских военных, экономических и других представителей. Товарищ Серов говорил голосом советской коммунистической партии, которая является реальным правительством в СССР, тогда как даже посол говорил только голосом комиссариата иностранных дел. Для всех проживавших здесь советских подданных, он был фактически Сталиным Америки.

Он развернул передо мной скучную, знакомую лекцию об опасностях и обязанностях, которые меня ждут, и о величии доверия, оказанного мне Партией. Почему-то эта избитая тема раздражала меня меньше, чем прежде. Теперь я мог позволить себе внутреннее веселье: тайное знание того, что скоро я сброшу тоталитарное советское иго, делало меня невосприимчивым к оскорблениям, содержащимся в снисходительных инструкциях, за которыми скрывались угрозы. Я даже осмелился отказаться, сославшись на усталость, когда он попросил меня доложить о ситуации на родине на совещании штаба в тот же вечер. Что я мог им сообщить в этой обстановке, кроме официальной лжи?

Моим непосредственным начальником, как сообщил мне товарищ Серов, будет товарищ Александр Растарчук; я буду одним из примерно десяти специалистов-металлургов в Металлургическом отделе, начальником которого он был. В рамках ленд-лиза, в Советский Союз отправлялась металлическая продукция на десятки миллионов долларов, и моей обязанностью было инспектировать большую часть этих материалов, подтверждать их пригодность для наших целей, составлять спецификации для множества изделий, отбирать и отбраковывать материалы огромной ценности. Я нес строгую ответственность за все материалы, проходящие через мои руки.

2

Наша Закупочная Комиссия, по сути, представляла собой слепок чистого советского тоталитаризма, оторванный от берегов Москвы-реки и пересаженный неизмененным на берега Потомака-реки. В Вашингтоне, прямо в сердце величайшей в мире демократии, сотни из нас, мужчин и женщин, жили в жестко контролируемой обстановке, подобной жизни граждан величайшей в мире тирании. Хотя здесь мы жили и работали среди свободных людей, мы оставались запуганными подданными полицейского советского государства. Мы не имели ту свободу слова, свободу печати, свободу совести и свободу от страха, которыми обладали наши американские коллеги, за исключением тайных встреч, да и то под угрозой сурового наказания.

Наши мысли, наши чтения, наши встречи с кем мы могли встречаться — всё было строго регламентировано и контролировалось, как если бы мы всё ещё находились в Советском Союзе. Каждое наше слово и действие подвергались тщательно разработанной системе шпионажа. У нас был партийный комитет, партийная ячейка, специальный или секретный отдел — полный арсенал политического запугивания и слежки НКВД, которым мы были опутаны дома. И здесь таинственные сейфы были полны информации и злонамеренной дезинформации о каждом из нас. Но то, что казалось естественным, почти неизбежным в Советском Союзе, часто выглядело гротескно и безобразно на американском фоне.

На чисто деловых и технических конференциях председательствовал генерал Беляев, позже его преемник, генерал Руденко. Но на заседаниях партийного бюро Комиссии, где обсуждались действительно важные вопросы политики,

товарищ Серов занимал самое важное положение. Иногда под руководством генерала начиналось заседание, на котором присутствовали только коммунисты, а затем, когда техническая часть заканчивалась, он уступал товарищу Серову свое место во главе стола. Двери в этот момент неизменно запирались с тем, чтобы партийное собрание могло начаться.

Та же самая двойная система власти действовала во всех подразделениях организации. Товарищ Растарчук руководил техническими конференциями нашего Металлургического отдела, но руководство переходило к секретарю ячейки, товарищу Маркову, и товарищ Растарчук становился всего лишь одним из рядовых членов, когда на повестке дня стояли партийные дела. Тот, кто не представляет себе эту картину однопартийной диктатуры, дергающей за ниточки за фасадом правительства, не сможет понять природу советского тоталитаризма.

Моя базовая зарплата составляла около 300 долларов в месяц. Поскольку я большую часть времени проводил в поездках, имея щедрый командировочный счет, и получал дополнительные средства на развлечения, когда этого требовала деловая стратегия, мой реальный доход фактически был больше. Самым досадным ограничением с самого начала было ограничение наших контактов с американцами.

Американцы, среди которых я теперь жил и работал, очаровывали меня. Они казались мне совершенно непохожими на русских, — людьми как бы не только другой расы, но почти другого вида. Но нам было строго запрещено заводить с ними дружбу, за исключением конкретных деловых целей. Заведя знакомство с американцем, мы были обязаны представить подробный отчет о нем, охватывающий не только рутинные данные о его личности, но и наше впечатление о его политических настроениях, его чувствах по отношению к Советскому Союзу. Разрешалось ли этому знакомству развиваться, зависело от вышестоящих коммунистических чиновников. Именно им предстояло решить, является ли контакт «желательным» или нет.

Однако, неизбежно, я познакомился с десятками людей в вашингтонских организациях, связанных с масштабной программой помощи Ленд-Лиз, в том числе и тех, кто работали в Комиссии. Меня много раз смущала их сердечность, готовность показать мне всё, их непринужденная беседа. Советскому чиновнику, искушенному в интригах и пропитанному всяческими

опасениями, американская откровенность и отсутствие подозрительности казались почти детскими.

Шансы встречи с американцами значительно возрастали, когда они оказывались русского происхождения или потомками русских. В этом случае всегда существовал страх, что они могут быть сторонниками какой-либо антисталинской фракции. В то же время искушение завести знакомства среди бывших русских было самым сильным, хотя бы из-за общего языка.

Волна про-советских настроений, залившая Соединенные Штаты после советских побед на войне, представляла постоянную опасность для находящихся здесь советских граждан. Американцы стремились показать свою добрую волю и благодарность. Они уговаривали нас прийти к ним домой в гости, в их клубы, присоединиться к ним и выпить в каком-нибудь баре. Уклоняться от их благонамеренного гостеприимства было не всегда легко. Если мы уступали настойчивому приглашению, то оказывались в ловушке. Мы всегда защищали себя, сообщая куда-нужно всю требуемую информацию.

Одна пожилая американка, занимавшая скромную должность в Комиссии, несколько раз просила меня навестить ее. Зная, что у меня нет семьи, ее материнское сердце было тронуто. Под тем или иным предлогом я избегал принимать ее любезность. Однажды вечером, как назло, я случайно встретил ее на улице. Оказалось, что мы находимся совсем рядом с ее домом, и что к нам заглянут несколько друзей. Я почувствовал, что не могу отказаться зайти к ней выпить чашку кофе, не обидев ее. Я пробыл в ее доме всего час. Прибыли другие гости, и мы немного поболтали.

Несколько недель после этого я пребывал в состоянии мучительной тревоги. Мое сердце сжималось каждый раз, когда меня вызывали в кабинет секретаря партии. А вдруг кто-то меня увидел и «всё рассказал»? А вдруг сама американка невинно поведала ужасную правду не тем людям? Наши американские сотрудники по большей части не знали о давлении, под которым работали мы, советские.

Табу на общение с американцами, конечно, не распространялось на тех, кого мы хотели привлечь на свою сторону по деловым или политическим причинам. В этом случае, наоборот, нам предоставлялись специальные средства на пышные развлечения, и нас поощряли делать все щедро и даже

показным образом. Мы должны были демонстрировать, что мы - «мирные люди», представляющие богатую, могущественную и щедрую страну. Мне рассказывали о ценных подарках, включая дорогие меха, преподнесенных американцам, чье благорасположение к нам мы считали полезным. Получатель подарка мог считать это личным и спонтанным жестом не зная, что в каждом таком случае это был конечный продукт официального обсуждения и решения.

Этот контроль над нашими отношениями с американцами дошел до того, что даже новогодние открытки рассылались американским чиновникам и деловым знакомым только с согласия соответствующих органов. Каждому из нас было поручено составить список людей, которым, в соответствии с американскими обычаями, мы хотели бы отправить поздравительные открытки, вместе с текстом поздравлений. Списки и тексты проверялись, редактировались и возвращались нам с официальным разрешением на отправку поздравительных открыток. Однако, чтобы удостовериться, что мы не отступили от предписанного формата, фактическую рассылку осуществляла сама Комиссия.

Секс и привлекательная внешность также были поставлены на службу для получения нужных сведений или инсайдерской информации по какой-либо сделке. Однажды меня вызвал к себе высокопоставленный чиновник Комиссия. Он объяснил мне «проблему», с которой столкнулся. Было важно ускорить решение определенного вопроса в Управлении Военного Производства, а ключевым лицом в этом конкретном бюро была одна молодая женщина.

«Я хочу, чтобы ты познакомился с этой женщиной, Виктор Андреевич, — сказал он, — и подружился с ней. Своди ее в ночные клубы, покупай ей подарки и включи свое обаяние. Остальное, я уверен, будет легко».

Он был очень недоволен, когда я категорически отказался играть роль ловеласа в этом деле. Я сослался на отсутствие таланта в этой области и на трудности с моим несовершенным английским, и в конце концов избежал этой неприятной обязанности.

Когда я возвращался за свой стол после недели или двух в поездках, в основном в компании американских технических специалистов и бизнесменов, то жизнь в Комиссии всегда казалась мне вдвойне более

гнетущей. Я чувствовал себя так, словно возвратился в тюрьму после увольнения. Мне приходилось снова сосредотачиваться на обременительных тюремных правилах, от которых так много порядочных русских людей страдали в Комиссии. Также как и в СССР, нам, тоталитарным подданным за границей, приходилось держать свои мысли при себе, лишь изредка раскрывая уголок своего истинного разума и сердца немногим, кому мы доверяли. Но и в таком доверии, в лучшем случае, царила неуверенность. Мы делали вид, что не замечаем свобод, которыми пользуются американцы. Выражать восхищение или даже терпимость к американскому образу жизни означало бы навлекать на себя политическое самоубийство.

Я знаю, что нелегко сделать наше умонастроение достаточно убедительным для американцев. Как они могли поверить моему забавному, но и в то же время траги-комическому опыту с Митей? Он тоже был советским человеком за границей, работавшим в «Амторге», советской торговой организации. Однажды, находясь в Нью-Йорке по делам, я без предупреждения заглянул в номер Мити в гостинице. Я застал его с поличным в разгар ужасного преступления; он читал какой-то русскоязычный журнал, «контрреволюционное» издание, на которое нам было запрещено даже смотреть.

«Так вот что ты читаешь!» — воскликнул я, притворяясь потрясенным.

Мой друг побледнел, на его глаза навернулись слезы. Он понимал, что его судьба теперь в моих руках. Если я сообщу об его богохульстве, его немедленное водворение в Россию будет почти неизбежным, а после этого — исключение из партии со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно не только для него самого, но и для всей его семьи. Он пытался защититься, он подбирал слова. В паническом страхе он умолял меня пощадить его.

«Поверь мне, Виктор Андреевич, даю честное слово коммуниста, что я всего лишь хотел узнать, что эти негодяи пишут про нас. Умоляю тебя ничего не говорить о моем проступке. Мы знакомы много лет. Если ты сообщишь обо мне, ты погубишь мою жизнь».

Видя перепуганного насмерть Митю, я начал испытывать раскаяние. Я заверил его, что у меня нет намерения доносить на него, и что, более того, я сам читаю этот журнал.

«Какие же мы с тобой крепостные рабы, Митя, — вздохнул я. — Как же мы боимся друг друга и даже собственных мыслей. Что они хотят из нас сделать? Шпионов, лжецов, марионеток, неспособных на истинную веру и дружбу? Почему наши начальники боятся позволить нам читать то, что нам нравится? Боятся ли они, что мы узнаем какие-нибудь неприятные истины? Быть невольником в Москве и так тяжело, а здесь, в Америке, в тысячу раз тяжелее».

Но даже эти откровенные слова не успокоили его тревогу. Напротив, они заставили его думать, не пытаюсь ли я заманить его в ловушку, склонить к каким-нибудь опасным заявлениям. Он окончательно успокоился только тогда, когда я отвел его в свой номер в гостинице "Пенсильвания", открыл свой портфель и показал ему, что у меня есть такое же периодическое издание.

Только тогда он открылся, и в ходе долгой ночной беседы по душам я узнал, что он ненавидит и презирает советский большевистский режим так же сильно, как и я. Только наличие большой семьи в России, по его словам, удерживало его от того, чтобы вырваться на свободу и объявить о своей независимости. Я устоял перед искушением рассказать ему о своих намерениях, потому что не хотел обременять его таким неприятным знанием.

Хотя нам прямо не запрещали читать «Нью-Йорк Таймс» или вашингтонские газеты, делать это было бы неосторожно. Издания Херста и Скриппса-Говарда почитались за контрабанду. Единственным безопасным способом было читать коммунистическую «Daily Worker», русскоязычную газету «Russky Golos», нью-йоркский таблоид «PM» и про-советские еженедельники, такие как «Nation» и «New Republic». «Life» тоже тогда считалась идеологически приемлемой — особенно после того, как в ней вышел русский материал, содержащий гораздо больше про-советской пропаганды, чем правды; Этот привилегированный статус, как мне кажется, был утрачен одним махом со статьей бывшего посла Уильяма К. Буллита о советской политике в Европе.

Однажды по дороге в Вашингтон, в вагоне Pullman, я просматривал номер журнала Saturday Evening Post, когда вошел коллега из Комиссии. Он сел, и мы немного поговорили о работе. Затем я сказал что-то о журнале, его

иллюстрациях и рекламе. Меня особенно заинтересовала статья, которая, как мне показалось, резко критиковала американское правительство.

«Эти американцы, — сказал я, — определенно не стесняются говорить то, что они думают о своих государственных деятелях, начиная с президента Рузвельта».

Это было небрежное, необдуманное замечание, которое я забыл, как только произнес. Несколько дней спустя секретарь моей партийной ячейки, товарищ Марков, вызвал меня в свой кабинет.

«Как прошла ваша поездка?» — спросил он.

«О, довольно хорошо».

«Вы встретились с товарищем Б., не так ли?»

«Да, это верно».

«В чём заключался ваш спор с ним?»

«Спор?» — я был озадачен. «Я ничего об этом не помню».

«Боюсь, товарищ Кравченко, что вы не желаете открыто говорить со мной, а это плохо. Вы не откровенны со мной. Хотите, я вам напомню? Вы ведь не забыли, как вы критиковали советскую прессу и жаловались, что мы не подвергаем нападкам на товарища Сталина?»

«Это ложь!» — закричал я. «Я настаиваю, чтобы вы вызвали товарища Б. Я заставлю его взять свои слова обратно».

Товарищ Б. в моём присутствии не осмелился настаивать на рапорте, который он представил о моих «контрреволюционных высказываниях».

Секретарь ячейки решил оставить этот вопрос. Но этот случай еще раз напомнил мне об необходимости держать язык за зубами.

Ещё один небольшой эпизод: Однажды я заболел и несколько дней пролежал в постели. Несколько американских сотрудников прислали мне дружеские письма, выражая надежду на моё скорейшее выздоровление. Это был человеческий жест, в котором высказывалось тёплое чувство товарищества. Вернувшись на работу, я имел веские основания сожалеть об их доброте. Так как мой английский был недостаточен для того, чтобы понять

содержание писем, я принёс их на работу, чтобы попросить кого-нибудь перевести их для меня.

Я забыл обо всём этом, пока меня внезапно не вызвал тот же самый товарищ Марков. Он начал сурово допрашивать меня о моих отношениях с каждым из американцев, написавших мне. Что лежит в основе этого необычайного дружества ответственного партийного деятеля с окружающими его «классовыми врагами»? Он закончил торжественным выговором и наставлением остерегаться ловушек капиталистической среды. Я посчитал себя счастливчиком, что отделался так легко.

Переписка стала причиной еще одного политического кризиса в моей вашингтонской карьере. Открытка, адресованная мне капралом американской армии, дислоцированной во Флориде, случайно попала в поле зрения высокопоставленного чиновника Комиссии. Меня тут же вызвали к партийным властям по обвинению в несанкционированной «связи с американскими вооруженными силами». Мне пришлось долго объяснять, что капрал — сын тех самых людей, с которыми я жил на квартире.

«Это был просто дружеский, человеческий жест, не имеющий никакого политического значения», — умолял я. «Кроме того, я воздержался от ответа этому юноше».

Последнее утверждение было ложью. На самом деле я ответил на его приветствие. Если бы я поступил иначе, он бы подумал, что все русские — грубые невежды. Однако небольшая ложь — это достаточно малая цена за возможность ускользнуть, когда тоталитарный субъект оказывается в такой горячей переделке.

В здании Комиссии есть библиотека. Однажды вечером я попросил дежурного библиотекаря принести для меня две книги: роман «Я люблю» Авдеенко и исторический труд писателя Вирта, в котором упоминался генерал Тухачевский. Ни одной из книг не оказалось в наличии. Я взял несколько других и забыл об этом.

Но вскоре после этого меня вызвали на ковер мои партийные начальники. Оказалось, что я совершил целый ряд ошибок, от простых грехов до возможных преступлений. Мой предполагаемый интерес к генералу Тухачевскому, казненного как предателя, вызвал, очевидно, тревогу; разве я не знал, что эту книгу Вирта больше не читают в СССР? Мое невежество не

было оправданием — хороший коммунист знает, кто такие «враги народа». Что касается романа, который когда-то пользовался большой популярностью в России, то, похоже, он был запрещен советскими властями по какой-то причине, и теперь находится в литературном черном списке. Почему мне захотелось прочитать эту «контрреволюционную» историю именно сейчас? Короче говоря, я был глубоко скомпрометирован в глазах хранителей мой партийной непорочности.

К слову сказать, библиотека была одним из важных инструментов для контроля наших мыслей. Отрезанные от контактов с американцами, большинство из нас не владели английским языком и были вынуждены читать в основном по русски. Выбор книг и периодических изданий тщательно отслеживался библиотекарями-шпионами. Даже книги, которые мы просматривали, фиксировались. Все это было полезными показателями нашего душевного состояния и поэтому должным образом заносилось в наши личные досье.

В библиотеке было много легкой литературы наряду с тяжелыми томами по истории партии и другим идеологическим темам. Чтобы сбалансировать количество моего более легкомысленного чтения, я часто брал более политически корректные книги, даже не имея ни малейшего намерения их читать.

Навязчивый страх наших партийных надзирателей заключался в том, что мы можем поддаться буржуазной среде и ее влиянию. Поэтому нашей задачей было постоянно демонстрировать, что наша вера остается твердой и непоколебимой. По предложению товарища Серова, мы снова и снова изучали «Историю партии», «Проблемы ленинизма» Сталина, и т. д. На закрытых партийных собраниях мы подбадривали друг друга, демонстрируя веру в партию и в Хозяина.

Границы личного пространства были еще *уже*, чем дома. Единственный адрес, известный нашим родным и друзьям в России, был адрес Комиссии, где каждое письмо читалось перед тем, как передать его нам, несмотря на то, что оно уже было проштамповано советской цензурой.

Почта, отправляемая кому-либо в Россию через кого-нибудь, направляющегося в СССР, должна была доставляться в *открытом* виде для пересылки Комиссией.

Нам было запрещено посещать ночные клубы, смотреть «контрреволюционные» фильмы или спектакли, слушать радио передачи, считавшиеся «недружественными» к Советскому Союзу. Для нас лучше было совершить убийство, чем читать анти-советскую книгу. Будучи людьми, мы совершали многие из этих проступков — искушения к политическим грехам в демократической стране непреодолимы, — но всегда со страхом и трепетом; многие заплатили за такие проступки своей карьерой.

Масштабы и сложность слежки и шпионажа, которому подвергался советский человек за границей, поистине ошеломляют. От каждого из нас, как от лояльного члена партии и в целях самозащиты, ожидалось, что мы будем доносить о подозрительных словах и поступков своих коллег. Это воспринимается как само собой разумеющееся, будь то в Москве или Владивостоке, в Вашингтоне или Чикаго.

Но, помимо этого, у советской коммунистической партии был целый ряд специальных агентов, разбросанных по всей Комиссии, которые, казалось бы, занимались различными техническими задачами, но на самом деле их главной задачей было слежение за окружающими. Помимо этого, самым пугающим была раскинутая сеть работников НКВД, неизвестная нам, конечно, которые шпионили на более профессиональном уровне. Даже генерал во главе Комиссии и сам товарищ Серов не были свободны от этого всеобщего полицейского надзора.

Поскольку мы не знали, кто были доносчиками — обычно сам доносчик не знал личности своих коллег-осведомителей — единственной гарантией безопасности было считать, что каждый, кроме самых близких друзей, является доносчиком. Примечательно, что, несмотря на эту деморализующую систему, многие из нас подружились между собой и, под клятвой секретности, делились своими мыслями, недовольством и отчаянием. Товарищ Серов не подозревал, сколько его подчиненных приехали из России в состоянии полного разочарования и сколько еще были в состоянии кризиса, зараженые демократическим вирусом здесь в Америке. Большинство таких подданых тоталитарной советской страны были людьми, подвергшихся обесчещеванию и унижению режимом, основанного на взаимном недоверии.

Когда иностранный коллега проявлял необычные признаки дружелюбия, здравый смысл требовал, чтобы мы учитывали возможность того, что он или

она пытались завоевать наше доверие с определенной целью. Мы слишком хорошо знали, что разговоры на «опасные» темы часто провоцировались рьяными товарищами-осведомителями или профессиональными советскими разведчиками, чтобы проверить нашу невосприимчивость к греховному американскому окружению.

Благодаря моим долгим годам работы в советском госаппарате, и особенно периоду, проведенному в Совнаркоме, я лично был знаком со многими высокопоставленными советскими чиновниками и руководителями. К моему удивлению, некоторые из них занимали на удивление скромные должности в Вашингтоне. У меня не было сомнений, что их мнимые должности в Соединенных Штатах не обязательно соответствовали их реальным обязанностям. В рамках советско-американского соглашения лишь ограниченное количество советских официальных лиц может въезжать по обычным дипломатическим паспортам. Поэтому дополнительный контингент чекистов ввозится под видом экономических функционеров и специалистов.

Однажды в лифте здания Комиссии я оказался лицом к лицу с довольно важным чиновником из Москвы. В моей памяти всплыло воспоминание о том, как я видел его на премьере пьесы «Фронт» в компании двух генералов НКВД. Тогда он сделал вид, что не знает меня. Однако позже он разыскал меня и предупредил, чтобы я не показывал вида, что знаю его, и не раскрывал его личность, поскольку он был здесь по специальному деловому заданию. Для американского правительства, он был, по-видимому, всего лишь мелким винтиком в системе ленд-лиза, хотя в действительности он был важным чином Московского комитета коммунистической партии.

Какова бы ни была конкретная работа советского экономического представителя, важной частью его обязанностей является также получение всех возможных разведданных об американских компаниях, технологиях, военных разработках, научных процессах и тому подобном. Это была часть четких инструкций, которые я получил перед отъездом из СССР, и они постоянно повторялись чинами Комиссии. На закрытых партийных собраниях мы не скрывали, что сбор военно-экономических данных и всей другой полезной информации должно быть для нас первостепенной задачей при посещении американских заводов и учреждений.

На закрытых собраниях нам постоянно говорили, что обстоятельства войны сделали нас союзниками Англии и Америки, но мы не должны доверять ни одному американцу. Плутократические демократии воспользуются первой же возможностью, чтобы подорвать нашу советскую систему.

В нашей самой первой встрече товарищ Серов сказал:

«У вас не должно быть никаких иллюзий относительно наших отношений с Соединенными Штатами. Сегодня мы рассматриваем наши отношения с капиталистической Америкой как полезные в дипломатическом и военном отношении. Это не означает, что наши интересы могут когда-либо совпадать. В самой войне и в будущем мирном периоде наши пути и цели совершенно иные. Если вы будете помнить об этом, вы поймете, почему мы должны оставаться бдительными, подозрительными, всегда на чеку».

Однажды всех коммунистов, составлявших в нашей организации около 90 процентов ответственных должностных лиц, вызвали на специальное совещание. Когда двери были заперты, товарищ Серов объявил, что у него есть важные новости. Он выглядел очень серьезным. Важные новости были в виде очень длинного документа, который он медленно и выразительно зачитал нам; затем мы все поставили под ним свои инициалы, подтверждая, что знакомы с его содержанием.

Документ был подписан товарищем Микояном, комиссаром внешней торговли, но это явно был документ, разработанный в НКВД заодно с советской военной разведкой. По сути, это были подробные инструкции о том, какую информацию в Соединенных Штатах мы должны искать, как ее собирать, как замести следы, как передавать ее в Советский Союз. Хотя в целом это было лишь повторением инструкций, уже данных нам ранее, оно, очевидно, задумывалось как своеобразный курс повышения квалификации шпиона и как напоминание о том, что вышестоящие власти рассчитывают на то, что мы выполним свой долг в этом вопросе под прикрытием ленд-лиза.

3

Везде, куда бы я ни поехал в Америке, я получал более чем достаточную дозу всеобщего и безграничного восхищения «нашими доблестными русскими союзниками». Такое чрезмерное восхваление иногда заставляло меня морщиться. Тем не менее, было приятно знать, что жертвы моего народа ценятся.

Но это восхищение также стало источником моих самых раздражающих и порой унизительных переживаний здесь, поскольку оно приняло странный, даже гротескный оборот. Истерически искажая как логический, так и всякий здравый смысл, не только недавние победы СССР, но и сокрушительные поражения, предшествовавшие им, были в Соединенных Штатах в целом приняты как доказательство правомочности советского большевистского режима. Победы Гитлера доказали могущество Германии, но победы Сталина каким-то образом подтвердили правомочность большевизма.

Действия русских были великолепны. Это я знал лучше, чем любые американские энтузиасты, потому что я осознавал, в отличие от американцев, что мой русский народ был ограничен в своих возможностях неуклюжим, бюрократизированным и деспотическим советским государством. Я не мог игнорировать тот факт, что мы сражались на своей территории, имея в своем распоряжении почти неисчерпаемые людские ресурсы, полную эксплуатацию нашей промышленности и огромную американскую материальную помощь. Почему дорогостоящие победы советской России должны были быть приписаны коммунизму, мне было непонятно. Будучи советским чиновником, находящимся под почти постоянным наблюдением, я не мог высказаться, не мог защитить своих соотечественников от этого, как мне казалось, искажения фактов. Тысячу раз мне приходилось выслушивать от американцев, как советской коммунистической диктатуре приписывали все заслуги русского народа.

Внутри Советского Союза пакт Молотова-Риббентропа 1939 года упоминался редко. В официальных текстах и речах этот период был описан невнятно. Но в Америке сам пакт незаметно превратился в еще одно доказательство мудрости Сталина и правильности его политики. Почти в одно время эти люди освистали политику умиротворения Гитлера в Мюнхене и приветствовали ее в Москве. Каким-то образом считалось, что для союзников было неприличным выиграть время, направив энергию Германии на восток против Польши и России, но втянуть Германию в войну на западе против Франции и Англии считалось доказательством государственной мудрости Сталина.

Американцы склонны были объяснять все в пользу Сталина, что, как мне казалось, дискредитировало демократические режимы. В Америке, похвалы Сталину и его режиму неслись отовсюду. Каждая дипломатическая ошибка

Кремля, сговор Сталина с Германией, его некомпетентность в ведении войны, каждая его оплошность подобострастно выставлялись в американских газетах и американских разговорах как особые, почти мистические добродетели Сталина.

Я тщетно и, без сомнения, наивно ожидал услышать от демократических граждан Америки: «По меньшей мере эти русские заслуживают свободы и демократии». Напротив, я обнаружил поразительную бессердечность по отношению к трагедии русского народа, понесшего неисчислимые жертвы под игом большевизма. Она основывалась в значительной степени на невежестве, что было бы простительно, но также и на безразличии, что было явно оскорбительно. Демократические устремления корейцев или венгров находили в США понимание и поддержку, но демократические устремления русских были объявлены вне закона и рассматривались как своего рода предательство.

Уже в первые недели после моего приезда я начал понимать, что кто-то где-то умело управлял американским сочувствием к русским в интересах советского режима. То, что должно было стать предзнаменованием русской свободы, было искажено и превращено в защиту и оправдание советского большевистского деспотизма. Власть режима Сталина над американским сознанием, как я с ужасом осознал, была почти такой же крепкой, как и его власть над советским сознанием.

«Но британцы ведь тоже союзники», — помню, как тихо сказал я своему новому американскому другу, — «и все же я слышал, как вы их резко критикуете. На днях вы сказали, что английские массы должны восстать против правительства тори и империалистов. Почему бы не проявить такую же откровенность и смелость в критике советского режима?»

«О, это другое».

«Вы хотите сказать, что русские — единственные в мире, кто не имеет права на революцию?»

«Теперь вы шутите, Виктор».

Я не шутил. Я попробовал другой подход.

«Мы, русские, — сказал я, — храбро сражались и гибли в Первой мировой войне против Германии. Разве вы, американцы, в то время превратились в

фанатичных поклонников царя и царизма? Разве вы тогда говорили, что это было окончательным доказательством того, что русские массы преданы своим цепям и тюремным надзирателям, как вы это говорите теперь?»

«О, это совсем другое».

Его убежденность не поддавалась лечению ни разумом, ни аналогией.

Под ней, конечно же, скрывалась та блестящая картина счастливого и процветающего «советского» народа, навязанная внешнему миру лучшей пропагандистской машиной за всю человеческую историю. Малейшая попытка соскоблить немного блеска, обнажить нищету, убожество и моральную уродливость под ней скрывавшуюся, вызывала негодование у большинства американцев почти такое, как если бы под угрозой оказались их глубочайшие религиозные убеждения.

В американском массовом сознании, казалось, произошло невероятное: советская большевистская диктатура полностью отождествилась с русским народом. То, чего коммунистам еще не удалось сделать в России — как показывают террор, чистки и миллионы политических заключенных, — им удалось это сделать в Америке! Свобода слова и печати не ограничивалась в отношении критики других союзников — Великобритании, Польши, Чехословакии, Китая — и даже получила полную свободу действий в отношении американского правительства и его ведения войны. Но в том, что касается интересов, престижа СССР и советского диктатора, то тут громадное моральное давление поддерживало своего рода мораторий мораторий на эти свободы для русского народа. Плоды про-советской пропаганды в Америке ощущались повсюду. Я видел, как мужчины и женщины, которые сами называли президента Рузвельта диктатором, приходили в негодование, когда диктатором называли Сталина.

В Америке, как я обнаружил, существовало мощное табу на любые сомнения в действиях Сталина и Кремля внутри СССР или за его пределами. Один «либеральный» издатель даже призвал убрать с книжных полок все книги, неприятные Москве! Мне сообщили, что другие издательства, по собственной инициативе или по указанию вышестоящих властей, отказывались публиковать определенные книги исключительно потому, что они могли не понравиться Сталину. Американская пресса была наполнена безудержными похвалами Сталину и Советскому Союзу. Лишь несколько

небольших периодических изданий осмелились напечатать то, что американцы называют «антисоветскими» статьями.

«Новости», поступавшие в американскую прессу от московских корреспондентов были хуже бесполезных. У себя дома, мы за годы советской власти научились игнорировать, интерпретировать, читать между строк в советских газетах. Но американские корреспонденты в Москве фактически просто передавали выдержки из московской прессы; никаких других источников информации им не было доступно. Но их читатели дома не были способны разпознать истинную ценность такого материала. Они принимали его за правду буквально, без критики. Каждая кремлевская ложь, или дипломатический ход, таким образом, доходила до американского сознания с кажущейся достоверностью, заверенной американской подписью и находила здесь более легкое подтверждение, чем в СССР.

Как объяснить людям, воспитанным в демократических традициях, что цензурированные, контролируемые «новости» зачастую хуже, чем их отсутствие?

Преобладающие в Америке представления о чудесах советизма были поистине экстраординарными. Значительная часть советской коммунистической реальности, такая как рабский каторжный труд, массовые убийства, полицейское государство, диктатура Сталина, массовый террор, масштабные периодические чистки, небывало низкий уровень жизни населения, великий голод 1932-33 годов, ужасы смертоносной коллективизации, организованный государством детский труд, – все это, казалось, полностью ускользало от внимания американской публики. Все эти вещи глубоко осознавал каждый в России. Некоторые из нас могли бы объяснить это как необходимое, неизбежное или даже благородное, но нам и в голову не приходило отрицать это. Однако, когда я осмеливался упомянуть подобные вещи (в моменты, когда был возможен откровенный разговор), американцы смотрели на меня с недоверием, а некоторые даже спешили самоуверенно всё отрицать.

Я пришел наконец к убеждению, что величайший советский триумф произошел в области внешней советской пропаганды. Через некоторое время моя убежденность на этот счет свелась к своего рода формуле: *если Советский Союз через двадцать лет станет хотя бы наполовину так же*

хорош, каким считает его американская публика, то это будет величайшим социальным достижением в истории…

В Америке среди тех, кто знал о некоторых неприглядных сторонах жизни при советской власти, я обнаружил странное благодушное желание взвалить всю вину на одного Сталина. Это позволяло им снисходительно принимать советские ужасы как своего рода интерлюдию перед наступлением рая. После Сталина — а он же смертный человек, не так ли? — «советская демократия» начнет процветать. В России я тоже сталкивался с этой тенденцией возлагать все накопившееся зло на одного человека, но в США этого самообмана было гораздо больше.

К сожалению, зло это органически присуще всему советскому строю, и строй этот, безусловно, не умрет со Сталиным. Какой-нибудь другой тиран или тираническая клика продолжит его.

Однажды я оказался в небольшом американском промышленном городе в компании нескольких убежденных консервативных капиталистов, весьма отрицательно относившихся к рабочему движению. Справедливости ради, сказали они, им следовало бы сказать мне, что они против советской системы, более того, что они ненавидят ее и боятся ее влияния на американское общественное сознание.

Каково же было их представление об этой системе, которую они ненавидели? Я начал выпытывать у них ответы. К моему удивлению, я обнаружил, что они считали большевистскую Россию страной, в которой «правят рабочие», в которой крестьяне «живут в кооперативном обществе», и в которой «все равны»! Поскольку тут присутствовал еще один советский чиновник, я оказался в мучительном положении, не в силах объяснить этим дезинформированным людям, имевшим чудовищно извращенное мнение о положении в СССР, что в Америке больше рабочего контроля, больше влияния профсоюзов, больше подлинно кооперативного земледелия, больше личной свободы, чем советские русские смеют мечтать.

В библиотеке Комиссии я нашел несколько речей Генри А. Уоллеса. Переводчик прочитал мне отмеченные отрывки о России. Я не мог поверить своим ушам — вице-президент демократического правительства в США восхвалял то, что он называл «экономической демократией» в сталинском полицейском государстве!

Наши секретные и специальные отделы на каждом советском заводе и учреждении, контролируемые государством профсоюзы, отсутствие подлинных коллективных переговоров, смертная казнь за забастовки, стахановская и сдельная системы оплаты труда, трудовые книжки, законы, карающие опоздание более чем на двадцать минут голодом, пытки, концлагеря и колонии принудительного каторжного труда — неужели мистер Уоллес не знал этих общеизвестных российских фактов, или он, с помощью какой-то рационалистической уловки, действительно рассматривал их как аспекты «экономической демократии»?

Я с трудом дочитал книгу Венделла Уилки, *Один мир*. Я работал тогда в Совнаркоме во время его визита в СССР и знал, что ни один пропагандистский трюк не был упущен в плане произвести на него впечатление. Ничего не происходило само собой — всё было спланировано. Теперь я поразился и ужаснулся успехам советской пропаганды. Как мог человек, удивлялся я, быть так искусно обманут за столь короткое время? Когда я читал его главы о России, у меня возникало ощущение, что он говорит о стране, в которой я никогда не был, стране где-то по другую сторону Луны. Книга была несомненным триумфом тоталитарной марксистской пропаганды.

Господин Уилки рассказывает, как он собрал подходящую ему по духу группу советских журналистов в московской гостинице для откровенного без обиняков, без записей, без протоколов разговора. Дверь была заперта, и они «рассказали начистоту все, что знали ». Если бы я писал пьесу, высмеивающую наивность американских людей за границей, я бы включил эту сцену без изменений. Неужели господин Уилки и его американские коллеги действительно верили, что получат правдивую информацию, заперев дверь и исключив «чиновников»? Неужели они действительно не поняли, что каждый советский журналист, инженер или туристический гид — это «чиновник», живущий под постоянным контролем и принуждением? Сама идея «неофициальной» беседы начистоту, по душам с советским подданным в пределах слышимости другого советского подданного или возможного диктофона свидетельствует о полнейшем незнании тоталитарных реалий в Советском Союзе. Каждый из этих журналистов, конечно же, сообщил куда следует об этой встрече , особо подчеркнув свою преданность в деле защиты коммунистического режима и наполнив господина Уилки предписанными сверху «мнениями».

Иначи они и не могли поступить. В СССР, каждый журналист, крупный хозяйственник или другой советский гражданин, чья работа приводит его к контактам с иностранцами, формально и официально обязуется в письменной форме незамедлительно сообщать в НКВД обо всех встречах с иностранцами и предоставлять полную информацию о том, что было сказано и сделано. «Откровенный» обмен мнениями, которым так гордился г-н Уилки, немедленно и в мельчайших подробностях стал известен внешнеполитическому отделу НКВД, пресс-службе комиссариата иностранных дел, внешнеполитическому отделу Центрального комитета партии и всем другим заинтересованным организациям. Можно с уверенностью сказать, что лучшей официальной конференции никогда не было.

Пожалуй, самый мучительный вечер в Америке я провел в кинотеатре в Вашингтоне. Я был благодарен за темноту, которая скрывала то смятение духа, которое, я уверен, было написано на моем лице. Другой советский чиновник, который был со мной, тоже член партии, ерзал на стуле; я не сомневался, что он был так же поражен, как и я. Это был вечер, когда я смотрел фильм под названием «Миссия в Москву», основанный на одноименной книге бывшего посла в Москве Джозефа Э. Дэвиса. То, что я увидел, было жестоким, грубым оскорблением русского народа — карикатура на русскую революцию и насмешка над его долгими страданиями.

Книга была скорее абсурдной, чем злой; смесью невежества и двоемыслия, и по большей части просто глупой; но кое-где она смягчалась крупицей правды. Фильм тщательно обходил эти крупицы и добавлял кошмарные выдумки, которых не было в книге. Везде, где голливудские режиссеры сталкивались с выбором между фактом и вымыслом, между реальностью и бессмыслицей, они тщательно выбирали вымысел и бессмыслицу. Так случилось, что я был хорошо знаком с сибирской фабрикой, фигурировавшей в одном из процессов над участниками чисток; более нелепый карикатурный образ, чем голливудская версия, едва ли можно было придумать. Ни один советский пропагандистский фильм не осмелился бы так безрассудно искажать факты. Американские пропагандисты, очевидно, рассчитывали на невежество своей аудитории, чтобы «сбыть с рук» свою фантазию. В этом смысле, кстати, фильм был таким же оскорблением для американцев, как и для русских. Неудивительно, что московская «Правда» щедро хвалила

господина Дэвиса и его книгу, цитируя его слова о том, что советское правосудие было безупречным, что пятая колонна была уничтожена в результате чисток, что ликвидация высокопоставленных коммунистов была полностью оправдана. Какое странное чтение оно представляло для знающих русских!

Ликвидация этих большевиков, была лишь небольшой частью более масштабного кровопролития, в котором погибли сотни тысяч невинных мужчин и женщин. Но в фильмах братьев Дэвис и Уорнер весь этот ужас был сведен к мелкому заговору в стиле *оперы-буфф*, представленному несколькими комичными старыми большевиками и иностранными агентами, изображенными как «пятая колонна».

Эпохальное политическое событие, на фоне которого Варфоломеевская ночь, террор французской революции и армянские погромы выглядят как мелкие уличные потасовки, здесь было сведено к размерам салонного фарса.

Я сам пережил чистку. Хотя я пострадал меньше, чему другие жертвы, я испытал ее унижения на себе, и физически, и духовно. Теперь в американском кинотеатре я увидел, как мои собственные страдания и страдания моей страны высмеиваются в карикатурном и фальсифицированном виде. Я наблюдал за этой жуткой сценой, когда Голливуд глумился над трупами жертв и восхвалял убийц.

Когда я вышел из этого ужасного состояния тем вечером, то увидел, что я поранил ладони ногтями, оставив следы крови. Мой спутник и я посмотрели друг на друга — одного взгляда было достаточно, слов не требовалось. Я проворочался всю ночь в постели, не засыпая.

Ещё один фильм, отражающий американский миф о советской России, который довёл меня до беспомощного отчаяния, назывался «Полярная звезда». Действие происходило в комично-оперной деревне в сказочной стране, где сытые, живописные и беспечно счастливые крестьяне живут весело и беззаботно, поют, танцуют и любят от рассвета до рассвета. Это была волшебная деревня со всеми атрибутами сказки, где дороги чистили феи, и даже лошади и коровы были приучены к туалету — во всяком случае, в этой гигиеничной деревне не было никаких доказательств обратного. Но тут мы были не в стране Волшебника Изумрудного Города. Как ни

удивительно, но оказалось, что мы были в коллективизированной деревне в стране Сталина!

Это голливудское изображение коллективизации имело примерно столько же отношения к правде, сколько и голливудская история в фильме «Миссия в Москву». И было множество других фильмов, книг, статей с таким же свойством «другой стороны луны». Американская пропаганда не пошла по пути представления неприятных фактов о советской России и их объяснением. Она выбрала более простой путь – отрицание фактов и создание образа России, существовавшей лишь в их пылком воображении.

«Почему, почему, – постоянно спрашивал я себя, – Америка настаивает на создании рая и размещении его в моей истерзанной стране? Для чего ей нужно обелять каждое советское зло и оправдывать каждый большевистский ужас?»

По-видимому, существовала группа мужчин и женщин – Дюранти, Хиндас, Анна Луиза Стронг, Элла Винтер, Альберт Рис Уильямс, – и это лишь некоторые из них, – которые создали свою карьеру на этой необъяснимой американской любви к советским пропагандистским небылицам; читать их было почти то же самое, что читать московскую прессу. Была и другая, несколько больше и в целом более честная группа – настоящие коммунисты, для которых лгать о России было методом классовой борьбы: их кратчайшим путем к власти. Но почему же большая часть американцев проглотила это?

Больше всего меня поразило глубокое невежество так называемых «экспертов по Советской России» в отношении природы и организации власти в СССР, механизмов управления страной. Тем не менее, писания этих «экспертов» глубоко укоренились в Америке. Однажды в библиотеке американского университета мне довелось обратиться к каталогу. Я был поражен, обнаружив, что наиболее затертыми были карточки работ Ленина и Сталина. Очевидно, некоторые люди изучали их серьезно и много, поскольку они вели к лучшему миру… Я не был удивлен, обнаружив после этого, что некоторые американские, индийские и китайские студенты в этом университете были преданы идее преобразовать свои страны по советскому образцу. Я мог только надеяться, что им не будет суждено пережить тот же горький опыт, что и мне.

Во многих случаях, как я со временем понял, американцы принимали советский миф как замену их собственной реальности. Их возмущала несправедливость жизни в их собственной стране, и им нужно было утешение, подобно тому, как капризного ребенка утешает блестящая, шумная игрушка. Они обманывали не столько других, сколько самих себя. Я особенно остро ощущал этот элемент тревожного самообмана в писаниях так называемых либеральных писателей в журналах *The Nation, The New Republic, PM* и других подобных изданиях. Их отношение к делу казалось мне ужасной тратой благородных намерений.

Если бы только такие люди могли обрести интеллектуальную ясность и моральное равновесие, чтобы понять, что несправедливость в Америке не должна служить оправданием для поддержки несправедливости в других странах! Восторженные возгласы в поддержку террора и кровавых ликвидаций в советской России могут дать им временное духовное облегчение, но это вряд ли способствует достижению более высоких целей справедливости повсюду, включая Соединенные Штаты Америки.

Бывая в американских библиотеках, я обнаружил красноречивые писания американцев, которые во времена царизма публиковали разные книги. Например, была книга Джорджа Кеннана о Сибири. Я также знаю, что десятки русских эмигрантов, типичным представителем которых был Петр Кропоткин, бежали из царской России, чтобы разоблачить и осудить тех, кто держал народ в цепях. Я задавался вопросом, называли ли американские либералы их тогда «антироссиянами» в качестве награды за свою смелость?

В современной Америке я медленно осознавал, что тех, кто осмеливается рассказать правду о сталинской тирании, кто выступает за русский народ и против его большевистских угнетателей, тех игнорируют, отвергают, а иногда и клеймят как «антирусские элементы». Я понял, что мое решение бежать в свободный мир и использовать свободу для защиты своего народа будет не таким простым, как мне казалось издалека. Я осознал, что должен ожидать осуждение и насмешки именно от тех иностранцев, на понимание и поддержку которых я рассчитывал.

Сталинская пропаганда во внешнем мире оказалась более успешной, чем кто-либо из нас в России предполагал. Миф о счастливой коммунистической стране Россия, внутри страны воспринимается как тоталитарная мрачная ирония; но во внешнем демократическом мире, он принимается как истина

буквально, торжественно, в почти религиозном приступе веры значительной частью тех людей, которые формируют общественное мнение в Америке.

ГЛАВА XXVIII

БЕГЛЕЦ ОТ НЕПРАВОСУДИЯ

В газетных сообщениях о моем разрыве с советским большевистским режимом говорилось, что, испытав на деле американскую демократию, я разочаровался в сталинском коммунизме. Именно мой непосредственный опыт знакомства с американской свободой, говорили или подразумевали они, побудил меня покинуть Советскую Закупочную Комиссию.

Это сделало историю более драматичной, а также довольно приятным комплиментом для США. Но это было неправдой. Правда же была в том, что я решился задолго до этого сбросить тоталитарную смирительную рубашку, при первой же возможности, где бы и когда бы она ни представилась. Если бы меня направили в Китай или Патагонию, а не в Соединенные Штаты, я бы предпринял ту же самую попытку добиться свободы для выполнения поставленной перед собой задачи.

Это была задача, которую я взял на себя сознательно, хотя и не знаю, когда именно в моем внутреннем мире я ее взял. Это был результат чувств и дум, которые созревали во мне медленно, но неизбежно. Я был под воздействием всего, чем я был и о чем думал. Я был тронут детством, пронизанным твердым идеализмом моего отца, глубокой религиозной верой моей матери. Их доброта, их любовь к людям были разными по своей природе, но в глубине души каким-то образом идентичными. И именно эта глубина, несомненно, осталась и во мне.

Меня также коснулся дух народа, который породил повстанцев в прошедшие века. Вот, что я знаю: если бы я верил в возможность бороться за свободу внутри советских границ, я бы остался там. … Если бы существовала реальная надежда на перемены к лучшему — на введение политических и экономических демократических свобод, на отказ главарей советского режима от своей международной коммунистической программы, — я бы остался там. К сожалению, сталинская Россия с каждым годом двигалась не к гуманистическим идеалам, а прочь от них.

Надежда на нашу Россию становилась все слабее, экономические свободы и демократические гарантии — все более отдаленными; даже сама память о них, казалось, быстро угасала. Злоупотребления и произвол советской власти росли по своему масштабу и безрассудству. Был момент во время войны, когда некоторые из нас думали, что принципы Атлантической хартии и обещания Четырех Свобод найдут применение и для нашей страны. Но эта иллюзия быстро рассеялась. Что касается нашей страны и народа, мы поняли, что эти документы — всего лишь листки бумаги, не имевшие отношения к реальности.

Почему я продолжал носить смирительную рубашку в течение семи месяцев после прибытия в Соединенные Штаты? Ответ в том, что мне нужно было время, чтобы оценить ситуацию, прежде чем совершить этот ужасающий прыжок. Точно так же заключенный, решив попытаться сбежать, дает себе время, чтобы изучить привычки охранников и географию окрестностей.

Русский человек, воспитанный под плотным советским надзором, и впервые оказавшийся в несоветском мире, — это растерянное и почти беспомощное существо. Само приспособление к жизни в новом мире является для него проблемой. Он обнаруживает, что думает иначе, чувствует иначе, чем окружающие. Ему нужно время, чтобы снять слой за слоем своей советской тоталитарной зачумленности; это сложный процесс.

В Америке я был чужаком, без единого нерусского друга, не зная языка, без средств к существованию. Если бы у меня было столько же открытых и скрытых друзей в Америке, сколько их было у сталинской диктатуры, мои проблемы решились бы достаточно легко. В конечном итоге, я надеюсь, что мое инженерное образование и опыт позволят мне зарабатывать на жизнь. Но в тот момент, когда я покинул Комиссию, я остался без гроша в кармане, без друзей, беспомощным перед ужасающей машиной клеветы и мести, находящейся в распоряжении моих злобных тюремщиков. Семь месяцев были на самом деле коротким периодом, чтобы адаптироваться к Америке, немного освоить английский словарный запас и завести несколько человеческих контактов.

По крайней мере за месяц до этого я знал, что в конце марта 1944 года я предприму этот необратимый шаг. Большую часть этого месяца я провел в дороге: две поездки в Ланкастер, штат Пенсильвания, и одна в Чикаго. Моей главной заботой было защитить своих друзей и коллег в Комиссии, а также в

России. Я никому из них не выдавал своих планов ни словом, ни жестом, хотя мне нужны были сообщники, и я, естественно, очень хотел кому-нибудь довериться. Я слишком хорошо понимал, что это будет означать для любого советского гражданина, если на его репутации останется хотя бы тень вины, как только НКВД возьмется за мое «дело».

Второстепенной заботой было не дать Комиссии повода для выдвижения необоснованных обвинений против моей репутации. Моя работа по жизненно важному ленд-лизу, доверенная мне, была безупречной; я очень хотел, чтобы она оставалась таковой до самого конца. Поэтому, насколько это было возможно, я завершил порученную мне работу, оставив все в таком организованном порядке, чтобы другой специалист по металлам мог продолжить с того места, где я остановился. В свое последнее утро в Комиссии на Шестнадцатой улице, я тщательно привел в порядок свои финансы. Когда я уходил, мне все еще причитались 30 долларов, и я был этому рад, хотя каждый доллар в тот момент казался тысячей.

Об обстоятельствах моего разрыва с системой, я рассказал на первых страницах этой книги. Я превратил себя в человека без страны. Я сделал себя мишенью для злобы американских коммунистов и, что было гораздо страшнее, для их самодовольных идейных попутчиков. Я сделал себя мишенью для убийственной ненависти самого сильного и самого непримиримого государства в мире.

Мои перспективы были мрачными и тревожными. Сознательно, полностью осознавая ужасающие последствия, я выбрал ненадежную свободу вместо комфортного рабства. Только человек с опытом событий, связанных с современным диктаторским полицейским государством, может в полной мере понять тот страх, который могут вселить в сердце человека власть, вездесущность и аморальность советского государства.

В то время, когда я покинул Вашингтон, я знал, что существовало официальное решение Комиссии, ратифицированное Москвой, о назначении меня на постоянную должность в ее штате. Это было для меня существенным повышением в должности. Я должен был приступить к этой новой работе несколько дней спустя, 3 апреля 1944 года, с благословения Москвы. Позже я мог бы вернуться домой со своим опытом работы в зарубежной торговле, как верный сталинец, прошедший через все уловки буржуазных искушений.

Не было предела высотам, которых я мог бы достичь на лестнице советской иерархии.

Но на тех высотах я бы остался таким же рабом сталинского советского режима, неспособным служить своему народу, в союзе с его угнетателями. Я сознательно решил остаться за границей. Мне нужна была свобода для борьбы против большевистского деспотизма, и для достижения этой свободы я принимал на себя множество неудобств, экономических рисков, физических опасностей. С этого момента Виктора Кравченко больше не было. Его личность была стерта. Теперь он был итальянцем, югославом, португальцем, кем угодно, только не советским человеком. Каких имен у меня только не было!

В дешевой и неприметной гостинице в верхней части Манхэттена я подготовил заявление, часть которого появилась в «Нью-Йорк Таймс» и других газетах 4 апреля 1944 года. Читая его сейчас, когда война победоносно завершилась, я не вижу в нем ничего, что хотел бы изменить. Напротив, время, как мне кажется, подтвердило мои опасения и мои предупреждения.

Тогда я сказал, что Сталин, будучи союзником Великобритании и Соединенных Штатов, «преследовал цели, несовместимые с таким союзничеством». Я написал, что, якобы распустив Коммунистический Интернационал, Москва тем не менее продолжала руководить подрывными коммунистическими движениями повсюду в мире. Касаясь сталинской политики в отношении Польши, Балкан, Чехословакии, Венгрии, Австрии и других стран, я попытался показать, что ее цели были чисто советскими и недемократическими. Затем я добавил:

«Заявляя о стремлении к установлению демократии в освобожденных странах, советское правительство внутри своей страны не предприняло ни одного серьезного шага к предоставлению элементарных демократических свобод русскому народу.

Русский народ, как и прежде, подвергается немыслимому угнетению и жестокостям, в то время как тайная полиция НКВД, действуя через тысячи своих шпионов, продолжает терроризировать и господствовать над народами России». На «освобожденных» ими территориях, большевики восстанавливают свой прежний режим политического беззакония и насилия,

в то время как тюрьмы и концлагеря продолжают пополняться, функционируя как и прежде.

«Надежды на политические и социальные реформы, которые русский народ лелеял в начале войны, оказались пустыми иллюзиями.

«… Я утверждаю, что русский народ больше, чем любой другой народ, нуждается в предоставлении ему элементарных политических прав — подлинной свободы печати и слова, свободы от нужды и свободы от страха. То, что русский народ имел от своего правительства, было лишь пустыми словами о предоставлении этих свобод. Годами русские люди жили при советской власти в постоянном страхе и нужде. Русский народ заслужил лучшей участи уже тем, что определил ход войны и спас существующий советский режим».

С тех пор, как я написал эти слова, ничего не изменилось, чтобы изменить картину. Как и прежде, сталинская диктатура остается антигуманной и централизованной, ее методы террора не ослабевают. Я не могу ожидать, что средний гражданин демократической страны поймет истинный характер тоталитарной советской тирании. Когда я читал обвинительное заключение Нюрнберского трибунала, я не мог не воскликнуть: «Но ведь это в действительности адекватное изложение сущности советского режима! Нам нужно лишь изменить несколько имен, заменить слово «нацистский» на «советский», и мы получим картину советского большевизма». Фактически это обвинение могло стать обвинительным заключением против советской власти. Мне стало ясно, что задача пробуждения мировой совести об ужасах положения русского народа при коммунизме еще не выполнена.

2

Предчувствия, с которыми я начал свою новую жизнь, быстро оправдались последовавшими событиями. Когда новость о моем поступке появилась в американской прессе, Советская Закупочная Комиссия по ленд-лизу сначала сделала вид, что не знает меня. Очевидно, она ждала указаний из Москвы. Затем она признала мое существование и приступила к выпуску предвидимых заявлений, имевших целью опорочить мою личность и характер.

Самое значительное утверждение, которое я не предвидел, заключалось в том, что я все еще был капитаном Красной Армии. Таким образом, они

стремились превратить мой политический акт в простое дезертирство, создав юридическое обоснование для требования моей экстрадиции сталинской расстрельной команде. На самом деле, моя краткая военная карьера закончилась в госпитале более чем за два года до этого. После чего я был чисто гражданским чиновником. Прежде чем комиссариат внешней торговли мог отправить меня за границу, мне было предоставлено формальное и полное освобождение от всех воинских обязанностей.

Тем временем, коммунистическая и крипто-коммунистическая пресса с энтузиазмом бросилась в битву. Нападки в газете американских коммунистов «Дэйли Уоркер» от 5 апреля 1944 года, подписанные неким Старобиным, были озаглавлены: *Дело жалкого дезертира: Гитлер призывает здесь свои последние резервы*. Они были написаны в стандартном стиле коммунистической партийной ругани. Но сквозь всё это звучала нота, которую непосвящённые могли не заметить, но которая громко звучала для моего натренированного уха. Это была нота прямой угрозы физической расправы. Товарищ Старобин сообщал об «отвратительном предательстве со стороны человека, который называет себя служащим советской торговой комиссии». «Подобные предатели, от Троцкого до таких ничтожеств, как этот Кравченко», писал он, «обманывают многих людей на некоторое время. Но – » и затем последовало предупреждение: «*Бдительная и мстительная рука прогрессивного человечества настигает их и, наконец, уничтожает»*.

Читая эти слова, я вспомнил, что в случае с товарищем Троцким мстительная рука человечества схватила ледоруб и раскроила ему череп в Мексике несколько лет тому назад.

После ещё нескольких абзацев ругани, товарищ Старобин вернулся к своей главной теме. «Кравченко живет на занятое время,» — заявил он. Затем, сославшись на то, что я призвал для себя защиту американского общественного мнения, он заключил следующее:

«Наша страна — это не ничейная земля для врагов наших союзников и для наших собственных военных усилий… Было бы печально, если бы Соединенные Штаты превратились в теплицу для таких ящериц, в приют для тех, у кого недостает мужества, чтобы у себя на родине прямо сказать перед советским народом то, о чем они здесь плачутся за кружкой пива в New York Times».

Таким образом, «Дэйли Уоркер» самым глупым из своих читателей сказал, что любой, у кого «достанет мужества», может прямо выступать перед советским народом. И это после того, как он признал, что я «живу на занятое время» потому, что советская «полиция мыслей» была в неведении относительно моих взглядов! Меня «стерли бы» — конечно, не тайными чекистами духовной родины товарища Старобина, а «прогрессивным человечеством».

Мне не составило труда расшифровать содержавшееся сообщение. Если я не буду молчать, «бдительная и мстительная рука» совершит свою благородную работу; ледорубов было предостаточно. Другие могли бы отмахнуться от таких предупреждений как от простой риторики; но я очень много знал о методах и агентах советского режима, который я осудил.

Несмотря на мои тщательно продуманные меры предосторожности, советская разведка в Нью-Йорке, по-видимому, без труда выследила мое местонахождение. Ее разведчики, что было несомненно, вскоре слонялись по тротуару напротив моей гостиницы. Несколько раз я менял гостиницы и псевдонимы. Время от времени я утешал себя тем, что мне удалось от них ускользнуть. Но довольно быстро те же самые чекисты снова дежурили у моих временных жилищ. Неоднократно мне приходилось бежать и на ходу ловить такси, чтобы избежать преследования.

Чтобы на время отвлечься от этих нервирующих забот, я принял приглашение провести время с новыми друзьями в пригороде одного из городов Среднего Запада. Эти друзья были американцами, которые разыскали меня после того, как моя статья появилась в «Космополитене». Я никому не сказал о своем отъезде и полагал, что мне ловко удалось сесть на поезд незамеченным. Я ошибался. Мои друзья, ожидавшие меня на перроне вокзала, были крайне встревожены. Они указали на трех мужчин, которые внимательно наблюдали за ними последние пятнадцать минут, не скрывая своего интереса. Не было никаких сомнений, что эта троица ждала меня. Один из них, как я заметил, держал правую руку в кармане, не вынимал ее и не отводил от меня глаз. Когда мы сели в нашу машину, незнакомцы поспешно сели в свою и последовали за нами, ничуть не скрываясь. Мы долго колесили по городу в тщетной попытке от них оторваться. Только когда мы подъехали к полицейскому участку, их машина проехала мимо нас и

исчезла. Нам удалось записать ее номер, но последующие расследования показали, что это был украденный номерной знак.

Несколько раз в последующие дни, тот же зловещий автомобиль патрулировал пригородный дом, где я жил. Кроме того, были междугородние телефонные звонки из Нью-Йорка, в которых таинственные голоса предупреждали меня «как друзья», что моя жизнь в опасности и что я должен скрыться. Очевидно, их план состоял в том, чтобы запугать моих хозяев, с тем чтобы они выставили меня из своего дома, а затем заманить меня в какое-нибудь укромное место, где меня можно было бы «стереть» с лица земли удобным способом. Я чувствовал себя так, словно снова оказался в СССР, а не в свободных Соединенных Штатах. Смогу ли я когда-нибудь снова, задавался я вопросом, жить и работать, не боясь за свою жизнь?

Мои друзья мужественно выстояли против этого давления, и я буду вечно им благодарен. Каждую ночь мои хозяева ложились спать, имея под рукой острый топор — единственное оружие в доме — на случай ожидаемой чрезвычайной ситуации. Другие американцы — и некоторые бывшие русские — в других частях страны доказали, что они не поддадутся советскому запугиванию и были готовы рисковать, чтобы защитить мою жизнь, пока я работал над этой книгой.

Теперь книга закончена. Я рассказал свою историю. Убийцы, которые заявляют, что служат «прогрессивному человечеству», со временем могут преуспеть в том, чтобы «стереть» меня. Взятое взаймы время может быть исчерпано. Но они не смогут стереть эти записи, посвященные многострадальному русскому народу, из которого я происхожу. Я смею только надеяться, что однажды он сможет вкусить плоды настоящей свободы и настоящей экономической демократии.

Когда этот день настанет, мы действительно будем близки к идеалу единого мира. Пока одна шестая часть поверхности Земли, значительно расширенная за счет экспансии и поглощением малых государств, остается под тоталитарным рабством в интеллектуальной тьме, мир на планете может быть, в лучшем случае, только шатким.

Следующий шаг к мировой безопасности лежит не в создании всемирной организации, хотя и она должна будет появиться, — а в освобождении

русского народа от его тиранов. Достаточно лишь предположить, что если каким-то чудом Россия внезапно обретет демократию, то нетрудно будет понять, что большая часть напряженности, угрожающей сейчас миру, автоматически ослабнет и что станет возможным подлинное международное сотрудничество. Но мне могут возразить, что освобождение России от тоталитарного ига — это вопрос, который касается только самих русских. Те, кто так думают, глубоко ошибаются. Во многих отношениях, безопасность всей человеческой цивилизации и шанс на прочный мир зависят от этого освобождения.

Я не настолько оптимистичен, чтобы ожидать такого чуда в нашем поколении. Но я знаю наверно: истинное понимание русской действительности демократическим миром вовне является предпосылкой для освобождения моей страны изнутри. Вес мирового общественного мнения, являющийся ныне рычагом духовной поддержки коммунизма, и служащий сейчас укреплению тирании Кремля, должен быть направлен на ускорение и содействие русским устремлениям к свободе.

Данная книга, история жизни одного из тех русских, чье чувство свободы не было уничтожено, — является моим призывом к демократической совести Америки и всего мира.

ЭПИЛОГ

Я НАЧАЛ РАБОТАТЬ над этой книгой сразу после побега из Советской Закупочной Комиссии в Вашингтоне и работал над ней месяц за месяцем в ужасающих условиях преследований и угроз моей жизни. Мне приходилось скитаться из города в город, постоянно меняя гостиницы и частные дома, живя под вымышленными именами и вымышленными национальностями, находя безопасные «укрытия» в домах американцев или моих собственных соотечественников. Всем тем, кто проявил ко мне доброту и оказал моральную поддержку, я хочу выразить свою глубокую благодарность.

Если бы чекисты добрались до меня в этот период, меня могли бы «стерть»; или, что еще хуже, меня могли бы тайно вывезти в Советский Союз для «расплаты». К счастью, этого не произошло, поэтому сегодня, впервые в жизни, я чувствую себя свободным говорить от имени своей страны, от имени своего народа, от своего имени.

Когда я покинул Комиссию, война еще продолжалась. Я не хотел вредить той огромной помощи, которую Соединенные Штаты оказывали Советскому Союзу в этой войне. Совместные военные усилия, сотрудничество и взаимопощь между западными демократиями Англии и Америки с одной стороны, и большевистским Советским Союзом, с другой, накладывали на меня определенные ограничения. Я принял их охотно. Для меня, необходимость победы над Германией преобладала над всем остальным. Но теперь, когда война победоносно завершилась, я считаю не только возможным, но и своим первостепенным долгом говорить полностью, откровенно, как можно убедительнее. Отсюда и эта книга.

Еще одна веская причина высказать свое мнение заключается в том, что после окончания войны многие люди и нации — некоторые по собственной воле, а другие под внешним принуждением — «смещаются влево». Эта тенденция кажется мне здоровой и неизбежной — при условии, что она не представляет собой первую стадию или, как в некоторых случаях, завершенную модель тоталитарного советского коммунизма. К сожалению, похоже, что это так во многих регионах цивилизованного мира, где советское влияние и советские доктрины получили преобладание.

Народ моей страны находится в тисках жесточайшего полицейского государства; он не может донести свои взгляды, свои чаяния и свои страдания до внешнего мира. В той мере, в какой я могу раскрыть истинную сущность сталинской диктатуры народам и правительствам демократических стран, я чувствую, что хоть немного могу предостеречь мир от самообмана. Для построения более достойного общества нам необходимо большее взаимопонимание и более глубокая дружба между народами этой планеты, а не только между правительствами.

Коммунистическая тирания в СССР — это проблема не только для русского народа или только для демократий. Это проблема для всего человечества. Мир не может бесконечно отворачиваться от мученической участи значительной части человечества, населяющей одну шестую часть земной поверхности. Эта часть управляется деспотической группой лидеров, опирающихся на партийный аппарат Политбюро и гигантскую тайную полицию. Сотни миллионов людей в СССР не имеют ни малейшей возможности повлиять на свою собственную судьбу и полностью

изолированы от других народов и интеллектуальных процессов во всех других странах.

Несмотря на то, что советские власти лишили своих подданных основ экономической и политической свободы, они и их подельники за рубежом стремятся убедить остальной мир в том, что Советский Союз и советская тоталитарная система являются новой свободой — что это и есть *настоящая* демократия, в отличие от «устарелой» буржуазной демократии и свободы.

Я написал эту книгу на своем родном языке, русском, поэтому рукопись нужно было перевести на английский и отредактировать текст на английском языке. Это было сделано при условии, что все факты, события, мой политический личный опыт, события, описания и индивидуальные характеристики, вплоть до мельчайших деталей, точно соответствуют моему оригинальному русскому рукописному варианту. Более того, когда английский текст был завершен, я лично проверил и отредактировал окончательную версию.

Я старался придерживаться личного, автобиографического стиля этой книги. Поэтому пришлось опустить значительную часть материала, касающегося сложных политических, административных и полицейских форм, а также других проблем советского государства. Эти и другие связанные с ними материалы я планирую опубликовать позже.

В некоторых случаях, чтобы защитить невинных людей от безжалостной мести советских властей, я был вынужден изменить некоторые имена, замаскировать некоторые места, изменить некоторые обстоятельства. Там, где такие изменения были необходимы, сами эпизоды остались полностью правдивыми, а их значение в повествовании не пострадало.

Я посвящаю эту книгу русскому народу, одним из которого я являюсь. Я посвящаю её памяти миллионов, погибших в борьбе против абсолютизма советской власти; миллионам невинных, томящихся в бесчисленных тюрьмах и каторжных концлагерях СССР; памяти миллионов погибших моих соотечественников, мечтавших о лучшем будущем для нашего народа. Я посвящаю эту книгу людям доброй воли во всем мире, которые помогают в борьбе за *свободную демократическую Россию*, без которой не может быть прочного мира на земле.

Нью-Йорк, 11 февраля 1946 года